[illegible]д

[illegible]си





НИКОЛАЙ
НИКОНОВ

# След рыси

Свердловск
Средне-Уральское
книжное издательство
1979

Р2
Н64

Новая книга Николая Никонова открывается повестью «Мой рабочий одиннадцатый», посвященной жизни вечерней школы. В центре внимания автора — в прошлом преподавателя одной из таких школ — трудные проблемы воспитания, формирования личности, становления коллектива.

Необычно по жанру заглавное произведение книги — «След рыси», впервые увидевшее свет на страницах «Уральского следопыта». Н. Никонов вновь обращается здесь к одной из стержневых тем своего творчества — теме защиты природы. Тонкий лиризм, поэтичность картин жизни леса и его обитателей сменяются гневным сарказмом, едкой сатирой,— когда речь заходит о тех, чья корысть, близорукость или равнодушие грозят обернуться бедой для наших лесов, рек, полей — для всей биосферы. «Публицистическая поэма» — такой подзаголовок дал автор этому произведению, многие страницы которого звучат подчеркнуто полемично. Стремясь «достучаться» до благодушествующих, заставить в полной мере осознать размеры нависшей над природой опасности, писатель подчас сознательно заостряет драматизм ситуаций. Концовка «Следа рыси» — это полное тревоги предупреждение. «Оберегайте «братьев наших меньших», пока еще не поздно»,— таков смысл авторской проекции в не столь отдаленное будущее.

Основательно переработан и дополнен автором для нового издания «Золотой дождь» — повествование о коллекциях и коллекционерах, о воспитании чувства прекрасного и его роли в нравственном развитии личности, публиковавшееся в сборнике Н. Никонова «Перед весной» (1977).

Н $\frac{70302—050}{М 158(03)—79}$

# Мой рабочий одиннадцатый

---

*Повесть,*
*рассказанная*
*классным*
*руководителем*

*Сыну, старшему лейтенанту*
*Николаю Николаевичу Никонову*

# Сказка впереди

*ГЛАВА ПЕРВАЯ, самая большая, в которой сообщается, как Владимир Иванович Рукавицын, молодой человек двадцати четырех лет от роду, приятной наружности, а именно: высокий, конечно же стройный, плечи широкие, талия узкая, волосы русые, слегка вьются, глаза карие, нос прямой, особых примет не оказалось,— ступил на порог средней школы рабочей молодежи, познакомился с Василием Трифонычем, получил классное руководство, узнал последние новости в женских модах и понял, что не все песни помогают жить и строить.*

Здание школы рабочей молодежи не удивило меня. Каменное, скучное, без затей. Вертикально-узкие окна состоят из квадратиков и подобны решеткам. Цвет стен желтый, сероватый, как у выветренной глины, ступени бетонного крыльца выщерблены, и на ребрах видна ржавая арматура. Сам дом несуразно, уныло высок, хотя всего в нем три этажа,— такие дома строили только в сороковые тяжелые годы, когда в архитектуре главным считалось: крыша, тепло, прочность, а красота — это уж лишнее, не до нее было... Странно, что я вспомнил при этом слова одного приятеля, фанатичного знатока архитектуры. Он утверждал, что многие строения на Руси носят некий татарский, а лучше сказать, среднеазиатский оттенок, и даже те, что считаются великими, все равно отдают дань Азии. В общем, окинув здание критическим взглядом и так же уловив в нем азиатскую сущность, я подумал еще, что Азия всегда была континентом загадок, и не без трепета шагнул на порог школы. Поднимаясь по унылой темноватой лестнице боко-

вого входа — лампочки были разбиты, а главный вход в школу почему-то закрыт,— я ступал по сплошному ковру растоптанных окурков и спичек, точно здесь проходила орда курильщиков-самоубийц. Я пробормотал почему-то по-латыни: «О, gimnasium vulgaris!» Почему по-латыни? С какой стати? Я ее почти не знаю. Но ведь психологи и физиологи все утверждают, что человек — по-прежнему еще сплошная тайна... Почему, скажем, одним дается легко один язык, другим — другой, а третьим — никакой, кроме родного? Не потому ли, что в прежних своих существованиях один был франком, другой — саксом, а третий вовсе откуда-нибудь из Нубии, и сам о том знать не знает... Что ж, согласно этой теории, я-то происхожу от древних римлян и, возможно, участвовал в походах Цезаря в Галлию. Простите, это уж так... мелькнувшее. Ведь я — учитель истории, а лестница очень длинная — я поднимался по ней не слишком уверенный, что попаду не на чердак, успокаивала лишь дорога из окурков — она не прерывалась.

В том, что эта окраинная школа очень средняя, не надо было убеждать. Недаром же здесь оказалась вакансия для историка, в центральных районах города такие места были забиты наглухо. Но выбора после демобилизации у меня не было, хорошо, что и такое место сразу нашлось, не ждать, не ходить по отделам кадров,— так думал я, с наигранной бодростью поднимаясь все выше, пока не оказался на широкой лестничной площадке. По-видимому, вход в школу был тут, ибо перед дверями, заслоняя спинами окно, чернела, светила сигаретами обязательная при таких школах группа не учащихся, но активных посетителей в куртках, в клешах, в шапках, разнообразно надвинутых на глаза. Лиц публики было не различить, да я и не старался этого сделать, нашаривая скобку коридорной двери.

— Чо? Опоздал? — спросил развязный тенорок.

— Ну-ка, ты, большой, погоди... Поговорим...

Двое подростков, отделившись от окна, явно мешали открыть дверь.

— Во-первых, не «ты»... Во-вторых, я учитель... Так что — будем знакомы... Отпустите двери!

— Фьь-и-и! — присвистнул тот, что был пониже, отступая.— Генка! У-чи-тель! Ха-а...

— Ха-а-а-а! — идиотски раздалось уже за прикрывшейся дверью.

Школьный коридор — стены с графиками, схемами, газетами, стендами пожелтелых вырезок — вернул меня в дни не слишком далекие. Тогда я сам ходил учеником в такую же примерно школу, и тот же был запах парт, растоптанного мела, табачного дыма и сырых, на скорую руку мытых «лентяйками» полов. Вон даже газета «Зоркий глаз». В нескладных стихах бичует школьные пороки. Остановился...

Соин в школу не идет,
Соин семечки грызет...
У Нечесова с Орловым
Частокол за частоколом.

И нарисован этот самый Соин простым карандашом, рот нараспашку, изо рта нечто вроде воздушного шара, внутри «шара» надпись: «Не хочу учиться — хочу жениться...» А вот и другие двое, запутавшиеся в своих колах, в змеевидных двойках, которые ловят их тонкими ручками. Стенгазетская манера, впрочем, несколько напоминала египетские фрески.

Привычными показались и маленькие классы, тесно населенные партами, но с редколесьем лиц на них (было видно в приотворенные двери), и экран посещаемости, где красное густо перемежалось черным, и учительская, куда я вошел,— обычная учительская: расписания, графики, методический уголок,— желтеют в ватманских корочках никем не читаемые методразработки. А в этой еще висели по стенам на гвоздях пачки пособий по русскому языку, красно-синие схемы кровообращения лягушки и таблица с вымершим динозавром, который равнодушно смотрел на все здесь происходящее, как бы говоря: «Ну и что?»

И директор, оказавшийся тут, тоже был весьма обыкновенен для школы рабочей молодежи. Низенький, остроклювый и лысоватый, с умными, ироническими глазами за толстыми линзами очков, похожий на Ботвинника и еще на кого-то из больших гроссмейстеров и конечно же хорошо, тонко играющий в шахматы. Так подумал я, пока он бегло изучал приказ о моем назначении, характеристику, трудовую книжку, несолидно чистую, новенькую. Я тем временем успел внимательно оглядеться. Помимо перечисленного здесь были два стола завучей по углам, один напротив другого. Завучи сидели тоже какие-то одинаковые, исполнительного вида

строговатые женщины, у которых все было в меру: в меру были они красивы, в меру увялы, в меру модно одеты, с той удивительной приличностью, с какой теперь, наверное, и одеваются одни завучи средних школ да женщины — секретари райкомов, когда покрой кофточки, форма и высота прически, длина юбок высчитаны по некоему неписаному, однако точнейшему канону благопристойности. Облик завучей завершался строгими очками без оправы, с позолоченной верхней дужкой. Очки мельком взглянули на меня, занятые своим делом, но и в этом взгляде достаточно было служебной отчужденности, непререкаемой власти.

В коридоре прозудел звонок, и стали заходить учителя. Безразлично здороваясь или молчком, каждый посвоему, они ставили журналы в фанерную стойку или усаживались с этими журналами за длинный стол посреди учительской, обыкновеннейший стол с чернильным сукном, графином без пробки на фаянсовой старой тарелке и стаканом, надетым на горлышко. И был среди этих учителей словно обязательный для всякой школы толстяк, всезнающий добряк, этакий Тартарен из Тараскона, по-видимому, физик, непрестанно говоривший, хохотавший на всю учительскую жизнерадостным смехом: Га-га-га! Га-га-га! Была бесплотная литераторша в глухом платье на птичьей грудке, с красивыми, печальными, темными глазами и в перекрученных чулках на тонких ножках. Была другая литераторша, величаво дебелая, с нежнейшим валиком-подбородком и со взглядом гусыни, увидевшей поблизости несъедобную божью коровку. Был худой, непрестанно и жадно куривший у форточки математик, кашляющий, спина в мелу, на плечах перхоть, в глазах — формулы, в руке — транспортир. И еще впорхнули в учительскую две очень молодые женщины, блондинка и брюнетка, обе искусно завитые, прянодушистые, в нарядных переливающихся платьях — прямой вызов школьному благочинию. У блондинки платье было бело-розово-голубое, у брюнетки красно-желто-коричневое. Они выделялись в учительской, точно бразильские бабочки среди капустниц, и держались соответственно своему облику. Я принял их за преподавательниц иностранного языка — так оно и оказалось впоследствии: «немка» и «англичанка». Их и звали одинаково — Нины Ивановны.

Последним вошел маленький, лысый, со впалыми

висками мужичок лет шестидесяти, мрачный, словно бы обиженный на весь мир. Он был в сером лицованном пиджачке и в черных просаленных брючках, заправленных в высокие старческие валенки. В этих рыжих валенках, непомерно удлинявших его ноги и укорачивающих брючки до забавных пузырей, он прошел вдоль стола журавлем, как бы кланяясь при каждом шаге, сердито шлепнул карту с указкой на стол и, едко глянув на директора, видимо все еще переживая нечто весьма неприятное, сжал зубы так, что на углах скул под старческой кожей проступили тройные ребристые желвачки. Впрочем, Василий Трифоныч — так звали географа, он же был и биологом, как узнал я позднее — всегда поигрывал желвачками. Это у него была привычка. А еще чем-то напоминал он домового, не страшного, в общем, обиженного, лишь с лохматым, колючим взглядом.

— Что ж! — сказал директор, возвращая документы.— Добро пожаловать! — он немножко грассировал, смягчал «р», но только чуточку, так что на слух было приятно и даже повторить хотелось.— Опыта у вас немного... Но опыт — дело житейское. Поживете — приобретете... Постигнете. Поработаете — узнаете нас... Мы — узнаем вас... Не знаешь — не ценишь,— как говорил Нерон.

— Он еще сказал: «Скажи, кто я,— скажу, кто ты...» — вдруг вырвалось у меня, очевидно, из желания повторить стиль директора, но так, что я и сам не ожидал, смутился. Не обиделся бы...

Директор посмотрел. Хмыкнул.

— Вы, оказывается, шутник... Ха-ха... Это хорошо... Так вот... Историю возьмете в десятых.

— Мне бы...

— Ничего-ничего... Знаю... Силы надо пробовать на трудностях... Да... Вам бы в пятый? Байки рассказывать? Пирамида Хеопса? Легенда о Гильгамеше? Ассирия с Вавилоном? Нет, дорогой... Это нехорошо... Несерьезно. Это вы — потом... На старости. Знаете, одной молодой актрисе надоело играть старух, и она попросила дать ей молодую роль. Так вот... Что же ответила ей администрация? Администрация ей сказала: «Будете, милая, постарше,— дадим». Ха-ха... Так вот... Классы трудные, не скрываю. Особенно... Один десятый... Завтра приступайте. Учебники? Нет? Плохо. Завтра чтоб были. Приказ... Все! — улыбнулся, чтоб я понял, что повели-

тельный тон — шутка, но я понял правильно. Умные правду говорят шуткой.

— Давыд Осипович! Что же это такое?! — прервал наш разговор маленький учитель в валенках.

— Что — что? — переспросил директор, поправляя очки.

— Что да что... Да я *отказываюсь* заниматься в этом классе,— сказал мужичок, налегая на «о».— От-ка-зы-ва-юсь. Совсем... Больше не могу. Сил моих нету. Ведь вы не знаете, что оне сегодня вытворили? А? Отвернулся я, это, карту повешать, оборачиваюсь, а, это,— никого нету. Что такое? А оне — под партами. Да-да! *Под партами*. Все. Спрятались. Ведь это — ужас, Давыд Осипович. Ведь это издевательство над учителем. Слушать — не слушают. Орлов этот... Нечесов... Семечки грызут. Ну, выгнал я их, Орлова с Нечесовым. Это... А толку? Нету толку... Как хотите — освобождайте меня... Выговор кладите, а избавьте меня хотя бы от классного руководства.

— Кому же его дать?

— А это уж ваше дело, вы — директор.

— Все-таки?

Мужичок, приостановившись, вдруг поглядел на меня пристально, как будто только что заметил.

— А вот молодому-то человеку и дайте. Он справится. У меня уж сил нету... У меня склероз мозгу.

Директор, как бы прислушиваясь, помолчал.

— Владимир Иванович? Как вы смотрите? Классное руководство в школе обязательно. Я бы его вам все равно дал... Впрочем, могу в другом... Вот шестой... Он еще хуже,— улыбнулся директор.

— Давайте шестой,— сказал я.

— Значит, из двух зол — большее? Нет-нет... К тому же в шестом у вас не будет часов, уроков. Что вы за классный руководитель без уроков в своем классе?.. Итак, решено... А Василий Трифоныч... Ну, что ж, Василий Трифоныч работает последний год. Можно пощадить, понять... Берите десятый «г»... Примите личные дела и, как говорится, с богом...

Директор вышел, схватив журнал, очевидно, и так опоздал на свой урок. Я стоял с ощущением человека, которого вдруг и неожиданно оглядели — обвертели со всех сторон, даже и в рот заглянули, а потом так же неожиданно оставили.

Василий Трифоныч тотчас как-то по-балетному зашагал в своих негнущихся валенках к желтому шкафу с наклейкой «Личные дела», покопался в нем и быстро вернулся, вручил грязноватую голубую папку с замусоленными тесемками, которые противно было взять в руки. На папке, пониже нескольких зачеркнутых литер, коряво и криво было начертано: 10-й «г», причем единица в этой надписи обморочно валилась назад, ноль стоял с угрюмо отверстым ртом, а «г» отчасти напоминало озадаченную змею.

— Ну, знаете, счастье мне, видно, привалило,— говорил Василий Трифоныч. Он как-то преобразился, малиново сиял, не скрывал своей радости. Я же стоял у стола, не знал, то ли обидеться — нашли козла отпущения, то ли напустить на себя беспечность, сыграть в бывалого стажиста, которого ничем не напугаешь, не прошибешь: «Ну-ка, чего там у вас? Э-э... Пустяки. Справимся. Не таких видали...» Решил, последнее — лучше, по крайней мере, внушительнее.

— Полтора года с ними... Это... Маюсь...— продолжал Василий Трифоныч.— С девятого класса. Вот сами увидите. Каковы... Это... Мерзавцы, лодыри, подлецы. Набрали тут всяких, абы кого... Наполняемость чтоб, это, была... И получается, не школа — шарамыга. Так оне сами ее зовут. Ведь вот я сколько в школах работаю. Можно сказать, всю жизнь... Раньше-то какая шереэм была? Ну-ко? Взрослая. А ученики-то какие были? Мастера, начальники цехов сидят, пожилые люди, солидные. А теперь что? Это... Кого отовсюду выгонят, мы берем. Вот и получается штрафной батальён. Не бывали? Ну, дак в штрафном-то дисциплина военная, а здесь что? Кланяемся ученику: ходи, пожалуйста, учись, а он рожу набок: «Неохота!» Вот она — мóлодежь.., нынешняя, распущенная...

— Вы бы хоть не пугали меня. И так ноги дрожат,— наверное, не слишком любезно заметил я.

Василий Трифоныч посмотрел, покачал головой. Должно быть, и меня причислил к «мóлодежи». Интересно, мóлодежь я или нет?

— А вот сами увидите... Зачем пугать? Кабы один этот класс был худой. А то ведь — половина... Нет, спасибо вам только. Вы молодой. Оне вас хоть бояться будут (он сказал «бояться»). А вы кроликов не держите?

— Кого??

— Кроликов... Это... А я, знаете держу,— и вдруг улыбнулся старенькой круглоглазой и ушастой улыбкой.— Им, знаете, в корм надо серы добавлять. Серы. Это... Тогда у них вся шкурка высшим сортом идет. Я в журнал писал. Печатали...— Василий Трифоныч вдруг даже странно старчески расцвел, порозовел от скул до лысины.

Я принялся разбирать личные дела. Хотелось поскорее узнать, что за класс мне достался. Был он невелик — двадцать пять человек, и это подействовало на меня успокаивающе: не сорок пять, как сплошь и рядом видишь за партами в дневной школе. Двадцать пять можно запомнить в течение двух уроков, быстро узнать биографии, профессии, привычки — словом, все, что полагается знать классному руководителю. Так приблизительно думал я, выкладывая из папки на стол кучки справок, табелей и свидетельств, сцепленные канцелярскими скрепками. Класс оказался почти сплошь рабочий. Тогда я еще не уяснил, что понятие это весьма широкое,— ведь, скажем, и сталевар, и таксист — оба рабочие, однако разница есть, как есть она между продавцом и ткачихой с камвольного комбината. Разницу я понял позднее. А пока по личным делам числилось в «моем» классе пять работниц с камвольного, два подручных сталевара, один автослесарь, один шофер такси, одна повариха, пять продавщиц, трое каменщиков, один столяр, двое учащихся из ГПТУ и, сверх того, одна медсестра, один оперуполномоченный и двое безработных, точнее, нигде не работающих.

Пока я разбирал дела, складывал то по алфавиту, то по профессиям, фамилии никак не запоминались. Остались в памяти только самые простые: Горохова, Чуркина, Столяров, Алябьев да еще имена безработных — Орлов Юрий и Нечесов Геннадий. Припомнил: именно их, Орлова с Нечесовым, упоминал Василий Трифоныч, и о них же повествовала газета «Зоркий глаз».

Я стал подробнее читать анкеты, заполненные разнообразно-детскими неустоявшимися почерками. Выделялся лишь каллиграфический протокольный почерк уполномоченного. Графологи вроде бы утверждают, что люди с каллиграфическим почерком, мягко говоря, ту-

пицы. Посмотрим, так ли это... Читал пустенькие характеристики из дневных школ: «Девочка способная, но упрямая, дисциплина слабая, училась средне. Легко попадает под дурное влияние. И сама может влиять.— «На кого?» — Может учиться лучше». Мда... «Юноша упрямый, но способный. Учился плохо, так как испытывал дурное влияние. Может учиться лучше. Интереса к общественной работе не имеет». Кто это? Ага... Нечесов. А девочка? Задорина Таня. С камвольного. Мда... Никого я не видел за этими характеристиками — разве только некоего абстрактного ученика-упрямца и такую же запущенную девочку-абстракцию.

В учительской меж тем опять стало шумно и тесно. Кончился урок. А потом у некоторых оказались «окна» — так называются незанятые часы в расписании, и за столами в учительской текла повседневная школьная жизнь, непривычная мне, новичку, явившемуся из военного училища. Оба завуча внушали двум классным руководителям, что «у них» низка успеваемость по русскому и по математике. Руководители оборонялись. В повышенном нервном тоне завучей слышались дальние громовые раскаты. Но никто особенно не обращал внимания на перепалку, как не обращают его на слишком далекую грозу, что поблескивает из-за горизонта,— еще не известно, дойдет ли, нет ли, а если дойдет, можно переждать, пока она шумит ливнем и ничего плохого, в общем, не случится. На то и завучи, чтоб ругаться с учителями. И обычно во всякой нормальной школе бывает так: если уж директор демократ, завучи — волки, если волк директор, завучи — добряки. В общем, администрация была здесь правильная, крепкая, что я и понял по капитуляции обоих классных руководителей. Однако шум от этого нисколько не уменьшился. Две Нины Ивановны, английская и немецкая, затеяли спор с красавицей литераторшей, которую про себя я назвал Анной Карениной, о том, что будет модно в предстоящем летнем сезоне. Все высказывали разные мнения. Нина Ивановна английская, желтая блондинка с черными бровями и вялым носиком, та, что была в голубом и розовом, утверждала, что в моду войдут трикотажные костюмы с брюками широкий клеш. Нина Ивановна немецкая, брюнетка, отлично завитая, с носиком надменно приподнятым, стояла за мини в обтяжку, десять сантиметров над коленом. А величавая Анна Ка-

ренина, сидевшая под таблицей с динозавром, выпячивала очаровательную нижнюю губку, такую свежую и светло-розовую, что не найдешь лучшего сравнения, как с розовым же лепестком, отрицающе-непримиримо водила носом.

— Что вы, милые? Какие мини?! Давным-давно на Западе снова макси, бритая голова, летом — шорты из трикотажа. А брюки? Ну, что вы! Это деревня... Ну, представляете, я — в брюках...

Я представил. Это было бы очень здорово. Даже, наверное, красиво. Я за брюки! За всякие, за красивые! Да только осмелится ли хоть одна учительница прийти в школу в брючном ансамбле? Что вы?? Что вы!! Учитель должен одеваться с к р о м н о. Надел же я сегодня вместо галстука цветного вот этот, коричневый в полоску. Идет он мне? Нет. А все-таки надел. А почему? Школа ведь... Учитель. Классный руководитель. Вспомнил. Летом в Москве, на углу Тверского, у «Армении» вот такая же примерно по габаритам дама в трикотажном ансамбле с бело-зелено-коричневыми кольцами-полосками. Москву трудно удивить, но на полосатую красавицу с м о т р е л и. И я смотрел, зашел вслед за нею в магазин, где пахло армянскими коньяками и где красавица долго стояла у витрины с разными сувенирами, взглядом выбирала среди чаш, чубуков, тисненых закладок, страшных деревянных горцев, шампуров и пепельниц в виде туфли халифа Багдадского что-то такое, нужное ей,— и не нашла. Тронулась к выходу, лениво поводя полосатыми формами, утянув за собой полмагазина восхищенно цокающих, озадаченно сдвигающих на носы широченные кепки-аэродромы. А я еще долго стоял в опустевшем магазине и глядел на другую красавицу — была передо мной на богатом листе темной латуни. Эта чеканная, прикованная литыми цепями к дубу, отчаянно звала кого-то, закинув голову, обнажив напружиненные девичьи груди. Звала... Рвалась... У меня же не было девяноста рублей, чтобы освободить ее, увести с этой стены, где, может быть, действительно страдала она от жадных трогающих взглядов и, как знать, не зовет ли она меня и до сих пор... Еще когда-когда выберусь в Москву снова...

Очнулся от звонка. В коридоре грохотали отпускаемые классы. И стало ясно: личные дела надо нести домой, разобрать не спеша, спокойно.

...В класс я шел нахмурившись, степенно. Я был в лучшем своем костюме мрачно-серого цвета крейсеров и броненосцев. Был в том самом галстуке, который уже упоминал (а как хотелось надеть яркий!). Пока спускался по лестнице на второй этаж, шел коридором, состарил себя лет на десять. Может быть, даже походил на Ушинского, брови заболели от напряжения, а ладони стали противно липкими. Что такое со мной? Не боюсь ли? И что за класс, в который иду... Или еще хуже, чем расписал вчера Василий Трифоныч? Или лучше? Неужели действительно увижу сейчас кучку хулиганов, девочек, которых только молодость не дает права назвать иначе, выдворенных из дневных школ неудачников — или все же это люди трудящиеся, хлебнувшие подлинной жизни, и мне дано их понять, воспитывать, учить... В каждом человеке много доброго, больше доброго,— так внушали все ВЕЛИКИЕ,— надо это доброе найти, открыть, дать разрастись, иначе что ты за учитель?

Что я за учитель, я и сам не знал... Работать довелось немного, всего два года, и то в военном училище, где как будто вовсе не надобно быть ни Ушинским, ни Сухомлинским,—там все расписано, устроено, подчинено военной дисциплине,— взойди на кафедру хоть робот, отбормочи свое, дай задание — выучат, выполнят, сделают любо-дорого. На то и училище, на то и военная дисциплина. Другое дело — каков будет твой авторитет... А здесь... Так я думал или не так, но некое гнетущее любопытство не оставляло меня спокойным с тех пор, как я взял в руки синюю папку с грязными тесемками. Впрочем, пардон, тесемки я дома вымыл, выстирал под краном, выгладил. Они стали чистыми, сухими и приятными. Папку долго тер резинкой, а корявые литеры заклеил прямоугольником плотной белой бумаги и заново, тушью, написал название класса и все необходимое вплоть до своей фамилии. Не зря же я был два года в училище (там и преподаватели многому учатся). А вчера я сидел над личными делами, пока на улицах не погас свет, зубрил фамилии, читал характеристики, пытался по почерку и скудным «анкетным данным» определить лицо и характер ученика. Фамилии запомнил, а вот насчет лиц-характеров была лишь какая-то путаница, сумятица — графолог из меня, видимо, не получился. Разве что по фамилиям угадывать? Иногда ведь фами-

лия точь-в-точь по человеку, как платье по мерке, и разъясняет, и дополняет, и подчеркивает. Какая, к примеру, вот эта Горохова, медсестра, или Чуркина, повариха, или тот же нигде не работающий Нечесов? Уж он-то, наверное, что-нибудь этакое, запущенно-дикое, бурьянное...

У дверей с табличкой 10 «г» стояла очень плотная, большая (нет, не толстая, именно плотная) девушка-женщина из тех, которые уже родятся, видимо, с женской осанкой и с несколько тяжеловатой фигурой. У девушки были красивые черные брови, небольшой нос, чисто-розовые губы, озадаченно-круглые и выпуклые, точно она решала, в класс я иду или мимо, и это же вопросительное недоверие стыло в ее ярко-серых, сердито блестящих глазах, глядевших с невзрослой серьезностью. Недоверчивые и чем-то надолго обиженные глаза. Поняв, что я иду сюда, она еще раз сурово глянула, повернулась ко мне широкой женской спиной и ушла в класс. Следом зашел я.

Как писали в девятнадцатом веке, странное зрелище являл этот класс. Был невелик. Густо забит партами, с невытертой замеленной доской. Выделялась жирно написанная формула: $10X = (У^2 + X^{10} - 3)^{X-1}$.

Формула показалась мне пророческой и насмешливой, особенно когда я посмотрел на противоположную стену с криво висевшим портретом Грибоедова. Прославленный драматург, скорбно глядя в сторону сквозь очки, как бы говорил: «Эх, вы-ы... Да-а-а...»

За партами редко, по одному, по два, как островки архипелага в океане, сидели мальчишки и девчонки самого школьного вида и возраста. Только у левой стены как-то несолидно и несерьезно выделялся мужчина лет сорока пяти с желтым усталым лицом, сквозящей лысиной и безразлично закрывающимися сонными глазами.

Сперва на меня словно бы никто не обращал внимания, и минуты две все занимались своим делом: девочки болтали, парни хихикали. Я молчал, но вот до сидящих все же дошло наконец, что человек с журналом, видимо, учитель и надо вставать. Кое-кто остался сидеть, но большая часть поднялась недружно и вразброд. Взглядом пришлось поднять остальных.

— Здравствуйте. Садитесь... Я ваш новый классный руководитель.

— О-о-о...

— Здоро́во! (потихоньку).
— Гауляйтер! (потихоньку).— Но слух-то у меня даже излишне хороший.
— Не гауляйтер, а если уж так — классенляйтер. Ферштеен зи?
— Я-а! — отозвался с предпоследней парты парнишка, вертлявый и быстрый, с огромнейшими бледно-голубыми глазами, которые, однако, никак не назовешь глазами мечтателя. Рядом, беспечно и презрительно развалясь, всем видом демонстрируя полнейшее ко мне пренебрежение, некто с блестящей крашеной челкой, сальными патлами и прицельным прилипающим взглядом. Вот, говорят, образ надо в развитии давать. А тут образ был налицо, развивать, кажется, нечего.
«Не эти ли двое допрашивали вчера на лестнице? Вроде бы... Орлов с Нечесовым? Который из них — Орлов? Этот непоседа или крашеный?»
— Так вот... Буду вести у вас историю, а когда перейдем в одиннадцатый, и обществоведение...
— Мы думали — немецкий...
— Я так и понял. Кто староста?
Заоборачивались друг на друга.
— А его — нету,— скороговоркой тот же парнишка-непоседа.
— Не выбирали...— голос из угла.
— Човрешь! Конюхова выбирали. Не стал ходить...
— А кто был в прошлом году?
— Ха! Здесьпрошлогодних... Валька с Лидкой да мы...
— Когда отвечаешь учителю, полагается вставать. (Ну вот, зачем с ходу читаю мораль? Тысячи раз он ее слышал и все знает. А как же быть? С чего начинается дисциплина? «С чего начинается ро-ди-на»,— возник в голове напев...)
— Човсегда вставать? — удивился голубоглазый.
— Да... Представь, что ты солдат, а я офицер...
— Хе... Яведьнесолдат...
— Зато я — офицер... Как твоя фамилия?
— Азачемвам?
— Вот тебе на. Да ты что это, друг?! Учишься в моем классе...
— Ну, Нечесов...
— Нунечесов?
Девочки хихикнули.

— Нечесов...— парнишка встал, сосед неторопливо потянул его за брючный ремень, приглашая сесть.

— А твоего соседа?

— Орлов.

— Я у него спрашиваю, а ты садись. Как фамилия?

— Сказали же...— коричнево-черный приземистый Орлов глядел с откровенно угрожающим презрением. Родятся, что ли, такие парни, словно бы готовые хулиганы, и все у них с пеленок — хулиганское; голос, взгляд, повадки. Задумываюсь над этим. Почему подчас лицо, скажем, шофера, так подходит к кабине грузовика, а иной — словно бы приложение к скрипке? Профессия определяет человека или человек рождается для своей профессии, ищет и находит ее, хоть и часто ошибается, и природа, наверное, ошибается тоже... Однако что такое — хулиган? Должность? Способность отравлять жизнь? Гены какие-нибудь? Недостаток воспитания?

— Что ж, Орлов, фамилия у тебя хорошая, встань, пожалуйста, и объясни, где ты работаешь...

О, сцена, достойная академического Художественного театра! Медленно-медленно, нехотя-нехотя, так нехотя, чтобы всем было видно (только так и должен был вставать), Орлов поднялся, покосился на одну стену, поглядел на потолок, на другую стену...

— Значит — не работаешь?

— ...

— И не собираешься?

Опять оглядывание потолка и стен.

— Что же?

— ...Собираюсь.

— Когда?

— ...Не знаю.

— Садись.

Итак, первую пару выяснил. Кое-что сошлось в предварительных представлениях. Да-с, личности... А кто же эти — «Валька с Лидкой»?

Вспомнил: «Горохова Лидия. Медсестра. Год рождения 1956. Русская. Больница номер 21». Здесь ли?

— Горохова? — спросил, обводя класс взглядом.

— Я...— смущаясь, алея тонкой кожей округлого, несколько даже широкого лица, поднялась девушка с передней парты. Стояла, опустив большие ресницы, красивая, здоровая, розовая — про таких вот и говорят «как маков цвет». И словно бы сам я застеснялся этой чудной

свежей красоты, которую странным образом не заметил, войдя в класс. Давно-давно не встречал я такой девушки в русском былинном стиле, а это в самом деле была та, редкая теперь красота крестьянки, но крестьянки особенной, благородной, как царевна, на диво пошел бы ей парчовый сарафан, кокошник с жемчугами — вообще, все древнее, русское...

Озадаченно молчал, отмечая что-то в журнале, а пушкинские строки так и вспоминались: «Белолица, черноброва, нраву кроткого такого...» Хоть и не было у этой Гороховой черных бровей, а были лишь темнее светло-русых, с льняным блеском волос.

— Садитесь! — строго сказал я и зачем-то ворчливо добавил: — Что же вас так мало сегодня?

— Ха! Еще много...

— Сколько же — мало?

— Человека три...— опять тот же парнишка-непоседа.

Итак, кто же «Валька»? Уж не эта ли мрачноватая женщина-девушка, что встретила меня у дверей?

— Ваша фамилия?

Не торопясь, она вытеснилась из-за парты. Сердито смотрела.

— Ну... Чуркина.

— Имя?

— Ну... Тоня.

— Работаете?

— Ну... повар.

— Ясно. Отвыкайте от «ну». «Ну» говорят, когда понукают лошадей. У вас же к каждому слову... Следите за своей речью. Понятно все?

— Ну...— ответила она и села.

— Соломина Валя?

«Валькой» оказалась девочка с камвольного. Ткачиха. Невысокая, красивенькая и добродушная, с густой челкой, на висках волосы подрезаны, на шею спускаются прямыми прядями. Гаврош, что ли, называется такая стрижка?

Нравятся мне все эти современные прически, и наряды, и челки, и стрижки, и высокие сапоги, и брюки, и мини,— все нравится, если уж только не достигает степени уродства; наденет, например, девушка брючищи, из каждой штанины платье выйдет, метет ими по тротуару, на голове шапчонка вязаная в обтяжку, очки-колеса, брови-ниточки, в руке — охотничий ягдташ... Шарф

еще бывает белый, до земли. Ну, видали вы, конечно, таких чуд-див... К счастью, ни одной такой в классе не было. А девочки с камвольного оказались очень разные и запоминались хорошо.

Галя Бочкина — изящная куколка в платье-сарафанчике, с младенческим нежно-серьезным личиком. Она оказалась чесальщицей. Тут же меня и поправила — «не чесальщица, а чёсальщица». Смуглая синеволосая татарочка Рая Сафина с двумя белыми пятнышками на левой щеке оказалась тростильщицей. Ида Чернец, похожая на гречанку, прямоносая и величавая, как Артемида, была прядильщицей. А пятая, маленькая улыбчивая кубышка, желтая, как подсолнух, с непрестанно смеющимися ярко-синими глазами,— Таня Задорина, сказала, что она мотальщица. Нет, не мотальщица — мóтальщица. В кучке этих девчонок было что-то дружное, располагающее к себе.

Зато из пятерых продавщиц не оказалось ни одной.

— Сачкуют! — резюмировал Нечесов.

— Мертвые души...

— А-а, это такая, знаете, шайка с лейкой! — устало подтвердил оперуполномоченный. Его звали Павел Андреевич.

Выверив список, я пересчитал учеников, как говорят, по головам и вдруг обнаружил, что их не одиннадцать, а двенадцать.

— Кого не назвал? — спросил я и понял: да вот же, передо мной, сидит за партой вместе с Гороховой смиренного вида мальчишка, белоголовый, испитое в синеву лицо, узкие худые руки.

— Фамилия?!

Парнишка молчал. Тогда Горохова легонько толкнула его локтем. Он взглянул на меня и встал.

— Фамилия? — повторил я.

— Столяров,— глуховато ответил он.

— Почему сразу не отвечаешь? Профессия?

Он странно поглядел мне в рот и промолчал. Молчал и класс, словно бы что-то ждал.

— Кем работаешь?

— Столяром,— помедлив, так же глухо ответил он.

— Садись,— разрешил я и подумал: «Дефективный какой-то... Какой же ты, к черту, столяр — душа в чем держится?» Столяр в моем отсталом представлении обязательно человек в синей грязноватой спецовке, в бы-

валой кепке, карандаш за ухом, пожилой, хитрые морщины, рыхлый нос, табачно-винный запах и желтенький складной метр. Этот метр столяр умеет как-то так брать-раскладывать недоступно непосвященным, говорить непонятные слова: «Рейсмус, фуганок, сороковка...» А тут стоял передо мной отрок, точно сошедший с картины Нестерова «Видение отроку Варфоломею».

— Садись! — повторил я, и лишь тогда он сел.

Перекличка и знакомство заняли уйму времени и, спохватившись, обреченно понимая, что урок скомкаю, я стал навешивать карту, искать гвоздики у доски. Их не было, были не в нужном месте, и в конце концов я просадил гвоздями новую карту, с досадой ощущая, как непедагогично поступаю и выгляжу. Назвал тему. Начал объяснение. Гражданская война в США между Севером и Югом. Хорошая тема. Увлекся, велел записывать, говорил о Линкольне и Брауне, о Гранте и Домбровском, не забыл ни Турчанинова, ни Бичер Стоу, пока не понял: не слушают... Сосредоточенно писала только Лида Горохова. Теплый ровный пробор. Лицо совсем скрыто завесой волос. И этот пробор говорит о самом неуемном старании. Остальные-прочие занимаются кто чем. Девочки-камвольщицы выполняют задание по математике. Опер Павел Андреевич дремлет, повариха Чуркина, косясь, что-то делает под партой, должно быть, подтягивает чулки. Орлов с Нечесовым играют как будто в морской бой, а столяр Столяров прилежно читает учебник.

Призвал к порядку — подействовало ненадолго. Велел всем писать — притворяются. Через недолгое время проверил: заняты тем же, кроме Чуркиной, которая теперь пишет.

— Столяров! Сейчас надо слушать и записывать, а не читать. (Надо же, проверяет по учебнику! Не совру ли...)

— Столяров!!

Парнишка даже ухом не вел. Тогда, продолжая объяснять, закрыл у него учебник. Столяров лишь виновато поглядел и промолчал.

— Слушать! Писать всем!

А в это время задребезжал проснувшийся звонок, и мои педагогические наставления прервал грохот парт, возня и ничем уже не остановимый разговор. Кое-как записал задание и вышел, недовольный своим дебютом, учениками, классом, собой — собой в особенности. Не-

ужели я всего-навсего заурядный ремесленник? Еще один учитель-ремесленник на ниве народного образования? Глупо. А что мне делать? Что? Ну вот, разве не мог сегодня лучше, умнее, тактичнее? Ведь чувствую и знаю, что могу... Это ощущение всегда живет во мне даже в дни удач, и не за него ли расплачиваюсь этой вот обескураживающей болью. В общем, дело — дрянь... Будь на уроке инспектор или хоть одна из грозных очковых завучей — досталось бы мне... Ох, досталось... Такие мысли частенько, наверное, приходят учителю после неудачного урока, и вместе с опасением и облегченностью, что никого из начальства на уроке не было, всегда бывает горько, тревожно. Что такое, в сущности, любая нахлобучка администрации, как называет ее Давыд Осипович,— хуже вот это разоружающее ощущение своего педагогического бессилия. В такие минуты чего только не подумаешь: и школу бросить, и пойти куда-нибудь, в дворники, мести улицу на заре, а потом покуривать себе на лавочке... Может быть, и не только учителю знакомо сие ощущение, все в таких случаях хотят в дворники — и никто не идет...

Со странным, смешанным пониманием обиды, злости и сочувствия посмотрел на шагающего впереди в своих негнущихся валенках Василия Трифоныча. С длинной указкой, с картой под мышкой он походил со спины на удрученного Дон-Кихота.

— Лодыри! Остолопы! — сказал Василий Трифоныч, швыряя карту на стол в учительской. Желвачки на скулах так и троились.

— Ну ни-че-во не учат! — обратился он ко мне и к директору, стоявшему у двери.— Ни-че-во!! Вот... Спрашиваю сейчас ее, великовозрастную... Где Амазонка? Где Амазонка? А она мне в Обь тычет. В Обь...

— Василий Трифоныч! Опять вы за свое... Что же... Учить надо... Привлекать... Совершенствовать методику.

— Нет, мол, плохих учеников...

— Э-э... Ну что же...

— Давыд Осипович! Давыд Осипович! Да я ли не учу? Это... Сорок лет в школе... Сорок лет... Шутки? Кому отдано? Да у меня грамот — это... комнату оклеить хватит... Сорок лет... А вы? Методику, мол... А что я, позвольте, сделаю, если она, девица-то, в школу, можно сказать, на веревке ходит. Если ей не школу, не науку, а танцы-манцы подавай да парней. Какая ей Амазонка?

Ей замуж выскочить надо. Она в школу-то только наряды казать ходит, чулки выставлять. Нет! Все говорю: из-под палки учим, заставляем, а ничего хорошего из этого не будет.

— Позвольте, позвольте...

— Не будет... Нет... Ну аттестат дадим, ну вытянем. Это... А толку? Счас как говорят... Это... Раньше-то простые дураки были, а теперь — дураки с высшим образованием...

— Ну, Василий Трифоныч! Ну! — вскричала одна из завучей, поднявшись и махая на освирепевшего географа. А директор только качал головой.

— Да вы же понимаете, что *сознательность* не сразу рождается! — поднялась и вторая завуч. Спешила на выручку.— Что мы эту сознательность *должны воспитать*... Что мы и учить должны так, пусть принуждая, пока человек поймет!! Он нам потом спасибо скажет. И вообще!! Стыдно за вас! Да... Стыдно, Василий Трифоныч! За сорок лет пора бы и понять, в чем ваш долг!

— И понимаю... И не хуже вас! — огрызался географ.— Вот-вот! Видите? Это... Никто правду слушать не любит. Правда — она горькая. А все равно... Это... Хоть ты ее в землю втолочи, она себя окажет. Ока-жет... «Методику»...

— Василий Трифоныч!

На следующий день, точнее, на следующий вечер уроков в своем классе у меня не было, и в первое же «окно» я решил напроситься к физику Борису Борисовичу. Лучшему учителю в школе. Это я уже знал. Завучи советовали перенимать опыт, да и самому хотелось.

— Борис Борисович! Можно я к вам на урок пойду, посижу в своем классе,— робко спросил я, подойдя к весело хохочущему физику. Хохотал он — любо глядеть. Зубы! Помните мультфильм о кукурузе-чудеснице, где пляшут сорняки-разбойники? Вот такие зубы и были у Бориса Борисовича.

— Га-га-га! Хотите еще и физику изучить? — сказал он.

— Хочу.

— Как в том анекдоте?

— В каком?

— А вот один говорит: «Я немецкий знаю». Другой ему: «Ну-ка, скажи чво-нибудь по-немецки». — «О, ес!» — «Хм, ты же по-английски сказал!!» — «Ну, значит, я еще английский знаю!» Га-га! Идемте-идемте. Бистро-бистро... Время — деньги, а деньги — время... Га-га-га...

И мы пошли. Впереди он — подобие шара, одетого в коричневый костюм, за ним я, едва поспевающий за бойкой походкой.

В класс мы не вошли — влетели. Борис Борисович сразу пробежал к доске, я проследовал на заднюю парту, попутно удивляясь,— да в свой ли класс попал? Все чужие лица. И лишь усевшись, обведя взглядом каждого, понял: класс мой. Вон Тоня Чуркина, на первой парте Горохова, Столяров, у стены подремывает Павел Андреевич. Нет Орлова, Нечесова, всех девочек-камвольщиц Вали-Гали-Раи-Иды-Тани, нет ребят-каменщиков Фаттахова и Закирова, зато сидят у окна два взрословатых парня, один из них с приятным мужественным лицом архангельского помора, есть двое вертячих мальчишек из ГПТУ, еще некто с золотым зубом, молодой, лет двадцати будет, но уж очень бывалого вида, и с ним еще один, повзрослее, тюленем разлегшийся на парте.

Борис Борисович, ничему не удивляясь, бойко начал опрос. Двойки не ставил. Только говорил: «Садись! Читай!!» «Эге, брат, да ты, видно, вон какой передовик, без двоек работаешь!!» — подумал я. Борис же Борисович как из рога изобилия сыпал четверки, ставил их и во время объяснения: повторил за ним формулу — садись, четыре; записал на доске — четыре, пересказал правило — четыре, не понимаешь, молчишь (больше всего это относилось к тюленеобразному парню и к его соседу с золотым зубом) — садись, читай. Объяснял Борис Борисович ясно, бойко, доходчиво, так что даже я, неспособный к физике, все понимал, а град четверок продолжал сыпаться до конца урока. Задание было задано вовремя, за повторение опять ливень четверок и одна пятерка Столярову. И вот, взгляд на часы, портфель под мышкой, в коридоре послушно тарахтит звонок, а физика уже нет в классе.

Подошел к столу, взглянул в журнал, усыпанный четверками, и готов был умилиться. Двоек — ни одной, даже у Орлова откуда-то проглядывала четверка. «Учись!» — подумал я и вспомнил: Борис Борисович имеет значок отличника, его улыбающаяся физиономия

на красной Доске почета в районо, рядом с пришибленной литераторшей Верой Антоновной, и уже не раз слышал — ученики Бориса Борисовича любят, конфликтов с начальством у него не бывает, вообще, все у него отлично, хорошо, лучше некуда и не может быть...

После такой лавины доброты классному руководителю хотелось быть построже. Вот почему я решил безотлагательно опросить всех, кто не был на занятиях в прошлый раз, и приступил к делу.

— Ваша фамилия? — сказал я, подойдя к парнютюленю, который, закрыв глаза, позевывал за партой.

Парень открыл глаза. Они были добрые и ленивые. Не в пример соседу с золотым зубом. У того что-то слишком уж оценивающий взгляд.

— Мазин. А что?

— Потрудитесь встать, Мазин, когда с вами говорит классный руководитель.

— Откуда я знал...— Встал и оказался на голову выше меня, а рост у меня не маленький — сто восемьдесят.

— Конечно, как же вам знать, раз вы не были позавчера...

Парень по-тюленьи вздохнул.

— Я и в пятницу не был,— сказал он простодушно.— И в понедельник...

— ??!

— Откровенно? Ну получка была... в пятницу. Голова болела...

— Сегодня не болит?

— Сегодня же — четверг...

— А она у вас по пятницам, что ли?

— Не...— парень опять вздохнул.— В пятницу все хорошо. В субботу вот, в воскресенье, в понедельник...

— Кем работаете?

— Слесарь я... в гараже. Карбюраторщик тоже...

— Что ж, неужели у вас все так?

Мазин промолчал, зато за него ответил, слегка улыбаясь, сосед:

— Зачем же... Есть, конечно, которые без этого,— он щелкнул себя по шее.— Должны быть. Да только что-то не видать...

Я полистал страницы, усыпанные отметками о пропусках, отказами и двойками, показал Мазину.

— Это как? Не беспокоит?

— А-а,— кисло сказал он.— Что я сделаю? Некогда учиться... Да и неохота... Заставляют... Завгар.

— А если бы не заставляли?

— А не заставляли, не учился бы... Неохота мне учиться. Из-за чего и дневную бросил. А уж как заставляли...

Качнув головой, я отошел от него. А он опять опустился на парту, зевнул и положил голову на руки.

«По крайней мере, хоть откровенно»,— подумал я, даже не обескураженный этой прямотой, едва отличимой от издевательства. Ну и класс же мне подсунули. И как ведь ловко. А золотозубый-то кто? Ага! Это же таксист... Ведерников.

— Девочки!! У нас новый классный! Вместо мизгиря! Говорят — сухарь. Из военного училища...— влетела раскрашенная яркая девчонка с черными стрелами век.— Ой! — глаза так и жгут, а губы смеются. Такая не напугается. А хороша... Похожа на гордую газель и Наталью Гончарову. Только уж очень резко все: глаза, волосы, губы...

— Правильно говорят. А где же вы сейчас пропадали? Почему не на уроке? Фамилия?

— Осокина.

— Света?

— Да-а. А как...

— Продавщица?

— Ага-а. А откуда вы зна...

— Почему не были на уроке? Почему не были позавчера?

Девчонка покраснела. (Надо же, все-таки еще умеет краснеть, а с виду не похоже.) Поискала что-то вокруг себя или в себе, нашла и тотчас снова вздернула голову. За спиной толкались еще четверо: тоже глазастые, бойкие сверх меры, косички, хвосты, подведенные глазки, яркие платья.

— Значит, голова болела? — подсказал я, усмехаясь.

Теперь Света Осокина просто презирала меня. Перламутровые губы дрогнули, глаза с вызовом опустились. Нога в лакированном ботфорте, как у завоевательницы.

— Болела.

— У всех пятерых?

— У всех!

Теперь губы сжаты, глаза в упор. Теперь молчание или грубость.

Вышел из класса, ибо в дверях уже стояла литераторша Вера Антоновна. Чтобы привести мысли в порядок, спустился вниз, в раздевалку у главного входа. Тут застал улыбающегося Бориса Борисовича. Борис Борисович бодро заматывал шею красным шарфом. Увидел — хохотнул: «Га-га-га!! Как урок? Ничво? Понравился? Прекрасно... Все хорошо? Га-га-га... Бегу-бегу... В другую школу... Что делать? Часы... Надо успеть... Счастливо... Не вешать нос... Га-га-га...» — И, хлопнув на голову-апельсин маленькую шляпенку, подхватив портфель, исчез. Именно — исчез, словно бы расточился.

«Так, что ли, надо? — думал я, еще воспринимая исчезновение Бориса Борисовича как чудо.— Бегать, «колотить» часы. Ни на что не огорчаться. Не принимать близко к сердцу. «Га-га-га,— и все в порядке... Га-га-га,— и до свиданья.,. Га-га-га,— и будьте здоровы, дышите глубже...» Наверное, так-то лучше, дорогой Владимир Иваныч, чем исходить злостью, уподобляться Василию Трифонычу, журнальные страницы у которого столь же щедро испещрены молниями колов и змеями двоек, как у Бориса Борисовича стройными вереницами четверок»...

С досады сел на жесткий деревянный диван рядом с гардеробщицей Дарьей Степановной. Не торопясь, кропотливо вывязывала она спицами резинку теплого шерстяного носка. Вот взглянула на часы, мерно качающие троящимся в граненом стекле диском маятника, вытянула одну спицу, почесала голову, воткнула спицу в вязку, быстро набрав петли, и включила звонок. Его дребезжащий трезвон давно уже стих, а с улицы, хлопая дверью, все бежали парни и девчонки.

— Куда это они бегают? — удивился я.

— Как — куды? — тоже удивилась техничка.— Курить бегают... Да в уборну. Уборна-то у нас, видишь, во дворе поставлена. Шибко это неудобно... Здапье-то неприспособленное. В другой-то половине заводское управленье, контора. У их уборна есть, а у нас — видишь как. Вот и опаздывают девки-то. Не идут на урок — стыдно емя на урок заявляться. Болтаются тута...

Вспомнил допрос, учиненный Свете Осокиной, и румянец на ее вроде бы не склонном к покраснению лице.

— Ты в каком классе-то руководительствуешь? Заместо Василея Трифоныча, никак? Ну чо? Обзнакомился? Шибко не хвалят этот класс. Шибко. А не знаю

почему... Это все Василий Трифоныч. Вот уж у его все-все-все дураки. Один он тольке умной. Ну строгость, конечно, она нужна. К нонешней молодежи. Без строгости-то распущенность вырастает. Но, однако, и на одной строгости далёко не уедешь. В школе-то людей надо любить, видеть и понимать. А человека-то понять ох как не просто. Не кажного, конечно... Один весь-то на ладошке — душа нарастопашку, а другой — как репей колючей, не с которой стороны не возьмешь — везде колется. А в нашей школе особенно. Всякие оне есть: и безотцовщина, и фулиганы, и отчаянные девки, а дураков все-таки нету... Нету дураков ни однова. И ежели посмотреть-разобраться, оне ведь — герои. Не знаю, ей-богу, как лучше сказать. Одним словом, выстой-ко ты смену у станка, за прилавком побегай — все на ногах да на ногах... У меня вон две девки живут, из твоего класса, знать... На фатере. Одна-то чёсальщица Галя, а другая-то — Ида из прядельного. Дак придут, это, со смены-то, так и валятся другой раз на койки. Ой, устали, мол, тетя Даша. Даром-то ничо им не дается, девкам, хоть и молодые. А еще ведь уроки надо... И в школу... А дело их — молодое, погулять-побегать хочется, с парням погибаться. Мои-то девочки шибко скромные, душевные. Только скажи чо сделать — воды там принести, по хлеб сходить, вымыть-постирать — все сейчас сделают и сами даже, без наряду. А седни в школу не пошли.. День рожденье у одной, у Иды-то... Ты уж их не строжи шибко-то. Сам понимаешь: день рожденье. Оно раз в год бывает...

Дарья Степановна отложила свою вязку и ушла. Тихо пощелкивал маятник — отмеривал время. Капала из неплотно закрытого краника у титана вода. Кошка шла по коридору, не ведая моих печалей. Тощая и грязная школьная кошка, белая с голубыми глазами. Она подошла к луже у титана, понюхала, полакала, брезгливо отряхнула замоченную лапу и, еще раз презрительно взглянув на меня, прошла мимо. А я все сидел на твердом диване и рассеянно думал, что же делать дальше, как собрать совершенно разваленный класс, вдобавок еще откровенно враждебный. У Макаренко была *колония*, была некая, данная законом власть, помнится, даже наган был и даже карцер, куда сами себя заключали за провинности его прекрасные колонисты. У меня не было ничего. Правда, там были преступники, а здесь

вроде бы нормальные люди, за немногими исключениями, но все-таки надо же иметь хоть что-то, кроме разъяснения и убеждения, сведенного к истине: ученье — свет. Истину эту знали, признавали, наверное, все, кроме, пожалуй, Орлова. Другое дело — руководились ли ею? Цена ей была велика в давние времена, при неграмотности. Теперь же грамотностью и в детском садике не удивишь. И даже пусть — руководились. Все равно это всего лишь благая пропись, и трудно исполнить ее, следовать ей, когда ты устал, пришел с работы, тебе хочется отдохнуть, сходить в кино, почитать, просто, может быть, побродить по оттепельным зимним улицам в поисках чего-то смутно требуемого душой и никогда не понятого окончательно. А вместо этого надо идти в школу, надо сидеть на уроках (а их — пять!), надо слушать, внимать, усваивать и пойти домой с закрывающимися глазами и с заданием, которое все равно некогда будет выполнить. Пожалуй, тут в первую очередь нужна воля. Однако у кого ее в избытке? Уж не оправдываю ли я своих «лодырей»? Вот, к примеру, Борис Борисович, Василий Трифоныч и Дарья Степановна — спроси у них об одном и том же ученике, и все они оценят его по-разному. А кто прав? Ученик?

После военного училища с его дисциплиной, которая была, пожалуй, даже не железной — алмазной, и где я преподавал еще пять дней назад, здесь было непривычно тягостно. Представилось: иду звонким училищным коридором мимо вымытых взводных спален с аккуратнейшими койками, поднимаюсь на третий этаж, вхожу в аудиторию, слышу бодрое: «Встать! Смир-но!» Чеканный шаг дежурного. Молодое румяно-свежее лицо. «Товарищ преподаватель! На занятии во втором взводе третьей роты присутствует столько-то... один болен, трое в наряде. Группа к занятиям готова, докладывает дежурный, курсант Вихров».

— Здравствуйте, товарищи,— с удовольствием говорю я.

— Здравия желаем, товарищ преподаватель! — бодро гремит ответ.

— Вольно! — командую я.

И занятие начинается.

Так было всегда. И какая же невообразимая разница между теми парнями и вот этим Орловым, Нечесовым... Стоп!! А может быть... Надень-ка на них мундир, подчи-

ни военной дисциплине — и станут они такими же? Стало быть, дело в мундире и в дисциплине? А на чем держится военная дисциплина? Разве на мундире? Во всяком случае, не только на нем. Дисциплина та построена на власти, на способности обуздать любого члена общества, не желающего подчиняться закону, обязательному для всех. Какой властью располагают здесь директор, вся администрация и сам классный руководитель? Сообщить на работу? Исключить из школы? Ба!! Да он же этого и хочет — сей абстрактный, не желающий учиться в силу простейшей лени, несобранности, безволия или еще чего-то ученик... И ведь сейчас же найдется этакий заслуженный седовласый стажист и ханжа, найдется и затянет: «А где же индивидуальная работа? Где контроль, связь с предприятием, с комсомолом?» Стоп... Почему — ханжа? Может, вправду, использовать эти рычаги? Все-таки что-нибудь да они дадут. Хм... Бегать, жаловаться? Жалуются слабые...

— Надо что-то делать. Надо. А что? — кажется, эти именно слова я и повторял вслух, выходя на крыльцо, припорошенное пахучим свежим снежком. Мягкий ночной ветер повевал из темноты, нес запахи оттепели, крыш, заборов и дальних полей. Зима никак не устанавливалась, стояло вольное сиротское тепло, похожее на затяжную осень. Едва-едва начинало морозить, но через день ветер снова поворачивал с юга, небо плотно укрывалось тучами и под их стеганым одеялом, обманутые теплом, в тополях начинали звенеть синицы.

Я стоял на крыльце, наслаждаясь ветром и тем чувством освобождения, которое всегда было у меня (у меня ли только?), едва я выходил из школы,— с первого бесконечно долгого школьного дня, когда круглоголовым первоклассником я выбрел, именно выбрел, из дверей своей первой школы и опустошенно присел тут же на деревянном крылечке под ярким и безмятежным светом равнодушного сентябрьского солнышка. И сейчас вижу, как сидел с отупелой головой, глядя на пыльную истоптанную и побуревшую травку вблизи крыльца и на теплый забор, по которому перелетали, садились, мигали крыльями рыженькие с голубым и с черным крапивницы. И хорошо сохранилось, что чувствовал и ощущал я тогда,— свою безнадежную отделенность от этой травы,

от забора, от крапивниц, свою тяжкую принадлежность к школе, на крыльце которой я сидел и от которой так и не ушел совсем. Опять стою, пусть на другом, а все-таки на школьном крыльце...

Школа... Школа... Во всякой жизни ты не проходишь без следа, хотя за привычной тяготой бесконечного десятилетия, словно бы в ногу идущего с твоей жизнью, все приобретается незаметно, а остается навсегда. Редкий из нас, поднявшись спозаранок по звонку будильника или даже от ласковой материнской руки, не проклинал шепотом или вслух эту самую школу, и редкий-редчайший в то же время хотел бы остаться за ее бортом, тотчас осознавая свою нелепость и обездоленность.

Ласковая материнская рука поднимала меня только до седьмого класса. Дальше было превращение в молодежь «работающую», уход из дому, откуда, в общем-то, никто меня не гнал, раннее повзросление, выражаясь словарем учебника педагогики, институт, выбранный по самому примитивному принципу (меньше учиться, легче поступить), и общежития, общежития, общежития...

Эти полугрустные размышления прервала толпа подростков, ввалившаяся во двор. Светились сигареты. Бубнила гитара. Взвизгивали девчонки, все в брюках, в куртках, не разберешь, кто тут и кто... Я спустился с крыльца, намереваясь пройти мимо, но чей-то голос задержал меня, показался знакомым. «Да это же Нечесов,— подумал я,— он конечно...» А между тем гитара забубнила громче, как-то на новый ритм и лад, и голосишко Нечесова, звонкий, по-блатному отчаянный, завел под одобрительный хохот, как «тридцать три богатыря уж не служат трем царям». Дальше шло повествование, как они (богатыри) «разделили землю всю на куски», и о том, что «каждый взял себе удел и гудел». Бубнила гитара, а голосишко Нечесова разливался припевом:

А тты уймись, уймись, тоска,
А у меня в груди...
А эт-то только присказка —
Ска-а-а-зка впереди...

И опять следовало: «А русалка — вот дела, сразу сына ррродила...» Дальше выражалось сомнение в законности этого акта и куплет о том, как «ищут папу день и ночь и не могут ей помочь и решили: пусть пока — сын полка».

Я увидел патластого, широкого и низенького Орлова в окружении таких же ребят в плюшевых кепках и широченных клешах с какими-то поблескивающими в сумраке цепочками.

Орлов, разумеется, узнал, но даже вида не подал, стоял полуобернувшись, сигарета во рту. Подойти? Или — мимо? Всегда так: заставляю себя делать то, что не хочу, против чего бунтует моя интуиция.

— Орлов!

Он только медленно обернулся.

— Почему не был в школе?

Орлов смотрел на своих друзей, как бы удивляясь моей глупости и глупости моего вопроса, молчал.

— А у него, знаете, свидание...

— С нами! — добавил кто-то.

— Га-а-а-а!! — раздалось в десять молодых глоток.

Я пошел прочь, а в спину била ритмом гитара и голос Нечесова повествовал уже о том, как «этот Черномор, он опять Людмилу спер...»

Я вышел за проломленную во многих местах ограду. Оттепельное небо мрачно светилось красными и голубыми сполохами. Вдали мерно дышал завод. В спину мягко дул ветер. Шел со смены устало притихший люд. Клацал на повороте набитый битком трамвай. Все было тут просто, буднично, определенно. А по ветру все еще доносилась гитара, голос, выкрикивающий припев:

А-а эт-то только присказка —
Ска-а-а-зка впереди...

## Урок истории

*Изучение истории есть изучение причин.*

Э. Карр

*ГЛАВА ВТОРАЯ, которую Владимир Иванович предпочел целиком перенести из своего дневника, ибо он был человек аккуратный и любил писать дневник просто для себя, чтобы всегда иметь возможность через год и через десять лет посмотреть на себя со стороны другими глазами и понять, насколько поумнел за это время или, что, конечно, гораздо хуже,— поглупел.*

Вот уже месяц прошел, как я работаю учителем и классным руководителем школы рабочей молодежи.

А это значит, что я обязан заглядывать в свой класс на переменах, принимать жалобы учителей, «обеспечивать» посещаемость и успеваемость — иначе конфликт с администрацией неизбежен. Я должен еще вести воспитательную, культмассовую, просветительную и всякую прочую работу, для чего мною составлены и утверждены все той же администрацией разнообразные планы.

А класс по-прежнему чужд и дик, настроен если не враждебно, то, употребим иностранное слово,— оппозиционно. И по-прежнему всякий день я не досчитываюсь пятка-десятка учеников, а когда цифра доходит до пятнадцати (главным образом, когда идет первенство по хоккею или тянутся некие бесконечные телесерии), администрация делает мне внушение. На другой день, с утра, я отправляюсь на завод, в гаражи, в магазины, теряю время в проходных и в бюро пропусков, путаюсь в цеховых переходах, а потом беседую с начальниками, замами, завами, мастерами, пытаюсь стыдить прогульщиков и добиваюсь кратковременной вспышки посещаемости. Иногда приходит человек двадцать и даже до двадцати четырех. Двадцать пять никак не получается. Заколдованное это число. Все же я чувствую себя именинником, с торжеством сообщаю цифры библиотекарше, добренькой маме-курочке, которая всегда сладко рассказывает в учительской о своих детях и о своем муже. Муж у нее идеальный, дети — тоже, все необычайно одаренные: изучают языки, ходят в музыкальную школу, в плавательный бассейн и на фигурное катание...

Библиотекарша ведет школьный экран посещаемости и пишет справки, потому что в библиотеке не больше двухсот книг, размещенных в двух канцелярских шкафах... Директор, по-моему, ломает голову, что бы такое еще поручить библиотекарше, изредка дает поручение, скажем, купить новые столы, но чаще дел не находится, и все время можно употребить на рассказы о доме и детях, тем более что в учительской всегда есть слушатели. Иногда я завидую. Хорошая это должность — быть библиотекарем без библиотеки. И вполне бы без этой должности можно было обойтись, но ведь есть ставка, а раз есть ставка, должен быть и человек, ей соответствующий,— иначе кому же расписываться в ведомости. Библиотекарша очень любит свою работу — очень аккуратно приходит и так же аккуратно уходит домой. В кон-

це концов, наверное, я просто несправедлив, потому что именно она ведет экран посещаемости и благодаря ей все видят и мою славу, и мой позор.

За всякой вспышкой, за всяким подъемом неизбежен спад, а я жду спада, не то слово — жду, угадываю его уже поставленным чутьем классного руководителя. Для этого и не надо быть волхвом. Хуже, что все привычное становится нормой, вот почему привычно бездельничают Орлов и Нечесов, отчаянно плохо учатся по русскому каменщики Фаттахов и Закиров, прогуливают то вместе, то врозь продавщицы, спит на уроках Павел Андреевич, в понедельники не является Мазин, и не в силу ли этой привычки аккуратнейшим образом ходят на занятия Горохова, Столяров, Алябьев и сердитая повариха Тоня Чуркина. Замечу, в каждом классе школы рабочей молодежи, как бы в противовес забубенным прогульщикам, как бы доказывая диалектическую истину, что злу всегда противостоит добро, есть удивительно прилежные ученики, таких и в дневной школе, наверное, не отыщешь.

Сегодня у меня урок в своем классе. Французская революция 1848 года. Вижу — слушают, а все-таки нет того внимания, какого я жду. Злюсь. А ничего поделать не могу. Что за класс? Определить его одним словом? Главное качество? Вот оно: р а в н о д у ш и е! Что за класс! Только тогда и заинтересуешь, когда какую-то подробность вытянешь. Но не могу же я на такой ответственной теме байки рассказывать. История — точная наука. А Нечесов хихикает. Орлов вообще не здесь витает. Требую, чтобы все писали, привожу примеры, которых нет в учебнике, ссылаюсь на Герцена и на Маркса. Диктую цитаты. Я хорошо подготовил этот урок. Не пожалел времени — вчера целый день корпел в читалке, все выстроил любо-дорого. В институте бы... Стоп-стоп... А может, я слишком сложно? Для этих вот — Нечесовых? Надо подумать... И когда я все-таки овладею собственным классом? Или этому не суждено сбыться?

Ну-ка проверим, кто пишет за мной? Так. Чуркина, Горохова. Алябьев и Кондратьев — подручные сталеваров, парни вроде бы серьезные, особенно Алябьев. Пишет Павел Андреевич, но как-то нехотя, точно протокол перебеляет, из камвольщиц Валя Соломина. Остальные? Делают вид или даже не делают вида. Галя Бочкина

глядится в зеркало, пальцем приподнимает челку. Рая Сафина бездумно слушает, а где-то далеко-далеко, желтенькая Таня Задорина, по-моему, строчит письмо или записку, Иды Чернец сегодня нет. Неужели загуляла? С нее станется. Спросить у Дарьи Степановны. Хулиганы мои, конечно, бездельничают. Нечесов вертится, соображает, что вытворить. Орлов не торопясь лузгает семечки, закрываясь рукой, плюет под парту.

— Орлов!

Движение бровью. Клейкие глаза смотрят с обычной насмешкой, рука тянется ко рту принять очередную скорлупку.

— Орлов! Сейчас же убери семечки.

— Чо я...

— Встаньте, Орлов.

— Чо в тюрьме, чо...

— Или работайте, или идите из класса...

Медленно и продолжая лузгать семечки, он идет к дверям, останавливается, громко щелкает скорлупкой, пнув дверь, выходит.

Так чем вы, Владимир Иванович, отличаетесь от Василия Трифоныча? Ничем. Что делать? А как поступил бы Борис Борисович?

— Итак, революция 1848 года во Франции была первой волной той бури, которая прокатилась по всей Европе и достигла берегов России, точнее, русской части Польши... А ты, джентльмен, почему не пишешь? — говорю я, подходя к вертячему Нечесову.

— Бумаги нету...

— Возьми где-нибудь и пиши.

Нечесов точно ждал такого предложения, цапнул тетрадку с парты Чуркиной,— но с той же стремительностью, с никак не ожидаемой ловкостью, она выдернула тетрадку и стукнула его книжкой по голове.

— Ого! Дерется!

— А ты — не цапай!!

— Чуркина! Одолжите ему листок.

— Счас,— ответила она и, просунув руки в парту, вытащила несолидный дерматиновый портфельчик, с какими в деревнях ходят в первый класс. Порывшись в нем, достала новую голубую тетрадь.

— Ну, ты, кулема, на,— сказала она, сердито усмехаясь.

— Завтра еще неси,— ответил Нечесов.

— Ладно, принесу, пожертвую копейку...

Однако и с тетрадью Нечесов писать не стал.

— Нечесов? Почему...

— А что? Писать-то? И так все ясно...

Обычной своей скороговоркой:

— Можно вопрос?

— Да?

— Зачемнамистория?

— Вот тебе на... Чтобы знать законы развития человечества.

— А что знать-то? Воюют да мирятся.

— Как ты быстро. Ну а историю своего народа хотя бы знать не надо? И вообще, что за глупый вопрос? История изучает причины...

— Я по-другому читал!

— Как?

— Там сказано: «История — попытка придать смысл бессмысленному...»

— Так, по-твоему, человечество развивается без всяких законов?

— Конечно. Какие законы? Живут — и все...

— Хорошо. А разве нет прогресса человечества? Нет классовой борьбы? Почему же мы по сию пору не ходим в шкурах?

— Вот я и говорю: воюют да мирятся. Опять воюют... И в шкурах ходят. Вот эти,— указал на Осокину,— всех зверей на шапки перевели... На воротники...

Поговори с таким! Откуда же он эту формулу взял? Неужели читал Ирибаджакова «Клио перед судом истории»? Кажется, там я встречал что-то о теориях бессмысленности истории. А ведь, в общем, он не дурак. Чувство юмора. Сообразительность...

Вся эта сцена заняла две минуты, но я уже с трудом вернулся к рассказу, снова говорил и чувствовал с возрастающим раздражением — объясняю для стен. Помните, у Гоголя: не вытанцовывается на заколдованном месте — и все тут. И слова даже ползли теперь унылые, казенные; очнулся — слово в слово повторяю учебник. Стыдно — вдруг следят? Обежал класс взглядом, и даже жарко стало. Вот же, под носом у меня, сидит этот тихий отрок Столяров. Столяр Столяров... И опять прилежно читает учебник. Вот уж подлинно в тихом омуте...

— Столяров! Столяров! Сейчас надо слу-шать!

От толчка Гороховой он вздрогнул, удивленно взгля-

нул на нее, на меня и улыбнулся, вежливо так и словно бы болезненно, однако учебник не закрыл, и тогда она, алея на обе щеки, сама захлопнула книжку.

— Столяров! Если это будет повторяться, можешь не ходить на мои уроки. Сиди в коридоре и читай... Безобразие...

Опять звонок! И все насмарку. Скорее к доске. Записать задание. Надо это задание писать перед объяснением. Иначе все время буду опаздывать, писать под звонок.

— Урок не кончен! Не кончен! Записать задание!

Ах, как все неудачно! Закрываю план, руки дрожат, в журнале прыгают строчки. А в классе шум, визг. Вошедший Орлов кинул в девчонок горсть ослюнявленной скорлупы. Негодяй! Пристально гляжу на него. Не замечает. Стоит боком, вытащил сигарету. Еще не легче! Закуривает.

— Орлов!

— Да чо я опять!

— Ты что? С ума сошел? Курить...

— Счас выйду.

— Убрать сигарету!

Идет прочь... Ленивая походочка. Сальные немытые волосы ниже воротника, брюки в той манере, которую только такие и носят, какими-то колоколами, раструбами от колен, на правой штанине заплата — пришто-пана толстыми белыми нитками.

Следом идет к выходу Столяров, и ничем он на него не похож: шея тонкая, торчат в стороны сочни ушей, хлипкая спина в клетчатой рубашке, стоптанные вкось каблуки дешевых ботинок. Дитя... А каков?

— Столяров! Если ты еще будешь читать учебник...

Никакого внимания. Идет себе — не оборачивается.

— Сто-ля-ров!

— Эх вы! — сердито говорит вдруг Чуркина. Оборачиваюсь. Глядит на меня февральскими глазами.— Он же ГЛУХОЙ!! СОВСЕМ!

Спасибо Чуркиной — она помогла мне что-то понять. И очень все просто: пока я не узнаю каждого, с ними не найти общего языка. Ну неужели я сам не мог догадаться, что этот мальчишка Столяров необычен, иногда отвечает невпопад, всегда напряженно смотрит тебе в рот. Глухой! Нет, не он глухой, а я,

раз не смог понять этого мученика и даже зачислил в отпетые хулиганы. Какой же разговор может быть об авторитете? Такое надлежало узнать в первый день. А ведь они молчали, они меня испытывали. И сегодня вынесли мне приговор, который выразила эта Чуркина: «Эх вы!» Изучать каждого? Не слишком ли? Станет ли та же сердитая Чуркина посвящать меня в свою жизнь, и надо ли это? Ходят в школу, учатся, успевают — достаточно. Не могу же я быть нянькой, прислугой и ментором каждому! В конце концов за классное руководство платят всего-навсего десять рублей... У них своя жизнь — у меня своя, и каждый должен сам отвечать за собственные ошибки... Тогда что же я за руководитель?

Эти мысли донимали меня весь вечер, и я ушел из школы тяжело нагруженный ими, так ничего и не разрешив, но склоняясь все-таки более к мысли: «Я — не нянька, здесь взрослая школа, мое дело требовать и — баста». И хотя, конечно, я не успокоился, это помогло мне переключиться на другие дела. Так, например, уже стоя на трамвайном кольце, я вспомнил, что поужинать у меня нечем, даже хлеба осталось чуть, и тот, наверное, засох, и я заторопился — успеть в соседний гастроном до закрытия.

Успел. В магазине было светло и пусто. Продавщицы убирали витрины. Пышная заведующая, молодящаяся дама в красной мохеровой шапочке с жирным от крема лицом и вытаращенными разделенно загнутыми ресницами, кисло взглянула на меня и ворча ушла за перегородку, устало переставляя ноги, натуго обтянутые лакированными сапогами. В магазине, кроме меня, был всего один покупатель — короткий, нетрезвого вида человек в грязной поддевке и в таких же грязных брюках с напуском на кирзовые сапоги. Пьяные, белые глаза. Человек хрипел, обращаясь к продавщицам:

— А вот — хотите? Спорю... Берру палку колбасы... и... съем... Всю... Нну?! Спорю...

Девчонки хохотали.

— А вот спорю,— упрямо повторил мужчина, покачиваясь, как глиняшка, пошел к кассе. Заплатил, вернулся, взял длинную палку полукопченой колбасы и тут же с хрустом стал уплетать, уменьшать на глазах у приседающих от хохота продавщиц.

«На кого похож?» — подумал я, раз и два проходя

мимо приземистого обжоры. Лицо его удивительно напоминало кого-то очень знакомого, но, как часто бывает в таких случаях, я не мог сразу вспомнить и, уложив покупки в портфель, опасаясь, как бы не испачкать жирным тетради, пошел к выходу. Между тем пьяница уже доедал колбасу, держал в руке короткий огрызок.

— Нну, чо? Праспорили? А? — и он вдруг грязно и пьяно выругался.— Эх, вы...

Заведующая решительным шагом вышла из-за перегородки.

— Орлов! — вскричала она.— Ты что? В милицию захотел? Сейчас же, немедленно уходи... Орлов! Немедленно — вон! Я вызываю милицию.

И я понял, на кого он похож. «Да неужели — отец?» — подумал, выходя из магазина.

Я даже остановился. А между тем пьяница, подталкиваемый заведующей и подоспевшими уборщицами, выбрался на улицу. Постоял. Прихлопнул шапку, бурча и матюгаясь. Нетвердой походкой двинулся прочь.

# Столяр Столяров и Лида Горохова

*Любовь должна обогащать людей ощущением силы.*

*А. Макаренко*

*ГЛАВА ТРЕТЬЯ, в которой рассказывается история столяра Столярова и говорится вскользь об одной важной причине сохранения контингента и посещаемости в школах рабочей молодежи.*

Болезнь была самая обыкновенная — грипп, и Вите Столярову никак не хотелось из-за этого лежать в постели. Он вообще терпеть не мог лежать, не мог и не привыкал. В школу он, правда, не ходил — зачем распространять болезнь? — но едва мать с отцом отправлялись на работу и за ними стукала калитка, Витя начинал одеваться, вставал и, вздрагивая от озноба, бродил по комнате, глядел в окно и старался во всем походить на здорового, даже убеждал себя в этом. Голова у него болела, кашель мучил, в горле першило, но все-таки он

чувствовал себя неплохо, ведь оставался в доме один — никто не командует, не кричит, не дает советов, не посылает за хлебом и за сметаной, не заставляет учить алгебру. За хлебом, чаем, сметаной посылают всегда в самый неудобный момент, когда ты с головой занят, делаешь для себя письменный стол и уже радостно видится, какой он будет, видится еще хотя бы по частям. Вот глянцевая, полированная зеркально столешница, такие же тумбы, оклеенные орехом, где под лаком навсегда останется темный узор благородной древесины. Такой стол может сделать только столяр да, пожалуй, и не всякий, а краснодеревец, впрочем, чаще таких столяров называют краснодеревщиками.

Работу эту Виктор любил, хотя сказать так — все равно что не выразить главного, ведь любят же и мороженое, и телевизор, коньки и книги, а это было несравнимо больше, объемнее, вошло в его жизнь еще с тех пор, как он начал помнить себя. И сколько помнил, всегда был подле отца в прохладной темноватой мастерской, играл на длинной, вдоль всей стены крашеной лавке кубиками-обрезками, слушал жаркий живой шорох рубанка, и шелест сползающей под верстак шелковой стружки, и запах дерева. Знал даже вкус этих брусков и досок, с которыми возился — пилил, долбил, выстрагивал — отец. Летом Витя и засыпал здесь на скамье-лежанке.

Когда стал взрослее, это главное часто уводило его от игр и книжек в ту комнату с окном в огород, здесь он чувствовал себя почти взрослым, один на один с инструментом и верстаком, со всеми этими ножовками, фуганками, стамесками и стругами с немецкими названиями: шерхебель, шпунтубель, фальцгобель. У отца было множество прекрасного инструмента, заслуженно темного и потертого, но ловкого и отличного в работе. Под окном стоял старинный дедов верстак, залосненный и со следами пилы. Что делать, когда-то и отец, и сам Витя пробовали именно на верстаке, как пилит ножовка. А вокруг верстака, на полках, полатях и просто в углах, лежало, стояло, сохло и выдерживалось дерево — материал, который добывали, где могли. Была тут твердая, белая и сухая береза, которая всегда нежно пахнет по распилу первым снегом; был тяжелый слоистый дуб — солидное дерево в коричневых прожилках; был каменно крепкий розовый бук, как будто хранивший в своих кра-

пинках щедрость южного солнца; лежали на полках каповы корни-наплывы. Распилишь такой наплыв тонкой пилой-наградкой — откроется неведомое: ястреб парит над ровным полем, зубчатый лес чернеет вдалеке, скачет ведьма в узкой ступе, море катит ровные волны. Много спрятано в каповых корешках, в дереве вообще. Всякая доска и брус живет, смотрит глазками сучьев, говорит о себе цветом и запахом, благоухает то сырой весенней тайгой, как вон та непросохшая лиственница, то теплым медом июльских опушек — его запах хранит липа; пряно и сильно пахнет черно-твердое эбеновое дерево из дальней Африки, и все в нем, в его запахе: дыхание южных рек, ветер саванн и топот слонов.

Витя понимал дерево на глаз, на ощупь, на звук. По одной стружке с закрытыми глазами мог назвать породу, удивляя отца, который сам был неплохим столяром и в веселую минуту принимался рассказывать, что сама их фамилия идет с незапамятных времен. Еще прапрадед делал мебель в царские хоромы и в палаты графов Шереметьевых.

От прапрадеда будто бы хранилось в доме Столяровых зеркало, точнее, рама, потому что стекло давно стало мутным и желтым. Рама же и теперь была хороша: резной, искусно сплетенный венок из лилий, тюльпанов и дубовых листьев, на котором, нагнув нежную голову, сидела печальная русалка. Лицо русалки, полускрытое прядями волос, было безучастно ко всему. Может быть, потому, что никто в него не вглядывался, на нем серела пыль, вытираемая перед праздниками. И только Витя, однажды всмотревшись, понял в лице многое и поразился, долго был в задумчивости и словно бы не в себе. А никогда не надо смотреть русалкам в лицо — так, по крайней мере, говорят сказки...

Делал ли действительно эту раму далекий предок, или оказалась она в доме по случаю (отец мог и прихвастнуть, такое за ним водилось), но однажды подвыпивший столяр Петр Иванович Галкин, с которым отец вместе работал в мебельной фирме, сказал, улыбаясь:

— Ты, Василий, не хвались дедами. Деды и не такое умели. Ну-ко, сам этакую красоту сотворишь? А? Хха... То-то. Раз уж такая твоя фамилия — оправдай.

Виктор помнил, как грозно шумели за столом, не слушали увещеваний матери, а отец клялся, стучал кула-

ком, что такую точно раму сделает. Сейчас же... Немедленно...

— Такую — сделаешь... Хитро, да не очень... А ты лучше, лучше сделай,— подзуживал Галкин.

И отец клялся,— сделает.

Но после праздника все забылось, один только сын помнил похвальбу отца.

Первая самостоятельная Витина вещь была скамеечка — сидеть у печки. Он сделал ее шестилетним и, пока мастерил, рассадил руку, снес ноготь и провел пилой по колену. Скамейка получилась не слишком красивая, но крепкая. И этой ее крепости не переставали удивляться отец и мать, люди, не в пример сыну, рослые и грузные.

— Ты в кого это у нас, Витька,— вздыхала мать.— Кожа да косточки. Ты давай-ка хоть ешь больше... Совсем замрешь ведь. Лицо-то вот только что не просвечивает...

А он никогда не чувствовал себя слабым. В тощем без жириночки теле жила оттренированная сила, заметная лишь по его загрубелым пальцам. В классе, в простой игре — перетяни руку, когда, уставя локоть к локтю, старались пригнуть руку противника, он валил признанных силачей. «Да откуда у тебя сила, комар?» — удивлялись они. Столяров слегка усмехался, думал: «Построгали бы вы столько...»

К восьмому он умел делать все, что положено хорошему плотнику и столяру-белодеревцу. В его комнате стояла мебель, сделанная собственными руками, по своим проектам. Стол с наклонной столешницей, ящиками и ящичками, секретной выемкой в одной из ножек — там хранилась записка от незнакомой девочки, получил на вечере в седьмом классе. Кресло у стола можно было превратить в шезлонг, у него далеко и удобно откидывалась спинка. Книжный шкаф был с переставляющимися полками, тумбочка с шахматной доской. По стенам висели картины, набранные из кусков цветного дерева и просто из старых досок, вставленных в полированные рамы. Он привык искать в дереве нечто трудноуловимое, словно душу, которая жила и обозначалась в трещинках, узорах слоев, пятнах сучьев, и не раз находил вдруг такое, отчего сердце начинало гулко стучать. Вот она — обычная доска, подобрал у разломанного ветхого забора. Время и солнце так изменили ее, отпечатали вечер-

ние тучи, свесы дождя и желтый бледный закат за тем дождем...

Когда комната была обставлена, он принялся за резную раму. Тот же узор — тюльпаны, лилии, листья — он сплел иначе и русалку посадил не так, сбоку, теперь она смотрелась лучше. Он делал раму-венок из крепчайших пород, и это было невыносимо трудно: болели пальцы, ныли руки, а чуть ошибся, сколол, надо было начинать заново. Вечер за вечером, день за днем он резал, точил, выпиливал, и все яснее проступал узор, все радостнее ощущалось свое умение, мастерство...

— Видно ты, Витька, недаром Столяров,— говорил отец, разглядывая работу. Дымил папиросой, а глаза были строгие. Не смотрел — измерял, оценивал.— Что придумал... Прадеда превзойти... Мал ты еще, конечно... Но... Через эту самую мебель, дед мне говорил, вольную нашему роду дали, будто бы от императора Павла, потому что наша мебель была лучше английской.— Оглядывал раму, советовал, вздыхал.— Ты бы лучше, сын, не рвался в столяры... Конечно... Счас говорят: династия... А лучше бы... Не хотел бы я этого... Что из того, что вот я — столяр? Краснодеревщик, модельщик. Что я за всю жизнь видал? Рубанки... Калёвки. И ты моей дорогой — дерево нюхать? Гляди-ко, руки-то у меня? А? Двух пальцев вон нету — пила съела. От дерева одеревенеешь. Это уж точно...— и уходил, сунув окурок в баночку с водой.

А Виктор знал: работу свою отец ни на какую не сменяет, хоть никогда в этом не признается, а поплакаться любит, посетовать на мозоли, особенно если выпьет. Такое случалось нередко.

Однако в училище Столяровы-родители сына не пустили. «Сказано: кончай десятилетку,— а там как хочешь...» И, скрепя сердце, он подчинился, столяром-модельщиком без образования не станешь, мастером, как отец, и подавно. Он словно бы чувствовал — и сейчас не уступит отцу, может, лишь в глазомере... Отец, раз взглянув на брусок, мог назвать все его качества.

А болезнь была самая обыкновенная — грипп. Необычным оказалось осложнение, которое он получил в нетопленой мастерской, трудясь над рамой. Никак не получалось лицо русалки: то было слишком подобным

той, что сидела на старой раме, то получалось чересчур человеческим, то некрасиво скучным, а надо было найти необыкновенное в обаянии, волшебное лицо. И, забыв о времени, о болезни, подолгу сидел он в тяжелом и радостном раздумье...

Сначала уши неприятно заглохли, точно в них налилась плотная вода. Потом слой воды стал толще, тяжелее и пришла боль. Боль стояла неделями, давила виски, становилась глуше, и наконец что-то сомкнулось, как смыкается вода. Боль кончилась. Пришла постоянная тишина. Странное нелепое состояние: он перестал слышать свой голос, только чувствовал его по движению языка, скул и губ. Не помогли и два месяца больницы. Он остался глухим. Поначалу это было невыносимо. И никто не видел, как Витя Столяров в своей комнате отчаянно тряс головой, прыгал на одной ноге, пытаясь вылить из ушей эту плотную воду, и, не добившись, стукался головой о стену. Боль от ударов словно на секунду сдвигала тишину, но прибегала мать и начинала беззвучно открывать рот.

Удивительно — он понимал, что́ она кричит, понимал по всему выражению лица. Надо было лишь пристальнее вглядеться.

— Витенька? Горюшко? Что с тобой? Ох ты, господи... Витя? Болит голова? Уши — а? — и показывала на уши.

Тогда он отрицательно отмахивался, с трудом говорил: «Нет!» Мать уходила. А он долго сидел на кровати и за столом, направлялся было в мастерскую, осматривал и трогал совсем готовую раму — одна русалка только была все еще без лица — и, потрогав, постояв, шел обратно. Больше он не принимался за работу... Постепенно Столяров узнал, что его ждет худшая беда — глухие со временем становятся немыми. Чтобы не поддаться ей, он начал читать вслух, просил мать слушать и по меняющемуся, темнеющему лицу угадывал, что мать пугается его голоса. Голос в самом деле звучал странно, неверно, стал глуше, как будто выцвел, потерял окраску, которую все мы незаметно для себя придаем всякому сказанному слову, сверяя его со своим чувством. Но все-таки говорить он не разучился, читать вслух не бросал. Так прошел год. Витя Столяров стал различать сильный крик, а по движению губ научился понимать сказанное.

Пропустив год, отстав от товарищей, он отказался идти в школу. Однажды за вечерним чаем объявил:

— Пойду работать...

— Куда? Зачем? Что выдумал? А лет сколько? — такова была реакция родителей.

— К тебе на фабрику.

— Не пойдет.... Учиться надо.

— Буду в вечерней.

— Как? — отец показал на уши.— Сперва вылечись...

— Пойду работать...

Отец замолчал, смотрел на мать, потихоньку отпивая чай,— всегда так, ждет ее решения. Мать молчала.

— Ладно! — сказал отец. — Поговорю... Может, устрою...

Так Столяров стал столяром.

Куда как трудны были первые дни в новой школе. Ничего не слышал, плохо понимал. Отвечал невпопад, и на него таращились, хохотали... От постоянного усилия: понять-понять-понять! — ломило виски. Когда отупелый и отчаявшийся шел домой, одолевала дурнота и, превозмогая ее, подолгу он стоял у заборов, глотал снег, а иногда и плакал. Может быть, он бросил бы школу, не выдержал, если б не случилось нечто...

А дела на фабрике быстро шли в гору. Ученик Столяров все понимал (даром что глухой!), все знал и умел, старые рабочие удивлялись, хвалили. Поначалу работал на нестерпимо воющем рейсмусовом станке, возле которого все были в наушниках, а он обходился так и был счастлив, что *слышит* этот станок. На рейсмусовом выравнивали, доводили до кондиций стружечные плиты — основной материал, из которого теперь делают мебель. Через месяц старательного ученика перевели в модельный цех, Столяров стал учеником модельщика в «экспериментальке» — мастерской, где работали по эскизам художников самые опытные рабочие фирмы. И здесь его приняли хорошо, хвалили за понятливость и усердие, хотя Виктор понимал: за модельщиками с налету не угонишься. Эти старики — может быть, на самом деле они и не были стариками, а лишь такими ему казались — понимали дерево, как хороший скульптор понимает глину и камень, а художник краски...

Все работавшие тут были немногословны, потому что *хороший* рабочий никогда не бывает болтуном, были неторопливы, и опять же *хороший* рабочий не

бывает торопыгой, а особенно таким не был учитель Столярова Петр Иванович Галкин — он же дядя Петя.

В первый же день Виктор порезался — случайно тронул лезвие стамески на верстаке дяди Пети.

— Ага?! — погрозил Галкин.— Наука... С инструментом, как с девкой. Осторожность нужна... Это раз... Второе — держи инструмент острым... Два... Время на точку не жалей... Три... Тупой инструмент у тупаря, у лодыря. Это четыре...

Столяров кивал, посасывая палец.

— Силу учись распределять,— как бы про себя говорил дядя Петя.— В работу входи полегоньку... Нахрапом в нашем деле ничего не делается... Ты с утра как взялся? А к обеду? Видишь? То-то... Человек — не машина. И машине отдых нужен, смазка, а человеку — еда и отдых. Поработал — передохнул, поработал — передохнул... Так надо.

Обеденный перерыв дядя Петя делил надвое. Еду и отдых. В столовую ходил редко. Далеко, время теряется. Обычно был при нем судок с борщом, с котлетой, термос с чаем. Чай он понемногу пил и в коротких перерывах для передышки. Не курил. Поев, ложился на верстак — телогрейка под голову: не то спал, не то просто лежал, расслабившись. Инструменты у него были в строжайшем порядке. Не глядя брал, не глядя клал на место. Дядя Петя ничего никогда не искал, ни у кого не спрашивал и сам не любил давать инструмент. Это знали. К нему не обращались. Стружки не валялись у его верстака, падали в алюминиевый ящик,— ящик, передвигавшийся взад и вперед, только нажми ногой. Над верстаком висел голичок, которым столяр сметал опил и мелкие осколки. Работал дядя Петя словно бы не уставая, без пота, без одышки и за день всегда обгонял товарищей по мастерской. Ему завидовали вслух и за глаза. Но никто не следовал его примеру,— таковы ли вообще русские люди или у этих опытнейших мастеров были свои взгляды на труд, свои многолетние приемы и привычки, за которые каждый держался, не желая подражать другому... Это было как почерк.

А Столяров учился у всех и хотя прежде всего у Галкина, но и у Четверикова перенял манеру выверять прямизну, у Булгакова — строгать длинными точными движениями, у Симонова — пилить так прямо-тонко,— распил получался подобно бритвенному срезу.

Изредка в мастерскую заходил отец, и рабочие принимались хвалить Столярова-сына. Дерево понимает. Учится с охотой. Да и учить-то почти нечему — знает сам. Послушен. Учтив. Со старшими не зубатит. Теперь такое-то в редкости. Счас что? Только патлы ро́стить да зубы скалить...

Витя Столяров уходил: не слишком-то приятно, когда тебя так вот нахваливают...

Теперь пришла пора сказать, почему в школу он собирался с особым невероятным старанием.

Через месяц после начала занятий, как раз в ту пору, когда он совсем твердо решил: «Брошу. Не могу больше! Все...»,— в одну из перемен в класс вошла новая девушка в гладком шелковом платье, вся нарядно блестящая, свежая, с каким-то особенно здоровым полевым румянцем на круглом улыбчивом лице. Длинные волосы лежали по спине ровной прямой линией, ресницы и брови были темнее волос. Обалдело глядя на вошедшую, Столяров раскрыл рот, устыдился и даже сделал попытку отвернуться. В это время он стирал с доски... Но попытка отвернуться была совершенно безнадежная — девушка словно бы поворачивала его к себе. И его ли одного, потому что на нее уже таращились все парни в классе, а Павел Андреевич вдруг перестал дремать. Кто-то узнал пришедшую. Это была Лида Горохова, прошлогодняя ученица. Вернулась из колхоза.

Водя тряпкой по доске, бесцельно стирая уже стертое, он увидел, как девушка подошла к парте, и его бросило в жар, когда он понял: она сейчас сядет с ним, за одну парту!! Она действительно спокойно уселась,— уже звенел звонок,— стала доставать тетради и ручку. Видимо, и раньше сидела тут, в среднем ряду перед учительским столом — иначе с чего же ему, Столярову, выпало такое счастье! А то, что это было СЧАСТЬЕ, он понял, едва она вошла и еще не поставила портфель на его парту. Вот почему, смущенный и потрясенный, вытирая мокрые замеленные руки о штаны и не замечая этого, он побрел на свое место внутренне весь напуганный, заранее огорченный ожиданием, что девушка сейчас же встанет, заберет портфель и пересядет; в классе их было много — пустых парт, и девушки сидели поодиночке, как Чуркина, или плотными сообществами, как пятерка с камвольного и продавщицы.

Но Лида только потеснилась, разглядывая его серь-

езными, слегка улыбчивыми глазами, спросила: «Ты тоже здесь сидишь?» И он, понимая и не понимая ее вопрос, как-то одновременно, дважды кивнул, сел, боясь лишний раз взглянуть на нее, лишний раз скосить глаза и хоть этим оттолкнуть, спугнуть ее. Может быть, даже бессознательно он просил кого-то, чтобы она осталась сидеть с ним. И она осталась...

Еще целых две недели он жил в постоянном испуге: вдруг все-таки пересядет, уйдет, «бросит» его и только когда твердо убедился, уверовал, что соседка не собирается перемещаться, ходит в школу каждый день,— снова почувствовал себя счастливым; таким счастливым он не был даже в лучшие свои дни до болезни, и в школе ему стало легко и привычно, как в той первой его школе, которую называли детской и где училась незнакомая девочка, приславшая ему записку. Девочка-девочка, она совсем забылась, как и ее записка. Теперь одно имя, одно доброе, легко розовеющее лицо, один взгляд безраздельно заполняли душу столяра Столярова. Лида Горохова... Лида. Она все время была в глазах, виделась во сне, грезилась в каждой встречной. Ее платья, юбки и туфли были для него чудом красоты и моды. Надо быть справедливым, на Гороховой дивно сидела самая простая одежда, не говоря уж о том, когда Лида входила в класс принаряженной. Тогда самая большая модница школы, похожая на молоденькую черноглазую антилопу, Света Осокина ревниво распахивала свои большие глаза, поджимала губы и вздергивала гордую голову. Красота Лиды была полным контрастом красоте Светы Осокиной, которая заслуженно считала себя красавицей (неизвестно, считала ли себя красавицей Лида), но если от лица и платья Гороховой никогда не веяло огуречным лосьоном, пудрой «Нежность», лаком «Прелесть» и духами «Красный мак» и никогда не было даже следов зелено-голубых маслянистых теней, придающих самому юному лицу вполне определенный намек ранней искушенности, то на лице и пальчиках красавицы Светы все косметические новинки находили свое наилучшее применение. Было уже как-то невозможно представить Свету без постоянной густо-черной окраски век, черных, в тон ресницам, бровей, губ то красно-бронзовых, то перламутрово-воспаленных. Волосы Светы всегда были в искусно сплетенной прическе, так что совсем не замечался большой красивый шиньон, принимавший вместе с

волосами то цвет рыжей корицы, то разных оттенков орехового дерева, то цвет крыла индийского ворона, то цвет зимней овсяной соломы с мерцающим переливом. Но все-таки вряд ли стоит описывать дальше достоинства Светы Осокиной, тем более что рассказ идет о Столярове, а он никогда не смотрел в сторону парты, где сидела Осокина, и ровно столько же или еще меньше обращала на него внимания сама Света.

А Лида Горохова была так проста, что заботилась о нем постоянно, в особенности, когда узнала о его беде. Писала ему, если он не мог понять, потихоньку исправляла ошибки в сочинениях, подталкивала, сообщая, что надо отвечать, и достала ему учебник-азбуку для глухонемых. К удивлению Столярова, Лида немного владела этой азбукой, быстро объяснила ему главное, и уже через месяц они переговаривались знаками, улыбались друг другу. Лида Горохова как будто родилась для того, чтобы всем помогать,— это было даже в ее взгляде, как бы содержащем вопрос: «Помочь? Я сейчас...», в движении крупных ласковых рук, в манере держаться. Впрочем, ведь она работала медсестрой!

Как часто теперь, возвращаясь домой черной зимней ночью, в привычной уже немой глухоте Столяров останавливался, бросал портфель, смотрел на желтые глазки звезд в призрачно-беспредельной высоте, спрашивал их о чем-то ему только ведомом и, получив немой ответ, вдруг, захватив голову, начинал смеяться судорожным и как бы сумасшедшим смехом. А потом он оглядывался, подымал сброшенную шапку, портфель и бежал, бежал по пустынной улице, пошатываясь и оскользаясь. Он и впрямь походил на сумасшедшего.

Он никогда не признался бы ни отцу, ни матери, ни самой Лиде Гороховой. ЛИДА! Это имя было больше, чем женское имя. И не вспоминая помнил, твердил, нес его. ЛИДА... И в душе начинала расти, шла, как будто гонимая ветром, радостная высокая волна и обрушивалась, затопляя его до пятен румянца. К нему словно вернулся слух, как вернулось ощущение радости; что там вернулось — оно засияло новым и широчайшим светом. О, счастье быть с ней каждый вечер, быть, ощущая странный ток близости в постоянном восхищении, в удивлении ее улыбке, ровноте брови, скосу ресниц, малине губ, подчиняясь проникающей ласке взгляда, всегда похожего на солнце сквозь дождь.

И в то же время, хотя он сидел с ней за одной партой, касался плечом и локтем и всегда был с ним этот ее запах — дождя и солнца, может быть, так пахли ее волосы, часто падавшие со спины на локоть согнутой руки и отгораживавшие Лиду тяжелой шелковистой завесой,— он любил Лиду (как не подходит и здесь это книжное, слишком обычное слово, а надо бы выше и выше, выше всех этих «лелеял», «дышал» и «молился», в ы ш е и п р о щ е), любил как нечто священное и недоступное, что нельзя жадно и собственно схватить, тащить к себе... Так и подобно тому можно любить высокие горы, их недоступные снега и вершины, даль рек и полей, солнце, цветы в утренних росах и краски ранних синих зорь. Удивительно странно и точно напоминала она все это сразу. Даже в том, как отводила золотящиеся мерцающие пряди, сбрасывала на спину одновременным движением головы и руки, открывала свой нежный профиль, серо-голубой и дождевой зелени топаз глаза,— было что-то от утра, летнего поля, июньской ржи, жаворонков и васильков.

Украдкой или даже совсем не глядя, с м о т р е л он на нее и вспоминал, видел большие, как степь, поля — поля под высоким терпеливым небом. В Поволжье... На родине матери... Он был там всего один раз, давно-давно. Деревня стояла далеко от Волги среди холмистой равнины с неблизкими меловыми обрывами, с оврагами, бегущими вниз. В оврагах, на осыпях, желто и красно светилась обнаженная глина и перестойно шуршали, клонились по ветру на самом краю бронзоватые, вобравшие зной и сухость колосья. И все кругом, насколько было видно, волновалось той переливающейся, как мех степной лисицы, живой волной. Дул ласковый ровнотеплый ветер. За горизонтом, угадываясь, текла огромная, как вечность, река. И небо над всем: полями, полянами, редкими лесочками, коньками изб, шумящими тополями, оврагами — было как вечность, тянуло душу высокими парусами облаков, своей исконной великой неподвижностью.

Помнилось, сидя на краю оврага, глядя в это небо, в его простор, он вдруг однажды заплакал, расплакался навзрыд, сотрясаясь всем телом,— зачем, и отчего, и от каких причин? И долго еще, облегченно светло и свежо, сидел он, щупал сухой дерн, вытирал остатки слез кулаком, весь во власти потрясшей душу неведомой тоски

и сладости. И это навсегда осталось тайно с ним и, странно, объяснялось как будто лишь теперь, за партой, рядом с Лидой...

У Лиды Гороховой крупные белые и ласковые руки. Такие руки бывают лишь у очень терпеливых женщин. Наверное, все, к чему прикасаются они, испытывает ласку. Берет ли Горохова ручку, открывает тетрадь, ищет в портфеле резинку, листает книгу, оправляет юбку — все делает мягко и спокойно, только так и никак иначе.

В больнице она работает сестрой, а по нужде и няней, и палатной сиделкой у тяжелых, и регистраторшей, и кастеляншей. В больнице Лиду знают все: от крикливой хромой гардеробщицы, постоянно напоминающей, что «она тут самый маленький человек»,— странный, не правда ли, способ утвердить собственное достоинство — до главного врача, кислого, грубоватого, хмурого, в вечных заботах мужчины. Встречая Лиду в коридорах, главный терял свою кислость, кивал приветливо, иногда останавливал, спрашивал щедрым голосом: «Как дела? А?» Впрочем, и Лида улыбалась главному. Она не умела быть неприветливой — вот свойство подлинных красавиц и тяжкий недостаток в глазах всех красивеньких. Итак, она не умела быть неприветливой, хотя ей вовсе не нравился этот человек, со всеми прочими, не исключая врачей, грубый и властный. Лицо Лиды обладало способностью излучать тепло и свет, и к этому свету тянулись больные, сотрудники, все, кто приходил навещать.

«Лида! Лидочка!! Лидуша! Где же Горохова?»— только и слышалось, хотя она работала тут всего год.

И в классе Лида без усилий затмевала яркую, капризную, все время позирующую Осокину. Может быть, не столько своей красотой, ни в чем не сходной с Осокиной, а все той же способностью бесконечно помогать, что-то делать необходимое другим, хотя бы участливо слушать и смотреть. Может быть, все человечество неравно делится на тех, которые вечно работают и помогают, и на тех, которые только и делают, что ищут, требуют, взывают к помощи, заботе и вниманию первых, считают все это обязательным и необходимым по отношению к ним, страшно обижаются на первых и никогда

не судят себя по собственным строгим меркам. Как бы то ни было, Лида относилась к первым, и ее уважали, если такое определение подойдет к взбалмошному, раздерганному и недружному классу.

Изводил Лиду лишь Орлов. Он надоедал бесконечными приставаниями, дикими выходками, на которые был удивительно изобретателен. Хулиганская изобретательность Орлова была явным контрастом к тупой и ленивой внешности. Плюнуть жеваной бумагой, походя подставить ногу, толкнуть на парту или на проходящего, оборвать в раздевалке вешалку, украсть и спрятать книги, сунуть в парту записку из тех, которые, раз прочитав, Лида рвала, дальше уже не развертывая,— все это мелочи в сравнении с тем, когда Орлов присаживался на парту Гороховой и приходилось отталкивать его грязные, в синих наколках руки. В таких случаях Лида уходила в коридор или за нее вступалась Тоня Чуркина, человек крутого и сильного нрава. Затрещин Чуркиной Орлов как будто побаивался. В остальном его было некому остановить. Столяров бледнел, отмалчивался и тоже уходил. Странным казалось лишь то, что во всех приставаниях к Гороховой Орлову никогда не помогал Нечесов. Он даже не подходил к парте, словно бы вообще не замечал Лиду, не в пример другим девчонкам. Там он был нагл, нахален, небрежен, прилипчив не меньше Орлова. Он и Чуркиной не боялся, словно бы нарочно напрашивался на ее гулкие тумаки.

И все-таки если в школе, да что там в школе, в районе, может быть, в городе провести конкурс красоты — неизвестно, почему они не проводятся, что тут плохого,— в нем победила бы Лида Горохова — славянская северная княжна в скромном платье больничной Золушки. Каюсь. Временами, дав классу письменную работу, я отходил от стола к окну и, стоя там, опираясь о холодный подоконник, забывал, что я учитель и классный руководитель. Я смотрел. Я смотрел на склоненную льняную голову, где так и чудился недостающий золотой обруч, какой носили в старину северные славянки, на густую челку, под которой мерцал внимательный прилежный глаз, смотрел, как спокойно отводит волосы рука, большая и совершенная, с длинными осторожными пальцами, и пальцы иногда замирают, придерживая

струящуюся прядь... Но не слишком ли много вы смотрите на ученицу? Не забываете ли, кто вы...

— Нечесов! Работайте!

— Орлов!

— Задорина! За списывание ничего, кроме двойки...

Лида задумывается. Тогда в ней очень много от зари и воды. Точно раннее утро на озере. Солнце не взошло еще, и все дремлет, молчит оцепенело, одна заря тихо и спело рдеет.

Все время удивляюсь, как подобна эта девушка природе. В лучших женщинах всегда есть это свойство. Не замечали? Ну, вспомните, как могут быть они пасмурны, и снежны, и ласково теплы, как лучший майский день, как могут быть ненастны, каким спелым августом может полыхать их обрадованный взгляд. Человек подобен природе, и женщина — особенно. А может быть, она и есть сама природа, ее смысл и тайна...

Позвольте-ка... Что это? Классный руководитель, размышляющий о женщине? Да еще глядя на ученицу?! О, успокойтесь... Успокойтесь, пожалуйста, ревнители педагогической чести. Помилуйте великодушно... Я смотрю самым суровым взглядом. На лбу поперечная морщина. Мне недоступны страсти. Никаких эмоций. А голос — послушайте мой голос:

— Фаттахов! Что там такое? Убрать книгу!

— Задорина? Еще одно замечание — и работу не приму...

— Орлов!!

— Что, Нечесов? Уже написал? Быстро... Проверь как следует... Можешь идти.

— Кондратьев! Сейчас будет звонок, а вы еще не начинали. Пишите, работайте...

А все-таки, неужели Горохова понимает меня?

Вот повернула голову. Солнце взошло над озером. Зазолотилась вода. Вспыхнули вершины. Проснулись птички, поют цветы — такая у нее улыбка...

# У Бармалея

*Бармалея, Бармалея громким голосом зовет.*

*К. Чуковский*

*ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ, в которой рассказывается, как Владимир Иванович встретил Бармалея, побывал у него в гостях, узнал, что Бармалей умеет угадывать чужие мысли, подивился Бармалеевой логике и благополучно вернулся обратно с книгой французского философа Ле Дантека.*

Вчера у меня был триумф. Пришли двадцать пять! Все до единого! Я торжествовал, ходил награжденным. Я улыбался. Мне хотелось говорить комплименты женщинам, завучам, Борису Борисовичу, Нинам Ивановнам, которые теперь щеголяли в изысканнейших сапогах на платформах (Нина Ивановна английская — в белых, Нина Ивановна немецкая — в черных), я сказал, что они бесподобны, в ответ получил по косметической улыбке. Нины Ивановны улыбались, как кинозвезды, как девушки с переводных картинок, которые парни-стиляги клеят на сумки, гитары, портфели и мотокаски. У Василия Трифоныча я спросил что-то насчет разведения кроликов, и он, зардевшись точно школьница, улыбаясь девичьими вставными зубами, сообщил, что достал серебристо-черных: «Это... Вот, как чернобурка... Это». Долго объяснял, чем их кормить. Даже администрация, узнав от библиотекарши о стопроцентной посещаемости в 10 «г», не поленилась лично заглянуть в полный класс, похлопав меня по плечу, изрекла:

— Что ж... Хорошо! Отлично... Поздравляю... Густо у вас. Молодец... Так держать... Отличника дадим... Заслуженного... Лет через двадцать...

А на другой день, как бы в подтверждение истины, что за радостью всегда следует горе, в пустом классе за партами сидело пятеро. Вы уж, наверное, сами догадались кто? Ну да... Они... Чуркина, Горохова, Столяров, Алябьев и уполномоченный Павел Андреевич. Павел Андреевич, видимо, решил закончить школу самым надежным способом и самым простейшим — учить ничего почти не учил, зато ходил аккуратнейшим образом. Как тут поставишь двойку? Пусть человек и вовсе не отвечал

или сказал два слова — во-первых, посещает, а следовательно, слушает, а следовательно, усваивает, во-вторых, возраст, в-третьих, все-таки милиция...

Итак, пятеро. Нет — двадцати... Кошмар! ЧП! Причина?

Началось первенство мира по хоккею. С шайбой. С шайбой... «Шай-бу! Шай-бу! Шай-бу!» Я уже говорил, что телевизор — враг школы рабочей молодежи. Школы ли только? Пусть это выяснят модные теперь социологи, всякие там эксперты-компьютеры, прогнозисты с тестами... Лет двадцать назад обыкновенный нормальный человек вечерами ходил в театр, смотрел кино, читал книги, гулял на свежем воздухе, любовался закатами и облаками, в парке бродил, по проспектам фланировал. Теперь человек в кино не идет, в театре не помнит, когда был, книги, правда, покупает, ставит в застекленные полки (читать он будет, вот только на пенсию выйдет) — зато даже утром, в трамвае, в метро, на чей-нибудь пахучий водочный вопрос: «Какой щщет?» — тотчас ответит: «Шесть-два!» Спроси его, этого человека, кто первый ступил на Луну? Задумается. Спроси, кто больше забил шайб? Ответит: «Харламов!»

Так думал я, пока ехал домой в пустом трамвае (шведы играли с чехами). Было тепло. Таяло. Что за зима? Ни одного мороза. Вчера с густого влажного неба сыпалось нечто вроде дождя и пахло дождем, а вечером подул дальний и мокрый ветер. Он был словно морской — дышалось легко. И щемило душу. Тихонько. Все что-то ждалось...

Я посмотрел в окно. Трамвай разогнался, его болтало, качало на рессорах. В темноте мчалось, мерцало рядом мокрое шоссе, и редкие машины с трудом обгоняли трамвай. А в пустом вагоне на переднем сиденье дремал пьяница. Он все время ловил сползающую шапку, водружая ее на затылок, после чего шапка тотчас начинала ползти на нос и он снова ее ловил. В конце концов шапка свалилась.

Я присмотрелся к своему отражению в окне. В черном стекле лицо казалось сурово благородным и нравилось мне. Я нарочно вжимал щеки, сводил брови — из картинной тьмы глядел скорбный Печорин (на самом деле вовсе я не похож на Печорина и на Онегина не похож, ничего такого во мне, по-моему, нет). Пожалуйста... А еще я думал, что десяток-два лет назад люди

были ближе друг к другу, сострадательнее и теплее. Или кажется так? Или были мы победнее, хуже одеты и не так откормлены, не у каждого был холодильник и сад, и уж далеко не всякий жил в бетонном благоустроенном соте, в своей ячейке за английскими замками. Английский замок. Замок. Английское равнодушие... Почему такой замок сделали-изобрели в Англии?..

А русский замок? Амбарный калач. Чем лучше? А чем-то лучше... Он хотя бы на виду, и то легче. Теперь вот и с соседями ты можешь не знакомиться (если они тебе не мешают), и наплевать тебе на соседей, как они живут, что-то пьют-едят, ссорятся ли, мирятся, лишь бы не включали слишком громко свое радио или телевизор. И соседям на тебя тоже, наверное, наплевать. Ну-ка, сам-то я — исключение? Живу в своей однокомнатной уже год и никого не знаю, разве что старуху, страдающую одышкой. Когда взбирается она на свой девятый этаж (лифт-то ведь не работает) и присаживается отдохнуть прямо на ступеньки, я прохожу мимо, обхожу ее и чувствую себя гадко. Сегодня предложил ей донести сумку с хлебом, а она посмотрела вот так — и отказалась.

Наш бетонный девятиэтажный кирпич стоит на глинистом бугре, и хотя проложены асфальтированные дорожки, на асфальте до сих пор вязнут ноги. Раньше тут на месте девятиэтажки стояли длинные прогнутые бараки с латанными толем и рубероидом крышами. Густо текла общественная жизнь с керосинками, примусами, закопченными кухнями и с коридором, который никому не хотелось мыть. Каждый пригораживал к своему окошку садик-палисадник, там росли картошка, лук, пара подсолнухов и бобы, не доживающие до спелости, имелась там и скамеечка, где за кружкой разливного пива можно было посидеть с соседом в знойно-безветренный июльский день. Можно было под крик ребятишек, писк чьих-то цыплят и пряный дурман, навевающий временами от беленой помойки, помечтать с соседом о лучшем будущем, обсудить международное положение и происки агрессоров. О, засыпанные шлаком, утрамбованные ребячьими пятками барачные завалинки на теплом закате, когда длинным рядом сидят на них старухи, и женщины, уже вышедшие в тираж, и женщины, еще втайне много ждущие, с молодыми глазами и коленями... Что это? Неужели жалею бараки? Те, которые проклинал сам... А все-

таки что-то с ними ушло, потерялось безвозвратно. Вот раньше в любой деревне стукни вечером в одно, в другое окно, просись переночевать — пустят, примут, чаем напоят. Ну-ка, постучитесь теперь в любую бетонную ячейку с той же просьбой... А кто и раньше в деревне не пускал ночевать? Только богатеи... Полно! Что за мысли лезут?.. Подобрать, что ли, у пьяницы шапку? Человек ведь... Тем более, скоро выходить. Подобрал, нахлобучил на сонно мычащего. Растолкать бы, спросить, куда едет... Еще матюгом пошлет за усердие. Ладно. Сам разберется.

«А все-таки надо мне что-то с классом делать. Надо...» — бормотал я, идя от трамвайной остановки по кислому снегу, подставляя ветру лицо. Я все еще плохо ориентировался в новом районе, особенно ночью среди однообразно вздыбленных серых корпусов, одинаково светивших шахматной сеткой своих окон. От этих окон, которые все больше гасли, веяло кибернетикой, перенаселенным будущим, землей без лесов и полей. Странно подумать, если все покроется этими микрорайонами, и они превратятся уже в сплошной макрорайон без конца и без края — земная галактика из миллиардов индивидуальных светил. Перенаселенная земля. Таблетки вместо колбасы, планктон вместо масла и чистая вода по норме, скажем, три литра в сутки. Ужасно. Не хочу такого будущего... Да и кто хочет? Ну, авось на мой век хватит чистой воды, лесов и воздуха. А после нас? Хоть потоп? Нет. Положительно сегодня я не в духе, и все видится в черных красках. А вот и мой дом-утес, и вон темные окна моей однокомнатной, где живу все еще вроде беженца-переселенца.

Квартиру мне дали нежданно-негаданно, как уволенному в запас офицеру, и теперь, после расформирования кафедры, где я служил, квартира осталась за мной к нелегкой зависти всех моих знакомых и товарищей по службе. Не знаю в точности, что такое зависть — доброе качество, стимулятор общественного движения, как считал, например, даже Пушкин, или пагубная страсть, однако из-за квартиры я, кажется, начал терять товарищей и сослуживцев. Теперь, если ко мне и заходили, то, должно быть, лишь затем, чтобы напомнить, что я — счастливчик и что с меня причитается. По этой причине я отпраздновал уже свыше десят-

ка новоселий и так подорвал свое финансовое состояние, что жил пока без мебели и спал на неудобной расползающейся раскладушке. Даже книги не успел устроить как следует. Они лежали связанными пленниками, ждали своей участи. Мудрые добрые книги! Вы не роптали. На вас я тратил еще скудную студенческую копейку, расплачивался жестокой изжогой — прямым следствием недельного питания хлебом с жиденьким столовским чаем, и вы честно служили мне. Мои книги! В них было много мудрых педагогических раздумий, методических советов. В них не было только совета, как собрать расползающийся недружный класс и решить все то, что администрация называет «сохранением контингента». Проще всего было бы, конечно, плюнуть, махнуть: что я — бог, что ли? Ну, не идут! Не хотят! Не могу же я каждого приводить за ручку? Все-таки кое-что я делаю... И у других не лучше.. Останется к весне человек десять... Пусть... Пожурит администрация. Эка беда. И другим классным держать ответ за «отсев», не тебе одному. Однако — это ведь значит согласиться с Василием Трифонычем, продолжить его, расписаться в бессилии... Вот ведь как получается.

И на следующее утро я шел по набережной городского пруда, направляясь в учительскую библиотеку. Библиотека эта и размещалась в Доме учителя, благообразном особняке девятнадцатого века. Если б не библиотека, вполне приличная, я бы никогда не переступил порог этого дома, где для учителей устраивались время от времени вечера с танцами под баян и выступал хор ветеранов труда.

За ночь и следа не осталось от вчерашней оттепели. Ветер круто повернул с севера, ударил мороз, и мелкий колючий снег, солоно блестящий, покрыл тротуары. Снег искрился, хоть было пасмурно, ветром мело с ледяной равнины пруда, местами зеленеющей гладким льдом. Мороз как будто усиливался с каждой минутой. Зима спешила наверстать свое. Я укрывался от ветра воротником, оттирал морозные слезы, но ни за что не хотел опускать уши у шапки. Почему-то это всегда не хочется делать. Я торопился скорее проскочить набережную, чтобы укрыться за стенами высоких домов на проспекте. На проспекте и набережной было по-утреннему пусто. Виднелась всего одна странная фигура в долгополой шубе, достойно и неуклюже шест-

вующая навстречу. Издали человек походил на усатого моржа в надвинутой на уши каракулевой папахе. Когда он приблизился, его красное, накаленное морозом лицо обнаружило сходство с Тарасом Бульбой или с одним из тех запорожцев, которые пишут письмо турецкому султану. Лицо было мне очень знакомо...

«Хм, это же наш Бармалей! — пробормотал я, приостанавливаясь.— Вот так встреча... Я его лет десять не видел... Больше... Пятнадцать... Думал — в живых нет. Бармалей!»

Это был наш школьный учитель литературы Яков Никифорович Барма. Давно. В той школе, куда я ходил еще до учебы в ШРМ. Я — тоненький подросток в отгорелой курточке и в никогда не глаженных штанах, вытертых на коленях до клетчатой ниточной основы. И ничем я, наверное, тогда не отличался от теперешних Столярова, Нечесова... Почему-то из всех учителей, которые прилежно или равнодушно вбивали знания в мою не слишком усердную голову, накрепко остался со мной только Бармалей. И не за его прозвище. Прозвища были почти у всех учителей, и какие разные! Вот, например, учителя труда, от которого часто попахивало бражным духом, все мы звали Наливкин, хоть фамилия его была совсем несхожая. А дальше не продолжаю... Но если от Наливкина в памяти остался только запах, то Бармалей жил в моей памяти весь, до мелочей. Я помнил его острый, немного насмешливый взгляд, маленькие крестьянские глазки, простецкий нос, запорожские усы, уже тогда наполовину седые. А его голос, которым он мог грохотать, уподобляясь Маяковскому, и шепелявить, как маленькая девочка, и читать с задумчивой свирельной лиричностью музыкальные строфы Фета! Но особенно непередаваемо читал он Гоголя. Тут у Якова Никифоровича не нашлось бы соперников и среди профессиональных чтецов. Любой из них сложил бы оружие, едва взглянув на шевченковский лоб, на глаза, мудро глядящие исподлобья, на усы, когда, картинно отставив вбок и наотлет книгу, читал он нам — всегда без очков,— не читал, вещал:

«Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии!» — и в словах, и даже в том, как умел он произнести, было все: солнце, летнее утро, роса, ветерки — вся истома земли в затевающемся бесконечно долгом дне.

Из сладкозвучного певца легко обращался он в пузатого Пацюка, в кляузного Ивана Ивановича, в невероятного Ивана Никифоровича, в Голову, в Солопия Черевика, даже в Вия, когда железным скрежуще-медленным голосом — мороз драл по коже — говорил: «ПОДЫМИТЕ... МНЕ... ВЕКИ!» А когда читал Бульбу, все мы, сами читавшие не один раз, видевшие в кино, сидели окаменелые, даже не смахивая, не пряча слезу, а девочки плакали, не стесняясь.

«Прощайте, товарищи! — кричал он им сверху.— Вспоминайте меня и будущей же весной прибывайте сюда вновь, да хорошенько погуляйте!»... А уже огонь поднимался над костром, захватывал его ноги и разостлался пламенем по дереву... Да разве найдутся такие о г н и,— медленно, углубляясь в себя и как бы раздумывая за всех нас, доносил учитель,— м у к и и такая сила, которая бы пересилила русскую с и л у!»

Опускал книгу. И все видели, что и он, учитель, в с л е з а х и, медленно достав платок, отирая их, говорил нам всем: «Вот она, братцы, штука-то какая... Ли-те-ра-ту-ра!» И, подняв палец, подрожав им, веско, утверждающе, точно камень ставил: «ДА».

Все это я мгновенно вспомнил, замедляя шаги, неожиданно и вдруг решив остановить этого человека, хотя было неприятное опасение: «Не узнает? Не перепутает ли? Сколько выучил, сколько, наверное, как я, считают его с в о и м и п о м н я щ и м, а он уж давно забыл — память с годами не улучшается. Когда это я у него учился?»

— Яков Никифорович?

Он медленно, по-стариковски остановился. Я стер налипающий на ресницы иней, отогнул воротник. Да. Передо мной стоял именно он, наш Бармалей, Яков Никифорович, будто бы совсем не изменившийся — только усы стали белые. Или от инея?

— Рукавицын... Это ты? Володя? — спросил он с большой долей убедительности.

«Господи, помнит! Имя и фамилию!» — а вслух сказал:

— Неужели не забыли?

— Хм...— Лукавые глазки потеплели в морщинах.— Кто ж я по-твоему? Что ж я за учитель, когда не помню, кого учил? — укорил, усмехаясь.— Это у вас короткая память. Забываете... Хоть и не верится... Что греха

таить! Но закон молодости — закон эгоизма. Молодая трава и жухлый лист... Говори, Володя. Что? Кто есмь?

— Да вот... Учитель,— несколько смущаясь, сказал я, ведь в нынешнее время почти принято считать, учитель — профессия женская, учитель мужчина — что-то вроде неудачника, значит, не сумел найти солидную жизненную дорогу. Как потешались одноклассники, как дразнили: «Ума нет — иди в пед! Учитель!» Все они, не сговариваясь, поступали в политехнический.— Учителем,— повторил я уже тверже и добавил:— По вашему предсказанию...

Снова вспомнилось.

Урок литературы. Я у доски, отвечающий уже непамятно что. «Добре... Добре...» — похваливал Бармалей и, неожиданно прервав, вдруг взглянул с укоризной. Коричневато-зеленые, прошивающие насквозь глазки. Глаза какого-то большого и умного зверя, недоступные пониманию. Не медведя ли? — «Хорошо. А надо бы — лучше. Друг мой... Лучше! Ведь ты же учителем будешь... Учителем. Так-то... Садись...» Помнилось: фраза сия изумила меня и, вернувшись за парту, долго я хлопал глазами, пожимая плечом. Кем-кем,— учителем никогда не собирался, не представлял, не предполагал, не хотел... Ха!! Учителем? Хо-хо! Предсказал!! Хо-хо...

И вот я — учитель, стою перед ним, провидцем, и он смотрит на меня теми же глазками из мира животных и опять словно бы насквозь видит меня.

— Что ж, Володя, застеснялся... Учитель — это ведь много, это, друг мой, очень много... Да разве ты не почувствовал еще, как неподъемно сие звание? Только глупые не понимают этого. Хуже — дураки... Друг мой? А? Учитель! Что это ты? Стесняться... Как можно! Я рад, ты, кажется, на подступах к пониманию. Впрочем, в чем-то прав и ты... Учителей стало много, и нечто потерялось. Все массовое теряет ценность. Обесценивается. Но... Учитель — всегда живо. Им трудно стать, им, может быть, надо родиться или всю жизнь идти к этому... А? Прописи? Ну, ладно! Пропись ведь тоже нужна, как в предложении точка. Ты, конечно, что-то хотел узнать? Тебе надо помочь?

— Да... Но... Но — как это вы угадываете?

— Э-э... Удивился... Жизнь научила... И к тому же французский философ Дантек писал, что все в мире, в

природе даже, построено на эгоизме... На личной заинтересованности то есть... Не вздумай обидеться. Закон природы. Кстати, может быть, ты читал его «Эгоизм как единственная основа всякого общества»? Любопытная вещь. Не все верно, много домыслов, но разумные зернышки попадаются... Их надо клевать. Не читал Ле Дантека?

— Где же я его возьму? Книга, наверное, старая... Ведь Дантек вроде бы философ девятнадцатого...

— А ты приходи ко мне. У меня есть. Есть. Все... Относительно, конечно. Но — всю жизнь искал... С юности. Ты ведь все равно собирался меня спрашивать? Тебе трудно? Тебя не слушают? Сомнения... Вот... Приходи. Часиков в девять? Рано? Что ты! Это полдень. Зимой встаю в пять. Летом — в четыре. Тороплюсь жить, Володя. Время, время... Бесценная вещь. Итак — до завтра. Адрес...— полез за пазуху, подал теплый кусочек картона. Нечто вроде самодельной визитной карточки. На машинке было напечатано: «Яков Никифорович Барма. Учитель. Новоспасская, 9».

И, пожав мне руку сухой, нездорово горячей ладонью, он двинулся восвояси, слегка потирая озябшее ухо,— странный человек, непонятный человек, удивительный человек... Бармалей.

...Дом словно отступил от улицы в глубину двора, заслонился голыми кустами сирени, рябинами и черемухами. Кое-где на сирени еще держался жухлый жестяной лист. Но сквозь кусты дом глядел добродушно. Всеми тремя окнами. Из труб поднимался розовый зимний дымок. В одном окне, должно быть, кухонном, плавленым золотом лилась печь. «В частном живет!» — отметил я, шагая по хорошо прогребенной дорожке, которую расчистили от ночного снега уже, по-видимому, давно,— успел напасть тонкий слой свежего. Этот снег был таким рыхлым, казался стеклянным пухом... Только что рассвело. Начинался чистый короткий пасмурный день. Я очень люблю такие дни. Долго живут в душе. Их вспоминаешь, как состояние, и всегда связываешь с какими-то окнами, крышами, тополями и не помнишь, когда это было — только где... На голых рябинах сидели снегири. Они отпорхнули подальше и снова занялись своим делом, обирали темные, запекшиеся на морозе пучки ягод.

Не найдя звонка, я постучал.

«Без удобств живет,— снова подумал я, прислушиваясь к раздавшимся где-то шагам, и поглядел на высокие серо-светлые корпуса многоэтажек, подступавшие к улице неподалеку.— Неужели за столько лет учительства (ну, как не пятьдесят?) не заслужил он, не заработал благоустроенного бетонного рая?»

Дверь отворила моложавая или даже молодая — не понял я — женщина, очень приятная неуловимой, но притягательной женской статностью: было в ней что-то такое мягко-приветливое, доброе, располагающее к себе во взгляде, фигуре, голосе, походке, в ногах, обутых в теплые опушенные мехом домашние туфли. «Дочь?» — подумал я, следуя за ней через сени и кухню, но едва я так подумал, из боковой комнатки выглянула еще одна точно такая же, нет, не женщина — девочка лет семнадцати, вылитая копия, разве что более совершенная, как бы подтверждающая, что природа не стоит на месте и творит красоту всякий раз неуловимо лучше.

— Познакомьтесь,— сказала женщина.— Наша дочь. Наталья. Попросту Татка.

— Ну, мама! Вечно ты меня уменьшаешь,— девочка улыбнулась, вспыхнула и исчезла, оставив ощущение непонятности и очарования. Не сумел я ее даже рассмотреть как следует, а очень хорошенькая.

— Яков Никифорович! — позвала женщина.— Гость! Принимай...

Бармалей принял меня в своей довольно просторной комнате, она была одновременно кабинетом, гостиной и библиотекой. Книги занимали здесь две стены и размещались в застекленных полках, фанерованных орехом. Стол стоял посередине, широкий стол, за него не тесно уселось бы и десятеро, еще один стол, письменный, был в углу, возле двух окон во двор-сад. Между окнами в деревянных вазонах росли перистые пальмы — канарский финик и латания, стоял аквариум, весь закрытый по поверхности овальными листьями водяных растений. За стеклом резвились красно-голубые светящиеся рыбки.

«Неоны!» — подумал я. Мне тоже и давно хотелось завести аквариум. Но хороших в магазинах не было, и я откладывал мечту до лета, когда надеялся заняться рыбками по-настоящему. Мечтать о любимом деле, о

развлечении — тоже большое удовольствие. Иногда это даже вкуснее, чем само занятие...

А над аквариумом, в корзинках из каких-то корней росли, свешиваясь темно-глянцевыми плетьми, орхидеи. Такие я видел в ботаническом саду, но там они были и скучные и пыльные, а здесь они не только росли — цвели белыми и пятнистыми цветами, похожими на стайки присевших бабочек. Орхидеи... Пальмы!

Гудела, позванивала заслонкой печь. В комнате было тепло, чуть влажно, стоял нежный тонкий запах ванили, должно быть, от этих цветов.

— Прямо как в тропиках у вас,— противно и неестественно сказал я не своим голосом.— Пальмы... Рыбки... А это ведь орхидеи?

Он усмехнулся. Он опять понял меня, и мой голос, и мое состояние.

— А... Сейчас это называют хобби... Модное слово... Хобби... Слушайте, ну, а хобби ваше? — усмехался Бармалей, и мне стало с ним как-то проще.— Растения я, Володя, люблю, вот и все,— он перешел на свой обычный тон.— Растения — это ведь чудо не меньшее, чем человек, и ничего-то, ничего мы о них не знаем. Так, верхушки... Вот недавно была сенсация. Некий английский ботаник заявил: растения мыслят! Клеточный разум. Они понимают нас, а мы их — нет! На него напустились. Доктора. Академики. «Да не может быть! Да профанация! Да спекуляция!» А надо бы спокойнее, спокойнее... вдумчивее надо, добрее... Ведь и генетику отрицали... А вдруг? Ну, не разум, не подобие человеку, а что-то другое. А? Ведь долго-долго и животным мы отказывали в разуме. Все сводили к инстинктам! И сейчас кое-кто еще за одни рефлексы держится. Что ж... Дарвина в карикатурах обезьяной изображали. Ты садись... Вот сюда... здесь теплее. Так вот... О растениях-то. Привыкли мы их есть, на дрова пилить, ну, вискоза-целлюлоза... А представь: завод, заводище, дым, газ, машины, людей сотни... Продукция — порошочки! Вот хоть эти... (на столе в самом деле были таблетки интенкордина). А растение — оно тебе без шума, без копоти и без денег создает то же. Сложнейшую химию создает... Это как? И они ведь радоваться умеют, улыбаться, любить. Опрысну орхидеи теплой водой — прямо светятся, смеются... Ну вот... разболтался я, давай-ка рассказывай...

Он сел напротив, но на меня не смотрел, уставил локти на стол. Прошло мое фальшивое возбуждение, и я уже не чувствовал себя стесненно: не ученик и учитель, просто старший и младший, и можно говорить обо всем...

Пока я коротко излагал свои беды, он сидел все так же, охватив усы ладонью по-чумацки, не то что-то соображал, не то слушал меня. Я кончил, а он все сидел так и даже глаза полуприкрыл. Наконец словно очнулся.

— Знаешь,— сказал он, лукаво глянув,— если бы мы в кино снимались... Какая была бы сцена! Старый мудрый учитель наставляет молодого... Классика! Ужас! Чушь это все: и я не мудрец, и ты многое сам понимаешь, а история — обыкновенная... Класс тебе подсунули. Попал ты как кур в ощип... Это, друг, закон. Вот тот же разумный эгоизм. Он молодой? Молодой. Нервы крепкие? Крепкие! Повезет? Повезет... Пускай его пороху понюхает. А мы поглядим. Мы ведь тоже так начинали. Люди, друг, везде — люди. Но...— зеленоватые, коричневатые глазки ухмыльнулись.— Здесь-то ты и найдешь пользу. Этот класс тебя и вос-пи-тает! Уж поверь. Или сбежишь, или действительно ты — учитель. Видал, как ковбои объезжают лошадей? А ведь и лошадь объезжает ковбоя. То-то...

В темном свете пасмурного дня за окном кружило снежинки. И я глядел на них, обескураженно следя, как они подымаются, летят вниз, мелькают меж голых веток рябины, и по-прежнему сидели там снегири, было видно, как одна, другая птичка тянулась к ягодной кисти, отщипнув ягодку, неспешно мусолила в клюве, роняя в рыхлый снег под окно рубиновую кожицу.

— Нет рецептов, друг мой,— сказал Яков Никифорович.— Нету. Как в тибетской медицине, все зависит от состояния больного: лекарство, доза, способ применения. И я не оракул, не пифия и не Сократ. Из опыта подскажу, как бы я на твоем месте начал, а дальше — сам доедешь, а может, откажешься, найдешь свое. Сколько, наверное, есть дельных учителей — столько есть и методов. Да,— он ухмыльнулся,— ты не заметил еще, что на всякие курсы, всякие там методобъединения аккуратно ходят или сплошные посредственности,— что греха таить, таких в нашем сословии немало, они-то и унизили звание учителя,— или уж самые лучшие.

А? Средний учитель избегает методобъединений, ему там ничего не надо, дурак ищет прописей, по которым, не думая, скользит, как по рельсам, умный же ищет не столько новое, сколько то, чтобы утвердиться в своем и пойти дальше прописей. Иногда вопреки... Даже часто вопреки-то умный идет... Вот я бы и начал с себя... Как? С себя — значит, с муштры, самодисциплины. Без нее, Володя, не бывает подлинного учителя, и чем дурней, разболтанней достался класс, выше должна быть моя самодисциплина. Должен я стать, если не героем, то уж таким образцом, что рот раскрывай, сплетничай, удивляйся, злословь. Да, люди всегда так: позлословят сначала, потом следовать начнут, потом — уважать. Авторитет не сразу растет. Его завоевывают. Что такое — авторитет? Прежде всего, по-моему,— хозяин слову. Сказал — сделал, обещал — выполнил, назначил срок — пришел из минуты в минуту. Персидская пословица говорит: «Если у тебя нет врагов, не наживай их невыполненными обещаниями». Видишь, и я вроде бы за поучительство принялся. Нет, не поучаю. Размышляю я... А самое важное — не читать моралей, в позитуру не становиться. Таких не любят. Будь непогрешим, но нигде не подчеркивай своей непогрешимости. И невозможна она. А если уж тебе мораль надо дать, преподнеси ее в виде афоризма. Я так всегда делал. Вот, к примеру, скажу, как бы между прочим: «Знаете ли вы, что такое поступок?» — Смотрят: чего это он? — Ну, скажем, кто-то у кого-то рубль взял и не отдал... А поступок ведь это много... Ведь это очень много! Говорят так: «Посеешь поступок — пожнешь привычку. Посеешь привычку — пожнешь характер. Посеешь характер — пожнешь судьбу...»

Он замолчал, поднялся, подошел к печке, открыл дверцу и, щурясь от жара, покряхтывая, стал шевелить кочергой пылающие, осыпающие жар поленья. Золотой уголь молодцом выскочил на пол, он подобрал его, кинул в топку и только тогда, подставив руки к огню, не оборачиваясь ко мне, продолжал:

— Бывало я... Смех вспомнить... Начал работу в детдоме при колонии. Ребята буйные, лодыри, хулиганы, запущенные. Всякие. И вот... Орал. Кулаком стучал. Из класса под микитки вытаскивал... Не мог понять, дурень,— слабость свою демонстрирую, слабость, забывал, что учитель. Да и не учитель я тогда был, так —

преподаватель. Годы ушли, пока понял себя, потом нх... Ты меия провидцем назвал, а я твою судьбу н угадал и предсказал случайио. Интуиция... Не больше. Оиа учнтелю — верховое чутье. Вижу: сидит парнишка, в глазах искорки. Учится не худо. Объяснять иачиет, старается, чтоб я понял, и самолюбнвый, у-у! Вот я н предсказал тебе. И ты ие бойся предсказывать, ободрить словом... Не попадешь? А вдруг — попадешь? Теперь о классе. Пойдем от сказанного... Сперва бы я попробовал у иих родить *привычку* ходить в школу. А чтобы оиа взошла, поступок требуется. Пришел Иваиов раз — похвали, заметь, обязательно заметь и похвалн, пришел два, опять похвали и в третий раз ие скупись иа доброе слово. Иванову ие легко, ио ои-то поймет, что ты о нем постояиио думаешь, заботишься. А похвала человеку — как растеиию поливка. Без этого нельзя. И прорастет потнхоиьку *прнвычка*. А еще, друг мой Володя, иа уроки приходи ие к звоику, а пораньше. За час, скажем... Я ие ошибся. Да... За час... И сделай этот час нулевым уроком, вроде коисультации для всех и по всем предметам. Так и объявн... Приходите учить уроки, беседовать, вопросы задавать. Коиечно, эрудицня твоя должна быть на высоте. Без эрудицин какой ты, к черту, учитель. Нет эрудниции — бросай все. У нас вои одиа учительиица не зиала, что такое аитибиотнки, так ведь иад ней потешались, как иад дурой... Говори с иими обо всем: о любвн, о нуждах, о квартирах, деньгах, зарплате, идеалах. Может, вот об этнх рыбках, о пустяках, о людях, задачн с иими решай, диктанты пнши, истории поучительиые рассказывай, а иа вечерах таицуй лучше всех и вальс, и всякий там шейк. Одевайся красиво, не будь сииим чулком. Не стиляжь, но и в моиахи ие лезь. И потянутся к тебе, поймут, что ты правдив н зиающ, иачиет расти твой авторитет, не авторитет — авторитетище. И ты увндишь самое главиое — тебе иачиут подражать, иачнут говорить твонм голосом. Вот это, Володя, самое большое счастье учителя — увидеть в ннх свое отражение. Хороший учитель, Володя, должеи быть еще и хорошим актером. Не в дурном смысле... Нет... Тут иичего плохого. Ведь они прежде всего зрители, ты перед иими стоишь как на сцене. Так играй, чтоб тебе верилн, не лги н не фальшнвь. Вот и в театре, когда видим талаитливую нгру, разве ие плачем? Не пережнваем? А ведь великолепно

известио каждому, что Отелло-актер не задушил Дездемону и что после спектакля они, может быть, пойдут куда-ибудь ужииать...

Ои вернулся к столу, глаза сияли, прежний лукавый Бармалей глядел иа меия с тем всепонимаиием, какое мы любили в ием и даже за что побанвались.

— А посеешь привычку — берись за характер. Характер класса — это характер руководителя. Идя от противного, скажем: каков руководитель — таков и народ. Вот и повторяю, что характер класса — характер руководителя, да еще, пожалуй, старосты, только староста не для проформы должен, а опять же от авторитета. Нет у тебя такого учеиика?

Я быстро перебрал всех по порядку. Старосты с характером, тем более с авторитетом, что-то не обнаруживалось.

— Нет, пожалуй...— неуверенно промямлил я.

— Не может быть,— возразил Яков Никифорович.— Даже средн двух всегда одии ведущий... Не верю. Вот сейчас хоть мы с тобой. Плохо зиаешь их... Так... Староста должен походить на тебя, быть твоим двойииком. Во-первых, должеи быть справедливым, во-вторых, умиым, в-третьнх, дисциплинированным. И еще кое-что иадо... Нет лн у тебя такой девушки, зиаешь... Ну, с подчнияющим характером? Из которых хорошие жеиы выходят (и он показал, как хорошая жена держит вожжи). Нет? А? Жаль... А то бы — готовый староста. Это в классе хорошо — матриархат. Парни бывают хуже. Не получается как-то у них. Вот от классного и от старосты родится характер. А уж посеешь у класса характер, как там сказано: «Пожнешь судьбу». Их судьбу и свою. С чего начинал Макаренко? С поступков. Привычку сеял. Кто такой Карабанов? А сам Макареико, Антон Семеиович. И Сухомлинский так же шел: сеял поступкн, сеял привычки. Характеры создавал... Маша! Самоварчик готов? — иеожидаиио прервал ои, подиялся.— Дай-ка принесу... Заморил я гостя. А ты сиди, Володя. Ты ие протестуй. Ты у меия в плену. В чужой монастырь со своим уставом?

После чая он подвел меия к полкам и подал отложенную, видимо накаиуие, кингу Ле Дантека. А я и забыл о нем.

Книг у Бармалея было совсем не так уж много, как я ожидал.

— Не удовлетворен? — спросил он, угадывая мои мысли и улыбаясь, хотя я вовсе не старался эти мысли выдать.— А тут — все... Все, что я накопил за всю жизнь. Мало? Вначале я тоже думал так. И покупал, покупал, сколько денег хватало. Потом задумался, сел как-то и подсчитал — книг у меня тысячи с три набралось,— сколько же надо мне времени, чтобы все прочесть. Прикинул — на каждую книгу дней семь, если прочесть с толком, с записью... Так, умножил три тысячи на семь и разделил на триста шестьдесят — шестьдесят лет получилось, без малого... А ведь их еще и перечитывать надо... Пожалуй, перечитывать-то важнее, больше получаешь. И начал я книги просеивать... Зато оставил главнейшие. Одно золото, самородки, камни-самоцветы... Здесь вот все древние: Платон, Аристотель, Геродот, Тацит, Цицерон... Вот эпос, мифы, Гомер, «Слово», «Калевала», «Нибелунги»... Мыслители там: Монтень, Спиноза, Вольтер, Франклин, Спенсер, Бокль... Здесь философы: Кант, Бергсон, Тейяр, Гегель, Маркс. Вот новейшие, что мог собрать... Здесь художественная — русская классика. Вот зарубежная. Это книги по искусству. Это о природе, животных, растениях. Путешествия еще все... Маркс говорил: «Книги — мои рабы». И я счастливый рабовладелец. Нет у меня ни одного бесполезного раба. К книгам разный подход бывает, а, помоему, самый верный один — они должны служить хозяину, учить, иначе они мебель, предмет хвастовства, ширма, чтоб прикрыть свое нравственное, образовательное и всякое прочее убожество. Анекдот с бородой: входит этакая вот дама в магазин и спрашивает: «Скажите, пожалуста, Чэхов ничево не написал в бэжевом переплете?» В общем, читай Дантека, приходи за другими. Знаешь, кто-то еще сказал: «Дураки книги покупают, а умные их читают».

Он засмеялся, захохотал даже: «Хо-хо-хо»! И опять мне вспомнилась та картина, где пишут письмо султану.

— Яков Никифорович,— спросил я, когда мы вышли в холодные сени,— а почему вы в благоустроенную не переберетесь? Тут ведь дрова надо, воду, снег убирать...

— Избави бог,— приостановился Бармалей.— Благоустроенную? Что ты... Я только и молюсь, не снесли бы мое гнездо, пока я здесь... А подбираются уже. Тогда мне — каюк... Соседи сверху, снизу, с боков. Маги проклятые... Радио. Топот. Нет, милый. Лучше я на колен-

ках за дровами сползаю, а квартиру не надо мне. Не привыкну... Здесь я — как? Встаю затемно, снег отгребу, мету, дрова пилю — мало ли дел? А летом — огород. Наработаюсь к завтраку... Потом у меня другая работа. Учебник тихонько пишу, статьи, письма, чтение, языки подзубриваю, развлечься даже некогда, и телевизор не смотрю, и сплю часов шесть. Сон спрессовать можно... А спится плохо. Старость. Нет, не подарок это. Не подарок. Старость — это подаяние. Стой-ка... Не пройтись ли с тобой до трамвая? Ага... Жди... Сейчас я. Таблетки не взял... Сердце...— он сморщился.— Сейчас я...

Я вышел на холод. Падал редкий ровный снежок. Все нежно-пухово белело, расстилалось в небольшом дворике. Снегирей не было. Из окошка выглядывала канарская пальма. Послышался голос уютной жены Якова Никифоровича. Мелькнуло розовое лицо дочки,— так и не разглядел ее как следует и вспомнил теперь об этом с досадой. Девушка была очень хороша, что-то такое юное, свежее, наивно-школьное и трогательное, а вот встречу и, пожалуй, не узнаю. Все-таки счастливый этот Яков Никифорович. Бармалей... Все у него хорошо. Домик. Жена. Налаженная жизнь. И советовать, конечно, легко...

— Слушай, ты только, пожалуйста, не завидуй,— сказал Бармалей, появляясь на крыльце.— Не осуждай меня...

— Что вы, Яков Никифорович! — отворачиваясь от стыда, пролепетал я. «Да это что такое? Ведь впрямь — провидец...»

А он тяжело шел рядом и говорил:

— Вот ты что обо мне подумал: устроился, мол, в тепле. Пальмы, книжечки, пенсня... Советы подает... А? Не так? Ну-ну... Прости старика. Вот что тебе скажу: часто я стал просыпаться ночами, как от пинка, и думаю, лежу и думаю: «Как же поздно все приходит, зачем так поздно, когда сил уже почти нет и времени в обрез?» Первую семью я потерял на Украине, дома. Попали под бомбы... Жена и сыновья. Маленькие... Узнал уже после войны... Мыкался по городам... Нигде осесть не мог. Где только я ни жил: по квартирам, по клоповникам разным, и в гостиницах, с одним чемоданом. Долго мыкался, пока понял — ничего не вернешь, хоть убейся... И вот сколотил деньги на эту хоромину, женился, послал бог мне добрую женщину, и начал все

сначала. Все... А как трудно было... Сейчас уже забывать стал. Как трудно... Все начинать сначала...

Вдруг усмехнулся и поглядел на меня сбоку.

— Поплакался в жилетку? Хм... Вот так, друг мой Володя. А ты там пятерочек своим красавицам-ученицам за ясные глазки не ставишь?

— Что вы, Яков Никифорович? Я же учитель.

— Ну, а учитель не человек? Намного ли ты старше своих-то учениц? Лет на шесть-семь небось? Я своей Маши на двадцать два года старше. Да... Не бросает пока. Живем. Понравилась тебе?

— Очень хорошая,— поспешил сказать я.

— Знаешь, почему я спросил? Ведь Маша — моя ученица. Работал я тогда, как ты вот, в школе рабочей молодежи... И вот — женился. И сколько тогда про меня сплетен было! В районо, гороно вызывали. Чуть ли не стыдить собирались! А я уже с ней двадцать лет прожил. И скажу тебе, не попадись она мне, не встреться — ничего бы у меня не было. Только с ней понял, как много значит женщина. Как много, друг мой! Какая это прекрасная часть человечества! Как ее надо любить — уважать, беречь,— всякую женщину. Если бы мы все умели это понимать...

Мы расстались у трамвайной остановки. Яков Никифорович побрел куда-то дальше, а я, подождав трамвая, вдруг тоже пошел пешком, наслаждаясь снежным ветром и запахом крепкой устойчивой зимы.

## Тоня Чуркина

*И надо же было ему родиться*
*таким гадким, что весь птичий*
*двор смеялся над ним.*

*Г. Х. Андерсен*

*ГЛАВАЯ ПЯТАЯ, в которой рассказано о некоторых аспектах демократии, о том, как Владимир Иванович убедился, что «глас народа — глас божий», а также поведано о человеке, считавшем себя обреченным на вечное одиночество.*

— Чуркина!

Черноволосая, чернобровая, она с трудом вытесняется из-за парты, идет к доске сосредоточенно, останав-

ливается и, глядя перед собой морозно-серыми глазами, начинает отвечать. Отвечает Чуркина четко, логично, все у нее правильно. Однако, как только она умолкает, сердито глянув, я задаю дополнительный вопрос.

— Скажите, Чуркина, почему не победила Парижская Коммуна?

Яркие губы насуплены, поджаты разок и другой. На розовом поле щеки рождается глубокая вороночка.

— Ну... Коммуна не победила потому, что не было прочной связи с крестьянством. Коммунары... Ну... Коммунары не умели руководить народом. Не велась беспощадная борьба с врагами...

— С какими врагами?

— Ну... Всякими. Ну, с бандитами, шпионами, хулиганами тоже...

При этом она смотрит на парту Орлова с Нечесовым.

— Садитесь, Чуркина. Ставлю вам... четыре. Отвыкайте от «ну». Неточность формулировок.

По спине и походке Тони вижу — недовольна. Недоволен и я: чувствую — поставил маловато. Ведь она все рассказала, учила, старалась — видно. Но и пять поставить — вроде бы лишку будет. Про себя решил: никогда не завышать оценок и теперь все время ощущаю несовершенство пятибалльной системы. Как тут быть? И лучше, чем на четверку, и все-таки не круглое пять. Ставить плюсы-минусы? Хорошо бы... Однако в табель их не вынесешь, администрация сейчас же возьмет в штыки, едва обнаружит в журнале не предусмотренную циркуляром вольность. Так прямо и слышу голос завучей: «Владимир Иванович! Что это тут у вас за отсебятина? Что за иероглифы? Что за алгебра? Вы же знаете: есть единая государственная оценка — ее и ставьте!» А мне так хочется исправить несовершенство пятибалльной системы... Что если б сделать двойку положительной оценкой? А может быть даже единицу? Ведь отсутствие знаний надо отмечать нулем? Вот было бы прекрасно: за слабые знания, такие, скажем, как у Павла Андреевича, положительную единицу, за те, что получше,— двойку, тройкой оценивались бы вполне приличные устойчивые знания, а четверка была бы уж как раз впору за сегодняшний ответ Чуркиной, и Чуркина не обиделась бы. Или? Эврика!! Ха-ха! Отрицательные «знания» расценивать тоже на пять баллов, но с минусом! Пять с мину-

сом за абсолютную чепуху, за Обь вместо Амазонки!

А Чуркина все еще переживает свою четверку: губы рупором, мрачные брови сошлись, глаз не видно. Грозовая ночь над ненастной землей... Вот достала свой маленький портфельчик. Что-то сует туда нервно, с досадой. Обиженная девочка. Удивительная все-таки эта повариха. Переживает, как первоклассница, только что не плачет. Видимо, я несправедлив. У Чуркиной как будто есть тончайший барометр справедливости. Да... Постой-ка! Как это говорил Яков Никифорович? О-о!! Да вот же кого надо избрать старостой! Осенило! Как же я сразу-то не догадался? Чуркину. И только Чуркину. Согласятся ли ребята? Это интересно! Не буду откладывать. Да. Объявлю сейчас?

— Сегодня... Внимание! Орлов! Нечесов! Что там такое? Сегодня после уроков не расходиться. Классное собрание. Будем выбирать старосту. Тайным голосованием...

Сразу галдеж: «Как? Как?! Кого?!»

— Тайным голосованием. Выдвинем кандидатов, напишем бюллетени, изберем счетную комиссию...

— Чо выдвигать-то! Игрушки...

— Точно. Пускайнапишут... Ктокогохочет...

— Можно и так. Думайте.

Нечесов крутится. Нашлось дело. Доволен.

На секунду и сам я задумался. Смелое предложение. «Кто кого хочет», но не получилось бы анархии. Что-то чересчур демократично. Ведь демократия, как сказал нам на педсовете завврайоно,— это не хаос, а порядок. А класс уже галдел.

— А правда!

— Чо выбирать?

— Сами знаем!

— Тайно еще!

— Тихо! Что за разговоры! Продолжаем урок.

Уже многократно пожалел, что сказал о выборах. Класс шумел, летали записки. Даже Павел Андреевич очнулся, что-то обдумывал. Из-под привычно опущенных век мерцал порой такой стальной взгляд, что я подумал, грешным делом, да так ли уж спит он на уроках, не притворяется ли... Про Нечесова нечего и говорить: вертелся, стрекотал, как обрадованная сорока. Даже невозмутимый положительный сталевар Алябьев что-то доказывал другому сталевару Кондратьеву, ка-

менщики Фаттахов и Закиров заговорили по-татарски, продавщицы тихо, но яростно спорили, девочки с камвольного шушукались. Спокойными казались лишь надутая Чуркина, прилежная Горохова и читающий Столяров.

«Вот штука! — думал я, кое-как закончив этот урок, несколько даже встревоженный, озадаченный столь высокой гражданской активностью своего безалаберного класса.— А если и впрямь не выдвигать кандидатур, не предлагать никого... Пусть найдут сами! Рискнем!?»

Счетная комиссия трудилась. В коробку из-под препаратов с надписью «Змеи. Ящерицы. Скорпион», которую я с трудом выпросил у Василия Трифоныча, опускались бюллетени. Столяров, Горохова и — удивительно — Нечесов отмечали проголосовавших. Потом коробку раскрыли, вытряхнули содержимое на стол, комиссия принялась за подсчет голосов и кандидатур. Чтобы не нарушать демократию, я выпроводил всех в коридор и вышел сам. Мне пришлось выполнять роль стража-привратника — иначе было никак нельзя: класс, а сегодня двадцать три налицо, теснился у дверей, мешал техничкам, которые уже начали мыть пол и ругали нас как могли. Но я не обращал внимания на эти мелочи — сегодня в общей активности вдруг почудилось мне что-то необычное, словно бы легкое дуновение весны среди устойчивых безнадежных морозов. Не такие были ученики, как всегда, когда ленивенько или торопливо расходились, разбегались по домам, кто куда, разрозненные и разобщенные на индивидуальные единицы и тройки, словно бы ни о ком не думающие, кроме себя, и словно бы не способные быть и думать иначе.

— Все! Все! Ребята! Заходи! Владим Ваныч! Воздорово! Воздорово! — вихрастая голова Нечесова в дверях крутилась на триста шестьдесят градусов.

На учительском столе три стопки бумажек. Они тоненькие и неровные. Впрочем, третья — просто одна бумажка и она перевернута. «Орлов» — выведено коряво и грязно вместе с отпечатком синего пальца, в котором и без дактилоскопического исследования можно узнать автора. Он налицо.

В трех бумажках другой стопки вписана Лида Горохова.

Зато в девятнадцати следующих разными почерками одна и та же фамилия — ЧУРКИНА.

«Вот оно как! Совсем по пословице,— почему-то красиво, подумал я.— Вот он н а р о д, и н а р о д не ошибся, без твоей подсказки выбрал того, кто, по-видимому, больше всех подходит для этой должности. И ведь, наверное, этот самый народ гораздо раньше открыл потенциального вожака, раньше, чем ты успел догадаться! Что ж! Значит — все правильно. И зря опасался за демократию. Демократия никогда не может быть чрезмерной».

— Старостой класса большинством избрана Тоня Чуркина,— заключил я работу счетной комиссии.— Поздравляю вас, Чуркина, и прошу остаться. Нам еще надо поговорить...

— О-о-о! — кто-то из девочек.

— ...Остальные свободны.

Тоня странно взглянула, повишневела, наклонила голову. А между тем все уже галдели, стучали партами, щелкали замками портфелей. Девочки окружили Чуркину, поздравляли, хохотали, а она, оглядываясь в мою сторону, быстро-сурово говорила:

— Ну ладно. Ну что вы? Ну выбрали. Вот еще... Поздравлять... Ну...

Когда все ушли, Тоня осталась стоять возле своей парты разрумяненная и по-прежнему словно бы рассерженная.

— Садитесь, Чуркина,— сказал я с улыбкой.— Теперь вы мой официальный помощник и заместитель. Даже на педсоветах иногда будете присутствовать. Надо вам познакомиться с обязанностями...

— Ну... Владимир Иванович! Меня-то ведь... Ну... Никто не спросил. Хочу я или нет. Ну... Старостой.

— Тебя избрали,— веско сказал я, считая, что пора перейти с помощником на более близкую форму общения.

— Ну и что?

— Избрали — значит надо работать.

— Ну...

— Слушай, Чуркина, хочешь я тебе анекдот расскажу?

Вытаращила глаза, вмиг потеряла свою суровость. «Шутит, что ли?» — было на алом возбужденном лице.

— Вот. Слушай. Один иностранец, приехав к нам,

заинтересовался, почему это на один и тот же вопрос: «Эта ли улица ведет к вокзалу?» — трое прохожих ответили по-разному. Один сказал: «Ну!» Второй: «Ага!» А третий: «Да!» Удивился иностранец и остановил четвертого прохожего, попросил объяснить. Прохожий подумал немного и ответил: «А вот почему по-разному говорят. У кого, значит, четыре класса образования, тот говорит: «Ну!» У кого десятилетка: «Ага!» А вот у кого высшее образование, тот уж говорит: «Да!» Понятно, почему я тебе это рассказал?

— Ну! — сказала Тоня и рассмеялась наконец.— Да.

«Какие ровные прекрасные зубы у нее, даже не белые — синеватые. Жаль, редко она улыбается. Первый раз вижу»,— подумал я, а вслух сказал:

— Ты будешь отвечать за посещаемость, за график успеваемости, вместе со мной выяснять, почему не ходят, кто прогуливает, кто сбегает,— словом, ты хозяйка в классе.

— Не успею я.

— Подбери помощников. Совет класса. Можно даже утвердить на собрании...

— Да чего утверждать? Горохову за график, милиционера за посещаемость. Он не пропускает.

— Удобно ли? Пожилой человек.

— Ничего. Тут он — ученик. Пускай меньше спит.

— Газету кто будет оформлять?

— Столяров. Сделает такую доску. Я уж думала...

«Эге! Да тут, оказывается, стопроцентное попадание. В десятку!» — подумал я и спросил:

— Ну, а как будем посещаемость налаживать?

— Вот видите, и вы «нукаете»,— усмехнулась она (второй раз!).— Ну, в общем... Ой, опять... В общем, так: класс надо разбить на пятерки, на группы, в каждой поставить ответственного и с него — три шкуры... Чтобы знал все. С камвольного надо Задорину, у продавщиц Осокину, у ребят из пэтэу Фаттахова. Они близко живут...

«Все верно, молодец!» — про себя одобрил я Чуркину, с уважением уже вглядываясь в ее деловое лицо.

— Нечесова с Орловым куда?

— А выгнать их обоих — и все... Толку-то? Ну... Нечесова, может, оставить. Я его на себя беру. А с Орловым — решайте. Выгнать его надо. Его не воспитаешь.

Он тут все портит. Всех. Учиться — все равно не учится. Даже книжек не носит... Из-за Лидки ходит...

— Из-за кого?

— Из-за Гороховой. А вы не знали?

— Не думал... Не замечал вроде.

— А вы поглядите, побудьте в классе. Проходу ей не дает. Она ревет от него... Да, вообще, из-за нее все с ума посходили. Милиционер — и тот смотрит. Вот счастливая...

— Завидуешь. Зависть в себе всегда надо подавлять. Всегда. Запомни. Да и чему завидовать-то? Орлов любит...

— Да он и не любит... Так просто... Красивая она.

— Ты же тоже красивая,— сказал я как-то неожиданно, необдуманно.

— Вот еще! Выдумали! — потемнела Чуркина.— Какая я... Я? Только всю жизнь пальцами тычут. Лапают. Бочка! Дерево! Чурбан! Фамилия даже — как в насмешку... Меня и замуж никто не возьмет,— вдруг быстро сказала она и, отвернувшись, заплакала, закрывшись руками и всхлипывая, как маленькая девочка.

— Чуркина? Ты что? Тоня! — растерялся я, оторопело глядя в широкую покатую спину в полосатом джемпере. А Тоня вздрагивала, горько вздыхала и терла кулаками глаза.

«Вот так староста. Вот так железная власть! Вот и пойми ее. Стресс? Переволновалась? Наверное... Или я попал в больное место... О господи...»

— Пойдем-ка домой,— сказал я.— Слышишь? Слышишь, Тоня? Староста! Пойдем-ка.

И она молча, еще раз вздохнув и шмыгнув, вытащила из парты свой портфельчик и пошла впереди меня, сутулясь, вытирая лицо платочком, а я растерянно шел следом.

Тоня Чуркина приехала в город из того самого дальнего района, которым перед распределением пугают молодых учительниц и врачей. Деревня Чуркино, где она родилась и где почти все жители были Чуркины, далеко растянулась по каменистому прибрежью холодной Вотьпы огородами в поле. Но и оттуда, из-за полей, близко подступала к огородам, подбегала косами яркого березняка и тусклого зелено-серебряного осинника сплошная нерубленая тайга. Урман — называют

такой лес, и в этом непонятном слове все: глушь, ельники, лога, медвежьи тропы, звон комаров. Лес синел вокруг деревни, переходил в неоглядные болота-мари, гиблые, непроходимые и ровные. Они-то и отгораживали деревню большую часть года от всего внешнего мира. Сюда забредали геологи и обросшие дикими бородами бродяги, которые называют себя туристами,— искатели книг, икон, крестов и первозданных пейзажей. В деревне было на что посмотреть, взять хоть старую кержацкую молельню с шатровой башенкой-звонницей. Молельня стояла на обрыве над берегом, седая и сизая в голубизну, рубленная непамятно когда из витых и треснувших листвяных кряжей. И хотя давно уж не бумкал на звоннице медный с серебряным приливом колокол, привезенный первоселенцами из самого Валдая — давно был снят, как черные иконы, которые, дурачась, хвалясь перед всеми собственной удалью, изрубил на дрова первый председатель артели. Возле молельни часто с остановившимися глазами каменели эти самые туристы, снимали, черкали в блокнотах, иногда садились писать, раскрыв плоские мазанные краской ящики на треногах.

В семье Тоня была первенцем, и вслед за ней после трехгодичного перерыва, вызванного семейными обстоятельствами, пока отец вернулся из мест еще более отдаленных, шли, как по лесенке, без перемежек, три сестры и шестеро братьев, с которыми она нянчилась, едва сама поднялась с четверенек. В десять лет Тоню считали за взрослую, потому что мать за двоих работала на свиноферме, уходила туда чуть свет, а отец Чуркиных то пил, пропивал и материн заработок, и пособие на ребят, то исчезал куда-то на месяцы, устраивался в райцентре пожарником и бывал дома гостем. То он вдруг объявлял семейству, что едет на целину за большими деньгами, вернувшись, всех озолотит, и подолгу не было от него никаких вестей. Возвращался он обычно зимой, в каком-нибудь дырявом плащике, в летнем пиджаке, виновато кряхтел, тщательно вытирая ноги на крылечке, был тих, незнаком, ходил даже с младшими за ручку встречать мать с фермы, но такое продолжалось никак не больше трех дней, в лучшем случае неделю — дальше снова он пил, бездельничал, слонялся по соседям, курил по завалинкам, беседовал, всегда обстоятельно, сдвинув картуз, кося пьяным гла-

зом, размахивая и грозя пальцем перед собеседником, нанимался вскоре кому-нибудь ставить баню, рубить хлев, клялся, также со сдвинутым картузом, все сделать «по совести», «не в обнду», «в лучшем виде», брал задаток и снова исчезал.

К постоянному отсутствию отца Чуркины привыкли. Без него было даже не в пример спокойнее. Но все-таки считалось, что он есть, и мать Чуркиных, красивая и здоровая женщина, постоянно беременная, никогда никому не жаловалась на «своего» и на свою долю, как делали это сплошь товарки по ферме, озлобленные домашними неурядицами.

Мать вставала до зари и будила Тоню. Пока мать снаряжалась, хлебала вчерашний суп, пила чай, дочери подробно наказывалось подоить корову, выгнать в стадо, задать сена овцам, сварить и натолочь картошки для поросят, накормить и обиходить младших, которые всегда спали до полудня.

Тоня крутилась по дому колесом — надо было все успеть до школы: выполнить материны наказы, насеять муки, поставить к вечеру тесто (стряпала мать сама), проследить за овцами — вечно лезут в огороды к соседям, а еще требовалось прибрать в комнатах, сменить пеленки и вовремя сунуть соску младшему, который всегда был в плетеной корзине-зыбке, подвешенной к потолку на скрипучем березовом очепе. В этой зыбке качалась когда-то сама Тоня и словно бы с тех пор помнила ее тихий скрип и вкус мусоленого коровьего рожка, из которого ее поили теплым молоком. Мать не признавала никаких городских новшеств, пробивавшихся и сюда, в глухомань, и даже резиновой соски не знали Тоня и ее первые подопечные, лет до трех кормившиеся у благодатной материнной груди. На удивление всем росли младшие Чуркины здоровые, зубастые, озорные, так что с начальной поры приучилась Тоня поглядывать сердито и властно, усмирять непокорное племя на правах старшей и, знать, потому сама росла, подчиняясь взрослому положению, как молодая черемуха на черноземе у речки.

В двенадцать она выглядела шестнадцатилетней, в тринадцать на Тоню, открыв рот, таращились мужчины и парни, провожали настойчивыми взглядами, в четырнадцать от ее жарких затрещин долго почесывались чересчур любопытные, а к пятнадцати она выглядела

вполне взрослой молодой женщиной с грубыми руками и тяжелым станом. Только приглядевшись к ее розово-юному, но всегда сохраняющему строгую серьезность лицу, можно было понять, что «женщина» — всего лишь девочка-подросток с нетронутой, замкнутой душой. Была ли виновата в том ее ранняя заботливость, мать, наградившая таким телом, вообще вся чуркинская порода, ибо не бывало в деревне Чуркино людей худосочных и ледащих,— но когда Тоня уехала в город, передав заботы о следующих поколениях похожей на нее сестре Вале, никто не верил, что Тоне всего только шестнадцать. Давали двадцать и двадцать пять, дивились и охали, когда она показывала паспорт, только что полученный, новенький, который она все боялась потерять. Сама Тоня словно бы привыкла к этой прибавочной взрослости, давно вошла в нее, может быть, верила, что ей впрямь двадцать пять — ужасный возраст, когда почти все, а девушки особенно, считают себя безнадежными старухами (со временем это проходит). И никто не знал, плакала ли Тоня, возвращаясь с первых вечеринок, когда, простояв, просидев в углу целый вечер, ни разу не станцевав, не испытав радости быть выбранной и приглашенной, она уходила, плелась где-то самыми глухими темными улицами и все время ей хотелось почему-то, чтобы кто-нибудь пристал, напал даже и встретил ее отчаянный отпор. Но никто не попадался ей на пути, не приставал и не трогал и, добравшись до общежития, она падала на свою узенькую скрипучую койку, молча тряслась в темноте. Она умела плакать беззвучно, совсем перестала ходить на вечера, а всякого мальчишку, рискнувшего приблизиться к ней, встречала такой насмешливой враждебностью, что очень скоро ее оставили в покое, тем более что в их кулинарном училище мальчишки были редки и находились как в спелом малиннике, среди юных, жарких, гибких девочек, нарядно одетых, в большинстве своем горожанок, с пеленок усвоивших все девичьи обольщения и прихоти меняющейся моды. О, как искусно красили они волосы, как умело подводили тушью и тенями свои неробкие глазки, какие экстра-мини обтягивали их изощренные в твистах и шейках задочки... Среди этих девочек Тоня Чуркина выглядела взрослой, неуклюжей, тяжеловесной, и чаще всего заглядывались на нее совсем пожилые мужчины — лет тридцати...

Работа в кафе не удивила ее. Работать она умела и любила. Ее сразу же назначили поваром-кондитером по выпечке, и теперь целые смены она раскатывала тесто на пирожки, пекла булочки, шанежки и слоенки, глазировала коврижку, стряпала торты — все с завидной быстротой, с умением, терпением и выдумкой. Она любила подумать над своей стряпней, и торты у нее получались — чудо. Там ежик нес на спине корзинку с шишками, лиса ловила петуха, земляника рдела на тонких стебельках, грибы выглядывали из-под листьев. Она легко находила «сюжеты» своих тортов из детства, из леса и сказок,— все получалось словно само собой. На кухне в кафе Тоню быстро признали, как признают рабочие человека, умеющего трудиться. И все-таки она не нашла здесь подруг, да и не умела, наверное, их находить ее привыкшая к самостоятельности и одиночеству недоверчивая душа.

Закончив смену, стоя под дождево-сыплющимся прохладным душем, она с наслаждением ежилась, улыбалась, закрывала глаза, ощущая, как он стучит по плечам, сеет в лицо, скатывается по спине и бедрам,— отдыхала от жара плиты, от гула вентиляторов и, поднимая руки ладонями к сифону в ржавых потеках, видела себя под дождем в поле или посреди дороги. Она любила купаться под душем. Вымывшись, долго старательно вытиралась перед тускловато запотевшим зеркалом, и оно неясно и матово отражало мощную красоту ее литых ног, крепких грудей и округлого живота — всю фигуру, вероятно, вдохновившую бы Ренуара или Майоля на новую Помону, Венеру или Купальщицу. Но Ренуаров здесь не было, а кухонные рабочие и грузчики ничем не отличались от ее отца, это были пропойцы и лодыри, вечно заискивающие перед буфетчицами или уединявшиеся где-нибудь за бутылкой дарового пива. У них были одинаково грубые руки и взгляды, и она не скрывала к ним спокойного презрения.

Домой, в общежитие, Тоня всегда шла пешком, потому что ходьба ей нравилась и потому что все женщины в кафе, не отличавшиеся худобой, говорили, что так скорее похудеешь. Но, похоже, никто здесь худеть не старался, ели все, кроме Тони, за обе щеки и зады свои тоже любили, часто звонко шлепали друг друга и хохотали. Тоня уже привыкла не ужинать, обедала чуть-чуть, почти не брала хлеба, но нисколько, кажется, не

худела от этого, лишь все время мучительно хотелось есть. Особенно трудно было, когда девчонки из комнаты получали зарплату, притаскивали на ужин колбасу, сыр, консервы, бутылку портвейна и садились пировать, приглашая Тоню принять участие. Они словно бы нарочно поддразнивали ее своим аппетитом.

Среди товарок по комнате не было ни одной, которую Тоня могла бы назвать подругой,— так, просто «девочки», живущие вместе, объединенные временно общей жилплощадью: телефонистка с городского узла связи, почтальон из соседнего почтового отделения и парикмахерша из центральной большой парикмахерской. Их звали Нина, Люда и Галя. Все они тоже были из деревень, с окрестных станций, но почти никогда не вспоминали о доме. Городская жизнь им очень нравилась, и страдали они разве только от того, что было маловато денег для удовлетворения всех городских соблазнов. Нина-телефонистка готовилась поступить в институт народного хозяйства и, видимо, потому считала, что ей принадлежит первенство в комнате, поглядывала на прочих как неравных ей. Она была недурна — из тех, кого называют хорошенькими и которые от этого, к сожалению, по характеру всегда хуже настоящих красавиц, потому что недостаток красоты возмещают гонором. Нины-телефонистки почти никогда не бывало дома, вечерами она уходила на подготовительные курсы или в кино с друзьями. Друзей было много, и все полуинженеры, полутехники и один военный — прапорщик, а Нине хотелось офицера. Зато Люда-почтальонка почти всегда была на месте. Придя с работы, она варила суп, кашу, плотно обедала и укладывалась спать, спала и в субботы, и в воскресенья, просыпаясь ненадолго, расчесывала свои длинные, густые, какие-то лениво-роскошные волосы и глядела в окно. Галя-парикмахерша, самая деятельная и деловая, была вечно озабочена, где взять деньги на новые сапоги-чулки из Парижа, на узорные колготки из ФРГ, туфли-платформы из Японии, на парик из Гонконга, шампунь и краску из тех же стран. У нее было множество подруг из числа продавщиц, стюардесс, кассирш и официанток, и все время они что-то доставали, устраивали, меняли и продавали. Девочки из комнаты Тони Чуркиной, в сущности такие разные, были схожи в одном,— в одном неуловимо повторяли друг друга: всем им хотелось устроиться по-на-

стоящему, выйти замуж за надежного парня с квартирой, и каждая шла к замужеству своим путем. Одна собиралась поразить избранника высотами образования, другая лениво-сонными достоинствами примерной домоседки (такие очень часто нравятся), а третья — ослепить всем блеском современной косметики и моды.

Ничего такого не испытывала, однако, Тоня Чуркина. За модами гонялась не слишком, спать подолгу не любила и не могла, приученная матерью вставать спозаранок, в институт не готовилась, для этого надо было еще закончить десятилетку, и о замужестве она думала как о чем-то несбыточно-далеком, которое еще будет ли, нет ли, а скорее всего — нет. Кому нужна такая громадина, такая толстая, такая неповоротливая, такая глупая. Новая городская жизнь была для нее куда легче прежней, но здесь явилось и незнакомое ей ощущение не то что пустоты, а словно некой своей ненужности, ощущение, никогда не приходившее дома, в деревне, где заботы с утра до вечерней зари не давали ни скучать, ни думать о бесцельности существования.

Временами, особенно в те пустые вечера, когда девочки из комнаты исчезали, уходили на свидание, на курсы, в кино или на поиски суженого-ряженого, Тоня садилась к столу у окна и напряженно, до тяжелой натянутости в лице, смотрела. С пятого этажа было далеко видно загородные поля, железную дорогу, которая была как бы живая,— все время двигались, бежали по ней составы, пыльные спины вагонов и вереницы цистерн; дорогу пересекало шоссе, графитно-блестевшее, накатанное, с вечно спешащими грузовиками. За полями, за чадящими трубами дальних построек красно и смутно горел закат.

Никогда и нигде не было ей так солоно-скучно, как здесь, и она все время думала: неужели вся ее теперешняя и будущая жизнь пройдет при этом унылом закате, в этой комнате, в этом доме и вообще — так, и чем больше она думала об этом, яснее и резче припоминалась деревня, огороды, живое серебро Вотьпы в быстринах, гряды лопушника вдоль галечного берега, колоколенка-звонница, щебет ласточек, летающих то низко над самой водой, то высоко белеющих брюшками под самыми тучами. Виделись ей толстые столбы старой изгороди у околицы, они были даже дуплистые, и в них жили-гнездились красненькие красноxвостые птички;

вспоминались узкие прогоны меж пряслами — все в крапиве, репьях, малиновом пустырнике, бодяках и татарниках, над которыми всегда вьются, опадают, садятся и переносятся рыжие, желтые, голубые бабочки, пчелы и шмели; чудился ей запах леса, свежо набегающий к вечеру, стук калиток, мычанье и бяканье стада, звон железных ботал, свиристенье кузнечиков в темноте и нескладное пиликанье гармошек. Ей хотелось встать, пойти, как всегда, травяной сонной улицей за поскотину в лесное поле, постоять там в вечернем ласковом холоде, сжимающем ноги выше колен, в холоде трав, тумана и севшего в лес тихого солнца, хотелось пойти дальше, через поле, по-вечернему чуткое, прислушивающееся тысячами вытянутых к небу травинок и так грустно благоухающее ушедшим днем, ночной сыростью, невидно падающей росой.

И сама она не замечала, что уже плачет, трясется, кусает губы,— вот уж совсем некстати. А что делать? Она одна здесь, и никто не мешает ей вспоминать. А ещё вспоминалась мать, не написавшая дочери ни одного письма, братья, сестренки — те, кого она недавно властно воспитывала, кормила, разнимала, давала шлепки. И домашние казались теперь бесконечно милыми — даже отец. Он-таки навестил Тоню в общежитии, привез домашних шанег, пирог с черемухой, мяса и бутылку с топленым маслом, посидел, выпросил десять рублей и исчез по обыкновению. Ей хотелось вдруг и неожиданно перенестись, перелететь, оказаться не в этом бетонном доме с тремя сотнями непонятных ей судеб, а дома, на своем подворье, где так спокойно под родной, сквозящей оторванными ветром тесинами кровлей сарая. Тут она любила спать на сене, укрываясь лоскутным одеялом и олубенелым тулупом. Тулуп можно было пощипать и подергать, засыпая, под ним было уютно и надежно, даже когда ночью начинал крапать дождь. Она помнила, как засыпала, погружаясь в сон как в воду, и звезды светили ей сквозь дырявую крышу, и слышались дальний крик перепелов и ночной стон чибисов. Утром холод все-таки пробирался под тулуп, студил легко отдохнувшее тело, и она просыпалась от покосного летнего звука дергача, точившего где-то за огородом в тяжелой от щедрой росы траве. Ах, этот дергач! Не по нему ли и плакалось теперь так горько и облегчающе?

Прошла еще одна весна и первые месяцы лета. Однажды Тоню зачем-то пригласил в свой тесный кабинет заведующий кафе. Кабинет помещался рядом с раздевалкой, и Тоня не заметила, как гардеробщица Наташа проницательно усмехнулась ей вслед, качая седой головой.

Заведующий кафе стоял у стола. Высокий мужчина, не потерявший некоторой стройности, человек с немецким бледно-сероглазым лицом и тонким носом, как бы презрительно и брезгливо натянутым, напряженным, отчего и губы у него были тоже натянуты. Словно напомаженные, волосы зава были зачесаны назад, клейко блестели плоскими прядями, меж которых просвечивала пока еще не слишком явная лысина. Зав никогда не нравился Тоне, не понравился и сейчас своим отличным молодежного покроя костюмом, узковатыми брючками, узким кольцом, голосом, в котором было что-то такое же, как и в лице, в лысине, взгляде, игре пальцев. Она не запомнила даже, о чем он спрашивал и зачем, кажется, уточнял, сколько ей лет, образование, где живет... Потом он сел за стол, записывал, а записав, долго смотрел на нее и постукивал пальцами по столу, точно играл на пианино, может быть, хотел что-то сказать ей — и не сказал...

На другой день зав неожиданно встретил Тоню на углу квартала после смены, пошел с ней рядом, рассказывал о чем-то неинтересном и сам смеялся рассказанному. Смеялся он одними натянутыми губами, слегка кривя их и неподвижно разинув рот. При этом глаза его едва теплели, нос оставался напряженным и унылым. Потом он взял ее по руку, и так они шли: она — ничего не слыша и не слушая, пылала лицом, как от самого жаркого огня, он — увлеченный своим красноречием и ее молчанием. Заву было почему-то все по пути, и расстались они у самого общежития...

Заведующий стал встречать ее все время, поджидая то на углу, то на улице, то попадался как-то случайно. И однажды предложил ей встретиться в воскресенье, пойти в кино. Неизвестно отчего — она согласилась. Это было непонятно ей самой, неожиданно, неловко и неприятно. И все-таки она не смогла отказать настойчивому человеку, что-то помешало ей сказать: «Нет!».

Тоня шла к общежитию с тяжелыми мыслями, каялась, что приняла это приглашение, кусала губы, ей

хотелось даже побежать обратно, нагнать и сказать, что она не придет, но, оглянувшись несколько раз, она увидела, как зав, явно молодясь, выкидывая ноги, бодро бежит к трамваю, так же бодро вскакивает в трамвай, уже тронувшийся от кольца, и она подумала, опуская голову и встряхивая ей: пусть все решится завтра и, конечно, она не пойдет, зачем это и что связало ее с человеком, к которому у нее ничего нет, кроме показного уважения. Неужели он сам не понимает этого? Или же понимает? Или?

— Не хочу... Не пойду,— вслух бормотала она, поднимаясь по лестнице.

Девочек Гали и Нины в комнате не было. Люда уже спала и похрапывала. И чтобы рассеяться, Тоня долго бродила по коридору, а потом вернулась и села шить халат, который ей скроили в магазине готового платья. Тоня и раньше любила шить, а недавно приобрела первую свою действительно ценную вещь — электрическую швейную машину «Волга». Над этой покупкой девочки Галя и Нина потешались, называли Тоню домохозяйкой, а почтальонша Люда одобрила и даже погладила машину, оглядывая так и сяк. Правда, когда Тоня однажды предложила ей что-нибудь сшить, Люда сказала, потягиваясь и зевая: «Да, лау-э-дно-о... По-э-т-о-ом...»

Но шитье не отвлекало от грустных размышлений, как-то не ладилось, путались, узлились и рвались нитки, и Тоня легла на свою койку, пытаясь забыться по методу Люды.

Она долго не спала, так что Галя-парикмахерша и Нина-почти студентка, вернувшиеся откуда-то уже за полночь, удивились и спросили, что с ней, может, заболела?

— Нет! — простодушно ответила она и сказала, что согласилась на свидание «тут с одним», а идти не хочется...

— И не ходи,— спокойно ответила Галя-парикмахерша, раздеваясь и отстегивая все свои накладки-шиньоны, их у нее было целых три.

— Ну — я же обещала...

— Подумаешь.

— Ну — он же придет... Будет ждать...

— Ты что? Дура? — сказала Нина-почти студентка, уже лежа в постели и блаженно потягиваясь. Ноги у нее ныли от высоких каблуков.

— Ну... Я так не могу.

— Не можешь — иди... Что переживать!

Галя плюхнулась в кровать со счастливым хохотом:

— Ой, девки, как я устала! Ой...

— И погладить некому...— сказала проснувшаяся Люда-почтальонка.

Девочки похохотали и быстро уснули.

А Тоня промучилась почти до утра и встала с распухшими глазами. Голова тихо и нудно болела, ничего не хотелось, и было ощущение непонятной безысходности, такого она никогда не испытывала раньше. Перед глазами все время мелькало лицо зава, его улыбки, слова, смех. И разве этого она ждала, разве такого... Она пробовала приободриться, сходила в буфет позавтракать, пыталась читать, даже смотрела в окно вместе с только что проснувшейся Людой. Но и день за окном, легкий и золотистый, с тихими августовскими облаками, не радовал, как обычно. По-крестьянски простодушно Тоня любила погожие дни. А сейчас она думала, что лучше бы уж пошел дождь и тогда можно было бы не идти на это ненужное, ненавистное, распроклятое свидание...

Все-таки она пошла. Она надела самые лучшие жемчужно-дымчатые чулки, новую темно-серую юбку с блестящими, как полированное золото, пуговицами, нейлоновую цветную кофту с фестонами на рукавах, а на ногах Тони засверкали лаком ни разу не надетые югославские туфли с модными пряжками. Она покупала все это потихоньку, вдумчиво и обстоятельно, заранее предвкушая, как наденет и как изменится, и немного побаивалась, пойдет ли этот наряд к ее стрижке,— недавно в Галиной парикмахерской Тоня постриглась по самой последней моде, и все девочки в комнате позавидовали ее волосам в прическе, а женщины в кафе ахнули и всплеснули руками, когда Тоня, смущаясь и алея, явилась на работу. Тоня припомнила, что именно в этот день заведующий пригласил ее к себе.

Новые туфли немножко давили, больше это ощущалось на правой ноге, и Тоня шла медленно. Она чувствовала и видела, как на нее непривычно глазеют все, а многие даже оборачиваются. Лицо ее полыхало, она чуть-чуть задыхалась от волнения, от непрошеного стыда, заливавшего румянцем и без того вишневые щеки.

Бедная Тоня никак не могла взять в толк, что сего-

дня была на диво хороша, что на нее не могут не оборачиваться, что нравятся не одни только тоненькие, что ей удивляются и завидуют.

Она появилась у кинотеатра ровно в срок, даже успела пройти раз и другой, втайне радуясь, что заведующего нет и вдруг он еще не придет или опоздает, тогда можно будет уйти с чистой совестью и уж никогда больше не соглашаться на такие встречи. Но едва она подумала так, зав вынырнул откуда-то из боковой улицы и подошел к ней, слегка улыбаясь. Она не знала толком даже, как его зовут — не то Константин Петрович, не то Владимирович. А он не представился ей, может быть, потому, что назвать себя Костей побоялся, а по имени и отчеству не хотелось. На сей раз он был опять в новом полосатом костюме, но так же уныл был его напряженный нос, так же бесцветны водяные глаза и так же клейко блестели волосы, зачесанные по-дьячковски. Сегодня он не понравился Тоне еще больше, едва она взглянула на его впалую улыбку, открывшую хотя и вполне целые, но какие-то подточенные у оснований зубы. Зато она, по-видимому, произвела на него как раз обратное впечатление: он весь засиял, обежал ее радостным взглядом, сказал, что билеты — вот они, фильм чудесный и, подхватив Тоню под руку, настойчиво увел в ту же боковую улицу гулять до начала сеанса.

Это была старая купеческая улица, по обеим сторонам ее стояли облезлые двухэтажные дома — их и сейчас кое-где еще называют жактовскими и коммунальными. Это те самые дома, которые немыслимо велики были бы для современного трехкомнатного владельца и всегда рождают мысль, как же в них жилось, если комнат было столь много. Да, конечно, они без удобств, в них часто нет даже водопровода. Их кирпичные полуэтажи мокнут и разрушаются на углах под истлевшими водостоками, на фундаментах и воротах всегда начеркано мелом, а дворы забиты дровяниками и сараюшками многочисленных владельцев. О, эти дома с перекошенными балкончиками и старыми резными верандами, где сквозь черноту выбитых стекол виднеется развешанное на веревках белье, дома с наглухо забитыми парадными и с флюгерами, неподвижно указывающими в прошедший век. Некогда строенные хорошо и добротно, на тесаном граните и серебряных рублях, заложенных под углы, теперь они доживали свой век, заселен-

ные теми, кто либо ждал, считал месяцы до переселения в благоустроенное счастье, либо просто жил в неспешной суете никуда уже не ведущих старушечьих дней. На улице было сонно и скучно. Роняли бурый в ржавчине лист склоненные к югу черные грубокорые тополя, редко попадался прохожий с бидончиком, идущий, по-видимому, за пивом, девчонка у ворот и городского вида нетявкающие дворняги, которые лишь на мгновенье приостанавливались, взглядывали на идущую пару, а там трусили себе дальше, тряся хвостами, опустив морды, по своим собачьим делам.

Тоня стесненно молчала, потом, через силу, стала говорить, притворно удивилась, почему они гуляют не по главной улице. И зав, такой разговорчивый, на этом месте споткнулся, а она посуровела, окончательно поняла его, шла дальше как деревянная. Она все время неприятно ощущала его ладонь, на которой сегодня не было тонкого кольца и от которой тепло промок рукав ее нейлоновой яркой кофточки. Зав снова оживился, улыбался, болтал о том о сем, говорил, что не удовлетворен жизнью, работой, дел по горло, развлечений...— тут он с улыбкой поглядел ей в лицо,— никаких, но она отвела глаза, сегодня густо зачерненные по совету Гали-парикмахерши и придававшие ей тот несвойственный капризно-нескромный вид искательницы тех самых развлечений, на которые намекнул спутник. Она отвела глаза, смотрела в землю и так же деревянно, как шла, продолжала слушать. Ей очень хотелось, чтобы он понял ее деревянность, хотелось, чтоб она не понравилась, как не нравился ей он, чем дальше они шли, тем больше. От него попахивало вином, лицо было плоское и раскрасневшееся, рыжеватые брови поднялись, и оттого нос принял еще более удивленное непонятно-брезгливое выражение. А она уже старалась не смотреть ему в лицо, удерживать отвращение к этому первому, кто держал ее под руку, с кем гуляла она на своем первом свидании. В глубине души, быть может, она была чуточку благодарна ему за выбор, но только чуточку, самую малость, и это крохотное ощущение постепенно испарялось, по мере того как она осязала промокший рукав, по мере того как она думала, что кольцо он снял только что и оно, наверное, лежит у него в кармане.

Они вернулись по другой стороне той же ветхозавет-

ной улицы, вошли в вестибюль кино и сразу погрузились в толкучку фойе, где люди, собранные волей случая, скучали, разглядывали друг друга, ели мороженое, болтали, томились, подпирая стены, обозревали какие-то картинки и плакаты.

Тоня так ушла в свои мысли, что совсем позабыла о спутнике, очнулась, когда он спросил, желает ли она мороженого. Она любила мороженое, но тут же отказалась, ей ничего не хотелось принимать от этого человека, хотелось лишь как-нибудь дотерпеть до конца свидания, а зав, не понимая этого, был по-прежнему улыбчив, что-то продолжал рассказывать и спрашивать, мороженое все-таки купил, и оно таяло у нее в руке, она не знала, что с ним делать. Ее спас звонок, распахнувшиеся двери зала и металлический голк откинутых билетершами портьер. Сразу все облегченно зашевелилось, потекло внутрь сумрачно освещенного зала, поток втянул туда Тоню и ее спутника. В толчее она незаметно успела бросить мороженое в мусорницу. Они без труда нашли места с краю, поспорили, кому сидеть на первом, и Тоня настояла, что будет сидеть тут она. Зав кивнул, и тогда она осторожно села, изо всех сил потянув свою модную юбочку-колокольчик, которая так и раскрылась на ее коленях.

Картина показалась не интересной — что-то такое тысячу раз виденное о преступниках, о мчащихся мигающих машинах, следователях в шляпах, перестрелках в подвалах, когда преследуемый обязательно прячется за колонны и углы и дышит как загнанная собака. Был там и полковник, который не уходит с работы, а только звонит жене, чтоб не ждала, и майор был, который по-отечески смотрит на раскаявшегося и устраивает его на работу. Тоня рассеянно глядела на экран, сыплющийся дождевыми штрихами старой пленки, иногда взглядывала в сторону и тотчас встречала совиный взгляд спутника. Казалось, он вовсе не смотрит на экран, а только на нее, на Тоню, старается приблизиться к ней, время от времени ей доносило неприятно-винный запах рта. Вот еще и еще... Она отодвинулась. Тогда вкрадчивая влажная ладонь вдруг взяла ее за руку, и она замерла — не знала, как поступить: убрать эту руку или терпеть. Она терпела. Так длилось не слишком долго, потому что другая такая же рука легла ей на колено и медленно поползла по чулку. Тогда она

вдруг неожиданно даже для себя стряхнула, отбросила эти руки и, секунду помедлив, поднялась, вытеснилась из ряда и быстро пошла по проходу к дверям, где красным углем тлели надписи: «ВЫХОД»... «ВЫХОД»...

Откинув портьеру, Тоня сунулась раз и два в закрытые двери, ощупью нашла длинный тяжелый крюк, сбросила с пробоя и, радостно толкнув створки, оказалась на светлой до боли в глазах улице. Легко вздохнув, она провела руками по коленям, отряхивая что-то, и пошла прочь, а потом, оглянувшись, побежала неловкой рысью — была на каблуках,— и прохожие мужчины и парни опять оборачивались на нее, а какой-то даже закричал вслед: «Ух!! — Ух!! — Ух!»

Она перешла на шаг, еще обернулась — никого не было на пустынном тротуаре. С запада заходила небольшая тучка, и уже капало, грозило вот-вот пролиться... Тоня заспешила к трамвайной остановке. Пошла было через шоссе вдоль рельсов — тут росла мазутная оранжевая ромашка, чахлая низенькая лебеда, внезапно снова пересекла улицу, свернула в незнакомый проулок и села на узкую лавочку-доску у чьих-то зеленых ворот. Туча была уже над головой и стрельнула первым коротким дождем, похожим на градины; Тоня поискала их взглядом. Не нашла... Вздрогнула. А дождь вдруг зашумел ровно и прямо, и Тоня сидела под ним, лишь вжималась спиной в стенку ворот, чувствовала, как промокают плечи, грудь, бедра и колени. А потом закрыла лицо руками, и дождь был соленый, слезы бежали ей в рот и на локти. Зато дождь же и смыл их, едва она отняла руки от лица. Скоро дождь стих. Проплакавшись, мокрая, Тоня сидела у этих незнакомых ворот, и на нее таращились редкие прохожие.

«Да что вы все уставились!? Что!? Идите вы все к черту!» — хотелось ей крикнуть, и она лишь плотнее сдвигала колени.

Дождь был теплый, еще летний — один из тех последних дождей, за которыми приходит первое осеннее дыхание. Оно угадывалось по серым размытым облакам, тянувшимся за ушедшей тучей, по желтому блеску луж и свету заката. Наступал недолгий августовский вечер. Облака все тянулись, голубовато-серые и дымчатые, закат поджигал их, превращал снизу в багровые, а сверху они были темнее и гуще. Блики желтого, красного и голубого ложились на мокрые крыши, медленно

остывая, и все задумчивее становились окна, дальние постройки и дымы, растянутые в ниточку по верховому ветру.

Вдруг Тоня подумала, что если бы этот неприятный человек нашел ее сейчас, вымыл бы руки, пусть вот тут, в светлой лужице под водостоком, где лежали белые и желтые гальки и красные кусочки кирпича, сказал бы, что понимает ее и просит прощения и просит понять его,— она, может быть, поняла и простила бы и пошла бы с ним по улице, может быть, не сердясь и не испытывая отвращения. Потому что нельзя испытывать отвращения к чистым рукам и к честному лицу, будь тебе двадцать или сорок, и все понимают это — будь им двадцать или сорок...

Но его не было и не могло быть. Он не вымыл бы рук и не попросил прощения... Это она хорошо понимала и потому, поднявшись с лавочки, пригладила мокрые волосы, оглядевшись — нет ли кого,— подтянула чулки, отряхнула юбку, отерла о траву забрызганные туфли и туго пошла к остановке — как ходила она всегда, суровая и недоступная никому Тоня Чуркина.

## О чем думал витязь на распутье

*ГЛАВА ШЕСТАЯ, почти целиком взятая из дневника Владимира Ивановича. В ней сделана попытка доказать аксиому, что сплочение в коллектив начинается с появлением общих интересов.*

Вчера поздно лег спать — читал Ле Дантека. «Эгоизм как единственная основа...» и т. д. Но заснуть долго не мог. В решетках балконов ныл и пел ветер. Ощутимо было, как он давит в стекла. «Уже февраль, месяц ветров. А спать я все-таки не мог. Что-то мешало. Давно знаю, когда заставляешь себя заснуть, результат получается отрицательный. Оттого и бывает, наверное, бессонница — человек боится, что не уснет, а бояться-то и не следует: не поспишь одну ночь — в другую уснешь камнем. Организм — это маятник. Чем больше отклонение в одну сторону, тем больше в другую. Все, все в природе колеблется, так примерно установил я из кни-

ги Дантека и еще уяснил, что философ не делал разницы между живой и мертвой природой. Она по Дантеку вся живая, мыслящая, подчиненная ритму и резонансу, стремящаяся к равновесию... Что ж... Может быть, и эти порывы ветра — жизнь? Лежал и все пытался представить жизнь рек, океанов, гор, пульсацию звезд и завихрения галактик... Что-то удавалось мне, и счастливые «открытия» так и бежали волна за волной, не стесняемые сомнениями. Ночью всегда так: или одни открытия, или одни сомнения. Но постепенно отвлеченные теории отошли в сторону. За стеной явился сосед — артист музкомедии. Жизнерадостный человек. Домой он приходил еще позднее меня, часто под утро, и всегда включал магнитофон. По силе звука я уже точно знал, насколько он весел, знал и сейчас, что актер был без компании, без друзей и подруг, иначе я слышал бы их бодрые голоса, звонко-звучный театральный хохот, а веселье затянулось бы до рассвета. Послушав вместе со мной песенки Окуджавы и рычание Высоцкого, актер скоро угомонился, заскрипела койка, и вскоре через стену стал доноситься ритмичный храп. «И тут ритм... и резонанс»,— подумал я, ворочаясь. Спать уже совсем не хотелось, не хотелось и философствовать. Раздумался о своем житье: когда и подумать о нем — только бессонной ночью. Теперь моя жизнь мало-помалу приходит в норму: обзавелся письменным столом, купил стол на кухню, кастрюли, чашки, шкаф. Солидное дополнение к моей бывшей раскладушке и двум табуреткам, подаренным на первое, официальное, новоселье. На остальные новоселья уже ничего не дарили, зато табуретки служат верой и правдой. Я кладу на них доску, стелю шерстяное одеяло и получается отличная скамья для гостей, остальных усаживаю на кровати. У меня есть полутораспальная кровать. Забавное название, если вдуматься, и, пожалуй, бессмысленное. Вот в двуспальной кровати смысла полно, однако такая кровать, кроме комиссионного, нигде не продается, а в комиссионном не каждый покупать может,— все вещи там представляются мне полными историй, двуспальные кровати в особенности... А ведь вам, Владимир Иванович, уже четверть века. В недалеком прошлом это был средний возраст живущего... «Без женщин жить нельзя на све-те, нет...» Какая дурацкая мелодия, хоть и великого композитора... Без женщин? Живут. И без

мужчин тоже. Где я ее возьму? Ну да, женщину, жену. Может, у меня душа уже перегорает от этого многолетнего одиночества... А если не встречаю никак... Вкус у меня, что ли, какой-то странный? Да и где знакомиться? На танцах? Туда теперь старше семнадцати не показываются, и кто там постоянно-то толчется? В театре? Не люблю театр... Работаю вечерами... В ресторанах? С моим заработком — только по ресторанам ходить, и знакомства тамошние не радуют... На улице? По-моему, человечество, исключительно много заботясь о жилье, пище, квартирах, одеждах, совсем не думает о проблемах знакомств и общений. Не странно ли — живу в городе, давно работаю в школе, имею кучу сослуживцев и знакомых, а в сущности — только что не инок-отшельник в пещере? Сам, конечно, я больше виноват, характер такой, наверное, но вот недавно пришел в учительскую наш математик, бросил журнал, что с ним никогда не случалось, не замечалось, и сказал, закуривая, не обращаясь ни к кому: «Швейцарцы подсчитали — нужно шестьдесят тысяч знакомств в среднем, чтобы найти нужного человека...— и, помолчав, добавил, выдыхая дым в форточку: — Противоположного пола...» Больше он ничего не сказал, докурил папиросу, поднял журнал и ушел, сутулясь по обыкновению. Математик — старый холостяк, ему сорок девять лет... Но ведь было же ему и двадцать пять...

Смотрел в мрачную пустоту окна и думал теперь о работе, о своем классе, о том, куда бы повести учеников в воскресенье для сплочения. Сплочение... Обычно теперь его понимают как? Собрать всех, предложить ехать в лес на электричке, весной — «за подснежниками», летом — «загорать», осенью — за букетами из листьев, если уж причина нужна обязательно. Деловая причина. Объявишь — и все не все, а большинство заорут: «Поехали! Поехали! Здорово! Ура!» А там — электричка, а там — гитара, а там, ясное дело,— БУТЫЛОЧКА. «Что мы — маленькие? Мы же работаем! Мы — на свои! Да ну-у-у! Что это за поход? Понемногу же! И на девочек взяли... Владим Ваныч! По маленькой!» А вот и костер, и шуточки-анекдотики, и — панибратство.

Прощай, учительский авторитет. Кто ты тут, у костра, со стаканчиком? Да такой же. Да свой в доску! Нет, не этому учил Бармалей. Никогда он не был для

нас своим в доску... И покамест это никуда не годится. Пока не устоялся авторитет, никаких походов, костров, гитар... К тому же — зима, февраль, едва тает... На лыжах? Я не любитель. В училище находился на них до слез, наш генерал был заядлый лыжник и любил погонять офицеров. Куда вести? В кино? Разве этим удивишь? Кажется, самое гнусное качество современного человека — потеря способности удивляться.

— Мореплаватель обошел вокруг света один! На парусной лодке!

— Хе...

— Одна ракета запустила восемь спутников!

— Подумаешь!

— ЛЮДИ ХОДЯТ ПО ЛУНЕ.

— Ну и что?

Впрочем, пардон... Удивляются. Иногда:

— Слушай! «Автомобилист» выиграл у ЦЭЭСКА!

— Когда?! Врешь! Ты что?? Когда!?!

Нет, кино отпадает. Добро бы им по двенадцать было. На каток? Не-а... Слишком много на катке отвлекающих моментов. Какое там сплочение! Пестрота, беготня, девочки, мальчики. К тому же, уверен, половина откажется: «Нет коньков!», «Не умею». А как быть таким, как Чуркина? Да и Горохова немногим уступает ей в габаритах. Отставить. Нет сплочения на катке. На катке лучше всего вдвоем: рука в руке, взгляд со взглядом, шаг в шаг...

Что остается? В музей?

Память — вот она! Сразу родит склепный запах высоких монастырских зал. И полумрак. И нелепый остов мамонта с чрезмерными бивнями. Скелет гигантского оленя с одним уцелевшим рогом. Мятые чучела остекленело глядят из витрин, обломки стрел, рваные кольчуги, могильные черепки из пещерных помоек. Нет, и в музей пока не стоит. Разбредутся, заскучают... А ведь мне надо — сплачивать.

Вдруг словно бы кто подсказал:

В галерею. В картинную галерею. Точно! Именно туда! Постой-постой... А там что? Сам не бывал в галерее лет десять. Смутно: были картины замечательные, великих художников — даром что областное заведение. И Репин был, Брюллов, Левитан... Но что именно — никак не мог вспомнить. Ничего. К искусству надо приобщать. Искусство облагораживает...

С такими прописями и заснул.

В пятницу перед уроками объявил. Энтузиазма никакого. Молчание. Редкие голоса:

— Ну-у-у-у!

— Фу-у-у-у!

— Чо смотреть-то... Лучшебнахокей.

— Картинки смотреть?

— Да. Смотреть. КАРТИНЫ... И п о-н и-м а т ь...

Орлов прищурился. Улыбается презрительно. Опять тот же взгляд на меня — с о ж а л е ю щ и й. «Да и черт с тобой! Не приходи» (учителю ведь тоже можно сердиться, пусть мысленно). Вслух:

— Кто идет в галерею, запишитесь у Чуркиной. Желательно, чтоб пошли все. И помните: слово — дело. Сказал — пришел. Нет — нет.

Продавщицы записались и не пришли. У этих девочек такое «в поряде» — в порядке вещей.

Камвольщицы пришли все пять. Явились Фаттахов, Мухамедзянов, Алябьев, Столяров, Горохова, Чуркина, ребята из ПТУ. Павел Андреевич не явился, семья. Но и не обещал. А вот диво: пришел Нечесов. Один. Без Орлова. Знамение лучшего! Хотел сказать ему: «Как же хоккей?» Но промолчал, промолчать иногда полезно. Еще в училище это понял: в молчании реже каешься, чем в сказанном слове.

В галерее встретили неприветливые гардеробщицы. Такие почему-то часто, если не сплошь, бывают среди вахтеров, уборщиц, швейцаров и билетерш в театрах. Считают своим долгом всем и на все указывать, и лица у них такие же, как предписывающие дорожные знаки, на них начертано: «Шапку сними. Ноги вытри! Не шуметь! Пра́ва держи! Расходись! Не толпись! Пройдемте!» Вот он, родименький унтер Пришибеев. Жив, оказывается, здравствует. Пальто у нас все-таки приняли, точно сделав великое одолжение. Нечесову сунули обратно. Вешалка оторвана. «Забирай! Не приму!»

«Вот и все!» — сказал он и, хлопнув на голову драную шапку, кстати, тоже с полуоторванным козырьком, хотел уйти. Но у Чуркиной оказалась иголка с ниткой. Взяла пальто у Нечесова, тут же принялась пришивать, сурово поглядывала на всех, на Нечесова особенно. Откусила нитку:

— На... Кулема!

Почему она зовет его так? Что такое — кулема?

Смотрел у Даля. Написано: «Кулема — ловушка для мелких зверьков. Кулемник — воришка, который обирает чужие ловушки». Нечесов ворует? — пришла неожиданная и опасная мысль.— А ведь не работает он? Толком и не учится. Где проводит дни? Дружит с Орловым. Орлов — выяснил недавно — дважды был в колонии за воровство и «хулиганку». Да... Надо, надо за Нечесовым приглядывать внимательней. Впрочем, может быть, просто шалопай. Дворовое дитя. Много их теперь. Мать — на работе. Отец — на работе. Кстати, есть ли у него отец? Узнать. Итак — наверняка родители заняты. Хозяйство? Одна квартира. Много в ней не высидишь. Нужно дело, занятие, забота... Десятка два лет назад подросток, даже городской, убирал снег, копал в огороде, пилил дрова, топил печи, носил воду. Теперь? Избавлен он от всех забот. В квартире — тепло, воды — залейся, не экономит ее никто, кроме самых лучших, не жалеет, картошка — вот погребок и очереди нет. Куда девать рвущуюся энергию? Что делать? Хорошо, если приучен читать, любит что-нибудь мастерить. Диоды, триоды... А если — нет? БЕГАТЬ! В это слово слишком многое включается. БЕГАТЬ! — это бездумная лень, апатия ко всему, слоняние по дворам и бульварам, это курение в подъездах, поджигание газет в ящиках, исписанные стены, битые лампочки, замученные кошки и встречи с девочками, которых почему-то не хочется называть таким добрым и ласковым словом.

Вот он стоит у зеркала, Нечесов, и, как бы доказывая свою фамилию от противного, водит расческой по темени, ровняет челку. Уши торчат — большие, плечи хлипенькие, шея не толще, чем у Столярова, мальчишка тоже. А сколько этот «мальчишка» знает всего и больше — грязного, подобранного в дворовых закоулках и в подворотнях? Из дневной его выгнали — ткнул шилом одноклассника, обругал учительницу, походя бил младших. С уроков сбегает, когда захочет, а чаще с Орловым. Прогуливает. Задания не делает. Вывозит его только замечательная память, отличные способности... Кружки? Разве что — гитаристов, такой кружок он и посещает активно. Опять же, где? В подворотне...

А девочки мои пришли расфранченные. Волосы причесаны, вымыты-надушены, глаза разрисованы, чулочки натянуты, юбочки — короче некуда, сапожки бле-

стят, взгляды — праздничные. Любит русская девочка все такое: кино, выставки, театры. Театр особенно. Актеры должны бы памятник поставить этой девочке, которая куска не доест, пообедает стаканом кофе с булочкой, недоспит, а в театр пойдет с охотой. И будь хоть трижды бездарная пьеса, дрянной реквизит, плохонькая режиссура, фальшивящие на каждом слове актеры — театр выполнит план, и премия будет, и выходы — аплодисменты, и спеси актерской пожива — букетики хризантем смазливому «душке», весь талант которого часто лишь черные очи да крепкие кудри: все будет, потому что вот она стоит, охорашивается у зеркала, русская девочка, школьница, ученица ПТУ, студентка, работница с камвольного комбината и с шоколадной фабрики. Сантименты, что ли, развожу? Да нет... Просто понравились мне сегодня мои девчонки, еще когда, поджидая остальных, перетоптывались, хихикали у входа в галерею,— такие все были простенькие и хорошие в пуховых кроличьих платках, в куртках и цветных ширпотребовских пальто, в резиновых (по холоду), зато высоких сапогах.

В первом зале галереи висели только парадные портреты и работы художников школы Венецианова, был и Тропинин, и Крамской. Из иностранцев Джорж Доу, а больше неизвестные мастера, чьи скромные имена так и остались не раскрыты дотошными искусствоведами.

Черная, чрезмерно бойкая гидша, похожая на галку в очках, скороговоркой тараторила перед толпой провинциального вида тихих школьников. С ходу отвратили заученно-умные фразы: «Животворный пафос искусства... Необычайная художническая зоркость...» — так и сыпалось из широкого зубастого рта этой стрекозы. Кстати, никогда не видели, какой рот у стрекозы? Он широченный, подвижный и с усиками.

Повел свою группу сам. Смотрели пока стихийно, переходили от портрета к портрету. Собрано-то разное, неравноценное... Иной бы портрет в Эрмитаж, в Русский музей, в Третьяковскую на видное место, другому самое-самое в комиссионном антикварии на вечное поселение. Тем более неизвестной кисти. Но и среди неизвестных попадались портреты останавливающие. Вот, например, «Княгиня Куракина». Увялая, с промытыми

морщинами властительная бабушка в кружевном чепце. Слезливый деспот. Чувствуется: прожила долгую салонную жизнь — жизнь среди выездов, слуг, горничных, приживалок, подхалимов, людей «своего круга», бойко болтавших по-французски, жизнь среди интриг, в которые по-своему мудро и осторожно влезала она и сама плела в меру сил и умения. Все рассказал художник рисунком морщин, складочками век, оборкой рта, старческим брюзгливым взглядом. А этот чепец! А ленты!

Кое-кто стоял, смотрел долго. Особенно Столяров. Нечесов болтался по залу, подходил к школьникам, даже за картины зачем-то заглядывал. Лицо — злая скука. Почему же он все-таки пришел? Этого я разгадать не мог. Постоял, задержался он лишь у портрета гусара.

А гусар — чудо! Малиново-алый колет-доломан, сабля, плащ-ментик оторочен темным соболем, да и сам собой удалец, этакий белозубый кутила, повеса в черных кудрявых баках. Кто? Опять неизвестно и неизвестный... И девочки подошли, глазки блестят. Девочки... Во все времена хватали вас гусары, уводили и увозили, и сами вы знали всегда, что стоят сии «увозы», ясноэубые обещания, а вот, поди ж ты... Верили... И сейчас так же верят! Девочки смотрели, и я смотрел, и смотрел на девочек гусар, особенно на Горохову. Так и уставился — вот подмигнет, снимет руку с эфеса. А не тот ли самый гусар из глубины глянцевого в мелких трещинках-кракелюрах холста сиживал в гостиных вместе с корнетом Мишелем Лермонтовым, пил пунш и жженку, слушал горячие стихи, палил во хмелю из чеканных кухенрейтеров по карточным тузам или мчался на извозчике в ледяном холоде зимних петербургских улиц. И луна провожала его, прячась за шпили башен, за крыши дворцов. Петербургская луна. Девятнадцатый век... Гоголь пишет «Шинель»... А Пушкина тихо везут с дуэли.

— На Лермонтова похож! — сказала вдруг, обернувшись ко мне, Лида Горохова. И улыбнулась, как умеют улыбаться только одни красавицы,— мудро, ласково и безнадежно.

«Неужели они все так же поняли этот портрет?» — думал я, разглядывая другие. Сколько здесь было вельмож, старух, юных девушек, обольстительных красавиц,

угасающих старцев, властных матрон, ясноглазых мальчиков, бравых служак,— все именитые, о том свидетельствовали немалые ордена, ленты, шитье мундиров, выражение лиц. Сосредоточенно и отрешенно смотрели из раззолоченных рам, не смотрели — взирали. Портрет Турчанинова, портрет князя Васильчикова, графа Строганова, целая плеяда генералов работы Доу. Все они были интересны человеку искушенному, знающему историю и, казалось, совсем не затронули мою небольшую орду, которая уже с разочарованным видом перемещалась по залу, пытаясь что-то понять, одним ухом слушая бойкий речитатив гидши, одним глазом поглядывая в мою сторону.

«Надо, надо их как-то заинтересовать»,— думал я беспомощно и вдруг словно вспомнил — я же историк! О каждом из этих, ну, почти о каждом, я могу рассказать много. Вот точно так было со мной в детстве: купался на мели, вдруг попал в яму и начал тонуть, тут же вспомнил, что умею плавать, вынырнул и — выплыл... Для начала расскажу о Строгановых.

— Знаете, почему вот этот молодой человек носил фамилию Строганов? — спросил я. И сам ответил: — Первые Строгановы пошли от купца, поселившегося на Каме. У купца был отец, который попал в плен к татарам. За него назначили большой выкуп, и когда сын не смог заплатить, отца подвергли страшной пытке — сострогали саблями мясо до костей...— Широкие глаза Гороховой. Прищуренные — Чуркиной. Открытый рот Тани Задориной. Прислушивающийся Нечесов.— Вот откуда пошла фамилия Строганов.

А дальше я начал рассказывать о Строгановых — владетелях Сибири, о Строгановых — подвижниках, о Строгановых — злодеях, о Строгановых — государственных деятелях, о Строгановых — самодурах, тягавшихся с неменьшими самодурами из рода Демидовых, о Строгановых — гурманах, оставивших свое русское имя в сочетании с французским «беф», рассказал и об этом Строганове, как он собрал самую крупную в России коллекцию бабочек, путешествуя по Уралу и Сибири, и как дал вольную крепостному мальчику, который помогал ему в этом собирательстве.

Задержались у портрета юного Павла I, неумело подновленного чьей-то ремесленной рукой. Глаза наследника художник сделал, вопреки истине, черными,

и они вылезали из орбит. «Шары-то!» — сказал Нечесов. Что ж, с глаз и начнем. Они ведь были, по свидетельству современников, белые, лютые, как январский мороз. О будущий самодержец, великое спасибо тебе! Ты помог мне родить интерес к живописи, к парадному портрету и, похоже, даже к истории... Сколько я мог бы рассказать и рассказал о твоих причудах, твоих разноречивых указах, бешеном нраве и поступках на грани безумия. Павел у меня получился. Я заметил, как школьники начали покидать узкогубую гидшу, вокруг меня стало теснее, а главное, я видел выражение глаз моих учеников! Не главное ли это умение учителя — видеть и понимать взгляд своих учеников...

«Что ж! — подумал я.— Теперь к Екатерине». Повел увеличивающуюся группу к огромному портрету. Неизвестный художник написал императрицу в полном парадном одеянии, при всех орденах. Молодящаяся старуха, хитрейшая из властительниц, задумчиво взирала из богатой рамы.

«Восемнадцатый век, начатый царем-плотником, заканчивался царствованием императрицы-писательницы»,— вспомнились слова Ключевского. Да, писательница, оставившая двенадцать томов сочинений, созидавшая драмы, трагедии, сказки, поучения, клонившая голову перед Вольтером и умудрявшаяся в русском слове «еще» делать четыре ошибки — писала «исчо»... Решил — здесь не до психологических нюансов. Но история дышала из этой картины. История, а не Екатерина; а история — это гвардейские каре под барабанную дробь на глухом полурассвете, это опальный, низвергнутый Петр III, это увенчанный всеми мыслимыми лаврами Потемкин, Кагул и Чесма, величавый Румянцев и сухонький, с девичьим хохолком князь Суворов-Рымникский. Это Пугачев, едущий степью на белом донце, и Радищев в опальном возке с молчаливыми фельдъегерями.

Возле нортрета простояли едва не час... Школьники толпились, гидша, с ненавистью глянув, увела поредевшую группу.

Портрет властительницы теперь был рассмотрен с дотошным вниманием, даже парчовое платье с надетой на шею орденской цепью.

— Бусы какие! — сказал кто-то.

Объяснил. На Екатерине не бусы, а высочайший русский орден Андрея Первозванного, который носили на золотой чеканной цепи.

— Актоегоз в а л? — спросил Нечесов.

Опять пришлось объяснять, что орден учрежден Петром, назван в честь покровителя России святого Андрея, первого из апостолов, призванных Христом. Орден предназначался для немногих высших сановников, но члены императорской фамилии получали его при рождении...

— Воздорово! — сказал Нечесов, приглядываясь к ордену.— Азачто?

Живопись девятнадцатого века всем пришлась по душе. Особенно Левитан, Репин, Шишкин. А тут в четырех хорошо оформленных залах был и яркий немеркнущий Брюллов, и простоватый Маковский, и чуткий Перов, и грустный Саврасов.

Никак не предполагал, что галерея так богата, словно бы вобрала в себя всю прошлую историю, и думалось, глядя на все эти портреты, пейзажи, этюды и жанры, сколько же, господи, сколько минуло лихих нашествий на Русь, сколько печенегов, половцев, мамаев пережила и забыла она... А еще думалось, сколько же было на Руси дорог, опушек, берез, стогов, закатов, которых нет на свете шире и торжественней, суровых мужиков, истовых старцев, немыслимых красавиц, божьих странников, нищих, купцов, разбойников, офицеров гвардии, солдат, швейцаров, половых и просто мещан, мелких людишек — вот как на этой картине Маковского «В трактире». Куда все это сошло, куда девалось?

Перед фрагментом левитановской «Владимирки» стояли в молчании. Ничего я не объяснял, только спросил у сосредоточенной Чуркиной:

— Хорошо?

Вздохнула, светлея, дернула губами и провела по щеке большой ладонью.

— Очень... Ну, сказать невозможно...

— Это как у нас... За дальней околицей,— добавила стоявшая рядом Задорина.— У нас, как выйдешь со станции, тоже дорога... И пусто все — поля... Это когда я летом к бабушке ез...

— Да тихо, ты! — с досадой сказала Чуркина и еще смотрела. Лицо Тони было грустно, глаза пасмурны — и вся она похорошела удивительно. Такой я ее еще ни-

когда не видел. Чудо ты, Чуркина... И, оглядывая всех своих, я опять подумал: да нет же, никуда не делась Россия. Вот она, в лицах потомков: Столяров, Горохова, Чуркина, вот Алябьев и вот Задорина... И Нечесов. Все это Русь...

...Очень понравился портрет князя Голицына — шедевр галереи, работа Брюллова. Какой изощреннейший царедворец, вельможа и льстец, хитрец и умница с тенями древнего рода на лысом челе глядел из темной рамы насмешливыми глазами! Как чисты были краски! Шелковисто мерцало сукно мундира, мягко светилось золото орденов: звезда Александра Невского и тот же Андрей Первозванный. Вся трудная история рода глядела, усмехалась, припоминала. И опять я принялся объяснять историю Голицыных, но мне помешала гидша.

Оттеснив нас на правах первородства и служебной причастности, она быстро сказала, что «портрет — замечательный образец искусства начала девятнадцатого века», что «изображен здесь помещик-крепостник, яркий представитель господствовавшего класса феодалов. Смотрите, какие у него руки. Такие руки привыкли только держать вилку и тасовать карты». И, победно глянув на меня, она потянула свою группу дальше. Школьники, однако, оглядывались, усмехались. Не такие-то они и провинциалы. Вообще, сейчас провинция исчезает, и быстро... Обнаружил, что мои знают Брюллова. Знают Горохова, Алябьев, Нечесов. «Гибель Помпеи. Статуивалятся... Всебегут...» Столяров же и вовсе не был новичком в галерее. Ходил он с Гороховой, подводил к лучшим картинам, объясняя, улыбался, сиял, выбирал изюминки. Странная была пара: маленький щуплый Столяров и крупная, на полголовы выше, плотная и стройная длинноволосая дева. Мальчишки-школьники все оборачивались в ее сторону. Хмуро, сам по себе, бродил Нечесов. Не влюбился ли и он в Горохову? А может, в Чуркину? Нет, ни на Чуркину, ни на Горохову он не глядел...

И снова перемещались по залам, смотрели закаты и рассветы, нищие избы под нахлобученной соломой, голодных подростков, отданных в ученье, птицеловов, сапожников, бобылей, рязанских баб, розовых купчих, нагих купальщиц, кисейных барышень...

Как мог, объяснял содержание, пытался и смысл раскрыть, но получалось вяло: то ли весь пыл извел на

историю, на Павла с Екатериной, то ли просто устал, злился — почему не подготовился, выдаю себя за знатока, а они, ученики, все понимают, делают вид, чтоб меня не обидеть. Вот тебе! Помни! Не надейся на авось... Учитель никогда не должен играть в знатока — он должен знать...

Последней из значительных картин была васнецовская «Витязь на распутье». Авторское повторение той, знаменитой... Вроде бы поновлена, краски свежи, светятся — или писали они, великие, так, что не жухла краска, не гас цвет. И у Брюллова ведь так же. Картину приняли сразу. Известная. И во мне что-то опять ожило — пустился излагать житие Васнецова, связал сюжет с былинами, сказками, с русской стариной, назвал другие работы — знают. Обступили. Картина в самом деле прекрасна. Хороша. Страшна. Дикое поле. Ветер. Заходит мгла. Кроет даль синевою. И неведомо — что впереди? Кричат вороны, грозят камни, как черепа погибших, смотрят каменными глазницами. Витязь опустил копье. Согнулись плечи, облитые кольчугой. Конь вещий устрашился, клонит голову, косит глазом: «Назад! Назад...» Знает конь... Знает... «Как прямо ехати — живу не бывати... Нет пути... Ни проезжему... Ни прохожему... Ни пролетному...» — прочитал письмена.

— О-о,— вздохнула Лида.

— Страшно...— Чуркина.

— Дачострашното? Сказка!

— Молчи... Кулёма. Ска-зка. Это... Ну, жизнь. Видишь — подъехал и надо решаться... А что там? Не знает. И у каждого так в жизни. Сказка! Понимать надо...

— Яипонимаю.

— Понимаешь — не тараторь... Бо́тало!

— Вот, действительно: о чем он задумался? Ну-ка? — Я указал на картину.— Зачем он тут?

Углубились. Молчали.

— Можно? — Задорина вся в румянце, глаза полыхают.— Может, он невесту ищет... Или семью...— еще больше заалела.

— Да-а уж! Не-весту! Всебывамневест. Старый он. Не видишь? Какаяемуневеста?...

— Никакой он не старый! Бороду тогда все носили. Может, унес у него невесту Кощей, а он ищет. Все ищет ее... Потому что — любит...— ярко взглянула на

меня.— Если не может забыть? Если свет ему не мил? — Задорина замолчала.

— Как вы думаете, поедет или повернет назад? Вот ведь и конь задумался. И кости там лежат. Коню тоже выбирать.

Опять молчали. Самое трудное — решить-отгадать мудрую мысль художника. И все мы вошли в это поле, стояли позади витязя, слышался нам шорох травы, карк воронов и запах коня. О неизвестность! Как часто озадачиваешь до немоты, и надо решаться: бежать ли, трусливо оправдывая себя благоразумными сомнениями, успокаивая ноющую совесть, или же — намотать поводья потуже, поднять копье и — послать своего коня туда, через камни и страхи, через карканье воронов и советы осторожных — вперед, где ждет неведомое зло.

— Поедет он,— глухо сказал Столяров, наткнувшись коротким взглядом на Горохову.

— Поедет! — эхом отозвалась она.

— Я вот не сомневалась. Ну и что? Ну, задумался. Ну, страшно... Конь чует. А рука-то? Посмотрите? Ведь рука-то сейчас подымет бердыш (откуда она знает это древнее слово?), и щит он повернет на грудь. И поскачет. Ну, ей-богу, двинет коня! Правда!

Чуркина! Чуркина... Удивительное создание. С виду туповатая сердитая деваха, а на поверку как чувствительна, ранима, до чего ясны твои мысли, как остро чувство достоинства и справедливости...

Начал уже удивляться своим «гаврикам». Забавно...

А современное искусство большого впечатления не произвело. Может быть, именно потому, что оно — современное? Или не хватает у художников мастерства? Не те картины? Не задерживаясь, молча переходили от полотна к полотну одно другого больше. Мимо паровозов, самосвалов, сталеваров и домен. Нет, не труд, всегда благородно поднимающий человека, не труд, а лишь его приметы, атрибуты труда назойливо лезли в глаза, вздымаясь кранами, бетонными блоками, дымами, башнями и кузовами машин. Бетон и железо словно сговорились отодвинуть человека, сделать мелкой мошкой на фоне домен, дымов и огней. И это была главная беда такой живописи. И вот, понимая ее, стараясь от нее уйти, бросались художники в другую крайность. На других полотнах, часто, огромных — во

всю стену, труд изображался каким-то ликующим праздником, лица были все вдохновенные, искусственно ликующие, поставленные в нужную художнику позу. Праздник заслонял труд, и опять заслонял и вытеснял человека.

Вот сталевары закончили плавку. «ПЛАВКА ВЫДАНА!» Сплошь ликование. Шляпы на затылке.

Вот тракторист сидит за рулем, на шапке цветочки. Точно на свадьбу едет...

Молчали мои каменщики, молчали сталевары, молчали девочки с камвольного, недоверчиво щурилась Чуркина, ребята из ПТУ зевали. Постное лицо Столярова. Презрительное у Нечесова.

— Чо это? Невидаль... Плакаты, — указал на огромнейшую картину, где чудовищный самосвал «БелАЗ» высыпал на зрителя бетонные кубы, а в сторонке стояли деревянно рабочие с такими же бетонно-застывшими углоскулыми лицами. Картина «Мои герои».

— Нравится?

— Не-а...

— Но ведь это работа, труд, рабочие люди.

— Ну и чо? Инепохоженискоко... Только — в телогрейках. На людей не похожи. Набрал кирюшников в гастрономе. Нарисовал... Рабочий-то — человек... А тут чо? Как им сказал — так и встали...

Заспорили было — но спор скоро утих. Стояли у картины «Плавка выдана!» Говорил Алябьев, подручный:

— Вот все тут верно и неверно... Печка мартеновская, а стоят доменщики. Это первое. Верно, радость есть, когда металл сварится, пойдет в канаву. Сколько с ним мороки-то. Пробы таскаешь... То... Се... То шлаку много, то сорт не тот... А никто у нас так вот не становится. Некогда. И устаешь в жару-то! Язык на сторону. Никто на канаву не пялится. Ослепнешь. Долго не поглядишь. Идет металл — и добро... Ну сбегаешь, выпьешь газировки с солью, с ребятами малость потреплешься, и опять работа. Печка-то не стоит. Ей шихту давай. Работает печка, и мы вкалываем. А тут? — Вдруг встал в наполеоновскую позу, оперся на невидимую клюку, точь-в-точь как там, на картине, задрал голову. Захохотали, пошли дальше.

Все понятно. Согласен со многим. Где «душа» у

этих картин? Где человек? Чтоб перед ним шапку долой. Чтоб слеза из глаз, чтобы хотелось самому схватиться за лом, за лопату, за винтовку? Есть такие картины, есть! Где именно? В тех же галереях. Есть Пластов, Дейнека, Лебедев, есть и другие, а рядом — поддельная правда, сусальный реализм, выламыванье и подражание всем: импрессионистам, детям, африканцам, ацтекам, первобытным, Сикейросу, иконам, Гуттузо, возрожденцам, Водкину, Рублеву, Кустодиеву — подражание. Страшное слово, растущее из немощи, из жажды славы. Нужны слава, имя, заработок. И рождается самосвал, появляется тепловоз, дымит домна, и булыжное лицо с каменными скулами выписано-вычерчено, есть все приметы труда, есть все приметы рабочего — нет души, нет любви, ничего не выстрадано художником, молчит его совесть. Так и видишь такого живописца, пишет, хихикает: «Нет, дорогой выставком, не забодаете, примете. Тема!» И принимают, вешают на стены, берут в галереи, плодят равнодушных к святому: к искусству, к времени, к жизни...

Из галереи вышли усталые, даже Нечесов притих, не тараторил, как обычно... Было тепло, и падал крупный слипшийся в хлопья снег. Предвестник широкой оттепели. Синели над крышами и по горизонту глухие облака. Свежо пахло, и снег мгновенно разукрасил всех белыми влажно тающими пятнами. Девочки ловили его на рукав, на варежки, простодушно слизывали, смеялись, взвизгивая, лукаво посматривали — почему-то они напоминали молодых собак. (Да простится мне такое сравнение, но, во-первых, люди часто напоминают разных животных, до амёб даже, до простейших, во-вторых, собак я люблю.)

— Ой, как есть хочется! — жалобно сказала Таня Задорина.

— Ой, правда, девочки.

И все мы посмотрели на Чуркину, словно она обязана была нас кормить.

— Ну, ты, повариха, староста,— сказал Нечесов.— А как бы пожрать бы?

По правде говоря, и мне сильно хотелось есть, это я обнаружил после возгласа Тани Задориной. Эта желтая подсолнуховая девчонка вполне оправдывает свою

фамилию. Весь день она крутилась возле меня, ревниво оттесняла Лиду Горохову, смотрела мне в рот, заглядывала в глаза, всячески старалась обратить на себя внимание. И пришла она сегодня в такой мини, с такими разрисованными глазами, что я едва удержался от внушения. Надо же все-таки пределы знать... Вдруг — осенило! Да ведь она же не зря не пропускает ни одного занятия, ни одного урока истории, не зря каждый раз приходит на нулевой урок, не зря ее голова-подсолнух так часто всовывается в учительскую на переменах. Этого мне еще не хватало! Почувствовал себя глупо, с одной стороны, вроде бы что́ мне-то, я — учитель, классный руководитель, не смотрю, не вижу, не знаю, а, с другой стороны, стало как-то жаль эту кубышечку, так доверчиво и прямо идущую по пути своего чувства. Этого мне еще не хватало...

Все смотрели на Тоню Чуркину.

— Ну, что? — сказала она.— Пойдемте... К нам, в «Рассвет».

— Ой, у меня же денег... Только на трамвай.— Горохова залилась своим алым румянцем.

— Подумаешь,— сказал Нечесов.— Эточто? — Достал четвертную.

— У тебя-то откуда? — удивилась Чуркина.

— Намороженоедали...

— Ух ты, богатый! — засмеялись девочки.

— Да что там! Пошли. Есть деньги, скинемся... Пошли обедать,— заключил Алябьев.— Владимир Иваныч, только с нами...

— Владимир Иваныч? Мы вас не отпустим! — сияя, сказала Задорина.— Можно, я вас под ручку возьму? — не дожидаясь ответа, плотно прихватила меня слева.

— Танька! Ты Владимира Ивановича не присваивай. Не смущай. Он — наш! Общий! — смеясь, сказала Валя Соломина.

В кафе сдвинули столы, уселись тесно и опять получилось — слева Задорина, пряно благоухающая духами «Красный мак», справа Лида Горохова. Впрочем, если уж начистоту, нисколько я не был против. Я ведь не железный. Только стараюсь таким казаться. Тоня нарядилась в белый халат, в колпак с отворотами. Еще более значительная и самостоятельная, подносила горячий, острый, с чесноком, суп харчо по-грузински — все-таки тут ведь ресторан вечером! Расставив тарелки, ве-

лела Нечесову отнести подносы, важно села на среднее место напротив и обвела стол уже нарочито суровым взглядом домоправительницы, чуть розовея при этом.

— Ну? У всех все есть? Хлеба хватит?

— Ну!! — не сговариваясь, ответили мы.

И суровая Тоня засмеялась.

## В женском царстве

*Лучшие мужчины — это женщины.*
*Это я вам точно говорю.*

*Е. Евтушенко*

*Личные тайны узнают на базаре.*

*Восточная пословица*

*ГЛАВА СЕДЬМАЯ о том, как Владимир Иванович совершил путешествие в женское царство, о том, что он там увидел, а также и о том, как можно выяснить интересные подробности личной жизни в комитете комсомола.*

Март и женщина, наверное, неотделимы, как неотделимы март и весна.

А март этот грянул таким щедрым, юным солнцем, шалым ветром из всех переулков, торопливыми ручьями, галочьим граем, голубиным стоном, что сразу трудно стало ходить в школу. Про учеников не говорю — учителю трудно.

Едешь на работу к шести, втиснут в трамвайную тесноту, пахнущую духами, воротниками и шубами, а по улицам течет вечернее людское половодье, и знаешь — столько там счастливых от весны, от марта, солнца, ожидания... Взгляды, улыбки, надежды, губы. Думаешь: и опять все мимо, не увидишь весны, и вечера эти с легкими золотыми закатами пройдут где-то без тебя в парках и набережных, под фиолетовым небом тающих катков. Опять пройдет весна, сольет водой, радужными городскими ручьями. А тебе не останется ничего, кроме сожаления. Ничего. Будет школа, уроки, процент успеваемости, совещания при директоре (так именуют теперь расплодившиеся педсоветы), будут «летучки» по часу и более, всякие иные-прочие дела, которым уж нет имени и которые лезут из всех щелей, точно жадные до твоей крови клопы, и не переделать их,

не перебить, разве что переселиться в школу насовсем, принести раскладушку, кастрюлю, чайник и жить, есть, спать, а лучше не есть и не спать, и все будут дела, обязанности, заботы. А *весна уйдет*. Еще одна весна, которую никто тебе не вернет.

А вы-то думали, не бывает у него, учителя, горьких мыслей? Ну, как же — он ведь *учитель*!

Едешь, держась за трубу-поручень, смотришь в стекло, как убегают домишки, рябят заборы, трясется вровень с окном пыльный кузов грузовика, то отстает, то обгоняет и подпрыгивает в нем незакрепленная лопата и какие-то щепки, куски коры, черный угольный прах, едешь и думаешь — нет, не о проценте успеваемости, в трамвае размышляется как раз о том, о чем учителю, наверное, думать не положено, даже если ты молодой и неженатый (холост). Вот стоял только что на остановке, и рядом была девушка. Розовая пуховая шапочка, дешевенькое красное пальто — девочка и девочка, лет, наверное, семнадцать-восемнадцать, глаза синеватые, носик торчит, на одной бровке маленький белый шрам птичкой. Наверное, в детстве свалилась откуда-нибудь, но и шрамик-то у нее милый, по-детски дополняющий лицо. Знакома мне эта девочка. Очень. Или так показалось? Но где видел — ума не приложу. А видел точно... Где? Вот она — память. Стояли рядом, посматривали: я — в открытую, она — тихонечко, соблюдая все правила женского *равнодушия*. И понимаешь мнимость этого *равнодушия*. А все-таки пугает оно... Робкий я, что ли? Наверное... Да и возраст, ну, как лет на семь я ее старше, к тому же теперь никогда не можешь полностью забыть, что ты — учитель, классный руководитель.

Сейчас опять больно понял: профессия учителя старит. Очень старит и сковывает. Нет, не внешне — внешне я пока еще *молодой человек*, а вот в душе как будто уже седина проглядывает и снежок, этакий «хлад» и рассудочность. А почему, зачем, откуда? А потому, что уже шагу не могу ступить обыкновенно, все думаю: так ли, правильно ли, не унизительно ли для учителя? Как точно умел все это увидеть Чехов! И вот пройдет время, и выступит эта седина уже явно, проявится в глазах, застынет на лице, отпечатается в жесте и в одежде,— недаром у всех учителей-стажистов есть нечто общее, легко угадываемое, *учительское*, как есть

оно у врачей, работников юстиции, кадровых военных и офицерских жен. Надо бы с собой бороться, надо бы себя побеждать...

Девочка-девочка... Ничего-то ты такого не понимаешь, прост, наверное, и ясен твой мир, спокойна твоя душа, не знаешь, не ведаешь, как устал я быть один на один со своими мыслями и как бывает мне по ночам, когда слышишь только ход времени... Что же в тебе такого, девочка, что вот так остановило и опешило, а миллионы прошли мимо, не задев ничем, не оставив ничего...

Забыть бы все — и этаким улыбчивым солнышком: «Здрасте. А где это я вас видел? Хорошая погода, правда?»

Вот она посмотрела не то на трамвай, не то на меня, синеватый глазок кольнул крохотной искоркой, и опять только профиль с равнодушным носиком. Полное безразличие. Одно радует, что-то много трамваев пропустила девочка (и я тоже), прошли уже, кажется, все номера. На каком уедет она? А вдруг она тоже ждет? Не может быть. Нет, конечно... Вдруг и она меня знает и даже помнит? Вот посмотрела на часы. Маленькие такие часики и не модные уже, наверное, папа купил ей в шестом классе...

Трудно угадать мысли девочки, когда она смотрит на часы, да и смотреть на часы можно по-разному. Стою. Жду. Чего? Не знаю. Все трамваи пропустил. Вот последний. Не последний, конечно, вообще, а в том смысле: не сядешь — опоздаешь на работу. Не поехать? Объяснения с администрацией. Неприятность. Потерянный урок. То — се.

А причина? Глупо. Да-с. Еду вот. Нет, теперь не опоздаю...— тяжелый вздох.— А девочка осталась там. И как знать, может быть, может быть,— это самая большая жертва, которую я принес школе, и самая большая моя потеря. Никто не знает. Не знаю и я. Только чувствую. Интуиция... Интуиции всегда не доверяют, а потом плачут, каются, кусают локти... Ну, ну! Что это? Уж не ревешь ли?

— Выходите?

— А? Нет.

— Так подвиньтесь хотя бы! Растопорщился!

Раздраженное туловище вминает, притискивает меня к поручню сиденья. Женщина пыхтит, упирается, нако-

нец переваливается, пролезает, этакая медуза, напоследок гневно тычет локтем. А я-то при чем? Сам из-за нее придавил какого-то дяденьку, и он обиженно кряхтит. Неужели девочка станет потом такой вот толстой гневной бабой в сбившемся платке? Девочка осталась. Когда подкатил мой трамвай, я, должно быть, ужасно беспомощно оглянулся на нее, шагнул к вагону, и она словно сделала робкое движение, даже сердце у меня забилось сильнее. В сущности, я ведь, наверное (не знаю, не знаю), и ждал того, чтоб она села со мной в один вагон, и тут уж у меня бы развязался язык, и я спросил бы, где ее видел. Вот всегда так. Я бы, я бы... А уверен — и тут бы молчал как дурак. Но она не поехала, осталась, и затухла моя радость, так чаще всего и бывает в жизни. Коротка радость. А ждешь ее, ждешь, ждешь... Поднялся по ступенькам, пробился, подпираемый сзади нетерпеливыми руками и плечами. Сквозь незакрытую дверь видел на мгновение розовую шапочку, недоуменный, как бы обиженный глаз. А может,— показалось. Закрылись двери. Еду вот. Еду. И трудно мне. Хоть хорошо знаю — это проходит. Это проходит. И есть еще слабенькая надежда — авось встречу, авось увижу, буду ждать и на той же остановке. Смешная надежда? Знаю — никого я не буду ждать. Некогда мне... Детство... А все-таки утешила надежда, утешило междометие авось...

Теперь все ближе школа, мелькают последние остановки, редеют пассажиры. Здороваюсь с нашей библиотекаршей. Она тотчас начинает рассказывать про мужа и про детей. Пусть рассказывает. Дакаю невпопад. Молчу. Все равно — рассказывает. Запомнила ли она меня? Нет, не библиотекарша, а та девочка... Может быть. Конечно. Ведь стояли рядом чуть не полчаса. Ну, где я ее все-таки видел? «Да-да! Да... Скажите, пожалуйста... Такой одаренный? Как интересно... А что, ваш муж любит кататься на коньках?» — «Ой, что вы, что вы? Ведь на катке же голову сломят... Нет, мы на лыжах, на свежем воздухе. Так здорово, знаете, так здорово... У дочки щеки — просто розы... Не опоздаем ли мы? Готовила обед, муж только пришел, усадила их, салфеточки, а сама — бегом...» — «Да-да... пора выходить».

Вагон клонится, скрежещет, заворачиваясь на кольце. Пора превращаться в классного руководителя, ме-

нять себя на Владимира Ивановича. Что такое Владимир Иванович? Это еще «молодой человек», впрочем, так говорят и моложавым сорокалетним, рост — повыше среднего, плечи — ничего себе, волосы — хуже. Это у меня наследственное. Пожалуй, к сорока облысею, и уж никто тогда молодым человеком не назовет. Говорят, надо стричься наголо и поливать голову кармазином из синего пузырька. Пробовал. Толку мало. Костюм у Владимира Ивановича вполне приличный, преподавательский, серый в мелкую неясную клеточку, ботинки еще не сношены, рубашка коричневая, капроновая, галстук — солидный, пальто польское демисезонное, шляпа (надел сегодня, носил кроликовую шапку под ондатру) чешская, с короткими полями. Вот и все. А, забыл. Лицо у Владимира Ивановича скорее худое, чем полное,— внимательное, когда Владимир Иванович говорит с администрацией, рассеянное, когда смотрит в окно, сосредоточенное, когда объясняет. Руки небольшие, ногти красивые, на них много белых пятнышек, зубы все целые, кроме одного, коренного, но он с коронкой, и его не видно. Вот все это и есть Владимир Иванович, учитель, классный руководитель. Живой и пока исправно работающий организм. Таких тысячи... Они делают историю и называются народ.

Задерживаюсь на остановке у ларька. Купить сигареты. Да нет же — не курю, балуюсь. Это я чтобы отстать от библиотекарши, от дальнейшего повествования о муже и детях. Закурить, что ли? Раз уж купил? Эге, какие пьяные... Голова кружится.

От трамвайного кольца прямая, как и шоссе, улица, точнее, асфальтовая дорожка вдоль бетонного заводского забора. Бывает ли что-то более тягостное, не оставляющее никаких надежд, чем бетонный забор с колючкой, натянутой над ним на железных виселицах-глаголях? Эта моя дорога в школу — как путь по терниям. Когда идешь обратно, в темноте, она лучше: над глаголями горят лампочки, не так видно колючку, и забор как-то не ощущается своей глухой безотрадностью, хотя все-таки его чувствуешь, и часто приходит мысль: «Будет же, будет такое время, когда не станет этих чадящих громыхающих пространств, а значит, и заборов, значит, и колючки — все это спрячется, уйдет под землю, заменится умными бесшумными машинами, а здесь будет просто поле, под чистым ветром будет шелестеть

трава, над ней — белейшие облака, и навстречу только улыбчивые голубоглазые атланты и безмерно прекрасные девушки, отштампованные по высшему канону спортивно-стерильной красоты». Так будет, — утверждают фантасты, все стремящиеся в сто двадцать первый век и никак не желающие заглянуть вперед лет на десять... А пока из-за бетонного забора сносило едкий серный дым, вполне зримо падала сажа, навстречу шли усталые обыкновенные люди, рабочие-работяги, женщины разнокалиберной полноты и стати, девушки с задатками тех же рабочих женщин, парни вполне приличные и парни, похожие на нечесаных шлюх, переодетых в мужское. А вдали уже виднелось желтое здание — школа.

Чуть не опоздал. За исчерканной мелом дверью глухо трезвонил звонок. Скорее в учительскую — успеть взять журнал, не дожидаясь выразительного взгляда завучей. Успел. Отдышался за дверью. Иду по коридору. Владимир Иванович. Классный руководитель. Здравствуйте. Здравствуйте. Обгоняют опоздавшие продавщицы. Какие сапоги у Осокиной! Где она такие достает? Раз Осокина с компанией здесь, значит, в классе «густо». Сапоги скрываются за дверью. Голоса: «Идет! Идет!» Различаю Чуркину, вопли Нечесова, хохот Орлова. Открываю дверь.

А девочка осталась на трамвайной остановке... И в моей памяти... Да уж — была ли она? Девочка в розовой, связанной из пушинок шапочке?

— Здравствуйте... Садитесь...

Ого?! Что? Что такое? В классе меньше десятка. Нет каменщиков, ребят из ПТУ, шоферов, нет пяти камвольщиц.

— Что это такое?

— Весна! — говорит кто-то.

(А я-то рассчитывал на свой «успех» в картинной галерее! «Сплотил», называется.)

Наверное, во всех школах рабочей молодежи классные руководители боятся трех слов: МАРТ, ВЕСНА и ЛЮБОВЬ. Еще февраль метет снегами, еще не успело пройти двадцать третье, негласно объявленное мужским праздником, а среди обеих частей общества начинается некое глухое брожение. В магазинах возрастает базарная толчея, взгляды девочек становятся все

радостнее, взгляды женщин — все недоступнее, выражение лиц мужчин — все более робким. Раскупаются к великой радости завмагов залежи духов и сорочек, идут в ход все пластмассовые-анодированные ужасы из отдела подарков, как-то: пальмы, орлы, хлебницы, светящиеся башни,— не будь этого праздника, век бы не взяли. И в винных отделах подозрительное оживление, и в парикмахерских с утра безнадежные очереди за красотой. Восьмое марта! Открытки с цветами и даже самые цветы в целлофановых кульках. «Тры рубля... Замэчательный... Сывэжи». На каждом углу. Зато в класс хоть не входи. «Контингент» исчез. Теперь не действуют никакие меры. И так целую неделю, в самом лучшем случае.

Но если б восьмым марта кончались заботы классного руководителя! В том-то и дело, что они только начинаются, ведь за восьмым марта следует весна, а со словом этим как-то само собой сочетается слово л ю б о в ь.

И уж не удивляешься, что продавщицы ходят через день, что Осокина явилась в чулках, похожих на рыболовную сеть, а Таня Задорина — в кожаной «мини».

Все-таки я счел нужным если не отругать Задорину, то хотя бы сделать внушение. Отозвав ее в перемену, сказал, что в школу надо одеваться поскромнее, тут не театр (наверное, и в театр не стоит так ходить). Сказал строго, примеры какие-то привел. Вообще, только что не накричал. Эффект получился удивительный — ожидал, что Таня заспорит: «А что, если это красиво? А что, нельзя, что ли? А все носят». Ничего подобного. Опустила желтую голову и вдруг сбежала с моего урока.

В понедельник не пришла ни одна из девочек с камвольного. Забастовка? Заболели? Все сразу? Но их не было и на следующей неделе.

Гардеробщица Дарья Степановна, допрошенная с пристрастием, сказала, что «девки куда-то уехали, али что. Дома две ночи не ночевали и чемоданы свои забрали... Крадче...»

— Замуж?

— Какое взамуж, с парням, видно, связались,— огорченно сказала Дарья Степановна.— За имя ведь глаз да глаз надо. Вот и ушли, а сказать-то, видно, постеснялися. Деньги тольке оставили за прожитие...

«Вот это иовость! — подумал я совсем растерянно. — А ведь вроде были такие надежные...»

— Это мы толькё их взрослым-то считаем... У меня вот внучек Коля, большой уж, с тебя будет, работать пошел в прошлый год, учеником на завод устроился. И вот, знаешь, связался с канпанией. Парни лихие и девки, знаешь, которые в штанах-то, по лесам-то ездят. Вот и пошло у их кажную субботу все в лес, водочка да винцо, водочка да винцо. Вижу я — худо дело. Пошла, знаешь, ведь к цеховому начальнику и в партком. Говорю: «Переведите парня куда ие то. Наставника строже поставьте...» И ведь перевели, знаешь, отстал он от их. Сейчас приходит — всю получку матере несет. Ну, даст она ему на кино, на табак, а больше он и не спрашивает.

Она говорила и еще что-то, но я не понимал, углубленно соображая, что могли вытворить девчонки, почему так внезапно съехали с квартиры, где они? Или в общежитие перешли?

А Дарья Степановна, поглядывая на меня уже с сомиением и как бы подсчитывая мои годы, продолжала:

— Молодежь-то ионче какая пошла? Гляди-ко, парни-то кружева иадевают, брошки носят, красятся. А патлы-то другой отростит — не разберешь: парень ли, девка ли. А девки опять в штаны залезли. Юбки — дак срам глядеть...Все наголе. Это вот худо... Скромности у иарода ие стаёт. У молодежи особенно. А скромность — та же совесть. Как вот без совести-то жить? Коммунизм-то строить? Вот я и думаю: от легкой жизни это... Все-таки жисть теперь шибко иаладилась. Смотри-ко, все и одеты как, обуты, и сыты, и в тепле живут. Раиьше-то в эдаких фатерах генералы толькё жили, а теперь простой человек, рабочий. Одно вот плохо — миого пьют. Некуда ему деваться из фатеры, субботу-воскресенье, делать иечего — он и пьет... От праздности всё, от легкой жизни...

Во вторник я отправился на камвольиый комбинат.

О учитель, идущий на предприятие за учеником! Как зиать, не поставят ли тебе когда-нибудь монумент перед дверью в проходную... Впрочем, приближаясь к комбинату, я думал вовсе ие о монументах, а о самом обычном — оформлении пропуска. О всей этой неприят-

ной, скорее даже унизительной процедуре, когда у окошечка бюро пропусков тебя долго допрашивают: к кому, зачем, заставляют куда-то звонить, кого-то просить и наконец, только что не просветив рентгеном твой паспорт, тебе выписывают пропуск. Вот она, бумажка, которую, едва взяв в руки, боишься потерять (а что тогда!!!) и с которой можно следовать к железной вертушке.

Стоп! Нет прохода!

— С портфелем почему?! — вопрошает страж в сине-зеленой фуражке, с огромным наганом на боку.

— Учитель. Иду выяснять о посещаемости учеников. В портфеле учебники... Книги... Вот, пожалуйста...— расстегиваешь портфель... Чем не обыск?

В пропуске поставили какой-то штампик, и я прошел наконец через вертушку, повернувшуюся с металлическим звоном и как бы подтолкнувшую меня внутрь.

Оглядываюсь по сторонам.

Изнутри комбинат удручающе однообразен. Бетонно-кирпичные коробки цехов, асфальтированные дорожки, чахлые топольки, выстроенные по ранжиру, клубящие паром трубы котельной и гул, гул, гул то высокий, то низкий, словно бы содрогающий самую землю. «Должно быть, это вентиляторы»,— думаю я. Я знаю, что весь комбинат делится на три фабрики: прядильную, ткацкую и отделочную, а поскольку почти все мои прогульщицы работают на прядильной, спрашиваю первую попавшуюся женщину.

— На прядельную?— переспрашивает она.

— Да, прядильную.

— А вот она — прядельная,— женщина как бы поправляет меня.— Видишь? Вход вниз. Тут.

В нижнем полуэтаже, где была раздевалка, ударил в нос запах влажной новой шерсти. Пахло кисловато и приторно, как может пахнуть новая материя, когда по ней, шипя и прыская, движется утюг. Под потолком гудели цинковые барабаны. По высокой лестнице потоком спускались и поднимались голоногие девчонки. Вообще с непривычки здесь было трудновато — кругом не увидишь мужчины: все девочки, девушки, женщины и опять девочки, женщины, девушки — настоящее «бабье царство». Красота тут была щедрая, живая, бойкая, лукавая, посмеивающаяся, крутобедрая, жгучая, скромная, высокомерная, слоновая, газелья, доверчивая,

презирающая,— какой только нет! Красота глядела со всех сторон, осматривала меня и оценивала, улыбалась и оборачивалась, проходила мимо, опустив ресницы.

Директора прядельной я не нашел, парторга тоже — уехали в райком на совещание, зато предфабкома оказалась на месте, и, конечно, тоже была женщина, очень недурная, в голубом, кругло обтягивающем ее трикотажном костюме. Очень обходительная, очень внимательная, она выслушала мои сетования, тотчас вызвала по телефону старшего мастера и велела провести в цехи, где работали мои прогульщицы. Так я сам решил, думал, встречусь на рабочем месте неожиданно — и внушение будет весомее, а жаловаться пока не стану. Жалуются слабые.

Мастер Нина — типичнейшая ткачиха, что-то в ней было такое иваново-вознесенское: то ли манера держаться, свободная, простая, то ли рабочий халат, красная косынка и нездешний выговор. В общем, чувствуется, Нина — умница, развитая, рассудительная, дело знает, и приказать умеет, и спросить, и помочь.

— Вы впервой на комбинате? — спрашивала она, ведя меня вверх и вниз по бетонным лестницам.

— А вы из Москвы? — в свою очередь спросил я.

— Угадали. Из Подмосковья. Павлово-Посад. Сюда приехала пускать комбинат... Осталась. Десять лет работаю. Учусь. Нынче институт кончаю. Заочно...

— Нравится работа?

— Как сказать? Не то слово. Просто — это моя жизнь. А жизнь бывает всякая. А все равно — живешь и ценишь... Сюда-сюда. Вот чесальный цех...

В цехе стояли огромные серые станки, похожие на стадо древних ящеров-трицератопсов. В бункерах вздыхала, вскипала желтоватая шерсть, выходила на медленно крутящиеся валы седыми волнами, и валы были похожи на водопад. Шерсть опускалась, переходя с вала на вал, становилась тоньше, воздушнее, и вот уже словно бы струйка тумана, волшебная фата-моргана стекает с последнего валика и снова собирается во вполне реальную мотушку-прочес.

В цехе почти не было работниц, а те несколько девочек, которые ходили возле бункеров, загружали шерсть, не относились к моим ученицам.

— Нашли? — улыбчиво спросила Нина. Она ждала меня у перехода.

— Нет.
— Может быть, в другую смену?
— Нет. Никак...
— Чéсальщицы?
— Да. Чесальщицы.
— А-а! Наверное, в гребнечéсальном!
— А это какой?
— Это кардочесальный.

Гребнечéсальный оказался рядом и встретил новым запахом и новым шумом. Здесь в каждом цехе свой запах и свой шум. Сотни станков трепетали, щелкали, строчили стальными высветленными гребнями, переделывая толстую пряжу в тонкий прочес. И сразу же я увидел Галю Бочкину. Маленькая опрятная куколка здесь казалась еще меньше, изящнее, нежное дошкольное личико было самоуглубленным, спокойным. Галя работала на большой машине, где равномерно качались, крутились, наматываясь, сразу восемь бобин с прочесом. Этот цех был яркий, как цветная фотография. Пестрели желтые, синие, коричневатые и белые бобины, пахло кисло и пряно, а гул напоминал шум ливня по железной крыше, и, если прислушаться к нему, в нем угадывался некий громыхающий железнодорожный ритм. Подойдя к Гале поближе, я понял, во-первых, поговорить не удастся: надо либо кричать, либо переговариваться, подставляя ухо,— согласитесь, такой способ разговора с ученицей выглядит непедагогично; во-вторых, отрывать от дела сосредоточенно работающего неудобно, за машиной все время надо следить.

Галя работала именно так: четко, не то чтобы напряженно, однако и без отдыха. Глядя на нее со стороны, может быть понимая лишь внешнюю суть, я проникался уважительным почтением к этой малышке в красном сарафанчике и треугольном плáточке-лоскутке на опрятно завитой головке. Человек трудится... Трудится человек... Как много в этом, и всегда есть некое высокое уважение, будь то мужчина, женщина, старик или такая вот девочка. Пожалуй, к девочке такого вида, как иные, играющие в классы по дворам, уважение было даже большим.

Вот она остановила одну из мотушек, сияла готовую бобину и отнесла в алюминиевый контейнер. Включила, соединяет оборванные концы, и снова внимание — ждет готовую к спуску бобину. Вот взяла большой

гаечный ключ, величиной, пожалуй, в ее руку, ловко орудует им. Вот остановила машину, прочистила гребень, снова включила и снова орудует гигантом-ключом. Новая мотушка готова, и Галя снова несет ее к ждущему контейнеру.

Увидела меня. Даже на расстоянии видно, как покраснела, кивнула, опустила глазки. Подошел. Вот глянула коротко и снова — ресницы долу. Улыбается. А в улыбке все: извинения, просьба не спрашивать, смущение, волнение, раскаяние...

— Сегодня приду! — подобно Столярову, скорее понял я по губам, чем расслышал. Понял также, что нотации здесь унизительны для обоих. Кивнул и пошел. Обернулся — улыбается. «Хорошо. Эта придет. Можно не беспокоиться». Теперь надо в тростильный, в «тростку», как сказала покинувшая меня перед входом на третий этаж Нина. Она объяснила, что на верхнем этаже все остальные цехи: тростильный, ровничный и пряди́льный, виноват, пря́дельный.

В ровничном цехе пряжа выравнивалась, превращалась в голубые, рыжие, черные и коричневые косы — ровницу. Шелковисто блестели эти косы, опускаясь в дюралевые барабаны, напоминали о царевнах и принцессах, невиданных красавицах, которых не без успеха замещали здесь юные девчонки в передничках и халатах.

Тут-то, в цеховом проходе, попалась мне тростильщица Рая Сафина. Должно быть, шла в столовую и до того опешила — ничего не может сказать, стоит, повинно склонив блестящую синюю голову.

— В школу сегодня! — жестко сказал я, дав понять, что разговор исчерпан.

— Конешна...— сказала она, метнув узкий черный взгляд.— Извините, пожалста, конешна, приду...

Ох уж эта Рая, тихоня, воды не замутит и на уроках сидит не слышно-не видно, и все где-то, по обыкновению, не здесь, все в себе, в своем никому не доступном мире.

И, проследовав дальше, оказался я в этом самом пря́дельном. Пахнуло горячей баней, обдало запахом мокрой нагретой шерсти. Жара. Тропики. И женщины здесь ходили только что не в пляжных халатах. Оно и понятно — иначе сбежишь. Ряды высоких станков-машин напоминали шеренги железных солдат, вы-

строенных к параду, замерших по стойке смирно. И я был точно командующий, обходящий эти ряды.

Везде из паропроводов сипела, разбрызгивалась вода, снимала с пряжи вредное статическое электричество. По подвесной дорожке ползал вдоль шеренг трехглазый оранжевый паук-пылесос, до того похожий на марсианское чудовище, что, когда его гофрированные щупальца-шланги сопя проползали рядом, я невольно отодвинулся. Пылесос-марсианин начал удаляться, а я зашагал по центральному ходу, лавируя меж тележек и ящиков с готовой пряжей. Узкие промежутки между машинами открывались один за другим, и везде стояли там в одинаковых, не лишенных изящества позах женщины-девушки и девушки-девочки — колено приподнято, упирается в машину, руки быстро снуют, соединяя что-то. Новый проход, и опять девушка с поднятым, упертым коленом. «Удобнее так, что ли?» — думал я, разыскивая взглядом Иду Чернец. Ида обнаружилась в самом последнем ряду железных солдат, и здесь она еще более была похожа на греческую богиню, не знаю вот только, как точнее обозначить,— Артемида не Артемида, Афродита не Афродита, а может быть. Прямоносый профиль. Четкая колонна шеи. Разрез глаз как на античной чеканной пластине. И стоит Ида тоже, как все здесь, приподняв правую ногу, упираясь коленом в гудящую веретенами машину.

— Ида! — сказал я, подходя. И она вдруг услышала, хотя расслышать здесь что-нибудь еще труднее, чем в гребнечесальном. Обращаясь друг к другу, девчонки по-кукушечьи ухали, свистели — иначе нельзя.

Ида медленно краснела. Маленькое красивое ухо стало уже калено-малиновым.

— Пришел посмотреть, как работаешь,— сказал я, наклоняясь к этому уху.— Научиться хочу. Можно?

— Пожалуйста,— выдохнув, ответила она и осветилась улыбкой, стала быстро соединять порванную нить какой-то железной пластинкой. Соединила, отпустила, отвела колено. На коже розовела вмятина.

— Зачем это? — спросил я.

Засмеялась смущенно:

— Иначе нельзя... Тормозок...

И я наконец понял, почему все прядильщицы стоят в таких балетно-театральных позах. Коленом нажима-

ется коричневый пластмассовый тормозок, когда надо связать оборванную нить, а нити рвутся часто, не успеешь связать одну, глядь — уж вхолостую крутится веретено, и на бобину наматывается путаная пряжа. Ее Ида срывает специальным острым крючком и сует обрывки в широкий карман передника. Обрывки называются «угары».

Все это Ида мимоходом объяснила мне, двигаясь взад и вперед вдоль крутящей сотни веретен машины, и беспрерывно связывала, связывала, связывала и отпускала нити. Я ходил за девушкой по пятам, пытался и сам что-то связывать — соединять, но получалось из рук вон плохо, пальцы не слушались, нитки выскальзывали, в конце концов Ида бралась помогать, в две секунды справлялась с непослушной пряжей.

В своем официальном костюме, рубашке с галстуком я тотчас взмок, устал, по вискам ощутил неприятный пот, и когда, подучившись ремеслу прядильщицы, наконец вышел из прядельного, голова у меня гудела, что-то в ней мягко кружилось, покачивалось, а уши словно заложило ватой. Взглянул на часы — пробыл в цехе всего сорок минут. И сразу подумалось, как может эта Ида, проработав пусть неполную смену — нет ведь ей еще восемнадцати,— как ни в чем не бывало явиться в школу. Так ли уж она виновата — можно ведь просто по-человечески устать. Устать и не прийти. Как успевает Ида выучить уроки, поесть, приодеться и даже — накраситься?

Я просвещался. Я в задумчивости спустился на второй этаж... Надо было разыскать еще двоих: мотальщицу Таню Задорину и ткачиху Валю Соломину. Мотальный цех находился при ткацкой фабрике, в «ткачестве», как объяснила мне напоследок провожатая Нина. И вот по стеклянному переходу, соединяющему две фабрики — прядильную и ткацкую,— я отправился в «ткачество». Ткацкий цех нашел не сразу. Он был на втором этаже, но я долго путался в дверях и переходах, размышляя при этом, что, может быть, зря не пошел сразу к начальству, а вот теряю время, совершаю экскурсии по незнакомому производству, более надеясь на свою интуицию, чем на доводы рассудка. Интуиция же говорила, что никакие жалобы не помогут, что ими я испорчу дело; с другой стороны, и главного я пока не узнал — почему хорошие дружные девчонки

вдруг оказались в числе отпетых прогульщиц. Весна? Любовь? Но нельзя же влюбиться сразу впятером?

Разыскав наконец ткацкий цех — огромный низкий зал, заполненный бешено стучавшими станками,— я сразу понял, что Валю Соломину будет найти нелегко. Не очень-то хотелось ходить от станка к станку, ощущая недружелюбные взгляды — ишь гуляет «ручки в брючки». Я топтался на пороге до тех пор, пока навстречу не вышла решительной походкой какая-то девушка, весьма похожая на комсомольских вожаков,— все у нее было комсомольское: и походка, и взгляд, и прическа,— прямо сади такую за стол, пиши картину «Заседание бюро».

— Вам кого? — спросила она не очень, впрочем, строго, скорее с любопытством. Глаза у девушки были зеленые.

— Мне бы Соломину Валю... Я...

— А зачем? — глаза у девушки стали ярче.

— Из школы. Классный руководитель. Выясняю...

— Почему она не ходит?

— Да... А вы откуда узнали?

— А вот пойдемте.— Она вышла вместе со мной в подобие вестибюля и закрыла дверь. Шум цеха заглох.

— Я — комсорг фабрики,— представилась девушка.— Этим делом занималась сама.

— Каким делом? Прогулом?

— Да нет же! Они же дезертировать решили... Сбежали с фабрики, с комбината... Я их с вокзала вернула.

— Кого?

— Да ваших учениц, всех пятерых,— девушка сурово смотрела на меня.

— Куда же они поехали?

— А в Чернигов.

— Зачем?

— Зачем? Хм, зачем... Легкой жизни захотелось. Был у нас тут представитель с Черниговского комбината, знакомился с производством. Ну а попутно работниц к себе сманивал. Насулил им: заработки выше, машины новые, общежитие — модерн... Они не уволились даже. Купили билеты и... Хорошо, что нам в комитет сигнал поступил. Мы их перехватили.

«Вот тебе на! Ай да классный, ай да руководитель...»

— Но должна же быть еще какая-то причина?

Комсорг неприязненно поглядела на меня, как бы не то оценивая, не то соображая что-то.

— Причина? Причина... Это же девчонки! Пыхпых... И все. Завертели хвостами — держи. Да еще эта Задорина у них... Заводила.

— Таня Задорина?

— Да. Она, говорят, в учителя влюбилась.. Учитель у них там новый. Историк, кажется... Ну, вот. А он на нее ноль внимания. А может, и не так... Не знаю. В общем, Задорина ревела, ревела и говорит — уеду. И сманила всех. Такая девчонка... Вы этому учителю передайте, чтобы он...

— Что?

— Ну, чтобы понимал хотя бы... Ведь это девчонки...

— А что ему делать? Простите.

— А это уж я не знаю. Все-таки, сами понимаете, не зря она, наверное, сбежать захотела. Может, они встречались. Может, что... Я этого не расследовала, а Задорина молчит как каменная.

«Господи! Час от часу не легче! Вот и сплетня готова»,— подумал я, хмурясь, разглядывая ее комсомольское лицо с созвездием мелких веснушек, начавших, подобно молодой траве, высыпать на лбу и переносице.

А комсорг, поняв меня по-своему, сказала:

— В общем, в школу они придут. Но и вы за ними следите. И за учителем — тоже. Поговорите хотя бы с ним...

И она ушла, бойко взметывая юбку, гордо неся строгую голову.

— Ну и ну-у! — подумал я вслух.— Вот новость! Оказывается, из-за тебя уже разыгрываются трагедии! А ты-то сном-делом не знаешь...

Подошел к окну. На дворе у какого-то крыльца выстраивались в две шеренги девчонки в синих трикотажных костюмах. Командовала девочками женщина тоже в трикотажном костюме, но в шерстяном, женщина со слишком уверенными спортивными движениями профессионалки. На нее не хотелось смотреть.

— Ну и Задорина...— бормотал я.— С чего бы?

Постой-ка, а помнишь, однажды, во время урока, нашел на своей странице записку: «Я вас люблю, люблю, люблю...» Прочитал, покраснел, нахмурился, сунул записку в карман пиджака, недолго думал о ней: «Чушь... Блажь. Кто-то подшучивает». Помнится, подумал о Горо-

ховой. Но отверг тут же... Эта не напишет. Слишком тиха, скромна, застенчива... И еще подумал, что она — омут. Тот самый... И не заметил глаза, полыхающие огнем с предпоследней парты. Потом забыл о записке. А Задорина? Да она же приходила на все нулевые уроки. Она первая вскакивала, едва ты перешагивал порог класса. Это она, Задорина, всегда являлась за картой в учительскую. Желтоволосая голова в дверях: «Владимир Иваныч! Карту!» И она же снимает эту карту, всякий раз едва дотягиваясь до верхнего края доски, а тебе приходится смущенно глядеть в сторону, потому что голубые, желтые или розовые трусики, очень опрятные, демонстрируются каждый раз. Эта она, Задорина, всегда крутилась у стола, если я оставался в классе на перемену, и донимала вопросами об оценках. Заглядывала в журнал через мое плечо, дышала в ухо. «Задорина! Вы что? Маленькая?» — «Конечно. Интересно ведь... Ну, Владимир Иваныч! Скажите... Что по географии?..» — «Спрашивайте у Василия Трифоныча...» — «Владимир Иваныч!» Иногда она и курточку свою, и пуховый белый кроличий платок приносила в класс и здесь же одевалась передо мной после уроков. Опять мелькали невзначай короткие толстенькие бедра, а потом очень медленно надевался платок, очень тщательно, водя носом перед зеркальцем, поправлялась лимонная челка, закрывающая всегда привскинутые бровки. Ах, Задорина! Вот дрянь-то! Ведь она всерьез охотилась за мной. Да неужели она не понимает, что все эти глупости рассчитаны на дурачка, на мальчишку... Глупости? Помнишь, шестиклассником ты влюбился в учительницу начальной школы, плотную женщину лет сорока с ласковым материнским взглядом. Помнишь, ждал ее на улице и в вестибюле, бегал на первый этаж всякую перемену, подглядывал в класс, где она командовала круглоголовыми маленькими первышами. И мало, что ли, мук было тогда, когда думал о ней...

И еще вспомнил. Совсем недавно я уходил из школы и на трамвайном кольце неожиданно встретил Задорину. Стояла, втянув голову в плечи, куталась в свой пуховый линючий платок, из-под челки торчал только нос. Перетаптывалась глянцевыми клеенчатыми сапожками. То-то было ей холодно. Из улиц, выходивших к кольцу, с загородных полей сурово мело февральским ветром, несло по шоссе извивающуюся поземку, и ред-

кие машины вбирали фарами косой снег. На остановке ни души. Не было и трамвая. Мы долго стояли молча. Наконец я спросил девчонку, стучавшую каблучками:

— Куда это ты, Задорина?

— К подруге! — тотчас откликнулась она, подходя.

— Так поздно?

— Я с ночевой...

— Далеко живет (в смысле — подруга)?

— Да... На этом... Ну, как это... На Веере...

— На В е е р е?

— Ага...

— Ведь отсюда часа полтора добираться. Застынешь...

— Ничего...

Трамвай подошел, и мы сели в один вагон. Задорина оторвала билет и очень долго изучала его.

— Что там?

— А... Я думала — счастливый.

— Какой же он?

— А надо, чтоб сумма первых цифр была равна сумме последних... Это счастье. Если на один не сошлось — свидание, на два — встреча.

— А на три?

— На три — ничего,— жалко, улыбаясь посинелыми губами, сказала она и продолжала нести еще какую-то чепуху.

— Что же ты делаешь со счастливыми билетами?

— Я их съедаю... А счастья все нет...

— Какое же тебе надо счастье?

— О-о-о...— протянула она и на минуту замолчала, стала протирать замороженное окно, дуть и дышать на стекло. Протерла, протаяла черный кругляшок, заглянула, а потом снова с улыбкой стала рассказывать мне о своей матери, которая здесь, в городе, а она, Таня, с ней не живет, потому что у матери сегодня один муж, а завтра другой, и еще мать выпивает, дерется... Сообщила также, что мать у нее красивая, молодая. Тридцать шесть только. И что она, Таня, ушла от матери уж два года как, а сестра младшая осталась. «А вы с кем живете? А жена у вас есть? А почему вы не женитесь? А вот у меня брат есть двоюродный, так ему сорок уже — и все не женится. А какая у вас квартира?.. А можно, я к вам в гости приду? Я шучу, конечно... А...»

Помню, когда вышел на своей остановке, Задорина поехала дальше совершенно промерзлая и окоченелая. Мне было жаль ее, и я все думал о ней, медленно идя вдоль линии назад по направлению к дому. Я останавливался закурить и просто шел — отдыхая от суматошного вечера. Вдруг посмотрел на обгоняющий меня трамвай и опять увидел Задорину. Она ехала обратно, стояла вполоборота печальная и нахохленная...

Теперь все было ясно (ну как мог тогда не догадаться!). Она же провожала меня. Вот глупая.

«Итак, где же все-таки эта Задорина? Стоит ли говорить с ней сейчас? Разыскивать ее? Может быть, стоит... Ведь мотальный цех рядом. Зайду!» — решил я и быстро пошел по межцеховому переходу. А вот и Таня. Ее желтую голову сразу видишь... В своем коротеньком халатике, похожем скорее на рубашку, она ходит вдоль длинной мотальной машины и стремительно делает руками какие-то округлые движения, точно кошка, играющая невидимым клубком. «Раз-два-три-четыре... раз-два-три-четыре»,— хотелось быстро повторять за взмахами ее рук. Занятая, она не смотрела по сторонам, не видела меня, и я отошел к группе станков, где с таким же ритмом, так же напряженно трудились неразговорчивые с виду женщины и девушки.

Из мотального цеха я вышел через полчаса с ощущением: поставь меня на место Тани, полсмены не простою — слишком странная, слишком женская, слишком тяжелая была эта работа. А может быть, так показалось, все с непривычки кажется непостижимым.

— Ну, понравилась наша легкая промышленность? — улыбнулась мне в коридоре, как старая знакомая, мастер Нина. И кто это придумал такое — «легкая промышленность»... — Иду-иду! — крикнула она уже кому-то и помахала мне, улыбнулась еще.— Заходите.

Нагруженный впечатлениями и открытиями, я постоял у дверей цеха, еще раз заглянул в невообразимо шумящий ткацкий и пошел стеклянным переходом восвояси.

Суповый запах столовой вдруг напомнил мне, что я не обедал, и было бы не худо закусить на дорогу. Готовить дома самому никогда не хотелось. Запах и стайки бегущих по переходу девочек, в которых по завязанному платком, а то просто чумазому колену я

безошибочно определял теперь прядильщиц и тростильщиц, привели меня в огромный зал. Тут было нетесно, и две расходящиеся в стороны очереди халатиков и платочков были невелики.

Рабочие люди еду выбирают быстро и, применяясь к ним, я так же скоро выбрал малиновый свекольный салат, половину мутного супа, бифштекс с рожками и два запотелых стакана холодного компота. Хорошо, что компот ледяной. Единственным орудием труда здесь были ложки, вилок в алюминиевом мятом ящике не доищешься. Но никто вроде не огорчался,— оказывается, и салат, и суп, и бифштекс вполне можно есть ложкой, в конце концов едят же в Китае палочками. Сидя за пластиковым голубым столом в одиночестве, я, однако, все время чувствовал, что нахожусь в женском царстве. Если в цехах мужчины еще попадались, в столовой были одни только женщины, девушки, девочки со всех сторон. И до чего же разные! Почему-то именно здесь эта *разность* бросалась, лезла в глаза, подчеркивалась, запоминалась, не потому ли, что и меня тоже со всех сторон оглядывали, рассматривали, изучали, оценивали по своим *женским меркам и вкусам* карие, серые, желтоватые, зеленые, голубые, синие и черные женские глаза. За столиками вокруг сидели словно бы никогда ни на кого не взглядывающие скромницы и ветреные большеглазые вертушки; мужние жены с достойными кольцами и сытым взглядом и языкастые бабы, которым только попадись; тоненькие, почти что пионерки, не утратившие детского блеска на носиках, и кругленькие хохотушки, поминутно переглядывающиеся, прыскающие в ладонь; и даже те самые, крашенные в три цвета «девки, которые в штанах-то, по лесам-то ездят». Были здесь и холодные вальяжные *красавицы*, неколебимо уверенные в себе и непреходящей красоте своих губ, бровей, волос, всего прочего. Красавиц, правда, было не густо: две-три на весь зал, но и этого было много, ведь красавицы встречаются редко, а здесь на комбинате они показывались и в цехах, и в коридорах, и вот тебе, пожалуйста, в столовой. На них тягостно тянуло смотреть, оглядываться, что я и делал с возможно большей конспирацией, с показным равнодушием.

И вдруг среди всех этих взглядов я почувствовал один настолько сильный, что казалось — меня кто-то

трогал, гладил волосы повыше уха. Я обернулся — неподалеку у столика стояла с тарелкой на подносе Таня Задорина. Поднос дрогнул, и тарелка скатилась, разлетелась вдребезги, обрызнув взвизгнувших девчонок...

В проходной, еще раз униженно краснея, я раскрыл портфель перед бдительной стражей, вышел, ощущая некое облегчающее душу освобождение. О, проходная, проходная! А тебя еще кто-то и воспел...

Если на комбинате женское начало везде бросалось в глаза, здесь, у входа (время было перед концом смены), совершенно диалектически преобладал мужской пол. На скамейках, на ограждениях низкого сквера и просто так, прислонясь к тополькам, сидели, стояли, переминались мужчины и парни самых разных обличий и обликов — ждали. Кучка подростков с патлами до плеч, в замызганных клешах, по-вороньи горбясь, толковала стаей. У одного штаны колоколами — красного вельвета, у другого синие, украшены медными цепочками, обшиты по низу застежками-молниями, третий держит иностранно хрипящий магнитофон, без которого не полон ныне облик такого «современного», а в общем-то пустейшего парня, прощелыги и лодыря чаще всего, если не того хуже. Не знаю, кто их любит, таких парней, и что испытывают девушки, встречая на улицах узколобую запущенную обезьяну с полированным орущим ящичком в длинной руке. Впрочем, погодите, а разве не встречались вам и девушки тоже с обезьяньими голубыми веками, девушки в кожаных набедренных повязках и с глазами, в которых никогда не было намека на стыд... Стоял в кучке этих и мой Орлов, меня, конечно, «не заметил», не обратил никакого внимания. Это еще не худшее... Но, может быть, здесь в с е такие?

Нет. Стоят тут же парни вполне приличного вида, и любо посмотреть на их лица, приветливые взгляды.

Взад и вперед ходит влюбленный молоденький супруг, ярко блестит новое кольцо. Супруг не может скрыть нетерпения, то и дело поглядывает на часы и на двери проходной, уже начавшие выпускать пока редкие струйки работниц. Вот он чуть ли не бежит, спотыкается о поребрик, а навстречу с такой же радостью бросается кубышка в голубом брючном костюме, в новой куртке и пуховом платке. Коротышка очень собст-

венно подхватывает его, как бы накрепко присоединяется, и так сообщно и радостно они уходят.

Двое парней, плюя семечками, отделяются от группы Орлова. Это те, в красных и в синих штанах-колоколах. Останавливаются неподалеку.

— Пистонка проклятая,— говорят красные штаны.— Не идет... ссука...

— Да п..... она... жди...— бросают небрежно штаны с цепочками. Летит на землю слузганная скорлупа.

«Юноши» продолжают беседу о девушках примерно в том же плане. Отхожу, ибо слушать трудно, очень трудно — руки чешутся...

Одноногий инвалид тянет сухую шею, высматривает свою половину в загустевшем вдруг женском потоке. Двери проходной уже не закрываются, и сильнее становится запах «Красной Москвы», «Сирени», «Эллады» и пряного пота — запах идущих женщин.

Инвалидова половина находится. Заботливая и дородная женщина лет тридцати. Улыбка во все лицо. Довольна. А сама ворчит:

— Чего опять пришел? Все боишься — сбегу, что ли? Дурачок...

А я-то кого жду? Ловлю себя на том, что тоже жду кого-то. Нет, не Задорину, не думайте... Просто жду... У вас разве не бывает так, и особенно весной...

Кого-то я жду... Март. Март... Синеет-теплеет небо меж пухлыми облаками. И солнце ломит глаза. И смеются ручьи, подмигивают ручьи... Идут с комбината женщины. Идет навстречу новая смена: юбки, куртки, платки... И, уже отходя от комбината, все вспоминаешь лица и походки, свет глаз и блеск зубов — все это соединяется как-то с весной, теплом, водой и тягостно как-то и счастливо вроде бы... Такое тяжелое счастье...

## Литература и литераторши

*Часто в крапиве глухой пышная роза цветет.*

*Овидий*

*ГЛАВА ВОСЬМАЯ, где Владимир Иванович размышляет о превратностях людских судеб, о том, что такое красота, о том, что Пушкина можно узнавать многократно, а также о том, что иногда неэтичные поступки бывают на пользу себе и обществу.*

Поправлялись дела с дисциплиной и посещаемостью — какое все-таки противное канцелярское слово,— пришла новая беда. Собственно, она не пришла, а была, но за бо́льшими или, как хорошо говорят на Украине, горшими бедами просто не столь замечалась. Класс отчаянно плохо учился по русскому языку и литературе. Да. По тому самому языку, о котором патетически восклицал Тургенев, языком языков называл Ломоносов, на котором писал Толстой, которому поклонялся Гоголь и на котором взросла величайшая в мире литература.

Если по всем другим предметам, даже по биологии у Василия Трифоныча, было, что называется, более или менее, то величайшая в мире литература приносила мне сплошные неприятности. Что ни день — сюрприз, новые двойки в графике успеваемости, его протокольно-пунктуально вел Павел Андреевич. С горьким мужеством выставлял он двойки и себе, оставаясь после уроков с журналом, или по своему особому кондуиту, который всегда имел под рукой. А я уже стал суеверно бояться мгновений, когда в дверях учительской появлялась Анна Каренина — так про себя продолжал звать признанную всем районом учителей красавицу-литераторшу Инессу Львовну.

Обычно входила она очень спокойно, спокойно клала на стол журнал нежно-белой, а лучше сказать, дебелой рукой, где купечески блестело широчайшее обручальное кольцо, всегда наводившее меня на мысль, что я не знаю каких-то необыкновенных достоинств Инессы Львовны — иначе за что же дано ей такое кольцо. Инесса Львовна всегда смотрела на меня так, будто увидела только что, и по-своему оценивала, опустив

уголки красивых светло-розовых губ. Посмотрев, дав понять и прочувствовать мое несравненно более низкое положение, она говорила медленно, с торжественными расстановками, точно зачитывала окончательный приговор:

— Владимир Иванович... Сегодня всем (тут она делала ударение) поставлены двойки. ВСЕМ. Никто ничего не учит... Принимайте меры...

— ВСЕМ? — ахал я.

— Да... Всем...

— И Гороховой?

— И Гороховой... Что же? За красивые глаза с поволокой не дóлжно ставить двойки? Если уж вы так неравнодушны к своей Гороховой... и можно понять, в ней что-то такое есть, есть... Немного... Глазки... Волосы.

— Инесса Львовна!

— Да уж не скрывайте... Не скрывайте... Все видно. Все вы помешались на Гороховой. И вы, и Василий Трифоныч... тоже... Правда, Василий Трифоныч?

Василий Трифоныч, сидевший на диванчике в своих неизменных валенках и с указкой в руке — с указкой он не расставался,— поигрывал желвачками на скулах.

— А, Василий Трифоныч? Ну, скажите, вы же без ума от Гороховой? — не унималась Инесса Львовна.

Василий Трифоныч вдруг начинал розоветь каким-то кисельно-морсовым цветом, разливавшимся от скул к лысине.

— Да послушайте! При чем тут районо? Ведь, скажете...— неловко оборонялся он, вставал и, взяв карту со стола, уходил, опираясь на указку.

— Ха-ха-ха! — заливалась Инесса Львовна и, просмеявшись, добавляла:— Считайте, что я вас предупредила...

— Итак, что же я должен делать? Учитель-то вы...— пытался я перейти в наступление.

— Ах, вот как! А ВЫ-Ы? ВЫ КТО? — вопрошала она, подняв соболиную бровь.— Вы же классный руководитель... И это ВЫ распустили класс. ВЫ не требуете с них. Вы кумитесь с ними. ВЫ настраиваете их против меня... Говорят, вы с ними уже по ресторанам ходите... Да-да. Я все знаю... ВСЕ! Где же вам навести должную требовательность, дисциплину...

— Помилуйте...

— Ничего-ничего...

— Послушайте...

— Ничего я не хочу слушать! Создайте условия для работы в классе, иначе я обращусь к директору, схожу в районо.

— Да послушайте! При чем тут районо? Ведь, скажем, по истории я сам отвечаю за успеваемость!

— Я знаю, как вы отвечаете. Завышаете оценки. Ставите пятерки за красивые глазки...

— Инесса Львовна!

— Ничего-ничего... Правду все не любят.

— Да какую правду?

— А такую... Вы настроили класс против меня, и они сегодня все отказались отвечать. И эту забастовку подготовили ВЫ, да, ВЫ...

Теперь, наверное, пришло время сказать о начале этой войны. Сразу же после новогодних каникул в школе из-за низкой посещаемости и отсева закрыли и слили несколько классов. Учителям перераспределили нагрузку (часы), и мой класс, где вела литературу тоненькая и молчаливая Вера Антоновна, вдруг оказался в ведении Инессы Львовны. Очень скоро встал вопрос о двойках. Инесса Львовна ставила их дюжинами, так что график траурно зачернел. На все мои расспросы Инесса Львовна отвечала, что никто ничего не знает, знать не хочет, что Вера Антоновна готовила учеников из рук вон плохо (не будем забывать, что именно Вера Антоновна, а не Инесса Львовна, была на Доске почета в районо), и теперь тяжелые сомнения не давали мне жить спокойно. Однажды после горячего спора на тему «Кто виноват?» я предложил:

— Позвольте мне походить к вам на уроки.

— НА УРОКИ? — удивилась и возмутилась Инесса Львовна.

— Да. На уроки.

— Это зачем же? Вы будете учить МЕНЯ преподаванию литературы? Милый мой, я работаю уже пятнадцать лет и ничего не имела, кроме благодарностей. Я работала инспектором районо! А вы — самый молодой в коллективе — беретесь учить стажистов? Смешно... Смешно! Вот будете завучем, директором — тогда милости просим. Ваше право. А пока — позвольте... Да-да... Позвольте...

Инесса Львовна обладала характером. И ее характера, как я понимал, побаивались даже те, кто в

школе обозначался общим термином «администрация». К тому же Инесса Львовна была председателем месткома, то есть в какой-то мере обладала правом контроля над администрацией... Двойки по литературе продолжали сыпаться. Успеваемость за третью четверть составила всего шестьдесят два процента — и сплошь литература, и только у меня, в моем злополучном десятом «г». И хотя на педсовете по итогам четверти я пытался обороняться, получилось все-таки, что в неуспеваемости по литературе повинен классный руководитель и еще прежняя литераторша Вера Антоновна, что же касается учеников — они редко признаются виновными.

А после педсовета в учительской вдруг вспыхнула словесная баталия. Началась она с перепалки Нины Ивановны немецкой с завучами по поводу успеваемости. Перестрелка, возможно, закончилась бы, и все мирно разошлись по домам, унося молчком на сердце или на шее груз критических обид. Без этого, к сожалению, не бывает школьных педсоветов. Но тут на помощь завучам пришла Инесса Львовна в качестве председателя месткома, сделавшая Нине Ивановне какое-то порицание. И грянул бой! Да еще какой! Учителя мгновенно раскололись на группы, и самая малая оказалась состоящей из Инессы Львовны и завучей.

Тон задавала Нина Ивановна немецкая. Надобно сказать, что за неимением полной нагрузки по языку, она вела и литературу в пятых-восьмых, считалась дельным литератором и вот теперь, вынужденная брести по программам, читать великовозрастным пятиклассникам сказку «Морозко» и составлять сравнительные характеристики на Илюшу и Павлушу, Нина Ивановна дала себе волю.

— Да до каких пор,— кричала она,— мы будем топтаться на Фамусовых и Чацких?

— Что такое?!

— Я говорю, что нельзя в литературе видеть одни бороды классиков!

— Безобразие! Вот оно, пренебрежение к классикам! И не удивительно, весь ваш облик...

— Пренебрежение?! Не передергивайте. Но нельзя сиднем сидеть на классике. На носу двадцать первый век, новое тысячелетие, а мы разбираем проблему лишнего человека в девятнадцатом столетии. Ах, проблемы!

Да они не нужны, не интересны ученику теперь, как не интересна дуэль Печорина с Грушницким из-за выеденного яйца...

— Вы что же? И против Лермонтова? Долой все старое! Но ведь так кричали рапповцы и левые уклонисты! Вы не знаете, что говорил Владимир Ильич: «Без глубокого усвоения наследства прошлого...»

— А! И тут вы не можете без цитат. Знаете, Инесса Львовна, простите, но порой вы мне кажетесь сплошной цитатой...

— Нина Ивановна!!

— Да к черту все! Дайте отвести душу!

— Ужас! Ужас!

— Нина Ивановна. ВЫ ЗАБЫВАЕТЕСЬ! Нельзя идти против государственной программы. Нельзя в преподавании допускать анархию. Этак вы Апулея на уроках начнете читать. «Декамерона» анализировать. Нельзя так неуважительно отзываться о товарищах по работе. Инесса Львовна заслуженный педагог, пользующийся авторитетом, а вы еще новичок... Нельзя так...

— А почему нельзя? Если педагог не видит ничего дальше программы, если он так же устарел, как программа? А если я поняла, что ученику нужно новое, современное, то, что будит мысль. Вот спросите, много ли читают ученики нынешних писателей? И — темнота... Детективы!

— А Шолохов!

— Да-да! (с иронией). Да, Маяковский, Фадеев...

— Да поймите же! В программу невозможно втиснуть всю мировую литературу! Вы ломитесь в открытую дверь!

— Нет, можно! Можно многое. Если изменить методы преподавания, угол зрения... Вот я люблю Тургенева. Сто раз читала «Записки...» Но мне вовсе не нужно анатомирование Павлуши с Илюшей из «Бежина луга». Я просто люблю этот луг. Хоря и Калиныча... Я просто ненавижу Пеночкина и Стегунова. Мне понятен Печорин и Онегин... Они понятны всякому. Литература — это искусство, а не анатомия, и мне не требуется четвертями топтаться на разжевывании романа «Евгений Онегин». Что мы делаем на уроках литературы? То же, что и на уроках ботаники, когда расчленяем прекрасный цветок на тычинки и пестики...— Лицо Нины Иванов-

ны полыхало, как гроза, вот не ожидал я таких эмоций у косметической девы! Но сейчас косметика словно бы исчезла и выступило лицо, негодующее и страстное, на котором сверкали молнии и сполохи.— Что мы делаем? Мы прекрасное обволакиваем скукой, рассудочной нудятиной!

— Нина Ивановна! Вы забываетесь!

— Я удивлена! — голоса завучей.

— Как можно доверять преподавание литературы людям, не имеющим даже соответствующего образования...

— Что-что?? Да вы знаете, как говорят о вас ученики? Они говорят: «Пушкина убили Дантес и наша литераторша Инесса Львовна!»

Теперь уже кричали все: Инесса Львовна, Нина Ивановна, завучи, я, что-то пытался сказать появившийся директор, беззвучно раскрывала рот Вера Антоновна, сверкал глазами Василий Трифоныч, всплеснув руками, прижав их к щеке, качалась, как сосна под ветром, Нина Ивановна английская, а Борис Борисович равномерно взмахивал, как бы дирижируя оркестром.

— Надо преподавать по-новому! Надо! — кричала Нина Ивановна.— Надо читать современную! Чи-тать! Что они знают по зарубежке? Даже по классикам? Ну? Что? Где Хемингуэй? Где Мопассан? Где Ремарк?

— Ремарк! Мопассан! Да вы с ума сошли! Читать на уроках Мопассана?

— А я считаю, что можно читать и Купера, и Дюма, и Рабле, и Свифта,— высказалась наконец Вера Антоновна.— Интерес к литерату...

Но всплеск страстей не дал ей говорить.

— А где современная проза и поэзия?

— Но школа же не университет!

— У нас ш к о л а!

— А школа не должна прививать любовь к современной литературе?

— Должна... Обязана.

— Это так же, как мы призываем любить животных, а сами едим их стадами. Сдираем шкуры...

— Вы, оказывается, вегетарианка?

— Боже мой! Что это за школа! Что за учителя! — глас одного из завучей.

— Что за учителя?! Да учителя часто сами не знают

современной литературы! Литераторы не знают. Пари! Ремарк? Последний роман? Или Маркес. Ну?

— Положим, Марию Ремарк я...— Инесса Львовна пытается отступить с честью.

— Ха-ха-ха!

— Что это такое! Как вы смеетесь! Вы вообще не умеете себя вести!

— Ничего... Простите... Уже все...— Нина Ивановна выскакивает за дверь.

Спор затихает. Но все остались при своих мнениях. Истина не родилась. Мое же мнение не выслушал никто. И не могу я кричать, не могу всовываться, когда стая женщин препирается со всей страстностью, для этого надо быть женщиной, и такой, знаете, чтобы руки в бок, голову назад, а на лице одни сплошные зубы. Где мне... Но я согласен с Ниной Ивановной немецкой: мало читают, мало знают учителя. И программы надо менять, и преподавать иначе. Много ли разницы между Николаем и Павлом Кирсановым, так ли велик Базаров, сколько можно судить Ольгу Ларину? Нужна живая литература, надо читать так, как нам читал Бармалей. Есть ли жажда к художественному слову, или уж вправду приходит конец литературе — все вытеснил дикий вопль: «Го-о-о-о-л!» Ничего я не сказал, вымолчал, выговорился в себе. А двойки остались двойками.

Из разговора с классом и активом я уяснил следующее: Инесса Львовна уроки ведет скучно, непонятно. Ответов требует по учебнику. Никаких своих мыслей, рассуждений, как всегда просила Вера Антоновна, не допускается. Не знаешь словами учебника — садись: «Два!» Вера Антоновна всегда читала на уроках. Читала много. Инесса Львовна никогда не читала, только цитаты. Вера Антоновна не требовала заучивать цитаты, Инесса Львовна без цитат четверку даже не поставит. У Веры Антоновны двойки были необидные. Все разъяснит, скажет, что неправильно, у Инессы Львовны... И вообще,— литература теперь стала хуже тригонометрии, хуже черчения — такой вывод сделала сама Чуркина. Черчение же у нас вел художник из дневной школы Аркадий Павлович. Уроки у него вообще ни на что не были похожи. На черчении галдели, ходили по классу. Орлов-Нечесов выбегали курить, а художник, не обращая внимания на гвалт, сидел за столом, ерошил волосы и, улыбаясь, читал книгу.

Однажды, идя коридором мимо своего класса (было у меня как раз «окно»), я остановился у дверей без всякой, впрочем, задней мысли — каждый классный, наверное, не может равнодушно пройти мимо, не остановившись, хотя бы не подумав, что там в его классе и как... Это невинное, в сущности, подслушивание никогда не имеет причин поколебать авторитет занятого на уроке учителя, хочется знать лишь, что поделывают твои ученички, как они там учатся. Но тут я задержался вдруг дольше обычного. Дверь в класс была притворена, и мне было не только слышно все, что делалось там, но даже и видно отчасти. Урок литературы. Творчество Толстого. Инесса Львовна объясняла, и — боже мой! — что это был за унылый, без всяких эмоций пересказ, чтение лежащих на столе бумаг.

«Но писатель видит и другое... Он стремится углубить формы традиционного повествования о деревне,— читала Инесса Львовна.— В его повестях и рассказах не просто быт, но быт психологизированный, крестьянская действительность представлена в двух ракурсах: снаружи и изнутри».

«Господи! — подумал я.— Что это еще за психологизированный быт? Что за крестьянская действительность? Как это — «ракурс изнутри»? Ракурс!»

«Там, где поверхностный взгляд человека из другого социального мира усматривает лишь косное и дикое, порой находятся скрытые под грубым внешним покровом задатки человечности. Но качества эти чаще всего не обнаруживаются, они не выявлены писателем сознательно...» — голос Инессы Львовны, не повышаясь и не понижаясь, плел и плел эту бесконечную наукообразную паутину, и, стоя под дверью, я чувствовал — ничего, ничего, ничего не остается, не запоминается, кроме льющегося мимо сознания потока внешне умных, на самом же деле пустых бездуховных фраз. Это было какое-то торжествующее словоблудие.

«Особенное внимание вновь привлекают теневые стороны народной жизни в духе более ранних традиций литературного шестидесятничества...»

«Да где же литература-то?» В полуотворенную дверь я видел — класс бездельничает. Пишут немногие: Горохова, Чуркина, Алябьев — да и те лишь выполняют обязанность... Однако не предосудительно ли я выгляжу, подслушивая и подглядывая, пусть и у собствен-

ного класса? Уходя, я припоминал, что на педсоветах, на совещаниях Инессу Львовну всегда хвалят за отличную подготовку к урокам, за то, что у нее не просто рабочие планы, без которых учитель вообще не имеет права вести урок, а планы-конспекты. Вот по такому конспекту, видимо, и читала она с раз навсегда заученными культурными интонациями — сеяла невсхожие семена в непаханое сухое поле.

Другая литераторша старших классов — Вера Антоновна, уже упомянутая мною, словно бы являлась полной противоположностью цветущему облику Анны Карениной. Если природа наделила Инессу Львовну всеми качествами пышной и красивой женщины, то у Веры Антоновны эта же самая природа начисто все отобрала. Плоско-худая, с выступающими ключицами и лопатками под коричневым, похожим на школьную форму платьем, Вера Антоновна ходила в очках, была желта лицом, с некрасивыми зубами,— видимо, поэтому редко улыбалась,— волосы носила закрученными в тощий узелок-плюшку, из которого — отдадим дань штампу, но если так было на самом деле! — часто торчала грозящая выпасть шпилька. В общем, типичный «синий чулок». И на ногах у «чулка» чаще бывали даже не туфли, а простые детские полуботинки, чем-то безмерно принижающие эту тихую женщину неопределенного возраста. Вере Антоновне равно можно было дать и тридцать пять, и пятьдесят. Да, похоже, никто и не задумывался над этим. Есть люди, словно бы без личной жизни, кажется, вся их жизнь тут, на виду, в школе или в цехе, или еще где-нибудь, скажем, в аптеке, в кассе гастронома и в больничной регистратуре. И никто никогда не спрашивает этих людей ни о чем, и они ни о чем не рассказывают. Такой была и Вера Антоновна. В учительской она почти ни с кем не говорила, сидела себе в уголке, уставясь в стену, иногда заполняла журнал, отмечала что-то, и первая она вставала, бралась за портфель, едва начинал дребезжать звонок, в то время как все учителя еще не думали подниматься с места — кто курил, кто выяснял отношения по поводу свежей двойки, кто просто так отдыхал, тянул минуты, пока не раздавался голос завучей: «Товарищи! Был звонок!»

Веру Антоновну этот возглас никогда не заставал. И ее тоже хвалили на педсоветах за хорошую подготовку, во время столичной инспекции Вера Антоновна с таким блеском провела уроки перед внезапно нагрянувшей в школу комиссией, что районо удостоило ее местом на кумачовой Доске почета рядом с благополучнейшим Борисом Борисовичем. Но чаще все-таки Веру Антоновну поругивали: не укладывается в часы, с программой вечные расхождения, на уроках читает вслух современную литературу, и что самое страшное,— не предусмотренную школьными методиками. Времени ей вечно не хватает, вот почему Вера Антоновна охотно замещает любые уроки, если есть такая возможность.

Вера Антоновна никогда не оправдывалась, выступала редко и, лишь когда ее чересчур допекали завучи, тихонько морщилась, снимала очки и начинала их протирать, при этом лицо ее становилось белее, моложе, как-то женственнее, все начинали понимать, что Вере Антоновне скорее тридцать, чем пятьдесят, а красноречие завучей само собой затухало.

И семейная жизнь этих литераторш, насколько можно представить, была совсем различной. Инесса Львовна рано и удачно вышла замуж, имела двоих детей, мальчика и девочку, о достоинствах которых не уставала осведомлять присутствующих в учительской, муж ее — полковник с большой перспективой стать генералом — частенько заезжал за женой в школу на черной «Волге». Жили они в военном городке, в квартире, о которой немногие побывавшие говорили, что она роскошная, а дальше уж не стоит перечислять.

Веру Антоновну никто не встречал, жила она где-то в домишках за трамвайным разъездом, а так как не было на ее худых руках ни широкого, ни узкого кольца, можно было предположить, что Вера Антоновна живет одна или, может быть, с матерью.

Как-то придя на свой нулевой и уже привычный мне урок, я застал в пустой учительской Веру Антоновну. Она распаковывала нечто, завязанное в платок и оказавшееся, когда платок был снят, старинным бронзовым шандалом на шесть свечей. Шандал был очень массивный, литой, с античными фигурами у основания и весил, наверное, без малого пуд.

— Где это вы взяли такую антикварность? — обратился я к Вере Антоновне.

А она, почему-то розовея сквозь желтизну, ответила:

— Это наш... Фамильный, что ли...

— Ого! — сказал я.— Уж вы не княжьего ли рода? Такие подсвечники?

Вера Антоновна промолчала, с усилием вставляя свечи в гнезда шандала, а я вспомнил, что фамилия у нее действительно историческая — Шереметева.

— А зачем вам шандал? — не постеснялся я продолжить допрос.

Вера Антоновна вздохнула и, посмотрев на меня, сняла очки.

— Понимаете, сейчас я прохожу Пушкина. И... мне кажется... его стихи надо прочитать так...

Взгляд Веры Антоновны выразил некоторую теплоту. Глаза без очков были внимательные и беззащитные.

— Вы понимаете, для уроков я ищу как бы фон... Обстановку, что ли... Вот «Ревизора» мы сначала смотрели в театре, когда был хороший состав... Нынче я из-за этого выговор получила. Не было состава, и я самовольно отнесла тему дальше... Театр к нам не приспосабливается ведь... Кроме того, плохим исполнением можно все испортить... И Гоголя... А Пушкина всегда надо открыть. Для многих он на всю жизнь остается Пушкиным, но не поэтом, другие открывают его позднее. А я хочу, чтобы открыли... чтобы поняли — сейчас...

И снова надела очки.

— Вера Антоновна! Ради всего... Возьмите меня и моих на урок! Мы сядем куда-нибудь в темноту и будем как мыши...

— Мыши всегда шуршат... Я боюсь мышей...

— Хорошо... Будем как высокосознательные учащиеся.

— Пожалуйста...— И она ушла, тоненькая, бесплотная, унося свой тяжелый шандал.

Этот урок запомнился мне на всю жизнь. В классе с занавешенными шторами было уютно от шести потрескивающих желтых огоньков и пахло огоньками так же уютно и древне. В теплом свете лицо учительницы похорошело, словно бы наполнилось этим светом, и класс сидел погруженный в полутьму, задумчивый и настроенный на большое. Вера Антоновна ничего не

объясняла по творчеству. Не было никаких «ракурсов», она только читала:

Цветок засохший, безуханный,
Забытый в книге вижу я;
И вот уже мечтою странной
Душа наполнилась моя...

И голос Веры Антоновны вдруг исполнился большой и широкой звучности, убедительной и убеждающей:

Где цвел? когда? какой весною?
И долго ль цвел? и сорван кем,
Чужой, знакомой ли рукою?
И положен сюда зачем?
На память нежного свиданья,
Или разлуки роковой,
Иль одинокого гулянья
В тиши полей, в тени лесной?
И жив ли тот, и та жива ли?
И нынче где их уголок?
Или они уже увяли,
Как сей неведомый цветок?

Это был голос, совершенно уверенный в каждом слове и в каждой интонации, голос, который не мог сфальшивить и ошибиться,— вот так же и с той же раскованной уверенностью читал — вещал когда-то Яков Никифорович Барма, и опять я со знобящей радостью узнал УЧИТЕЛЯ среди наших обыкновенных грамотных педагогов.

...Люблю зимы твоей жестокой
Недвижный воздух и мороз,
Бег санок вдоль Невы широкой,
Девичьи лица ярче роз,
И блеск, и шум, и говор балов,
А в час пирушки холостой
Шипенье пенистых бокалов
И пунша пламень голубой...

Читала стихи, и незнакомый мне класс, дополненный горсточкой моих учеников — Чуркина, Горохова, Нечесов, Алябьев, Задорина,— молчал с такой выразительностью, что можно было почувствовать: не слушают — внимают, и только так, так должно преподавать русскую литературу, так может родиться не одно знание-понимание, но благоговение и уважение, которые не поколеблет ни пошлая занимательность детективного чтива, ни творения халтурщиков от пера, славных

своим верховым чутьем, ни чванство невежд, ни глумление технократов: «кому в наш век нужна ваша литература?», ни брюзжание мещанина: «что счас за писатели... Нету писателей».

— Кто помнит, по какому случаю Василий Андресвич Жуковский подарил Пушкину свой портрет с надписью: «Победителю ученику от побежденного учителя»?..

— За «Руслана и Людмилу»! — раздалось с места.

— За «Руслана...»

— Вы, конечно, знаете пролог к этой поэме, но я все-таки еще раз прочту его вам...— Она помолчала, словно собираясь с духом и пытаясь что-то увидеть вдали, и опять зазвучал по-новому преображенный незнакомый голос:

Для вас, души моей царицы,
Красавицы, для вас одних
Времен минувших небылицы,
В часы досугов золотых,
Под шепот старины болтливой,
Рукою верной я писал...

Она прочитала посвящение и вот перешла к прологу:

У... лукоморья... дуб... зеленый,
Златая цепь... на дубе том...

И чудесно, по-ночному, произнесла она это первое: «У», и зашумел у нее зеленый дуб, и брякнула литым золотом златая цепь — во всем было нечто, от чего по коже бегут счастливые мурашки и ощущается холодок на скулах.

Одну я помню: сказку эту
Поведаю теперь я свету...
Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой...

И когда, совершенно неожиданно зазвенев, понесся коридором звонок, никто не пошевелился, не встал, не заходил, не потягивался, не вытаскивал сигарет и спичек. Вера Антоновна шла к выходу, держа трепещущий светом шандал, как некая волшебница, уносящая свое волшебство. У входа она остановилась и, дунув на свечи, сказала, что задание на доске. Должно быть, она сделала это до урока — иначе когда же.

В коридоре увидел Нечесова. Он стоял у окна. Задумчивый.

Словно задавшись целью делать одну бестактность за другой, на следующий же день я отправился к директору.

— Может быть, моя просьба будет необычной, но она продиктована необходимостью! — с ходу заявил я, едва закрыв дверь кабинета.

— Да-да...— рассеянно сказал директор, отрываясь от какой-то статьи в журнале, которую читал, видимо, с большим интересом.

— Давыд Осипович,— сказал я.— Нельзя ли снова передать литературу в моем классе Вере Антоновне?

— Что-что? — переспросил он, разглядывая меня с удивлением. Он всегда переспрашивал, хотя все отлично понимал и слышал, и всегда разглядывал, точно хотел обнаружить что-то такое, еле видимое, щурился и водил носом вверх и вниз.

Я повторил.

— Послушайте, Владимир Иваныч, этак, пожалуй, вы еще чего-нибудь потребуете. В чем дело? Знаю, в классе неблагополучно... Но ведь нельзя же выбирать учителя?! Это же неслыханно! Я не согласен... Решительно не согласен.— Лицо директора — сплошная строгость, но я знаю, что не умеет он быть строгим, что он мягкий человек, добрый человек, вообще — человек.

— А если сие в интересах дела?

— Но где же этика? Элементарная этика? Кто поручится, что у Веры Антоновны все пойдет лучше?

— Я поручусь.

— Безответственное заявление... Класс нельзя перекидывать, как мячик. Скоро конец года! Кроме всего — человек лишается нагрузки. Бить рублем? За что? За то, что вам и вашим учащимся не нравится Инесса Львовна? Ее метод? Скажу по совести — я тоже не поклонник ее таланта... Сухо, академично.

— Если талант есть...

— Ну-ну! Всегда вы горячитесь. В жизни главное — уметь ладить, ладить с людьми, иначе вы не уживетесь ни в каком коллективе...

— И все-таки... Я настаиваю как классный руководитель.

— А я отказываюсь как директор..

— Тогда нам не о чем говорить...

— Стоп! Не кипятитесь... Хотите компромисс... С нового учебного года? Согласны? А пока — терпите... То-то.

Директор преподал, как ладить в коллективе.

Я же, посоветовавшись с Чуркиной, а потом и в классе, грозя всеми мыслимыми карами, которых так много в распоряжении классного руководителя средней школы рабочей молодежи, приказал улучшить успеваемость по литературе, пообещал, что в одиннадцатом снова придет Вера Антоновна, и обязал всех неуспевающих являться на нулевой урок, где взял на себя роль репетитора.

Безвыходных положений не бывает. К концу четверти мы вышли с успеваемостью по литературе на 92 процента. Не успевали только Орлов и таксист Ведерников. Нет, нет, это не моя заслуга. Вера Антоновна слишком часто приходила к нам на нулевые уроки. А в лице Инессы Львовны я навсегда приобрел удивительно злобного врага.

## Потомок композитора

*Лишь в конце работы мы обычно узнаем, с чего надо было ее начать.*

*Паскаль*

*ГЛАВА ДЕВЯТАЯ, где Владимир Иванович наконец понял разницу между градирней и мартеном, убедился, что металл — вещь ценная, ознакомился с весьма современным взглядом на музыку и узнал новость, которая ни для кого уже новостью не являлась.*

Из всех моих активистов самым надежным после Чуркиной считал я сталевара Алябьева. Считал так не только потому, что Алябьев был аккуратен, в школу ходил регулярно, учился хорошо,— было у Алябьева какое-то сильно располагающее к себе лицо, как говорят часто: честное, открытое, доброе,— лицо истого славянина. Его голубовато-серые в желтых крапинках глаза всегда смотрели ясно, просто, жила в них постоянная добрая улыбка и еще нечто, что есть в глазах подростков и солдат первого срока службы. Это было в глазах. Вообще же лицо Алябьева казалось суровым: так твердо были вылеплены скулы, резки губы, и неожиданно мягки длинноватые светлые волосы. Одень Алябьева в холстину, в лапти — вот тебе заонежский крестьянин-помор из той северной, хранящей древность

Руси, которая еще и осталась там, живет под бледными закатами и ночными зорями в тишине озер и зелени долгих радуг.

Всегда любовался Алябьевым, если отвечал он с парты или у доски. Все как-то по-мужски, основательно, самостоятельно, и цифры даже напишет уверенно, крепко, не то что шалопай Нечесов — у того скачут, валятся, бегут во все стороны... И недаром, наверное, мне казалось, что все девочки в классе тайком и явно влюблены в Алябьева, и одни ли только мои девочки! Ах, какие взгляды доставались ему от камвольщиц и от продавщиц, кроме, пожалуй, одной Светы Осокиной, но Осокина вообще, кажется, если и умела смотреть, то лишь с величавым презрением. Именно так поворачивала она свою головку с черными влажно мерцающими глазами, при этом ее яркие губы сжимались в клюквинку. Благоволила Алябьеву и строгая Чуркина, и улыбчивая Горохова, пожалуй, во всем подходившая ему в пару, и мысленно ставя их рядом как художник, я подчас думал, какая была бы натура для руки Нестерова или Васнецова. Однако ни Чуркиной, ни Гороховой не уделял Алябьев большего внимания, чем другим девчонкам в классе, может быть, в этом был секрет его подлинного успеха — Алябьев казался непробиваемым для самых тонких девичьих стрел.

Лучше узнать Алябьева помог случай. Однажды я находился на заводе — туда послал меня директор просить шефов ускорить работы на новом здании. Совсем забыл сказать, что к грядущему учебному году заводшеф обязался достроить новое школьное здание, вот почему наш директор, оба завуча, парторг и председатель месткома Инесса Львовна постоянно бывали на стройке и в заводоуправлении, что-то доставали, нажимали, просили, улаживали, а когда не хватало времени, толкачами посылали учителей. Завершив дела в пропахшем конторой и клеем заводоуправлении, я уже с ощущением раскованности двинулся к выходу, как вдруг у переезда, пережидая неторопливый тепловоз с кучами ржавого лома на платформах, вспомнил, что здесь, в сталеплавильном, работает мой Алябьев и другой сталевар, Кондратьев, который никакими особыми приметами не отличался, в школу ходил кое-как, учился так же, даже с виду был настолько зауряден — нечто черноватое, невысокое, неразговорчивое, что его словно бы

никто не замечал и не разглядывал. Однако, стоя перед пыхтящим составом, оглядывая плывущие мимо обрезки железа и труб, мотки проволоки, спирали стружки и спинки кроватей, я скорее из-за Кондратьева, чем из-за Алябьева, решил зайти в цех: надобно было «активизировать посещаемость» — так выражалась наша администрация.

Состав наконец прошел, и я спросил у первого встречного рабочего дорогу в сталеплавильный. Получив небрежное «налео!», пошел в направлении кивка.

СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЙ. МАРТЕНОВСКИЙ. Я представлял такой цех, каким обычно пишут его на размашистых, в полстены, картинах, как показывают в цветном кино. Вот недавно мы видели в галерее: простор, огненные краски! Огненные лица в широкополых шляпах! Очки, сдвинутые на лоб! Бронза мускулов! Блеск зубов! Льет металл — фейерверк-звездопад. Рядом ковши, краны. «Плавка выдана!». А покамест я шел вдоль железнодорожных путей тропинкой коричневых мазутных капель. Рельсы плавно изгибались в сторону высокого закоптелого строения — напоминало по форме гигантский сарай — и уходили в его утробу. Внутри «сарая» вдоль путей лежали горы коричневого, черного и синего лома, нового и ржавого, стояли платформы с чугунными ваннами, позднее узнал, что такие ванны называются мульдами, а лом — шихтой. Вверху, завывая, перемещался мостовой кран со свисающей на тросах магнитной шайбой. Шайба спускалась в кучи лома-шихты, ныл ток, и вот уже, неся прилипшие к магниту мотки стружек, обломки рельсов, куски котлов, шайба останавливалась над очередной платформой, и груз с грохотом осыпался в мульду. Маленький тепловоз задумчиво ожидал конца погрузки, ходили редкие рабочие в брезентовых робах, в коричневых касках, никто не обращал на меня никакого внимания, и я, устрашась напоминаний, щедро налепленных над входом: «Не ходи по путям», «Не стой под краном», «Проход запрещен!», двинул по боковой, натоптанной в грязном снегу дорожке вдоль стены к другому цеху, полагая, что раз пути ведут туда — там и должны быть мартеновские печи, хотя самые печи я никогда не видел в натуре и представлял почему-то огромными, лениво дымящимися башнями, похожими на жюль-верновскую пушку, из которой стреляли на Луну. Башни такие дымились да-

леко в стороне, называются они градирнями, но это я узнал и усвоил позднее, а пока все посматривал на них — сомневался, правильно ли иду. Впрочем, ничего особенного в этой ошибке для человека, никак не связанного с производством и с металлургией, нет. Градирни же многие незнающие принимают за мартены и даже за домны.

Как раз в то время, когда я подходил к новому цеху, меня обогнал состав с наполненными шихтой мульдами. Раздвинулись тяжелые ворота-створы, вслед за составом я вошел в вулканически гудящее помещение, чем-то, пожалуй, сходное с описанием преисподней, тем более что тут были и топки, через закрытые заслонки которых прорывалось вполне адское желто-бело-синее пламя. Печи, каждая с четырьмя отверстиями, скорее походили на железнодорожные или паровые котлы — так были опутаны черными змеями труб, арматурой, стойками — и совсем не походили на башни, какими сперва представлялись. У топок в зареве лисохвостых выбивающихся огней кое-где виднелись люди, похожие на пожарников. Они были в шинельных робах, в серых подшитых валенках и в касках с очками.

— Поберегись! — крикнул кто-то. Я испуганно отшатнулся, мимо пронеслась по воздуху черная машина, будто гигантская скрюченная «баба-яга», оседлавшая железное бревно. На конце «бревна» плотно сидела ванна с ломом, простите, «мульда с шихтой». Машина остановилась у одного из отверстий печи, тотчас поползла вверх заслонка, высвободив поток ревущего белого пламени, жадно осветив цех, заставив меня попятиться и заслониться рукой. А «баба-яга» сунула ногу с мульдой в огонь, полезла прямо в топку и там опрокинула мульду, перевернула, вытащила и опять по воздуху загудела мимо. Заслонка закрылась, померкло жидкое бушующее солнце, и я, пожмурившись, увидел Алябьева. В таком же сером суконном наряде, в каске поверх шапки, он сидел в небольшом углублении возле цеховой опоры.

Алябьев, должно быть, давно уже видел меня,— он улыбался и кивал.

— Садитесь! — подвинулся на залосненной скамейке.— Печками интересуетесь?

— Да вот... зашел... Никогда не видел. Да и Кондратьева надо. Опять гуляет... Где он?

— Что ж, посмотрите, Владимир Иваныч... Вот здесь у нас три мартена. Средние по мощности... Сто двадцать тонн. Там две электропечи. Одна печка стоит. Ремонт. Вон сталевар ходит. Я-то вторым подручным работаю. Мишка Кондратьев — третьим. Бригада — четверо. Сталевар и трое подручных. Первый-то болеет — я заменяю. Вроде как помощник сталевара. А Мишка — он так... На подхвате. Шихту где-то подгребает...

— Скоро будет плавка? — спросил я, очень хотелось выглядеть знающим.

— Плавка? Не-ет! — улыбнулся Алябьев.— Завалка пока идет. Шихту загружают в печку, потом чугун, известняк, присадки.

Снова подошла завалочная машина. Алябьев нажал широкую красную кнопку. Заслонка поднялась, и опять обдало жаром. Нестерпимый белый свет ударил в глаза. И теперь завалочная машина показалась мне добрым великаном, борющимся с огнедышащим змеем. На секунду все окуталось огнем и искрами. Не верилось, что человек, сидящий там, всего лишь за сеткой, цел-невредим, когда вот тут, вдали, от жара сводит лицо.

— Они реже нашего в парикмахерскую ходят,— усмехнулся Алябьев, кивнув на умчавшуюся машину.— Вот загрузим печку, тогда плавка пойдет...— и посмотрел озабоченно:— Надо бы вам очки. Вы туда очень-то не глядите. Глаза поджечь можно. Это хуже, чем на солнце. У нас-то еще ладно, а вот на электропечах... указал в глубь цеха, где вспыхивали синие молнии,— там и очки не всегда помогают. Вот, возьмите-ка,— протянул Алябьев очки-пластинку.— Это у меня запасные.

Сквозь очки пламя казалось утихшим, ощущался лишь его гул, дрожание стен, содрогаемых запертой мощью. Я встал и прошелся вдоль цеха. В электропечах, видимо, уже шла плавка. Белой мыльной водой плясал и бурлил металл, стекали наружу леденцово-красные шнуры шлака. За печами и под ними различались какие-то мрачные закоулки, переходы, винтовые лестницы, где вполне, казалось, могли обитать бесы и демоны. Вообще смутно освещенный цех опять напомнил нечто адское — оно ощущалось в серном горючем запахе, напряженном буроватом дымке, в буревом гуле, клекоте пламени, в полыхании запертых солнц и в подрагивании стен, которое словно возвещало о грядущем землетрясении и потопе. Казалось, еще немного, и все эти

печи, котлы не выдержат, ахнут погребающим все вокруг взрывом, и он взойдет к небу фантастическим дымным грибом, извергая и обрушивая поток огня, металла и обломков...

У пульта по-прежнему спокойно сидел Алябьев.

— Не нашли Мишку? — спросил он.— Куда это делся? Может, на канаву ушел? Я бы сбегал, да отойти нельзя...

— Что за канава?

— А металл-то куда выпускают! — удивился Алябьев.— Канава называется. Туда ковши подают, изложницы. Вон за печками, внизу...

«Канава», куда я пробрался, минуя печи, по узкому проходу, оказалась огромным пролетом, уровнем ниже сталеплавильного. Я и не представлял, что металл идет с другой стороны мартена по желобам в стоящие в «канаве» платформы с ковшами и изложницами. Здесь тоже двигались краны, лязгали стропы, стыли розовые и золотые от жара слитки и так же, как у печей, неторопливо ходили рабочие — желобовые и канавные...

Уже выйдя из цеха, внутренне притихший и почтительно подавленный, шагая подтаявшим хрустким снегом вдоль путей, я словно бы заново пересматривал свой взгляд на труд и на своих учеников-рабочих. Да, здесь они трудились в полную силу и, главное, видели, можно сказать, о с я з а л и результаты своего труда. На том, может быть, и держится так называемая «рабочая гордость». Так и пахарь осенью, растерев на ладони колос, счастливо смотрит, как ветер уносит легкую полову и остаются на этой ладони твердые просвечивающие скрытым солнцем зерна. ХЛЕБ. А здесь добывали тот же хлеб — металл! И так же, как, поработав в поле, начинаешь уважать хлеб, проникаешься и к себе неким кормильческим уважением, побывав здесь, вдруг понимаешь золотую тяжесть металла, понимаешь, что он дорог и что брошенная где-нибудь в бурьяне гайка, ржавеющая труба, увязшее в земле колесо — все это вещи нужные, необходимые и, в общем-то, ценные.

Эти мысли не оставляли меня даже и тогда, когда я уже стоял на трамвайном кольце. Сюда доносило глухой невнятный гул, слитый из тысяч разных звуков в одно ритмическое дыхание, и высоко клубила паром, несла его в мартовском небе большая кирпичная труба с белыми цифрами — 1 9 5 7. И я подумал, что завод с

этой трубой, так непреходяще дымящийся, похож на чудо-корабль, упрямо плывущий в будущее, именно в то, которое называем мы светлым, а оно и в самом деле должно быть таким, иначе о нем не мечталось бы и жить стало бы слишком грустно...

Так вот, именно Алябьев уже вторую неделю не появлялся в школе. Не было и Кондратьева, а когда все-таки наконец пришел, равнодушный ко всему, будничный до оскомины, он вяло подошел ко мне и сказал, что Алябьев учиться раздумал и вообще, наверное, уедет.

Это было так дико, так не укладывалось в голове, что я глупо спросил:

— Заболел, что ли?

— Я-то? Нет... А Лешка... Кто его знает... Вроде бы — здоровый... На работу ходит...

— Он тебе так и велел передать?

— Так и велел... Мол, и документы не станет брать...

В субботу под вечер я подходил к заводскому общежитию. Новенькое, выложенное из силикатного кирпича, оно белело вдали улицы и гляделось довольно чистым, хотя и не слишком радовало однообразием своих окон. Стандартный двадцатый век глядел с кислой комфортабельной улыбкой. Было уже совсем тепло. С топольков, вытянутых вдоль асфальта, падали желтые клеевые скорлупки, и девочки, идущие навстречу, глядели русалочьим взглядом. Легкая весенняя заря широко стояла на северо-западе. Окна общежития были распахнуты, и, знать, потому сей пятиэтажный дом без балконов, с широким бетонным крыльцом и с маху разбитой кем-то черной вывеской, где клиньями торчали невыпавшие стекла,— весь этот дом пел и звучал. Почти из каждого окна неслась какая-нибудь мелодия, складываясь в странную какофонию. Из окон высовывались длинноволосые головы — не разберешь, парни ли, девушки. В жухлый, едва зеленеющий газон падали окурки.

Пад железный звон ка-а-льчуги,
Па-а-д железный звон каль-чу-ги
Нна добра ко-ня са-а-дясь,—

бодро неслось с левого угла.

Тарри да-дам, трри-да-там, трри-да-дам,—

бесновалось окно справа, покрывая мелодию какими-то иностранными разнузданными завываниями — смесью

хохота, лая, петушиного крика, идиотского ржания... «Ромашки спря-тались, поникли лю-тики»,— плачевнобабье выводило третье окно. А в четвертом выставленная на подоконник радиола исступленно вопила на весь квартал: «Бе-ре-зо-вым со-ком, бе-ре-зо-вым соком...»

«Мда!» — подумал я, поднимаясь на крыльцо, косясь на разбитую вывеску и лихо разодетых парней, очевидно, обитателей общежития, совещающихся, куда «двинуть» сегодня.

А в стандартном вестибюле с лозунгами и призывами пожилая плоско-толстая вахтерша, стоя ко мне спиной, увещевала вдребезги пьяного мужичка. Мужичок сидел у стены, как говорят, повесив буйну голову, от толчков вахтерши пробуждался и, обведя все вокруг улыбчиво-плавающим счастливым взором, ронял голову снова.

— Да иди-ко ты... Кому говорю-то? А? Слышь? Проспись иди... Вот ведь, горё-то — нажрался. Кому говорю? Вот ведь что значит мужик без бабы. Ведь добрата жана задала бы тебе перцу. Не напился бы эдак-то у доброй жаны...— и махнув, уже глядя на меня, посетовала:— Зачем вот эдак-то? Живет в обчежитие, робят толькё смущает. Взрослый ведь, а ума нету...

Я спросил, где живет Алябьев, и поднялся на второй этаж, до краев полный музыки. Алябьева дома не оказалось. В комнате, у окна, приятный с виду парень чертил за самодельным кульманом.

— А он, наверное, где-нибудь тут, возле общаги болтается,— сказал парень, не отрываясь от чертежа.— Он музыку не любит, а у нас — слышите? В субботу особенно, как с ума сойдут. У всех проигрыватели, «маги» всякие, транзисторы.

— Не нравится?

— А-а... Мне наплевать... На меня не действует. Я скоро подамся отсюда. Диплом кончаю. Конечно, чего хорошего... Общага, одним словом.

— Ну и ад же у вас,— сказал я вахтерше, которая, видимо, уже спровадила пьяницу спать и сидела у доски с ключами.

— А что? — спросила она, щурясь.

— Да где же тишина?

— Ишь, парень, чего захотел... В общежитие-то? Пущай веселятся, раз имя весело.

— Кому весело, а кому и нет. И поспать хочется, и почитать...

— А это уж не мое дело. Ето с комендатшой говори. Я тут ни при чем...— враждебно ответила тетка, и я понял — дальше идти некуда — стена. Часто такой вот простой человек до тех пор и прост, пока не заденешь его незыблемо-глупые устои. Задень — тотчас и права свои равные вспомнит, и за словом в карман не полезет, и ничего ему не докажешь — уйдешь оплеванный...

Алябьева встретил неожиданно в переулке, у выхода к трамвайной линии. Было сумрачно, однако я сразу узнал его. Круто, по-мужски привалясь плечом к столбу, он стоял и курил.

— Алябьев? — окликнул я.

— А? Ой! Здрасте.

— Ты что же это? А? С ума сошел? В последней четверти...— с места в карьер взял я.

Алябьев молчал, потом кинул сигарету и придавил носком ботинка.

— Да. Бросил... Устаю, знаете... А потом — посчитал: ни к чему. Подручным-то я и так перебьюсь. В сталевары не собираюсь...

— Расписаться умею — и ладно? Дважды два — четыре. Алябьев! Нет, ты все-таки с ума сошел. Подумай — еще год и среднее образование. Аттестат зрелости. Подумай!

— А там опять — учись, учись... Насядут в комитете. Слушайте, Владимир Иваныч, а может, я просто не хочу? Все равно — всего не узнаешь. Все инженерами станут — кто будет шихту подгребать? На хлеб-то я себе всегда заработаю...

Алябьев усмехнулся.

— И все-таки не понимаю, скрываешь ты что-то.

Вздох, молчание.

— Что же мне? К начальнику цеха? Жаловаться, значит?

Опять вздох.

— Приду. Ладно. А вообще-то, если честно, не хочется. Устал. Уехать я надумал.

— Куда? Зачем? Куда?

— А так. Поеду и все... Союз большой. Заводы везде... Может, на Украину, может, в Сибирь подамся...

«Что-то тут не так, не так что-то. Не могу найти ключ»,— думал я и переменил тему.

— Слыхал, что ты от музыки спасаешься, уходишь из общежития?

Он вымученно улыбнулся, поглядел.

— Может, не поверите? Я ее терпеть не могу, ненавижу. Она мне как нож какой. После цеха, после гула тишины хочется, лечь, полежать просто в тишине, уснуть немного, а придешь — сами, наверное, видели. Там — гудят, там — галдят. Включают на всю катушку. Попробуй сказать — орут. Комендантша отмахивается. Ей что — она тут не живет. Вот я и привык субботу, воскресенье, когда выходные совпадают, уходить... А смешно ведь,— добавил он.— Вот мой предок, родственник — композитором был. Алябьев! Слыхали? Романс «Соловей».

— Да неужели?

— Ага... А почему я музыку ненавижу? Потому что от нее деваться некуда, хоть в лес беги, да только и туда теперь транзистор тащат. Я, знаете, по транзистору, по магнитофону человека теперь определяю. Да. Как идет с этой включенной бандурой по улице — не иначе дурак, дерьмо, жестокий человек. Ему лишь бы свою душу тешить — на других наплевать. Уеду я,— закончил он и, поглядев на меня, добавил: — А в школу приду. Не беспокойтесь. Раз обещал...

И он действительно пришел. Но на уроках сидел гостем. Не сегодня-завтра исчезнет и уже навсегда. Во всем облике Алябьева было по-прежнему непонятное мне полное безразличие пополам с глубокой озабоченностью и словно бы грустью. В перемены он даже курить забывал, и, заглянув в класс, я видел его одиноко сидящим за партой или стоящим у окна.

«Что-то с ним стряслось или болеет»,— думал я, но вступать во вторичную беседу не решался. Когда человек не отвечает искренностью, это выглядит как допрос. Я пытался успокоить себя разными соображениями такого рода, что, во-первых, Алябьев пришел, во-вторых, я, может быть, просто все преувеличиваю, но все-таки судьба Алябьева тревожила меня еще и косвенным отношением к собственной личности. Видимо, не нашел я пути к своим подопечным, к своим ученикам, раз они чураются меня, не доверяют, стесняются. Значит... Мало ли что «значит»! В конце концов я не должен быть посвящен-

ным во все тайны каждого, мало ли таких личных тайн, которые и не открываются никому именно из-за того, что они личные. А мы уж очень любим влезать в чужие тайны, топтаться в них... Так убеждал я себя, все-таки ощущая некую тревогу, наверное, подобную тревоге курицы-наседки, у которой бойкий здоровый цыпленок убежал куда-то за чужие изгороди, и вот она слышит его голос и ничем не может помочь, кроме кудахтанья.

«Попробую узнать от других,— решил я как-то вдруг.— Ведь если справедлива восточная мудрость, что личные тайны узнают на базаре, то класс должен знать о беде Алябьева, а раз знает класс — знает и староста».

— Чуркина! Останьтесь после уроков! — приказал я, встретив ее на перемене. Ничего не стал объяснять, хотя понял, что Чуркина удивилась — черная бровь вопросительно вверх, губы поджаты. Она удивительно умеет разговаривать бровями и губами, так что все сразу понятно.

Когда я пришел в опустевший класс, Чуркина сидела на своем месте по-обычному хмурая и неприступная.

— Садись ближе! — пригласил я ее. Тяжело ступая, она подошла и попыталась втиснуться в невысокую переднюю парту, но парта тоненько запищала и не впустила ее. Тогда, темнея от румянца, Чуркина села на парту, досадливо потянув ползущую вверх юбку на свои сверкающие капроновым переливом круглотолстые колени.

— Как ты думаешь, почему Алябьев бросил учиться? — в упор спросил я.

Тоня повела плечом, а уголок ее ярких губ поджался, образовав на щеке знакомую розовую вороночку.

«Не знаю. Откуда мне знать»,— таково было содержание этого жеста.

Тоня не смотрела на меня, но по тому, как долго алели ее щеки, я понимал, что Тоня знает и знает, должно быть, больше, больнее и заинтересованнее, чем кто-либо другой в классе. Слишком часто ловил я в последнее время ее осторожный, такой осторожный, что невнимательному и не заметить никак, взгляд в сторону парты Алябьева. И здесь уж хочется сказать, что если ты учитель, и в особенности классный руководитель,— никак нельзя тебе пренебрегать самыми, казалось бы, крохотными движениями душ твоих подопечных. А это понять не легко, как не легко разобраться в том, кому симпатизирует гордая Ида Чернец, куда посматривает равно-

душный Кондратьев, что прячется за мышиной скромностью Раи Сафиной, кому отдает предпочтение ласковая со всеми Лида Горохова, что на уме у синеглазой стрекозы Задориной или что таится за младенческим профилем Гали Бочкиной, а уж про моих продавщиц не говорю: загадка на загадке. Особенно эта черная газель Света Осокина. Вот опять уже неделю пропустила. Другие — те проще.

— Ну, что же? Посоветоваться с тобой хотел...

— Почему это со мной! — Чуркина уже обидчиво зыркнула острым глазом. «Так и есть! Все правильно»,— подумал я, а для вида вскипятился:

— Да ты же староста! С кем я должен еще советоваться?!

Мой возмущенный ответ несколько успокоил Чуркину, и, опять потянув юбку на колени, она вздохнула.

— Ты же должна знать, что делается в классе! Вот Осокиной уже давно нет...

Теперь опять губы поджались в уголок и правая бровь спряталась под густую блестящую челку.

«Все сам знает, а спрашивает»,— было содержание этого жеста.

— Да что ты в молчанку играешь? Ведь знаешь все. Знаешь? — в самом деле рассердился я.

— Конечно, знаю! — Обе брови вскинулись, голова поднята, глаза искрятся.— Осокина под суд попала! Наверное, посадят ее! А Лешка переживает. Вот и все...

— Что?! Что ты сказала? Под суд? (Ай да классный руководитель. Вот она, восточная мудрость!)

Ошеломленный, я настолько вопросительно уставился на Чуркину, что она пояснила:

— Ну, вот... Ну, растрата у них. Во всем отделе... И большая. Девчонки говорили: «Не покрыть». Обвес обнаружился. Обсчет. Пересортица. Светка, может, не самая главная, а отвечать всем. И ясно, что воровали. У них заведующая, знаете, какая? Такая: фу-фу! Вся в кольцах, соболях... А откуда? Да? И ясно все... Нет, вот по-честному не много соболей накупишь. Даже на рынке. А где взять лишнюю сотню? Ее заработать надо! А Осокина? Сапоги, видали, на ней какие? До... Ну, в общем, японские... А кофточки мохеровые? А туфли? А платья? А...— Тоня остановилась. И до чего же она была хороша в гневе, опять поймал себя: любуюсь Чуркиной.— Ну, вот, извините... Это я просто... Просто нена-

вижу воровок. Ненавижу! И правильно ей! Пусть не ворует. Если все будут воровать, что тогда будет?

Чуркина нервно, сердито ушла.

Я же еще задержался в классе, сидел и тупо смотрел в окно. Медленно тлел, охлаждался под тучами ясный и матовый апрельский закат. Темнело, и звезды проглядывали, белели кое-где мелко и смутно.

Опять я получил неожиданную порцию холода. Ведь уже мнилось: все налаживается, с классом разобрался и самого меня как будто признали. Однако они-то, пожалуй, разобрались во мне скорее — их много, им легче... Оказывается, рано радоваться, опять ты всего лишь разведчик на чужом непонятном берегу, много надо еще, пока углубишься в эту настороженную землю. Как трудно, оказывается, быть руководителем, хотя бы и классным...

Чуркина, например, как будто уже перестала дичиться, вроде бы и доверяет, а я до сих пор не понял Чуркину, наверное, и сегодня полез в душу с сапогами... Вот такие дела... Едва не теряю Алябьева, вчистую проглядел Осокину... Волхвом, что ли, надо быть? Вот Яков Никифорович, Бармалей, шутя предсказал твое будущее... Шутя? Так ли... А скорее, думал и наблюдал он за Володей Рукавицыным. Через пятнадцать лет фамилию вспомнил! А теперь Володя Рукавицын? Много ли думает он над судьбами своих учеников? Едва-едва начал познавать,— возомнил, знает все... Но может быть, и не стоит ломать голову? Очень нужны твои раздумья Осокиным, Алябьевым... Кончат школу, получат аттестаты, и никто тебя не вспомнит, а даже если и вспомнит, что тебе — теплее будет от этого?

На первом курсе, в институте, была у нас пассивная практика. Ходили в школу, сидели на уроках. И злословили, конечно, хихикали. Хотя бы мы с товарищем. Попали к седой, древней —ну, как не все девяносто! — учительнице-бабусе. После уроков она повела нас к себе домой, в одинокой комнате с темными комодами угощала чаем, вареньем. И пока мы смущенно сопели, она, ласково глядя, хвастала какими-то письмами от учеников, альбомами, вырезками. Называла имена: Машенька, Миша, Сережа... Помню, обратно мы шли разные — товарищ хохотал, называл бабусю «божьим одуванчиком», а я хмурился — неужели вся радость в итоге — какие-то письма от Миши-Сережи? Или есть во всей

этой учительской работе некий высший смысл, доступный той бабушке и недоступный мне? Не может быть, чтобы этого смысла не было... Не может быть...

Тогда, после той пассивной практики, едва не бросил институт; все казалось — поступил не туда. Вот ведь и сейчас сижу, голову ломаю.

## Света Осокина

*Не родись красивой...*

*Народная песня*

*ГЛАВА ДЕСЯТАЯ, почти детективная, где читатель знакомится, во-первых, с родителями Светы, во-вторых, с заведующей магазином, а в-третьих, с решением суда.*

Мать Светы Осокиной тоже была продавщицей. Впрочем, почему «была»? Ведь она молодая — всего тридцать восемь, наверное, и сейчас она торгует в том же магазине, переделанном из раскулаченной избы в сельмаг, где на крашеных прилавках и в меченных мухами витринах рядом с фруктовой карамелью, сизым шоколадом, высохшими в ископаемый камень конфетами «Радий» росным светом сияют бутылки с водкой, чернеет обожаемое пьяницами «красненькое» и стоят пирамидами столь же вечные банки рассольника «з буряками» — кто его покупает и ест, непонятно.

А еще располагались на прилавках рядом с постным маслом, корейкой и сахаром голубые и желтые предметы женского туалета, мужские подштанники, цинковые корыта, ведра, топоры, кастрюли, майки слишком больших или слишком малых размеров, кофты шерстяные цвета дорожной грязи, залежавшиеся, может быть, еще с конца войны, пластмассовые игрушки самого унылого вида, куклы с одинаково вытаращенными лазурными глазами, чугуны и топорища.

Не подумайте, что не бывало в этом сельмаге, особенно с тех пор, как село преобразовалось в рабочий поселок, товара ходового и нужного,— был он. Однако потому и называется он ходовый, что тотчас уходит с прилавка или сразу оказывается под ним и оттуда уже распределяется по кругу бесчисленных знакомых, родни, людей нужных и сильных, спросы-запросы которых мать Светы знала с завидной точностью. Нужен ли был дочке

директора метизного завода модный кримплен — он находился, жена председателя поссовета пожелала туфли на платформе — явились туфли, девчонкам из райфо оставлен яркий венгерский шелк, начальнику транспорта того же завода — дорогое зимнее пальто с вязаным воротником. Не было в округе человека хоть сколь-нибудь заметного, кто не ощущал бы благодеяний бойкой продавщицы, и знал ее каждый, как знал и способы торговли, признаваемые, впрочем, без особого ропота — судить судили, осуждать осуждали, дальше дело не шло.

И так же, как дочь Света, мать была хороша собой, по сельским нормам — красавица. Только уж не походила на газель и Наталью Гончарову, а была во всем попроще, крепче телом, приземистей, и так же ярко, добротно, соблазнительно для мужичьего жадного глаза, любящего все упругое и основательное, сидела на ней модная городская одежда. За одеждой и модой мать следила всегда, опережая местных модниц, хотела быть молодой и была, вызывая завистливые взгляды бывших подруг и сверстниц, баб, давно уже потерявших всякие намеки на молодость. «И не старится ведь, холера»,— судили-рядили, глядя, как Осокина-старшая идет по улице. Юбка с блестящими пуговицами передает всякое движение бедер, сапоги югославские тоже, как влиты в толстые ноги, кофточка яркая, ворсистая, как брюшко шмеля, пальто шелковое и, хотя расстегнуто, мягко обозначает богатства фигуры, шаль пуховая, самая лучшая, и лицо в ней кажется нежней и моложе — девушка да и только: двадцать пять дать можно. А однажды перед каким-то праздником прошлась она по улице в удивительном костюме: в широких цветных штанах, в накидке с кистями. Как один, оборачивались встречные; бабы, осмеяв и осудив всяко цветные штаны, долго еще рядили потом, зачем Маруся испортила такую добрую шаль, вырезав дыру посередине.

И мужа второго (с первым, пьяницей и гулякой, разошлась, когда Светке было всего два года) Мария Андреевна нашла по себе, обстоятельного, деловитого человека постарше, из тех людей, про которых говорят «все в дом» и которые, кажется, всему знают настоящую цену. Таких людей никогда не возьмешь на дурачка, не обманешь, не обведешь вокруг пальца, они, наверное, и родятся специально для того, чтобы крепче утверждался на земле род людской. Работал муж на ближнем к

поселку метизном заводе, в транспортном цехе, очень любил свой дом и свою красивую жену, ревновал, следил за каждым шагом, бывало, встречал неожиданно — убедиться, не провожает ли кто, не ждет ли на углу у крашенного охрой магазинного крылечка. И, гордый ее завидной красотой, счастливый ею, не жалел денег на женины наряды, хотя во всем остальном был не то чтобы скуп, но рассудительно рачителен.

Дом у Осокиных, перестроенный и улаженный новым мужем, слыл лучшим в поселке. С каменным низом, с четырьмя окнами городского типа. Все основательно, под серебристым оцинкованным железом: и ворота, и службы, и кирпичный гараж, где стояла с недавних пор гордость хозяина, голубая новейшая «Лада»,— все было прочно, к делу, что ни хватись. Взять ли дюралевые желоба — вели в луженый бак-цистерну без малого на полтысячи ведер (бак достался по случаю, списали ребята из железнодорожного цеха); взять ли медные узорные скобы ворот (сделали и вынесли ребята из механического); и еще один бак, бассейн для уток (сварили ребята из котельного); взять ли алюминиевые откосы над фундаментом (они не ржавеют), выложенные огнеупором дорожки (не размокают) — все мог достать, добиться, «отоварить», «оприходовать» этот неторопливый способный человек, всегда добротно, пусть не очень модно одетый. Летом костюм, кепка, плащ или пальто, зимой шапка ондатровая, полушубок — почти дубленка, шелковистый на ощупь, с рыжим пламенем на отвороте. И если б понадобились этому человеку, к примеру, кран-подъемник, грузовик, трактор-тягач, он бы достал и трактор, и кран, сделал, оформил — не сам, так «друзья-ребята», такие же ловкие хозяйственные люди. Для них и он «делал» — отпускал, оформлял, придерживал. Впрочем, что тут долго писать, много таких людей сейчас, много...

В веселую минуту, в субботний благой денек, когда по двору стелило пироговый дым, и Маруся, раскрасневшаяся от стряпни и счастья, в чем-то коротеньком, домашнем вылетала на крыльцо, на двор, где хозяйствовал муж, с утра разрешивший себе стаканчик (много не пил) крепчайшего сахарного самогону на смородиновом сиропе, хватал он ее за нежную, покорную ему талию, косясь глазом на окна, оглаживал, тискал под стиранным ситцем упруго-гладкое тело, целовал в губы.

— Живем, Маруська! Эх ты, ягода-малина...
И еще целовал...

Света не была единственной дочерью в семье. Подрастали две девочки сестры-погодки, а отчим все жалел — нет сына. Иногда шутя грозил жене, заказывал со смешком. И хотя никогда отчим не старался обнаружить, что своих дочерей любит больше, чуткая к слову, ко всякой интонации и к ласке, падчерица понимала: их любит, ее — только терпит из-за матери, делает вид, что заботится, но уж лучше бы не было такой заботы, когда каждому платью, кофточке, туфлям, подаренным на день рожденья и к праздникам, называлась их цена, словно бы для того, чтоб падчерица запоминала, складывала в уме — сколько на нее истрачено. Она росла очень быстро, торопилась взрослеть, а может быть, просто действовала акселерация, о которой теперь так много пишут. Чуть не с пятого класса не давали ей проходу поселковые парни, худшие представители того племени стиляг, которое, формируясь за рубежами и в больших городах, на поселковой земле приобретает самые уродливые формы. А к восьмому Света уже прекрасно умела владеть и властвовать своей красотой. В восьмом, выпускном, молодой учитель математики и столь же молодой классный руководитель прямо-таки ни за что выставляли ей четверки — она знала, что на нее смотрят, и знала, как посмотреть в ответ, если нужно.

Закончив восьмилетку, не раздумывая, уехала в город, без труда поступила в торговое училище и уже через год бойко торговала за прилавком кондитерского отдела гастронома. Работа была тяжелая, с вечными очередями нетерпеливых покупателей, все время на ногах, в беготне и поклонах конфетным ящикам. Но чем-то все-таки нравилась ей эта работа, особенно после того, как она попробовала сидеть за кассой, заменяя ушедшую в декретный отпуск толстуху-кассиршу. Да, работа за кассой — там все время приходилось считать (и считать точно) чужие деньги — была не для нее. Она с радостью вернулась в отдел, приятный хотя бы тем, что здесь на тебя все время смотрят, подходят, стараются заговорить, ждут твой ответный взгляд и улыбку, приглашают в кино, назначают свидания, суют записки и приличные парни, искатели смазливых личиков, и солдаты с робкими глазами, и стиляги с кудрями ниже плеч, и веселые

девочки — «для компании». Даже солидные мужчины, не стесняющиеся при этом своего обручального кольца, даже старички-пенсионеры с ласковыми лицами ласковенько расспрашивали про житье-бытье, угощали конфетками, которых она терпеть не могла, приносили цветочки.

Понемногу менялся ее характер. В детские дни неуступчиво-упрямый и своенравный, он лишь сильнее окреп в этой своенравности, стал надменно жестким, неуживчивым. Она уже научилась смотреть невидящим взглядом, пропускать мимо вопросы, привыкла, что на любую ее грубость мужчины снисходят, улыбаются ей и пытаются отшутиться, и не замечала, как нечто весьма сходное с презрением, с надменной спесивостью все чаще застывало на ее красивом лице, отвердевало, превращалось потихоньку в постоянную маску. Еще в училище пришло умение густо чернить веки, разрисовывать синими и голубыми тенями, в клюквинку сжимать губы, говорить быстро и как бы пренебрежительно-неразборчиво: «Вот еще! Нормально. Что смеяться-то! В поряде!» Не замечала, как язык грубел, все чаще обращался к этим словечкам, заменяющим живое и спокойное слово. И в то же время по-прежнему оставалась она тайно страдающей, никого и никак не могла она найти из тех, кого ждала и кому хотела бы излить свою душу. Может быть, ее нынешний облик накрашенной вертихвостки как раз и отталкивал, отпугивал их, а ей с лихвой доставалось откровенных взглядов, дурацких словечек болтающихся у прилавков пижонов и магазинных парней-грузчиков с руками, не знающими приличий.

С детских лет Света усвоила одно: ДЕНЬГИ — ВСЕ! О деньгах постоянно говорил отчим, деньги любила мать. Даже девочки-сестры очень хорошо относились к деньгам — у каждой была своя глиняная кошка-копилка из Кунгура, у одной белая, у другой с пятнами. Деньги в семье ценили превыше всего, и Света помнила, держала в памяти, с какими довольными, чтобы не сказать счастливыми, лицами с блеском в глазах мать и отчим пересчитывали отпускные и премиальные,— он приносил их все до копеечки, торжественно передавал жене... Вручал. ДЕНЬГИ... У Светы не было кунгурской копилки, но в этом слове для нее жил запах шелковистых мехов, граненых кристаллов с импортными духами, огни колец и браслетов в витрине ювелирного магазина — она так любила этот магазин, постоянно забега-

ла, примеряла тяжелые подвески, перстни, серьги, торчала у витрин, и на нее, как и на всех толпящихся тут девушек, девочек, женщин, дышало, светило, манило к себе тягучее, сияющее золото. ЗОЛОТО... В этом слове был напевный гром музыки, голубой чад ресторанов, куда изредка приглашали не слишком денежные поклонники. Она не заметила, как стала жадной, до того жадной, что не захотела дать соседке по парте свою ручку — вот еще, тратится стержень! А он стоит деньги. И все время искала способы найти, раздобыть, заработать, сэкономить на чем-нибудь: на столовых, на ужинах, завтраках — благо пряники и печенье под рукой, а обвесить, возместить убыток — пара пустяков, надо только знать в лицо, кого — можно, кого — не стоит. Лучше всего обвешивать тех же парней, девчонок-школьниц, деревенских женщин, опаснее пенсионеров, мужчин среднего возраста и еще опаснее городских старух. Все-таки денег не хватало. Тогда она стала занимать их, чтобы купить новое платье, сапоги, меховые шапочки. Чаще других деньги давала заведующая магазином. Давала щедро, без напоминаний об отдаче, и постепенно, словно не понимая, как это так получилось, Света оказалась в таком большом долгу, что старалась о нем не думать. Как-нибудь... Ну, потом... Рассчитаюсь... Света из тех, кто легко забывает.

Заведующая была с ней ласкова, вообще выделяла из остальных продавщиц, и девочки молча ей завидовали, потому что со всеми прочими Галина Петровна была строга, холодна до грубости — ее боялись, и многие, не вытерпев придирок, уходили. И покупатели жаловались на Свету за грубость, но заведующая как могла выгораживала ее, однажды прямо-таки спасла: в контрольном завесе оказалось на сорок граммов меньше дорогих конфет, а ведь точно за такие же провинности, за грубость не одну продавщицу заведующая переводила в уборщицы, увольняла совсем. Все шло хорошо до тех осенних дней, когда в магазин стали поступать арбузы, дыни, виноград и яблоки...

Заведующая вызвала Свету.

— Ну-у, Галина Петровна, зачем же меня! Всегда меня...— отнекивалась Света, стоя у двери и уже все понимая, а заведующая неподвижно смотрела на нее и кривила губы, причмокивая, точно что-то попало ей в зуб. Потом стала смотреть в окно — ребята-грузчики

кидали тару в кузов грузовика. Она думала. И соображала, хлопала ресницами Света.

— Вот что, милая,— сказала наконец заведующая, дрожа вском.— Мне нужны деньги... И надо бы поскорее... Ты поняла? Помнишь, сколько ты должна? Ты должна...

— Галина Петровна...— Света подумала, что ошиблась.— У меня... У меня...

— У тебя нет денег...

Света жалко кивнула. Она бы расплакалась, но что-то удерживало ее, она словно бы что-то ждала.

— Так что же?

Света молчала.

Заведующая вздохнула и снова поглядела в окно. Грузовик тронулся.

— Слушай,— сказала заведующая тихо, но так властно, что в груди Светы что-то дернулось.— Я знаю, как ты обвешиваешь... Уносишь домой конфеты... У тебя под прилавком в левом углу спрятано два килограмма «Ермаковых лебедей» и килограмм трюфелей... Я все знаю... Знаю и кое-что еще...

«Что? Что? Что? — покрываясь ознобом, думала Света и чувствовала на шее, на лбу и на спине крапивные прикосновения.— Что она еще знает?? Что? Ведь больше ничего...»

— Ты слушаешь? Иди сюда и сядь! — заведующая грузно поднялась, прошла к двери, открыла ее, выглянула в коридорчик и снова тщательно закрыла, вернулась на свое место у окна, где стояла, держась за спинку стула, побелевшая Света.

— Садись! — повторила заведующая и, когда Света села, сказала, прищуривая дергающийся некстати крашеный глаз, постукивая ногтями в ярком лаке: — Будем откровенны... Понимаешь, я попала в беду и мне срочно нужны деньги... Пока я была на работе, меня обокрали. Я никому об этом не говорю... Что толку? Будут жалеть, охать, точить языки или еще начнут собирать какие-то крохи... Не нужно, не хочу... Понимаешь, муж был на курорте, дети в школе... Теперь хоть плачь, хоть что... Ни денег, ни вещей... Надо еще платить долги за машину... Ты, конечно, отлично представляешь, что наша зарплата...— заведующая усмехнулась.— А тут, понимаешь, семья... Больной муж... Дети взрослеют... Ты должна мне помочь. Только помочь... Понимаешь? Ты согласна?

Света дважды кивнула. Она была готова на большее.

— Но помни: об этом разговоре не должен знать никто. И если ты... Ты знаешь, что я не только уволю тебя по статье... за... Но... Ладно. Ведь ты — умница. Я давно вижу это. Ты — с головой, не то что эти дуры... Вот почему на фруктах, на подотчете будут работать только ты и Римма. Ты знаешь, что у фруктов разные сорта и, кроме того, много гнили, порчи...

Света молчала, розовея.

— Поняла? — жестче спросила заведующая.

— Да.

— Деньги будешь сдавать мне. Остальное зависит от тебя.

Света мотнула головой, дернула губкой. Кажется, к ней возвращалась уверенность.

— А долг... Можешь не возвращать... Пока я обойдусь. Ты молодая, тебе нужны деньги. Ты должна одеваться, следить за собой. Ну, все... Иди принимай товар. И помни: только я могу выручить тебя. Иди... Все будет прекрасно.

Когда дверь за продавщицей закрылась, заведующая еще несколько секунд смотрела на эту дверь. Потом кисло улыбнулась кому-то, может быть себе, недовольной углубленной улыбкой. Потом она встала, прошлась по комнате, вся кривясь и озабоченно причмокивая, села за стол, достала сумочку, золоченый туб с помадой — любила красно-бронзовую — и, приглядевшись в зеркальце, открыв рот, натянула губы так, что лицо ее приняло выражение глотающей рыбы, тронула губы помадой. Склонив голову, посмотрела, поправила отточенным мизинцем и надулась. Видимо, результат наблюдений не обрадовал ее. Лицо стало кислое и потухшее. «Старею»,— горько подумала она, вздохнула и еще подумала, что людям после сорока и ближе к пятидесяти не стоит долго смотреть на себя в зеркало. И все-таки еще смотрела на вялую, прожированную кремами кожу возле глаз, на мелкие, мельчайшие морщинки. Пока они были еще как пленка на кипяченом молоке, если на него слегка подуть. Она смотрела и думала, что эти морщинки станут потом морщинами, и как это ужасно женщине — стареть, словно безнадежно сползать по откосу.

За такими размышлениями застала ее всунувшаяся в дверь другая любимица — рыжекрашеная девчонка

Римма с нахальными глазами и толстым, торчащим как у поросенка, носиком.

— Галина Петровна! Покупатель бузит. В кафетерии... Книгу жалоб просит...

— Что еще там! — заведующая с досадой сунула зеркальце и помаду в сумку, щелкнула застежкой.— Вечно без стука врываешься... Сколько говорить...

И, изобразив на толстом лице предупредительнейшую улыбку, вышла из комнаты...

— Суд удаляется на совещание,— объявил председатель и вышел вместе с членами суда.

За высоким столом сбоку остался только прокурор, лысый человек с больным усталым взглядом. В противоположной стороне, опершись на трибуну, стоял адвокат, бойкий, черноволосый и кудрявый. Несмотря на ни в чем не схожую внешность, выражение лиц прокурора и адвоката было одинаковое. Дело сделано, все ясно, обвиняемые получат по заслугам, законность соблюдена. Обычное торговое дело — таких было и будет... В лицах этих людей, постоянно общающихся с преступниками, однако, сквозило и самое человеческое понимание тех, кто сидел за барьером на длинной широкой скамье: так привычные врачи не испытывают или не показывают своего отвращения к самому запущенному больному.

На скамье за барьером сидели трое: плотная женщина с потухшим лицом, рыжая девушка с носиком-пятачком и Света Осокина. Женщина угрюмо смотрела в одну точку, обе девочки плакали.

Суд совещался недолго.

Я как-то пропустил, не вникая, первую часть приговора и запомнил лишь последнюю:

«Гражданку Осокину Светлану Ивановну, учитывая чистосердечное раскаяние в совершенных преступлениях, к двум годам исправительных работ условно, без права занимать материально ответственные должности в течение пяти лет».

— Условно! Условно! — вслух обрадовался, так что на меня заоборачивались. А я уже двинулся через шум зала, через толкотню и пересуды в коридор к выходу.

Света вышла на улицу вместе с матерью. Она не видела меня, нас, вряд ли видела. Мать что-то быстро говорила ей, тянула куда-то. Дочь, казалось, не слушала

ее, стояла как онемелая, и я видел, что мать сердится. Подходить было неудобно. Я беспомощно огляделся. Неподалеку толпились мои продавщицы, девочки с камвольного, стояли Чуркина, Алябьев, Нечесов. Я махнул им, заметив, что Чуркина хочет что-то сказать.

— Владимир Иваныч! — действительно сказала Чуркина.— Мы тут,— поглядела на девчонок,— мы тут решили...

— Да...— сказал Алябьев.

— Что решили?

— Владимир Иванович, вы передали Осокиной, что она не останется на второй год?.. Что ее переведут?

— Не успел еще.

— Тогда...— Чуркина сурово взглянула на Алябьева.— Тогда надо ей сказать. И... вот девчонки хотят взять ее к себе... Ей ведь нельзя больше работать в магазине. А они — берут.

— Правда, Владимир Иваныч. Мы ее хотим взять... К себе на камвольный... А что? — затараторила Задорина, заглядывая мне в глаза.— Правда... Мы решили... Мы еще вчера... Возьмем, научим. Вот мы с Райкой... Или Идка возьмет ученицей...

— Надо ее уговорить, Владимир Иванович,— краснея, сказал Алябьев. Он был сегодня не похож на себя, растерял где-то свою уверенность и обычное спокойствие. Даже в глаза не мог смотреть.

— Да что вы пристали? Владимир Иваныч. Мы сами. Сами должны...— опять Задорина.

— Лешка! — властно сказала молчавшая Чуркина.— Иди! Догони ее... Скажи — завтра чтоб в школе была.

И Алябьев, взрослый, положительный, невозмутимый Алябьев, все гуще краснея, вдруг кивнул нам и ускоренной походкой, наклонив голову, зашагал к углу, а потом побежал и скрылся.

Мы смотрели. Мы ждали. Алябьев не появлялся.

— Пошли, девочки,— вздохнув, дрогнула бровью Чуркина.— Владимир Иваныч! Можно — проводим? До трамвая?

— Мы, конечно... Конечно, мы проводим,— радостно подтвердила Задорина, уже прицеливаясь, как бы прицепиться ко мне сбоку. И прицепилась. И глаза сияют. Правда, этакие голубые огни! Что с ней поделаешь... Двинулись всей толпой, а справа от меня тяжело ступала насупленная Чуркина. Она так и не обронила больше

ни слова. Мне было видно только розовую щеку да черные опущенные ресницы. Ни слова... А когда я уже сел в трамвай и трамвай, обогнув кольцо, тронулся напрямую, я увидел снова, как Чуркина медленно, одиноко идет по тропинке к своему общежитию и во всем ее облике, в том, как она шла, было что-то большое, усталое и несчастное...

## Педагогические поражения

*Города сдают с о л д а т ы,*
*Г е н е р а л ы их — берут.*

*А. Твардовский*

*ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ, самая маленькая, где ставятся под сомнение незыблемые педагогические истины и ведутся поиски причин, портящих некоторую часть человечества.*

О педагогических поражениях не пишут — пишут об успехах. Только разверни «Учительскую газету» — ее я выписываю под давлением Инессы Львовны и уже привык читать — тут же на первых полосах стопроцентное благополучие. Читаешь — завидуешь: стопроцентная успеваемость в школе, такой-то учитель работает без брака (в смысле — тоже стопроцентник). Да что там школа, учитель. Появились уже целые стопроцентные районы, во всем показательные гороно, ширится — распространяется липецкий метод. В каждом номере газеты шапка: «Подхватим инициативу липецких учителей!», «Липецкий метод каждому!», «Липецкий опыт учит!» И у нас уже есть последователи: физик Борис Борисович, чертежник, новая учительница немецкого языка... Но все-таки успеваемость у нас не стопроцентная, неуклонно приближаемся к девяноста шести. И хватит вроде бы, и это ведь почти полноценное золото, в природе не бывает ничего абсолютного, как нет, скажем, стоградусного спирта. Но все мало нашей дирекции, не угодишь на завучей, строги — взыскующи приказы районо. На всех педсоветах в решениях — «Обязать!», «Усилить», «Предупредить!», «Обратить внимание...» И кажется мне порой: дай эту самую липецкую стопроцентную — все равно будет мало. По инерции скажут: давайте сто двадцать,

сто пятьдесят процентов. Обеспечьте, чтоб все были отличниками... Где ваши успехи?

У меня же были поражения. Не получилось стопроцентного сохранения контингента, а попросту говоря,— бросил школу шофер Ведерников, выбыл из-за сплошной неуспеваемости Орлов. Пардон! Не сплошная неуспеваемость была у Орлова, по физике у Бориса Борисовича — тройка. Двадцать три человека вместо двадцати пяти перешли в последний, одиннадцатый класс.

Но хотя администрация строго отчитала меня за «отсев», за «не принятые своевременно меры», хотя слова в докладе завуча на итоговом педсовете о «возмутительном хладнокровии, с которым классные руководители теряют контингент», относились и ко мне, я, в общем-то, радовался. Что там ни говори, двадцать три из двадцати пяти все-таки немало, а кроме того, я расстался наконец с самыми отчаянными лодырями, из которых один был еще и хулиганом. Нет, не хочется называть их «мои ученики». Чему они у меня научились? Но все-таки они учились, я несу за них долю ответственности. Именно «долю», а не всю ответственность, как это любят говорить, когда ищут козла отпущения. Вот если бы я воспитывал этого Орлова с пеленок — тогда бы мне можно было выносить приговор: «Не доглядел!», «Не справился!».

Если права теория, что человек — продукт воспитания, значит, где-то, на каком-то отрезке жизни он может быть испорчен воспитателями. Был, скажем, примерный мальчик Орлов и за десять лет обучения-воспитания превратился в разнузданного подонка, или — был такой же славный мальчик Ведерников, и опять испортили учителя-воспитатели: научили смотреть на мир с золотозубой улыбкой неисправимого скептика. Смеетесь? Тогда, конечно, виновата не школа, не пионерская организация... Родители? Но редкий родитель учит детеныша злу, редчайший обучает воровству и пьянству. Нет такого, кто не желал бы своему сыну-дочери добра, не старался хоть как-нибудь воспитывать доброе. Среда? Пожалуй. Это посильнее учителя и родительского внушения... Согласимся. Да и родители бывают... Чему доброму мог научить Орлова отец, пьяница и дурак, да-да, тот самый, что ел колбасу перед хохочущими продавщицами? Что можно воспринять от такого папы? Дважды я бывал у Орловых, дважды выслушивал пья-

ный бред, бессмыслицу, настоенную на матюгах и выражениях вроде такого: «Ну, вы вот ученые, а мы — неученые...» Уходил подавленный, расписался в собственном бессилии. Да-с. Расписался... Ведь и Макаренко не всех перевоспитывал. И в судах вам скажут — есть неисправимые. Есть они, чей жизненный путь от первой зуботычины и краденых пятаков до детской комнаты, от детской комнаты до колонии несовершеннолетних, от колонии до особого режима. И ничего не помогает. Кто тут виноват? Среда? Наследственность? Воспитатели? Да не проще ли простого — сам человек, сознательно идущий по пути зла. Почему же не может быть такого? Сам человек! Сам...

Вот у Ведерникова родители оказались распрекрасные. Старушка мать — воплощение тихого добра, отец — заслуженный ветеран, а сын — двадцатилетний циник, ловкач-калымщик, живет один в трехкомнатной отдельной кооперативке и начисто презирает всех, а тебя, учителя, со всеми твоими прописями,— в особенности. По другим меркам ценит он людей, по другим законам живет сам...

— Ведерников!

Поднимается, стоит перед тобой с насмешкой в светлых ленивых глазах.

Все время в глазах эта всезнающая насмешка. Как бы превосходство и высшее понимание, в котором человек накрепко-навсегда уверен. Глядишь в эти глаза, и думается: неужели неведомы вам сомнения, боль, страх, печаль — все человеческое? Неужели неведомы?

Или — везет таким людям с рождения, опекает, не бьет их судьба, и потому так уверены в себе, в своих внутренних уставах? А уставы-то! Все проще некуда. Видали вы таких людей, у которых с языка не сходит: «Оформим», «Достанем», «Что-нибудь сделаем», «Вы мне — я вам», «Я тебе — ты мне»? Вроде бы и в народной мудрости встречается подобное: «Пустую руку и пес не лижет». А что, если этому учат с малых лет? Что, если эту веру прочно исповедуют родители? Да и плоха ли заповедь: «Помогай ближнему и тебе помогут»? Прекрасная заповедь, а как близко от устоев: «Я тебе — ты мне». Призадумаешься тут. Вот бережливость, например. Что это? Это добродетель... Начни человек откладывать рубли, учитывать копеечку — записывать

потянет потихоньку, потом, глядь, и счеты купил, и бухгалтерская книга завелась. Приход. Расход. Смета появилась со статьями. И вот экономит человек на спичках, на трамвайных билетах, спать ложится не зажигая огня, не примет гостя, не одолжит рубля, не бросит куска собаке... Фу, даже мороз по коже, вот куда может завести добродетель.

Все это мелькает мгновенно... Крупные руки Ведерникова уперты в край парты.

— Идите отвечать,— говорю я.

— Отвечать? — он кисло — и опять насмешливо — смотрит.— Я не слыхал вопроса...

Повторяю вопрос.

— Не знаю...— вяло усмехаясь, говорит он и садится.

— Как же прикажете оценить ваш ответ?

— Как хотите.

Завтра Ведерников не появится. Не придет и неделю и другую, если я не побываю в таксомоторном парке, не встречусь с завгаром — истовым на вид ревнителем дисциплины, человеком с хитронастороженным взглядом. Завгар выслушивал меня, глядя в глаза, насуровив морщины, заверял: завтра же Ведерников будет в школе «как штык». И действительно Ведерников появлялся. Набирал новую порцию двоек и спокойно исчезал тоже «как штык», до нового заверения.

Итак, причина «отсева» Орлова — самое обычное, а может, и наследственное разгильдяйство, лень в соединении с дурным примером родителей. Причина Ведерникова была, кажется, посложнее. Я только осязал, нащупывал ее, я смутно догадывался, потому что находил черты Ведерникова у разных людей, иного положения, иной внешности и повадок. Вот, не далее как вчера, понес в мастерскую электробритву. Мастер, когда я входил, не спеша убрал со стола светлую посудину, к ней, судя по налитым влагой глазам, только что приложился. Он хрустел свежим огурцом, от него пахло речным утром, он вопросительно смотрел, и в глазах было нечто ведерниковское. Я подал бритву. Мастер прожевал огурец. Хмыкнул. Быстро выкрутил два винта, дунул, капнул масла, включил бритву в розетку и, когда она загудела, сказал, стремительно закручивая винты:

— Рубль...

«За минуту?» — подумал я, но не возразил, а покорно подал бумажку. Может, и в самом деле — рубль?

Квитанцию этот Ведерников не выдал.

Другой Ведерников, пониже ростом, черноглазый и жилистый, предложил возле мебельного импортный гарнитур:

— Сто колов — и без хлопот...

Третий Ведерников был красиво завитой парень с лицом лорда: обсчитал в ресторане ровно на два рубля и, когда я, еще не сообразив, что меня надули, дал полтину на чай, презрительно-спокойно сунул ее в карман.

Ох уж этот Ведерников! Я встречался с ним в такси и в автобусе. на рынках и в универмагах, на вокзалах и в строительной конторе (понадобилось сколачивать новый пол). Он ходил в спецовке водопроводчика, в униформе швейцара, в халате гардеробщика, он выглядывал из-под ондатровой шапки агента по снабжению, из почтенной внешности...

В общем, понимаете, я не скорбел, что Ведерников «отсеялся». Я почему-то очень ясно понял, что здесь у меня ничего не получится. Как говорят сейчас,— безнадега...

Строгие приказы районо и гороно о сохранении контингента и все нахлобучки, которые получают директора шэрээм, а вслед за ними завучи, а вслед за ними — классные руководители, родили и массу отписок-отговорок, укрываясь за которыми можно выглядеть благополучнее. Так появилась в графе «отсев» причина: «По семейным обстоятельствам». Она показалась мне самой подходящей для объяснения «отсева» Ведерникова.

Номер, однако, не прошел.

— Владимир Иваныч! Да имейте же совесть,— сказал Давыд Осипович.— Какие семейные обстоятельства? Ведь Ведерников не женат. Живет в трехкомнатной, слышите, в трехкомнатной кооперативной квартире. Недавно въехал. Недалеко от меня. Третий этаж. Все удобства. Лоджия на юг. Сам же он хвастался... Как-то вез меня... Да.

— Кажется, он собирается жениться,— краснея, пробормотал я.

— Глу-по-сти. Не знаете причин — так и говорите. А кстати уж, хотите расскажу, что предложил мне этот ваш ученичок? Предложил продать ему аттестат зрелости. Спокойно. С улыбкой.

— Я велел ему остановиться. Я сунул ему рублевку. И я сказал, чтобы он на пушечный выстрел не подходил к моей школе... Дальше! — сердито заключил директор.

Причину отсева Ведерникова я все-таки понял, хотя с опозданием на три года.

Была уже глухая снежная осень, когда я вернулся в наш город. Ночной самолет прибывал самым неудачным рейсом. В три часа. Когда, поеживаясь от холода, от свежего ветра, вспоминая теплую Москву — там еще стояли в едва желтеющей листве тополя, на Тверском в кустах у скамеек бегали зарянки, и женщины не торопились надеть пальто,— я с заглохшими, побаливающими ушами прошел через душное здание аэровокзала, словно через табор спящих беженцев, и вышел на смутно освещенную площадь, где с десяток «Волг» выстраивалось вереницей, а возле оранжево мерцали сигареты водителей.

— До города? — опередил меня щуплый человечек в нахлобученной шляпе, рабски заглядывая в нутро кабины.

— По трешке с носа...— донеслось из-за руля.

Мужчина беспомощно оглянулся на двух сопровождающих женщин с чемоданами и сетками апельсинов.

— Ой, да что же это? Дорого-то как! — провинциально запричитала та, что была постарше.

— Вася! Ладно, Вася. Ладно. Поехали,— сказала молодая.

Вася покорно согласился. Сразу полез за пазуху искать деньги, потом хлопотливо грузил вещи в багажник.

Я топтался. Из принципа не хотел. Тем более что проезд до города стоил никак не больше двух с полтиной на всех. Но была холодная осенняя ночь. Было черное небо. Ни огонька вдали. Хотелось спать, и машина уже фыркала, готовая тронуться. Я сел четвертым. «Волга» рванула с места как норовистый конь, помчалась по мокрому, пасмурно посвечивающему шоссе.

— Таксометр не работает...— вяло пробурчал шофер.

Мои спутники промолчали — ох уж эти таксисты,— а я узнал голос Ведерникова. Вгляделся. Действительно он. То же пресыщенно-разочарованное лицо. Здоровен-

ные руки пахаря на оплетке баранки, даже манера держать сигарету, тоже презрительно, огоньком вниз, в самом углу рта,— сохранилась. Все было, точно мы и не расставались с Ведерниковым.

Сбоку с хлопком проносились редкие встречные машины. Свет играл на немом лице таксиста, и лицо в этой каменной неподвижности временами напоминало не то Будду, не то еще кого-то подобного. За окном мелькали столбы, дорожные знаки, полосатые стрелы воздетых шлагбаумов, раздвигались в темноте поля и вскачь проносились перелески. Бродячая собака не успела перебежать, отлетела и осталась с затихающим криком. Лицо Ведерникова было бесстрастным. А я вдруг горько, до боли в голове, пожалел, что встретил его, что оказался здесь, в этой машине и в этой противной связанности с человеком, который меня вез. Лучше бы ждать утра на аэровокзале, лучше бы идти пешком...

Мы доехали благополучно. А поскольку у попутчиков был багаж, рассчитывались, стоя у машины. Ведерников не узнал меня. Умеют такие люди не узнавать. Молча взял два рубля и две полтины. А когда небрежно, пытаясь все-таки скрыть некое смущение (может быть, я и ошибаюсь), он стал совать деньги в карман, один полтинник вывернулся, радостно-бойко цвенькнул об асфальт, помчался прочь — и тотчас, следом за ним, как великан за лилипутом, побежал этот человек, два-три раза нагибаясь, ловя непослушную монету. Вот он все-таки догнал, придавил ее, поднял, отер о полу куртки, сунул в карман. Не глядя, вернулся к машине, сел, захлопнув дверку, такси умчалось.

«Не знаете причин! — возник в ушах голос директора.— Не знаете причин...»

# Личная жизнь

*Счастлив не тот, кто таким кому-либо кажется, а тот, кто таким себя чувствует.*

*Публий Сир*

*ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ, в которой приоткрываются тайны личной жизни Владимира Ивановича, пропет гимн городу, вспоминаются некоторые любимые ученики, происходят не слишком радостные встречи и делаются попытки обосновать их закономерность.*

Пришло лето, отпуск, о котором все-таки мечтает любой нормальный учитель и классный руководитель. Сорок восемь нерабочих дней! «О-о!» — говорят всегда те, кто не работал в школе. Итак, сорок восемь! Плюс воскресенья... Это так много, особенно когда дни еще в перспективе, все впереди, едва начались. На время я совсем отключился от школы, жил совсем другой, так называемой личной жизнью. Противное, в общем, словцо, слишком собственное и собственническое, отделенное от всех, пахнет от него крепкой дверью с английскими замками, которую ревнивый муж, оглядываясь на соседа, захлопнул за своей красавицей женой. Если же разобраться спокойно, личная жизнь — дело неплохое, особенно когда ты один, никто тебя не контролирует по часам и не дает советов — как надо поступить. Ощущение хотя бы временной, но абсолютной свободы, приносит аромат счастья. Индивидуалистического? Какое длинное слово! Эгоистического? Какое ужасное слово! А может быть, — эгоцентрического?

Я никуда не поехал. Мог бы к родителям в Хабаровск, то есть к отцу и к мачехе... Но, во-первых, у меня не было офицерского литера, как в прошлом году, и поездка на Дальний Восток съела бы все мои отпускные. Во-вторых, и в прошлом году я там не прожил долго. Отец все казался мне чем-то скованным, смущенным, мачеха — чересчур приветливой, сводные братья были слишком малы, чтобы с ними полноценно общаться. А в-третьих, я обнаружил, что пришла пора заняться капитальным ремонтом нового жилья. Сначала пришлось ободрать-оскоблить пол, он был выкрашен чем-то

вроде липкой резины, которая не сохла вот уже год и отлипала вместе с отпечатками каблуков; закрасил пол, исправил перекошенную дверную коробку в кухне, переколотил плинтусы, покрыл заново хорошей эмалью рамы и, наконец, сменил обои, которые на первых порах все время напоминали мне линялый бабушкин сарафан. Да много еще обнаружилось такого, что надо было отладить, заменить, зашпаклевать, подтянуть, приколотить, выбелить, привести в порядок. Если учесть, что летом любые самые малонужные материалы куда-то пропадают, я убил уйму времени на поездки по магазинам, рынкам, конторам, пока все купил, раздобыл и сделал. Прошло ровно пол-отпуска, когда я приступил именно к отдыху. Я наслаждался теперь завершенностью своего быта, игрушечным видом пахнущей краской квартиры.

Теперь я вставал позднее обычного. Нет, зарядки не делал, под душ не становился. Никогда мне этого не хотелось. Я долго сидел на кровати, долго протирал глаза, зевал, потягивался, иногда опять валился под одеяло (люблю и летом спать под теплым одеялом), лежал, ощущая блаженно, как уходят остатки сна. А потом уже более осмысленно смотрел в окно. Очень люблю глядеть на небо. Оно здесь так близко. В белой голубизне скользят стрижи. Идет за окном прекрасная жизнь — жизнь неба, ветра, облаков и стрижей, а из открытой рамы тянет свежестью, тополями, летом и свободой.

Босиком, осязая гладкую прохладу пола, я иду на кухню, ставлю чайник на газ, умываюсь, причесываюсь. Собираю на стол кой-какую снедь. Хлеб у меня часто оказывается позавчерашний. В жару он сохнет в камень, скрипит на зубах, как пиратские сухари. Иногда обнаруживаю на хлебе плесень, но ведь ее можно соскоблить, а кроме того, она, говорят, не опасна, даже полезна. Что такое пенициллин? Да тоже плесень, а какая целебная...

Окончен завтрак. Вымыта посуда. Впереди непочатый день. Всего одна тучка, и та спешит убраться. От нее веет радостным громом, теплым коротким дождем. Опять, наверное, будет жара. Одеваюсь полегче — в жару в квартире вообще можно жить без одежды,— прикидываю, куда пойду, что буду делать, где лучше пообедать, чем развлечься вечером. О прекрасная л и ч-

ная жизнь! Выходило — в такую жару-благодать лучше всего податься на водную станцию, поехать в лес на электричке или приняться за чтение дома, пока зной не раскалит бетонное жилье, и тогда поневоле уж уйдешь на улицу, в сквер. Чаще всего я принимаю первый вариант — еду на пляж, реже — в лес на электричке, в пригородный лес, где, кроме сосновых шишек и редких сухих цветочков, все вытоптано, исхожено, и приходит мысль о дальних нетронутых местах — есть ли они теперь? Вариант третий — чтение — все откладываю, даже бармалеевского Дантека не дочитал. Зато исправно покупаю книги, складываю вдоль стен, оправдывая, таким образом, ту самую пословицу о глупцах и мудрецах. Отлично понимаю, что даже все имеющиеся мне не прочесть, не осилить и — продолжаю громоздить книжные Гималаи в скудной надежде когда-нибудь, в скором времени, все разобрать, расставить на новые полки и все перечитать по порядку, все, с записями в тетрадях! Господи, какой бы я умный тогда сделался...

Но первые варианты безделья почему-то побеждали. Не потому ли уж, что я все время хотел найти, встретить ту девочку в розовой шапочке, мелькнувшей мне на трамвайной остановке? Девочку с птичкой-шрамиком на правой бровке. Я так и не вспомнил, где видел ее раньше, знал только, что *видел*, и все думал о ней, представляя, где она сейчас. Может быть, сдает последний экзамен, томится перед какой-нибудь казенной дверью в кучке таких же уныло возбужденных или ждущих своей судьбы, или, зажав голову, сидит в библиотеке, или загорает на крыше, сонно глядя в учебник... А вдруг она думает обо мне точно так же, как думаю я? Однажды мне вдруг пришло, что девочку я видел у Якова Никифоровича — его дочь! И я в тот же день собрался к Бармалею, понес недочитанного философа, а вернулся задумчивый и озадаченный. На месте Бармалеева дома были ямы, грохотал экскаватор, ходили рабочие, подъезжали, взвывая, тяжелые МАЗы, и лишь едва напоминали о тихом житии несколько оставшихся изломанных рябин, до половины засыпанных конусами свежей глины. Случилось то, чего больше всего не хотел и боялся Яков Никифорович, Бармалей,— улицу сносили. Где теперь были ее жильцы, никто не мог мне сказать.

Не понимаю я, отчего человечество стремится к скученности. Зачем сносятся-уничтожаются целые районы вполне пригодных для жилья домов, а в тех, что не сносят, создают обстановку грядущей неизбежности. Ну хоть бы мазанки какие-нибудь сталкивали, какой-нибудь там «Шанхай», «Нахаловку», а здесь сносили Пионерский поселок, рожденный в тридцатых — пятидесятых годах. Исчезали улицы, заботливо обсаженные рябинами и кленами, исчезали уютные особнячки. Заменялись серым казенным многоэтажьем. Что же это? Забота о человеке, забота о государстве? Не всякому рай в благоустроенном общежитии, не каждый может спать, не просыпаясь от скрипа соседских кроватей. «Хорошо то, что выгодно мне»,— говорит эгоистическая истина. «Хорошо то, что выгодно государству» — тоже односторонняя истина. «Хорошо то, что выгодно и мне и государству»,— пожалуй, это будет абсолютная истина. Вот здесь и стоит задуматься, для кого и зачем строим. Если бы строили на пустом месте, не пришлось бы ничего сносить. Кому выгодно? Мне и государству. Если бы строили в три-четыре раза выше, не понадобились бы огромные жилые районы... Мне и государству...

Я переживал за Бармалея, за неотданного Ле Дантека, за то, что не узнал ничего о своем предположении. Но лето было отличное, погода тоже, и вот — я уходил от книг, упрекая себя в лени, безволии, невежестве, уходил от книг с ощущением большой и тяжелой вины перед ними.

Ах, какие золотые, медовые, солнечные стояли дни! Город с утра тихо радовался солнцу, млел, голубел в привольной летней дымке. Счастьем и свежестью ушедшей ночи светились прохладные крыши, счастьем переливались, нежились листики тополей, и то же умытое счастье было в светлых бликах окон, в улыбках девушек, постукиванье каблучков, в спокойной глубине женских глаз. Я любил город в такие дни, как люблю, впрочем, и в дни с дождями, и в дни сухого бабьего лета, и темной осенью, и в зимние теплые вечера, когда снег летит радостно-грустно, и все на глазах укрывается им, а в свете огней и выше их, высоко над улицами в фиолетовом сером небе что-то творится, угадывается, смещается неподвластное и волнующее своей живой неотгаданной тайной. Ночью в городе редко смотрят в небо.

Люблю город... Люблю загадки башен в вечернем небе, забытую музыку колоколен, вечный зов-ожидание отверстых окон и ход облаков, всегда прекрасных в своих неожиданных красках и очертаниях в закатах и рассветах. Они похожи на мысли, на думы то тягостные, то радостные, похожи на надежды и сомнения, на радость и на печаль. Будь я художником — писал бы одни облака, рассветы, закаты и набережные. Как хорошо чувствовали это Монэ и Сислей, а из русских всегда неожиданный Коровин. Солнце село. Заря стихает. И по умолкшей воде невнятные зыбкие тени. Тьма одевает дальние берега. Дует предночной ветер. Приносит откуда-то печальный крик тепловоза, как зов ехать, бежать, идти — торопиться жить, искать ненайденное и потерянное и в спелой грусти принимать слово жизнь во всей бесконечной его длине, неостановимой скоротечности. О, город... За долгим закатом короткая ночь, и новый рассвет, и новая сказка для кого-то...

Все-все приходит на ум и ясно и смутно, когда идешь его улицами без всякой определенной цели и сознание неопределенности и свободы лишь слегка отягощено желанием встречи... Многие думают: учитель — значит необычный человек... И, значит, не занимает его летняя городская улица с лотками бледных зеленых яблок, гребнями недозрелых бананов и серебряными палочками мороженого на ящиках лоточниц... Думаете, не трогают его взгляды текущей мимо красоты, всех этих экзотичных богинь, очаровательных простушек и девочек, совсем еще непонятных в своей худой, угластой, загорело-нежной красоте. Не ты идешь улицей, улица идет через тебя — так сказал поэт. Хорошо сказал...

Но учитель тем, может быть, и отличается от обычных людей, что в конце концов личная жизнь начинает его тяготить, и, чем ближе ощущается дыхание осени, тем чаще вспоминаются лица учеников, учителей и даже лица администрации. Вот так и у меня в конце концов потерялся вкус к пляжам, к солнцу, лесу. Где-то на дальних горизонтах памяти стали возникать здание школы и мысли: каковы-то теперь мои одиннадцатиклассники, что делают Чуркина, Алябьев, Столяров, Осокина, уходила ли в отпуск Горохова, как отдохнули девчонки с камвольного,— эти мысли стали являться все чаще. Я часто думал о Лиде Гороховой и

не только потому, что ей никак не хотели дать отпуск летом. Помню, как объяснялся с главврачом, как получил обещание дать Лиде отпуск в июне. Оказалось, безответная Лида все-таки осталась работать все лето «по собственному желанию». Так объяснила мне она сама, когда я случайно встретился с ней на пляже в воскресенье. Могу сказать, что встречаться на пляже приятно с кем угодно, только не со своими учениками. Вот почему я и Лида быстро закончили разговор, состоявший главным образом из моих упреков Гороховой, что она глупит, что в отпуск пойти и вообще отдохнуть надо, что впереди не шуточки — одиннадцатый, выпускной. На все доказательства она соглашалась, тихо поддакивала, глядела в сторону и ковыряла песок пальцами правой ноги. Я понял, что нотации ей надоели, и поспешил их закончить. Лида ушла, и я видел не столько ее фигуру в красном выгоревшем купальнике, сколько всех тех, кто на нее оборачивался, таращился, присвистывал, хватал за руки, а она, не останавливаясь, спокойно отводила эти жадные руки и шла, свесив на одну сторону золотой ливень своих светлых волос.

Вообще, для красавицы Лида была, пожалуй, нетипична — как-то чересчур тиха, скромна, слишком уж терпелива. Делала ли ее такой профессия? Вряд ли... Сколько угодно есть медсестер необычайной бойкости, чтобы не сказать больше. Скорее, просто таков был характер, ведь я уже говорил, что Лида принадлежала к редкому виду людей, не знающих корысти ни в чем. Такие люди не обижаются, даже отлично сознавая, что их эксплуатируют, едут на их доброте и безотказности, еще и за спиной хихикают, называют дураками в житейском смысле, но в то же время такие люди часто бывают и на удивление необщительны, закрыты на семь замков, и понять их глубже почти невозможно. Лида Горохова тоже из таких. Ее необщительность всегда отпугивала меня. Вот, скажем, хоть сейчас. Поговорили, поулыбались друг другу. Я, наверное, радостно и смущенно (все из-за своего одеяния) — она просто смущенно. «Да. Да. Хорошо. Понимаю. Понимаю, конечно. Конечно...» И все. Попробуй проникни дальше. А вдруг слушала она меня, а сама думала: «Да что вы ко мне привязались? Да знаю я все, что вы сказали. Да надоели вы мне... Тоже, заботу проявляет. Подумаешь —

классный руководитель!» Мне совсем недоступна ее личная жизнь, и я не вижу способов вторгнуться в нее. Здесь кончаются мои права и полномочия. Она взрослая девушка. Я могу только предполагать, что она — однолюбка. Такие девушки обычно бывают однолюбками, и как часто, как странно любят они какого-нибудь более чем середняка, иногда наглеца, подонка и верно любят, покоряются ему, сносят от него все... Что это за странность такая? Вот ни разу еще не видал я, чтоб у женщины-красавицы и муж был под стать, чтоб девушка-принцесса, хоть бы внешне, шла под руку с таким же принцем. Чаще всего совсем наоборот, совсем не так, удивляться даже можно. И восточная пословица говорит: «Лучшая вишня достается шакалам». Чем берут такие мужья красавиц? Чем? Разве что наглостью?.. А чего это ради вы так расфилософствовались, Владимир Иванович? И о ком? Об ученице?..

Кроме Лиды Гороховой, встретил я еще летом Павла Андреевича. Одетый в мышиный мундир с узкими погончиками, раззолоченную фуражку, вполне сходную с генеральской, с папкой в руке, шествовал он, озабоченный чем-то сверх меры, с достоинством кивнул. В общем-то, я мог бы и оскорбиться на этот кивок, если бы стоило оскорбляться на Павла Андреевича. Его можно было понять. Во-первых, был он здесь в н е к л а с с а, во-вторых, в форме, которую никогда не надевал в школу, и эта самая форма сообщила ему некоторую степень превосходства над рядовым человечеством, в-третьих, следовало учесть, что Павел Андреевич был на целых шестнадцать лет старше классного руководителя, что неминуемо отражалось на лице первого и на отношении к нему второго.

И еще одна встреча была. Расскажу о ней обстоятельнее. Я ведь все-таки завел себе аквариум. Пока что не очень большой, не очень хороший — купил в зоомагазине. Важно было начать и оставить место для мечты. Вот будут рыбки, растения, а там войду во вкус и уж тогда закажу где-нибудь настоящий аквариум, этак сто двадцать на пятьдесят, высота сантиметров семьдесят, в общем, трехсотлитровый. Внушительно? И со всякими там подсветками, компрессорами, корягами на дне, и чтобы вверху, в окнах чистой воды между плавающими листьями апоногетона и кувшинок резвились какие-нибудь редкости: красные неоны, копеины,

корнежиеллы, может быть, даже дискусы — амазонские дива...

Как бы там ни было, но зеленый крашеный аквариум на двадцать восемь литров заставил меня по воскресеньям ходить на птичий рынок. Помимо желтых канареек, синих попугайчиков и печальных летних щеглов, бойкие люди торговали здесь разной живностью: курами, кроликами, утками и, конечно же, рыбками... В самую рань здесь уже тесно толпился народ, и я бродил, проталкивался вдоль прилавков, мимо склянок и бутылей, густо заселенных синеватыми неонами, треугольными скаляриями, полосатыми барбусами, черными моллинезиями, голубыми гурами и разнообразно красными меченосцами. Я не торопился с выбором рыбок, тем более выбирать было из чего. На прилавках зеленела в лотках мокрая трава — водоросли, горками продавались камни, даже песок, рыжей мутью переливалась дафния, рубиново глянцевел мотыль — малинка. Но еще более любопытны оказывались сами продавцы и покупатели. Они были всякие. От фанатиков с нездоровым блеском за очками (фанатики тут попадались десятками, они, вообще-то, всегда встречаются именно в таких местах: на птичьих рынках, сборищах филателистов, на книжных развалах) до обыкновенных, самых обыкновенных людишек, именуемых в просторечье барыгами и делягами. Эти последние резко отличаются от фанатиков крепкими лицами, бойкими руками, ловят ли сачком мечущуюся рыбешку перед мальчуганом, ждущим с отверстой баночкой, меряют ли рюмкой сухой корм. Рюмка двадцать копеек, в магазине килограмм — восемьдесят. Здесь делают свой гешефт, свой неучтенный финорганами бизнес.

Здесь, на птичьем, я и столкнулся нос к носу с Василием Трифонычем. Василий Трифоныч весной ушел из школы на пенсию. Его провожали, как водится в таких случаях. Сбросились по трешке, купили подарок и от месткома. Помнится, Инесса Львовна вручала юбиляру купеческие каминные часы с теплым напутствием «здоровья и счастья в личной жизни». Василий Трифоныч, малиново-темный, сидел в возглавии стола, на другом конце блестела очками администрация, которая тоже сказала теплую речь, назвала Василия Трифоныча «великим тружеником, честно прошагавшим свой трудовой путь». Василий Трифоныч был растроган, хо-

тел в ответ что-то сказать, смутился: «В общем, благодарю... Это... За все... Это...»

И вот он снова передо мной. Василий Трифоныч словно бы сильно помолодел, окреп, именно омолодился, точно его в живой воде искупали. Весел, здоров, улыбается, стройный такой. Или впервые я увидел его не в валенках, в аккуратных брючках, в приличных ботиночках?

— Здрасте... А-а... Хожу вот, знаете... Самку, это... ищу. Ну... То есть... Хе... Это... Кролиху надо... А подобрать — не скоро подберешь... У меня, знаете, породы лучшие... Ангорские, бельгийский великан, испанские, черносеребристые, голубая шиншилла, пуховые... Как живу? А знаете... Это... Хорошо я живу! Вот прямо так и скажу: хорошо! Слава богу, хоть под старость повезло. Свет увидал. Я ведь раньше-то не жил — маялся. Сейчас вспомню школу эту проклятую — мороз по жилам. Никогда я ее, поверьте, не любил. Нет... Просто надо было где-то трудиться, и трудился честно... Сорок два года отбухал. Сорок два... Шутки... И учился заочно, и все такое... А все равно, бывало, только за шубу возьмусь, за шапку — в школу идти,— и голова у меня сразу болеть начинает. Нервоз... А сейчас? — Василий Трифоныч посмотрел на меня, и в глазах его я увидел не то радостные слезы, не то само счастье с золотой мечтой.— Сейчас я встаю утречком, рано... Чаек пью. И думаю: «Господи, никуда-то мне не надо!» Никуда не спешить, никого не учить. Ни тебе посещаемости, ни успеваемости. Ни грубости никакой, командования... Сам себе голова. Напьюсь чайку... Это... За травой иду, кроликам. Сенцо, венички заготавливаю. В поле за ними хожу... Близко. Домишко у меня окраинный. А в поле-то! Жаворонки, это... Ветерок, солнышко. Благодать. Прямо, вы знаете, сяду где-нибудь на сухом, чуть не плачу... Вот сейчас только и понимать начал, что такое жизнь... А работаю ведь с утра до ночи... По семнадцать часов в сутки... С ними,— показал на ящики с ушастыми зверьками,— с ними не посидишь...

Мы распрощались самым теплым образом. Я пошел домой, размышляя, как, оказывается, можно испортить себе жизнь, выбрав профессию учителя, и ничуть не хотелось мне осуждать Василия Трифоныча. Да, он был прав, школе нужны подвижники, непонятно лишь, почему он сорок лет тянул свою лямку, почему не искал

себя. Но ответа на эти вопросы не дадут, вероятно, и миллионы таких же, кто более или менее честно тянет лямку. Вот почему я не стал долго раздумывать о случае с Василием Трифонычем. Школе нужны подвижники? А где они не нужны? И что делать «не подвижникам»? Почему дореволюционные классные дамы чаще бывали старыми девами? И сам я уж не превращаюсь ли в такую «деву»? Я порастерял институтских приятелей. Я все реже вижусь с друзьями, и я не женат. Еще пять, десять таких лет — и обо мне скажут: старый холостяк, убежденный и тому подобное... И чтобы отвлечься, я стал прикидывать, как начну год, придут ли новенькие, говорят, что иногда их бывает в ШРМ до восьмидесяти процентов состава, и что мне делать с Нечесовым: у него же на осень экзамены по алгебре, русскому, литературе... Проще всего было бы не беспокоиться: сдаст — ладно, не сдаст — избавлюсь и от этого лодыря. Избавился же я наконец от Орлова. Но почему-то никак не мог я выбросить из памяти вертячего горе-ученика. После ухода Орлова он вроде бы присмирел... Но о Нечесове никогда нельзя знать заранее, что он выкинет, каким обернется. Весь на виду и весь противоречие. Хулиган, сквернослов — слышали бы его говорок в кругу таких же! И лодырь, прогульщик, не работает нигде и не учится, в общем, так... ходит. А с другой стороны,— нет в классе человека столь же откровенного, всегда готового и помочь, и услужить, и правдивого в суждениях, и смелого на ответ. Нечесов... На работу его определить. На работу надо... Да вот куда? Едва шестнадцать только. От таких в отделах кадров отмахиваются. Эх ты, Нечесов! Где ты сейчас болтаешься?

Иногда, говорят, обстоятельства сами идут к тому, кто их ищет. Однажды я ехал в трамвае домой — возвращался с пляжа. Был конец августа, и лето, словно желая, чтобы его помянули добром, изливало на город совершенно тропическое тепло. В вагоне — ни ветерка. Пахло банно распаренными телами. Немилосердно протискиваются, вопреки правилам, назад какие-то бойкие парни, втыкают в бока острые локти. Едва прошли, взвился испуганный крик:

— Куда ты? Куда лезешь? Нет... Нет... Погоди... Куда! Кошелек давай! Нет... Держите его, мужчины! Держите вора!.. Он... Он... Деньги вытащил! Держите!..

Обернувшись, насколько было можно, я увидел на задней площадке темное мелькнувшее лицо. «Орлов!» — чуть не вскрикнул я. Но его уже скрыли головы и спины, а может быть, он нагнулся, зато теперь я увидел почти рядом белое, несчастное лицо отчаянно вырывающегося Нечесова...

— Пусти! Ты... Ну...— бормотал он, дергаясь и отбиваясь, но женщина остервенело ухватилась за него, держала крепко, а сзади уже прихватывали чьи-то сильные мужские руки.

— Ах ты, ворюга...

— А я слышу — лезет...

— Остановить бы вагон!

— Да сейчас остановка!

— Попался, голубчик... Ишь ты какой — молодой да ранний!

— Вот матере-то... Будет горя-то...

— Кошелек... Семь рублей...

— В милицию его.

— В мелицию, конечно...

Трамвай остановился. Толпа хлынула с задней площадки, увлекая за собой Нечесова и женщину, мертвой хваткой вцепившуюся в его рубашку. Следом выскочил из вагона я.

— В милицию!..

— За что! Чо я сделал?.. Отпустите! А!..

— Ишь, запел! Закрутился!

— Отпустите...— причитал Нечесов.— Я не буду... Чеснослово... Не буду... А? — страшными белыми глазами искал кого-то. Меня не видел. Крутанулся, пытаясь вырваться. Тут же получил увесистый удар.

— Не бей! Зачем бьешь! — взвизгнула какая-то сердобольная тетка.

— Да мало их бить...

— А я слышу — лезет... Семь рублей...

Толпа вокруг расширялась.

Решение пришло само собой. А может быть, я вспомнил что-то такое из литературы, из кино... Из Остапа Бендера.

— Пройдите, граждане! — сказал я не своим, милицейским голосом, сообщив ему ту степень служебной строгости и обязательности, какая необходима в таких случаях.— Пройдите с проезжей части... Что тут случилось?

— Да вот в карман залез!

— Деньги вытащил! — обрадованно устремились ко мне. Взглянул и Нечесов и разом опустил голову. Перестал умолять и вырываться. Я видел только наливающиеся малиновой краской оттопыренные уши. Мальчишечьи уши.

— Так... Все ясно.

— А вы? Из милиции?..

— Не видишь, что ли... Переодетый...

— Пройдите, граждане,— еще суровее для большей убедительности сказал я и взял Нечесова за локоть:

— Пошли...

Мне важно было оторвать, оттащить, выхватить Нечесова из этой абсолютно ясной ситуации. Важно было. И я готов был идти на что угодно, лишь бы Нечесов остался со мной. Однако вместе с нами из толпы двинулись двое мужчин и одна женщина с добрым лисьим лицом, вся светившаяся от любопытства. Владелица кошелька почему-то не пошла.

— Граждане,— сказал я, приостанавливаясь.— Двоим придется задержаться. Составим протокол. Дадите показания... В качестве свидетелей.

Господи... Откуда у меня такой казенный голос? И эти слова? Правду говорил Бармалей — учитель должен быть актером. Большим актером...

Руки, державшие Нечесова, враз опустились. Женщина с лисьим лицом замешкалась.

— Да времени нет,— пробормотал один из мужчин.

Другой повернул, пошел прочь.

— Что же вы? Куда? (Это уж было лишнее, но я играл, играл Остапа Бендера.)

Зато мы остались одни...

Некоторое время шли молча под недоуменные взгляды прохожих. Я отпустил руку Нечесова. Он шаркал стоптанными ботинками, шмыгал, не поднимая головы. Мимо проносились машины, обдавали газовой синевой. Солнце закатно пекло. На оплавленном мягком асфальте отпечатались сотни следов-каблучков. Хоть бы ветром подуло. Но ветра не было. Машинально свернули в какой-то переулок, в унылую долгую улицу, вышли на пропыленную площадь, к скверу с такой же пропыленной сиренью и топольками. Садик-сквер был забросан окурками, залузган семечками, на изломанных скамьях везде сидели и даже спали какие-то дорожные люди. Только сейчас я наконец понял, что мы пришли

в район вокзала. Одна скамья в дальнем, теневом углу сквера была свободна и то лишь потому, что возле нее высыхала большая грязная лужа с плавающими желтыми окурками. Тут мы и присели, не сговариваясь, боком к луже: я по одну сторону, Нечесов по другую. Сидеть рядом нам было невозможно...

Нечесов сидел наклонившись, сунув руки меж колен.

Я собирался с мыслями. Все гневные речи, все обличающие слова, все упреки и риторические вопросы как-то сами собой исчезли, рассеялись, выплыли из головы, пока мы шли, и сейчас мне хотелось только одного — скорее завершить все это, ясное для обоих и постыдное тоже для обоих, гадкое, как вот эта лужа с плевками, с гниющими окурками.

— Значит зарабатываешь...— сказал я, покосившись.

— ...

— Что зарабатываешь? Колонию? Срок?

Я знал блатные словечки, выражения вроде «скрести срок», «вострить лапти», и почему-то сейчас мне хотелось заговорить с Нечесовым именно на этом языке, может быть, ожидая, что Нечесов тогда заговорит сам. А с другой стороны, я думал, сколько же понадобилось влить всяческой мерзости в эту еще неустоявшуюся душу, чтобы парнишка шестнадцати лет, как заправский карманник-«щипач», орудовал по трамваям.

— Нечесов! — сказал я строго.— Который раз ты попался?

— Первый,— буркнул он после краткого молчания.

— А сколько уже лазал?

Молчание подтверждало: много.

— Вот она, дружба с Орловым.

— ...Орел тут ни при чем...

— Слушай! Можешь мне хоть сейчас не врать? Орлов был вместе с тобой в этом трамвае.

— Не было его...

— Был. Я его видел.

— ...

— Скольких ты сегодня... обокрал? Сколько? — спросил я, совершенно, впрочем, не надеясь, что он сознается.

А Нечесов вдруг перекосился, полез в карман и рывком выбросил на скамью еще один желтый пухлый кошелек.

— У-у... У-у...— вдруг завопил совсем по-детски.— У-у...— И, хлопнувшись головой на гнутую спинку скамьи, разревелся навзрыд, катая голову по лосненой штакетине, все время повторяя это свое детское, горькое: «У-у... У...»

Я сидел согнувшись, глядел в зеленую грязь по краям лужи, кое-где она уже потрескалась, покрылась белесой, как бы поседелой корочкой, здесь бегали юркие мелкие жучки и вились, ронялись грязные серые мошки, а дальше, в мутной шоколадно-соевой воде, среди бревен-окурков и застоялых плевков, кишели, вились какие-то мерзкие личинки, похожие на головастиков, дрыгались, извиваясь в бесконечных твистах, ногастые инфузории с бесстыжими вытаращенными глазами. Лужа жила, и было ясно, что ей еще долго жить, пока солнце не высушит ее и пока она не станет обычной честной землей.

Нечесов замолчал.

— Вот что! — сказал я, помедлив.— Возьмешь этот кошелек, пойдешь завтра в бюро находок. На улице Ленина, у поворота к рынку. Сдашь. Скажешь — нашел в трамвае.

— ...

— Ты понял меня?

Вздох.

— Тогда я пошел. Иди к ларьку. Купи газировки. Умойся и ступай домой. Все.

Я поднялся.

Нечесов поднял голову и тоже вскочил. С худого, синего, измазанного лица смотрели с недоверием светлые широкие глаза. Нет, не было там еще никакой правды, никаких прозрений, одно недоверие. Ну, что ж...

— Вот еще что... Приходи ко мне заниматься по русскому. У тебя ведь экзамен...— добавил я.

Нечесов хмуро смотрел в сторону.

Я повторил ему адрес и пошел домой отупелый, усталый — хуже нельзя, весь во власти каких-то безнадежно спутанных педагогических дум, из которых лишь одна слабенькая, ныряющая в эту путаницу ниточка: «Может, он сегодня все-таки понял...» — давала подобие слабенькой надежды.

Помнилось, я пришел к дому Нечесова утром. Был морозный голубой и хрусткий мартовский утренник, и

в тенях было сине и холодно, но на крышах уже таяло, солнце поднималось теплое, туман на далях теплел, обещая раствориться жарким сияющим днем. Вкусно пахло сосульками и капелью. В тополях звонили синички. Даже густые индиговые тени были настоены чем-то улыбчивым. Одноэтажный длинный дом с высокими «венецианскими» окнами добродушно, с грустинкой глядел в улицу — один из тех домов, которые оставил в наследство спокойный девятнадцатый век.

Я никак не ожидал, что Нечесов живет в таком благообразном доме. Я-то думал, Нечесов — дитя бараков, помоек и дровяников, в лучшем случае, дитя подъездов в запутанном многокорпусном юго-западе, что-то вроде современного Гавроша. Но дверь квартиры была солидно обита пусть не новым, но вполне приличным дерматином. А за этой тяжелой высокой дверью райски культурно чаровали слух доносившиеся мне звуки фортепиано. «Туда ли я попал?» Еще раз сверился с записной книжкой: все правильно. Впрочем... «Ба-а! Да он же наверняка соврал! Назвал какой-нибудь первый попавшийся адрес». Я стоял перед дверью в нерешительности: звонить? не звонить? И район не тот... Центр города. Если б Нечесов жил тут, он мог бы не ездить в такую даль на окраину...

Звуки фортепиано за дверью приобрели характер не слишком уверенной, но все-таки знакомой мелодии, а потом сильный и манерный женский голос запел:

Я встре-тил ва-ас.
И все... былоэ...

Батюшки! Тютчев! Романсы... Нет. Нечего звонить. Опозорюсь только... Не та квартира.

В душеэ ммаей
Воскре-е-есло вновь...
Я вспом-нил вре-мя
Время ззала-тоэ...—

выводил голос с искусственной, «поставленной» страстью. Рокотал рояль.

Почему-то я не уходил, слушал. Так, должно быть, пели и играли какие-нибудь дореволюционные барышни, выращенные в дешевых пансионах, и мне словно бы представилась такая женщина, непременно молодя-

щаяся, непременно черноволосая, благоухающая крепкими духами и пудрой.

Как позд-ней о-сени порою
Быва-а-ают дни, быва-а-а-ет час,—

хорально заливался голос.

Не знаю, почему и словно бы вопреки своему желанию я давнул кнопку звонка.

Послышался глухой перезвон. Пение смолкло. Через минуту к двери зашлепали шаги.

Я готов был провалиться от стыда. Зря потревожил артистку.

Дверь открылась. Женщина лет сорока пяти, грузная, в расстегнутом голубом пеньюаре и с железными бигуди в черных волосах стояла передо мной.

— Ах! — манерно сказала она, запахивая пеньюар и подняв выщипанные ниточки бровей.

— Простите... Мне квартиру Нечесова,— багровея, пробормотал я.

— Это стесь! Прахатите... Я сейчас.— И женщина зашлепала прочь, кутаясь в свой прозрачный пеньюар, демонстрируя внушительные богатства стана.

Все еще стесняясь, я вошел в полутемную пустую прихожую. Тут пахло уборной, сыростью, где-то из незакрытого крана равномерно бежала вода. Свет падал справа через растворенную дверь такой же унылой кухни. Там на столе громоздилась гора немытой посуды. На полу валялось что-то вроде полотенца. Вскоре отворилась другая дверь, и женщина, одетая уже в шелковый стеганый халат с драконами и хризантемами, повязанная яркой косынкой поверх бигуди, выглянула снова.

— Прахатите... Что же вы? — улыбаясь, мягко сказала она.

Я вошел в большую, очень высокую комнату, увешанную коврами и заставленную вдоль стен старинной темной дубовой мебелью, которую теперь называют уже антикварной. На пыльных окнах висели пыльные шторы с какими-то готическими изречениями. В соседней комнате проглядывалась раскрытая постель. И вся эта мрачная квартира была увешана полочками, подвесками, картинами, картинками. Таращили голубые глазки кукольные девчушки, томно лобзались пасхальные парочки. Трубили на крышке пианино стада фарфоровых слоников, сидели глазированные керамические собачки,

кошечки и зайчики. На бархатных коврах с ядовитым переливом тоже были олени, замки, лунные ночи, мчащиеся всадники с восточными красавицами в шальварах поперек седла и с головами, повернутыми назад на сто восемьдесят градусов. И здесь были слоны, тигры с человеческими лицами, прыгающие на оробелого всадника. Среди всей этой какофонии предметов искусства и дешевой роскоши помещался портрет мужчины в полковничьих погонах. Мужчина устало и умно смотрел, на лице его, очень похожем на Нечесова, лежала печать болезни и удрученности...

— Сатитесь, пожалуйста,— приглашала хозяйка, усаживаясь сама на круглый стул возле раскрытого желтозубого фортепиано. По обоим бокам его были замысловатые бронзовые подсвечники. Я сел и, поглядев на резной буфет, увидел, что оттуда на меня смотрит пустыми алебастровыми глазами античный бюст, может быть даже Аполлон. «Господи! — подумал я.— Не квартира, а филиал комиссионного магазина». И воздух здесь был такой же застойно наполненный запахами старых вещей, былой жизни, нафталина и сухих клопов. Этим воздухом не хотелось дышать.

— Вы, наверное, из Госстраха? — спросила женщина.— Нет? Из райсовета? Из школы? Что вы говорите?! Ах, классный руководитель! Скажите, пожалуйста, такой малатой. Никогта бы ни натумала... Какой вы интересный! Нирпшительный... Ку-ку-ку,— засмеялась она.

— Послушайте, а почему ваш сын учится в ШРМ? Ведь он бы вполне мог ходить в дневную... Не работает.

Женщина с удивлением посмотрела на меня, повела плечиком.

— Знаите, я и сама ни пайму. В тневной все что-то у него ни латилось... Жалобы... Он ужасно уставал... А в вичернюю попросился сам. Там у него трузья.

— И вы знаете его друзей?

— Нну... Так... Ку-ку-ку... Витела, конечно... Какие-то мальчики... Некрасивые. Грязные... Вы знаете, мне с ним некогда. Ужасно занята. Ведь я работаю в творце культуры. Художественным руководителем. Та и режиссером. Выставки. Кружки. Спиктакли... Вы понимаете меня, конечно? Вот только утром немножко развлекусь. Ретко. Инструмент стоит... Я ведь в свое время окончила музыкальную школу. Балетную ступию. Что? Вы удивлены? Ку-ку-ку... Тела тавно минувших тней... Кроме того,

я художник. Пишу, конечно, мало. Так что-нибудь иногта. Берешь каранташ, картон и так легко-легко... Не хотите ли чаю... Ку-ку-ку. Он еще горячий...— Она сняла порядочно засаленную куклу-грелку с такого же, давно не видавшего мыльной мочалки чайника.

— Нет? Что вы стисняитись? Ку-ку-ку... Какой вы странный. Молодой учитель. Мужчина... Это интиресно... Скажите: в вас ученицы влюблены?

— Право, не знаю.

— Ни знаити? Он ни снает! Ку-ку-ку...

— Послушайте, а где же ваш сын сейчас?

Она посмотрела на меня ореховыми глазами смеющейся поживишей сладко женщины.

— Та гте-нибуть тут... Ну-у... в творе. За ним не успетишь. Все возле шоферов. Там в творе гараж... И вот он все там. Все что-то помогает. Потсасывает... Ку-ку-ку...

— А все-таки...

— Та честное слово, я не знаю. Он ушел еще утром... Я спала... Люблю, знаете, поспать. Я ведь — женщина. Ку-ку-ку... Или нет... Позвольте, позвольте... Он вчера ушел к мальчику. Прямо из школы...

— И вы не знаете, где он?

— Та что ж он, маленький? Притет. Что вы волнуетесь... Ку-ку-ку...

Я покинул эту кваргиру, с наслаждением вышел на улицу в звонкий и свежий мартовский день...

# Триумф и его последствия

*Старайся исполнить свой долг и ты тотчас узнаешь, что ты стоишь.*

*Л. Толстой*

*Лгать — это прыгать с крыши ночью.*

*Афганская пословица*

*ГЛАВА, которую автор не обозначил численно по причинам обыкновенного суеверия, которое все отрицают, ниспровергают и высмеивают, а оно почему-то живет и, наверное будет жить на Земле, пока останутся люди. Вот если они переселятся на другую планету, то в числе всего ненужного они, конечно, оставят суеверия на Земле.*

Мы переезжали в новую школу!

Говорят, что когда въезжаешь в новое жилье, вперед надо пустить трехшерстного кота или уж цветного петуха, никак только не инкубаторного, и если кот или петух спокойно войдут в новое помещение — быть тут удаче, быть счастью. Но кота у нас не было, петуха тоже. Мы въезжали в школу без суеверий. Сгружали парты, носили столы, прибивали доски, перетаскивали «наглядности»... Новая школа! Она возникла отнюдь не по мановению волшебной палочки, не была, как любят писать в газетах, «замечательным трудовым подарком строителей». Если уж быть совсем справедливым, надо бы воздвигнуть перед нею скульптурный монумент в честь нашей администрации. Во главе с директором. Почему? Потому что из месяца в месяц, из года в год администрация осаждала исполком райсовета, райком, заводы-шефы и добилась в конце концов всего: денег, материалов, сметы, проекта и «привязки» этого проекта, и — что едва ли не самое трудное — нашли подрядчика, строительный трест. Но самая внушительная победа — последний штурм, подобный взятию Измаила,— была одержана администрацией в последние августовские дни, когда Давыд Осипович, оба завуча, парторг и председатель месткома Инесса Львовна, наседая на «передовых» работничков, всегда готовых уединиться где-нибудь на этаже, на пустыре или обочине канавы с бутылкой «чернил», добились наконец, что полы были настелены, доски навешаны, парты доставлены, а учителя, все до единого обращенные в маляров, грузчиков, подсобных рабочих и подручных, «с честью», как опять же пишут в газетах, выполнили на сей раз не свой трудовой долг. Правда, еще тридцать первого августа школа немилосердно пахла эмалью. В глазах щипало. Полы прилипали и щелкали, парты подозрительно ярко блестели, из кранов не шла вода, батареи отопления и вовсе валялись на дворе. Но здесь на помощь явились погода и календарь. Первое сентября пришлось на субботу, за субботой следовало воскресенье, и все эти дни стояла жара и сушь, необычная и радующая. Школа просохла.

Все-таки это была новая школа! Она сияла свежими потолками, широкими окнами, ни в какое сравнение не идущими с прежними амбразурами, здесь не было

темной вонючей лестницы и были столь необходимые раздельные туалеты.

Третьего сентября, принаряженный в свой лучший черный костюм, в клетчатом новом галстуке, в новой рубашке, давившей шею жестким воротником, и в новых неудобных штиблетах я встречал своих одиннадцатиклассников на крыльце... Толпа перед ним быстро расширялась, густела, разбивалась на кучки по классам. И было здесь все: возгласы, крики, приветствия, визг, объятия. У старших шел солидный перекур. Одиннадцатые, однако, выделялись и тут. Печать солидности, почти суровой взрослости была на их торжественных лицах. Все-таки выпускные в любой школе — элита, и, подчиняясь такому положению, осознавая его с первого дня, выпускники никогда не теряют величавого достоинства, снисходительно поглядывают на тех, кто рангом пониже,— десятиклассников, девятиклассников и учеников восьмого класса, хотя у последних своя, восьмиклассная выпускная гордость, несколько, конечно, меньшая, чем у старших, однако достаточная, чтобы чувствовать привилегированное положение. Правда, в школе рабочей молодежи теперь наблюдается интересная закономерность: самые старые по возрасту ученики, вполне достойные званий «дяденька» и «тетя», учатся в пятых, в шестых классах, это те самые, кто безнадежно отстал от жизни, и отношение к ним со стороны бойких и юных старшеклассников соответственное... Что поделаешь. Школа рабочей молодежи и молодеет, и вымирает потихоньку. Только вопрос — сколько ей еще вымирать?

Класс мой собрался перед крыльцом. Вокруг рослой, значительной фигуры Чуркиной в зеленом, глянцево блестящем платье, которое очень шло к ее яркому лицу и тугой завивке, сгруппировались все девочки и ребята из ПТУ, а второй круг образовали черный нескладный Фаттахов, юркий беспокойный Мухамедзянов, солидный Алябьев, равнодушный Кондратьев, тихий Столяров, величественный Павел Андреевич, на сей раз в мундире с лейтенантскими погонами. Мелькал между ними вертлявый затылок Нечесова, и, наконец, появилась сумрачная, как-то не похожая на себя Лида Горохова. Что-то случилось с ней — это я видел по ее похудевшему и странно неулыбчивому теперь лицу, отягощенной походке,— ведь это отметил я еще летом во время короткой случайной встречи на водной станции, но сейчас лишь

снова убедился в правильности прежнего подозрения и тут же отодвинул его, заслонил тайным удовольствием от вида всех, всех «моих» учеников. Они заметно повзрослели, так и просится слово поумнели, но слово это не очень точно определяет суть перемены. Может быть, один год для почтенной старости ничего не значит, ничего не меняет, но год школы для юности, не так давно расставшейся с отроческими днями,— очень большой срок. Образование кладет на лица четкую ясную печать совершенства — она остается и в блеске глаз, и в движении губ, и в легких морщинках, и в сосредоточенной благожелательности взгляда,— ее ничем не заменить, ее подделка невозможна... Теперь передо мной стояли и улыбались мне совсем не те разрозненные, самовлюбленные дикари, собранные волей случая в разношерстную группу,— это был класс. Мой класс. И этот мой класс смотрел на меня с доверием, которого я все ждал в прошлом учебном году и не дождался, и вот оно, точно проявилось за летние месяцы, выразилось во взглядах и улыбках. Вот, оказывается, чего мне никак не хватало все лето, чего я тайно ждал и только сейчас начал ясно осознавать.

— Здравствуйте! — парадно сказал я.— Поздравляю вас всех с новым учебным годом, с новой школой и выпускным классом! Подумайте-ка! Одиннадцатый! — усилил я и с удовлетворением увидел отзвук на лицах.— А теперь — за мной. В класс.

Все двинулись, оживленно переговариваясь, смеясь, подталкивая друг друга, и опять укололо меня в этом праздничном оживлении усталое лицо Лиды Гороховой. «Болеет, что ли?» — мимоходом подумал я. Но Лиду оттеснила Задорина, заслонили Чуркина, Алябьев, и я вступил на порог новой школы в настежь распахнутые двери, как триумфатор, сознающий величие своего триумфа. Впрочем, где-то я уже говорил о триумфах. Их придумали римские императоры, а римские императоры, за исключением Октавиана Августа, все как-то плохо кончали. Мне, историку, надо было бы помнить об этом, но я не вспомнил, как не вспоминали, наверное, и все римские императоры, за исключением Октавиана Августа...

К моему великому удивлению, на третий день занятий я увидел в классе Орлова. Он сидел за партой вме-

сте с Нечесовым и был спокоен, как будто ничего не случилось. На предложение покинуть класс и переселиться в десятый он даже ухом не повел. Я ушел из класса, горестно сознавая бессилие перед самой обыкновенной наглостью. Выводить Орлова за руку? Вытаскивать из-за парты плотного парнюгу восемнадцати лет? Этого еще не хватало.

И вопреки правилу — делать-решать все от себя зависящее самому — я доложил о случившемся директору. Я ждал, что директор возмутится, сейчас же поддержит меня, может быть, пойдет выдворять самозванца или хотя бы одобрит мои будущие действия. Однако Давыд Осипович отнесся к моему заявлению хладнокровно.

— Хм... Ну что ж, пусть посидит...— сказал он, както странно разглядывая меня сквозь стекла очков, точно увидел впервые и теперь прикидывал, чего я стóю.

— Но... Но ведь он остался на второй год по неуспеваемости. По сплошной неуспеваемости... Он должен быть в десятом!

Давыд Осипович все рассматривал меня и наконец покачал лысой головой. Он осуждал меня. Он надеялся, что я исправлюсь. Таково было содержание жеста. А я не хотел и с п р а в л я т ь с я. Я вообще не люблю исправляться по чьему-то желанию. Надо это желание понять.

— И это говорит один из лучших классных руководителей... Один из лучших воспитателей!

— Вы это всерьез? Благодарю за комплименты. Давыд Осипович, я понимаю теперь, что когда говорят комплименты, хотят обезоружить.

— Не знаю... Не знаю... Наверное, вы ошиблись. Вы, конечно, смотрели личное дело Орлова? Скажите, смотрели?

— Нет... То есть... да. Конечно. Раньше.

— И вы не видели, что он оставлен на второй год еще в д е в я т о м? — раздельно произнес директор, прищуривая глаза. Теперь он меня только осуждал. Он уже не надеялся, что я исправлюсь.

— Нет,— растерялся я.— Неужели? — И все-таки я не хотел и с п р а в л я т ь с я под взглядом директора. Но как это я упустил, что Орлов даже не был десятиклассником? Не имел права быть.

— Дорогой мой, так...— сказал Давыд Осипович.— Так. Он и в десятый ходил к вам б е з п р а в а. Поняли?

— Кажется, понимаю... Но зачем? Где же логика? Где закон? Кто это разрешил?

— Хм... Вы — точно Василий Трифоныч. Он меня так же допекал. Точно так... Почему? Почему? Почему?

— Зачем же тогда закон? — повторил я.

— Ах, Владимир Иваныч... Дорогой... А по-вашему, будет лучше, если этот Орлов — ваш Орлов — будет бродяжить, разбойничать, выворачивать карманы?..

Нет, я совсем не хотел исправляться.

— На то есть милиция, уголовный кодекс. И опять же закон!

— Да... Но мы — не милиция, мы — школа. Мы должны учить и воспитывать. А раз уж мы не можем выучить и воспитать, пусть он хоть сидит в классе... Ходит в школу. Логично?

— Нет!

— Владимир Иваныч... Вы, кажется, забываете, что говорите с директором. Во всяком случае... я не запрещаю вам выгонять Орлова. Но лучше бы — пусть сидит. Ходит — пусть ходит. Да. Исчерпан вопрос. Остальное — не ваша печаль. Пусть он ходит в школу...

— А я выгоню его немедленно вон! Или уйду сам! — вскипел я наконец. «Да что это такое? Вот не ожидал!»

Директор в изумлении уставился на меня, положив подбородок на сложенные руки. Теперь я интересовал его как-то по-особенному. Он изучал меня уже как непонятную картину.

— По-че-му?!

— Потому что Орлов разлагает класс, развращает учеников, дезорганизует дисциплину! Потому что его место давным-давно не в школе, а на скамье подсудимых! Потому что...

— Выходит, вы все двадцать четыре человека — слабее одного. Вы не можете его перевоспитать? Вы боитесь его... Боитесь одного хулигана. Стыдно.

— Да! Боюсь. А вы не правы! Все это ложная и, простите, ханжеская педагогика! Прощать всем и все. Это какое-то толстовство, непротивленчество. Прощать хулиганство, наглость, издевательство над учителем.

— Вот-вот. Василий Трифоныч...

— Давыд Осипович! Еще одно обвинение, и я подаю в отставку! Или Орлов пойдет заниматься в десятый, простите, в девятый, или... уважайте закон. Заставьте уважать и этого, с позволения сказать, ученика...

Я вроде бы победил, но какой ценой. Пиррова победа. Теперь отношения с директором на грани разрыва.

— Что ж, поступайте как хотите. Формально вы правы. Формально. Можете жаловаться на меня в районо. Но смотрите не ошибитесь... Подумайте. Хорошо подумайте, Владимир Иваныч...

И я вылетел из нового директорского кабинета. Не хватало мне еще из-за этого Орлова поссориться с администрацией. В класс я не вошел — влетел. Орлов сидел на парте и лузгал семечки. Почему-то это, в сущности, невинное и постоянное занятие Орлова сейчас возмутило меня до дрожи.

— Орлов! Забирайте свое имущество и переходите в девятый класс,— сказал я, подходя вплотную.

— Чи-то?

— Сейчас же!

— Хе...

— Ну-ка, быстро!

— Чи? Да пошел ты! Еще хватается...

Тогда я прихватил Орлова крепче, и, не ожидавший такой решительности, он съехал с парты.

— Да иди ты! Чо захватался! — заорал он, замахиваясь свободной рукой, так что в лицо мне полетели семечки.

Иногда учителю ШРМ приходится быть решительным. Нет, не часто. Не каждый день и не каждый месяц, даже не каждый год. Я ведь сказал иногда, изредка. Минуты через две Орлов оказался в коридоре. А следом за мной высыпал весь класс.

— Ну, погоди ты, погодите еще,— сказал он, хищно взглянув на всех, прищуриваясь мне в лицо.— Ты еще вспомнишь, как за меня хвататься. Генка, пошли отсюда...— и он, помедлив, зашагал по коридору к лестнице.

Я обернулся. Нечесов, бледный, хмурый, стоял за моей спиной. Трезвонил звонок с большой перемены. Шли по классам ребята, задерживаясь у этой немой сцены. Показалась в коридоре Инесса Львовна с журналом.

— В класс! — приказал я всем, обращаясь к Нечесову, и он медленно повернул к дверям класса.

— Вы-то! Хороши...— сказала вдруг Чуркина.— Нет, чтоб помочь Владимиру Иванычу...

— Чтоб в классе я его больше не видел! Орлова. Нечесов, слышал?

— Дачоя... Янезвал...

И еще я увидел бледное, поблекшее лицо Гороховой. Осунувшаяся, углубленная в свон какие-то, должно быть, нелегкие думы, она шла по коридору. Опоздала на целых два урока. Такого с ней еще ннкогда не случалось.

Теперь я чаще прежнего смотрю на Лиду Горохову. Действительно, с начала учебного года ее словно подменили. Вместо прежней улыбчивой, добродушной наяды за партой сидела задумчивая, печальная лорелея, осунувшаяся н словно бы чем-то тяжко напуганная. В Лиде появнлось что-то женское — именно женское, не девпчье... И я со страхом замечал, как это женское обозначается все больше н больше, проступает во взгляде, в двнжениях, в походке н даже в голосе. Иногда она словно бы стряхнвала с себя гнетущне мысли, вялость и оцепенение, снова начннала улыбаться, в глазах рождался прежний блеск, лнцо розовело, но такие возвращения к себе были редкн как солнечные дпн поздней осенью.

Изменился и Витя Столяров. Летом ему сделалн сложную операцию, н он стал слышать на одно ухо. Наверное, Столяров так же, как я, понимал Лиду Горохову, а скорее всего лучше меня. Никогда в жизни не видел я подростка, более нежно выражающего свою скрытую любовь к девушке. Еслн Столяров не чнтал по прнвычке, он нскоса смотрел на Лиду, н взгляд его, жалкий, мерцающий н потаенный, изливал такой поток преданной любви, что, казалось, Столяров может иссякнуть, весь превратнться в этот поток, сгореть дотла, как чересчур сильный нсточник света. Всякое движение его, обращенное к Лиде, было исполнено осторожной нежности: брал лн он ее тетрадь, чтобы найтн ошнбку, точил ли ей карандаш, нскал и подавал упавшую ручку, помогал решать по алгебре — все освещалось этнм незрнмо полыхающим светом. И какой угрюмый, окаменелый сидел он в одиночестве, уставясь в книгу, если Горохова не приходила. Лида, не пропустившая в прошлом году ни одного дня, теперь прогуливала довольно часто. «Что такое с ней? С нимн?» — продолжал гадать я. Я знал, что Лида Горохова раньше воспитывалась в детдоме. Теперь живет у двоюродной тетки. Скорее, просто квартирует. В больнице по-прежнему ее хвалили. «Что-пи-

будь сугубо личное,— думал я.— Нельзя мне соваться». На осторожные вопросы: «Почему не была? Что случилось?» — Лида отделывалась улыбками, какими-то односложными ответами, краснела, и по ее смущенному, замученному взгляду я понимал: «Не надо. Не спрашивайте. Пожалуйста, не спрашивайте. Все равно не скажу...»

Она и ко мне переменилась удивительно. И если в прошлом году нет-нет и падал на меня ее теплый, а подчас лукаво заинтересованный, тихо мерцающий взгляд,— теперь глаза ее были устремлены куда-то внутрь, отдалены, сухи, печально равнодушны. В них было больно смотреть. Счастливый Столяров, отгороженный от своего счастья завесой золотящихся, как елочная канитель, и, наверное, тяжелых, как золото, волос! Немногим дано понять совершенство, счастье девичьей, женской красоты, и как часто эту красоту и это счастье без раздумий топчут, оскорбляют, глумятся, хватают жадными грязными руками. А Столяров умел понимать и ценить сидящее рядом с ним большое, умное, доброе и теплое счастье...

Так думал я глубоко про себя, не выдавая себя ничем. Снаружи и внешне я, конечно, был только классный руководитель, учитель, листающий журнал и озабоченный процентом успеваемости.

А иногда в остановившихся глазах Лиды я видел словно бы спрятанный непотухший ужас... Впрочем, мне могло и показаться, ведь я не психолог и не физиономист.

Между тем промелькнула первая четверть. Уже близились Октябрьские праздники. Администрация выдавала контрольные, ходила по урокам. Классные руководители подводили первые бабки, нажимали на учителей, а те, в свою очередь, на учеников, заставляя нерадивых подтянуться. Правда, мой класс, состоявший почти весь из старых учеников (пришли еще две продавщицы), теперь по успеваемости и дисциплине выглядел вполне прилично; если мы и не занимали первое место в школьном графике, то были где-то около первого. Чем же плохо? Конечно, Нечесов, Мазин, Фаттахов, Кондратьев и сам Павел Андреевич периодически получали «пары», не все гладко шло у продавщиц и у девочек

с камвольного, однако нынче класс катился как по рельсам и Чуркиной лишь оставалась мелкая корректировка да иногда требовалось «поддать жару» самым нерадивым. А Чуркина в этом намного превосходила классного руководителя, классный руководитель ею восхищался про себя. В общем, у нее оказался словно бы врожденный талант организатора, и класс послушно выполнял ее волю. Взять хотя бы такое: однажды в классе появились кремовые шторы-гардины, потом на подоконниках запестрели цветы, у доски, на держальце,— чистое полотенце, тряпки, лучше некуда, и две резиновые губки. Класс принимал жилой, уютный вид, в нем было приятнее заниматься, чем в других, а может быть, сказывалось простое ощущение — это наш класс, мои ребята.

Стояли темные осенние вечера с дождем и снегом. В такие вечера под вой окраинного ветра, плаксиво нывшего в рамах, особенно трудно было на последних уроках: тяжело слушать, тяжело понимать, тяжело просто сидеть. Неумолимо клонит сон, тяготит голову. И одним ли только учащимся тяжело! «Скрипит» горло учителя, гудят ноги, волнами находит давящая усталость. Бесконечно длится последний, пятый урок. Знаете ли вы, что такое пятый урок в школе рабочей молодежи? Пятый — это когда слова учителя, хоть самые живые, самые интересные, проходят сквозь тяготу полусна-полуяви... Пятый — сами собой закрываются глаза... Пятый — на мгновение ты сладко отключаешься от всего, ты — спишь и через сон, через его видения все-таки воспринимаешь слова учителя, только они бегут куда-то в непонятную мглу и исчезают в ней, как строчки световой газеты. Ты слышишь и не слышишь, понимаешь и силишься понять, и все это мимо памяти...

— Бах! Дзинь! — с лязгом и звоном разлетелось стекло. Большой камень пробил его насквозь, сшиб чернильницу на моем столе и с грохотом покатился к двери.

— Бах! Дзинь! — второй камень задел мне щеку, ударился в доску.

— Дзинь! — осыпалось третье стекло.

Вскрикнули, завизжали девочки. Все вскочили, бросились, кто к окнам, кто назад, к стене. У окон — Нечесов, Задорина, Алябьев, Чуркина. На местах — Горохова, Столяров, привставший, обернувшийся к окну Павел Андреевич.

Я потрогал щеку — кровь... Задело. Но еще милостиво. Если бы выше — в глаз, в висок...

— Орлов? — вслух думал я, зажимая порезанную щеку и вглядываясь в окно. Но ничего не было видно, только пролетал снег и дождинки.— Свет! Выключите свет! — крикнул я. Свет погасили. И все равно никого. Разве останутся тут те, кто подло и злобно метил по окнам, кто бежал сейчас, наверное, вприпрыжку с идиотским ржанием. «Конечно, Орлов. Если не сам, его друзья... Что ж!» Велел зажечь свет, подобрать стекла и камни.

— Ой! Владимир Иваныч! Вы же пораненный! У вас вся щека, шея в крови! — причитала Задорина, непривычно ласково смотрела Чуркина, болезненно сморщилась Горохова. Алябьев с Кондратьевым куда-то убежали. Павел Андреевич сурово собирал книжки в папку. В сторонке у двери озабоченный Нечесов.

— Протокол составить надо... Хулиганское нападение,— говорил Павел Андреевич.— Протокол...

— Владимир Иваныч! Платок! Нате платок! Чистый. Возьмите...— волновалась Задорина. Я стал вытирать кровь, но лишь больше размазал.

— Дайте, я... Я сама вытру,— сказала она и, потянувшись на цыпочки, легко и аккуратно стерла кровь, хотела забрать платок, но я не дал.— Владимир Иваныч! — округлила глаза.— Я бы его выстирала... Чисто...

— Еще что? Собирайтесь! Все по домам! Кончен урок...

А когда я устало спустился в вестибюль, оделся под сочувствующие охи Дарьи Степановны и вышел на улицу, на крыльцо, занесенное мокрым снегом, у крыльца стояло четверо моих девочек.

— Владимир Иваныч!

— Что такое?

— А мы вас проводим...

— Охрана! — усмехнулся я.— Идите по домам.

— Нет!— сказала Чуркина.— Мы правда вас проводим. Мы не уйдем...

И мне пришлось подчиниться. Смешно, не правда ли?

# Прокуроры и адвокаты

*Храброму не нужна длинная шпага.*

*Французская пословица*

*ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ, где вновь доказывается, что женщина храбрее мужчины, что хулиган признает только силу и что есть два разных взгляда на воспитание человека.*

Камни прилетали еще не раз и не два. Ранеными оказались Фаттахов и Соломина. Они сидели у окон. Налетчиков по-прежнему не удавалось поймать. Они разбегались трусливо и подло. В школе трижды побывала милиция в лице двух сержантов в черных дубленых полушубках. Сержанты опросили потерпевших, составили протоколы, обещали найти, посулили заглядывать почаще, и на том все кончилось. Были у милиции более важные дела или случай этот относился к числу мелких, однако никто не пришел, никто ничего не сделал. Я же нашел в один из вечеров на своем столе бумажку, выдранную из тетради. Крупными корявыми буквами на ней было начертано: «Ты проигран. Уходи из школы. Будет хуже».

Записку положил в карман. Припомнил лица сержантов. Нет, в милицию я обращаться не стану. Пугают просто. Решили на нервах поиграть.

А кто же доставил сию пакость? Решил — кроме Нечесова некому.

Но уж как-то очень не хотелось верить этому...

Шутка шуткой, угроза угрозой, а возвращаясь домой пустынной улицей, я на всякий случай приглядывался к редким встречным, раздумывал над своим положением. Такое мне было не впервой, и мальчишкой-первоклассником еще почему-то не нравился я нашим школьным задирам. Били, караулили, стращали. И в юношеские годы бывали схватки — здесь-то и преуспел. кулак у меня оказался жесткий, знакомясь с ним, постепенно научились уважать. Никогда бы не подумал, что теперь мне, учителю, опять придется выдерживать эту глупую осаду, вряд ли возможную в любой другой школе, не на окраине. Вроде бы забавно: некая темная сила грозит

мне, взрослому человеку, учителю. За что? За то, что пошел против наглости, осмелился ее потревожить, не стал прикидываться глухонемым, как прикидываются в трамваях и в автобусах, когда вваливается кучка матюгающихся наглецов. И что такое «проигран»? Разумеется, я знал. Но что мне грозит? Нож? Нападение из-за угла? Синяки? Скорее всего, это дурацкая игра на нервах. Мы еще посмотрим, какой выигрыш достанется игрокам.

На всякий случай, пока шел до остановки, припоминал полузабытые уже приемы боевого самбо. Пожалел, что не занимался им в училище как следует. О, училище! Мое училище с подтянутыми, вылощенными парнями! Кто осмелился бы там писать мне такую записку? Дичь. Чушь. Невесело как-то было. Нет, не боязнь. Что-то более гадкое, как плевок в душу. И от всего от этого хотелось поскорее уйти, вымыться чистой холодной водой и утереться сухим свежим полотенцем.

Нет, я никому не стану говорить об этой записке: ни директору, ни Павлу Андреевичу. И все-таки думалось... Вот — люди, обыкновенные, разные, один получше, другой похуже, третий и совсем почти без недостатков. Работают, учатся, ходят в кино, сердятся на соседей, играют в карты, читают, воспитывают своих детей, мечтают, влюбляются, идут, и никому из них в голову не придет бегать по улицам, таскать в карманах ножи, угрожать, мешать, оскорблять, пакостить. Считать это своим делом. И вот другие, тоже вроде бы люди. Есть руки, ноги, голова. Но голова занята, как видно, одним — что еще вытворить? Как досадить? Как наплевать в душу? А руки — что же это за руки, если они легче легкого хватаются за черенок ножа, а ноги способны лишь нагонять или хорошо улепетывать? Кто это? Люди? Нет — не люди! Это выродки. У нормального разумного человека есть стыд, есть врожденное чувство совести, чувство уважения к другим себе подобным. Нормальный человек не позволит себе без нужды поднять кулак, он не станет носить кастет или нож, не пойдет по улице с орущим магнитофоном и не будет плясать на тротуаре ночью под чьими-то окнами. На то он нормальный человек. А все перечисленное выше с удовольствием делает хулиган и дурак. Сделает зло и на тебя же ополчится, станет вечным твоим врагом. Много выходов есть, чтобы тебя не трогали. Молчи-помалки-

вай, как дядя в автобусе,— обойдут. Перебеги на другую сторону — может, не заметят. Есть и другой выход, и к нему приходят всегда, он самый главный — восстань, поднимись на хулигана. Ведь он признает только силу, только силу и ничего больше, и ты узнаешь разницу между смелым и трусом. Тебе понадобится большая храбрость, хулиган не всегда трус, как об этом твердят газеты, иногда он опаснее ядовитой змеи, но все-таки за тобой правда, и правда поможет тебе быть сильным, и если бы хулигана били все, на кого он осмеливается посягнуть, хулигана давно бы не было на земле.

Прошло несколько незаметных будничных дней. Все было спокойно. Никто не появлялся в школе, никто не устраивал нападений, хотя, на всякий случай, я пересадил весь класс на второй и третий ряды, а окна мы закрыли шторами. Должен сказать, что класс из этих событий вышел, как говорят, более сплоченным, а к пострадавшим Фаттахову и Соломиной было самое сочувственное отношение. Между тем пришла зима. За две ночи выпал глубокий снег, и все северило, несло снегом, и мы уже поговаривали идти в следующее воскресенье на лыжную базу «Локомотив» кататься всем классом. Больше всех за лыжи ратовала Чуркина, и я предполагал, что она, наверное, здорово ходит на лыжах. Маленькая Задорина во всем ее поддерживала. Впрочем, ученички мои рады поболтать на уроке о чем угодно, лишь бы не слушать, и постоянно меня провоцировали.

— Владимир Иваныч! А что сегодня в Греции?

— Владимир Иваныч. А в Египте?

— Да ну-у! Расскажите... Да мы выучим... Прочитаем...

— Владимир Иваныч! А кто такие «черные пантеры»?

— А правда, что монакский принц женат на кинозвезде?

Скажу по секрету, не всегда я удерживался от соблазна. Иногда (редко) рассказывал вовсе не то, что было записано в теме урока. И в самом деле, разве устоишь перед жадными, вопросительными, сияющими глазами? Вот ради этого даже стоит быть учителем.

Однажды, как раз во время такой беседы, в дверь всунулась круглая, лоснящаяся и пьяная голова в шапке и медленно-нагло стала обозревать класс.

— Орлов! Закройте дверь.

Обозрение продолжалось. Наконец хрипло и пьяно он изрек:

— Генка! Ну-ка, иди сюда! Пойдем, тяпнем? А?

Нечесов сидел, опустив голову.

— А-а! Бба-ишь, ссука... Его ббаишься? А ты не бойся...

— Да ты, Орлов, что? С ума сошел? — я решительно двинулся к двери. Он и не подумал скрыться.

— Иди-иди, иди сюда... Поговорим...

— Сейчас же вон! Да что это еще!

Открыл дверь и вытолкнул хулигана в коридор.

— Что-о?! Ты хвататься? За меня? А это видел? — заорал он, выхватывая откуда-то из рукава узкий блестящий нож, нечто вроде самодельного стилета.

— Нну? Ну, иди. Я тебе покажу, хвататься...

Хищно ощерясь, покачиваясь, он стоял передо мной, низенький, плотный, потерявший человеческий облик, а я растерянно смотрел, нет, не боялся, мне просто было омерзительно противно, что я стою тут, один, перед этим подонком и никому словно бы не нужно, что он оскорбляет меня, учителя, и грозится пырнуть, и что мне, учителю, остается делать: вступить с ним в бой, в драку, уподобляясь ему и теряя вместе с ним свое человеческое и учительское достоинство? Или?

И тут я понял: нет, не один я, вовсе не один — сзади, в дверях, онемело стояли Алябьев, Кондратьев, Столяров, Чуркина, Задорина и еще кто-то.

Это длилось мгновение, и вдруг, отстранив меня, вперед решительно двинулась Чуркина.

— Куда! — крикнул я, хватая ее за кофту. Но она только сильнее рванулась и, заслоняя меня, встав перед Орловым, спросила измененным не своим даже, тихим голосом:

— Нну, ты... Ты уйдешь?.. Отсюда...

— Чи-то-о-о?

— Уйдешь?

И неожиданно и ловко, со страшным проворством и силой она пнула его так, что он повалился, а нож цвенькнул о стену.

И хотя Орлов вскочил, на него обрушился такой каскад пинков и тычков, что, подгоняемый им, едва не на четвереньках, он покатился к лестнице, заорал и загремел вниз на площадку.

Я застал его там, подбирающим выброшенную шапку. Молча, зажимаясь, Орлов метнулся с лестницы и пропал.

Все это произошло в какую-нибудь минуту, так что я ничего не успел сообразить, и когда вернулся от лестницы, Чуркина стояла все еще багровая.

— Только еще приди сюда, паразит, гад! — говорила она, оглядываясь. Увидела нож, подобрала и подала мне.

Нас окружили ребята, выскочившие на шум из других классов. Холодно взирала величавая Инесса Львовна, качала головой и как бы утверждала что-то вынесенное уже давно. А... пусть.

Мы пошли в класс, не отвечая на вопросы, под восторженный галдеж.

— Тоня-то!

— Вот это Тоня!..

— Ка-ак двинет ему!

— А вы ножик-то в милицию отдайте. Или Павлу Андреевичу.

— Вещественное доказательство.

— Теперь ему будет...

А через день после столкновения меня вызвал Давыд Осипович.

Он сидел в своем новом кабинете, в новом глубоком кресле, маленький, властный, и его проницательные очки были уставлены мне в переносицу.

— Ну-с! — сказал он, указывая на стул.— Расскажите, что случилось... Впрочем, все ясно, все известно...

Я молчал. Раз известно, что я должен объяснять?

— Вот — результат,— продолжал Давыд Осипович.— Выбитые стекла... Милиция... Слава — на весь район. Теперь к нам боятся идти... Везде разговоры. Говорят, в сорок первой уже учителей убивают. Что в ней никакой дисциплины... Анархия. Развал... Кто же был прав?

— Прав был я. Считаю, что прав до сих пор. Если бы Орлов учился... Он приходил сюда творить зло. И мы воспротивились злу, раз вы не можете найти средства и силы обуздать кучку подонков.

— Вы отлично знаете, что я — не милиция.

— Такова, значит, милиция.

— Владимир Иваныч! Вы говорите недопустимые вещи!

— Почему же! Если милиция не может навести порядок, что я должен о ней говорить?
— Итак, вы считаете себя правым?
— Да. И я буду бороться с этим отребьем. Сам. Восстановлю класс. Создам дружину. И всех, кто учиняет здесь безнаказанные дебоши, мы отвадим от школы.
— Что ж! Вы будете сами участвовать в драках? — иронически спросил он.
— Если понадобится. Закон предусматривает необходимую оборону...
— Ох, Владимир Иваныч. Вам бы — прокурором!
— Тогда, если позволите, вам бы — адвокатом.
Директор, должно быть, рассердился. И я понимаю, не так, не так надо с ним говорить. Но что поделаешь, я тоже человек и у меня есть нервы, как теперь любят говорить,— эмоции...
— Владимир Иваныч! Уясните, пожалуйста, мою точку зрения. Уясните,— раздельно сказал Давыд Осипович.— Вы не поняли ее в прошлый раз — постарайтесь понять теперь. Я считаю — *неисправимых* людей нет. Учеников, молодежи — тем более. Всех *можно и нужно* воспитывать, избавлять от вредных привычек, приобщать к труду. Вы согласны? Как умный человек, вы не можете со мной не согласиться. (Вот и возрази после такой тирады.) Итак. Кто же должен воспитывать? Должны в первую очередь мы — учителя. А что делаете вы? Выкидываете ученика за дверь. Устраиваете схватки в коридоре. Вы тем самым поощряете хулиганские поступки... Поножовщину, Владимир Иваныч! Вы работаете в моей школе. И раз так, должны следовать тому, что вам предписывает администрация.
Давыд Осипович снял очки и снова надел. Такое я видел в первый раз.
— Можно ответить по пунктам? — спросил я, собираясь с духом, и, приняв молчание директора за согласие, сказал: — Если можно воспитать *всех*, то кто такие рецидивисты? Это — первое. Я выбросил, говоря вашими словами, не ученика, а хулигана, который не понимает, не желает понимать слов. Орлова обезвредила, так сказать, моя ученица, рискуя получить удар вот этим.— Я положил на стол нож.— И последнее: я работаю не в вашей, а в государственной школе и буду подчиняться велению своей совести прежде всего. Совесть

же моя говорит: хулиган — это, если хотите, враг, враг злобный и подлый, и с ним надо бороться самым решительным образом.

— Вступая в потасовки?

— Если понадобится. Но лучше всего создать комсомольскую дружину, наладить дежурство и сделать так, чтоб любой дебошир обходил школу за километр!

— Но вы же знаете, что в ШРМ нет комсомольских организаций. По уставу. Наша обязанность — учить и учиться. Что же вы? Вместо уроков будете дежурить под окнами?

— И плохо, что нет. И стоит создать внеуставную комсомольскую организацию. В иных школах они есть... А поначалу, возможно, подежурим под окнами.

Мы долго говорили с Давыдом Осиповичем. Мы разошлись не слишком довольные друг другом. Но что было делать? Мы по-разному смотрели на эти вещи, и нам трудно было найти общее. Может быть, и я не был во всем прав, может быть, еще стоило возиться с Орловым. Как бы то ни было, нападения на школу прекратились... Говорили, что открылись катки и хулиганы перекочевали туда, или в самом деле помог решительный шаг Чуркиной. Прошел месяц, стояла уже глубокая морозная зима, и понемногу все успокоилось. Успокоился и я, забыл, кажется, индийскую пословицу, которую помнил всегда и которая говорит, что поверивший врагу подобен заснувшему на вершине дерева: он проснется, упав.

## «Я люблю Вас, Владимир Иванович»

*Жизнь без любви, что год*
*без весны.*

*Туркменская пословица*

*ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ, веселая и грустная, больше о ней ничего не хочется говорить.*

К Новому году всегда как-то готовишься. Не то просто ждешь его омолаживающей свежести, не то приходит мысль, что это еще один ушедший год, не то

вспоминаются ночи тех, уже давно прожитых новогодий, когда ты был с кем-то и тебе было хорошо, и остались бликами в памяти полутьма, запах елки, перемещение бегучих огоньков на потолке, гром оркестра, чье-то лицо, чья-то щека, обращенная к тебе, талия той, с кем ты танцевал, а потом забыл и она забыла... Новый год. Он действительно всегда новый, как звон фужеров с шампанским, как его колючий, свежий и дрожжевой запах. И еще вспоминается всегда, как шел домой ночью, а вернее, утром, под бессонно горящими фонарями и как было людно на улицах, вроде бы весело, а все-таки устало, и было немного грустно оттого, что так быстро все прошло и не осталось праздника. Вспоминается и позднее утро. Часов в двенадцать просыпаешься с легкой головной болью, словно бы давящим звоном в ушах, и видишь белый снеговой свет в окно и легкое солнце, и понимаешь, что это новый свет и новый день, встаешь немножко разбитый, но радостный, и скоро усталость проходит, а радость остается вместе с легким испугом — ведь год-то едва открылся, и как он примет тебя, что принесет...

Это были воспоминания.

А в школе Новый год наступал раньше на целых два дня. И еще за неделю до новогоднего вечера все здание поступало в распоряжение самодеятельных художников и всякого рода умельцев. Художники и умельцы зубным порошком, пастой и акварелью густо расписывали окна, лепили фольговые звезды, навешивали ватные снежинки, красили лампочки, недостаток сюжетов изобретательно пополнялся. Конечно, появились на стенах и бумажный волк, и заяц, и Чебурашка, и Шапокляк, и еще какие-то забавные звери и человечки. Руководила подготовкой вечера Тоня Чуркина, избранная нынче уже председателем старостата всей школы, а в помощники ей выдвинулись из моего же класса Алябьев и Задорина. Меньше всего можно было предполагать, что бывший 10 «г» станет кузницей кадров для ученической администрации, и, надо сказать, администрация эта работала весьма усердно, взять хоть того же Алябьева, командира ученической народной дружины, которая начисто отвадила от школы всякого рода «свободных художников».

Дни перед каникулами, перед Новым годом в школе рабочей молодежи всегда довольно странные и, пожа-

луй, хорошие дни. Начиная с двадцатых чисел посещаемость стремительно убывает, но это уже не беспокоит классных руководителей. Все они знают: это не «отсев», просто отлив перед каникулами. Крепкие ученики и середнячки, накопившие оценки по всем предметам, предпочитают лишний раз не рисковать, чтоб не схватить внеочередную двойку,— они спокойны, аттестованы будут, и уже начали свои каникулы. В конце концов, учащемуся рабочему человеку не грех отдохнуть лишнюю недельку. В школу аккуратно ходят только те, кто вообще не привык пропускать ни одного дня,— отличники, активисты вроде Чуркиной, Столярова, Алябьева, и всплывают вдруг из небытия закоренелые прогульщики, лодыри и двоечники, загнанные в школу совместными усилиями классных руководителей и общественности. Уроков сплошь и рядом уже нет, а только «консультации», когда за партами мается пяток-другой кающихся грешников. Одни нагоняют, учат, третьи сдают на спасительную «трешку».

Класс, где трудились исправляющиеся, напоминал некое чистилище. Математик Аркадий Семеныч, физик Борис Борисович, литераторша Инесса Львовна и обе Нины Ивановны, немецкая и английская, только и делали, что допрашивали отстающих и отпускали грехи.

Но как бы там ни было, а Новый год стремительно близился, и последний учебный день, точнее — вечер, администрация приказала использовать на новогодний бал.

Я шел на этот вечер с непривычной спокойной радостью — на бал в школу гораздо приятнее идти, чем на уроки. Было двадцать девятое декабря — разгар предпраздничной суеты, и она ощущалась во всем: во взглядах, толкучке на остановках, в переполненных трамваях, незакрывающихся дверях магазинов, в надписях на стеклах, в дедах-морозах из витрин. Женщины суетливо тащили еще елки, то спеленутые кипарисом, то просто торчащие во все стороны оглоданные елки-палки, и, глядя на такую покупку и на женщину, думалось, как она дома будет сердито оправдываться на неодобрительное покашливание мужа и разочарованные выкрики детей. Но и эту елку в конце концов примут,

что-нибудь придумают, навтыкают веточек, украсят мишурой, обвешают игрушками, и она заблестит поддельной красотой, как девушка-стиляга, у которой ничего нет, кроме утонченной худобы, но, когда наденет она широченные штаны, сверхъяркий свитер, седой парик, туфли-платформы и повесит на бок охотничий ягдташ, замаскировав глаза голубыми очками-блюдцами, вполне сойдет за красавицу, и муж ей сыщется очень даже приличный, юный и заботливый.

А еще по утоптанным тротуарам везде лежали елочные хвостики, веточки, похожие на оперение амуровых стрел, просто зеленые иголки, и это было как дорога к новому счастью. К новому счастью. Счастья всегда ждут нового.

В тучах на западе мирно посвечивала заря. Что-то такое грустное желтело там, и ветер был мягкий, совсем не зимний и тоже счастливый. Я стоял на трамвайной остановке, поджидал свой номер, а заря все темнела, становилась бледнее, как вино, разведенное водой. Вдруг я вздрогнул — неподалеку от меня оказалась та самая девочка, которую я увидел в марте. Помните? Здесь же, на этой остановке. Девочка, которую тайно, то обманывая себя, то забывая ненадолго, я все-таки помнил, искал и ждал. Она? Точно, она... На всякий случай подошел ближе. Стала немножко взрослее и как бы печальнее, вот и шрамик над бровью, похожий на птичку. Узнает или нет? Равнодушно уставлен носик, равнодушно смотрят синеватые серые глаза. Нет. Не узнает. Не узнает, конечно. С чего бы? И все-таки какая она знакомая! Ну, теперь-то я должен не прозевать, должен действовать во что бы то ни стало. Уедет, исчезнет, и опять грызи кулаки, ищи в глупой надежде на счастливый случай. А случай-то, вот он! Дерзай. Мужайся. Господи, сколько надо храбрости, чтобы познакомиться с девчонкой. Чего боюсь-то? Отказа? Дерзости? Вроде бы не из таких она. И все-таки... Перебрал в уме способы приличного знакомства на улице — и все были не в кодексе хорошего тона, все осуждались авторами пособий по «эстетике поведения». На улице знакомиться неприлично. Нет эстетики. Выглядишь приставалой, мерзавцем. О, проклятые авторы приличий, зачем вы все это придумали? Зачем? А что, если просто: «Здравствуйте, какая хорошая погода». Смешно. Вот на пальто у нее значок. Сейчас спрошу: «Где вы купили такой чу-

десный значок?» — «В магазине»,— скажет и посмотрит как на дурака...

Подошел трамвай. Это был не мой номер, но девушка шагнула к нему, пережидая, пока, словно бы отбиваясь от наседающего противника, вывалятся встрепанные безбилетники. И непонятная сила толкнула меня в спину, вознесла на тесную, дышащую, давящую площадку, протолкнула в менее тесное нутро вагона, где я старался лишь не потерять из виду розовую пуховую шапочку. И не потерял. Наоборот, меня продвинуло, притиснуло к шапочке почти вплотную, и теперь я мог с ней заговорить. Но вот беда — язык мой совсем утратил дар речи, мысли путались. Трамвай шел в сторону новостроек и политехнического института. Что, если спросить ее про институт? А вдруг она в политехническом, в том самом, который я терпеть не мог и куда поступили все мои одноклассники? Помнится, движимый солидарностью и насмешками, я тоже один раз побывал там. На «дне открытых дверей». Прошелся по коридорам, заглянул в аудитории, в классы с машинами и манометрами и ушел, счастливый: провалитесь вы все — трубы, моторы, зубчатые передачи, какой-то там сопромат, интегралы с дифференциалами; пусть вас любят другие. И если она в политехническом, ничего у нас не состоится и нечего даже начинать разговор. От этой мысли пришло некоторое облегчение. Да и вовсе она не такая уже милая... Глупость все это... Учитель. Взрослый человек. За четверть века перешел, а ей всего-то, наверное, семнадцать. Девочка между тем опять приобрела независимо-равнодушный вид, опять уставила носик в пространство. Вот и попробуй заговори. Еще и не ответит, чего доброго, есть у них такая манера, правда, у самых глупых... И чего я поехал? Еду в противоположную сторону, а там уж вечер начался, а я ответственный за порядок... Ох...

Между тем девушка вдруг встрепенулась, начала бодро протискиваться к выходу. Близилась остановка.

Ну-ка, что бы вы сделали на моем месте?

Я, например, поехал дальше.

Теперь было уже все равно, трамвай скоро пойдет обратно, и я буду, как писал Александр Сергеевич Пушкин в «Капитанской дочке», «приближаться к месту своего назначения».

Во дворе встретил дружинников. На крыльце — Алябьев:

— А мы так... Присматриваем. Приходили тут разные... Ушли.

— Орлов?

— Нет. Он теперь не показывается. На якорь встал, говорят.

— Что-то плохо верится...

— Нет, Владимир Иваныч. Все хорошо. Будьте спокойны. Никакого хулиганства.

А вечер разгорался. В вестибюле поправляли чулки и прически, бродили какие-то ряженые и в масках. Не разберешь кто. На втором этаже танцуют, дрожит потолок.

— Эко пляшут чо! Эко место! — Дарья Степановна улыбается.— Айда и ты пляши...

А мне вовсе не весело. Хмуро поднимаюсь по лестнице, волочу ноги. Ничего мне не хочется: ни танцевать, ни быть тут. Лестница вся засыпана конфетти, завалена серпантином. Блестит, поблескивает снежком-слюдой...

— Ой! Владимир Иваныч! А что это вы? Так поздно! Мы все ждем, ждем... Беспокоимся...

Задорина. Вся так и светится. Платье клетчатое — короче некуда. Глаза излучают искорки. Волосы — теперь они темно-бронзового цвета — завязаны двумя коротенькими хвостами. Хвосты вызывающе торчат, и сама, точно тугая пружина в ней, в каком-то опасном напряжении.

«Что мне делать с этими девчонками? Не могут они не влюбляться, что ли?» — резонная мысль.

В зале у самого входа Тоня Чуркина. Сегодня она просто великолепна. Глаза подкрашены, губы и без того малина, нарядная юбка, туфли. Возле Тони Фаттахов, но она словно бы не замечает его. Не Чуркина — чудо цветущей женской красоты и здоровья. Бывают такие девушки и женщины — образец несокрушимого здоровья,— и Тоня, конечно, из них. Но взгляд мой все-таки искал еще кого-то, перебегал по лицам стоящих и танцующих, и наконец я увидел. Горохова. Лида танцевала с высоким парнем из одиннадцатого «а». В паре с ним она казалась ниже своего роста, но так же удивительна в своей северной бледной красоте. Достаточно было видеть ее лицо, полуоткрытые губы, где лунно светились жемчужины зубов. Лида Горохова и тут была

лучше всех. Даже вызывающая яркость Тони Чуркиной стушевывалась перед этим нежным блеском. Что такое природа, и как она умеет разными красками, в несхожих формах выразить, в сущности, одно и то же — красоту? И глядя на танцующую Лиду, я наконец понял, на кого похожа девочка в розовой шапочке. Смутно, неуловимо в чем, но все-таки достаточно определенно напоминала она Лиду Горохову. Только напоминала...

Танец кончился. Постепенно очистился, опустел прямоугольник посредине зала. И стало видно оркестр — пятеро усато-бородатых патластых юнцов, подражателей Шеннонов и Леннонов, с блестящими гитарами наперевес. С минуту гитары о чем-то совещались. Потом брюнетик, очень похожий на молодого Эйнштейна, объявил:

— Шейк.— Помедлив, добавил: — Дамский...

Парень был с юмором.

— Владимир Иваныч? Я... Разрешите вас пригласить! — Задорина оказалась прямо за спиной, точно ждала этого танца.

— Спасибо, Таня. Только... Немножко подождем, пусть там побольше наберется. Я плохо танцую шейк.

— Да что вы! Владимир Иваныч! Идемте. Что тут уметь?

И действительно, уметь-то было не обязательно, я просто топтался, стараясь попадать в ритм, зато за двоих трудилась моя партнерша, танцевала она лихо, так что и руки, и ноги, и голова, и все другое ходило само по себе в отдельных ритмах, а в целом сплеталось в довольно темпераментный танец, со стороны, возможно, красивый. Мельком я видел взгляд Чуркиной, удивление с осуждением в улыбке Инессы Львовны, любопытство в глазах Нины Ивановны английской. В сторонке стоял нетанцующий Столяров, в самой середине изо всех сил старался Нечесов, оттуда, как из центра вулкана, периодически вскипал восторженный визг. Это резвились «девочки» — такие есть теперь в каждой школе и в каждом институте, ну, короче, с ягдташами, которые «в штанах-то, по лесам-то»... Все-таки у меня получалось плохо. Раза два наступил Задориной на ногу... Вот медведь... И вообще я был как-то жестко напряжен, скован, что совсем не согласовалось ни с мелодией, ни с духом шейка. Размышляя позднее над танцами, я пришел к консервативному выводу. Хорош

этот шейк где-нибудь под пальмами, под южной ночью в опьяненной экстазом толпе, плох для пиджаков с галстуками, для душного зала, выглядит он здесь чужим, обезьяньим. Все-таки я его танцевал, терял авторитет... Теперь на меня и завучи смотрели.

Зато на следующий танец — медленное танго — я пригласил Тоню Чуркину. И с ней мне было как-то удобнее и спокойнее. Танцует Тоня тяжеловато, нет, видимо, достаточной практики ни у нее, ни у меня, но хотя бы я не чувствовал осуждающих уколов во взглядах коллег, и то слава богу. Учительницы как будто сговорились за мной следить, отмечать всякий шаг, и, наверное, их обижало, что танцую я с ученицами, а не с ними. Вот Нина Ивановна английская что-то говорит на ухо Нине Ивановне немецкой. А та улыбается такой ехидно-понимающей улыбкой, качает головой. Неподалеку от них, у стены, Столяров, почти рядом с ним Нечесов. Если Нечесов лихо пляшет только шейк, то Столяров вообще не танцует, не умеет, видимо. Разные эти мальчишки, очень разные, спокойный хотя бы внешне Столяров и вертячий Нечесов, но сейчас в чем-то они очень сходны. Что-то такое есть общее.

Проследив за взглядами, понял: смотрят на танцующую Горохову. Оба... И оба, должно быть, несчастны сегодня, обижены, негодуют: изменила, танцует с другим... Оба — мальчишки, глупые, неискушенные в любви, хотя, как знать, сколько они восприняли всякого «о любви» и, наверно, по-разному о ней говорят, по-разному судят.

В танцах перерыв. Ушли курить музыканты. Началась под руководством Нины Ивановны немецкой беспроигрышная лотерея: кому шоколадка, кому расческа, кому просто хорошо вымытая морковь. Хохот, крики. Библиотекарша организует какую-то амурную почту, и здесь охотников хоть отбавляй. Пишут номерки, бегают добровольные почтальоны, в их числе Задорина. Все разбежались по углам, осели у подоконников, притулились к стенам. Пишут. Разумеется, я не хочу, а вернее, не считаю возможным участвовать в игре для подростков, но отбиться от Задориной не смог. Номер мне был приколот ее собственной булавкой. А глаза-то, глаза! «Владимир Иваныч? Да что вы! Все играют. Нет-нет... Не уходите. Может, я вам написать хочу... Да, Владимир Иваныч. Ох, какой вы... А вы его не снимайте... Ладно?»

Номерок не снял. И тотчас начала поступать корреспонденция. Квадратики на манер порошков, треугольнички. Пожалуй, их было слишком много, и это обилие льстило моему самолюбию. Не человек я, что ли? А с другой стороны, здесь и подшутить могут, и зло подшутить. Школа школой, а девчонки ведь взрослые. Взять хоть моих продавщиц, вон собрались у дверей кружком, что-то пишут, хихикают. Записки я складывал в боковой карман. Прочитать, конечно, хотелось, но лучше, пожалуй, потом. Выдержу характер. Тем более я совсем не собираюсь никому отвечать. Напиши какой-нибудь Задориной, хоть два слова, а потом что? «А у меня-то от Владимира Иваныча!» Какой это фильм был? Ученицы разглядывают на уроке фотографию учителя, снятого на пляже, в плавках. А ты разве не ходишь летом на пляж? А ведь запросто могут щелкнуть. Хм... И все из-за одного: учитель! учитель! Будто не человек я... Хм... Пойду курить. Заодно и прочитаю. В коридоре снял номерок, убрал в карман. Достал первую записку, развернул: «Я вас люблю!» — О, боги! Опять... Ну-ка, в другой что? Так...— «Я люблю Вас, Владимир Иваныч!» И почерк другой. Другой почерк. Уж очень знакомый... Не Гороховой ли? А ты хотел бы, чтоб написала она? Лида Горохова. Иногда ведь и на свой внутренний вопрос ничего не отвечаешь... А почерк знакомый... Хм... Вот еще. Да это все шуточки. Дурость. А Горохова сегодня как будто очнулась. Танцует. Смеется... Что такое с ней произошло? Она ведь никогда не смеялась. Она умела только улыбаться или грустить. А сегодня Горохова смеется... Неужели это ее записка? Нет. Не может быть. Не хочу гадать. Не хочу. Выбросить? Выбрось...

Положил записку в карман. Вытащил третью. Что здесь? Так... И здесь то же самое. Тьфу... Понятно...

Словно бы в коридоре стало смеркаться. Или сильно накурено? Как противно горят лампочки. И сигарета — гадость. Сырая... Тлеет одной стороной. Когда горит одной стороной, значит, кто-то вспоминает... Как же! Вот тебе! — смял сигарету.— Конечно, розыгрыш. А ты-то думал? Эх ты: «От Гороховой». А четвертая записка Ну, так и есть... И в четвертой. А почерк мелкий, четкий, словно бы как у Чуркиной... Да, к черту вас, дряни! Скомкал записки, выбросил. Снова закурил. Смотрю в окно.

Скоро Новый год. И сегодня уже почти как в новогодье. Синее, фиолетовое небо. Огни. Ветер за створками. И легкий снежок. И месяц какой-то странный, спинкой вниз, как кораблик. Точно такой был давно, . театре. «Ночь перед рождеством». До сих пор помню этот месяц.

Понемногу я успокаиваюсь. Ладно уж, бог с ними, с девчонками. Захотели позубоскалить. Не со зла ведь. И чего я расстроился? Пойду-ка в зал. Что-то весело там, чересчур даже.

А в зале откуда-то баян. Большой тесный дышащий круг. Высокий одиннадцатиклассник, партнер Лиды, пляшет «русского». Старается... Вот уже кончил. Ему долго хлопают. Вызывают, но парень не идет. Потянули было в круг Чуркину. Не пошла, отбилась.

А возле баяниста откуда-то вдруг Нечесов, спрашивает быстро:

— Можешь?

Баянист заиграл «Цыганочку». И Нечесов... Нечесов с окаменевшим лицом, с остановившимся взглядом пошел с прихлопом, с присвистом. Откуда что взялось! Я смотрел и думал. Нет. До сих пор не знаю я даже Нечесова. Этот ведь уж, кажется, весь на виду... Плясал. Ему хлопали, кричали, баянист старался в поту. А Нечесов плясал и плясал, бледнея лицом, белея глазами. Что-то страшное, дикое было сегодня в нем. Я его едва узнавал.

Стояла в толпе, смеялась Горохова. Где угнетающее ее беспокойство? Видимо, все прошло: высокий одиннадцатиклассник что-то говорил ей. И она смеялась.

А когда пляска кончилась, ко мне вдруг быстро, раздвигая редеющую толпу, подошла Задорина:

— Владимир Иваныч, можно вас?.. Подойдите со мной... Вот в коридор...

— А здесь нельзя?

— Нет... Пожалуйста.

«Что еще там такое? Ну ладно, пойду». Торчащие в стороны жесткие желтые хвостики ведут меня к лестнице. Забавные хвостики, каждый завязан черной аптечной резинкой. На проборе волосы темные, наверное, она шатенка. Вот оборачивается. Смотрит. А я опускаю глаза. Не могу на нее смотреть в упор. Что-то мешает.

— Владимир Иваныч... Я хочу... Я давно хочу ска-

зать вам... Только вы не удивляйтесь. Не сердитесь на меня. Я... вас люблю...

Опустила голову, быстро пошла прочь, почти побежала.

О педагоги! Великие педагоги! Ян Амос Коменский, Ушинский, Макаренко! Что мне делать? Скажите! Зачем это упавшее, как камень, признание? Зачем она мне это сказала?

Редко курю, а тут опять вспомнил. Сигарету бы... Свои кончились. Пошел к курилке. Попрошу у когонибудь. Но, подойдя к туалетной комнате, я услышал выкрики, возню, удары. Открыл дверь. В «предбаннике» отчаянно дрались двое: высокий одиннадцатиклассник и Нечесов.

— Прекратить! Что такое?! Нечесов! С ума сошли? И вы тоже... Сейчас же разойтись!

Разошлись, один зло посверливая глазом, другой зажимая разбитую губу.

— Нечесов! — окликнул его в коридоре.

Не обернулся, заскакал по лестнице вниз.

В раздевалке Нечесова не было. Убежал. Без пальто...

— Разодралися, знать-то. Вот ведь петухи. Обязательно имя драться надо. И все из-за девок. Из-за девок все,— спокойно сетовала Дарья Степановна, поглядывая на часы.— Скоро хоть кончится вечер-от? Ты гляди, Владимир Иваныч, гляди за своими-то. Шибко оне у тебя беспокойные. Этот вот, Нечесов-от, кабы чо не вытворил...

«Да неужели все из-за Гороховой? — думал я.— И Нечесов? Горохова? Смешно. Во-первых, старше она его года на три. Ей уже полных девятнадцать. Ну и что? Разве...»

— Владимир Иваныч! Вот вы где. А я вас везде ищу...Дамский танец,— опять передо мной Задорина.

— Спасибо, Таня. Но ведь пока мы идем, он кончится!

— Ну и что? А я вас на следующий приглашу.

— Если вдруг там опять какой-нибудь шейк?

— А мы тихонечко.

«Мы!» Уже «мы»,— подумал я.— До чего же смела эта Задорина. «Мы». Это мне совсем не нравится. Панибратством уже попахивает. Собственностью какой-то... Еще этого не хватало.

Шли-подымались по лестнице, покосился и увидел: глаза у Задориной в слезах. Губы не то шепчут, не то трясутся.

Решил: станцую еще раз и уйду. Хватит! Какой-то водопад сегодня. Молодой я, что ли? Ведь я все-таки не кто-нибудь. А от кого же все те записки? Все как насмешка!

Оделся, ощущая даже некую торопливость, словно за мной была и чуялась погоня. Вышел.

Хлопнула дверь, вздохнул облегченнее. Хорошо было... Свежо и тепло для зимы. Грустно пахло оттепелью, мягкой зимней ночью, спящими крышами и чуть-чуть заводской гарью. Но запах этой гари не раздражал — наоборот, как бы успокаивал, говорил: а жизнь идет, завод работает, люди не спят — и все хорошо.

Медленно вышел из школьной ограды, намереваясь так же спокойно идти к трамваю, и наткнулся на Нечесова. Он стоял с выломленной штакетиной.

— Что это? Ну-ка, пойдем домой...

— Нет.

— Дуэль?

— Пускай он не...

— Что «не»?

— Да так...

— Друг мой,— сказал я, беря у него штакетину,— ты ее тут выломал? Ну-ка, забей обратно. Вот и гвозди торчат. Забивай, забивай...

Нехотя он повиновался. Несколько раз ударил кулаком, ногой. Штакетина встала на место.

— А теперь пошли. Ведь по пути?

Нехотя он побрел рядом, прикладывая ладонь к разбитой губе, сплевывая в снег, молчал. Молчал совсем по-взрослому. Даже чем-то мне понравился. Узнаю Нечесова...

— Из-за женщины сражаться надо только в одном случае...— сказал я, медленно подбирая слова.

Нечесов испуганно взглянул.

— ...если ты защищаешь ее честь. Понял?

Нечесов вздохнул, глядел под ноги.

— Так?

— Не из-за нее вовсе.

— А я просто предположил.

Молчание.

Уже подходили к трамвайной остановке, когда сзади

раздался топот. Обернулись оба, увидели догоняющую женскую фигуру в коротеньком распахнутом пальто с песцовым воротником.

— Владимир Иваныч!

Это была Задорина. Я остановился. Остановился было и Нечесов, но, вздохнув, деликатно пошел вперед.

— Владимир Иваныч? Почему вы ушли? Ну почему? — запыхавшись, говорила она.— Вы ненавидите меня, Владимир Иваныч? Владимир Иваныч...

А в голосе слезы. А губы трясутся. Глаза косят.

— Задорина!

— Владимир Иваныч! Я... я... Я же люблю вас... Давно... Как только вы пришли... А вы...

— Задорина...

Всхлипывает. Шмыгает. Полуотвернулась.

— Ну, вот что! — сказал я как можно строже.— Я все понял. Но ты забываешь, что я учитель, а ты — ученица. Спасибо тебе. И... иди домой. Сейчас же... Иди, Таня.

Она ошалело глянула на меня через размазавшиеся, потекшие ресницы и отшатнулась, побежала назад.

«Сумасшедшая...» — озлобленно как-то думал я, ускоряя шаг. Завидел поворачивающий трамвай и побежал, рядом бежал Нечесов. Мне показалось, что он слышал все.

— С ума вы все посходили! — сердито и впрямь сердито сказал я.

Мы без приключений доехали до моей остановки и вышли вместе.

— Можно, я вас провожу?

— Пойдем...

И опять молчание. Так до самого дома.

— Зайдешь в гости? У меня аквариум есть. Рыбки...

— Не-а...

— Как же ты сейчас домой? Может, ночуешь у меня? Или проводить?

— Хэ...— сказал он, и в первый раз на его лице мелькнуло подобие усмешки.

— Тогда — домой! А вообще-то, заглядывай. Квартира двадцать семь. Вот эта, рядом с лоджией...

Через день рано утром я проснулся одновременно от звонка и стука в дверь.

— Кто это там еще ломится? — изумленно бормотал я, крикнул: — Сейчас! Погодите...— И торопливо оделся, босиком пошел отворять.

На пороге стоял Нечесов.

— Заходи,— сказал я, протирая глаза.— Что там?

— ВладимВаныч! Беда... Горохова умерла... Совсем. Говорят, отравилась...

— Что ты еще врешь?! — крикнул я.

— Нет...— сказал он как будто шепотом.

И я услышал, как нестерпимо громко зудит в коридоре счетчик...

## Экзамен

*Будь жесток к себе, если не хочешь,*
*чтобы другие были к тебе жестоки.*

*Л. Леонов*

*ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ, в которой рассказано об экзаменах, о том, как один классный руководитель поступил вопреки этике, а один ученик целиком последовал ему.*

И наступило то неопределенное время, когда ты уже словно бы не учитель, а они — не ученики...

Вчера был последний звонок. Слушали стоя, торжественно, молча. И за ту долгую-долгую-долгую минуту, пока он звенел и звенел, как бы отдаваясь в каждом стоящем, я успел оглядеть всех и во всех нашел одно — можно так сказать? — удивительное, прекрасное выражение, которое родила школа: передо мной, притихнув, стояли торжественные, улыбающиеся и светлеющие от этих улыбок умные люди. Да-с! Умные. Нет, совсем не те, не те, что встретили меня два года назад разбродной компанией, дикари и отщепенцы с выражением скуки, ехидства, презрения — всяк по-своему. Иной был свет глаз, иное выражение губ, даже словно бы лбов и скул. То же самое отметил я осенью, после каникул, но теперь все было полнее, яснее и завершеннее.

Вопрос к себе: не изменился ли ты, классный руководитель? Не стал ли и ты совершеннее? И твои глаза, лоб и скулы запечатлели совершенное? Как знать... Наверное. Себя ведь не видно со стороны. А если и видишь в каком-нибудь зеркале, так там ты весь чужой, незна-

комы твои движения, незнакомы профиль и затылок. Так же не узнаешь свой голос, записанный на магнитофонную ленту. Всегда, видимо, есть ты в себе, не видный никому, и ты для всех, и здесь ты яснее другим, зато для себя совсем не понятен.

Итак, передо мной ученики, но уже не учащиеся...

После звонка Чуркина вышла к доске, записала график консультаций, я же добавил, что, по обыкновению, буду приходить в учебные дни на нулевой урок, и кто хочет консультироваться у меня, пускай приходит.

Один общий вздох облегчения! И сразу говор, смех, стук и двигание стульев, шутливая перепалка, щелкание портфельных замков, чей-то визг и опять смех. Всё...

Напоследок грозным голосом Чуркина сказала:

— Ну, вы! Только попробуйте проспать на сочинение! Нечесов! Тебе особо! И вам! — ребятам из ПТУ.

Называю ребятами, а они нынче догнали меня по росту, говорят басом, курят как извозчики.

— Первого, к полдевятому, чтобы все здесь... По головам считать буду!

Черные брови заходят одна над другой.

Опустел класс. Чуркина всегда идет последней, а тут что-то задержалась, и я уж знаю: опять какие-то «новости». Вот прошлась вдоль ряда, вдоль доски, стерла уже стертую запись и медленно вытерла руки, положила тряпку. Не решается сказать, что ли? Смотрю с удивлением и вопросом. Дернула губами. Вздохнула.

— Что там?

— Владимир Иваныч. У меня... у меня... Ну, просьба...

— ?

— Пускай Нечесов на сочинение садится впереди меня.

— Это еще зачем?

— Ну... (Неужели не понимаете?)

— Это вы могли бы и без меня согласовать — кому где садиться. Обязательно санкции нужны?

— Владимир Иваныч! Он же иначе не напишет. Ассистент-то у нас Инесса... Инесса Львовна.

— Значит, будешь спасать Нечесова?

Вороночка на щеке. Глаза улыбаются. А правая бровь как у трагика. Высоко.

— Всех не спасешь. А Павел Андреевич? А Мазин? Он-то, пожалуй, еще хуже...

— Павел Андреевич сзади меня сядет. Уж договорились... Он — дальнозоркий...

— Тоня? Что это вы еще придумали? Почему обязательно я должен вам в этом помогать? В конце концов, и молчали бы...

— Ну, я никому и не говорю. Только вам.

— Спасибо. Значит, я — никто?

Смутилась. Вздохнула. Заалела густо.

— Владимир Иваныч. Да как же быть-то? Аттестат ведь всем надо. Я уж думала, думала... Все-таки вы прикажите Нечесову.

— Ничего я не понимаю. Зачем приказывать? Что он, сам себе враг?

— Да, Владимир Иваныч! Все же просто. Он же с ума сходит! Он же ничего не делает. Не готовится. Не учит... Как убитый ходит! И экзамены не хочет сдавать. Мы уже его все уговариваем, а он молчит или ругается, убегает. А вчера, я видела, стоит у забора и ревет. Вот честное слово! Сама видела. Меня он теперь не слушает. Вот я и говорю: прикажите ему...

— А что с ним такое?

— Владимир Иваныч... Он же любил Лиду Горохову. Я это давно поняла. Он и Столяров... Только он виду не показывал и не подходил к ней никогда. Он ее издали любил. Правда... Ой, господи! Как это все ужасно. За что она погибла... До сих пор не опомнюсь. Не верится мне.

И здесь пора сказать о том, с чего надо было начать. Это было действительно просто и ужасно. Лиду Горохову нашли через сутки после того новогоднего вечера. Нашли ее ребятишки, игравшие с собаками, в сосняке у переезда, недалеко от дома, где она жила.

В детективных повестях, в рассказах о милиции на последней полосе вечерних газет всегда все выглядит очень здорово. На месте преступления обязательно находятся улики, скажем, пуговка с одежды преступника, перчатка, ботинок, нож, на худой конец трамвайный билет, и далее, как клубок ниток, распутывается вся история. А здесь не было ни пуговиц, ни следов-улик, была Лида Горохова, мертвая, занесенная снегом. Ничего не открыла и сыскная собака (тот самый Джек, который в повестях всегда берет след). Здесь Джек посовался из стороны в сторону, покрутился на месте и вернулся к проводнику. Это было очень трудное, тяже-

лое, неоткрывшееся дело. Всю последнюю четверть я ходил в милицию, встречался со следователями, с участковым, бывал в прокуратуре. Следствие установило: Горохова отравилась. Приняла чрезмерную дозу «одного лекарства», как сказали мне в следственном отделе. И спросили тут же: «Не знаете случайно, ей никто не грозил? А может быть, вы в курсе, с кем она дружила?»

Здесь я был действительно «не в курсе». Кроме Столярова, о котором у меня не поворачивался язык говорить, да было бы и глупо, я ничего не знал, не предполагал, не мог представить. Парень из одиннадцатого «а» показал, что проводил Лиду до переезда, а там она пошла одна, не велела провожать. Был он напуган, так дрожал, искренне оправдывался, что и не посвященному в уголовные истории было ясно: он ни при чем. Столь же отчаянно, с возмущением оправдывался Орлов. Как и его родители, и все известные наперечет в отделе его друзья в голос утверждали, что в тот вечер он был дома, был пьян, никуда не отлучался. Последнее показание дала соседка. И она подтвердила: видела Орлова вечером дома, на лавочке, пьяного. Потом он ушел домой. Полное алиби. И все-таки в гибели Гороховой было нечто невыносимое. И это невыносимое лежало на мне, на Чуркиной, на всем классе. Я понимал это и ничего не мог сделать. В последней четверти едва не бросил школу Столяров, и много пришлось с ним повозиться, спасать от шока. Нечесов вел себя странно. В классе был тих, на улице, как стало известно, снова связался с компанией Орлова, прогуливал через день, но двоек не набирал, допущен к экзаменам по всем предметам.

Не так давно меня снова пригласили к следователю, теперь уже не в милицию, а в прокуратуру. Новый следователь принял радушно, точно мы были век знакомы, именовал по имени-отчеству и сам был слишком уж не похож на детектива. Невзрачный мужчина лет за сорок, похожий скорее на конторщика, на счетовода, ничего в его взгляде не было ни проницательного, ни милицейского. Обыкновеннейший человек за обыкновенным канцелярским столом, следователь был в мятом синем пиджаке с каким-то значком на лацкане. И курил «Беломор». Мне закурить не предлагал.

Следователь извинился за беспокойство — мне и в

самом деле было беспокойно, как-то тягостно — и сказал, глядя в раскрытую папку:

— Не поможете ли вы нам хоть чем-то в выяснении следующей детали... Ваша ученица, точнее, Горохова Лидия, она ведь, как показала экспертиза, была... точнее, готовилась быть матерью... И не захотела, выпила чрезмерную дозу этого... средства. Не добавите ли вы к следствию хотя бы что-то... Так сказать, проясняющее ее взаимоотношения с кем-либо из учащихся?

Горохова? Матерью? Да это что же?! Откуда? Ведь скромнее Лиды Гороховой в моем классе не было никого! Здесь речь идет, по-видимому, о неоформленном замужестве... Что же, Горохова могла и не докладывать мне о своей личной жизни. Она взрослая, совершеннолетняя. И все-таки я ничего не мог понять... Тихий омут? Лида Горохова?! А тот высокий парень, с которым она танцевала на вечере? А Орлов? Нет. Невозможно. Все это какая-то дичь...

— Вы уверены?..— робко спросил я. Но следователь только иронически качнул головой, давая понять, что мой вопрос — глупость

— Итак, вы ничего не сможете добавить? Даже предположительно? — он помрачнел.— Ну что ж... Жаль... А здесь ведь, кажется, ключ к гибели девушки...

Я вышел из прокуратуры как бы оглушенный. Долго шел, не замечая даже, где иду, куда, по какой стороне. Очнулся перед перекрестком. Какую жизнь вела Лида Горохова? Да что я мог сказать? Одно только — самую чистую, самую скромную, трудовую. Конечно, такая красавица не могла быть одной. К ней тянуло. Вероятно, у нее были друзья, и, возможно, была любовь... Но ведь Горохова не делилась со мной ничем. А в эту осень и зиму была даже строго отделена каким-то непонятным мне холодным барьером.

Вот все мудрые педагоги обязательно познавали своих учеников. Возможно, они были провидцами, возможно, что, работая с учениками годы, десятки лет, полустолетия, и в самом деле обретешь такое качество — проникать в глубь характеров, хватать все на лету, уподобишься ясновидящему и пророку, по ничтожному следу начнешь открывать чужие житейские драмы, но я-то ведь только начинающий, и, хотя несу ответственность за каждого своего ученика, ответственность моя все-таки не распространяется на личную жизнь учеников, и в

особенности девушек. Ну, будь бы я хоть в возрасте, когда годятся в отцы, в деды, вот как Яков Никифорович Барма, тогда еще пожалуй, но как восприняла бы мои спросы-расспросы Лида Горохова, если классному руководителю всего двадцать пять? Прихожу к выводу: не рано ли быть таким руководителем, да еще в школе, где ученики бывают и постарше...

Да вот, если хотите, теперь с каждым годом труднее становится проникать в души людей. Да-с! Сейчас это в сто раз труднее, чем было двадцать лет назад, а дальше будет еще сложнее. Люди становятся индивидуальнее, избирательнее, строже, отчужденнее, что ли... А молодежь особенно. (Вы видите — прямой результат моей профессии — уже не причисляю себя к молодежи.) А я ведь старался... Я ведь не был к ней, Гороховой, равнодушен. Даже боялся, чтобы мое это неравнодушие как-то не открыли... И все-таки как я мог представить все, что случилось?

Так я успокаивал себя и свою учительскую совесть. А она — ныла, и никакие оправдания не заглушали ничего.

Когда мы с Чуркиной вышли из школы и потихоньку добрались до трамвайного кольца, она вдруг спросила адрес Нечесова. Я припомнил. Тогда она расстегнула на колене свой портфельчик, достала ручку, записала.

— Личное шефство, что ли?

Она посмотрела усталым, задумчиво-углубленным взглядом. За последнее время она как-то осунулась, даже словно бы похудела. Глаза смотрели воспаленно.

— Тебе, Тоня, надо бы отдохнуть. Не высыпаешься?

Она не ответила, застегнула портфель и тогда подняла голову:

— Я вам не нужна? Ну, тогда до свидания... До сочинения...

Она ушла так же устало и задумчиво.

Поглядел ей вслед. Подумал: пожалуй, все время она мне, действительно, была нужна. Я так привык к ней, особенно за этот год, что просто не хотел представить, как в скором времени буду обходиться без Чуркиной, без ее уверенного и всегда умного слова.

Первый экзамен. Первое июня. Солнечный, свежий, залитый золотом день. Легкие облачка. Ветки сирени.

Сиренью с утра пропахла вся школа. Букеты на столах в учительской, букеты в классах, букеты на подоконниках. Дочиста промытые коридоры. Распахнутые окна. Нарядные учителя со свадебным блеском в глазах. Борис Борисович, Инесса Львовна, Нины Ивановны, желчная химичка Анна Павловна. Хлопотуша библиотекарша с красной повязкой перепуганной курицей бегает по коридору, суетится по учительской: «Ой, Вера Антоновна не опоздала бы... Ой, что это, ассистенты не все... Ой, промокашек мало».— «Да успокойтесь вы! Все наладится, найдется».— «Ой, что вы! Сама сегодня чуть не опоздала. Встаю в шесть, пока завтрак мужу готовила, дочери косы заплела. У нее волосы — прямо золото... Вот и чуть не опоздала. Бегом на трамвай...»

В классах члены комиссий раскладывали проштампованные тетрадки по две на душу. Черновая и беловая. На дворе толпятся «именинники». Разговор, конечно, о темах. Распространяются сенсации. Утром кто-то из какой-то школы звонил во Владивосток. Там уже пишут. Темы... «Да брось ты! — слышатся голоса.— У нас другие дадут».— «А вот погодите!» — вещает прорицатель, жадно листает учебник. Около, через плечо, заглядывают сомневающиеся. Классные руководители одиннадцатых и восьмых озабочены. Считают своих... Все ли?

У меня нет четверых: Фаттахова, Мазина, Нечесова, Чуркиной. За Чуркину вроде бы грех волноваться. А все-таки где же она? Вот не было печали! Староста исчезла. А сама же предупреждала. До звонка пятнадцать минут... Десять минут... Пять... Появляется заспанный Фаттахов. Глаза у́же обычного, на затылке торчит черный хохолок... «Панимаите... будилник подвел. Ни слыхал будилник...» Две минуты... Чувствую покалывающий озноб в спине... Одна минута... Появляется еще более заспанный Мазин. Зевает на ходу. Завидное хладнокровие. Даже не ругаю его. Махнул. Да где же Чуркина? Звонок... Дежурные командуют строиться по классам. Администрация с крыльца поздравляет с началом экзаменов. Давыд Осипович внушителен, как никогда: коричневый костюм, белейшая рубашка, достойные штиблеты, новый галстук, по бокам завучи в строгих очках. Жду, не появится ли на горизонте заврайоно. Нет. Не появился. Давыд Осипович делает дирижерский знак библиотекарше, и классы пошли... Нет Чуркиной, Нечесова. С трудом сохраняю самообладание...

— Владимир Иваныч! Ведите класс. У вас все дома? — администрация изволит шутить.

— Да... То есть нет...

— Что такое?

— Двое запаздывают.

— Безобразие. Безответственность... Все-таки ведите... Семеро одного не ждут. Не допустим к экзаменам.

Уже вижу соответствующую случаю улыбку Инессы Львовны. Поворачиваюсь, чтобы следовать за классом. И — гора с плеч: в воротцах растрепанная, гневная Чуркина, за ней, опустив голову, Нечесов.

— Вот вы его спросите. Вы его спросите...— тяжело дышит.— Ну, можно сказать, с кровати стащила. Ой, не могу... От самого трамвая бегом...

— Нечесов! — роняю я сурово, но Нечесов только молча взглядывает и — мимо, рубашка на плече порвана, стоптанные ботинки, немытая шея. Выпускник...

Иду в класс. Позади величественно плывет Инесса Львовна. У класса бледная, сдержанно непроницаемая Вера Антоновна. Давыд Осипович вносит пакет. Пять сургучных печатей. Слышно, как они хрустят, как шелестит в трудной тишине развернутая бумажка.

Нет, я не буду рассказывать, как писали сочинение. «Образ Ниловны...», «Проблема лишнего человека...», «Давыдов и Нагульнов — характерные представители...». Не стану рассказывать, как проверялись эти сочинения. Как настойчиво комиссия изучала черновики, когда грозила двойка. Ведь если в черновике верно, ошибку можно не считать. Мудрые так и писали: в беловом варианте «о», в черновике «а», в одном случае — запятая, в другом — нет запятой. И все-таки Вера Антоновна молодец. В иных-прочих школах, говорят, работы проверяют сразу двумя ручками: одна красная, другая фиолетовая. У нас такого не было. Не было такого у нас. К тому же, вы не забыли, что на экзамене присутствовала Инесса Львовна?

И, наверное, не стоит повествовать, как сдавали все другие экзамены.

Все было так, как бывает всегда, во всех школах и на всех экзаменах: неожиданные удачи, вытаскивание нерадивых, непредусмотренные срывы, шпаргалки, обнаруженные в парте после экзамена, и мало ли что еще. Задориной на физике потребовались валерьяновые капли. Чуркина сорвалась на химии, получила тройку и

разрыдалась так, что я думал, не вызвать ли «скорую помощь», а Кондратьев «схватил» двойку по немецкому. Разрешили пересдать. Много было всего. Последним экзаменом в расписании стояла история с обществоведением, и мне загодя уже было не по себе. Во-первых, экзамен-то, в сущности, двойной. Два предмета — две оценки. Во-вторых, материалу — горы. В-третьих, сорок билетов. Одних дат — голова распухнет. В-четвертых, ассистентом — Инесса Львовна. В-пятых, на историю обязательно кто-нибудь «нагрянет» из районо, из гороно, из райкома партии могут. Не придут на математику, не заглянут на химию и на немецкий, на историю — явятся. Об этом меня заранее предупредил директор, да и сам я уж знал. Был у нас в районе старичок, общественный инспектор. Его-то и боялись учителя пуще огня. Придет такой седенький, вежливый, с улыбочкой и начинает вопросы подсовывать, эрудицию выказывать, и не отвечает сам ни за что, ничем его не проймешь — пенсионер, общественник...

С такими горькими раздумьями шел на первую консультацию. Четыре дня подготовки. Решил дать четыре консультации. Класс застал в сборе весь. Даже обрадовался столь высокой активности. Но, приглядевшись к лицам, понял: беда! Все устали, все вымотались, отупели и сейчас уже не только не боятся экзамена (не то слово, не то), а вообще всем все равно и сдавать будут плохо, вяло, в расчете на авось, экзамен-то последний.

Что мне было делать? Запугивать? Подстегивать? Понукать без того усталый класс? Произносить патетические речи? Что, мол, так и так, не посрамим честь школы, честь класса (и мою учительскую честь)? И я понял: классу нужен толчок, взрыв, стресс. Так и только так! Не знаю, как это мне пришло. Может быть, после жалобного возгласа Задориной: «Ой, Владимир Иваныч, ничего, ничегошеньки не запоминается...» — сработал механизм интуиции, пришло решение. Или я просто увидел у Осокиной великолепно сработанную шпаргалку в виде двойной гармошки?..

Я сказал:

— Сегодня, завтра и послезавтра будем писать шпаргалки на все билеты...

Подошел к двери, выглянул, закрыл поплотнее.

— Ясно?

Радостное удивление в глазах Нечесова. Восторг в глазах Задориной. Размышление в глазах Чуркиной. Недоверие в глазах Алябьева. Ожидание в глазах Осокиной. Снисходительность в глазах Павла Андреевича (ладно, чего уж там) и так далее — все оттенки чувств.

— Итак. Не будем медлить. Всем достать бумагу. Экономить место. Важнейшее буду повторять. Это подчеркивайте. Оставить широкие поля. Для дополнений дома. Ясно? Начали... Билет первый...

И мы—начали. Это был египетский труд, подобный шлифовке камней для пирамид. Главное я заставлял подчеркивать, обводить рамкой, запоминать. Я долбил это главное, разжевывал, заставлял повторять. Три дня класс, словно обретший второе дыхание, трудился по восемь часов. И вот результат. Великолепные шпаргалки со всеми выводами, датами, планами ответа. Высший класс. Еще бы! Руководил — сам учитель. На четвертый день к вечеру я велел всем явиться с дополнениями на полях шпаргалок и убедился: сделали на совесть, записали, подчеркнули, выделили, обвели...

Как много потерял я за эти четыре дня! Почти все уважение, весь авторитет и почти все признаки руководителя. Учитель, который учит писать шпаргалки по собственному предмету? Что там авторитет, я потерял килограммов пять весу и — голос. Горло скрипело. Пересохли губы. А морщины на лбу теперь уже не стоило искусственно углублять. Закончил собеседование. Велел всем идти домой и выспаться часов до пяти. С пяти до восьми повторить слабые места.

— Можно вопрос? — Нечесов, вяло.

— Конечно...

— Как их использовать-то?

— Что?

— А шпоры-то...

— Как пользоваться шпаргалками, объясню завтра, перед экзаменом. Все по домам!

Ушли не оглядываясь. Вот как можно подорвать авторитет. И опять осталась Чуркина. Медленно собирал я в портфель свои конспекты, книги, тетради. Собрал. Сел. Спина ныла. И ни на что не хотелось смотреть.

— Владимир Иваныч? — Чуркина шла ко мне.— Вы... Вы это нарочно? Да?

— А как ты думаешь?

— Я не знаю. Я только хочу сказать вам...

— Что я поступаю неверно?

— Да.

— Что ты меня теперь перестала уважать?

— ...

— Слушай, неужели ты не поняла, что это — игра? Что я нарочно пошел на игру. Надо было вас потрясти, настроить на активную работу. И вы работали. Вы старались. Вы — учили. Есть такая наука, психология. Советую почитать. Изучить. Тебе пригодится.

Широко раскрытые радостные глаза. Они редко бывают радостными, эти северные глаза. И в них радость за меня, за себя, за то, что не обманулась в чем-то.

— Завтра, перед экзаменом, соберешь эти бумаги. Все, у всех! Отвечаешь головой. Поняла?!

— Ой, Владимир Иваныч! Я же догадывалась... Я же все думала... Ну, какой вы... Ну, хоть бы мне-то сказали.

— Вот видишь, авторитет легко потерять, но и восстановить тоже можно. А, Тоня? В каком году был съезд индустриализации?

— Ну, Владимир Иваныч. В двадцать пятом.

— Коллективизации?

— В двадцать седьмом. Все, все запомнила!

Класс с блеском сдал последний экзамен. Пятерка у Нечесова, у Чуркиной, Столярова, Алябьева, Задориной, Соломиной. Четверки у большинства, и всего две тройки — у Мазина и Раи Сафиной. Ни одной натяжки, ни одной шпаргалки — даже после придирчивого обследования парт членом комиссии Инессой Львовной. Улыбка Инессы Львовны так и осталась ожидающей.

Я выслушал устное поздравление администрации. Я увидел одобрение за очками завучей.

— А говорят, вы с ними вместе писали... шпаргалки,— все-таки заметила Инесса Львовна.

— Не только писал, но и научил пользоваться так, что никто ничего не видел, даже вы,— съязвил я. Мне было хорошо. Я был именинник. Мы сдали. Мы хорошо сдали. Кто работал учителем выпускных классов, тот, конечно, знает, какая лавина скатывается вдруг, когда закончен последний экзамен.

Однако и теперь класс не разбежался сразу же после объявления оценок. Все ждали меня у крыльца. И у всех

были радостно-растерянные и суровые лица, у всех одновременно.

— Владимир Иваныч, знаете... Ну, мы решили сейчас сходить на кладбище. К Лиде... Унесем цветы...

Я смутился. Они поправили меня. Поставили на ноги.

— А где же цветы?

— А уже побежали Задорина с Бочкиной. И Столяров...

Кладбище было сразу за железной дорогой, на глинистом пустыре. Много в русской литературе описано этих печальных мест, но, наверное, не было ничего безотраднее такого вот новосельного кладбища, где еще не разрослись деревья, а торчали только рядки первых маленьких полузасохлых тополей и березок. Не было здесь ни высоких сосен, предвечно шумящих над усопшими, не было памятников, мраморных урн и часовен, не было и безвестных в крапиве могил. Были глинистые бугры, ямы, нарытые спешно, как окопы, были бумажные цветы, выгоревшие под ярким весенним солнцем, жалкие сварные пирамидки и зеленая жесть венков. Всем лежащим тут не минуло и двух лет.

Лида. Ее улыбчивые теплые глаза смотрели на нас с фотографии, слегка покоробленной весенними дождями. И многие девочки заплакали вслед за Чуркиной, а парни стояли потупясь... Всем нам было тяжело. Как слепой, бродил, спотыкаясь, Нечесов, кусал губы Алябьев, Фаттахов и совсем отвернулся, смахивая слезы... И как чугун давила неразрешимая мысль: почему, почему оказалась здесь эта девушка, может быть, самая лучшая среди нас, что за подлая сила заставила ее уйти из жизни и где тот, невозможно назвать его человеком, кто посягнул на эту жизнь?.. Неужели так все и останется и никто не ответит ничем? Я снова поглядел на Нечесова. Я второй раз видел такие белые безжизненные глаза. И почему мне вспомнилась та его глупая песенка о русалке, в самом начале нашего знакомства?

Проплакались, стали улаживать могилу, кто-то принес лопату, бегали за дерном, и примерно через час глинистый холмик принял ухоженный вид, зазеленел травинками. На нем лежали белые и красные тюльпаны.

— Памятник бы...— сказала Чуркина, тяжело хмурясь.— Мы узнавали... Там очередь. А деньги бы собрали. Возьму адреса... Надо памятник. Где хоть этот Витька? Столяров где? — она обернулась к линии.

Словно в ответ на ее вопрос, на насыпи показался Столяров. Сгибаясь, он нес что-то тяжелое, овальной формы, издали похожее на венок. Таращась, запаленно дыша, он подошел и поставил его у могилы. Не слушал и не слышал ни возгласов удивления, ни похвал, потупленно отпыхивался. Все мы смотрели. Он принес настоящий памятник Лиде. Это был дубовый венок из тюльпанов, лилий, узорных листьев, на котором сидела печальная русалка с лицом Лиды Гороховой.

Мы ушли. Было тяжело уходить. Дольше всех задержался у Лидиной могилы Нечесов, потом внезапно обогнал нас и убежал. Мне было не по себе, и я машинально пошел к краю кладбища: там женская фигурка чем-то привлекла мое внимание. Девушка ставила цветы в стеклянную банку на совсем еще свежей могиле. Заслышав шаги, подняла голову. Это была о н а, та самая девочка со шрамиком-птичкой над бровью. Я остановился, пораженный донельзя. Как? Откуда она здесь? Почему... Но, посмотрев на табличку, понял все и сразу.

«Яков Никифорович Барма»,— было написано на ней.

И девочка узнала меня. Улыбнулась сквозь блестевшие слезы.

— Как же так случилось? — спрашивал я, когда вдвоем мы тихо шли к трамвайной остановке.

— Все просто... Дом у нас снесли. Дали квартиру. Вроде бы хорошую... А он и мама никак не могут привыкнуть. Не спят Мучаются... Завод какой-то поблизости гудит. Автомашины... Мне-то еще ничего. Я-то... А папа не смог. Правда, он и до этого болел, а тут и вовсе... Сейчас я в этой квартире жить не могу. И мама тоже. Меняться будем... Или уедем.

Я вспомнил про свой долг:

— Знаете, книга у меня. Ле Дантек. Ваша...

— Ну что же... Оставьте ее себе. На память. Папа вас вспоминал, хвалил... А к нам — заходите. Если надумаете... Адрес...

Так я остался владельцем книги «Эгоизм как единственная основа всякого общества» в память о человеке, вся жизнь которого была словно бы опровержением Ле Дантека. Ехал в трамвае, и так смешанно, странно

было все. Я скорбел, не мог забыть и не хотел забывать глаза Лиды Гороховой, и все еще не уяснил, не уложил в своем представлении мысль, что и Якова Никифоровича, Бармалея, уже нет. Что и он уже — был. Что, как и Лида Горохова, он остался навсегда на тех печальных глинистых буграх, пропеченных солнцем. И в то же время я постоянно встречал ясный взгляд синесерых, очень доверчивых глаз, ловил в них легонькую грустную улыбку, и шрамик-птичка был теперь совсем рядом, около моего плеча. А еще я знал, что ничего в мире не бывает случайного, что случайность — проявление неизбежности, и как ты тут ни крутись, никуда от нее не уйдешь...

Поздно вечером звонок поднял меня с постели. Я не спал, и невозможно было уснуть. Актер музкомедии за стеной праздновал, должно быть, отъезд на гастроли. Праздновал он широко, с друзьями, с подругами. А так как празднество все-таки обещало мне два месяца полной тишины, я решил терпеть и уже в четвертый раз слушал песенку Окуджавы, как «в поход на чужую страну собирался король — ему королева мешок сухарей насушила-а-а...» Артист очень любил песенку про короля, включал до восьми раз, сообразно со степенью веселья и опьянения.

Пока я спешно одевался, звонок прозвенел трижды, все дольше и настойчивей.

Открыл. На пороге стоял Нечесов.

— Что? Опять что-нибудь? Заходи! — спрашивал я с тревогой.

Он кивнул.

— Да что? Не молчи!

— Владимир Иваныч,— глядел сузившимися больными глазами,— я знаю... кто убил Горохову... Это Орлов... Его ребята...

— Как?!

— Владимир Иваныч... Они... Они ведь ее... Они ее изнасиловали. Еще летом... А она молчала... Она не хотела никому говорить.

— Ты знал?!

Нечесов искал что-то глазами вокруг себя.

У меня опустились руки, и я почувствовал, что стою босой перед ним, перед учеником.

— Садись,— сказал я, указывая на стул, и Нечесов сел, тяжело облокотился на стол, не смотрел на меня.

— Откуда ты знаешь? — повторил я, глядя на его затылок, где волосы закручивались спиралью и была белая бороздка, давний шрам.

Что-то стукнуло о стол, еще и еще. И я понял, что Нечесов плачет.

Так же, не оборачиваясь, он провел кулаком по лицу. И вдруг раскрыл этот кулак, протянул мне на ладони обрывок тонкой позолоченной цепочки.

— Что это? Откуда?

— Владимир Иваныч... Вы ведь видели... Раньше это она... Она носила.

— Не помню что-то... Вроде бы.

— Носила... Витька Столяров помнит. Девчонки... Спросите... Хоть у кого...

— А где ты ее взял?

— А вот... Вы... Я .. Я давно об этом знал. От ребят... Я только не думал, что она так над собой поступит... Что она...

— Что же ты молчал! — сказал я, уже с гневом глядя на его склоненную голову. В ответ был только вздох. Мы молчали.

— Владимир Иваныч! — Нечесов поднял голову.— Я все теперь точно знаю. Вот эта цепь у Орлова. Он мне ее сам показал. Хвастался. А вы ведь слыхали, что я... Что я с тех пор, как Лида умерла, опять стал с ребятами. Я нарочно, Владимир Иваныч. И воровал, и блатнячил. Мне надо было все узнать. И он сказал... Орлов. По пьянке... Цепочку эту показал, она у него на койке спрятана, в шарике у спинки... У меня тогда язык примерз. И вот... Вот она, Владимир Иваныч, не могу я больше... Пойдемте со мной. Пойдемте. Скорее... А то побегу один.

# Долгие проводы

*Порою человек бывает так же мало*
*похож на себя, как и на других.*

*Ф. Ларошфуко*

*ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ, последняя, в ней автор хотел рассказать о выпускном вечере, а так как в нашей литературе слишком много уже выпускных вечеров, он ограничился рассказом о том, как расходились с этого вечера, как прощались.*

Мы уходили с выпускного. Уже уходили. А в памяти все еще оставалось свежо и полно. И каждый, наверное, заново видел огромное застолье, на котором не было ни одной водочной бутылки, ни одной бутылки с вином: стояла только фруктовая. Видите, сколько благонравия, как исполняется грозный приказ гороно о запрещении спиртных напитков на школьных вечерах? Но приказ приказом, а на вечерах все-таки пьют не одну фруктовую, тем более в школе рабочей молодежи. Администрация с блеском вышла из положения, ни на йоту не отступила от приказа. На столах не было бутылок, зато в соседней комнате работал буфет, и дежурные на подносах разносили что-то вроде чая, но значительно большей крепости. Каждому полагалось по стакану, добавляли по собственному желанию.

Наверное, не стоит перечислять всех тостов — их было много. Даже самых невероятных, например, чтобы все присутствующие стали в будущем героями и космонавтами. Много было тостов за учителей, за Бориса Борисовича, за Веру Антоновну. Самый длинный тост сказал Давыд Осипович, начал с международной обстановки, с происков агрессоров...

А дальше вспоминались танцы и шейк, шейк, шейк, шейк... Известные вам гитары во главе с молоденьким «Эйнштейном» не хотели даром есть хлеб, играли на бис.

И вот мы на крыльце, уже за гранью вечера. Гаснут огни в школе, ласково дышит июньская ночь, светлая и теплая. Надо расставаться. Насовсем. Навсегда. Громкие эти слова никто не произносил, однако сознавали все.

Мы стоим у крыльца, переминаемся, переглядываемся, кто-то смеется, кто-то мрачен. А расходиться невозможно. Тяжко. Ну как это так, за здорово живешь и пошли по сторонам? Сколько были вместе, сколько пережили. Нет. Невозможно нам так разойтись. Все здесь. Ушел пораньше только Павел Андреевич. Ему прощается: семья, жена.

— Знаете что? — говорит Задорина.— Пойдем в центр. На площадь, набережную... Ведь все ходят... А мы-то что?

Удивительно, как ухватились за это предложение, как разом загалдели:

— Точно! Пошли!

— Все вместе!
— Ой, как далеко!
— Да я тебя на руках!..
— Очень нужен! Обрадовался...
— На трамвайчике бы...
— Трамваи не ходят.
— Да пошли, что вы?
— Ну! Все! Не отставать. Шире шаг.
— Тебе бы, Тоня, в армии командовать.

Гора с плеч у всех. И сразу шуточки. Хохот. Отдалилось неизбежное. Еще несколько часов все вместе. А ведь и я этого хотел. Только неловко быть застрельщиком. Я ведь теперь не руководитель, не учитель. Я теперь — экс.

Идем толпой вдоль трамвайной линии, кучка белых платьев и темных пиджаков. Сам я, конечно, плотно прихвачен с двух сторон. Слева Задорина, справа Чуркина. Да я не против. Даже наоборот... Мне сейчас несколько веселее, чем дóлжно быть, как говорит Инесса Львовна, классному руководителю, пусть он хотя бы — экс. Это я сознаю. Я смотрю под ноги, но ничего не вижу, кроме плотной мелкой травки вдоль полотна, изредка в ней белеют камни. И Чуркина меня заботливо предупреждает. Раз так, я буду смотреть на небо и по сторонам... В небе копится ночная мгла, и все-таки там светло, слишком светло для ночи. Не потому ли звездочки едва видны? Слева за линией тянется лесистый парк. Там темнота и тишина, молчание. Справа шоссе, и по нему изредка проносятся машины.

— Владимир Иваныч! А вы не уйдете из школы?

— Зачем? У меня нет другой профессии. Ты, Таня, задаешь странные вопросы.

— Вот осенью опять придут другие и думай об них... Я бы ни за что не пошла учительницей. Ни за что...— повторила она.

— Твоя работа не легче...

— Скажете. А знаете, куда я? Я в медицинский. Только нынче не поступить. Пойду зимой на подготовительные...

— Трезвое суждение, но почему не попытаться?

— Нет. Я не люблю так. Я люблю наверняка. Я все равно поступлю. Вот увидите.

— А вы, девочки? — обращаюсь к веселым продавщицам. Они, пожалуй, сегодня самые счастливые.

— Мы в техникум. Мы звезд не хватаем,— хохочут они.— Может, замуж...

— Тоня?

— Ну, а я — никуда...

— Это еще почему?

— Ну, уеду я, наверное, Владимир Иваныч. К себе в деревню. Не могу я здесь. Все мне здесь чужое. Никому я не нужна...

У Тони сегодня мрачное настроение. Не переживает ли она так же, как я?

— Вот тебе раз! А я-то думал... Зачем же ты так старалась? Из-за тройки плакала.

— А я всегда так. Хоть что.

— Ты все-таки хорошо подумай. А?

— Нет. Я уже почти решила.

— Тоня, ты все-таки хорошо подумай... (Видимо, я пьян, раз повторяю, как попугай. Надо следить за собой. Я ведь все-таки не должен ронять себя, хоть и экс.)

— Не нужна я здесь никому,— повторила она.— Теперь опять так будет, как было... Вот и уеду.

— Тоня, ты все-таки...

Кажется, недоговаривает она что-то. Что? Молчу. Не вижу ее лица. А то бы догадался, может быть...

— Владимир Иваныч, а писать вам можно? — опять Задорина.— Вы не обидетесь?

— Пиши, если хочется... Проще в гости прийти.

Задорина что-то соображает.

— А вы ответите?

— Посмотрю, что там будет. Культурный человек всегда должен ответить на письмо.

— Да уж, ответите. Держи карман...

— Ну ты, липучка! Ну чего пристала к Владимиру Иванычу? Видишь, он не в себе.

Благодарно покосился на Чуркину. Точно, она сказала. Не по себе мне весь этот вечер. И сейчас так же. Иду машинально и не могу поверить, что кончились все мои заботы, тревоги. Кончились ли? А вообще-то с ними, с заботами, было как-то привычнее, одет в них, как в панцирь, и некогда философствовать. А сейчас вот словно беззащитен сделался, снял панцирь.

Слышно, как Нечесов громко говорит Столярову: «Поедем, Витька, вместе. Ты в художественное, я — в мореходку... Поедем...»

Непонятно, что ответил Столяров. Последнее время

он как будто снова оглох. И я ничем не могу его раскачать. Понимаю, время вылечит. Время... Оно только облегчает боль, но никогда не сгладятся начисто рубцы в душе. Всегда я буду помнить этот свой класс. Этот дебют. И разве уйдут из памяти Чуркина, Столяров, Горохова... Горохова особенно.

— Ой, как ноги устали! — стонет кто-то, кажется, Осокина.

И сейчас же голос Алябьева:

— Эй! Остановим кого-нибудь. Пусть подвезет. Конечно, девчонки устали. Еще километров пять шлепать.

— Ишь, заботливый! — хохочут продавщицы.

— Не остановится никто.

— Ну да-а... А это что? — Кондратьев из-за пазухи достает светлую посудину.

— Талисман! — хохочет Фаттахов.— Запасливый!

— Вот-вот! Девочки! Едут! Едут!

— Едет... Загораживай дорогу!

Большая машина, фургон-мебелевоз, затормозила. Останавливается. Глушит фары. В дверке темное лицо водителя.

— Чего вам? Совсем обалдели! На дорогу...

— Слушай, подвези до площади? Ну, рабочие мы. Из школы. Подвези.

— Из ШРМ? — блеснула улыбка.

— Точно!

— С вечера?

— Догадался... Сам небось кончал.

Шофер выходит, отворяет дверки:

— Лесенки нет. Лезьте так...

С визгом, с хохотом лезут в темное чрево фургона. Кто-то верещит. Огрызается Чуркина. Подаю ей руку. Втягиваю в кузов. Ого! Сила тяжести! Чуть сам не вылетел. Дверки закрываются. Тьма. Едва светит в узенькие проемы вверху. Но веселья — хоть отбавляй. Похоже — рады, что едут в темноте. Слышно, как грузовик мчится по шоссе. Ветром бьет сверху. Держусь за какую-то железную рейку. И вдруг мне становится горько, так горько, что и не передать. Ну что это я? К чему я тут? Куда еду? Зачем? Право, только сейчас окончательно-ясно понял: хуже всего на выпускном — у ч и т е л ю. Вдумайтесь, почему... Это я вам могу объяснить, все разложить по полочкам, могу разобраться в своих чувствах, но лучше — не надо разбираться. Лучше так...

Горько мне, да и только... Недаром и на свадьбах кричат: «Горько!» Не всем там сладко, на свадьбах. И криком этим лечат душу. А они-то хоть счастливы? Задорина, Алябьев, Столяров? Или тоже притворяются, как я, у всех есть своя боль? Чуркину бы спросить. Это ведь самый тонкий у меня человек, в смысле чувств. Простите, теперь уж не «у меня». Просто, она бывшая ученица, а я бывший учитель. Хорошо, что темно. Хорошо, что никто не видит и не понимает меня. Дрожит под ногами пол. Мчит грузовик. Стою в темноте я — Владимир Иваныч, учитель, классный... руководитель, никому по-настоящему уже не нужный. Или слишком начитался Дантека... «Эгоизм как единственная основа...» Эгоизм. Эгоизм. Каждый о себе, для себя... И вдруг я слышу, как Чуркина, которая держится за поручень рядом со мной, берет меня за руку, тяжело прислоняется ко мне. Не с ума ли она сошла? Чуркина?

— Владимир Иваныч! — тепло шепчет она.— Владимир Иваныч... Как мы... Как же мы теперь? — Я не слышу, о чем она спрашивает. Я не понимаю ничего. Здесь темно и трясется пол. Я только чувствую, как горячие и свежие губы касаются моей щеки на одно мгновение. Вот и все... И мне легче... Никто ничего не видел, не узнает. Не будет знать...

Машина останавливается. Открываем дверки. Высовываемся. Мы уже у площади. Светает. Небо блещет серой рассветной синевой. Третий час. А на площади белеют, чернеют кучки таких же, как мы. Площадь вымыта, в лужицах то же небо, те же облака и просветы, только темнее, загадочнее и проще. Мы идем по этим небесным лужам. Девочки снимают туфли, несут в руках. Мы обходим набережную, стоим у воды, возвращаемся к площади. Гулко, с перекатным звоном, отдаваясь где-то каменным эхом, бьют куранты. Четыре...

И я чувствую... Пора. Надо расставаться. Нельзя бесконечно быть вместе. Пора... И это понимают они, потому что, когда я подаю руку Алябьеву, на мою ладонь сверху ложится рука Фаттахова, Чуркиной, Нечесова, Столярова... Мы обнимаемся. Я целую и целуют меня. Ничего здесь нет плохого. Люди должны быть близкими... Когда-нибудь все это хорошо поймут.

1972—1974 гг.

# След рыси

*Публицистическая поэма*

*В этой части неба встречаются*
*только мелкие звезды, и надо*
*иметь рысьи глаза, чтобы их*
*различить и распознать.*

*Гевелий*

*Слушай, говорят, нынче на*
*аукционе рысьи шкуры шли по*
*дикой цене...*

*Из разговора*

# Пролог

Лес синел былинной тучей за зеленью болотных сосняков. Синел, как тысячи лет назад и вдаль, когда на этих же багульниковых болотах еще слышался крик последних мамонтов и олень с допотопным размахом рогов с достоинством древнего величия выходил пастись на сухие пустоши — там и теперь желтеет к исходу весны яркий веселый дрок. Пустоши с дроком — и нет оленей, и уж совсем мало осталось таких лесов. Плотно-глухой и нерубленый, живущий сам по себе своей углубленной жизнью, он оставался таким, как было все до человека: непредгаданно и преходяще, вечно подчинено одному неслышно текущему времени,— и не верилось, глядя в его покой, в облака и в дали над ним, в небо, которое казалось там особенно вещим и вечным, не верилось, что всего в полусотне верст к востоку растет и дышит многоэтажный людской Вавилон — городище-громадина, ввысь и вдаль устремляющийся батареями этажей, эстакадами электричек, закопченными спинами заводов, бетоном дорог и горбами мостов, площадями и улицами, где навечно заковывалась земная плоть и вздымалась иная, бетонно-кирпичная, навсегда обреченная прислушиваться к городскому шуму.

Лес и город. Город и лес. Разные порождения единого сущего. Какие разные и никак не совмещающиеся пока. Город тянулся к лесу, простирал и протягивал в чащи уверенные щупальца-дороги, тянул паутины проводов, дышал гарью тяжелого гулкого дыхания. А лес неподвижно взирал на его подкрадывающееся охватное тяготение. Лес не умел ни бояться, ни роптать — мог лишь жить и ждать своего часа. Лес рассеивал дым, разлагал

едкий газ, возвращал городу чистыми ночными ветрами, лес по каплям копил чистую влагу и слал ее городу, а город пил ее ненасытно и выбрасывал оскверненной зловонной рекой. Лес и город. Город и лес. Торжество человека и торжество природы. Кто знает, как долго будут они считаться неравными и почти врагами с тех пор еще, с тех далеких пор, когда рожденное лесом косматое существо подняло на него волосатую лапу с камнем-рубилом и первое дерево, неподатливо клонясь, больно хрустя, пало к его ногам. Кто знает, сколько еще будет длиться наступление человечества на то, что было от века его жильем, пищей, прибежищем, одевало, хранило, грело, давало дышать и жить.

Пилят звенящими пилами на Амазонке, в Канаде, в Сибири. «Больше! Больше! Больше!» — звучит припев.

Ржет, хохочет, ликующе воет пила, и эшелоны, груженные будто сверх меры, гнут рельсы, а реки несут тела деревьев к тем же ликующим пилам. «Больше! Больше! Больше!» — звучит припев. Лес — лес... Был — был... Лес — лес... Был — был...— проносится за эшелоном эшелон. На Амазонке. В Канаде. В Сибири... Кто остановит? Нет остановки. Нет и не будет как будто... Лес — лес... Был — был... Новый эшелон шарит огненно-ярким взглядом стальной путь. На Амазонке, в Канаде, в Сибири. Живет, нарастает, потрясает Землю грохот. Падают деревья. Поют пилы. Гимн человеку... Гимн лесу... Гимн...

В лесу всегда была тишина. На солнце опушек, в птичьем голоске над полянами, и в кукушечьей глухоте бóров, и в неясном веянии ветра, в его вздохах и шорохах, непонятных, как чей-то невидный полет, но приятно-ясный уху... Ветер был и не был... Шелестели и молкли листья... И всегда стоял вечный шум-шорох сосен, и всегда была тишина... Тишина клонила голову венчиком сон-травы, открывалась в немом полыхании зорь на росах, и в малиновом звоне неслышной заутрени, в цветном хоре первых играющих над лесом лучей... Тишина жила в сдвижении облаков над вершинами, в том, как они тянутся, хмурясь, и улыбаясь, и находя друг друга, и в песне дрозда на зелени ночного заката, и в проблеске первой звезды, что всегда стыдится своего явления и вознесения и оттого трепещет и прячется, мигает робко, как сквозь слезу... Тишина застаивалась безмолвным паром над полянами и над уснувшей водой — это она томила

душу невысказанным спрашивающим медвежьим взглядом — бурая, белая, голубая, зеленая, всепонимающая, всеобнимающая... Тишина... Тишина... Тишина...

И ночи в ней затаивались испуганной птицей, ночи были черны и так засеяны звездами, точно звезд было больше, чем неба, и они жили над этим лесом, сливались с ним в одно и, отжив свое, падали в его черную глубь...

И спрошу: видели вы звезды глухой осенней ночью над полями?

А над беспредельной болотной ровенью?

А над реками и займищами, где отражаются они зыбким глубоким пожарищем, и как золотая чудо-рыба рябит и плещется в их сетях неясный месяц?

Видели вы звезды меж ночными облаками, меж серыми и белыми призраками, там, в вышине, и там, понад самым небосклоном, где живут только смутные загадочные знаки — вопросы времени и души?..

Надо уйти далеко от города, где нет огней и деревень, нет вообще ничего от человека, кроме стогов, похожих на спящих древних слонов. Надо взобраться на стог по соломистому крутому боку, по соломе, пахнущей вечной свободой, лечь там и смотреть, успокоясь, только в небо, в его жизнь... И придет час, может быть, вы постигнете совершенство, проносясь в пределы вечности и растворяясь в ней, прикоснетесь к тайне ощутить себя единым с тем, что есть поле и звезда, влага леса и запах болота, полет совы и крик ночной стаи — тогда ветер вечности зыбко повеет вам в душу и ясно-облегчающе станет наконец то, о чем всегда полудогадывается душа, и не может быть иначе...

Хочется мне сказать, как говорили до меня:

Идите к лесам и к животным, не бойтесь ни дождей, ни молний, ни гроз, любите гром и трепет травинки под вихрем, тяните гладящую руку всему живому, не бойтесь встать на колени пред красотою порхающего мира и вечностью безмолвного цветка,— ибо давно привыкли мнить себя только покоряющими и даже перед Солнцем, перед Землей и перед Женщиной уже стыдимся склониться, хотим и не можем обнять ее колени и преклоненно припасть к ним, все в гордости и в гордости черствея душой...

Идите. Не стойте. Красота открыта желающему видеть. И наслаждение красотой равно возвышению до нее.

Травинка всякое утро творит несущую солнце каплю, и птица создает то, чему нет объяснения по простоте, так совершенство женских линий неподвластно закону цифр, так красота взгляда не подчиняется ничьей кисти. Пришло время, когда сияние Лун в тучах предпочтено будет их блеклому изображению на пыльных, растресканных временем холстах. Цветок вишни, губы женщины, полет сокола, грация антилопы, походка слонихи, ветвь папоротника, загрозовая радуга, полночный ветер и непознанное совершенство снежинки — все ждет созерцателя и поэта, откроется тому, кто пришел без стрелы и топора и без желания схватить, но с одним желанием — открыть и прославить для всех, кто есть и кто будет под вечным небом.

Снова спрошу: кто есмь? Что видит навсегда ушедший от природы?.. Вот он и сытый, и довольный, он, преуспевающий в своем искусственном мире, он, с крашеными бачками и с каштановой умной бородкой под стать своей свисающей шевелюре. Он сидит в облегчающем посадку, подпирающем талию креслице, а его узкие белые длинные пальцы ласкают стакан с нейлоновой соломинкой, и на ту же молочную соломинку похожа подруга его, такая же узкая, дедероновоногая, изящнорукая, сигаретно-кэмеловая, паричково-красивая полукукла-полудевушка с непонятным возрастом всему доступных усмехающихся глаз. Кажется обоим: он — супермен, а она — суперменша. Дым сигарет заменил им сладость ночных ветров, как заменили светильники из неона и ртути небесные огни,— изящные светильники, лак машин, блики голубого, желтого, розового и красного на окнах и витринах. День и ночь там стоят, провожают стеклянным лохматым взглядом, затаившие что-то, никогда не спящие, изнуренные модой красавицы...

Легче легкого восклицать: «Моя Россия! Родина! Как я тебя люблю!» Труднее всего молча жить для России, отдавать ей свой труд, добытую честь, жертвовать ей, если понадобится, и обручальное кольцо, и все достояние, и самую жизнь. Кто измерил любовь тех, кто пал за нее без наград и безвестно, кто вынес за нее и огни и муки, кто просто пахал и лелеял эту землю и по первому зову вставал на ее защиту? Так было и так будет... Но мы, люди, хозяева и властелины земли, как-то привыкли уже забывать, что земля наша *общая с теми*, кому не дано голоса, но *до нас еще* высшей властью при-

роды создано право на жизнь и на счастье. Волей или неволей отбираем мы это счастье, разрушаем право на жизнь тому, кто рожден соколом или орлом, зверем бегающим и зверем плавающим. Без нужды губим и без сожаления отрицаем чью-то жизнь. А надо ли? Не пришло ли время каждого жить для всей Земли и не пришло ли время каждого отягчить себя раздумьем о судьбе Земли? Не пришло ли время отдавать Земле, воздавать Земле...

Так было всегда, и там начинается истина, где пришла боль и раздумье, и счастье понимается не тогда, когда ты трогал губы любимой, но когда искал их след...

Всегда легко нести улыбчивую хвалу. Всегда трудно — горькую правду. Тревогу. Но хвала проходит, а правда остается и помогает жить, смотреть вперед, как бы ни была горька. Только с правдой можно идти дальше.

Идите... Не стойте... Не теряйте рассветов ни в небе, ни в душе. Не раздумывайте долго... От долгих раздумий глохнет свежесть порыва, ползет сомнение, являются робость и страх. Тогда и рождаются равнодушие и предательство, предательство и равнодушие...

Нет ничего хуже равнодушия. Все пороки живут в нем, и хоть много прославлено оно, не в нем скрыта суть вечного. Может быть, вся суть вечного в сопротивлении злу, в поиске и в отдаче, в сотворении лучшего, в желании и в терпении, и в просветленности перенесенным страданием, в радости малому, в изгнании страха из своей и другой души,— и в дождевых каплях, в солнечных лучах, принятых на поднятые ладони...

*Рысь — единственный представитель семейства кошачьих на Урале. Добывается ружьем, с собакой, самоловами, капканами и др.*

*Из настольной книги охотника*

# Лесной кот

Глаза у кота были золотисто-зеленые, мудрые и древние. Это были светящиеся глаза. Иногда в них мерцал огонек сапфира, иногда они светились, как две маленькие позелененные временем луны, иногда были берилло-

вые с теплым жаром в глубине, как хранящие огонь угли. Такие глаза достались ему от тех прошлых животных, от самой сути природы, что миллиарды лет по капелькам, по частицам творила зрение — способность обозревать и осмысливать себя вопреки хаосу и тьме. Природа, как женщина, любит смотреться в зеркало, и, может быть, рысьи глаза были ее совершенством в ряду совершенств, созданных для того, чтобы не только видеть, но слышать, осязать, обонять, воспринимать и оценивать все то, что прекрасно и что противопоставлено, противоположно тому. Может быть, кот видел небо, каким не видит его никто, и даже человек бессилен со всеми своими телескопами. Небо горело над ним переливами бесчисленных красок. В черные, безлунные ночи кот любил смотреть в небо. Млечный Путь был его лесной дорогой, звезды вели его, когда он охотился, играл, искал кошку или просто бродил, наслаждаясь звуками и запахами тишины, как умеют наслаждаться только животные и совсем немногие теперь, особенные люди...

Кот любил смотреть небо, взбираясь на чудо-лиственницу,— как башня стояла она в глубине леса. И не было нигде близ дерева хоть сколько равного ей,— так вольно открывались простору над вершинами ее немногие черные, раскинутые широко сучья, как бы хранящие и осеняющие этот лес с птичьей высоты. Может, осталось это дерево еще из того прежнего леса, что стоял тут и тысячу, и две тысячи лет назад... Кто знает... Не знал и кот, взбиравшийся по грубой коре до первого разветвления кроны. Здесь он ложился на самом толстом суку, вполне похожем на ствол большого дерева. Укладывался поудобнее и дремал под едва заметную зыбь дерева. Эта тихая зыбь была знакома ему, так жили все деревья даже без ветра, но кот лишь ощущал и узнавал ее, не в силах понять ее суть и не осознавая, конечно, что зыбь дерева впрямую связана с размеренным движением гигантского шара в пространстве. несущего на себе безбрежно многую, многообразно устроенную, неотгаданно возникшую жизнь.

Да, кот мог думать лишь в пределах открытого ему опыта, но он конечно же думал, иначе зачем так шевелились и полунастораживались его большие уши с кисточками чутких волос-антенн на самых кончиках. Кисточки позволяли ему слышать все: неслышный писк летучих

мышей, их полет-мелькание, словно танец духов, движение-шорох кротов в глубине земли, скрип зубов невидимых землероек, пробежку мышей, полет сов. Уши сообщали коту, как резвятся зайцы на прогалинах у болота, как крадется к ним кустами опушки лиса, как бормочет во сне большой глухарь,— последний взрослый глухарь в округе...

Кот знал черную, в пепельно-морозном узоре большую птицу — давно жила тут,— но не подстерегал, как будто понимая, что без этого бровастого, строгого петуха исчезнет в лесу последнее токовище и две глухарки, рыжие чистоперые красавицы, уже не будут водить по ягодникам, по летнему черничнику, по осенней бруснике и предзимней клюкве выводки большеголовых небоязливых глухарят с томительным, недоуменным взглядом. Глухарят одного по одному кот подстерегал, ловил без труда, особенно когда птицы располагались жарким полднем на разгребенном подзоле опушек и блаженствовали, как стая деревенских кур... Но и тут, нападая, кот не хватал без разбору, ловил пестрых, начинающих чернеть петушков, оставлял на потом молодых глухарок и совсем не трогал матерых копалух, что бросались отводить его от выводка с беспримерным самоотвержением.

Кот знал всех обитателей этих боров, знал тропинки, ходы и норы, и так же знали кота обитатели, хозяева гнезд и нор, от кислых гнедых муравьев до крикливых дятлов, соек и белок. Сойки и дятлы встречали кота пронзительным воплем, белки недовольным брюзжанием, а он лишь презрительно взглядывал в их сторону, дергал хвостом или ухом и шел восвояси походкой хозяина. Летом, осенью и весной кот наперед знал, где найдется еда, и, как рачительный хозяин, никогда не ловил ее больше, чем мог съесть и насытиться, знал: еда должна жить, размножаться и благоденствовать. Горе было тем, кто нарушал этот простой закон. Сытый кот тотчас уходил в свое убежище под разрушенной скалой-останцем в самой глубине леса. Когда-то, в дальние бесконечные времена, была здесь большая гора, веками дышала пеплом и жаром. Время погасило и ее. Ветер, солнце, мороз и дожди выветрили, размочили, рассыпали ее вершину, гора заросла, оставив как памятник себе каменный сизый столб-сердцевину и россыпь голубых валунов вокруг. Здесь было много укром-

ных, потаенно и сломно скрытых мест. Здесь, на прогалинах, заваленных камнем, с весны до зимы жарко грело-припекало солнце, а осыпь гребня хранила от северного ветра-полуночника и восточного ветра-сибиряка. Глубокий снег не накапливался на валунах, оставался за перевалом, сносило его вниз, и кот не знал другого лучшего места, где было бы так тихо, тепло и спокойно. Он был полным владетелем этого склона, и каждое большое дерево было отмечено его когтями и его мочой, здесь были особые валуны — тут он спал летом, нежась на теплом солнце,— и глухие укрытия, куда он скрывался от дождя и мокрого ветра. Осенью сюда приходила кошка, и они согласно бродили по склону, играли в охоту, прятались и догоняли друг друга, становились в оборонительные позы — так что, глянь на них кто-то со стороны, казалось, вот-вот схватятся в отчаянной схватке, покатятся клубком с раздирающим воздух визгом,— но никто не видел таких битв, просто кошка любила по-женски покрасоваться, а он похвастать своей силой, и, тихо мурлыкая, по-довольному урча, терлись они мордами, покусывали друг друга с ревнивой лаской, насытясь игрой и любовью, лежали под каменным свесом убежища, и кошка клала покорную голову на его широкие лапы. Здесь же, под скалой, свершал он свой вечерний и утренний большой обряд: чистил шерсть, вылизывал когти, мыл морду, тер за ушами, расчесывал зубами и языком скатавшийся пух и вообще делал все то, что делает любой хороший домашний кот,— были они одной крови...

Кот вставал на охоту, когда солнце спускалось в лес и первый пахучий пар, предвестник тумана, уже начинал стелиться по опольям, опушкам, по-над травой и в кустах... Пар приятно холодил чутье кота, вызывал желание охоты, добычи, резвого бега, собственной легкой силы — всего, что и составляло счастье его короткого бытия под этим солнцем и под этой луной, с этими звездами и этими цветами, деревьями, листьями и запахами. Нет, кот не осознавал, не знал, сколько весен несет ему жизнь,— рыси не живут долго — он просто был в бесконечности этой жизни, участвовал в ней вместе с лесом, родившим его, создавшим и все другое живое, вплоть до жука, листа, травинки, стрекозы, самой ничтожной мошки, ночных мотыльков и комаров, чья жизнь исчисляется днями и все-таки неизмеримо больше жизни молочно-

крылой букашки-поденки, что, взвившись из вод, живет над землей всего одну зарю и падает в воду, пресыщенная блаженством творения.

Кто видел облачко поденок, танцующих между двумя зорями, небесной и водной? Кто спрашивал у раскрытой кувшинки: зачем цветешь? Кто видел, как тает облачко крохотных нимф, как сыплется дождь маленьких тел, уже завершивших таинство жизни?.. Нигде так не ясно, что жизнь — бесконечность рождением и воссозданием; в иных ликах и формах живет все, что закончило и прошло свой круг, и эту вечность жизни, воскрешением в рождении через любое лоно, знает цветок и семя, всякое дерево и каждая травинка, зверь и птица, сама Земля и, может быть, знает Солнце... Лишь человек, зная то же, а понимая, может быть, лучше всех, омрачает вечность в себе страхом перехода. «О вечность жизни!» — восклицает человек и все щупает, ищет, обдумывает ее в себе, возвращается к истокам и завидует подчас собаке, не могущей ни восклицать, ни плакать, спокойной за свое собачье бытие...

Кот скользил меж стволами и в кустах — легкая хищная гроза этого леса,— он был охотник по сути и по природе своей. Если б вы могли видеть рысь, занятую охотой,— залюбовались, непременно залюбовались бы: так безмолвно, плавно идет-крадется — так и хочется сказать «льется» — высокая серо-пятнистая кошка с коротким черно-белым хвостом. Тень не тень, призрак не призрак движется по чернеющему лесу, синим пламенем, старым золотом то вспыхивают, то гаснут ее глаза, переливаются мышцы под бархатистой тонкой шкурой...

Рысь... Рысь устремлена в поиск. Рысь вслушивается... Вот встала, занесла широкую мягкую лапу, как бы не решаясь ступить... вот шагнула бесшумно, двинулась все быстрее, скорее, замелькала так, что уже и не поймешь, что это мчится в ночной мгле серыми скачками, припала, затаилась, подбираясь, напружинваясь, дрожа летуче-пригнутыми ушами...

И стоило зайцу, всегда торопливо углубленно жующему, заглядеться на восход луны, вальдшнепу не вовремя вытащить из земли длинный испачканный клюв,— лес лишался еще одного разини, их не любит, не терпит природа — дикая природа в особенности.

После охоты кот играл. Игра с детства входила в суть его жизни, и для нее были свои особые места, правила и привычки: кот забирался в бурелом и пробирался там, то проползая и протискиваясь, то прыгал со ствола на ствол, то он взлетал на деревья, затаивался на заячьих тропах — не ловил, просто пугал улепетывающих зайцев,— носился в кустах опушки, катался по мху в сухих кочках болота, мчался куда-то сломя голову и так же резко останавливался, вилял вправо и влево, исчезал и снова появлялся, как неожиданность, и наконец, набегавшись и наигравшись вволю, тихо-неслышно шел к старой лиственнице, чтобы, сперва обнюхав и осмотрев ее от подножия до вершины, упругими толчками подняться по шероховатому стволу на любимый сук и там залечь под влажным ветром, в запахе лесных вершин и ночных туманов. Ночные туманы не пахли цветами, как вечерние, настаивался в них запах воды, спящих болот, инея и прихваченных заморозком невидно желтеющих листьев...

Кот слушал ночные крики. Осень едва началась в этих лесах. Но птицы с севера уже тронулись в отлет, и голоса стай в мрачном небе напоминали коту о грядущих холодах. Сколько там, в вышине, летело птиц, он не знал, он видел лишь их скользящие тени меж звездами, понимал, что птицы торопились и, значит, холод был близко, близко были дожди, метели и снег, снег, снег...

Кот смотрел на дальнее зарево города. Оно всегда стояло в небе оранжево-красным спокойно-бессонным пятном. Смутный гул едва-едва доносился оттуда, он тревожил кота, от города грезилась неведомая опасность,— он знал ее, когда в голодные зимы выходил на окраины к железным дорогам и к шоссе, но ни разу еще не переступил черты леса и не пошел дальше того места, где его остановил инстинкт. Кот возвращался в голодный лес, рыскал в пустых зарослях по болотам, обегал опушки, выходил и в поля, и на деревенские околицы, пока не ловил наконец добычу,— кот был хороший охотник. Но каждой зимой все труднее приходилось ему: переводились зайцы, вымирали тетерева, прежде такие многочисленные, что он всегда знал, где их найти и поймать на ночевке, не стало и мелких оленей-косуль, начисто выбитых браконьерами, и если бы не мыши, не полевки и лесные лемминги, он не смог бы дотягивать до

весны. В прошлую зиму кот так отощал от бескормицы, что, наверное, замерз бы, не попадись ему след раненого лося. На лосей кот никогда не нападал, а тут он выследил бурого безрогого в эту пору великана на перевале через каменистый гребень, недалеко от своего логова. Лось, шатаясь, переступал по глубокому снегу, завязал, останавливался и стоял в трудном изнеможении, клонил шею в снег, с длинной уродливо-губастой морды рвался булькающий хрип, шел пар, и сосульчатой бахромой висела кровь; отдохнув, лось двигался дальше, иногда со стоном валился, оседая на задние ноги, но тут же, напрягаясь, вставал, раскидывал снег и опять шел. В снегу и справа и слева оставались черные кровяные просечки. И этот уже умирающий зверь дался коту с великим трудом. Лось таскал кота на загривке по чаще и снегу меж валунами, дважды сбрасывал его, ударом копыта сломал ребра и, как знать, не отбился ли бы совсем, если б не две раны: в боку и в животе. Лось пал, своей жизнью спасая израненного, отощалого кота. Весь остаток зимы кот и его подруга кормились мясом этого лося и оставили, когда оттеплело, оттаяли болота, прилетели нарядные утки, затоковали тетерева, проснулись лягушки,— жить стало легко и привольно.

А лося доели сороки, сойки, синицы, ежи, жуки и муравьи. В лесу и кости не пропадают даром. Каждый житель бессмертен — ведь и погибнув, тотчас переходит он в тела и души других существ, живет в их обликах и смотрит их глазами, переходит в их племя, в пищу цветам и травам — и так до нового своего рождения, что безвременно, и мгновенно, и бесконечно, пока жива Земля и живо Солнце, и еще выше Земли и Солнца — то, что есть природа, и еще выше — то, чему пока нет имени...

С юга, с востока и с запада небо светилось сполохами города. Год от году становились они ярче, ближе, не гасли и в самую глухую пору,— в самую темную ночь небо от города было бессонно, устало и накалено. Только к северу цвет небосклона менялся, мирная синева была там, и туда звал кота его инстинкт — голос матери матерей — всегда ясно живущий в нем и во всем живом...

Голос этот то дремал, то становился слышнее, начи-

нал томить, особенно если кто-то тревожил кота, а теперь это случалось все чаще. Все больше людей попадалось в его лесу. Они являлись на рычащих, воющих машинах, бродили пешие и были так же крикливы, пахучи, как их машины. Было в их криках, кострах, в нефтяной сладко-гадостной гари, в пронзительной остроте бензина, пряной одури табака, едкости спирта и железа что-то опасное и безнадежное, что доводило кота до глухого недоумения, когда натыкался он ночами на места людских стоянок и, не подходя близко, принюхивался к тягучим струям от брошенных бутылок, банок, мазутного тряпья и клочьев газет. Были существа эти ужасно неопрятны, не в пример коту, который никогда не оставлял незарытым свой помет, места, где мочился, погадки из шерсти и перьев, которые отрыгивал время от времени и тут же закапывал, принюхивался, долго проверял, хорошо ли зарыто. Он знал людей и боялся их, но никогда раньше не были они в лесу в таком числе, такими шумными артелями,— шли тогда без машин, чаще в одиночку, и всегда он просто избегал встречи, всегда успевал услышать и увидеть двуногого задолго до того, как тот мог увидеть его сам. Инстинкт тянул, пугал. «Уходить, уходить...» — так скорее всего переводилось на людской язык гнетущее кота чувство. Уходить дальше, к синему северу, где нет тревожного гула и не должно быть городов, людей, тяжелых запахов, всего опасного, что явилось сюда. Уходить, потому что уже не стает пищи, слишком опустел лес, негоден для охоты.

И кот, наверное, давно ушел бы, не будь он из породы животных, слишком привязанных к родным местам. Все кошки возвращаются к дому, к жилью, если живут вместе с человеком, к лесу, где родились, если судьба отгонит их от родных мест.

Кот прятался в самой глубине леса, уходил в колодник и в болото, подальше от шума и людских голосов. Может быть, он надеялся, что люди уйдут,— они всегда в конце концов уходили — может быть, его останавливало нечто, что было так же сильно, как свойство кошачьей оседлости, или еще сильнее: ярко-пятнистая кошка, с которой он встречался год назад и безмолвно уступал ей половину нелегкой добычи, жила тут и тоже, как видно, не собиралась уходить далеко...

Прежде была у кота другая, сильная и ловчая кошка, вот уже три весны, как он потерял ее, кошка исчезла,

и три осени, храня верность и память, он искал, звал и ждал, пока не появилась эта, встретившая кота не то чтобы враждебно, а лишь настороженно и опасливо. Кошка была совсем молодая двухлетка, и хоть встретились они осенью, в сезон, когда у рысей пора любви, кошка все уклонялась от его ласк, не принимала их, притворно и непритворно уходила, пряталась, и он то и дело искал ее. Лишь зимой, когда пришел голод, они вместе охотились, были постоянно вместе и так прожили до весны, когда самки рысей опять начинают сторониться самцов и кошка вновь стала прятаться и уходить. А он искал ее по всему лесу, искал след и запахи, находя, громко довольно мурлыкал, закладывал уши, полыхал глазами, когтил деревья и тер о них усы. Он заявлял, что лес принадлежит ему и кошка принадлежит ему, что никому не уступит он ее без отчаянного боя, что он силен, ловок, могуч и готов драться за этот лес и за кошку с любым самцом из породы рысей...

Каждый исконный житель леса думает и поступает так: гонит других самцов со своего участка белобокий голубоголовый зяблик, с зари и до зари поет на сучочке у гнезда, вещает, что занята его маленькая земля — всего несколько сосен, береза, осина да часть солнечной полянки. Там, дальше, земля другого зяблика, и другой маленький хозяин стережет ее и молится ей с рассвета. Так и дрозды, и пеночки, и зорянки берегут свои ели, кочкарнички, логовины и кусты, мыши и землеройки знают свои норы, кроты схватываются под землей на границах владений, ведомых только им одним... Большой филин, лесной тетеревятник и тот глухарь, что остался уже без соперников, но по-прежнему ревниво вылетал на весеннее токовище у болота, равно считали этот лес своим, делили его на гнездовья и угодья, и каждому хватало места под солнцем. Нужен земле и лесу, полю и болоту заботливый радетель, нужен хранитель и хозяин, и где нет хозяина и хранителя, дичает земля, зарастает бурьяном, покрывается плевелом, и уж не откроется там рясного цветка, не будет веселой травы, не пойдет в рост полезное дерево, заваливается и горит бесхозный лес, облепляется тенетами и паразитом, не селится там хорошая птица, и зверь далеко обходит такое заброшенное и запустелое место — вот что значит земля без хозяина...

Издали примечал кот свою подругу; мелькала по

лесу, словно бы равнодушная и боязливая, не отзывалась и фыркала, когда он догонял, становилась в оборонительную позу. И он не преследовал ее, только нюхал след и когтил ели, знал, придет время, и кошка станет улыбчивой и доброй и, может быть, сама найдет его, и голос ее, ночной и хриплый, зазвучит томной, приманивающей лаской. Кот умел ждать, по-мужски, по-своему был мудр, умел терпеть, как все живое, рожденное природой-матерью и не избалованное ею. Уже недолго было: холодели и удлинялись ночи, обильней падала жемчужная роса, острее горели в черном напряженные осенние звезды, и обозначилась ярко Великая река жизни, почти не видна она людям в городах и оттого не осознается ими.

Ревели в болотах лоси-быки, с топотом сшибались лопастными рогами, и, слушая их сопение, урчание, рокочущий гром и вздохи, кот тянул лапы, всаживал когти в жесткую плоть лиственной коры, напрягался до нетерпеливого стона. Близилось его время, близилась сладкая ночь, когда кошка отзовется.

*Нет хуже беды, чем маленький*
*человек на большом посту*

*Французская пословица*

## Решение

Утро за рамой окна было звонкое, плотно холодное, и такая же плотная тень от здания занимала весь сквер, тянулась через дорогу, трава в тени была заиндевелой, голубой и жесткой, покорно ждала оттаивания. Оттуда, из-за окна, шел как будто спокойный, непрестанный звон — шум, начинающий новый день. Новое утро шло там свежо и бодро, а здесь, по иную сторону окна, у человека, приткнувшегося животом к подоконнику и к рубчатому верху радиатора, стояла тяжелая изжога, сжимало сердце и болело везде, куда ни прислушаешься: в голове, там, где темя, и там, где виски, и ниже затылка, давило в груди под ложечкой, и в подреберье справа, и в спине, там, где почки, и ниже, в крестце, в коленях, в суставах ступней,— везде ощущалась боль и тягота,— читатель понимающий, надеюсь, не усмехнется. Тяжело было хмурому, медвежковатому, с широко раздвинутыми,

но мелкими недоверчивыми глазами, полнеющему человеку,— давно уже махнул на эту неизбывную свою полноту, что с ней сделаешь, не бегать же, в самом деле, дуром с утра пораньше, как бегает под окном квартиры некто седовласый, трясет идиотской, с хвостиком шапочкой. Как всегда бывает в таких случаях, человеку у окна хотелось не то пить, не то дохнуть бы свежего воздуху, авось прошло бы, откатилось...— и, ощущая это желание неосознанно, вяло, он подергал раму за медную закрашенную ручку. Створка не поддалась, и тогда он, морщась и хмурясь, отщелкнул с натугой тоже медный большой затвор снизу и снова подергал, но рама оказалась запертой еще и на верхний затвор-шпингалет, и человек у окна, посмотрев туда, как бы молясь на этот шпингалет, нетерпеливо обернулся. Кажется, он хотел позвать секретаршу, кажется, даже подумал об этом с охотой и сквозь всю дурноту все-таки представил, как она, девушка, подставив стул и понимая, конечно, его отвернутый взгляд и косясь слегка, встанет чулочным коленом на подоконник,— а какое у нее колено! — потом грациозно, иначе она и не может, приподнимется, и ему будет виден ее высокий чулок с темнеющим широким пояском, а она уже, будто не замечая его взгляда, по-детски потянется, откидывая назад голову, подергает шпингалет неподатливо крепкий, высоко открыв теперь уже обе прекрасно одетые ноги с темными поясками и с невинным кружевцом рубашки, откроет наконец затвор и, повторив все в обратном порядке, встанет на пол, распахнет раму, все-таки, наверное, немножко сердясь на него за эту просьбу, пунцовая одной щекой, а в кабинет вместе с тяжелым, влажным холодом — запахом осени и утра — хлынет неутомительный городскому человеку, даже нужный иногда ему шум — именно нужный, будто обнадеживающий своей жизненностью и вечностью. Чувствовал, что сделал бы именно так — позвал бы, но... не сейчас.

Нет, не сейчас, черт побери, когда открытое окно было, наверное, всего бы нужнее... Нет, не хотел, чтобы секретарша увидала его таким: как он держится за сердце, гладит рукой под пиджаком, какие у него беспомощно покривленные на одну сторону губы, как он время от времени, словно хватив горячего и обжегшись, выпячивает их, отпыхивается, мотает большой, лет пять уже по-стариковски затяжелевшей головой. Ему ведь

всегда при виде этой девушки хотелось чувствовать себя коль не молодым и моложавым — хотя бы просто бодрым мужчиной.

Ушла молодость, не так давно хватился, с горечью понял: ушла, не вернешь. Что там молодость, какая молодость... И все-таки всегда мы, все мы не хотим признаться себе в этом неизбежном, отодвигаем сроки, а если и говорим о своей старости, держим в надежде хоть самоутешающее, хоть чье-то ложное, однако надобное нам возражение, вроде вот: «Ну, что там! Какие ваши годы! Во Франции в пятьдесят мужчину за юношу считают! Вы еще молодцом!..» А сердце ныло, в печени покалывало, как тонкими иголками, крючками. Иногда крючок словно бы за что-то зацеплялся и долго тянул, колол. Что там такое может быть в этой самой печени, которую он полжизни, считай, прожил, не ощущая даже, не знал, не замечал, где она. А сердце? Откуда в нем такая боль — будто в грудь, пониже левой ключицы, равномерно давили чугунным пестом, а то отнимали пест и всаживали взамен что-то острое, накаленное...

Думал:

«И не курю ведь, бросил... А, черт... И все из-за того: перебрал вчера на этом паршивом банкете... У-у-хх... хх... ф-ф-ф...» — отошел от окна совсем стариковской, больничной даже походкой — увидел бы себя со стороны, ужаснулся бы — прошел к столу, сел, лучше сказать, брякнулся в свое удобное полумягкое кресло, и на минуту ему представилось, что он умирает,— так стиснуло, сдавило, лишило дыхания, подступило к горлу, но вот все-таки начало отходить, прокатилось, прошло, дышать стало легче, и он усмехнулся где-то внутри себя, не видно на лице, по-прежнему державшем гримасу близкой боли, подумал, что любая тягота в конце концов отходит, облегчается, и сколько так уже было, сколько может быть еще, сколько раз он воспитывал свое мужество в себе, не выдавая никому и ничем, разве что привычно жалуясь в постели жене... В сущности, что такое жизнь? Ее пустяковую цену и узнаешь лишь, когда вот так прихватит, а цену великую и значительную ощущаешь, когда тебе хорошо и ты готов жить вечно, и нисколько не сомневаешься в возможности этой вечности. «Нет, не надо было так набираться... Будто дорвался до дармовщины...» Почему это? Почему? За-

мечал, что всегда перебирает на банкетах по поводу чьего-то утверждения в новом чине-степени, в то время как на юбилеях и на разных служебных приемах остается образцом трезвости. И банкет-то, — ой, если разобраться, так себе... банкетишко. Ну, защитил Петька, школьный однокашник, докторскую, еще ВАКом-то не утвержден, и кто он, в общем-то, даже если утвердят (утвердят, конечно)... Кто он, Петька,— пускай доктор, Петр Афанасьевич,— по сравнению с ним, начальником ведущего управления, одним из первых в замы к самому, кто? Да так, ноль без палочки, хоть там он химических или еще каких-то наук... Вот читал где-то статью — одних только ж е н щ и н-докторов за тысячу, а мужиков не сосчитать; кандидатов, тех вообще сейчас пруд пруди, всяк строит, строчит кандидатскую, лезет куда повыше... старается обскакать... Думалось так глубоко-глубоко про себя и наивно, может быть, без предела, сам удивлялся, со стороны-то ведь и не представится никому. Ведь со стороны-то кажется: все большие начальники ничего, кроме значительных только мыслей, в голове не имеют... не держат, тем и отличаются от простых смертных... однако вот он-то, Иван Селиверстович, при такой должности — и без степеней, а оно, в общем-то, и не худо бы при всем при том: доктор наук, член-корр, профессор, профессор особенно... Мм... ф-ф-... Опять... Ух, как тошно... Отчего все-таки нажрался? Коньяк, что ли, был дурной? Петька уж не мог расстараться на добрый коньячок... Доктор-профессор — а три звездочки... Тьфу... Когда пил, сразу в голову бросило... Резкий. Тяжелый. Говорят, теперь коньяк и не выдерживают ни черта, как раньше-то, в дубовых бочках, а гонят по трубам под давлением через дубовую стружку, три раза прогнали — три звездочки, четыре раза — четыре... Неужто правда? Звездочки... Звезды... Как-то так получалось, что всю жизнь был он к ним неравнодушен — а и кто равнодушен-то?— всё, может быть, оттого, что не довелось их носить ни на погонах, ни на рукаве. В армию не попал, кончил педагогический, не было там военной кафедры, потом, когда работал на заводе, была бронь, потом пошел в гору, вплоть до этого кабинета, а остался, стыд сказать, какой-то там «рядовой-необученный». Это ведь надо же додуматься, какая графа: н е о б у ч е н н ы й... Будто ты в самом деле неуч какой-то, неграмотный. А доведись ведь в дореволюционное, с разделением штатских на

чины, был бы генерал: действительный статский советник или как там — тайный... Черт, какая глупость ползет в голову... С похмелья, не иначе... А что, вот так-то бы... Недавно видел, садился в «Чайку» какой-то генерал, или вот на банкете был как-то с железнодорожниками — и тоже были все генералы, а по должности куда младше его... На дорогу перейти? Да что это за чушь сегодня лезет? Хмель бродит... Паршивый коньячишко... А пить надо бросить совсем... Хватит... Свое выпил... И на банкеты такие нечего ездить. Если бы Петька не однокашник, а то все-таки вместе за партой сидели, «удынеуды» получали, за девчонками бегали. Петька до них ох жадный был. Счас, конечно, остепенился, а ведь моложавый, черт, зубы все на месте, волосы хоть куда. Не то что тут...— провел ладонью по пролысине, пригладил косо зачесанные плоские пряди, вздохнул попросту. Это что за волосы остались, мочало какое-то... Редко и в кабинете давал он себе волю, снимал все труднее снимающуюся маску значительности и деловой озабоченности, служебного величия, редко снимал... Это случалось, если уж очень допекала печень, стенокардия, если прыгало давление — как сейчас. В общем-то, ведь он привычный, привык давать организму перегрузки: и пил крепко, и накуривался до малинового каления, и все прочее бывало до дурноты, однако раньше, видать, вывозили годы, запас молодости и прочности. Сейчас — стоп, надо умереннее, нельзя так... Весь организм предупреждает. Поизносился. Так и загнуться недолго... У Петьки небось сегодня ни изжоги, ни одышки... Позвонить, спросить? Ну его... И трубку даже поднять тягота. Вот опять... опять... У-у-х... Да что это такое... Не проходит, не отпускает... И кофе ведь пил...

Закрыв глаза, сидел, откинув голову, казалось, положил ее прямо на эту затылочную боль... Стало полегче. Вспомнил, прикрыв веки, вчерашнее чадное застолье в банкетном зале. Все были незнакомые ему, но он был весел, казалось, руководил застольем, сперва говорил длинные, значительные вроде тосты, потом, когда перебрал, кричал: «Зза академика пью! Петька! Петр! Петюня!.. Зза академика!» — и показывал на незримые эполеты. Хотелось быть щедрым, точно от него зависели Петькины будущие академические звезды. А гости подхватывали: «З-з академика-а урра-а-а!» Вспомнил укоризненные подталкивания жены, ее круглые взгляды.

Но не слушался, что, в общем, бывало с ним редко. Жену любил, была она у него в молодости загляденье и сейчас еще, спустя тридцать лет, не плоха, сильна хорошей женской статью, хоть что возьми, хоть как посмотри. Конечно, теперь пораздалась сверх меры, да он любил полных женщин... А тут как с цепи сорвался, начал пить коньяк фужером, потом рассердился на всех за столом, показалось, не так относятся, выбрался из-за стола и, несмотря на уговоры, ушел в общий зал и там под грохот дикого оркестра, чуть не силком вытащив из-за стола какую-то густо крашенную, косоватую, однако все-таки милую и фигуристую деваху, плясал, скакал в такт и не в такт среди столь же пьяных, толкающих, извивающихся, вихляющих задами мужчин, женщин, парней-волосатиков. Потом он назначил девке свидание на завтра, здесь же в ресторане, потом она куда-то исчезла или удрала, а оркестр в это время, видать по заказу проживающих в гостинице кавказцев, загрохотал какую-то лезгинку, не то кабардинку, и все как с ума сошли, кинулись на середину зала скакать, и он тоже скакал и запомнил почему-то, как прыгал перед ним некто черный, высокий, желтый и тощий, с черными волосами от самого носа и со столовым ножом в запахнутом рту. Тьфу! А еще сам ведь пытался изобразить что-то такое кавказское, семенил пьяными ногами и, по-петушиному откидывая руку, повторял его... Тьфу! Что еще было?.. Это уж как сквозь туман. Крепкая рука жены... Снова банкетный зал... Другая музыка. Желтые пятна вместо лиц, сквозь хмель и угар, привычное тяжелое тело жены, ее спокойный живот, наплывы на талии и шнуровка корсета-грации, который он всегда ненавидел. Ничуть не чураясь женской полноты, ненавидел эту «грацию»,— жесткая шнуровка, рубчатая резина раздражали, отвращали руку, а жена, как нарочно, затягивала себя в грацию на все праздники и торжества...

Много раз требовательно тарахтел телефон. Не брал трубку и секретарше наказал настрого: занят. Никого-никого...

Никакой жизни нет — один сплошной трезвон. И все должен решать, все брать на себя. Приказ на приказе. Запрос на запросе. Решение на постановлении. Петьке бы так... Ходит, наверное, там по своей лаборатории, на ассистенток поглядывает. Петушок... А тут... Опять звонок по главному. Отвечать надо все-таки. Встряхнулся, со-

брался, поставил тон голосу, кашлянул для проверки... Так. Лицу вернул всегдашнюю значительность.

— Слушаю (с весом, но и с почтением). Да... Сегодня утверждаю... Да... Разумеется... Конечно... Давление что-то... Заморозки пошли... Да-да... Слушаю... Понимаю... Понимаю... Хорошо...

Положил трубку. Поглядел на красный яркий телефон, будто он и был виновен во всем сущем. Укладывал в голове поудобнее текущую работную кладь. Окончательно утвердился в выбранном выражении безоговорочной серьезности — правая бровь чуть приопущена, нависла над глазом, губы слегка покривлены, голова прямо. веки озабочены, в глазах недоверие. Давнул кнопку.

— Начальника проекта ко мне,— ворчливо.— Вчера же договорился...

— Василий Сергеевич ждет. Он здесь...

— Так пусть заходит.

Вошел начальник проектного отдела Цыпин. Исполнительный, толковый, добротно одетый мужчина с обликом типичного инженера-руководителя. По всем статьям хорош Цыпин, но, поговаривают, метит в его кресло. Оно бы и ничего, если уйти с повышением, скажем, в замы,— даже хорошо будет. Ну а как на пенсию, за штат... Смутно всегда чувствовал, знал: Цыпин куда способнее — моложе, мыслит шире, образование истиннее. И презирает он его, наверное. Ладно, это потом... Чуть ворчливо и с т е м ж е недоверием:

— Что там у вас с центральной магистралью? Почему держите?

— Все готово, Иван Селиверстович... Вот...— не оправдываясь (а ведь зря упрекнул-то, для порядка, для острастки, просто знай, сверчок...) сказал Цыпин, развертывая планшеты и карту.— Трассы пойдут здесь, здесь и здесь,— указал ладонью.— Окончательные проекты по данным институтов закончены полностью. Нужно только утверждение... ваше и...— мотнул головой на потолок.

Тяжелым, набрякшим взглядом, отворачиваясь несколько, чтоб не пахнуло, чтоб еще чего не подумал этот Цыпин, смотрел, вел эбонитовой указкой, точно сверялся с каким-то своим внутренним представлением.

— Так... А подводящие трассы? Так... Так... Да садитесь вы... Не торчите...— Ворчливо:— Сердце сегодня...

Перепады, что ли? Черт... Погода какая стала...— Побрякал валидолом в кармане.— Вторую хлещу и не помогает... Замечания к проекту есть?

— Есть письменная просьба тамошнего исполкома. Просят перепланировать, отодвинуть участок трассы, ибо проходит, как сказано, по уникальным лесным массивам. Вот здесь... Из общества охраны тоже отношение прислали... Писатели какие-то двое... Калинин... Малинин...

— М... гм,— пробормотал Иван Селиверстович, продолжая изучать проект.— Заповедник, что ли?

— Нет... Но собираются как будто. Просто лес.

— Не заповедник? А чего ж тогда плакаться? Вот и прособирались... Еще дольше бы чесались там... Как до дела — так сразу в слезы, в просьбы...

— Мы предусмотрели все-таки в проекте поправку... Если вы посчитаете нужным...

— А вы?— с нажимом, со взглядом на чуть седеющую голову Цыпина.

— Мы... Мы считаем... В общем-то... Может быть...

Цыпин явно не хотел прямой формулировки.

— Нну-те-ка... Посмотрим. Что вы там напредусматривали... Так, отсюда... Так... Ттак... Но ведь это же — угол? Угол? Километров семьдесят-сто в обход? Да вы что?

— Пятьдесят семь километров... Но зато трасса пойдет полями и малолесными пустошами. Провели детальную разведку. Потери в средствах будут, по-видимому, невелики, кроме того, напрямик трасса пойдет лесными болотами, и здесь спиливать лес... Разрушать экологический комплекс... Сложившийся...

«Ишь ты, какой шустрый,— думалось раздраженно.— Какой бойкий! «Экологический комплекс...»

— Так... А лишние опоры вы учли? Кабели? Работу? Рубли? Время? Самое главное сейчас — время?

— Но... Уникальный лес... Нетронутая природа...

— Послушайте, Василий Сергеевич, ну что вы мне, как школьнику какому-то прописи! Букварь... Неужели вы думаете, я не понимаю — природу надо беречь? Но вы-то там бывали? На месте? Нет? Какие, скажите, могут быть дебри в тридцати-сорока километрах от этакого города? Да тут через десяток лет Черемушки стоять будут! Надобно смотреть вперед. По-вашему, и трассы, и магистрали проведи — и лес не задень? Где

это видано! Волгу перейти и штанов не замочить... Экологический комплекс! Уникальная природа! Заявления... Сейчас все на этом помешались... На охране то есть. А писатели особенно... Их бы опоры послать ставить, кабель подвешивать, чем заявления строчить. Заявления... А на то он и писатель. Ведь как хорошо об охране всего разглагольствовать: «Сохранить! Уберечь!» Конечно, кто спорит!.. А сам небось не с лучиной на даче сидит, не с коромыслом по воду ходит.. Надо мыслить шире. Думать не об интересах кучки фанатиков, которым, в сущности, и на природу-то наплевать, была бы известность да денежка,— думать надо о насущных нуждах народа, интересах промышленности, о государственных планах. Промышленность давно ждет этих трасс, как голодный хлеба... А вы предлагаете оттянуть строительство еще на месяцы. Идеализмом занимаетесь... В общем, так... Посоветуйтесь со своим народом, может, что-то найдете более целесообразное. Я ведь не цербер... все понимаю... Но мнение мое — вот,— провел указкой по прямой.— Обдумайте, если согласны, дайте указание вниз. Больше недели не тяните. Время уходит. Не согласны, жалуйтесь самому... Все... Спасибо... Извините, сегодня я...— и поморщился со значением.

Когда закрылась за Цыпиным дверь-шкаф, уже пожалел немного, что говорил сурово, может, чересчур. Он-то ведь, Цыпин, старался, хотел как лучше, искал компромиссное решение. Исполком все-таки просил, не кто-нибудь. Писатели пишут. Им-то что — они и в Цека могут настрочить... С Байкалом вон какую бучу тогда подняли. Жаловаться — не строить... Черт... Может, послушаться Цыпина? И получится — курицу яйца учат... На коллегию вынести, а если на коллегии его так же вот не одобрит, выстегает САМ? САМ не очень-то считается со всякими жалобишками, да и дело-то, в общем, незначительное по масштабам. Другие бы на его месте глазом не моргнули... Позвонить? Моя работа — моя ответственность. Скажет — завертелся. Авторитет где? Взять валидолу, что ли, в самом деле...

Достал стеклянную трубочку, открыл, втянул едкий и холодящий запах, вытряхнул на ладонь твердую таблетку, похожую на дневную луну, сунул под язык и, выйдя из-за стола, прошелся по ковровой красной дорожке кабинета. Сердце ныло горячо, нестерпимо, но теперь хоть можно было ждать, что отпустит. Кабинет

был большой, высокий, выше, чем в ширину, с лепным потолком — может, чьи-то княжьи палаты — с узкими и тоже высокими окнами. Старое здание с метровыми стенами — теперь уж никогда не построят ничего подобного. Да и надо ли, в нынешнем многолюдье... Окна выходили на угол сквера, за которым уже вскипала дневным шумом несущаяся улица. Иней на траве таял. Трава стала мокрой, зеленой, как после дождя... О-о,— как бы вспомнилось, вот же что надо — воды... Как странно, в голову не пришло раньше... Торопливо, оскальзываясь ключом, откупорил бутылку. Налил светлой, пузырящейся, играющей газовым брызгом влаги, выпил, еще налил, отпил не спеша, и сразу просветлело, отлегло. Блаженно рыгнул. Хороша водичка, чистая, деручая, лишь похолоднее бы... Холодильник надо поставить... Сел в кресло и уже любовно обвел взглядом всю обстановку кабинета: дорожки, шторы, шкафы с книгами, стол. Подумал: неплохо бы и камин здесь настоящий, как видел в одном особняке. Камин бы с дровами. Зимой... Осенью... Обязательно надо камин. И уже веселее и спокойнее, распустив брови, передвинул рычажок, сказал в белую пластмассовую решетку:

— Таня? Нина? Чаю, пожалуйста... Цейлонского. Крепче... Да, в термосе...

Привык, чтобы приносили ему сразу большой полный китайский термос, чтобы чай был хорош, любил его пить без сахару, и всякую секретаршу обучал искусству заварки. Нина оказалась самой способной. Ее чай был вкуснее всех. А может быть, сама она напоминала этот чай,— крепкая, рослая, юная, с орехового цвета глухой прической, с тем обликом красивых девушек, которым словно никогда не грозит увядание, даже САМ как-то сказал ему, зайдя запросто в кабинет: «Ну, брат, каких находишь...» А он и не искал, просто принял какую-то племянницу давних знакомых по протекции жены, и только. Жена Ивана Селиверстовича была очень умная женщина. Помешивая чай, прихлебывая его понемногу, Иван Селиверстович совсем оправился, и, как знать, прими Цыпина сейчас, все было бы по-другому: и голос, и решение судьбы того леса. Как знать... Как знать...

А теперь спросим напрямик, что, в общем-то, всегда считалось противопоказанным в литературе: любил ли он природу, сей пожилой и потертый жизнью человек, из служебного облика которого кой-где и сейчас еще

все-таки выглядывал воронежский, а может, вятский поселянин? Господи, да что за вопрос? Да конечно же, очень любил... И кто ее не любит — природу, разве что сумасшедший, разве что вконец городской, насквозь пропитанный урбанизмом какой-нибудь адвокат, нотариус, журналист, не знающий другого мира, чем мир редакций и творческих кафе, какой-нибудь без меры партикулярный служака, не выезжающий из города лет тридцать, довольствующийся лишь изредка вечерним воздухом в сквере недалеко от своей темной холостяцкой квартиры. Все же остальные преданно любят теперь природу, кто как может, дальше — больше... Все легче и все труднее теперь ее любить.

Ездили вы субботним, воскресным, безоблачно-солнечным утром в переполненной до отказа электричке с гитарами, цветными сачками, кошками, детским гамом, собачьим нетерпеливым взвизгиваньем, транзисторным бубненьем, картами, рюкзаками, предвкушениями, надеждами? Возвращались в такой же и еще более битком набитой, банно-душной, с кучами цветов, с винными ароматами, с чьим-то соловым склоном, пьяным чихом, чьим-то пресыщенным, чьим-то несбывшимся взглядом — электричке с удочками и ветками, соломенными шляпами и железными зубами бодрых садоводов, всегда немилосердно проталкивающихся на садовых полустанках? Ездили все, и не был исключением Иван Селиверстович, когда с понедельника уже начинал ждать пятницы, ибо в пятницу вся огромная столица поутру уже переполняется одним желанием: скорей-скорей завершить этот день, тронуться к отдыху, по дачам, садам, по родительским кровлям, берегам и брегам,— всяк в меру своих возможностей, сил, житейских успехов...

Живи автор столетие назад, с какой легкостью воскликнул бы: «О, если б нашелся великий живописец, что вдохновенно воспел бы все эти сборы, какие краски нашел страстям, мечтам — желаньям и предвкушеньям!» Вот написал бы, как, томимый ожиданием еще с ночи на пятницу, собирается знаток соловьиного пения — мало их ныне и прежде было не густо — ценителей пения и певчей птицы, но есть все-таки и соловьи, и любители: соловьи — в кустах, в черемухах по балкам и берегам, ценители — по-прежнему более все в швейцарах при трактирах (ресторан ныне именуется), на мелких должностях, как исключение, разве, барственный како-

нибудь режиссер, писатель в дубленке,— и вот он, любитель и ценитель, моет клетки, недоспав, бежит на свое швейцарство, едет-клюет в метро, а сам весь уж в тех ночных лугах за Звенигородом, бродит по кустам, выслушивает певца поголосистее... Вот юноша из тех, что не обрели еще своей мечты и подобия ее (ея — хорошо писали сто лет назад), юноша нескладный и неудачливый, снова в который раз надеется: в эту пятницу, в э т у непременно, на вокзале, может, в тесноте вагона, может, просто так на полустанке, на платформе пригородной электрички, там, где ветер так приманчиво треплет, обтягивает платья и юбки, встретится, попадется, хотя бы мелькнет она, о н а, ОНА... В платьице ли ситцевом, в синем ли трикотажном костюмчике, худенькая, на один вкус, или, напротив, круглая толстушка, черная, как южная ночь, светлая, как новгородский лен: она, она... Разная для всех, желанная для каждого...

Вот рыбак какой-нибудь табашный, неподвластный годам и времени пенсионер-знаток, вдоль и поперек изъездивший Подмосковье, Владимирщину и Рязанщину, пробиравшийся и в тульские пределы, но и нигде не нашедший места лучше, чем за Химками на одной излюбленной речонке (не скажу какой, и он ни в жисть не скажет), о, поглядели бы как, точно богу своему рыбацкому молясь и поклоняясь ритуально, складывает и собирает он усовершенствованные до предела, окращенные и протравленные одному ему ведомыми составами уловистые снасти,— как варит, парит и пробует со значением во взоре всякого рода приманки, каши и «колобы», иные с валерьянкой, другие с анисом, третьи — с тертой коноплей, как перетряхивает, глядит на свет рубиново-красных червяков — малинку и вонючих желтых «опарышей» — сиречь мерзких мясных личинок, укладывает все это в заслуженную, темную от рыбьей слизи, белясо-белую от воды торбу-суму, а сам все видит внутренним оком ту речку и на досолнечной той воде, под мигающим несовершенством последней звезды, белый с красным перовый поплавок в его постоянной настороженности, видит, как он юркнет и, темнея, понесется вглубь и вскинутая леса задрожит от крепко севшей рыбы. Ах ты, господи... А потом... Это уж потом, когда вывоженный по всем правилам голавленок, подлещик или подъязок будет похлопываться в корзине под мокрой крапивой,— крапивой и нарванной тут же, близ

берега, и садко ожегшей руки,— славно бывает сесть тогда поудобнее, отпустить удочки и закурить, созерцать в неспешности окрестную благодать, розовое и холодное заревое солнышко, туманы-дымки вдали, обонять и сквозь табачок запахи воды, стрелолиста, осоки, поднявшихся на воде кувшинок, еще не раскрытых, едва белеющих, смотреть, как по коричневой няше под берегом ползают осы и первая голубенькая бабочка, из тех, что роем роятся в полдни на грязи у реки, уже порхает тут, присаживается ненадолго, и тогда видны жемчужные с испода ее крылышки с кроткими какими-то, детскими пятнышками. Да мало ли чего, какой мелочи тут, от которой так и поет-благодушествует табачная грудь...

И попроще бывают мечты, материальнее и современнее, что ли, обозначим их так: «Чо, джоны, спочкуемся на лоно? Пойла возьмем! Зинку-Нинку-Наташку... В любовь поиграем... Короля за бороду потрясем? Х-ха-ха... Хха-ха...»

Хотел бы автор продолжить — отказывается перо, спотыкается, а может, нетипично к тому же... Лучше уж другие мечты передать, вот еще одно заветное желанье: «Ой, хоть бы погода не испортилась! — взгляд в окно почти страдающий.— Все лето хорошая погода, ни одного дождика, а вдруг завтра... И прическа сразу... Ресницы потекут...» В самом деле, выстрадана прическа мученически. Испробуйте-ка всю ночь в этих самых бигуди. И на ресницы сколько времени ушло. «Ой, хоть бы не дождь!..» Как же тщательно, с закушенной губкой, наглаживается платьице. Как долго зеркало отражает недовольство носиком — «что за нос, короткий, хоть вытягивай, и глаза тоже — не могли уж быть побольше, поинтересней? А талия?..»

Ах, что там писать, где брать образы? Недостает ныне красок живописцу, велик, непосилен художнику, неподвластен сделался мир: вскачь мчится время, сверх звука летит расстояние, не охватишь мыслью, не обоймешь и разумом, где там! Где нам! Коль явились уже теории, недоступные для обычной головы, кванты, и мезоны, и красное смещение... Как быть художнику, коль в самый атом проникло человечество и дальше атома — в его ядро, раскладывают ядро на частицы, да и частицы уже дробят... Но мнится художнику, все неотвязней видится ему другое: дети-подростки, собравшись на задворках, подальше от старших, развинчивают най-

денный невесть где блестящий и молчаливый снаряд, и хоть знают, все знают — мороз по коже — взрывается! — так взрывается, что и не жить никому, а все-таки крутят, развинчивают, снимают по колечку. Что там? Что там? — вопросом блестят глаза.— Что там? А дальше? И уже показалась какая-то будто золотая штуковина, уже хочется, зажмурясь, драпануть за угол, но самые старшие, самые уверенные крутят дальше, бормочут, прищуриваясь: «Да ничего... Ничего. Не бойся... Ничо не будет...»

Вот как от размышлений о грядущем досуге можно приблизиться к неведомому, только не лучше ли прочь от него — и опять к мечтам простейшим, что одолевают мужей, юношей, жен и старцев до самой что ни на есть обыкновеннейшей, приземленнейшей страстишки: выполоть бы одуванчики-сорняки в саду, чайку под вишневым кустом до банного поту испить... Все ждут день субботний, возносят к нему упования об отдыхе на природе...

Хлопотливо собирался и Иван Селиверстович вместе с женой, с дочерью и с маленьким Ванечкой. Сносились в машину портфели и свертки, устанавливались в багажник плетенки с пивом и снедью. Ждали гостей или зятя, и наконец нагруженная под завязку вороная «Волга» летела по Можайскому шоссе мимо пригородов, посадов и поселков — скорее, скорее, скорее — к лесу... к природе.

Любил ли он природу... Если в парной благой денек ходил, млея от жары и счастья, по травяным залогам и рощам и бывал простонародно доволен, когда обнаруживал на только ему одному известных местах (так думал всегда) несобранные молодые боровички, плоты маслят, белокорые красные осиновики и высыпки желтых лисичек, радующих своей изобильностью, предожиданием находок еще и еще...

Любил ли, когда покупал у местных рыболовов скользко-золотых, отлитых в золоте, как бы сочащихся жиром карасей, и всегда радовал их запах — словно бы вкус озерной травы и воды.

Любил ли — если не отходил от жены, смотрел, как она засыпала свежие ягоды с дачной поляны в звонкий латунный таз,— таз этот как будто всегда обещал сиропный запах клубники, горячей земляничной пенки — таз с длинной точеной боковой ручкой в мел-

ких рыжих накрапах,— таз, отчасти похожий на солнце...

Стоял возле жены на веранде дачи, поглядывал на подкрашенную, но вполне еще приятную голову женщины, на ее пробор, где более светлые корни волос подло напоминали о старости и старении, и, мысленно отрицая это ее старение, отталкивая его вдаль, думал, что именно при запахе земляники помнил ее такой манящей, тянущей, круглотелой и свежей, какой она была в девичестве и многие годы еще после.

Любил,— если жена, встав пораньше,— она была образцовая жена — приносила ему в постель узкий янтарный стакан малины с холодными сливками, малины росной и только что с куста. И ему даже не хотелось (не то слово!) сразу есть и пить, сначала присматривался к ягоде, вдыхал ее запах, а уже потом, спустя какое-то время, осторожно цедил сквозь зубы ледяные густые сливки, давил ягоду языком и думал, как хорошо, что у них есть эта дача, эти свои березы, свои дубы, ели, малина, и как он будет жить здесь, ухаживать за каждым кустом и травинкой, за всяким деревом, когда выйдет на пенсию...

Любил... Если б не эта служба — все время прокладка дорог, трасс, магистральных линий... Он привык считать это своим безоговорочным делом и, хоть отлично знал, что под линии и под трассы вырубается несметное количество леса, никогда не испытывал даже слабого укора или чувства вины пред той же самой природой. Много было причин. Во-первых, это была р а б о т а, дело, порученное ему и обставленное как будто железной необходимостью, необходимостью жизни; во-вторых, трассы проектировались и рубились где-то там, далеко... В Сибири, на Урале, Алтае, Дальнем Востоке, на Печоре... Словом, там, где для коренного столичного жителя как бы сплошная глушь, и лесу там, конечно, видимо-невидимо, да и что такое его трассы и магистрали в сравнении с вырубкой, которой заняты другие ведомства и главки, опустошающие за год площади побольше иной Бельгии-Голландии... И никто там, в тех главках, не плачет, не скорбит. Надо. Лес нужен стройкам, лес — золото, лес — валюта. Ну и вдуматься если? Что? Не рубить? Пусть себе гниет-валится? Плакать из-за каждой сосны-березы? А не плачем же, радуемся, наоборот, когда топим хоть той же сухой

звонкой березой, еще похваливаем за жар, за угли, за гудящее пламя и уж совсем не отождествляем сии дрова с деревом, с деревом, еще недавно шелестевшим где-то на опушке, может быть, на просторе, у поля, белевшим голубой и пестрой девственностью своего ствола, своих коричневых тонких опущенных веток, всегда в тихом движении, в лепете зубчатых, с запахом полевого неба и солнца листочков. Сколько этих берез отшелестело в последний не осознаваемый деревом миг, в последний раз поклонилось земле, полю, небу и солнцу... И сколько еще отшелестит...

*Плакала Саша...*
*Н. Некрасов*

## Вырубка

Пила рычала и стрекотала, яростно ныла, вгрызаясь в дерево и увязая в нем. Вековая мачта сосны, упертая в облако, дрожала, тряслась от комля до вершины живой и больной дрожью, противилась нахрапу пилы, но пила, приотдохнув, грызла и грызла, подергивалась даже, как живая, в руках ощеренного, звероватосогнутого мужика, и вот что-то в теле сосны не выдержало, по стволу прошел лопающийся хруст — пила перешла сердцевину дерева, и враз оно омертвело, закаменело, перестало дрожать и закачалось с немой угрозой, готовое вот-вот свалиться. Мужик, яростно матерясь, рывками дергал пилу, она смолкла, мужик отскочил, пятился, терял шапку, напряженно моргал — смотрел, как сосна уже обреченно тронулась вершиной от облака к земле, медленно-тихо и все убыстряясь, угадывая что-то, может быть свое место, а потом, угадав, понеслась вершиной и рухнула с буревым гулом, сминая подрост и поросль, взыграв напоследок тяжелым комлем. Комель дрогнул еще, дерево улеглось поудобнее, и все стихло, а лучше сказать, показалось, что стихло, потому что кругом верещали и рокотали пилы, дятлами тюкали сучкорезы и топоры, перерубая и отсекая, и все слышался этот буревой гул, возбужденно перекликались голоса, как бывает на дележе и дуване, и остро пахло спиленным деревом, хвойным горячим

дымом, корой, заболонью,— вообще всем, чем пахнет всегда на порубях и сечах, где хвоя еще совсем свежа, вершины еще веют синевой и высотой, листья не завяли или только начали вянуть, торцы источают живые ароматы и слезы, а деревья лежат, как порубленные богатыри, размахнув сучья, подставив грудь небу, точно ждут еще чего-то, какой-то еще доли и судьбы...

Лес исчезал. И на удивленно-осветлевшем месте, раздавшемся как после снесенного строения, одиноко торчали под широко-ровным осенним небом согнутые тонкие березы, ломаный тощий молодняк и ободранные изнасилованные осины.

Гул лесоповала уходил вдаль, двигался дальше, широко разваливая этот лес, еще неделю назад мудро-синий и нетронутый. Лес, как народ, не умеет предчувствовать своей обреченности, всегда жив вечным обновлением и восстановленьем, падает ли дерево, отжив свой срок, встает на его месте новая поросль, и новое дерево щедро сыплет семя, и нет праха, есть только жизнь, вечный круговорот, пока светит солнце, идут дожди, чередуются весны. Тянутся ветви к солнцу, ловят и щедрый, и скупой луч листья, а корни терпеливо уходят вглубь, поят и кормят венцы и вершины. Нет гибели здесь, есть вечное возрождение. И не потому ли так тянется к лесу, к лесному лону, как к матери и к утешению, к надежде и защите и к мудрости всякий потерявший голову, запутавшийся в сомнениях и в невзгодах. Бежит к лесу зверь, летит к лесу птица, ползет все израненное живое — отдать лесу свою плоть. Вечен лес, как вечна природа, и даже безжалостный лесной пожар переносит он, как древние мужи-стоики, не шелохнувшись, не выдавая мучений, весь расцвеченный алым, желтым, красным и голубым огнем и все-таки будто ясно чувствующий себя сильнее огня и всей этой муки обращения в пепел, помня о своем возрождении...

Гибель леса больше всего переживают те, кто обитал в нем, не мог и не может без него, как не может и человек без крова и пищи. На что уж кажется легко птицам — взял да перелетел, или зверю — чего там! Переселился... Но опять вернемся к человеку, вспомним: не каждый укореняется на новом месте и на чужой земле, не всяк способен с легкой душой порхать от города к городу, от дома к дому... Есть горькое, как ос-

тылый дым, слово чужбина, и есть истинное светлое и святое понятие свой дом, свой лес, своя вода, свое болотце, куст, ветка-развилка, своя вершинка своей ели, где было твое гнездо, откуда и пелось на зорях и закатах, гляделось на дали и звезды с истинным как будто пониманием их значения,— светить, украшать небо,— с пониманием и своей собственной сути. Как знать, не труднее ли переселяться животным, не ценою ли жизни они платят за исчезнувший лес? За тысячи верст улетает в теплую сторону зорянка, за тысячи верст возвращается не куда-нибудь — к своему месту. И так же летит скворец, жаворонок и дрозд, бежит зверь, насильственно уведенный, вырвавшийся из клетки — все к дому своему, к своему углу и своему небу. Сколь сладко понятие ОТЧИНА для каждого лишенного ее и заблудившегося на пути к ней... Сколь сладко...

Задумаемся еще: как быть тем, кто не может ни идти, ни лететь, кто навсегда лишился единственно нужной для жизни тени, скользящего света, защиты от ветра. Как знать, не плачут ли, не ждут ли последней отчаянной надеждой все эти папоротники, грибы, грушанки, орхидеи-гнездовки, жесткая брусника и робкая кисличка и другая-иная трава-мурава со всей живностью, обитающей в ней, до жучков и до мошек, до самой невидно-неслыханной мелочи, которая, однако, совсем не зря должна быть рождена на свет, зачем-то живет и существует, тысячелетия несет жизнь и семя ее, и даже от тех идет непонятно удаленных времен, когда Земля была еще горяча, как только что испеченный пирог. Солнце быстрее бегало по иного цвета небу, другие звезды стояли на нем, и все сотрясалось в неистовстве первозданных вихрей и гроз, и все было еще не так, как привычно нам, поздним, но не первым властителям этой Земли...

На другую неделю на сече уже хозяйничали тракторы. Рыча и постреливая голубым дымком, тракторы тащили стволы к дороге, волокли их уже оголенные и обрубленные, без сучьев и точно вытянувшиеся оттого — не деревья уже, нет,— хлысты...

Бегали по вырубке, сновали и суетились потные веселые мужики и парни в распахнутых ватниках,

подъезжали с утробным ревом грузовики, лязгали освобожденные штанги прицепов. Лес накатывали дружно (себе ведь и без денег!), слышалось: «И-эх-ма... а... Взяя-ли... А... Ищщо... взяли-и... Эх-ма... Пошла-а! Пошла, ребята...» Нагрузив, стукали хозяйственно в меднотелые бронзовые и охристые бревна. «Хороша лесина! Звон-звоном!» И заковывались цепи, завязывались тросы, удовлетворенно захлопывались дверки, взрыкивая, взревывал мотор, до того лишь приглушенно-сыто, равномерно урчавший. И уже совсем без дороги, вспарывая дерн, давя-пластая ненужный молодняк, колесили по вырубке, зацепив пару-тройку бревен, трактористы из соседнего колхоза — эти не рубили, так брали, не откажешь — механизаторы. Механизатор сейчас самый первый человек на безлошадном селе, попробуй без него обойдись... И еще везли, еще грузили, тащили, подтягивали, наматывали, крутили тросами, грудили у дороги в кучи, клали в штабеля красные в охру, с медным звоном, серые, белые, в голубизну, серебристые, зеленокорые, пахнущие горьким соком и запасенной на века силой солнца, чудовищные — не в обхват — и прогонисто-ровные стволы и бревна: сосна, ель, береза, осина — сосна с елью больше всего. И уже обозначились трассы, потянулись все вдаль и вдаль, ушли за горизонт, казалось, до самого Байкала, а может, и дальше, до океана, до самого предела и края Земли...

Распахнутый трассами, расчесанный просеками, размеженный дорогами, оставался не лес уже, что-то другое, безраздельно обреченное. Такие остатки долго сохраняются у пригородных зон, по окраинам и близ человеческого сельбища. Стоят в таких местах ровно бы сосны и вроде бы березы, но лесная трава уже путается под ними с крапивой и с лебедой и совсем исчезает — остается один только желтый хвойный опад на протоптанных во всех направлениях стежках. Запустение-уныние в сем бездельном, нежилом, прохожем лесу, и знаешь уже, глядя на него, на сухие и лысые макушки,— нет ему никакого будущего. Может статься, правда, объявят его парком, наставят везде скамеек и гипсовых спортсменок, воздвигнут в прогалинах лодки-качели и базарно раскрашенную карусель, оглоушат тягостной радиомузыкой из развешанных по тем же соснам алюминиевых кастрюль и заставят доживать так. А вернее всего, просто обстроят этот лес многоэтажьем,

и будет он кругом в коробках домов обращаться в подобие вкопанных бревен, будут сушиться там на веревках простыни и штаны, а по вечерам сюда станет слетаться окрестное воронье...

Пишут вот всезнающие, всеведающие и всевидящие корреспонденты: где-то в Сибири, в Финляндии ли, в Швеции, в Литве, а может, в Канаде есть города и городки. построены прямо в лесу, и не срублено лишнего дерева, ветки кедров заглядывают на балконы, лес подступает к лоджиям, поют зяблики у раскрытых окон, напрочь запрещено орущее радио, белки спускаются за орешком на руки, цветы цветут, не зная про букеты, и подосиновики лезут, просятся в руки у самых подъездов. Ах, города в Сибири и в Финляндии! Неужто другие люди живут там? Неужто со временем везде будет так? Города-сады и города-леса? Один скажет — хорошо, другой скажет,— хорошо бы, а третий скажет: хорошо бы... ли?

О критик мой, защитник всего творящегося на Земле, критик-оптимист! Не говори ты мне, что лес нужен народному хозяйству, что без леса и вы, мол, автор, не живете, пьете-едите за столом, работаете, сидя в кресле, деревом топите свою дачную печь, полированным древом обставляете квартиру... О том ли сказ... Но о глупости и о бездумье речь, о небережении и небрежении, о том, что много имеем — и мало ценим. Иной раз даже подумается: может, лучше б поменьше было — тогда само собой родилось бы бережение и расчет, пришли вместе с ними рачительность и осторожность, родились бы от них совесть, строгость и мудрость. Уж не у малых ли стран, у маленьких, но без меры трудолюбивых народов надо учиться, там, где землю отвоевывают у моря, вычерпывая его даже и ведром, там, где землю на спинах в корзинах несут на бесплодный камень и творят на камне колосящееся поле.

Скажу тебе, критик мой, простую притчу.

Пришел некто с коробкой спичек, пачкой сигарет и бутылкой водки отдохнуть на лоне. Нарубил-наломал он природы, разжег ее, выкурил свою пачку «Лайки», выпил водку, трахнул бутылку о природу, харкнул в костер и ушел. И сгорел потом лес в округе на пятьдесят

верст, занялись торфяники — по сей день тушат, не могут потушить, а некто сей — завтра суббота как раз — собирается опять выехать на другое место и там отдохнуть, берет он с собой коробку спичек, пачку «Лайки», бутылку водки и транзистор еще берет — аппарат для отравления чужой тишины... Говорят, где-то все-таки поймали такого НЕКТО, штраф — пятьдесят рублей!— дали. Только он все еще штраф не платит, а ездит — отдыхает, берет с собой коробку спичек, пачку «Лайки», бутылку...

И воскликнешь ты, критик мой: «Что же, по-вашему, не пускать людей в лес? Закрыть все ходы-выходы?»

Тогда еще притчу выслушай.

В одной древней стране издавали строгие законы. Собирались все самые мудрые, долго думали-рядили, и появлялся наконец закон — справедливый, продуманный и мудрый. Но печатали закон в книгах, которые никто не читает, кроме судей. И вздыхали облегченно: сделано дело, теперь все будет хорошо...

Не знали они еще одну притчу, как спросил юный ученик у мудреца: какой закон наилучший?

— Тот, который строго исполняется,— ответил древний мудрец за две тысячи лет до нашей эры.

Пока же складывали на вырубке — не столько из желания жечь зеленую сыроватую обсечь, сколько из-за лесника, ходил тут по вырубке хмурый и все стращал всех, ругался,— с женой, чо ли, не поладил, али не подали с утра (подавали, да отрекся, на службе, мол, не положено). Чудак этот Шутов, лесник. Другой радовался бы. Меньше лесу — меньше уходу, меньше и спросу... Зато другой человек, тоже причастный к лесу — егерь Петухов,— был на порубке как кот на масленице. Со сдвинутым по привычке на ухо сине-зеленым картузом перебирался от одного кострища к другому, задерживался, где веселей заводилась беседушка. Пил — не отказывался, уговаривать не приходилось. Подкидывали в зевластный, завывающий вихрем костер, жмурились от певучего дыма, от пеклого жару и пепла, от хряского огня, кидали в золу, отдергивая руки, картошку, закусывали, сидя вольно-широко, хлебом, луком и толстым салом, поздними огурцами и квелыми помидорками, трахали об пеньки порожнюю посуду или отставля-

ли, прежде проглядев на свет, аккуратно и удельно,— смотря по характеру. Спорили, хвастали, и хвалились, и за грудки брались,— дальше дело не заходило, артель не давала. И всем была радость, всем было что сказать: сколько лесу нежданно-негаданно на дрова, и на постройку, и на срубы можно, и так продать, на иную хозяйственную нужду. Кто говорил с весом и значением, какое всегда появляется у русского человека малость под турахом, что лес — золото, «не пролежит», «всегда уйдет», кто учил, как надо бревно шкурить, сушить и сберегать, чтоб не взялось грибом, не засел короед. Сушить лес надо не на солнце, на солнце его дерет, щеляет, а лучше всего в полсолнца под навесом, где ветерок, положить само собой на слеги, на лежки, торцы забелить,— иначе гиблое дело, гриб... Кто-то сейчас подхватывал, как этот гриб уничтожать, если завелся, купоросить, или соляркой мазать, или вот, как старики говорили, развести известь-кипелку — и теплой еще с солью; спорили, какое дерево класть в нижние венцы — тут все сошлись: лучше листвянки нету, века не гниет, ничего ей не делается, а вот насчет того, какую лесину лучше на северную сторону избы, вышло разногласие, одни стояли за ель, другие за сосну или за ту же листвень, но листвень отвергли, слишком тяжела, насчет ели-сосны остались при своем мнении, хотя кто-то даже и осину называл, но его осмеяли: осина, она на дрова, на огородные жерди хороша. Тужили еще, что нет кедра, кедрач, помнили, здесь выборочно рос, но повывелся постепенно, свели и свои, и шабашники из-за орехов. А ведь дерево-то! На поделки, на столярную работу, что рамы возьми, что двери, обкладку всякую и обводку — не дерево, шелк... И о березе не забыли, тут уж единодушно — дрова, братцы, лучше не бывает, конечно, весной березу заготавливать надо, веснодельные-то дрова ни с чем не сравнишь. За лето просохнут, горят жарко, уголь из них звонкий и на истопле много не надо: принесешь одно беремя, и печь — не дотронешься. Ну конечно, в холода, в мороз добавлять приходится...

Много-много было тут рассказано и вспомнено, много было и смеху, и матюгов, без которых вроде бы как еда без соли, не получается теперь у иных речь, и уж тут-то всех превосходил егерь Петухов. Василий Петрович умел крыть как-то особенно едко и складно, все

неспроста, с заверткой, с тройным-четверным разделением: и в сок, и в бревиа, и в трассу, и в трактор, в грузовик, и в дорогу, и не знаю еще во что. Слушали, хохотали и ржали, надрывая животы, учились и подражать было пробовали — не получалось так. Это, видать, вроде как тоже талант... Дивились:

— И где ты, Василей, иасбирался? Откуда чо... Из пристяжки в дышло.

Улыбка довольства играла на пьяном, злобноглазом лице егеря.

— А я, как только вылез-огляделся, сразу-счас и крыть начал. Мать за титьку держал и матом орал. Счас без матюга разе только немтой живет, а может, и он на пальцах кажет...

Витька Жгирь, по прозвищу Брыня за то, что смалу еще любил всякую музыку, тренькал-бренькал на балалайке, радио крутил, гнал свой синий трактор так, что все время стукался головой о верхнюю обивку кабины. Торопился. Ничего — голова, она крепкая, а лес надо успеть: не выдернешь — расхапают. Налетели, как мухи... Бригадир опять запоет: «Куда гонял? Чо калымил?» Зануда... Все равно узнает... А-а... Хрен с ним...— Витька обернулся, поглядел на волочащиеся, пашущие проселок двойной бороздой бревна.— Хорош лес... Из такого лесу, мужики говорят, раньше только строились... Счас нету... И правда... На станции, сам видал, гонят лес с Севера откуда-то. Дерьмо дерьмом, все с красниной, подтоварник да гнилье дровяное, загорелое, источенное жуком. Этого бы натаскать да домпятистенку...— Витька прижмурил раскосоватые черные глаза, поглядел в поле, где виднелся такой же голубенький трактор, старательно пахавший зябь.— «Выдобряется... Работяга... Паши, паши... А я все равно год-другой и подамся, хватит... Чо тут, в колхозе... Силос-то нюхать? Пускай другие, а я нанюхался... В городе повкалываешь — квартиру тебе... Все удобства, и водичка горячая — лей сколько хошь... Сестра Машка хорошо вон устроилась, знала, куда замуж выскочить. Лежи хоть целый день в ванне, телик туда же поставь, пиво холодное пей...»

Витька на минуту отвлекся, прислушался к тряскому тракапью машины.

Зажигание барахлит вроде... А-а... Тянет — ладно... Распаяется — на ремонт встану. Чего его беречь? Ванька Смолин вон за водкой в Крутую каждый день гоняет, на обед приедет и двигатель не глушит, так и стоит его керосинка часа два, коптит небо. Мать даже ругается. Надоел... В город, в город надо... Чо тут в колхозе... Конечно, и в городе не сразу тебе квартиру. Уметь надо... Бабу бы найти с хатой. Хоть старуху пока, лет за тридцать. А можно и девку. Повезет дак... А чо? Город большой — баб, как куриц в курятнике... Прибарахлиться вот надо... куртку новую... Лепень... Штаны в полоску. Бабы любят, когда приодет... Деньги бы еще... Мать получку забирает. Не заберет — пропью... Чо схалтуришь — тоже в пропой. Пить, однако, бы бросить... Уж зарекался... Сколь раз... День-два держусь... А там ребята... Не откажешься. А попало под это дело — и все... Лесу бы, что ли, надергать поболе? Опять — куда? Деревня, считай, вся понахватала. Эти вон тоже на дрова за бутылку пойдут... Не строится счас никто... Дачникам разве в Крутую возить? Бригадир... С ним не сговоришься... Гад такой... А то бы добро — у дачников деньги несчитанные... В городе живут... В деревню еще лезут... Воздух имя подавай! Тишину!.. А вообще-то, на лесе можно деньгу подшибить... Раз уж начали... Ух ты, мать... ...— яростно крутанул руль, сбросил скорость.— Все... Ух ты... ... .... Влез...

Трактор влетел в размятую, разжульканную такими же машинами водомоину, наклонился, пробуксовал, осел и умолк.

Витька вылез из маленькой несерьезной кабины, походил, попинал в завязнувший скат. Закурил. Отвязывать жесткие тросы с бревнами ему не хотелось. Ничего... Счас кто-нибудь из своих подгонит — дернет... И уже спокойно вернулся в кабину, достал магнитофон, включил любовно, тряхнул крашенными в желто-гнедой цвет, а прежде черными волосами, уселся курить, слушать на бревна...

— А-ы-ы-ы, хау-ю дра-ды-ды-ды

А-ы-ы-ы, хау-ю дра-ды-ды-ды-ды...— надрывался гнусавый саксонский лай.

Опустела вырубка.

Под закатным охлажденным солнцем сновали по ней лишь разбуженные, взворошенные муравьи. Стал-

кнвалнсь на своих дорожках, кипелн у разоренных, лишенных прикрытия муравьищ, без пути тащили то хвоннку, то раздавленного товарнща, оступались н свалнвалнсь в тракторные рытвнны, взбиралнсь на пнн и ощупывали головы лапками...

*Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживленным, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы...*

*К. Маркс*

# Аукцион

Аверелли с неторопливым достоинством прогуливался перед подъездом «Астории», ждал жену. Смотреть на чужую гостиничную жизнь ему никогда не надоедало, тем более сейчас позволяло время, и Авереллн смотрел, как одно за другим подкатывают к бровке такси, из них выбираются мужчнны н дамы, многие, если не все, иностранцы, судя по одежде и говору, по манере держаться н жестикулировать. Такси, включив свой зеленый ищущий глазок, отъезжали, а прибывшие либо шли прямо к дверям, либо нх чемоданы подхватывалн швейцары и несли в гостиницу с неторопливой осторожностью, с какой носят, может быть, золото илн хрусталь. Аверелли усмехнулся пришедшему сравнению. Жена всегда долго собиралась, возилась с туалетом и прической, но никогда он не роптал, да и вряд ли бы кто стал роптать и сердиться на его месте — ведь у него была молодая и очень красивая жена. Это много, поверьте, когда вам далеко за пятьдесят, когда у вас пусть благородная, пусть внушающая почтение лысина, а зубы, хотя н сделаны лучшнм в Риме дантистом, все-таки не слншком свои. Зубы... Зубы... Отличные зубы, такие же, как шелковое голландское белье, штучный костюм, элегантное пальто-дубленка... И все-таки не оставляет подчас досадное воспоминание, что всего два-три десятка лет назад ты же, ты был гибок, смугл, ясноглаз и яснозуб, и волосы были как новая щетка, и

не приходила всерьез мысль, что время — угрожающая штука. Время... Время...— Аверелли задумался и перестал разглядывать подъезжающих.— Время... Кто его считает в двадцать? Его начинают ценить и считать после сорока, и то, возможно, самые умные, самые предусмотрительные. Собственно, ум, наверное, и есть способность к предусмотрительности. Забавно... Простая истина... Что же это жена сегодня так долго? Ничего... Пусть... Кто любит розы — должен любить шипы... А среди этих русских женщин много интересных... И попадаются совершенно итальянки... И много хороших мехов... Volpe... Volpe azzurra... Zibellino...[1]

— привычным глазом определял и оценивал мгновенно меха на воротниках и шапки проходивших женщин, но, пожалуй, более, чем на воротники, смотрел он на женские лица, оценивал фигуры. Красивые женщины в России... Много красивых... И это не первое уже его открытие как будто удивляло его. Он никогда не был равнодушным к женской красоте — что это за мужчина в таком случае? — но здесь он сравнивал, ведь жена его, синьора Аверелли, была русская, и это обстоятельство всегда было предметом его странной гордости, а когда он приезжал сюда, в Ленинград, на аукцион, гордость его словно бы увеличивалась, удваивалась. Правда, жена родилась не здесь, не в России, но она была настоящая русская, сероглазая и добротная, и он с удовольствием отмечал, что некоторые из женщин, проходивших мимо, были немного на нее похожи. Жена прекрасно говорила по-русски и по-английски, он часто брал ее с собой — ведь с такой женой он мог обходиться без услуг переводчика, и, во-вторых... Он не испытывал неудобств в этой неудобной в отношении женщин стране... Разумеется, если б ехал в Копенгаген, в Париж, в Сингапур или в Японию, он мог бы... но и туда он часто брал жену... Как это у русских говорится: не вози в Тулу свой... этот... а... само-фар...— Аверелли усмехнулся.— Кстати, она собиралась купить самовар в Ленинграде, и обязательно отапливаемый углем, не электро... Она говорила, что чай из угольного самовара вкуснее... Смешно... Пусть покупает... Каприз женщины — ее суть... Только где в Риме они будут иметь древесный уголь? Если бы каменный, но камен-

[1] Лиса... Песец... Соболь...

ный, наверное, не может годиться на этот само-фар? — он посмотрел на свой электронный блестящий хронометр и поморщился. Часы показывали, что пора ехать. Аверелли покрутил зонт-трость, с рассеянным презрением приглядываясь к кучке юнцов в лосненых шубчонках, в полосатых штанах и тертых джинсах. Парни совещались о чем-то возле подъезда и часто оглядывались.

«Слетелись, как вороны... Везде, и в России тоже, эти хиппи, лаццарони, фарцано... Но где же она?»

Аверелли начал уже хмуриться. Лицо его приняло петушиное выражение, и он снова посмотрел на часы.

Он женился на русской девушке не потому, что ему не нравились итальянки. В свое время он мог иметь успех у женщин, его любили и девушки, и матроны... Но... Если бы кто знал, как он выбивался в люди. Как исполнял свой план: превратиться из жалкого мальчика на побегушках, из торговца сигаретами вразнос в синьора Аверелли... Нет, это не просто, поверьте на слово, в наше время — начинать с нуля, делать себя, как говорят англичане, и свою судьбу... Многие ли способны на это?.. А он никогда не был баловнем фортуны. Он женился лишь сорока пяти. На итальянке, но его первая жена была слишком экспансивна, слишком страстна, слишком много требовала от него в то время, когда он еще не укрепил дело, воевал за престиж фирмы,— и жена попросту бросила его, сбежала... Она была из полуаристократок. Что делать... Он не мог удовлетворить эту ненасытность. Тогда он разозлился на всех итальянских женщин и благословил небо за то, что удалось быстро оформить развод. Потом снова годы каторжного труда — он работал, работал, как раб на галере. Он учетверил свое состояние. Стал богатым... Однажды он уехал в Канаду, и здесь, в Квебеке, в семье дальних родственников, его познакомили с девушкой со странным именем На-дежда. Когда ее имя ему перевели на итальянский, он пришел в восторг и от имени, и вообще от одного вида этой красавицы, во всем противоположной его первой жене. Надежда была чуть темноватая, цвета спелого колоса, натуральная блондинка, была полна и пышна, в глазах ее всегда словно бы отражалось вот это северное русское небо,

она была нетороплива в движениях, спокойна и добра (такой оказалась и в жизни),— и Аверелли употребил весь свой талант торговца и дипломата, все свое влияние, все чары, не исключая и бумажника, на чересчур щедрые подарки если не самой Надежде, то друзьям и родственникам, чтобы уговорить девушку выйти за него замуж. И он победил. Вот уже семь лет, как он счастлив. Надежда — Надине — Надин — его жена. Она родила ему двух похожих на него сыновей-погодков, и он боготворит ее, и любит ее, и балует ее, и если позволяет себе иногда ездить без нее во Францию и в Голландию, то, может быть, лишь для того, чтобы, вернувшись, почувствовать сильнее уют, и тепло, и нежность своей северной королевы... Она стала теперь еще эффектнее в замечательных платьях, которые заказывает с большим вкусом, а в норковом манто (ун мантелло визонэ), в песцовой или в собольей накидке (una cappa volpe azzurra, una cappa zibellino) она бесподобна при всей своей неитальянской тяжеловесности.

Ему теперь завидуют друзья и знакомые, жена украшает его на всех балах, в театрах и на приемах, к ней стекаются взгляды, ибо она совершенно непохожа на женщин-итальянок... Досадно лишь, что сам он все-таки стареет, черт побери, стареет, как ни старается иметь спортивный вид,— недавно стал заниматься бегом и гимнастическими упражнениями по новозеландской системе Хаукса,— как ни старается держать диету и одеваться моложе, чем требует возраст и положение главы фирмы.— Аверелли вздохнул и как будто прислушался к себе.— Хорошо еще, что есть возможность приобретать русский пантокрин и неплохие японские средства... Но ведь это не вечно... Когда-нибудь не поможет и пантокрин. А Надине все так же красива и молода, как семь лет назад, и, странно, темперамент ее становится словно... Не будет ли она со временем, как его первая жена... Черт побери... Все такое лезет в голову, когда не нужно...— И он тотчас же попытался отвлечься — стал считать окна и этажи у соседнего дома.— Надо уметь всегда уходить от огорчительных мыслей, а особенно перед делом — аукционом. Психология — прекрасная наука. Жаль, что он поздно стал брать уроки... Жаль, что образования направленного у него не было. Нигде оно не нужно более, чем в его деле... Благодаря чему он неплохо зарабатывает? Мо-

жет быть, и не только благодаря психологии, нужно еще торговое чутье... Если не надо думать о черной собаке... А-а, вероятно, это их пудель Джомо... Итак, если не нужно думать о черной собаке, нужно думать о белом жирафе... Уметь управлять своими нервами и страстями — первая наука бизнесмена, уметь понимать конкурентов и партнеров, уметь чувствовать конъюнктуру интуитивно... О-о, цо-цо! Какой великолепный зад у этой дамы! Какие ноги! Пожалуй... Нет, Надине все-таки превосходит ее во всем... Да, Ленинград нравится ему гораздо больше, чем Лейпциг или Марсель. Здесь чувствуешь себя гораздо более «за границей», кроме того, в этом городе больше монументальности, столичности и покоя, и в то же время он постоянно напоминает ему Рим. А особенно этот, этот... Пьетрохоф... Вечный город, конечно, превосходит северную столицу России и отличается от нее: шумом, движением, экспансивностью толпы, криком газетчиков, развязностью молодежи,— но столь же и напоминает. Та же величавость улиц, пьяцца, кьеза и палаццо — площадей, церквей и дворцов — европейская суть, какая-то единая и общая мысль живет здесь во всем... В архитектуре особенно... Может быть, это оттого, что Пьетербург строили многие соотечественники — великие зодчие-итальянцы и потому перенесли сюда милое сердцу барокко, лица наяд и карнатид? Ленинград определенно напоминает Рим... Определенно...

— Надин! Наконец-то! — он устремился к ней, позабыв все упреки.— Но aspettatocirca una mezz'ora. Я заждался, как на первом свидании! О-о-о! Ты всегда великолепна! Ты жемчужина! Ты сказка! Una bella! Una bella!

Она в самом деле была великолепна — эта боярыня из Канады — в новом шиншилловом манто и в пуховой русской шали. Она носила шаль по-русски. Как... Ба-ба. А таких манто не более десяти во всей Италии...

— Надин... Ты сегодня — сама Россия! — он торжественно оглядел жену, торжественно взял под руку и повел, понимая, что и здесь она потрясает прохожих, что мужчины обалдело останавливаются и смотрят им вслед. Такси у гостиницы было много. Они толпились длинной очередью. И он повелительно махнул: — E'libero!-Он усадил жену и, не желая расставаться с

ней, сел рядом — не с шофером, как обычно садятся русские.

— Mi porti...— он с трудом искал русское название улицы.

— На Мойку! — улыбаясь, сказала жена.

— Vada piu svelto, per favore, ho molta fretta...

— Поскорее, пожалуйста... Мы очень спешим...— перевела Надине.

А он подумал опять, как хорошо, что не нужен переводчик, и вспомнил при этом со смехом, как в первое время их супружества они объяснялись по-английски. В первый год... Пока Надин осваивала итальянский и усвоила удивительно скоро. «Русская женщина просто чудо, просто клад»...— влюбленно смотрел на розовую, свежую, благоухающую здоровьем и молодостью щеку жены, ее тихо сияющий глаз и, не в силах сдержаться, сдвинул пышный мех манто, благодарно положил ладонь на нежное кругло-полное колено...

— О, Надине, моя королева,— сказал он по-итальянски и обрадованно увидел, что румянец жены стал ярче, хотя она часто, если не постоянно, слышала от него такие слова. Аверелли подумал, что эта женщина, может быть, самая его большая удача, самый большой выигрыш у жизни, ведь в ней, в Надине, в детях, рожденных ею, стимул всех прочих его удач, его изворотливости, его работоспособности, его торговой смелости и расчета в стремлении обогнать и опередить всех таких же, подобных ему... «У кого жена красавица, тому не нужен праздник»,— вспомнилась итальянская пословица, и он снова положил руку на это прекрасное, покорное и доступное ему колено.

Огромный новый зал, освещенный так, что после осеннего ленинградского неба он показался благоухающим и солнечно-летним, заполнялся быстро. Бизнес есть бизнес — он не терпит ни опозданий, ни промедлений, ни ротозейства, ни неточности. Кто поздно встает — довольствуется объедками... Бизнес неумолим... Здесь нет даров. Дар здесь — удача, основанная на длительном расчете и богатой интуиции, на знании психологии и знании дела. Синьор Аверелли уверенно чувствовал себя среди привычного его уху разнообразия английской, немецкой, японской, французской, испанской речи. Зал заполняли представители больших фирм. Spettabile Ditta! Это были уважаемые фирмы. Со многими в зале

он был знаком, раскланивался и отпускал дежурные комплименты:— Salve! Salutic! Buon giorno! Ben arrivato![1] и все-таки ощущал себя здесь, как ощущают, наверное, животные, умеющие за себя постоять в соседстве с созданиями еще более сильными, богаче одаренными набором клыков, зубов, когтей и мускулов...

Жену Аверелли отпустил. Он старался не вмешивать ее в дело, и если советовался с ней, то лишь для того, чтобы лучше утвердиться в уже принятом решении. И жена благоразумно не совалась в то, что не понимала или понимала слабо... Да, пусть поездит по Ленинграду, пусть что-нибудь купит. Что-то необходимое ей. Надине не только любила носить пуховую шаль, но предпочитала привозить из России даже не очень оригинальное женское белье. Аверелли и за это любил ее, иногда специально просил одеться как русская женщина (ба-ба). и она охотно исполняла его просьбу... Она была хороша во всем. Пусть поездит... Надине очень благоразумна, никогда не тратит слишком много денег, хотя он не скуп и деньги у нее всегда остаются. Если бы эти деньги Джулии! Ха-ха...

Зал наполнялся. И уже появились аукционисты, правда, не всходя еще на кафедру-трибуну, они о чем-то совещались или просто болтали. Возле витрин и раскладок с образцами мехов толпились те, кто еще не успел насмотреться или сомневался... А сомневаться на аукционе нельзя. Аверелли всего лишь дважды побывал, спокойно прошелся у этих витрин, нужно было уточнить нечто расположенное не там, не на стендах и не в витринах, но внутри себя. И он с ленивым, спокойным достоинством занял свое место, надел другие очки и погрузился в ожидание, словно бы в театре перед спектаклем, вслушиваясь в ту увертюру, которая предваряла нечто. Внешнее спокойствие — это также заслуга психологии... Главное умение торговца мехами, пеличчеро — не умение дешево купить, как думают многие, не умение вовремя остановиться, как считают неопытные участники (аукционная продажа — это кошка в мешке), одно из главных качеств пеличчеро — знать, чуять, угадывать, на какой мех будет спрос и мода в ближайших сезонах, и здесь у Аверелли, пожалуй, не нашлось бы достойных конкурен-

[1] — Здравствуйте! Салют! Добрый день! С приездом!

тов. Начать свой путь с мальчика на побегушках, il ragazzo commissionero укладчика мехов в торговом доме Лучиа Сфорцано, где горы и груды ценного меха приходилось ежедневно перебирать, чистить, приводить в порядок, выкладывать в витрины под руководством опытных приказчиков, выкладывать и подавать так, чтобы мех играл, искрился, обвораживал и притягивал,— дело само по себе нелегкое, требующее таланта, если хотите,— даже таланта художника... А работа скорняком в фирме модного платья, где он постиг на тяжелом опыте подмастерья все тайны сбора, выделки, сшивания, раскроя мехов и научился понимать их подлинное качество и цену, по едва слышному запаху, весу, эластичности определять степень колеров, все кряжи... сорта... Может быть, он был прирожденный пеличчеро, как говорят,— от бога, но главное,— главное давал ему живой, острый, комбинационный ум изворотливого торговца, чутье, воображение (оно у итальянцев развито как будто наиболее сильно), и этого невозможно было постигнуть ни в магазине, ни у стола закройщика в ателье, нигде вообще...

Чутье — ему он доверялся, как шаман,— не раз спасало фирму «Аверелли и сыновья» от краха и банкротства. Оно приносило ему главные барыши. Он любил вспоминать, как в пору повального увлечения норкой почти по бросовым ценам закупил на аукционе большую партию стандартного, как мир, старого, как вечность, туркменского каракуля. Он рисковал, он заслужил ухмылки презрения больших акул, но — выиграл, потому что через сезон грянула мода на каракулевые шапочки и манто у женщин, на воротнички-пелерины у мужчин. Именно тогда через этот каракуль, давший ему семисотпроцентную прибыль, он встал на ноги... А какой доход принесла ему опять же тривиальная русская лиса-огневка! Volpe rossa! Кто, кроме него, смог догадаться, что рыжая лиса на годы станет всемирной модой?

Может быть, то самое чутье, о котором думал Аверелли, было всего-навсего учетом тонких мелочей, тех признаков будущего, которые никогда не проявляются явно и сразу и которые способны замечать лишь самые проницательные? Может быть, потому он и стал хозяином фирмы и женился лишь в сорок пять (имеется в виду Джулия), что добрых тридцать, а то и все сорок

лет он потратил на приобретение опыта и чутья, создание беспроигрышного дела, идея которого, как откровение, пришла ему на складе мехов,— он оставался на сверхурочную работу. Откровения всегда просты до удивления... И он понял, рассматривая партию редких уже и тогда выдровых шкур, что натуральный мех — необесцениваемая валюта, что соболью накидку — una cappo zibellino — будут ценить тем больше, чем меньше будет этих самых цибеллино, чем больше будет скудеть Земля живым миром, чем меньше будет на ней неосвоенных пустошей и лесов, чем больше будет на ней красивых женщин и мужчин, желающих подчеркнуть свое благородство, достоинство и достаток не менее благородным и достойным мехом. О пышный натуральный мех! О, volpe, martora, volpe azzurra, foca, visone, marmotta, zibellino![1] Натуральный мех, за которым тщетно пока гонится, несмотря на все ухищрения, преуспевающая синтетика. Впрочем, Аверелли имел свои взгляды и на синтетику: уже давно покупал акции известных фирм, и хотя его мечта сосредоточить в руках компании Аверелли всю торговлю натуральным и синтетическим мехом в Италии еще была безмерно далека, он не оставлял ее как несбыточность. Любой шаг к цели приближает цель... Любой шаг... Любой шаг...— Аверелли прицельно поглядывал из-под очков.

Зал заполнился. Были здесь разные, однако в чем-то весьма сходные представители человечества: лысые и густоволосые, в очках-модерн и без них, блистающие старомодным золотым оскалом и с новейшими челюстями из оргфарфора, которые делали очаровательно свежим и молодым даже противный рот поблекшего человека,— а здесь и не было почти людей молодых,— люди в костюмах добротного респектабельного бизнеса, в штучных ботинках и галстуках и люди, одетые нарочито скромно, однако с повадками миллионеров, и, наконец, тот новый слой бизнеса, который еще рядится в дубленки с цепочками и дешевые, вроде джинсов, брюки — это самый опасный, но и самый быстро исчезающий вид, вылетающий навсегда из игры либо переходящий к вышеописанным типам... В чем же они были одинаковы? Не одинаковы ли в настрое лиц, выра-

[1] О лиса, куница, голубой песец, нерпа, норка, сурок, соболь!

жении глаз, в том тяготении, что связывало их с грудами мехов и с кафедрой, на которую уже взошел главный аукционист, человек с никелированным молотком, и сам внешне как бы отраженный от всех сидящих в зале. Аверелли понимал, что аукционист и не может быть иным. Как и все, он нацепил было на левое ухо улитку синхронного перевода, но тут же и снял, потому что по-английски говорил вполне прилично, да и по-русски перенял от жены вполне достаточно из той области, которая была ему необходима...

Торги начались.

И еще сильнее проявилось, отразилось, засветилось на лицах присутствующих то общее, что в них было и что носилось тут в воздухе огромного зала. Оно осело, как желание, на лица всех, вытянулось в каждом взгляде, носе, ушах, руках с хронометрами на тяжелых браслетах, руках жилистых, нервных, волосатых, желающих, умеющих ловко считать и записывать, во всех их перстнях, ухоженных ногтях или зарубцевавшихся шрамах. Оно устремилось по направлению к грудам мехов, к связкам разнообразно коричневых, искрящихся, поблескивающих, серых, голубых, огненно-рыже-красных, палевых, шелковисто-черных, снежно-белых мехов, шкур — всего, что осталось от некто и нечто, что еще совсем недавно резвилось в прохладных и свободных вершинах сосен и на еловом колоднике, скакало по опушкам и пряталось в норы, каталось в травах и мылось росой, радостно встречало солнце и провожало закаты, искало прекрасных волнующе-пахучих самок и покорялось мощному преследователю, замирало в невыносимой сладости продления и мучилось родовой мукой, дышало и лесом, и волей, и жило бесконечностью того непонятного, но внятно счастливого, что составляло, овеществляло их суть и что черно обрывалось с громом и болью в пронзенном, пробитом теле, кончалось отчаянным криком в чьих-то безжалостно черствых пальцах, в чьих-то сомкнувшихся, неотступающих зубах...

Аверелли недаром любил психологию. Он вдруг подумал, представил: «Что, если бы на местах всех этих людей и на его месте в зале сидели бы медведи, бобры, выдры, росомахи, песцы и лисы и все поменялось

бы местами... А продавали бы... Продавали бы... Ужасно.. Не правда ли?» — и он усмехнулся страшной абсурдности, ирреальности этой мысли... Впрочем, почему абсурдности? Как-то он был вместе с Надине не то на холме Пинчо в Villa Borghese, не то, помнится, в la Calleria Nazionale dell'arte moderna[1] на большой выставке художников-модернистов, авангардистов, и еще каких-то там... и его привлекла картина, забыл, какого художника... Там было что-то подобное: Животные судили Человека... О, но-но, там было даже несколько картин, где человек, улыбающийся и розовый, закусывал тиграми — о, как они там написаны! — воздетыми на обыкновенную столовую вилку... И, черт побери, было что-то жутковатое в картине, где черно-пегий колоссальный бык бежал в чью-то разверзнутую пасть с вполне человеческими зубами, на одном, помнится, была металлом профилирована настоящая коронка... Да, человек поедает Землю... Это маленькое существо... Маленькое существо... А что делают женщины? Кто бы подумал, что из-за моды на леопардовые манто шкуры пантер так подскочат в цене...

— СОБОЛЬ БАРГУЗИНСКИЙ. Темного кряжа. Партия в тысячу триста тридцать две шкурки... Высший бонитет... Назначается цена...

Бизнесмены трудились. То и дело на табло вспыхивали новые цифры. Голос диктора бесстрастно повторял. И все это напоминало иногда зал международных соревнований по фигурному катанию.

— Сто тысяч двести долларов... Раз... Уан... Сто тысяч двести долларов... Ту-у. Сто тысяч двести долларов...

Вспыхивала новая сумма... Все повторялось до тех пор, пока молоток аукциониста весомо, торжествующе стукал и произносилось по-русски, по-английски, а для Аверелли само собой переводилось это магически завершающее слово Esaurito[2].

Кто-то в зале изможденно вздыхал.

И новая партия мехов объявлялась к продаже. Рус-

[1] Национальная галерея современного искусства.
[2] Продано!

ский мех. Меха... Они шли своим чередом: котик и нерпа, бобр и выдра, куница лесная и каменная, лиса и соболь всех кряжей, белка и сурок, горностай и хорь, песец и заяц. Пока дело не дошло до шкур, малоценных в прошлом, не составлявших никогда большого бизнеса. Волк, медведь, росомаха, барсук, рысь... Аверелли уже третий сезон имел здесь порядочный гешефт. Он брал все... И хотя за ним гнались и уже появились последователи и конкуренты, он не скупился. Он назначал новую цену, озадачивая и заставляя отступиться бывалых дельцов.

— Рысь сибирская...

— Волк...

Этих рысей и этих бывших волков ждали отнюдь не в центральных меховых магазинах фирмы Аверелли. Они не пользовались спросом у изощренных патрицианок и богатых американских туристок. Рысь, волка, медведя и леопарда ждали в магазинах, торгующих редким и экзотическим мехом для украшения кабинетов и вилл,— именно здесь нарасхват покупались и рысь, и медведь по самой высокой цене, здесь же шли завозимые из разных стран мира рога оленей и антилоп, черепа слонов, шкуры зебр, ковры из пантер, тигров и львов, чучела райских птиц и вообще все то, что доставать становилось все труднее. Все эти запреты, заповедники, красные книги...— и все-таки постоянные клиенты фирмы рано или поздно удовлетворялись, получали желаемое, разумеется, если они не скупились...

Да, большая часть «медведя», «рыси», «волка», «лосиного рога» перешла в собственность фирмы Аверелли... Собственность фирмы... Может быть, для самого синьора Аверелли они еще как-то сочетались с понятием «живое». Представьте себе — он любил животных. Да-да! Он очень любил животных! Он был постоянным и желанным гостем зоологических садов, брал с собой своих маленьких сыновей, он жертвовал для животных большие деньги, он читал и собирал книги о животных, на его загородной ферме-вилле жили ручная лиса, белки, певчие птицы... Он мечтал обзавестись ручным гепардом. Он любил и мех, поверьте, не только как торговец... Но что были эти меха для других, для всех этих бизнесменов-меховщиков, всех этих «пелетеро», «пельцхайдеров» и просто покупающих товар лишь

для того, чтобы сбыть его другим подобным же и получить комиссионные,— иначе зачем было сюда ехать...

К завершению торгов синьор Авереллн чувствовал, что не помогают уже не психология, ни аутотренинг. Ему было почти дурно от перенапряжения, побаливал затылок, давило в ушах, и в глазах посверкивало, но, наскоро пообедав тут же, в ресторане, он продолжал бороться за свой бизнес, и когда наконец все завершилось и Аверелли вышел на проспект, сел в такси, он был совершенно измучен, выкручен, выдублен, измят, может быть, как те шкуры, которые он купил. Он замечательно ловко приобрел меха выдр, черно-бурых лис (их опять никто не брал, а мода на красную лису вот-вот кончится), он купил хорьков, зайцев (вы не знаете, что можно сделать из обыкновенного русского зайца!), он купил и шкуры барсуков (на барсука предвидится потрясающий спрос! Вы еще не знаете, какой это шикарный мех! Вы еще пальчики оближете, увидев, какую диво-шапку из барсука с ворсом в пятнадцать сантиметров, с ворсом, где каждая ворсинка в четыре цвета, можно будет заказать у Аверелли). Черт побери эту моду! Но благодаря ей процветает торговля мехом — его дело... Скоро, наверное, будут модны шапки из дикобраза! А что? Стоп! Идея... Украшение на стену — шкура дикобраза... Учесть на будущее...— Он потянулся было за блокнотом, однако тут же и махнул на все.— Плевать... Устал...

Аверелли велел таксисту не торопиться. Хотел прийти в себя и отдохнуть. Не вваливаться же в номер с таким измученным, желтым лицом, какое, вероятно, у него сейчас. Надине может, конечно, пожалеть... Но... плохо, когда женщина только жалеет. Жалость — это эрзац любви... Это — унижение...

Уже темнело, и город дышал вечерней сутолокой, усталостью, раздражением и грустью, тем особым ритмом, насыщенностью озабоченной жизнью, какая всегда вскипает в большом городе к вечеру, в часы пик, когда женщины торопятся домой, принимая в душе вместе с облегченностью предстоящие вечерние дела и заботы, а мужчины уже вкушают облегчение после трудного дня — впереди для многих из них спокойная сытость ужина, вечерние разговоры, отдых за книгой, часы у телевизора и постель подле нежного тела жены, ее

успокаивающих и обволакивающих истомой ласк... Мужчинам всегда вроде бы легче живется.

Аверелли очнулся от аутотренинга и понял, что шофер катает его. Тогда он кое-как, но сердито приказал ехать прямо к гостинице и ехать быстрее. В России вообще ездят как черепахи. При таком движении можно гнать вовсю. Им бы римскую сутолоку... Когда наконец в перспективе возникло сияющее огнями здание «Астории», он, устало-облегченно вздохнув, провел рукой по лицу, снимая остатки дневного напряжения. Там ждала Надия, Надине, Надежда. Единственно близкая ему, нужная ему как утешение, как дыхание, русская женщина в этом в общем всегда чужом и особенно к вечеру непонятном, непонятно живущем собственной отчужденной жизнью русском городе.

# Слово Маниту

— Мальчик! — сказал Белый Олень, вглядываясь в хмурое лицо молодого воина.— Ты не понял, почему я спугнул твою стрелу и она не нашла цель?

Двое индейцев сиу [1] сидели на краю каньона у неяркого костра. Старик казался совсем немощным, был так худ, высушен временем, что татуировка, обычная для всех сиу, на лбу и по углам носа, была едва видна на его лице, морщинистом, как кора красной ивы. Молодой воин еще не носил на кожаном уборе ни одного пера белоголового орла [2], это был действительно почти мальчик, наверное, недавно завершивший свой юношеский пост. Он старался сохранять невозмутимость, как взрослый охотник, а сам горько переживал неудачу, недоумевал, почему Белый Олень ударил по тетиве его лука, заставил промахнуться по молоденькой телке бизона [3], когда она отстала от бегущего стада. Телка бизона должна быть такой вкусной, а они

Примечания автора:

[1] Сиу — большая группа индейских племен ирокезской лиги, ныне сохранилась немногочисленными общинами в резервациях.

[2] Белоголовый орел — точнее, белоголовый орлан. Большая хищная птица, символ в гербе США. Почти повсеместно истреблен; за исключением Аляски, где взят под охрану.

[3] Бизоны — степные и лесные быки, многомиллионными стадами населявшие прерии. Повсеместно истреблены и сохранились только в заповедниках.

свалили старую яловую самку, и ее жесткое мясо пеклось на углях, вырезанное вместе со шкурой. Этим же суховатым мясом были нагружены четыре лошади, которые паслись недалеко от костра и часто фыркали, настораживаясь на вой койотов.

— Дети ночи поют нам славу... — пробормотал старик, и улыбка чуть обозначилась в его глазах. Он взглянул на молодого воина и сказал уже внятно: — Мальчик... У людей сиу есть слова: «Орел становится добычей лисицы, когда наедается как осенний гусь». Слушай... Давно-давно... Великий дух Гитчи Маниту еще спускался со снежных гор страны Северного Ветра к нашим отцам. Он говорил им голосом грома: «До тех времен будет счастье сыновьям леса и прерии[1], пока они не захотят быть слишком сытыми». Мы забыли слова Гитчи Маниту. Разве не продаем мы белолицым бобров и выдр, разве не истребляем ради шкур наших братьев из леса и реки? Нам нужны стали лошади и ружья, чтобы без труда и страха стрелять бизонов и горных львов... Слушай... Твоя обида уходит, как вода в песок... Но след еще не высох. Помни след. Сделай так всегда — опусти лук, если ты сыт и сыты твои дети, и так же учи внуков, когда придет твой черед и ты возьмешь второе имя... Храни наших младших братьев в пору бегущей воды, чтобы мы не погибли с голоду в месяцы большого снега...

А потом, когда молодой воин уснул, старик в немой задумчивости сидел у костра. Нет, не помнят люди сиу закон Маниту... Больше и больше на его памяти скудеет земля. Как остановить... Если и сам он, когда был таким, как этот мальчик, охотился, пока хватало стрел... Почему мудрость приходит к старику, и пока постигнешь ее — все наставления кажутся глупыми... Не так ли и он сам сердился когда-то, как этот мальчик...

Старик прислушивался к звукам и запахам ночи. Шумела река на дне каньона, всходил белый тонкий месяц, и ветер приветствовал его, нес с равнины дыхание трав и осиполистых тополей, гул бегущих стад, крики ночных птиц и койотов. И неужели все это исчезнет? Все теперь нарушают слово Гитчи Маниту, а его, Белого Оленя, вполуха слушал и этот мальчик, спящий у костра...

[1] Прерия — целинная степь и лесостепь, ныне распаханная и обращённая в сельхозугодья.

*Лесник — должностное лицо, ответственное за охрану и устройство леса на определенном участке.*
*Егерь следит за соблюдением правил охоты, сохранением и воспроизводством дичи.*

*Из штатного расписания*

# Лесник и егерь

Всякого, кто въезжал в эту деревню по размешанной и разъезженной в десять колей тракторной улице-дороге, кто, не очень-то пялясь по сторонам, катил мимо старых, под ветхим в зелень тесом, и новых, под скучным шифером изб, независимо от кровли похожих друг на друга, как могут походить только российские избы, где и окна одинаковы, и ставни, и завалинки, и свеклы-луковицы под коньками выведены одинаково,— все-таки удивляли, наверное, две усадьбы уже на выезде, у самого леса. Разделенные лужами дороги — переходила здесь дорога в широкую поскотину-пустырь с черной ископыченной землей и редкой травенкой,— они будто рассказывали древнюю сказку, как один брат был бедный, а другой брат — богатый...

Подворье справа подступало к лесу и было обнесено не плетнем и не пряслом, но по-сибирски бревенчатым высоким тыном с заостренными зубчатыми верхушками. Так отгораживались еще некогда в древней лесной Руси от зверя и от лихого набега. Тын был старый, местами и черный, и сизый от времени, но везде справный, нигде не косился, виднелось в нем и новое, ладно подтесанное бревно. Тын-заплот обходил четырехугольник мало не в гектар, а заключался зелеными воротами из винтовых лиственниц с лиственничным же, тесанным из целого дерева коньком, аккуратно закрытым зеленым железом. На створах ворот с темно-синими шляпками кованых старинных гвоздей — ладились такие гвозди в кузницах на заказ и не ржавели почему-то — сохранилась впрожелть серая, цвета прошедшего времени резьба, также кое-где поновленная умело и ладно. Из-за ворот глядела красным суриком крыша, жердь же телевизионной антенны была снова зеленая, глянцевая, как и два скворечника-дуплянки, поблескивающих этим любимым хозяином цветом.

Замечено мной, может и ошибочно, что в поселках и деревнях по всей Руси цвет и стиль дома всегда как бы соответствует внутреннему содержанию владельца: строят дома с широкими, светлыми окнами, красят в веселый желтый и охристый цвет обычно люди умные, добрые и веселые; в зеленый и с окнами поуже — люди степенные, непьющие и сумрачные, так сказать, себе на уме и своей голове советчики; в голубой и в розовый тон наряжают жилье хозяева с беззаботинкой в душе, которым все трын-трава, везде хорошо и весело, привольно и довольно; в синий и фиолетовый...— но тут лучше остановиться, вдруг теория не верна, вдруг объявится исключение, как бывает везде в жизни...

Итак, следуя за сим шуточным разделением, дом за тыном принадлежал человеку, во-первых, работящему, во-вторых, хозяйственному, в-третьих, скуповатому или просто бережливому искони, не бросающему копейку на ветер, в-четвертых, должен он быть неглуп, непьющ лишка и, возможно, неказист видом, ибо люди казистые относятся чаще к первой (желтой) либо к третьей (розово-голубой) категории, либо, редко, к четвертой (фиолетово-синей). Кажется, уж все сплошь писали о лесниках — хозяйственных мужичках, что по-муравьиному тащат-несут к себе правое и левое, обирают безответный лес, рубят-губят, продают направо и налево, за бутылку и за красную бумажку готовые на все. В отличие от собратьев и от себя самого в прошлом не намерен автор распаляться гневом на благополучное лесниково житье, может, просто не хотелось ему уподобляться некоему пьянчуге, хмельно дымившему сигаретой прямо в электричке под вывеской «Курить воспрещается». Глядел пьянчуга, как выгружаются на платформе трудяги-садоводы, кто с ящиком помидорной рассады, кто с досками-рейками на горбу, изрек заключительно: «Садоводы... чие, кулащье...» Итак, хотелось бы автору поглядеть в корень достатка и бедности ныне, найти следствия.

Нет, лесник Иван Агафонович Шутов, живущий в зеленом доме за тыном, лицом, и верно, неказистый, курносый и рябой, не принадлежал к людям, про которых говорят: «рука с клеем», или к хапугам-рвачам, разоряющим-пропивающим народное достояние,— тем, про кого пишут в газетах гневные статьи с заголовками: «Плесень», «Накипь»... Кстати, и самый дом, и тын вокруг ставил не он, не лесник Иван Агафонович, а дед

его и отец, тоже бывшие лесниками, передавшие должность сыну и внуку как бы наследственно. О наследственности и наследовании, родовых и деловых корнях теперь тоже много говорят и пишут, стали помаленьку понимать, что корнями своими и жив, быть может, человек, подобно дереву на своем месте, и лиши его корней, дающих наследственную, от предков к потомкам идущую силу,— зачахнет он, выродится черт знает во что, сколько доводилось видеть автору таких людей без корня, перекати-поле и летунов разных, искателей, где лучше и теплее, и читатель таких видел, и не зря, конечно, возродилось по сему случаю вроде бы чуждое слово — династия, жаль только, все больше о рабочих династиях пишут, о крестьянских, если остались они еще, а про лесниковы династии редко услышишь... Установив, что не чуждого происхождения лесник, что жил и вырос он в этом краю и сызмала причастен к лесу, к трудам отца и деда, перейдем теперь к доходам и достатку.

День Ивана Агафоновича, если можно так сказать, начинался ночью, затемно, когда и вся деревня, как вымершая, спала, петухи не кричали, и заря, едва начав разгонять темь, была еще слабая, как бы сонная и сомнительная. С ведрами в руках, обливая сапоги, уже таскал Иван Агафонович воду от своего же колодца на усадьбе. По холоду, по заре легче дышится, вроде и ведра полегче, а воды требовалось много,— одной скотине, пока всех напоишь: лошадь, двух коров, телку, пяток овец, свинью-матку с поросятами, а там кроликов и птицу — им хоть и мало, а тоже вода требуется, потом вода в чаны, в кадки на полив огурцов, помидоров, капусты, всякой другой овощи, по ведру-два на кусты смородины у тына, на вишню — и набегало ведер полтораста, в сухмень — все двести, а сухо-то теперь часто стоит, лето за лето заходит, и вода оттого в колодце ниже, добывается труднее. Напоив живность, кормил ее, ту, что остается на дворе, да и ту, что через час-другой на пастьбу,— добрый хозяин всегда так делает, не пускает скотину голодом, и не жрет она, не бросается дуром на всякую пастбищную траву, а ест уж с выбором, и молоко у нее оттого не горчит и не пахнет болотным лютиком; дальше, выгнав коров и телку в пригон, брался за вилы, лопату, навоз, извините, убрать, подбросить свежей подстилки и, уж закончив обихаживать живность,

шел на пасеку — была тут же на усадьбе, за огородом, по теплому травяному пригорку.

Для пасеки место выбрал дед. Хорошо выбрал, укрыто от полуночного и от западного дождевого ветра тыном, а еще заслоняла гряда могучих, потянувшихся к югу лип. Липы садили и дед, и отец, и сам Иван Агафонович, когда был младшим. Его липы были помоложе, но уж и они подались — цвели которое лето и радовали здоровым ростом. Липы возили из лесу, издалека, копали, надрывая пуп, и получилось не пчела к липе, а липа к пчеле явилась. Наверное, пасеку, самое место это, пригорок со всякой травой, чистый с раскидистым кустом черемухи — каждый май белела она грозовым и холодным цветом — Иван Агафонович любил особенно, присаживался тут посидеть, отдыхая малую малость на едва пригревающем после зари, умытом и тихом солнышке, слушал, как поют птички, как липы будто дышат листочками, переговариваются спросонь, и негромко так же, точно зажмуриваясь и протирая глаза, оглаживая себя, жундит, выбирается из летков первая заспанная пчела. Мирно бывает в такие утра на пасеке, да редко они выпадают, чаще и здесь работы невпроворот: то холодно — и пчелу надо кормить; то заливает дождем; подошло роение — ссорятся, делятся семьи и гляди в оба, не зевай — упустишь рой; а то велик взяток — и надо пчеле помогать, ставить новые магазины. И мед ведь не просто бывает брать, сам собой он в рот не просится. Обиходив, осмотрев пчел, налив им в чистые противни-корыта колодезной водички (и пчела тоже ведь пьет), спускался в огород пройтись, поглядеть, как что растет, — кто сам садит, тот ведь и поглядеть любит, — шел бороздами меж гряд с луком, сощипывал горькое перышко пожевать, выдергивал морковку попробовать, и хоть вовсе была еще белая и пресная, ел, обтерев ботвой, — хотелось свежего. Были на грядах горох и бобы, была свекла, стояла вся в ясной росе капуста и даже играла дрожким маревом, радугой, когда падал на нее низкий косой луч, редька головасто синела из земли по краям загонов, обещая налиться весом в пуд, величиной в самовар. Все было заботливо выполото, взрыхлено, ухожено, именинницей глядела земля — нигде лишней травки, сориночки — это уж жена, ее труды и обиход. О жене Ивана Агафоновича придет черед сказать особо...

Вполсолнышка, когда по деревне начинали пробовать голос редкие теперь петухи, когда у речки начинало слышаться позваниванье ведер и бабьи голоса, когда студент, сын председателя колхоза, включая на всю мочь свой транзистор, начинал делать под музыку бодрую зарядку, Иван Агафонович в мокрой, просыхающей по лопаткам солью рубашке шел завтракать, хоть в пору и обедать бы — так напахался, ломило даже привычную к трудам спину, ныло в руках и в ногах. Отдыхал уж за столом, пил чай, молоко, закусывал хлебом с жербейками сала; крутым вареным яйцом и, отдохнув так, надевал свою лесникову амуницию, фуражку, сапоги, ровно к девяти шел на службу привычным к дальней ходьбе, неспешным шагом.

Теперь покинем его удалившуюся в лес фигуру и расскажем кратко о его жене, лесничихе, как обещали, а рассказать стоит, наверное. По всей деревне и по округе даже до сих пор судили-рядили старухи и бабы, как это — непонятно — удалось маленькому, невзрачному ни с какой стороны Шутову возобладать большой белотелой, почти на голову выше его и моложе его красавицей, с весьма редкими у женщин серо-синими глазами в черных призывных ресницах. Жена Шутова была из соседней деревни Крутой, славной на весь район видными и крупными девками. Жило в Крутой смешанное с давних времен население: белорусы и поляки-переселенцы, коренные татары, не менее давние русские «чалдоны и кержаки» и еще какой-то пришлый, ста лет не будет, сам собой поселившийся народ, который, однако, и теперь звали самоходным и самоходами. Из такого многообразия народов и возникла стать тамошних девок, то синеволосых с раскосинкой, норовистых и жарких, то спокойных, с утренней тишиной в лице, дебелых, как польские панны. Но и средь самых видных жена лесника слыла красавицей. Не сумею я, да и сам Шутов отмолчался бы, дать объяснение случаю, как пошла к нему первая девка в округе, почему сама ровно бы наткнулась на него, отвернулась от самых видных женихов, отвела сильные, жадные руки. И судили бабы: «На богачество польстилась... Лесники-то — куркули, кулачье, буржуи...» Лют был и лют остался иной деревенский житель в зависти к чужому добру, и будь ты хоть трижды работник, хоть не разгибай спины с зари до зари — все найдется для тебя черное, поганое слово.

А про лесникову жену можно и так прикинуть: не загадка ли это любви, созданная природой для выравнивания крайностей? Бывает же такое: женится красавец-удалец на вздорной и злобной пигалице и терпит ее, и лелеет, и наоборот случается — еще чаще — идет добрая, терпеливая девочка в руки нахалу, гуляке, пошляку. Но оба случая неприменимы были к Шутову и к его жене. Жили они, видать, дружно, как писали когда-то: в согласии и в любви, хоть слов таких как-то не было у них в обиходе.

Предоставим читателю решать, что объединило этих людей, ибо вопреки представлениям о ленивых красавицах, что вынеживают пышную плоть свою на лебяжьих пуховиках, кровь мужа, можно сказать, пьют и сварливы, и браниливы, либо уж наделены, по сказкам, волшебством таким, что махнет одним рукавом — и все у нее само собой готово: истоплена печь, испечены пироги, на столе обед на самобраной скатерти; махнет другим — и горницы прибраны, полы вымыты, холсты натканы,— вопреки таким представлениям лесникова жена была также работяща, неуемна на всякий труд, крутилась по дому и по хозяйству с утра дотемна и на мужа еще сердилась, когда вставал он раньше, уходил тихонько, не хотел будить. Редко такое ему удавалось. Обычно жена появлялась на крыльце следом, румяная и заспанная, как та заря за подворьем, и здесь на крыльце всегда заплетала волосы, каких, вероятно, и читатель не всякий видел: были густые и тяжелые, как шелковое покрывало, укрывали лесничиху до пят. Вот пишу, а вместо того жадно хотелось бы мне схватить кисти, краски, кленовую палитру, написать бы лесничиху вот так, на прохладном, на темном от росы крыльце, ухватить, как перебирает она, расчесывает и разводит русые тяжелые пряди, как ведет бело-розовой рукой, как скрывается в прядях, подобно месяцу в тучах, не по-бабьи нежное круглое ее лицо, как блестит из-под прядей улыбчивый, добрый глаз, показывается, как писали в старину, соболья бровь, мерцают зубы-жемчуга из страдальчески сладко покривленных губ — тяжело-нежно располосовывать, разводить гребнем такую благодать, вести им от маленького уха до круглого бедра и ниже к колену, и еще ниже, нагибаться приходится — такова коса... Написать бы... Да негоже художнику заглядываться на чужих жен, хоть бы и красавиц, и на выставку возьмут ли,

сможет ли красавица на крыльце встать в ряд с красавицами на тракторе, под нефтяной вышкой с черным фонтаном или в изляпанном краской, пробеленном мелом комбинезоне...

Но здесь вернемся к лесниковой жене, раз уж не удалось написать ее кистью, завершим кое-как словом. Косу она заплетала толщиной в руку, носила по-девичьи, и коса эта волшебная придавала ей иную стать, какая уж невозможна как будто к сроку, о котором сложена горькая бабья поговорка.

— Опять, Ваня, сбежал от меня,— говорила лесничиха с улыбкой, глядела, как трудяга мужик воротит за троих и даже бегом иногда бегает, чтоб все успеть...

Кто объяснит мне, почему в одних людях живет жадность к делу, к труду и ко всякой работе: копать ли, садить ли, строить ли, сидеть ли над книгами до головной боли, искать истину,— находят ли они в работе (и в истине) какую-то им только нужную усладу, движутся ли ведомые семейным долгом, инстинктом, общим для всего живого, или же, возьмем некий газетный штамп из области социальных обличений (жажда наживы!) — не всегда поставишь тут точное определение... В самом деле, иному бы по здоровью и силе-возможности, иногда и по нужде воротить бы, как быку,— возьмем старое сравнение, как трактору на пахоте — используем новое, а нет, не воротит, не пашет и не сеет, все предпочитает погулять, умные речи поговорить, на скамеечке у фонтана отдохнуть, а спросят впрямую — отговорится и причины найдет, причин же у таких людей видимо-невидимо, от высоких творческих устремлений, от полета мысли столь запредельного, что не понимают окружающие всей величины и значимости, до обыкновеннейшей дремучей лени, что толково изложена во многих народных мудростях. Но о лени говорить — давать в руки карты людям наглым и чуждым, и тягостно слышать мне, русскому человеку, их вопросы. Почему-де народ мой великий создал сказки о реках молочных с кисельными берегами? Почему, мол, предел мечтаний в тех сказках — хлебать горошницу, не слезая с печи, не слезая с нее, в лес по дрова ездить и на реку по воду, в гости на блины? Почему возвеличен там странный герой, извините, дурак, пусть он оказывается на поверку умнее других? Что ответишь чуждому и наглому человеку? Не скажешь же ему, заранее уверенному,— с постав-

ленной улыбочкой, с унизительной такой любезностью он на тебя поглядывает,— не скажешь же ему в самом деле: «А ты проиникнись сказкой, пройди былиной, войди в ту самую изначальную древность — увидишь Русь лесную и полевую, что строилась, и пахала, и отбивалась от ворогов мечом и цепом, заслоняла кольчужной грудью, загораживала посконной спиной изнеженные ваши цивилизации, терпела века и восставала, сбрасывала с хребта всякую наглую силу, на себе ведала, в себе переносила всяческий страх и горе. По-иному видишь Россию не когда глядишь на нее с улыбочкой, но когда прислонишься к ней, приклонишься и поймешь сердцем: умен, талантлив этот народ...»

Отец лесника не так уж давно распрощался с белым светом, еще бы жил да жил, если б не принес с фронта два ранения, контузию и меж многих прочих наград три тяжелых медали «За отвагу». Медали же эти зря не доставались. И вот, отлежав пластом месяц-другой, едва поднявшись, неуемно брался отец за любую работу, а в пример ставил деда,— тот умер с рубанком в руках, мастерил новый улей. И почти повторил его Агафон Шутов, только в огороде, под вешним солнышком, сел отдохнуть у распаханной полосы,— а больше не поднялся. Думаю, уж не по наследству ли даются человеку и трудолюбие, и успех, и в конце концов вся его судьба?

А по этому безмерному труду (может, кто-то тут же ввернет: ж а ж д е н а ж и в ы) был достаток в лесниковом доме. Завидный достаток. Употребишь такое вот определение — и опять тянет поразмыслить и спросить себя и честных людей. ТРУД И ЛЕНЬ. ДОСТАТОК И ЗАВИСТЬ. Не применить ли здесь чуждое литературе правило математики, не проверить ли алгеброй гармонию, соединив два первых слова и два вторых? А ведь уж и подавно не сошлешься ныне ни на паука-эксплуататора,— нет его давно, ни на всякого рода разруху — тоже миновала. Однако и теперь видишь: один (одна, одни) неуемно трудятся, везде успевают, на заводе, в колхозе ли, дома; другой лишь завидует дочерна и клеймит трудягу гадом и частником, кулаком и сквалыгой (не дал, понимаешь, вчера взаймы на пол-литра, паразит!). И приходит, само напрашивается такое: не всегда ли был труженик и лодырь на этой Земле? Не всегда ли взаимно исключали они друг друга? Странно мне

только, почему иногда считается, что прав-то вроде бы лодырь, что ходи вот, допустим, по деревне в дырявых штанах, пей, бездельничай и злословь, и никто, пожалуй, особенно не возмутится, если и осудят, то с усмешкой, но ломи в той же деревне за троих, поставь тяжким трудом каменные палаты, возведи их бессонными ночами, недоспанными утрами, не щадя живота, наживая грыжу,— и будешь ты не сходить с языка, все будешь частник, кулак, буржуй, и все будут присматриваться к тебе — а не вор ли, и будут писать на тебя письма в сельсоветы и выше... Кто же прав? А дорогая эта истина на поверхности лежит,— не ясно ли каждому, чью сметану лодырь ест, в чьем кармане руку держит, на чьей шее пробавляется?

Но заметит читатель, ударился автор в ненужную полемику, и впрямь ведь лучше не надо, а вернемся к семье Ивана Агафоновича.

Было в ней еще двое почти взрослых дочерей и не было сына, о чем горевал втайне лесник и не терял еще надежды. Дочери, похожие лицами, как близнецы, были погодки Валя и Люба — рослые и статные, в тесных юбках, широколицые и румяные, не было у них только пышной материнской косы, не захотели носить, но и без нее были таковы, что всякий парень, да и мужчина зрелых лет, встретив, не могли идти дальше, а таращились и оборачивались, глядели, как девушки уходят, упруго повиливая бедрами. Дочери больше различались объемами: старшая Валентина была много толще, круглее, светлее волосом — настоящая северная девушка-поморка. И на обеих дочерей не было расчета у Ивана Агафоновича. Девки что вольные птички, открыл дверь — улетели. Обе уже учились в городе, чем дальше — больше прикипали к нему, младшая так и вообще домой бы не являлась, были они будто от другого века, другого роду и даже матери помогали неохотно, все критиковали: «Куда это? Зачем? Кому надо?..»

А теперь, полагая, что читателю наскучило повествование про богатого лесника, обратим взгляд, как писали еще веке в восемнадцатом, на левую сторону выгона, там, мы знаем уже, стояла другая отшатнувшаяся от деревни усадьба. Впрочем, не подходит сюда это слово, ибо строение, стоявшее там, невозможно было

назвать домом или избой, лучше всего обозначить его халупой, избенкой, развалюхой, еще как-нибудь, потому что крыша представляла собой нечто странное, разоренное и разломанное, кое-где прикрытое листом старого железа или битого шифера, окна, где не оказывалось, часом, стекла, были заткнуты, заставлены изнутри фанерками, от ворот остался один косой столб, амбар и сарай были еще хуже,— от амбара стояли только три стены, у сарая же не было никакой кровли, кроме настеленного когда-то старого жердья, по которому иногда бродили козы — невесть как они забирались туда. В огороде — с трудом обозначался меж лебеды, цветущих лопухов, осота и другой сорной травы, а росли тут даже и осинки — никогда не было видно ни души, зато подле избы, на завалине и по деревне носилось, бегало, орало, пищало в дудки, стреляло из рогаток, дралось и мирилось, затевало всевозможные игры несчитанное потомство человека не менее, если не более известного в деревне и даже состоявшего с лесником в дальнем родстве. Все коренные жители здесь были в свойстве, кумовстве или иной, уже не обозначимой и не обозначаемой степени родственной связи. И так же, как лесник, человек, обитавший по другую сторону поскотины, был связан с лесом, носил сине-зеленую фуражку егеря, чаще козырьком несколько вбок или напяливал ее на самые уши в погоду холодную, дождливую,— но об этом уже говорилось выше.

Егерем Василий Петрович Петухов сделался с тех пор, как охотучасток по плану раздела угодий приписали к лесокомбинату. За свою почти пятидесятилетнюю жизнь, хоть юбилей еще и не наступил, а только проданы были в его предвкушении две поленницы колотых дров из зимнего запаса, за пятидесятилетнюю жизнь Василий Петрович имел лишь прочную славу первого пьяницы, драчуна и сквернослова, отчасти о том уже упоминалось. Об образе жизни этого человека нетрудно было бы догадаться по его жилью и многочисленному потомству, странным было лишь, как оно помещается под ветхой кровлей, чем кормится, за счет чего входит в жизнь. Но Россия испокон века, видимо, та страна, где главное — родиться, а там все как-нибудь образуется. По этому, знать, принципу и заводились дети у егеревой супруги, женщины худой, черноликой, беспечной и пьющей, но при всем при том исправно рожала она

сыновей и дочерей какой-то одинаковой особой стати, так что, поглядев всего один раз на любого из егеревой семьи, далее можно было отличать каждого причастного к ней...

Василий Петрович поежился под коротким излатанным полушубком, которым он укрывался, расстелив его в ширину от полы до полы, полушубок все равно был мал, и Василий Петрович матюгнулся разок-другой, не разлепляя глаз, затих снова, ушел в сон. Однако утро было с жестким, похожим на снег инеем, и вошедший с рассветом в поля ветер без жалости гнул, клонил березы, снимал и очесывал с них последний лист. Листья слетали дружно, как стаи чижей, неслись к югу и опадали в поле, подобно чижам. Ветер продувал и сотрясал редкий шалаш, где спал Василий Петрович, валил и раскидывал сухие березки, прислоненные к шалашу, и непривычный, тем более трезвый человек давно бы уж вскочил, дул в кулаки, но егерь лишь похмельно всхрапывал и сопел, хотя не спал уже, притворялся, обманывал сам себя...

Но вот ветер так тронул непрочное строение, что оно шатнулось было, зашевелилось и поехало, а егерь сел, дергая плечами, разлепил шалые глаза, моргал, отдувал слежавшийся внутри перегар, дрожал коленями, потом полез в карман полушубка, вытянул пустую посуду, с вожделением, мешающимся с досадой, оглядел, заметил на донышке по краям как бы малую влагу, поднял бутылку, но рука окаянная не слушалась спросонок и с похмелья, и малая влага пролилась холодом на щетинистый подбородок, обвела рот, получилось как в сказке: по усам текло — в рот не попало. Тогда, кро́я в сердцах и в бутылку, и в душу, и в погоду, он полез из шалаша на четвереньках, встал и огляделся.

Шалаш был у перелеска, с краю поля. Тучи стелились неласковые, хоть и походили вдали на стеганое одеяло. Заря едва занималась и светила ненастно, малиново-красно... Ветер рыскал в поле и по березняку, и по ветру же, ниже тех плотных туч, растягивались от северного угла неба белесо-дымные бегучие облака. Хватко пахло этим севером, близким снегом, неисходным ненастьем — будь тут художник, человек с чутко

настроенной к природе душой, слеза бы прошибла, до того свежа, сурова природа на рассвете: вот это поле, вот заря, вот ветер, и тучи, и дальний черный лес... Ах ты, господи, до чего хорошо! Пьешь прямо, пьешь осеннюю стылую свежесть. Может, понимал это и егерь, но не до моленья ему было, когда сосало душу неутоленной жаждой, а затеянная с вечера охота на тетеревов на чучелах не получилась, видать... С одной березы чучело уже слетело, сняло ветром, на другой оно, сделанное кое-как из старого смоленного на огне валенка, болталось во все стороны. Такую погоду не любит лесная птица, сидит в крепях, в лесу, уходит на галечники и в ягодник, ищет рябину — не до вылета ей в поле, пока не утихнет ветер.

Василий Петрович присел у шалаша, натянув на голову все тот же полушубок. Все было плохо: и то, что нечем утешить душу; и ветер, и косачей, видать, нонче совсем мало осталось, совсем ничо... бывало ведь, палил здесь же с рассвета, дым не успевало разносить, стволы накалялись, едва перезаряжал, подбирать не выходил, потом уж, к полудню, вылезал из шалаша, набирал в вязанки вороных, отливающих синим, краснобровых белобрюхих петухов, рыжих, взъерошенных в шее курочек, ловил-добивал-гонялся за подранками, довольный шел полями к деревне отсыпаться...

«Мало стало птицы... Черт ее знает почто... Чо она не ведется... Удобрения, чо ли, наклевывается? Яду какого? — обвел взглядом пустые голые березняки, теперь уже под желтой ветровой зарей.— Бывало, вылетало ее, птицы, черно, как воронья... Теперь никого...» Вспомнил: находил летом на межах и в опушках нелетных тощих тетерок, лежали, ошалело-покорно глядя, не в силах подняться, только дергались, опираясь на растопыренные крылья... «Где же быть птице»... Высматривал горизонт, натрое распахала его прошедшая вырубка,— клял сегодня и вырубку. «Распугали птицу, сколько лесу сняли... Да, бывало... Отец этих тетеревов, рябков, уток баулами в город на базар возил...» Отец Василия Петухова тоже был охотник, пастух и простовольный, гулящий человек. Когда был трезв, ходил сюда вот на пожни, ставили на птиц короба-ковши... Вроде бы немудрое приспособление — ковш, десяток кольев оплетены красноталом наподобие высокой корзины, крышка тоже плетеная, грубая, противовес да

пучки овса, ну, рябины еще. Глупая тетеря садилась на крышку, валилась в ковш, крышка опять становилась на место. Бывало, доставали с отцом по две и по три тетери. Сидели птицы в ковше друг на друге. Брали их живьем. Иногда и копалухи попадали... Те реже...

Хотел ставить чучело снова, да раздумал, залез в шалаш, дул в кулаки. «Да, погодка... К зиме уж, видать, натаскивает мороку». Заря уже совсем скрылась за тучами. Синел рассвет. Не то светало, не то и весь день такой простоит — нерассветай называется, когда кропит дождем и снежком, задумывается погодка, быть не быть зиме... Не было птицы... «Хоть бы филин какой, ястреб бы налетел... Хлестнул бы его...» Вспомнил, как однажды (одинова) налетел из лесу большой серый ястреб, сорвал чучело с шеста и понес, и далеко унес, бросил у опушки, видно, там понял, не то несет. Смеху-то... Вот в Обществе охотников, куда ездит Василий Петрович за получкой каждый месяц, читают лекции пенсионеры. Один старик, такой из себя видный, говорил, что хичников стрелять нельзя, хичник, мол, ловит больную и заразную птицу. А как же он валенок-то тогда схватил? Вообще-то работешка эта егерем — смех сказать, как раньше ничо не делал, так и счас... Счас только деньги платят. Не корысть, конечно, оклад... Однако это тебе не коров в оводное время пасти... Да и в обществе-то в этом собрались разные старые мухоморы, чо-то там пишут, планы всякие планують. Начальник — тоже пенсионер. Все рассказывает, как и где раньше охотился. В Азии где-то тигра оне последнего застрелили, а потом на Дальнем Востоке двух барсов взяли. А счас сколь их там по переписи осталось... По переписи...— усмехнулся Василий Петрович —... ... ...— Перепись... Заставляют, значит, вести ведомость... Отлет там, прилет, учет разный... Сколько зайцев видел, лосей, глухарей, уток, хичников сколь отстрелял, ворон, солонцы устроил, галечник, порхалища... Ну, берешь бумажку эту, поглядишь на потолок и пишешь... Глухарей, мол, сто двадцать, зайцев — триста, лосей... А оне и рады, пенсионеры-то... Умножается дичь... Ххе-хе... У м н о ж а е т с я... Бумага-то терпеливая... Еще дневник вести велят. Записывай, мол, какая погода была кажный день... Да на... им погода-то сдалась? Ну, пишешь: там-то был, то-то видел. Чо в башку набредет. Один вон, из Тычковского хозяйства,— вместе

после получки пили — ржал: говорит, написал спьяну, что у него в участке тысяча глухарей, дак не только поверили, а в газетке еще напечатали. Тыща, мол, глухарей сосчитана... Ржали — до слез.

А летом, это, присылают охотников на отработки: сено лосям косить, веники заготовлять, осинник рубить. Ну, приезжают... разные. Кто подогадливей — у того бутылка с собой. Попьянствуешь с имя день и — пожалста, отработали. Бывают, верно, и такие... ударенные. Один все приставал-выспрашивал: «Какая, мол, дичь водится? Сколь?» Или раз парни приехали — и не пьют ни в какую... Заставил их тогда сено косить, веники вязать. Накосили — козе хватит... Больше бы таких наезжало... Нет... Не будет нынче охоты... Домой надо собираться, хоть за бутылкой сбегать... Что вчерась не взял другую бутылку? Есть ведь трешка в загашнике... А... взял бы — выжрал бы, все одно не утерпел до утра... Это уж точно. Сюда бы счас бутылку-то, как хорошо бы... А там с бабой придется делить... Бабы пьют — это вот худо, однако...

Василий Петрович вылез из шалаша. Ежась и морщась от мелкого дождя со снегом, уронил шест с другим чучелом. Подобрал, сунул чучела в мешок с дырами, с черными пятнами засохлой крови, побрел по стерне под уже часто сыплющей снеговой крупой за ветер, к вырубке, к лесу. Другой рукой нес ружье. Ружье — не какая-нибудь дрянь-дребедень, какая обычно встречается у таких охотников. Дрянь-дребедень у него тоже была, осталась дома — а сейчас он нес заказную штучную немецкую уточницу десятого калибра,— ружье редкое и ценное. Досталось — смешно сказать как... Года три назад какие-то охотники, из важных, приезжали на охоту в Крутую. Там и утопили ружье в озере по пьянке. Достать не могли, сколько ни старались. А ребята Петухова на другое уж лето купались на том месте, нашли, вытащили не хуже водолазов и доставили отцу. Ружье чуть поржавело, имело только два медных патрона — зато уж било оно наверняка, укладывало и птицу, и зверя чуть не за версту. А по нонешнему времени, когда и птица, и зверь стали во как осторожны, ружью этому нет цены. Тяжелое, верно, как лом, и патронов других нет. Но Василий Петрович приспособился заряжать патроны тут же, на месте, носил в кармане мерку для пороху, в другом кармане дробь,

ну, шило еще — капсюли выколачивать. И все дела... А ух, как урежешь зато по стае двойным зарядом — высоко-невысоко пяток-десяток снимает... Прошлую осень гусей вот в такую же морочь стрелял. И не где-нибудь, не на воде, а посуху. Летят они косяком над полем, сторожатся, а все равно берет... Лося взять. Если зарядить жеребьем или круглой пулей, шаром от большого подшипника — насквозь проносит по лопаткам. Но лось... В общем, это уж другое дело...

Большая пепельная птица мелькнула через вырубку, стала лепиться на одинокую, оставленную лесорубами лиственъ. «Глухарь ведь!» — радостно отметил Василий Петрович и вприскочь побежал, чтоб не быть на виду, чтоб закрыло краем леса. Это был последний глухарь в округе, и его знали все жители леса, знал и егерь. Глухарь каждую весну токовал на склоне леса к болоту, там, где теперь прошла главная трасса. Не то чтобы Василий Петрович щадил глухаря, а так, не получалось как-то по нему стрелить: то вылетал, когда ружье было за спиной, то вдалеке исчезал куда-то, уходил, видать, в крепи. Об этом глухаре даже повествовалось на егерских семинарах в городе, и постоянные тогда слова были:

— А как же не хранить? Штоб выводки велись... Этто я отлично-хорошо понимаю... Я з-за этого глухаря, можно сказать, всегда боролся и буду бороться... Правильно говорю? Боролся и буду бороться...

Но сегодня усевшийся на лиственъ, так прямо на виду, глухарь распалил раздосадованного неудачной охотой Василия Петровича. Егерь крался опушкой все медленнее, бросил и мешок. «Потом найду...» И удача караулила его. Глухарь все еще сидел в вершине лиственн, медленно ощипывал квелую оранжевую хвою. Обыкновенным ружьем взять его от опушки трассы нечего было и думать, подходи хоть под самый комель, и то навряд... И глухарь, словно зная это, небоязливо продолжал трапезу. Лишь изредка, на секунду, он замирал и прислушивался, полураскрыв клюв и застывая темным таежным взглядом, но слабо слышались шорохи через шумящий дождик со снежной крупой, и глухарь снова начинал тянуть толстую шею к мелким веточкам с кислой подмерзшей хвоей, откусывать хвою темно-роговым, перламутрово светящимся к кончику клювом... Когда он падал с лиственн, сшибая сучки и

тяжело сомкнув крылья, неясь к расширяющейся земле, он ничего не понял, оглушенный ударом двойного грома.

Это был последний глухарь и последнее утро старухи листвени. Днем ее свалили, взявшись двумя бензопилами и оставив пень, широкий, как стол лесного царя. Считали, считали на каменноплотном обрезе кольца-слои. Который раз, сбившись, начинали снова, а потом кругло решили, что листвени без мала тысяча лет, и до вечера возились, кряжевали ее, спиливали сучья, а потом потянули двумя тракторами по дороге в Крутую, в ту самую, где жили состоятельные дачники, и требовалось им вечное дерево на новую стройку — на венцы и ворота. Вез листвень уже известный читателю Витька Жгирь, он же Брыня, если хотите...

*Осень, не плод ли чьей-то мудрости ты?*

*Из ранних юношеских философствований*

## Капкан

Осень текла — тихая, пасмурно теплая. Долго дул ровный южный ветер, вытягивая и снося к северу печные дымы, не приходили заморозки, и лес не спешил раздеваться, хранил недолгую осеннюю красу. Лес молчаливо ждал, и было в его молчании, в немой отрешенности нечто покорное: сам собой падал, валился к подножью деревьев лист, стояло не бабье — старушечье лето...

Часто с утра наносило дождем, и дождь был теплый, как будто летний, неспешно кропил, мочил пустые поля, картофелища с разоренной белесо-черной ботвой, там скитались неотлетевшие жаворонки, пересыпались табунки белых северных птичек. К полудню дождь утихал, и все заходилось прохладным травяным запахом, солнце начинало играть, и плакали, радостно светясь, не нажившиеся вдосталь травинки. А жаворонки, перебрав, огладив рябое перо, начинали петь, не поднимаясь, однако, с комьев пахоты, поглядывая вдумчивым глазком в бело-серое, слоями идущее и просвечивающее ушедшим счастьем небо.

Слышно было и пеночек в голубоногом малиннике по межам, временами зорянка пела и дрозд кричал, одинокие последние тетерева начинали урчать по старым березам.

Будто снова, еще раз переживала природа короткую ненадежную молодость: черемухи выстреливали вдруг цветущую ветвь, всходили по пригревам неспорые грибы, и зайчихи щенились напоследок слабыми листопадниками. Листопадникам на роду было написано жить десяток дней — только самый удачливый, знать по тайному замыслу природы, доберется, презимует до сладких апрельских лучей, доживет до продолжения. Листопадники... Листопадники... Косой свет из-за низкой тучи. Косой ливень в пустом поле. Октябрьская заря за смолкшим садом...

Бывает, и в жизни нашей пред сединой и хладом находит радующее душу цветение: радуется человек свежему блеску глаз, растворившимся морщинам, громче начинает говорить, ярче одеваться, меньше спать, оглядывается человек на улицах с неутоленной какой-то надеждой, хоть и знает про себя вдалеке: зря, все зря, все впустую,— не обманешь ни жизни, ни молодости, а все пытаются...

В пасмурно-солнечные дни октября гнетет что-то, тревожит душу. Мужчины нетерпеливее всматриваются в женские лица, а женщины растерянно гладят себя по коленям.

В темные-темные глухие вечера, в черные-черные звездные ночи острей любится, нетерпеливей ждется, а плачется тише и сокровеннее...

Эй вы, отлетные голоса! Эй вы, яркие звезды! Эй вы, дали, гудки, поезда... Зачем так сладки? Зачем так горестно грустны?

Голоса отлетных птиц тревожили кота, звали его куда-то, давили трудным томлением. Кот перестал спать, охотился мимоходом, теперь он рыскал по лесу, искал кошку. Она жила в дальнем углу, на грани с болотами, и раньше он часто находил ее легкие круглые следы, мурлыкал, едва чуя ее приятный запах, и обнюхивал стволы, драл их серпистыми светлыми когтями — ставил метки... Это был его лес, его земля, его кошка...

Так было совсем недавно, до вырубки, а теперь кош-

ка исчезла, не показывалась и не отзывалась ему, сколько ни звал он ее днем и ночью протяжным, томящимся стоном... Никто не откликался. Лес глохнул в молчании. Пусто было в черных, безлунных чащах. Кот разыскивал и логово кошки, куда ему был запрещен ход, она всегда встречала его здесь недовольно — эта яркая молодая узкоглазая самка-рысь с небольшим гибким телом. Но теперь ее не было здесь, и недоуменно обнюхивал он уже развороченную ветром травяную подстилку, обонял едва слышный сладкий ему кошкин запах, сходный с запахом юга и тепла. Запах едва сохранился, заглушенный дыханием вялых трав и мокрых листьев. Кошки не было. И снова он бродил, бежал, рыскал, забирался в болото, влезал на сосны, метался по просекам и вырубкам, выходил даже в поле, под самые звезды — звал и там — никто по-прежнему не отзывался ему, лишь волчий выводок пробовал голоса в глухую полночь... Кот слушал и встряхивал ушами. Он не любил волков. Устало спускаясь с бугра, уходил своим легким и хищным ходом, время от времени останавливаясь, озираясь, прислушиваясь. Кошки не было...

Но все время он видел и представлял ее — молодую кошку с яркими пятнами на боках, с зелено-синими непокорными глазами... И опять потрясал тишину ночей низкий и возвышающийся, восходящий в стенающей жалобе крик-стон... Желание ее и желание продлить себя в обновлении жизни, неутомимое и неутолимое, было в нем, и отличалось ли оно от желания кузнечика и совы, медведя, березы, и всякой травы, и всей Земли, ежегодно и неутолимо рождающей жизнь, а может быть, всякой звезды, рождающей другие звезды и запредельные планеты.

•

Дай мне губы твои, любимая... Дай руки твои! Как прекрасен твой взгляд, как чуден живот, хранящий желание и будущую жизнь... Как нежны и восторженны груди, кормящие жизнь! Как прекрасны густые волосы, что пахнут нежностью и истомой... Так или не так говорят и думают все... Так или не так творится жизнь. Горько одиночество, бессмысленно отчаяние, хуже всего исчерпанность сил... Ниже всего осознание бессилия...

Лишь к концу октября повернул с севера ветер. Дожди перемежались снегом, студенее и безнадежнее становилось поутру. И зорянка, вестница весны и встретница зимы, начала вспоминать свой путь к солнцу, но еще не торопилась... Зорянка не любила покидать эту землю, свой еловый темно-уютный ложок у поля, свое уж засыпанное листом гнездо и свою высокую ель, с которой вещала она каждую зарю и провожала всякий отгоревший, отблаговестивший день... Не торопилась, хотя и думала, расправляла и пробовала крылышки, может, знала, что до самой-самой зимы еще пять раз по пять взойдет солнце, может, знала и ту ночь, особенно снежную, лютую, когда нечто неведомое, но понятное ей лишь, как чья-то воля, заставит кинуться в снежную тучу, пробиться, подняться к облакам и понестись куда-то в темно-серой, клубящейся мгле, отблескивающей невидным снизу закатом, все дальше и дальше от этой уже плотно укрытой снегом земли, туда, где надо будет ждать и помнить, пока снова нечто не прикажет ей, ее крыльям, и они поднимут ее в черную высоту, понесут обратно к весне и ручьям, к ели и к логовинке у края поля...

...Кот вспугнул зорянку и, поглядев ей вслед, продолжал бежать опушкой, сбивая с травы ледяную росу. Такая роса ложилась за ночь и ближе к утру по всем низинам на свежую траву, что высыпала навстречу обманному теплу. Днем и под дождями роса таяла и каждая травинка светила миру своим топазом, своей капелькой, а по всему лесу вставал запах мокрых пней, сырых листьев, черного валежника, поздних опят и муравьиных куч, оживающих к полудню лениво-сонной жизнью. Ночью дождь снова обращался в снег, белил бугры вокруг деревни, туда и шел кот в эту ненастную, снежную, непроглядно выморочную ночь.

Кот редко подходил к деревне. Даже голод не мог пригнать его сюда, и только поиск-желание кошки разгонял страх, вел его тропой инстинкта вопреки всему. Однако он вышел к жилью человека со всеми возможными предосторожностями: от леса шел не зверь — шла неслышная лесная невидь, нечто серое, смутное, почти не различимое в сыплющейся, мелькающей мгле.

...За бревенчатой городьбой первой к лесу усадьбы была тишина. Кот прошел под самым тыном, не взбудив собак, не шуршала тут сырая, несмерзшаяся трава. Вдруг глаза кота полыхнули — он услышал сквозь ветер

и мрак запах кошки... Струйка запаха донеслась ему вполне отчетливо откуда-то из-за дороги, из-за широкой, белеющей снегом поскотины, и он кинулся туда, не понимая, что бежит к другому жилью. Запах кошки становился сильнее, свежее всех других, какие он находил, но это был странный запах, смешанный с запахом свежей крови. Теперь кот стоял перед разломанной изгородью другой окраинной избы и чутко всматривался, ловил, втягивал идущие по ветру струи... Да, это был запах его кошки, запах ее крови... И не сдерживаясь, инстинктивно кот издал зовущий низкий звук, он звал и недоумевал: как кошка могла оказаться здесь? Почему? Если бы он был способен задавать людские вопросы... Но вопрошающий взгляд был не чужд ему, как и многим другим существам. И он снова повторил свой крик-зов, извечный и понятный... Где ты? Где ты... Где? Я жду тебя! Я ищу тебя... Где... Где ты? Где ты... Где...

И тотчас залились брехом и лаем собаки, вскагакали гуси, отозвалась и проснулась разношерстная дворня, и уже через секунды вся деревня залилась всполошным лаем, визгом, тявканьем, а кот уже мчался к лесу, успевая верховым чутьем прихватить запах кошки, идущий прямой и ровной полосой.

Одна из собак, посмелее, увязалась было за ним до самой опушки и догнала, но, на свою беду, приостановившись, кот не глядя дернул ее лапой, и собака с воем помчалась обратно, и долго еще слышался ее визг на всполошном собачьем грае. Пробежав с полверсты, кот прянул на дерево, затаился, прислушиваясь. Гам собак вдали утихал. И не было слышно погони. Он спрыгнул — слетел вниз к тропе и к запаху. Снова бежал им, пока не выскочил на лесную прогалину, озадаченно встал; здесь кошкой пахло особенно сильно — пахло ее шкурой, мочой и кровью... Кот долго вглядывался в каждый куст, пока не заметил в углу поляны припорошенный снегом кусок мяса. Он обошел находку кругом, не приближаясь, однако, на расстояние прыжка. Мясо манило, он был голоден, но страшнее голода был примешивающийся к мясу запах человека — запах табака и водки — тот мерзкий дух, невыносимый даже меж людьми — если они люди — и отделенный от всех лесных запахов, зато долго и устойчиво прилипающий ко всему, к чему касался его владелец, около чего стоял и дышал. Инстинкт или разум оберег кота от беды,

не тронув мясо, кот двинулся прочь все по запаху кошки. В одном месте у пня запах ее был всего сильнее, он словно потянул кота, и тут же что-то хрустнуло, стукнуло, больными тисками цапнуло за переднюю лапу, которую он отдернул было — но капкан был быстрее...

Рыча и мяукая от боли, кот подпрыгнул, свалился, забил задними лапами, пытаясь уйти, дергаясь всем телом, но тяжелая сила не пускала его, страшной, ноющей болью стискивала лапу — капкан был прикован цепью к бревну-обрубку.

О, стоит ли описывать, как бился, прыгал, катался, рвался, шипел, стонал и мяукал он от боли и гнева, как все неотвратимее, до костей вгрызались в лапу железные челюсти, как кот от боли взмок, тяжко хрипел, таскал обрубок бревна, как валился навзничь, вставал, катался снова, грыз бревно, цепь и капкан и лишь перед рассветом обессилел, лег, вытянулся рядом с бревном, кажется, он перестал уже чувствовать боль в перехваченных, омертвелых и уже не текущих кровью пальцах. Кот не шевелился, только уши, прижатые назад, дрожали мелкой шоковой дрожью.

Утро зачиналось. Светлело едва. Заря сквозь тучи бледно синела по холодной мороке неба. Гнул метлы берез знобкий ветер. Кричали свободные снежные синички. И голоса сорок, судачивших с утра о своих и лесных делах, были отчетливо оживлены... Сороки уже наперед знали все. Сырой плотный воздух долго разносил звуки, и даже полет запоздалой совы с мышью в клюве был слышен и ясен. Падал последний намоклый лист, обламывался отживший сучок, шаги шлепали, оскользаясь, приближались к поляне.

Кот точно не слышал шаги. Грязный и мокрый, он лежал, уткнув морду в траву, казалось, он спал, — если бы не подрагивали длинные лапы и не ходили неровно с перебоями бока. Человек приближался, и близилось неотвратимое, то, чего кот никогда не боялся, но всегда носил внутри как основу своей осторожности. Человек приближался... И кот взвился из травы, шипя и кусая железо в последнем отчаянии, пытаясь раздвинуть железную пасть, приседая и дергаясь с неимоверной кошачьей силой.

Человек был без ружья и сперва приостановился, приглядываясь, потом он довольно хакнул, ускорил шаги, занося над головой крепкий березовый стяжок...

*Волк. Бесспорный вредитель, подлежащий истреблению всеми возможными средствами.*

*Из настольной книги охотника*

# Волки

Их было пятеро: большой волк (матерой), широколобый, грудастый, с посеребренной мордой и мутноватым левым глазом, с не зарастающим шерстью шрамом — след капкана на передней левой же лапе, уже горбящийся от прожитого, но еще могучий и легкий на ходу; низкорослая молодая самка — больше походила она черноватыми с желтым подпалинами на овчарку; два нынешних прибылых — волки-недоростки и один прошлогодний, молодой волк-переярок. Все молодые были самцы — так дышала на них вырождающая суть их природы, еще не понятая никем до конца.

Это были последние волки в округе. Самые осторожные, самые хитрые, самые скрытные — самые последние. Уж давно они перестали охотиться у ближних деревень, словно большой волк знал, что в деревнях, где скот теперь на строгом счету, год от году устрожающемся, за каждую взятую козу, телушку ждет кара немедленная, слежка и облава. А большой волк знал, что такое облава, изведал, как бьет картечь,— она и сейчас сидела в его загривке, из-за картечи он плохо видел левым глазом, не слышал левым ухом, терпел постоянную привычную муку. Он много мог бы рассказать, этот десятилетний зверь, его поджарое мощное тело не только ведало картечь, дырявила его насквозь пуля трехлинейного карабина, а по загривку, сбривая жесткий зимний ворс, прошла однажды автоматная очередь. Было это давно, когда он лишь начинал свою жизнь-охоту, определенную ему все той же великой матерью, и попал в загон, который устроили по приказу некоего военачальника.

В лесу и в полях год от году становилось голоднее, перевелись куропатки, хоть и раньше не были волчьей

добычей, исчез тетерев, совсем редким сделался заяц, а маленького оленя-косули, главной пищи волков, не стало, кажется, еще до рождения матерого. Даже полевок не становилось больше в расширяющихся полях. И хищное воронье, коршуны, ястреба и канюки редели от весны к весне, не облепляли уж столбы у городских боен. И уж забываться стал свистящий крик цыплятника, медленного в полете, и вороний грай не томил ничью грудь ратной мукой. Что творилось в природе? Почему на волчьей памяти, за десяток лет, так быстро скудел лик земли? Волки не могли найти ответа. Они, в общем, и не спрашивали — просто старались выжить, приспособиться, продлить свою суть... Теперь матерой водил самку и молодых к окраинам города. Здесь на свалках, на загородных улицах кое-как находилась пожива. Ели падаль, давленых кошек, искали тухлятину, куски горького проплесневелого хлеба, прихватывали приболевшего голубя, разиню-собачонку, полубездомных кур и коз, пасущихся в бурьяне, последнее случалось редко, потому что волки приходили ночью. Вожак знал час, когда на загородных улицах станет безлюднее, чем в чистом поле, всякий двор спит за семью замками, за надежной колючкой, пробитой по оголовкам заборов. Ночью здесь не попадались даже пьяницы, те, что в центре колобродят до утра, да пьянице, впрочем, что волк, что собака, а самый лютый, до печенок голодный волк не рискнет напасть на ужасно пахнущее хмелем, спиртом и табаком существо.

В ожидании часа большой волк ложился на бугре за торфяником, следил за огнями, слушал затихающий шум города. Стая укладывалась позади, и никто не смел высунуться хотя бы вполголовы, в пол его морды, потому что в волчьем выводке законы стаи действуют еще строже... Волки словно бы дремали, а на самом деле все время косились на вожака, и на него же вприщур и подергивая чутьем, посматривала волчица, всегда довольно своенравная, как и положено быть молодым женам, пусть и самых могущественных стариков... Однако она никогда не совалась в охотничьи расчеты большого волка.

Волк лежал тихо, лишь похрипывало и ныло в пробитой груди. Он умел различать и осмысливать звуки, что доносились с торфяника и с загородной тихой стороны. Еще пять лет назад место это было почти необи-

таемо. Никто не ходил сюда, кроме редких влюбленных парочек, кому тягостно требовалось уединение и приволье. И гнездились тут утки, канючили чибисы, посвистывали всяк по-своему, в свой напев кулики, привольно жили ондатры в глубоких торфяных разрезах, зайцы по таловому прутнику, здесь была страна горностаев, сорочьих гнезд, ястребиных выводков, бабочек-таволожниц и водяных жуков,— страна лютиков, фиалок, рогоза, лягушатника и осок, страна серебряных мелких ручьев в канавах, обросших ветровыми вербами... За пять лет куда-то девалось все, ушло, исчезло, вымерло, пропало без вести, оказалось растоптанным наступающим городом, и город родил здесь иную, ни на что не похожую жизнь. День и ночь без отдыха кречетали по торфянику экскаваторы, головами динозавров вздымались и опускались их рогатые, зубастые ковши, допотопными журавлями передвигались краны, на голубых от тяжелой гари дорогах стоял натужный рев машин. Горы торфа, глины, камня, песка воздвигались и исчезали, и вставала понемногу как будто, а в сущности необычайно быстро кирпичная, цементная и бетонная твердь, и уже светились, как электронные табло, сети окон, высились ровные и пугающе настораживали глаз казарменным строем по ранжиру коробки корпусов, рождали думы о всесилии, всераспространении такой же стандартной и одномерной жизни, когда у всех одинаковые юбки, штаны, ботинки, сами люди, один режим ночи и дня, единый для всех футбол летом, хоккей зимой и единый диктор, размиллионенный на каждую квартиру,— и мысль о том, что стандарт жизни неминуем и отражаем в стандарте мышления, языка и поступков, что о н так же, как все о н и, что о н а так же, как о н и и миллионы и х, мысль эта приводит к тяжелому недоумению, хочется вопреки ей искать необычное: живописцу — краски, писателю — слово, хочется и жизнь свою сделать не похожей ни на кого,— сомнительная попытка, ибо не пойдешь вопреки природе, но ХУДОЖНИК, наверное, потому и х у д о ж н и к, тем и отличается от многих людей,— всегда рвется душой за пределы обыкновенного, всегда ищет и ждет удивления и размена сплошной повседневности на кусочки маленьких солнечных брызг...

...Стрекот тракторов и лязг машин день за днем приближались к пригорку. Но по этому же гулу и угадывал волк час, когда было надо поднимать семью. Вот умень-

шался, становясь реже, разделеннее на отдельные звуки, шум и скрежет, гасла, рассыпалась на редкие квадратики сплошная сетка огней, четче становилось татаканье экскаваторов, их учащенное механическое дыхание — будто уж торопились они досказать что-то важное, а ночь и там брала свое — стихало, замолкали звуки, совсем гасли огни, и силуэты домов начинали уже терпеливо чернеть на фиолетовом полновластном небе. Тогда волк вставал, потягивался по-собачьи, дергал хвостом вверх, призывая ко вниманию, косил белком на своенравную жену, и выводок так же разминал лапы, повизгивая, на ходу выстраивался за вожаком, вытягивался неслышно — тихой цепью. Волки бежали к городу...

Может быть, еще долго жили бы они здесь, если б сразу после Октябрьских праздников поиздержавшийся порядком лесник (справил дочерям новые зимние сапоги, жене пуховую шаль, а шали-то у цыган что ни год — дороже, и сапоги импортные не дешевка — сто семьдесят рублей за сапоги, тысяча семьсот на старые-то деньги!), теснимый заботой о проторах, не встретился у магазина с гуляющим егерем.

— Ивану Агафонычу! — по обыкновению, с превосходством, с насмешинкой приветствовал егерь. — Чо надулся-то? Думай не думай, а жисть — бежит... С похмелья, што ль?

Лесник только махнул: отвяжись, мол. (Все бы тебе похмелье, пьянь...) Не хотелось вступать в беседу с пустяковым мужичонкой, но егерь не отставал, шел следом, продолжал какую-то чепуху. Всегда он так, только встреться.

— С чего набрался-то? — разозлясь уже, спросил лесник.

— Праздник вроде миновал, а все так... Когда остановишься?

Василий Петрович косил куражным глазом:

— А это уж, Иван Агафоныч, мое дело. Не воруем — на свои пируем... Счас ведь, знашь, хто не пьет? Знашь? У кого денег нету да кому не подают... ... ... ... Рысь сдал... Вот она и денежки... Да еще ушла одна тварь, понимаешь... На глазах из капкана ушла, тудыть твою... ... ... Ну, далеко все одно не денется... Не-е... Этто уж точ-но... А, слушай-о, вез бы охотников? А? Облаву. На волков.

Обеспечу... Не веришь? — И оглядывал с вызовом, с головы до шапки.

— Чо не веришь? — вяло отговаривался лесник. — Слыхал, конечно... В сто шешнадцатом квартале... Есть волк...

— Ха... слыхал... слыхал... Я-то их... кажного, можно сказать... в рыло знаю... Полтора десятка ходит, не менее...

— Ну, это ты брось... Полтора десятка... Тут бы оне тогда весь скот прирезали.

Теперь егерь глядел на лесника совсем с уничижением.

— Хха... Вот как раз ты-то и не понимашь... Ничо не понимашь... Волк какой нонче стал? Ну? Он умный стал. Он, как вор добрый, в своем околотке сроду не сворует. Возля деревни ему шарить не рука... Понимать надо... Ну, привезешь охоту? Обеспечу... Ну? — Василий Петрович солово моргал, ждал, не отвязывался.

— А чо? Давай, пожалуй,— приостановясь и прикидывая что-то, сказал лесник.— Пока снег не оглубел — можно... Много нонче снегу ожидается... Когда?

— Когда-когда... Надо еще знать, чо мне будет... Может, вот, — егерь показал черный кукиш. — За это я не согласный...

— Это уж по облаве судя... Вдруг не задастся... Волки-то непривязанные.

— Ну,— выпивку ставите? А? Чтоб вот так,— егерь показал меру удовлетворения.

— Это-то уж как водится...

— Вези охотников... Обеспечу...

— Ну, гляди. Больших ведь людей привезу... Директора комбината, может... Из району кого...

— А мне чо? Хоть министра... Благодарить будешь... Знашь меня? Сказал... Все... Обеспечу...

— Давай тогда, к субботе... Да не запей, Васька, смотри, подведешь...

Фуражка Василия Петровича уже торчала поперек и почти параллельно уху, глаза по-прежнему трудно мигали, покачивался он и смотрел на лесника со своей презирающей усмешкой, так что лесник — всегда трезвый — с трудом прятал из души лезущее отвращение. Нет хуже вот так-то, трезвому с пьяным объясняться.

— «Не запей»... З-за меня будь спок... Сказал... слово мое... Знашь? Ну, вот... У девятого пикету... Ставлю...

Флажки... И не сумлевайся... Все... В аккурат будет. Будь спок... Обеспечу...

— Ладно, давай,— лесник пошел восвояси, не слишком в общем-то довольный и встречей, и уговором. Не любил, терпеть не мог этого пьянчугу, задиру. Ему что... Наврать, наплести спьяну... Это он — пожалуйста. Завтра проспится — чо с его возьмешь, скажет — ничо не обещал, ничо не знаю. Но, с другой стороны, устроить охоту не худо бы. Люди все нужные, не раз бывали. Николай Евдокимыч — директор и другие... Помочь в чем... Всегда поможет... Надо вот тесу бы, кирпича, стекла — задумал строиться. А строиться сейчас... Везде все — фонды: того нет, другого не купишь. Где взять?.. А двух-трех волков — вот бы и деньги за девкины сапоги... Премия тоже...

Через пару дней лесник осторожно, на краешке, сидел в приемной директора лесокомбината, не будем называть какого, в общем, не слишком большого, как писал великий русский писатель, однако не так чтоб и слишком маленького. Директор этого комбината, объединившего еще и фанерное, и тарное производство, и производство модных сейчас стружечных плит, конечно, понимал, что его предприятие не из тех, какие входят в области в большую тройку-четверку, не из тех, где директора носят величаво-значительное звание генеральный.

Однако директор лесокомбината, подобно тому, как удельные князья седой старины тянулись во всем за князьями великими, не слишком и уступал директорам генеральным. Приемная его блестела коричневым лаковым глянцем от пола до потолка, за модными заказными столами сидели две стильные девушки, соперничали, по-видимому, в укорачивании юбок и в удлинении сапог, потому что у той, что была напротив директорской двери, сапоги были много выше колен, голландские, с отворотами на манер ботфортов. Стояли в приемной не обычные полумягкие стулья — что такое обычный стул? — но креслица с полированными подлокотниками. Таблички на дверях тоже были не те, отсталые уже, писанные золотом по черному стеклу, а отлитые из бронзы или какого-то бронзоподобного металла, оттого внушительные и внушающие почтение, равно как шелковые в один цвет шторы, диктофоны, под слоновую кость и еще какие-то премудрые средства канцелярской механики.

Вскоре через селектор получил лесник приглашение и вошел будто бы робко в светлый, окнами в снежный двор кабинет, и во взгляде его оказался человек за письменным столом и еще за примыкавшим к письменному другим длинным столом с бутылками минеральной на круглых под хрусталь подносиках, где стояли также и стаканы и лежали ключи-откупориватели,— человек, весь бликами отражающийся в полированных ясеневых панелях, в стёклах стеллажа, также полированного и уставленного сочинениями классиков, человек сам по себе ничем не примечательной внешности, запоминалась только крупная седина, желтость лица, морщины у глаз и висловатые щеки, какие постепенно образуются у людей властных, не терпящих возражений, десятилетиями обитающих на руководящих должностях, где также постепенно обретают и генеральскую осанку, которая потом уж остается навсегда (замечено, что генеральская осанка более часто бывает у директоров как раз негенеральных).

При виде Ивана Агафоновича лицо человека за столом осветилось той важной любезностью, с попыткой даже привстать,— ей освещаются лица людей неизмеримо высших, но желающих как будто немного приблизиться из своего высокого далека. Тут уж никуда не попрешь, все мы, человечество, актеры на вселенской сцене: и маломальный, едва только вставший с четверенек карапуз уже знает, как просить у матери в разноцветном магазине игрушку, как реветь и как топать, иногда замирая, чтобы оценить произведенное впечатление, но малыш малышом, а взрослый человек куда его способнее, и потому одним образом улыбаются вошедшему в кабинет секретарю обкома, другим — собственному заместителю, третьим — секретарю райкома, четвертым — секретарше, пятым — вахтеру-алкашу в проходной, старающемуся во что бы то ни стало удержать на лице трезвый вид, упаси боже, не дыхнуть, чтоб не нанесло сахарной самогонкой, которую намастачилась варить на кухне, даже без змеевика, тоже хорошо пьющая баба, — и так без конца, сколько встречных, столько им только относящихся, полагающихся улыбок как с той, так и с другой стороны. Словом, читатель, наверное, увидел, как улыбался директор комбината со словами:

— О-о-о! Кого я вижу! Иван Агафонович! Сколько лет, сколько зим, брат... Давай садись... Сюда садись...

Извини, что не сразу принял... С Москвой говорил... Замаяли, — махнул на столик с телефонами. — Ближе садись... Что ты, брат, как не родной... Чайку мы сейчас...— Нажал клавишу, несмотря на испуганно-робко и ложно протестующий жест гостя.

— Какие чаи... Что вы...

— Ну-с,— не слушая и все еще улыбаясь, мигнул директор.— Давай-ка с дорожки...— И несмотря на новый отстраняющий жест, протянул руку к дверце встроенного под книжным шкафом холодильника, достал едва початую бутылку армянского, два фужера, глянул на свет. «Почище бы надо. Ну, ладно... Свои...» Снова нажал клавишу:

— Аня... Чего-нибудь... Ну, да... Да... Можно...

Подмигнув, осклабился щедрой золотой улыбкой — зубы у директора были довоенные, немодно ныне золотые. Сохраняются такие теперь больше у любителей-преферансистов...

Посидели молча.

И вошла она, неулыбающаяся, та, что в белых сапогах-ботфортах, в юбочке-микро, на подносике чай в тяжелых мельхиоровых, но вполне схожих с серебром подстаканниках, сыр, аккуратно копченая темная колбаска эллипсами, тарелочка с тоже аккуратным хлебом, сахар в ресторанных обертках.

Поставила все на стол. Так же достойно, как вошла, направилась обратно.

— Ко мне никого...

Только повела чеканной медью волос, скрываясь за дверью.

И опять подмигнул щедро, ухмыльнулся с тем же золотом.

— Ох, Николай Евдокимыч... Царевны у тебя...— льстил Шутов, не по нутру ему были эти девки, тонкие, жидконогие, как опята. Где им было до его Анастасии, хотя бы до розовых его дочерей. Но — уважить надо... Уважить — первое дело. Иной, видно, вкус... Тем более, чувствовал, хвастает директор. (А хвастливому подпой — он и тает.)

— Ну, давай,— щедро цокая горлышком о фужер... — С прибытием... С зимой... С чем приехал-то? Не с берлогой опять? (Лет шесть назад, перед самой весной, нашел Иван Агафонович в дальнем квартале берлогу, вернее сказать, нашел ее егерь, тогда еще не бывший в

сем звании, а просто «охотничавший» — теперь такое обозначается браконьерством. Медведицу на берлоге убили. Были с ней два маленьких сосунка... С тех пор и не стало медведей в этом лесу, и был по делу об охоте шум. Оказалось, под запретом медведи теперь... А кто, когда запретил — неведомо было... Постановлений этих об охоте тьма. То нельзя, и это не можно — не упомнить. Замялось дело...) Ну, давай...

Выпили. Поглядели друг на друга. Хорошо... Горяч коньяк иногда. Обжигает будто. Потом зато, малое время спустя, будто весенним солнышком изнутри пригревает. Хорошо...

— На облаву, Николай Евдокимыч, звать приехал,— деликатно закусив дырчатой пластинкой сыру, объяснил лесник.— Волки... Много не много, а все-таки поохотиться можно, Васька-егерь обещал. Так что...

— Скот травят?

— Да и скоту опасность есть... Волк...

Завершили начатое.

Директор что-то прикидывал, важное, видать. Лесник сидел, не мешал. И обстановка вся была тут такая, располагающая к значительному. За окном снежный день. Редкая пороша. Шум завода. Дымки. Здесь — благолепие, несокрушимый как бы хозяин, и сам под крылом его как-то растешь, значительнее себе кажешься. Хорошо быть с такими людьми... Хорошо.

— Что ж, когда думаешь? — набирая на переносье морщины, а в глазах орлиную строгость, спросил директор.

— На следующей неделе бы... В пятницу бы... Вечерком... Чтоб уж на два дня. Погода бы только не подвела. Морозу чтоб не случилось. В мороз волка не обложить. Чуток... А так Васька обещал... Говорил — точно...

— В пятницу.... В пятницу... — вслух соображал-рассуждал директор, листал календарь в бронзовом окладе...— В пятницу...— черкнул что-то, бросил карандаш в бронзовую же башню-карандашницу...— Можно будет. Конечно, дел полно... Ну, дела до нас были и после останутся... Давай... Уговорил. Пятером-шестером нагрянем... Капустки готовь... Грибков... Жена как?

— Ничего... Слава богу.

— Дочки?

— Дочки здесь, в городе. Младшая в торговом, старшая в медицинском...

— Что ты говоришь?!
— Хотим своего врача иметь...
— Хорошие у тебя дочки. Помоложе был бы — сватов заслал.
— Да ничо... Есть на что глянуть. Приедут в воскресенье, поди... Собирались.
— В общем, жди. Я буду, Павел Макарович, возможно, Воронько, Коньшин... Давно на охоте не был...
Разговор сам собою иссяк, и лесник распрощался, осторожно, чтоб не стучать, ушел. На таких посетителей девочки за столами даже не глядели.

В пятницу поздно, когда все уже взялось предночной глубокой синевой, а в деревне устраивались поудобнее глядеть в телевизоры, по ухабисто замерзшей, но уже гладко накатанной в ровных местах дороге из полей, шелестя и шурша, ярко посвечивая фарами, подкатили к подворью лесника две «Волги», черная и вишневая.
Иван Агафонович, весь в заботах, встречал вместе с женой. Принодета жена, как на праздник. Шаль пуховая, нежно-серая кинута на плечи, платье кримпленовое, яркое, утянуло талию, кругло на мощном стане, в глазах ласковый смех. Хороша лесничиха, да еще при волшебной своей косе, будто сама Василиса Прекрасная. Гавкали из двора собаки, настежь были ворота. Первым выбрался из машины директор, был в отличной черной дубленке, в номенклатурной ондатровой шапке и в унтах, которые всегда надевал в дорогу: оно и тепло, и солидно, и вид придает полярный, охотничий. За директором вылез тощий, плоский, высокий, с прямоугольным лицом, пожилой зампредисполкома Павел Макарович, тоже в номенклатуре, но уже не в унтах, а в новых валенках, за ним парторг комбината Коньшин, незнакомый леснику, одетый попросту. Из другой машины был короткий человек, весь какой-то круглый, с круглым лицом, клоунским носом из круглых щек и неожиданно черными хваткими глазами из этих же щек — предзавкома Воронько. И наконец появился Сидоркин, коренастый, развязно-бойкий мужик, среднего мужского возраста, любимец директора, никогда и нигде не теряющийся, анекдотчик, матерщинник, слова как будто он не молвил без двойного смысла, без похабного какого-нибудь намека. Вот и сейчас, как-то на четвереньках

на карачках выбираясь, изображая вдрибазон пьяного, Сидоркин, лихо-дурашливо улыбаясь, спрашивал у лесника:

— Ну, что, как у Валентины-то?

— Чо у Валентины? — не понимал лесник.

— Да ритузы-то не лопаются еще? Валька у тя в тот раз еще в двери бочком только могла.

— Будет врать-то...

— Вот опять... Говорю, давно люблю, а она не понимает... Здравствуй, Тасенька, красота ты моя... Неописанная. Здравствуй, матушка, лисица-лесница... Ох, и ручку, и ножку, и еще бы чо-нибудь поцеловал...

— Ну, проходите, проходите... Давно ждем... Ужин уж простыл, поди... Все на столе... Проходите, не стойте. Милости просим. Николай Евдокимыч... Павел Макарович...— Лесничиха повела бровью, кругло-упруго повернулась. Лесник светил, подняв фонарь.

Шествие проследовало на усадьбу, под гам запертых на тот случай собак, под непрестанный хохот Сидоркина. За шумом и смехом не заметили как-то еще одного приезжего, вылез из второй «Волги» последним и теперь переминался, стоял возле машины. Был это парень лет двадцати пяти, тоже с ружьем, но одноствольным, обшарпанным и жалким, без чехла — «Ижевка» шестнадцатого калибра, на другом плече он держал небольшой рюкзачок, в руке плоский полированный ящичек, тускло отражавший блики света. Заметил приезжего лесник, уже проводил в дом директора и гостей, вернулся затворить ворота. «А вы?» — вопросил он, подходя и приглядываясь. «Я... Тоже... С ними... На охоту...»— пробормотал парень.— «А-а, ну дак проходите»,— посуше, чем прочих, пригласил лесник, кивнув на калитку, продолжая с натугой запирать, вести по снегу тяжелую створу, смекнул: раз этот гость вышел последним и никто о нем не пекся, значит, не велика пава. Нечего и распинаться...

И вот пока парень с ящиком и с одностволкой входит на лесниково подворье, поднимается на крыльцо и ориентируется на ощупь в незнакомых сенях, попробуем рассказать о нем читателю.

Это и действительно был всего-навсего заводской художник и фотограф, которого директор пригласил на охоту в качестве летописца. Художник — так звали его на заводе чаще всего, заменяя профессией имя, а для

отчества был он еще слишком молод, тонкий и длинноногий — отдадим дань штампу, если так было на самом деле,— с длинными и завивающимися на концах по-девичьи волосами полумужчина, полуюноша, с пристальным, углубленным куда-то в себя взглядом цапли, напоминал немецких ли, голландских ли юношей со старых картин. Он был из тех, кто рано женится, взваливает на костлявые плечи бремя семейных забот, тянет безропотно и вообще кажется всем тихим, забитым, покладистым, не замечают и не понимают, что есть в таких людях обычно какой-то невидный стержень характера и сама их покладистость и молчаливая тишина еще неизвестно на чем стоят, что скрывают. Вообще-то черт их поймет таких разных, современных долговолосых, кто они, чем дышат, и легче легкого относить их скопом к подонкам — а их так много — и нет ошибки более пристрастной, старчески несправедливой. Единственное, что можно сказать определенно, художник не походил на обычных оформителей стендов и витрин, людей всегда ухватистых, бойчее бойких, берущихся без раздумий за любое дело: портреты писать — пожалуйста, лозунги — тоже, лишь бы навар, монету без задержек; изредка еще встречается меж ними более мрачный тип, играющий в демона, в Люцифера, в непризнанного гения. Глядит Люцифер на всех с презрением, слово цедит редко, полон как будто всезнания и таланта до краев, но обычно выгоняют таких в конце концов за всезнание и запой, либо отрешаются они понемногу под действием среды от роли пророка, превращаются в конце концов в парней-халтурщиков, любителей скорого и щедрого калыма. Почему так схожи заводские живописцы? Может, действует тут неясное правило, что такой живописец редко хоть что-нибудь профессиональное кончал, в основном недоучка, умелец, кто смолоду почуял в себе кой-какую способность и уже в первом классе проявил — оформлял календари погоды, позднее газеты и стенды. Вот они, видели вы: краснорожий Дед Мороз, башня с часами, еловая ветка — это к Новому году, передовая женщина в красной косынке, улыбается щедро — к Восьмому марта. В самом большом проявлении таланта хватает на сносную копию Шишкина, Поленова, и это уже предел, дальше идут рассуждения, начинаются со слов: «Эх, если бы...» Много объявилось таких художников по Руси, и не только заводских, пишут рекламы, мемориа-

лы лепят, берут подряды на праздничные фанерные экспозиции, золотят стенды с успехами и, слышно, уже до дворцов добрались, в культуру вторгаются, в гастрономах мозаики клеят и преуспевают, и совращают на хлебную свою стезю тех, кто готовился к искусу и к подвижничеству, берег в себе, как искры в кремне, огнь и сияние, а послушался — глядь, и потушил, и уже чеканку для ателье модного платья изготовляет. И не осудишь — жить надо, кормиться...

Художник, о котором мы начали рассказывать, не в пример описанным, училище окончил с отличием и Строгановку одолел. Но, как часто бывает с молодыми, не смог утвердиться, тем более оборудовать мастерскую — все складывалось так, что на чистом искусстве месяц не протянешь, если б один, живал ведь в общежитиях и на пятнадцать копеек в день, и на бутылки, набранные в сквере у пивного ларька, а тут жена-студентка, мать с младшей сестрой. Рад был — подвернулось место оформителя. Не густо их, этих мест, и вот устроился, придавил мечты, тянул третий год все с надеждой, скапливая в душе тоску по мастерской, по широким холстам-замыслам, прятал замыслы все равно как этюды, написанные урывками, по воскресеньям и вечерами...

На облаву попал случайно, благодаря директорской прихоти. Как-то проговорился в присутствии директора и Воронько — принимала тогда комиссия красный уголок в заводоуправлении,— что собирается в лес на этюды...

— На охоту? — переспросил директор.

— Ну... Можно и так... На этюды. Впрочем... есть ружье...— и мальчишески, деланно улыбался, словно рад был,— сам директор говорит... директор комбината. Улыбался и ненавидел себя за эту улыбку и за робость одновременно. Нет, не мог приспособиться к службе и, если б честно, если б спросили, нужна была ему эта работа, радовала ли хоть сколько, ответил бы резко отрицательно.

— Поедешь на волков? Ну, на облаву? Со мной? — отечески спросил вдруг, приказал вопросом директор.— Фотографировать можешь? Юпитеры свои прихвати...

Поехал...

Вечернее застолье у лесника затеялось шумное. В самом деле, окажитесь-ка верст за сорок-пятьдесят в лесу,

в теплом надежном доме, когда за окном в черной мгле метет снегом, шумит и сыплет расходившаяся к ночи молодая зима, да окажитесь еще за столом в нижнем просторном полуэтаже, где помещалась у лесника кухня-столовая... И сам стол, уставленный закуской и снедью домашней и привозной, внушал радость. Стоит его описать. Был на деревянных блюдах студень из свиных ножек с чесноком, крепкий и подернутый крупитчатым жиром, а к студню горчичка такая, что дохнешь и зажмуришься, скажешь невольно: «О-о-ох... Крепка-а...», и уксус был к студню, и перец красный и черный, стояло в глиняных латках жареное мясо, утки торчали ножками из обжаренных картофелин, картошка была и просто так, вареная рассыпчатая и крахмальная по-домашнему,— такой не попробуешь в городе, черна городская картошка и дрябла,— были огурчики малосольные по отдельному секрету хозяйки, и помидоры даже свежие были, сохранились для такого случая, долежали, а сверх того городские вкусности, доставленные гостями: икорка паюсная, зернистая, консервы, балычок, колбасы разные, ну, и уж превыше описанной благодати, возвышаясь над ней,— бутылки янтарного и желтого, со звездочками и без, темного такого, что казалось черным, и, как слеза девичья, светлого — куда же уж тут еще... А хозяйка носила из сеней, в запахе лесного холода и, казалось, собственной женской свежести, стылые лотки с пельменями, возбуждая тем самым мысль, что застолье будет долгое, вкусное, пьяное и родное...

За столом сидели тесно, однако в меру, разместясь по чинам, как-то оно само собой получалось. Командовал зампред, а директор, сдав, так сказать, права и власть, благодушествовал, не переставая ощущать при этом свою главную и руководящую роль — оно было так-то даже и лучше, демократичнее, что ли, употребим непригожее для прозы слово. Если уж быть справедливым, Николай Евдокимович никогда и не лез в капитаны, судьба его была счастливой, по-видимому, совсем не оттого. Кажется, он умел главное — ладить с людьми, не наступать на мозоли, а остальное получалось само собой. Дело свое знал, опыт накопил немаленький, и его благополучно несло по тому устойчивому служебному течению, которое сперва приводит в начальники смены, потом головного цеха, в партком, оттуда в главные инженеры, а главный инженер почти всегда со временем

становится директором завода, если не совершит он какой-нибудь крупной промашки. На пути Николая Евдокимовича за тридцать лет вакансии открывались всегда вовремя, как зеленый глазок на светофоре, и сам Николай Евдокимович как будто не прилагал к продвижению никаких усилий. Не был он ни чиновником, ни завистником, не подсиживал никого и не сочинял кляузных анонимок на вышестоящее лицо, пост которого хотелось занять, а то ведь еще бывает ныне и такой ход: открытая критика на собрании, когда со значительным, целиком озабоченным лицом выступают, клеймят, борются «за правду», «за честь коллектива» и, заклеймив, спокойно взбираются выше... Девизом этого человека, если был у него девиз, значилось: никогда не ждать повышений, не рваться и не высовываться — видимо, это самый лучший девиз: хлопот меньше, огорчений никаких, а двигаешься все-таки как бы сам собой. Правда, вот уже десять лет зеленый светофор не зажигался, но теперь директор не только не ждал, а скорее не хотел бы, чтоб огонек этот вспыхнул: за десять лет директорства на лесокомбинате Николай Евдокимович прочно сжился с должностью, приобрел все необходимое для самостоятельного руководителя — голос, осанку, значительность, знания, связи,— устроил свой производственный и домашний быт в соответствии с положением или даже чуть выше.

Вот почему иногда он трезво думал,— откройся путь выше, и пойдут не столько блага, сколько мучения,— новая должность, новая работа, иная власть — иная и ответственность. Не в точку ли права пословица, что лучше быть принцем в деревне, чем нищим в городе? Все это, если бы поглядеть проницательней, возможно, мелькало, отражалось, вспыхивало, и пряталось, и появлялось снова на его помалиновелом от коньяка, деловом и кабинетном, именно директорском лице, оставалось в глубине небольших неопределенно-серого или зеленоватого цвета глаз, глаз невыразительных, однако и неглупых, было в жесте правой брови, поднимавшейся, скажем, не философски, но житейски умудренно, по мере того как все пьянее и веселее становилось за столом, было даже в смехе, когда он хохотал над очередным анекдотом Сидоркина, над шуткой Воронько, было в пепле, который он отряхивал в деревянную солоницу, поднесенную лесником, было в покашливании — тоже значительном, было

в том, как без торопливости принималась в тарелку та или иная закуска, с углубленным пониманием своей роли и веса в этом, со стороны глядеть, одинаково веселом и ровном застолье. Может быть, он не хотел, не старался и не думал так, но так уж все складывалось и получалось, что и охота, и все затеянное вместе с ней имело причиной одно-единственное нужное — состояние и ощущение своей силы, надежности, всемогущества в данных ему пределах. Не идет ли это из древних глубин, когда собирал родовитый предводитель на пир своих подколенных, чтобы лишний раз проверить, вглядеться, ощутить что-то и нечто,— а уж далее была сама суть этой поездки, охоты, до которой, признаться, не был он азартен никогда, лишь считал: так надо, вроде бы положено по штатному расписанию директору быть охотником, слыть рыбаком или, скажем, любителем балета, заводской художественной самодеятельности — последнее бывает реже, но все-таки встречается, или быть футбольным (хоккейным) болельщиком, на худой конец, что как раз самое частое... Ну а волки — уж так, реквизит, составная часть ритуала, и не самая главная, их могло бы и вовсе не быть, наверное... Волков он видел мало, разве что в детстве, в зоопарке, ну, разок-другой в кино, по телевидению, и никогда у него не рождалось желания их стрелять, тропить или выслеживать.

Да, вспомнил, иногда, во время таких же вот выездов в лес, находили, бывало, в поле, на опушке, поляне след и спорили: волчий или собачий? И никогда ни у кого не было уверенности, что след именно волчий...

Павел Макарович руководил застольем привычно, не ущемлял нисколько прав директора и своего районного достоинства не терял: в меру шутил, в меру пил, в меру поощрял отстающих, а их, пожалуй, не было, кроме парторга Коньшина, но Павел Макарович и тут не плошал, понимал, что надо объехать. Люди, подобные Павлу Макаровичу, встречаются нередко. Был он ветеран, поседелый на руководящей работе, начинал в районе с комсомолии и в районе же остался. Но зато знал все ходы-выходы, тайные пружины в пределах своего круга и повыше, именно он был хозяином в районе, не в пример председателям — те часто менялись, не удерживались больше трех лет. Павел Макарович был вечный зам уже двадцатый год и не случайно приглашал его на охоты директор, уважая служебную силу человека, много-

опытность, связи и уж, если можно так сказать, служебную дружбу. Павел Макарович со своей стороны также не артачился, постоянно ездил с директором на охоту ли, на рыбалку ли, просто летом на пикничок с женами, сам, однако, охотником, тем более рыболовом, никогда не был, даже ружье как следует зарядить не умел. Не в ружье дело...

Секретарь парткома Коньшин пил нехотя, принужденно. Всегда и за любым столом находятся люди, кто либо себя бережет, либо просто непьющий, а Коньшин к тому же был не в духе, маялся он уже который год желудком, и на лице у него держалось постоянно выражение кислой, прислушивающейся к себе суровости. А с тех пор, как избрали его в партком и выдвинули на пост секретаря, Коньшин обнаружил свою полную несостоятельность: на живом — успевай поворачивайся — многотрудном месте дело у него шло плохо, часто он терялся, не мог самостоятельно решить и мелочи, не мог найти верную стезю, нужный тон в отношениях с секретарями цеховых организаций, а доклады такие делал, будто дурную передовицу зачитывал. В последнее время вовсе растерял он авторитет и прежде-то, на инженерных должностях и в замах у директора, не слишком высокий, и не знал, как поправить, в какую сторону держать. Вот сегодня, скажем, не хотел, а поехал на эту самую о б л а в у и раньше зачем-то на охоты и рыбалки ездил. Ведь ни пить, ни охотиться, ни в застольных речах лавры пожинать он не мог и не любил, а любил копаться в саду, выращивать розы, гладиолусы, георгины, читать журналы «Цветоводство», «Здоровье», «Наука и жизнь»... Есть такая странная порода людей — человек без улыбки, и удивляешься всегда, как это они еще женятся, имеют детей, какие женщины их любят...

Зато круглый, чем-то похожий на плюшевого мишку-увальня предзавкома Воронько, в прошлом начальник лесонильного цеха, был в застолье как муха в меду, всех успевая похвалить, всем налить, вовремя захохотать, подкрикнуть: «Браво! Ну, удружил! Хха-ха-ха... Уй, не могу... Хха-ха-ха»... При этом бойкие черные глаза его на время исчезали, но, вынырнув, глядели настороженно и четко, как штырьки.

И в пару ему, только перекрывая всех и вся, был Сидоркин. Этот пил за троих, ел — тоже, то и дело провозглашал тосты, к месту, не к месту, не успевая прожевы-

вать, шпарил анекдоты, словно ел их, на лесникову супругу не только подмигивал — выждав момент, погладил, облизнулся после по-заячьи под хохот всего застолья. Держался он смело и нагловато и с директором спорил, не соглашался, но как-то умело и спорил, и хамил, что и грубость его не замечали, не обижались на матюги и блатные приговорки. Есть такие люди, обезоруживающие улыбчивым хамством.

— А вот слушайте, ребята,— кричал Сидоркин через стол.— Баба у нас в жикео была... Незамужняя такая, плоскодонка. И никто ее размочить не мог... Думаете, в чем причина оказалась?..

— Хха-ха-ха... Уй, не могу! — раскатывался Воронько.

— Вот так вот...— заключал между тем Сидоркин...— Вот тебе и напугал Настю...

— Хха-ха-ха. Уй, не могу!

— Вот так вот, как говорил Пушкин...

— Хха-ха-ха...

Начинал Сидоркин на комбинате с простого шофера на лесозаводе, а известен сперва был только одним: якобы ни одна женщина не могла перед ним устоять. Якобы не якобы, а нет-нет и опять полз по комбинату слушок... Да Сидоркин и сам не делал секрета из своих амуров, первому встречному приятелю «только тебе» выбалтывал об очередном успехе. Приятелей же у него было с излишком. И удивительно — чем шире распространялось донжуанская слава, тем чаще одерживал он новые победы. А женщины позаглаза и в глаза величали его «псом», «кобелем», плевались на постоянные и откровенные его предложения: «Пойдем-ка пельмешков поедим? Я ж еще не целованный», «Слушай, у меня к тебе просьба, но от нее детей не бывает...» Как вот этих самых прикажете понимать?

Сидоркин внешностью ничем не взял: обыкновенный мужик без возраста, ни русых кудрей, ни ясных зубов, лицо рябоватое, глаза голые, с усмешкой, бойкие глаза, руки и того чище. Разве что язык... Плел, врал, смешил, обещал — никому не устоять. Из шоферов каким-то необыкновенным случаем оказался Сидоркин в начальниках транспортного цеха, потом, когда застали его в бухгалтерии, пил, обнимался сразу с двумя бухгалтершами, переведен был от греха в заводскую охрану, но и там долго не удержался — виной была здоровенная девица-

вахтер, и опять перевели Сидоркина в тарный цех, где неунывающий мужик вновь возвысился, вышел в начальники...

— А вот, значит, приходит женщина к врачу и жалуется...

— Х-ха...

— А вот один мужик маленького росту был, а...

— Хо-хо-хо...

Директор сперва не то чтобы любил Сидоркина, просто приглядывался. Но один раз, взяв как-то на рыбалку, убедился — с ним не заскучаешь, и уж потом брал всегда, а если не брал, ощущал все время что-то недостающее, и Сидоркин отлично вел свою роль, умело пользовался. Впрочем, водились за ним и добродетели. Из всей директорской компании он один был настоящим охотником и рыбаком и во всем этом знал толк.

Пили за охоту, за хозяев, за вьюгу — расходилась, видать, все сильнее, снова за хозяйку, за хозяйских дочек, которые приедут завтра,— Сидоркин всем лицом изобразил, какие дочки. За столом становилось жарко. Призвали и шоферов, усадили — сегодня можно. Вспомнили наконец о художнике — он был поодаль от центра, на углу стола — семь лет без взаимности — так это получилось и всегда получается. Интуитивно, что ли, выбирают люди место за столом, и если кто сядет несообразно возрасту-положению, то и сам часто мучается и на него поглядывают странно, говорят и в животном мире такое наблюдается... Всем вдруг показалось, что художник пьет мало, не вровень, стесняется. Все почувствовали себя могучими, а его маленьким и обделенным. Усовестились. Потеплели к нему.

— Ты смотри, друг,— внушал директор, разнежась.— Здесь все свои... С волками жить... Знаешь? Ну-ка, давай до дна!

— Пей-до-дна, пей-до-дна...— запел Воронько.

— К водке надо привыкать...

— Точно... Одна баба говорила: все болезни — от недопивания...

Кончилось было плоховато: зампред заспорил о чем-то с Коньшиным, Коньшин не уступил. Оба побагровели. Директор встревожился. Но Воронько выручил, как всегда,— закричал, что на дворе кто-то ходит. «Вроде волки?» — заорал-подхватил Сидоркин и первым побежал в сени. За ним повыскакивали все, а Воронько

даже с ружьем. На крыльце охватило выогой со всех сторон, кружило, мело, бросало снегом в горячие лица. Во мраке, за воротами и забором, колдовски шумело. Постояли, вслушались в шелестящий глухой голос леса, и все примирились тут же, справили нужду, нахолодалые, потрезвелые вернулись и обнаружили, что стол уже накрыт по-иному, тарелки чисты и новая горчичка, уксус, сметана в сотейниках, а посреди стола два длинных блюда с пельменями — горой... Мясной пар шибал в нос. И опять пошло веселье по второму кругу, когда все уже стали братьями, зампред лобызался с директором по вечной дружбе, отмяк Коньшин, Воронько от благодушия сидел зажмурясь, как кот на солнышке, художник обалдело хлопал глазами, один Сидоркин все продолжал свою линию.

— Вот, ребята, уехал, это, мужик в командировку,— похохатывал, кося ястребом на лесничиху.— А баба у него молодая была, толковая...

Но анекдоты не пошли, захотелось петь. Воронько завел: «Калина красная, калина вызрела...» Поддержали. А потом пели разное: и «Вологду», и частушки, и опять у места оказался Сидоркин, прихвативший с собой ревучий тульский баян. Решительно никуда было без этого человека, и вот смех смехом, а вальяжная и строгая на вид лесникова жена — плавала, крутила подолом по кухне — чаще и чаще взглядывала на Сидоркина, останавливалась серо-синим взглядом на разудалом разбойном его лице. А он ловил этот взгляд привычно, наметанно, по-мужичьи, по-пьяному щурился, по-пьяному, но уверенно поджимал грудью поющий баян. Черт их поймет, женщин, какие у них меры добродетели, как с ними надо обходиться...

Спать разошлись поздно и поздно встали. У всех болела голова, старшие мучались почками и печенью — не мил белый свет. Вот она, выпивка, сперва ей радуются — потом клянут, а что поделаешь, где без нее радости взять в сорок и в пятьдесят, а дальше, слышно, и водка не помогает. Глядели друг на друга с вымученными ухмылками, курили, выходили отдышаться на крыльцо, ели снег и снег же к затылку, к вискам прикладывали, коекак шли к столу. Тут хлопотал-бегал лесник и красавица его Анастасия. Знали, чем помочь горю,— на столе уже был в графинах рассол — огуречный, капустный, квас был несладкий, пивко ледяное с улицы подтащили шо-

фера, а там снова явилось блюдо с пельменями, полегче были: с редькой, с капустой, со щукой, кто какие пожелает, грибы явились белые, маринованные целиком, рыжички соленые в укропе, величиной с пуговицу, груздочки скользкие ельничные, мохристые, немногим поболее, огурчики... Глядь, пришли в себя понемногу, оттаяли. Пили чай из ведерного начищенного в золото самовара и хвалили, хвалили хозяйку наперебой.

Так хвалили, что лесник уже скрывал уныние и досаду. Обалдели, окаянные... Эко ведь петухами поют... Шелком стелют... И, когда не видно было, зыркал на жену, тревожным, требующим уверенного ответа себе вопросом. Оболтают бабу... И очень даже просто... Кобеля ведь, бездельники...

Далеко держал, далеко прятал он свои мысли-думы, ни словом, ни взглядом каким не выдавал. Одно радушие, почтение, неуемное гостеприимство было во взгляде. Одно гостеприимство... И только без меры трезвый, только, может, вселенский какой-нибудь провидец, знаток душ, по невидным черточкам, по теням как бы от лампы, что едва проступали и тотчас же прятались на расейском, рябом, курносом и будто бы с приглупью лице лесника, понимал бы его. Да не было, видать, таких знатоков за столом — один художник по-дикому иногда таращился, а были все обычные похмельные люди и лица, всяк со своей гордостью, своей спесью, своим собственным и единственным для себя пониманием жизни и места в ней, и ни о чем не говорило им, кроме радушия, почтительной расторопности, столь же простецкое лесниково лицо. Так не вглядываемся мы порой и в нашу нечерноземную природу, в немудрые перелески и в недальние дали, в болотца с веснушками рыжей ряски... Известно — где живешь, на то вроде бы и похож.

Поправив головы, веселые, выехали часу в десятом на двух подводах. Перед самым отъездом явился егерь, со всеми поздоровался за руку. Ему тотчас поднесли... Водку он пил как тяжелый больной лекарство, с надеждой и упованием, сведя брови, с горьким и как бы обреченным видом. Выпил. Длинно сплюнул в снег, утерся рукавом. Закуску, поднесенную Сидоркиным,— пельмени на вилке — отстранил. Незачем... После первой не закусывают. Вкус только портить... Сразу принял он деловой, суровый вид, осаживал лошадей, кричал на них, без нужды перекладывал запасные катушки с флагами,

суетился, спорил с лесником, везде влезал, бегал вдоль дровней, а когда сани тронулись, сказал, что не мешало бы «грамсто»: холодно. Поднесли опять стакан. Иван Агафонович с укором глядел на Сидоркина,— нельзя поважать этого пьяницу,— охмелеет вконец, провалит облаву, — но что делать, не сам тут хозяин... Егерь божился: волки в окладе, выходного следу нет... Как запечатаны... А какой выходной, когда всю ночь убродно валило-мело, и сейчас сыплет, добавляет, но тише, раздумчивей... И раздумчивый стоял по обе стороны дороги лес, глядел на сани, бойко приминающие, разваливающие на две стороны пышно-рыхлую белейшую порошу. Пахло ею, а также свежей соломой, настеленной в сани, навозным и пряным потом лошади и будто бы ее холками, хвостом, копытами, что мелькали за передком саней, бодро несли, кидали подсеченным снегом. Кто-то запел даже, словно бы Воронько, но директор цыкнул на него: «Спугнешь!» Воронько умолк.

Островина была недалеко от деревни, между полями и новой вырубкой. В общем, островом она стала недавно,— раньше просто был лесной клин, далеко вдавался в поля. Тут же была растянута основная катушка с флагами — работа егеря с утра. Флаги — куски линялой, утасканной красной материи — обвисли, припорошенные мелким снегом, гляделись игрушечно меж кустами, казалось, детская это забава — гнать волков на эти тряпки, и ничего не стоит зверю перемахнуть их, уйти восвояси, не оглянуться даже. На флажки все косились с сомнением.

Когда стали тянуть-распределять номера, вышла неурядица. Лучший третий номер в центре загона достался художнику, директор с зампредом вытянули, как на грех, крайние. Видя, что директор кисло отпустил губу, морщась и перемогая неудачу, как Павел Макарович, хоть и не охотник был, запошевеливал черной с проседью деловой бровью, Воронько тут же отозвал Сидоркина, пошептался с ним, и Сидоркин поманил в сторону художника, стоявшего со своим видом задумчивой цапли.

— Слушай-ка, друг, дело такое,— сказал Сидоркин, глядя по-особенному пронзительно, напористо — может, вот так и брал он с налета одним взглядом неустойчивый женский пол — и художника заставил потупиться: не любил смотреть людям в глаза, стеснялся, а не смотреть в глаза почитается вроде бы дурной манерой, зна-

ком нечистой совести или скрываемой вины...— Слушай,— напирал Сидоркин, заставив художника даже отступить на шаг.— Дело такое... Хозяин недоволен — плохой номер вытянул... Может, поменяешься? — и все тот же долгий взгляд.

— Почему это? — вдруг глупо спросил художник, понимая отлично, что не надо спрашивать, и все-таки спросил отчего-то.

— Ххе... Братуха... Ты что? — Сидоркин покрутил — показал пальцем.— Ну? Не понимаешь? Надо же уважение сделать... Да и ружье у тебя — что за ружье? Мешалка... Не по циркулю... Выйдет волк — тебя же и съест. Поменяйся — чего тебе... Хозяин все-таки...

Художник молчал.

Сидоркин уже нервничал, шарил-искал в карманах куртки сигареты.

— Вот вы — и поменяйтесь...— вдруг по-петушиному сказал художник и быстро пошел в сторону.

Сидоркин, приостановив сигарету, не донесенную до рта, словно бы с непониманием смотрел ему вслед, а потом, все так же глядя, не снимая взгляда с тощей спины художника, взял сигарету не тем концом, отплюнулся и, уже взяв ее как надо, привычно вытащил зажигалку, щелкнул, сунул сигарету в огонек и, отпыхнувшись первым дымом, пошел к леснику и к егерю,— они о чем-то спорили, в то время как остальные охотники доставали из чехлов ружья, собирали, прищелкивали цевье, пристегивали ремни и закладывали патроны.

На номера разводил лесник, потому, знать, что егерь был уже совсем хорош, нес чепуху, требовал опять «сто грамм», а получив их, кувыркнулся, плюхнулся в розвальни, нахлестывая, погнал с места в деревню за «кричанами» — так называют, оказывается, на облавах загонщиков. Лесник же так умудрился разместить стрелков, что художник оказался почти на краю загона, дальше его стоял только Воронько, поменявшийся номером не то с директором, не то с Павлом Макаровичем.

«Вот тебе на...— обвели»,— с горечью подумал художник, не понимая и отказываясь понять такую расстановку и порываясь было идти объясняться с лесником. Но что-то удержало, и он остался на месте, и не то чтобы досада — какая-то едкая, до боли в голове и в груди неустроенность ли, обида ли давила его... Все время, от самого приезда на эту проклятую охоту он чувствовал

себя скованным, почти пленником, словно бы приживалом и плебеем, бедным родственником, злился уже и ничего не мог поделать, ничего. Как-то словно все само собой получалось, оттесняли его на самый последок, не считались или играли в благодетелей — и вот опять то же самое...

Но уже все разошлись, исчезли за деревьями, делать было нечего, оставалось готовиться к охоте. Художник никогда не бывал на облавах, только читал да из застолья усвоил, что сперва надо отоптать снег, прикинуть возможные места выхода зверя и встать так, чтобы спереди было хоть небольшое укрытие, не торчать у зверя на виду. Оглядевшись, он выбрал поросль молодых елочек, за которой сразу росли две большие березы от одного толстого комля. Место понравилось ему, и он немного походил взад и вперед, пошевелил плечами, зачерпнул зачем-то снегу и дождался, когда он растает на ладони, потом отряхнул руку, вытер о брезентовую накидку, поправил свою облезлую, совсем порыжелую кроличью шапку и понемногу успокоился, даже достал сигареты. Курить захотелось мучительно, как будто пить, но, вспомнив, что курить на облаве нельзя, вернул пачку карману. Стоял, опершись плечом о березу, переминаясь слегка ступнями в широких, больших не по ногам валенках, и думал, как бы хорошо сегодня не на эту неожиданную чертову облаву, а одному бы с этюдником или, может быть, Любу с собой. Вспомнил с блеснувшей радостью о своей молоденькой девочке-жене, жили всего полгода, еще не насытились друг другом, только привыкали и не могли привыкнуть. С женой ему повезло, что в общем-то нередко бывает у художников и словно бы реже у всех других деятелей искусств... Была она понятлива, проста, интуитивно схватывала, угадывала его желания, умела одеться всегда на его вкус — очень редкое умение для женщины,— умела потакать его взгляду, чувствовать не только нужный ему стиль — фасон, цвет платья, но даже саму консистенцию ткани, значение всех этих женских фестонов, пристежек, резинок — всего, что они, женщины, так умело или неумело носят. Жена радовала художника всем, от своего пряного одинакового запаха, от простенькой прически до походки, тоже только ей принадлежавшей...

Было тихо. Шел снег. Шелестели снежинки. И словно бы что-то пощелкивало вдалеке, или так казалось,

когда прислушиваешься. Художник стал слушать и услышал, как далеко слева упорно, настойчиво стучит дятел: то-то... то-то-то... та-та-та... Синькали, перекликались слабыми, как спросонья, голосками невидимые синички, где-то, дружно срываясь с места, галдел, перелетая, табун чечеток. Снегирь покрикивал в стороне, скрипел и умолкал, и где-то отзывался ему другой с такой же снежной зимней печалью. Клесты, тивкая, пролетали над лесом. Но голоса птиц не тревожили, лишь дополняли эту извечную, привычную лесу тишину. Она жила здесь, здесь был ее дом... Падала в снег, погружалась в него не то веточка, не то шишка, еловая поветь стряхивала отяжелелый ком, а снежинки все сыпались, сыпались, спускались, и тишина глушила, обволакивала, успокаивала и холодила.

Художник смотрел на полузанесенные, облепленные снегом с ветровой стороны стволы берез, искал в снегу блики нежно-синего и едва фиолетового, жадный до цвета глаз его видел и желтоватое на белых, для неискушенного, стволах берез и ясно-коричневое на черной, в корявинах будто коре комля,— он просто знал, что нет в природе ничего чисто белого и ничего черного, но есть цветное, и глядел в мрачно-зеленые венцы елей, укрывающие под свесами мглистую сказку-синеву, и дальше, на оттепельное, в темной печали, серое с кобальтом и смутно шевелящееся снежинками небо,— любо было ему понимать и там чуть зеленоватый от леса, чуть-чуть коричневый в сером и вольно нависающем тон; думалось же одно: как написать это небо, как ухватить, передать его неуловимый колорит, зимний свет и это покорное зиме молчание, чтобы от картины дышало не краской, но вечной свежестью ранней зимы, как дышит ею все — от блеклых сухих стеблей крапивы, зачем-то оказавшихся тут, в лесу, и потерявших свой начальный цвет, до вот этих ярко-коричневых с красниной упругих и шершавых в зимнем накрапе прутьев, что торчат над снегом и еще сохранили кой-где свежий, желтый, зеленеющий невымороженной зеленью лист. Художник нагнулся, подергал, размочалив, сломил березовый прут, поднес ко рту и с наслаждением, ему одному понятным, кусал, нюхал осыпанную крапом горькую кожицу, содрал ее до палевого гладкого луба. Прут сладко горчил, дышалось от него утренним ветром, неведомым счастьем. И опять этот запах напомнил художнику е е, цвет и запах ее волос,

беловатых и темных на проборе, шеи, рук с округлыми длинными пальчиками, в розовых коротких ноготках. Там, в ноготках, всегда были белые, что-то обозначающие пятнышки.

Снова он затосковал, вспомнил ее, как доводилось видеть только ему, раздетую или раздевающуюся к ночи, со стыдливым не женским склоном девичьей шеи, с худобинкой плеч, но с нежными и смелыми окружностями бедер, с робкой, так же затаившей будущую женскую зрелость грудью. Девочка-жена умела чудно распускать свои двуцветные волосы, всякий раз рдея, кося и приказывая ему отвернуться, чего он, разумеется, никогда не делал, и тогда она шутливо хватала его за плечо, за ухо, за волосы, тянулась и припадала к нему, и не было для него лучше ее, такой приникающей, нежной и покорной.

Он так раздумался о жене, так радостно затосковал в своих мыслях-воспоминаниях, что забыл обо всем на свете и вдруг оторопел, словно пробуждаясь. Вдали уже голосили загонщики, гавкала собака, кто-то стучал не го в железо, не то в таз, а прямо на него прыжками двигалось бесшумно и быстро серо-рыжее, рыже-серое... Даже не успел поднять ружье, держал в непонимании, когда рыже-серое выскочило на поляну,— увидел высокую на толстых лапах неуловимо пятнистую кошку с коротким хвостом и широкой мордой...

Волки тронулись из загона еще до того, как заорали, завопили, заухали «кричане» — в основном бесчисленные подростки и девки из егеревой семьи. Еще с рассветом старый волк чуял и чувствовал какое-то беспокойство. Вставал с лежки, слушал, поворачивался кругом — мешало левое глухое ухо — задирал морду, ловил ветровые струи и, потоптавшись, постояв, недоверчиво-раздумчиво укладывался в снег. Снег валил густо и мешал волку, он стряхивал его, прядал ушами и тряс мордой. Его беспокойство передалось самке и прошлогодку-переярку, похожему на отца могучей волчьей статью. Зеленые, умные лесные глаза вглядывались в глубь чащи, трепетало мокрое шагреневое чутье, подрагивал густоволосый подгрудок, и хвост, большой, полисьи опущенный, не собачий, тоже выдавал волнение. Может быть, молодой лишь подражал старому, а может, уже почуял неизбежное, как могут это только звери и

немногие, совсем немногие особенные люди, наделенные провиденьем, инстинктом высшего. Лишь прибылые безмятежно возились в снегу, радовались ему, как дети, они и были дети, когда дурачились, улыбаясь и напрыгивая, изображая то притворную ярость, то тихое лукавство. Но когда расходились не в меру, мать-волчица только приподнимала черные тонкие губы, и молодые враз утихали, глядели уже виновато и грустно.

В полдень матерый волк вдруг вскочил, обеспокоенно крутнулся и одним понятным лишь им звуком поднял всех. Теперь и самка почуяла тревогу, и все волки замерли всего на мгновение, повернулись в одну сторону. Серой вереницей они сбежали с холма и заскользили прочь, набирая скорость, но как всегда, след в след, легкой волчьей рысью. Они были уже далеко, когда послышались голоса загонщиков, казалось, уже не опасные. Волк-вожак шел впереди в снегу по грудь. За ним волчица, следом оба молодых и замыкающим волк-переярок. Наверное, они были очень красивы — дикие звери, такие редкие теперь, среди глухого оснеженного леса, пухово-белых снегов и легкой метели, сами светлые, серые и чистые, как этот лес, одетые в пышную зимнюю шерсть, подчиненные одной воле, бегущие обочинами полян и меж кустов. Красные пятна остановили их. Пятна шевелились, и тотчас все взрослые волки услышали — взяли чутьем тяжелый запах человека, человека ли — запах спирта, пьяной отрыжки, табака и потной одежды, который и люди не все выносят равнодушно,— запах опасности. Не более секунды понадобилось опешившим зверям для того, чтобы принять решение,— большой выбрал его мгновенно, заложа уши, пошел махом наискось и прочь, за ним вильнула стая...

...Воронько, глядя на лес, почему-то вспоминал, как он еще не так давно был начальником лесопильного цеха, и этот самый лес, срубленный, а вернее, спиленный где-то, обращенный в бревна: сосна, ель, береза, осина — больше всего сосна,— шел и шел к нему каждый день вагонами и машинами-лесовозами, громоздился на бирже в штабеля под опорами тяжелых мостовых кранов, и горы этого наваленного леса никогда не уменьшались, были велики, как несколько далее уже целые гималаи свежего и темного опила. Отсюда лес шел бесконечной ломаной линией по ниткам передач-транспортеров в цех, жадно хватали его, затягивали в свое вин-

товое нутро окорочные станки, и уже потерявший кору, а с нею и всю лесную видимость, он катился по рольгангам в захваты пилорам, подтягивался и подавался туда, где дьявольским махом тряслись, содрогая все здание цеха, пилы, превращали бревна в белый, не успевший желтеть пиловочник: двадцатку, сороковку, пятидесятку, горбыль и обрезь,— лесоматериал, которого вечно не хватало, и цех не успевал его наготавливать, а он, как начальник, то конфликтовал с поставщиками, то мучился с ремонтом оборудования, то отмахивался и откручивался от жадных потребителей, а иным попробуй откажи, если начертана уже директорская виза. Новую свою должность в завкоме Воронько ценил превыше всего — оно хоть и хлопотно, однако не в пример спокойнее прежнего, почетнее, как-никак член «треугольника», без которого не должен решаться ни один главный вопрос, и хотя не самый важный член, хотя с а м сплошь и рядом решает за всех, все-таки это не лесопилка, провалиться бы ей вместе с лесом... К лесу он был равнодушен, прежнюю работу ненавидел и твердо решил: прокатят — куда угодно, только не в лесопильный. А так уж лучше на охоту ездить и номер отдать... Чего там... Волки, что ли, ему, Воронько, нужны... Смешно...

Другой член «треугольника», Коньшин, мучился изжогой и болью в желудке. Если б сейчас — дома...— одно было желание со вчерашнего вечера. До чего же хорошо все дома... Отлежался бы, отдохнул... Говорят, вот охота — спорт, отдых, все такое... От-дых...

И не лучше было на душе у самого директора. Что-то не ладилось сегодня с охотой, да и со здоровьем тоже... Зачем-то согласился меняться номером. С Воронько... Подхалим чертов... Сам-то хорош... А, в общем, нет както радости сегодня. Годы, что ли? Годы... Не щадит время... Вот так и подкатит. Постучат — скажут: «Не пора ли... Не засиделся ли?...» Какой-нибудь проныра столкнет... Вроде Воронько... Недавно однокашника встретил: старик старый... Беззубый, седой.. По другим яснее видишь, как сам состарился... Ну, ладно... Волка бы, что ли, ухлопать? Хоть и не нужен он, в общем... Так разве... Для шкуры. Похвастать даже не перед кем... Жена — только ворчит. Старуха... Дочь и сын давно к нему равнодушны. Живут своими семьями... Вспоминают лишь, когда нужны деньги... Есть, правда, Галина Михайловна, но Галина Михайловна что, как была она, в общем, рав-

подушная врачиха, так и осталась. Ее другое интересует... Не любил врачей. Лечиться не любил. Распинаться, раздеваться перед ними... Вспомнил ближний неприятный случай. Нагрянула на комбинат целая комиссия — проверять очистные сооружения. А их не было и нет, и у него нет, и у соседа, гидролизного завода... С этими очистными — беда, обязывали построить еще того директора, что был до него. Откручивался теперь и он... Деньги есть — людей нет, материалов... План-то тянет, может, благодаря умению бухгалтерии да плановиков. Вспомнил, врачиха, похожая на его Галину, как сестра, стыдила, грозила: «Закроем комбинат! Тра́вите окружающую среду!» А он только огрызался лениво: «Ну, закрывайте». Знал: несерьезно все это. Кто даст останавливать налаженное производство с тысячами людей? Кто даст прекратить производство лесоматериалов... В конце концов сказал, чтоб отвязаться: «Да построим мы вам ваши очистные...» — «Не ваши, а наши!» — зло поправила врачиха. Давал слово, а знал: черта! Ни нынче, ни на будущий год. Река-то давно отравлена, вонь вонью, и не он ее первый отравил...

Павел Макарович на десятый раз проверял ружье, раскрывал, доставал патроны, смотрел в стволы — сияли стволы чистыми ровными кольцами — снова закладывал патроны. Нравилось, как они плавно уходили в казенник, захлопывал замок ружья. Чудное было у него ружье: красивое, надежное, чистой работы, не ружье, предмет искусства,— вон какая богатая гравировка на щечках замков, на казеннике и на цевье. Олени... Собаки... Ружье было трофейное, вывез дальний родственник, полковник, из Восточной Пруссии, за ненадобностью продал, а Павел Макарович приобрел. Понимал: не станешь же ездить на охоту без ружья или с каким-нибудь, вон как у этого парня, художника, одностволым дерьмом. Ружье должно быть по чину. И оно вполне соответствовало: «Зауэр» — марки «Ястреб» или «Три кольца», толком не знал, но знатоки и Сидоркин, например, очень хвалили. А дальше он думал лишь, как бы не промахнуться, если набежит зверь. Волки ведь все-таки... Еще бросится да искусает...

Один Сидоркин, кажется, был на облаве как дома. На номере первым делом он достал из кармана своей зеленой на меху, защитного цвета куртки плоскую походную фляжку. Оглянувшись, отвинтил, приложился,

побулькал, утерся, прислушался к нутру... Хорошо вроде... Приложился еще. И еще... Когда с удовлетворением и все-таки словно с некоторым сожалением завинчивал крышечку, тряс фляжку, поднося к рябоватой щеке и к уху,— слышалось слабо. Но зато на душе было весело, тепло, чуть не приплясывал, отаптывая снег, со стороны и показалось бы — цыганочку оттабаривает... Проверил ружье. Потом думал, как бы заманить старшую лесникову дочку Валентину, медсестру, в сени, хоть бы пообнимать, потискать. Утром улучил момент, когда девка поднималась по лестнице из кухни в горницу, до сих пор был в потрясении. «Вот это ляжки! Вот это — ритузы! До чего здорова, до чего хороша-свежа... И достанется же такая кому-то за здорово живешь, за так...» Всякую доставшуюся кому-то, а особенно красивую женщину Сидоркин считал оскорблением для своего мужского достоинства. А такую девку, что говорить: зубы ноют. В пьяной голове сладко уже покруживало, обнадеживало и так не робкого Сидоркина. Думал, как ее, Валентину, Вальку эту, обворожить, обвести сладкими речами. Напоить бы вот так же, — растаяла бы... Наворотить хоть три короба — только слушай. А умел он чуть ли и не на колени пасть, и на баяне сыграть, на гитаре тоже, спеть — пожалуйста. И орлом поглядеть, и несчастным прикинуться. Эх ты... Годы вот летят птичками... Лет бы десять назад эту Валентину встретить — ничто бы не остановило... Такую-то королеву женой бы... И никуда бы уж не бегал. Сидел у подола, как пес. А что?.. А попробовать? А чо терять? А? Она ведь в городе учится? Разузнать, встретить, отбить у всех. А? Годы, конечно... Ну и что? И берись, разузнай... И выгорит дело... Еще как... Эх ма... Была не была — Сидоркин уже и улыбался победно, хмель брал свое. Все казалось легким, доступным, не трусь только, не робей, знаешь ведь: нахальство — второе счастье...

...Нет, они не мчались прямо на затаенную цепь охотников. Они шли наискось — матерый зверь знал повадки людей и не раз попадал в оклады, но то ли подвело левое глухое ухо, то ли полуслепой левый глаз — волк промахнулся совсем немного, вылетел на край загона, и первый он принял заряды картечи их обоих стволов. Стрелял Воронько. И когда волк опешенно, изнуренно осел, загибая морду в оскаленной истоме, ружье Воронько грохнуло еще и еще, укладывая его наповал. Молодые с

переярком бросились влево, в загон, за ними и самка, потерявшая верное направление. Загремели, забухали неточные, торопливо-гулкие выстрелы. Стрелял зампред, палил Сидоркин, парторг Коньшин и сам лесник, уложивший чуть не в упор подскочившую с женским криком волчицу, она каталась в снегу, взвизгивая и извиваясь, а рядом крутился непонимающий ошалелый волчонок, пока новые выстрелы не положили его навзничь рядом с матерью.

Лишь переярок, должно быть раненый в спину, с кровавым следом, развернулся в обратном направлении, сумасшедшим махом уходил и вылетел на оторопелого художника, который только что прозевал-пропустил рысь, а лучше сказать, не решился ее стрелить: не поднялась рука, как-то не смогла подняться... Рысь исчезла в четыре прыжка, и тогда к художнику вернулась охотничья зависть, возникло презрение к себе: так запросто, за здорово живешь отпустил невсдомо дорогую добычу... Дождись теперь такого случая хоть когда-нибудь. Век можно охотиться — не дождешься... Опять вспомнилось едко все вчерашнее и сегодняшнее — все отношение к нему. И уже кляня себя и сокрушаясь, он поднял ружье, как будто ждал еще одной кошки, и в это же время-мгновение увидел бегущего наискось и мимо нового зверя. Теперь ружье не могло опуститься. Он вжал его в плечо, ведя мушку, трепетно выцелил по голове, хоть надо целить впереди головы, и нажал на спуск, до озноба прищуриваясь, дергая ствол. Выстрел смешался с визгом и криком зверя. Увидел: волк перевернулся через голову, кричал так, как кричат ударенные машиной собаки, забился, разбрасывая снег, затряс лапами. Белея лицом и повторяя зачем-то: «Нет... Нет... Не надо...», художник дергал за спуск клюющее дулом ружье, забыл, что у него одностволка. Затем он опомнился, переломил ружье, выбросил гильзу, дернул из патронташа новый патрон... Волк уже затихал, тянулся на разбросанном снегу. А выстрелов больше не было...

Теперь только художник понял, как не рад он выстрелу, ни убитому зверю, в ушах стоймя стоял живой и больной крик — так мог кричать только кто-то умный, по-человечьи чувствующий боль и гибель, совсем по-человечески...

«Это волк... хищник...» — мысленно и вслух успокаивал себя художник, но радость удачи как-то не прихо-

дила, сознание какой-то вины, отягощенности ею становилось все больше, неодолимее. И тогда, зарядив ружье, он было пошел к волку,— глупая мысль, что зверь, может быть, жив, оживет, притворился, блеснула на мгновение, но тут же и погасла,— зверь лежал как лежал, уже перестал быть зверем, и художник остановился, отвернулся, вспомнил, что лесник настрого запрещал сходить с номера до конца облавы.

Лошади у дороги храпели, перепрядывали ушами, дергали сани вбок и косили белым шалым глазом под непрерывные матюги егеря. Пять волков лежали в снегу с разнообразно распрямленными ушами, одинаково мертво откинув хвосты, уставясь остекленелыми, неостывшими взглядами. И после всего даже они глядели в лес... У дровней собрались все: охотники, загонщики, ребятня. Гоголем ходил несколько протрезвелый егерь. Наливали, поздравляли, слышалось: «С полем! С удачей!» Ребятня подбегала к волкам — гладили шерсть, задирали десны, глядели клыки... Щелкали аппараты,— оказались у всех, кроме художника. Впрочем, был прихвачен и у него, но снимать он отказался, и потертый его «Зенит» забрал Сидоркин. Воронько и Сидоркин суетились больше всех. Щелкали-снимали и группой с ружьями у добычи, и поодиночке каждого в наполеоновской позе с ногой, поставленной на матерого. Воронько, убивший старика, держался героем, рассказывал, как волк «бросился» на него. Лесник поддакивал, свидетельствовал. Коньшин убил волчонка. А самая ценная, красивая шкура оказалась у переярка. Художник после целого стакана водки обмяк, рассказал, как на него вышла рысь, а он не выстрелил, отпустил... Тут же стали его материть, обвиняя кто как мог, не церемонясь по-пьяному, а егерь оказался тут как тут, узнав, в чем дело, добавил, что рысь была его, вторая, та, что ушла из капкана, и тоже ругался. Художник краснел, оправдывался, а потом сказал, что не рад и волку, и отошел прочь, понял и сквозь опьянение, что никто не рад его удаче, а все завидуют и тоже не рады этой охоте.

Директор, не скрывая, был не в духе — не убил никого, даже не выстрелил. Почти то же и у зампреда — вытянул неудачный крайний номер и никого не видал. Стоило стоять ждать с таким-то, как у него, ружьем.

Воронько досадовал, что зря менялся номером, что директор теперь может рассердиться на его удачу и мало ли еще как все обернется в будущем; Коньшин злился, что убил какого-то сосунка, а не волка; Сидоркин — что он лучший охотник, всегда преуспевавший ранее, опозорился, дал мазу, и волк ушел к этому тюте — художнику, и теперь вечером не удастся похвалиться перед лесниковой дочкой, а на это была-жила-пряталась немалая надежда. Лесник тоже скрывал досаду, хоть и убил двух — главного не сумел: начальство недовольно. И хотя в общем-то все выглядело пристойно, улыбались, снимались возле волков, Воронько и Сидоркин даже с головой зверя в руках, настроение было натянутое, с тем и двинулись восвояси.

На вечернюю выпивку пригласили егеря, хоть был уж хмелен без меры, никому не давал говорить, слушали только его волей-неволей... Василий Петрович, если и не был пьян, считал себя главным человеком на Земле, а в сегодняшнем положении важнее и значимее его не было.

— Я, ежели б не очень вот этим делом,— указал на бутылки в застолье, опрокинув не слишком владимой рукой собственный стакан и махнув на него.— Ежли б... не этим делом... Я бы... Можно сказать... в золоте ходил бы... Лес... Он... Ежели не без ума... приварок дает... Не одну душу прокормит... Кто понимает...

Обвел взглядом стол, понял через хмель: не доверяют.

— Ххе... Не верите? Вижу... А волков... Кто обеспечил? Не я? Ну... ладно. Я вот зимусь занялся лис ловить... Сорок штук взял (врал, конечно, врал, но взял много). Вот, думаете, где? Ага? А я их под самым городом, у свалки... Вот где... Счас зверь голодный, к городу жмется. И волков там же засек, у свалки... Последнюю лису взял... Смехота... Пачку пелеменей несла... протухлых...

— Пельменей?!

— Хха-ха-ха...

— Ей-бо... И не просыпались... Пелемени-то. Аккуратно несла... Может, лисинятам... По весне уж дело...

Усмехнулся. Выпил. Налили. Слушали дальше.

— Я на лис секрет знаю... Какой?.. Не могу сказать... Знаю... Секрет скажи — сам без лис останешься... Праль-

но? Однако мало лисы стало... Рысь... Та есть... Взял одну — другая ушла... Но — недалеко... Моя будет. Волков я раньше не так брал. Найду нору, щенят проволокой повытаскиваю. Бить их? Премии нету. Свяжу им лапы-то проволокой и обратно в нору. Волчицу не трогаю пока... Она их кормит. Так и живут, растут, со связанным-то лапам... Ну, потом добью, сдам за взрослых... Ххе...

Молчали. И даже Сидоркин что-то попритух. У Воронько черные глаза-глазки обозначились яснее. Художник сегодня пил больше всех, молчал, слушал, бледнел. А егерь продолжал:

— Чичас чо? Техника везде... Счас и дрова поперечной пилой никто — только дурак — шоркает. И зверя с техникой брать легче... У нас парень есть, шофер и тракторист... Механизатор, в общем... Тот машиной волков давить наладился, зайцев тоже... Ночью. Или вот, мода на барсука пошла. Бабы и мужики шапки носят барсучьи. Заказывают. На барахолке шкуры с руками рвут. А мех-то? Видали... Красота... Волной ходит... А где его взять... барсука. Он под землей... в норе прячется. Вот и берешь мотцоклет, есть у нас парень тут, Витька Брыня... Берешь мотцоклет, шланги к ему, на выхлопные-то трубы. Ну, подъедешь к норе, шланги туда затолкаешь, мотцоклет стоит тыр-пыр. А ты ждешь — барсук, он хоть и в спячке с осени — вылезает. Не может угару вынести... Хлестнешь его, и вся дела... Самку я недавно здоровую добыл, а с ей барсучишко, с варежку всего...

— Гад! — заорал вдруг, перепугав всех, художник, вскочил...— Гад! Ух... ты... Сволочь... ты... Убью! — полез на егеря с кулаками..— Ссамого бы... тебя... проволокой...

Из-за стола, выпрастывая кулаки, скруглив глаза, пер егерь... Все повскакали, разнимали, расталкивали, уговаривали, ругались. Егеря выпроводили лесник с Воронько, снабдив, должно быть, еще бутылкой, а художник расходился не на шутку — так оно и бывает почти всегда у людей робких и тихих с большого перепою. Кидался на всех, орал, грозил, пришлось его скрутить, затолкать под лавку, где художник и погрузился в обморочный сон.

Утром в воскресенье он проснулся от тошноты и боли, увидел, что лежит связанный на полу, испугался,

стал просить, чтобы развязали, никак не мог понять, что натворил. Освобождала его лесникова дочь Валентина, девка смешливая и сострадательная, она же и принесла ему в граненом стакане рассолу, дала соды, помогла умыться и прибраться. Никто, кроме нее, с художником не разговаривал, и он, кое-как найдя свою куртку, без шапки, с мокрой головой ушел курить на крыльцо.

Сидел. Отпыхивался. Голова со звоном кружилась. Обносило, как после карусели, в висках давило и гулко пульсировало: тук-тук, тук-тук... Но уже вернулся рассудок, и художник клял и клял себя за эту трижды ненужную поездку, память, возвращаясь будто из тяжелого сна, выносила, как махал кулаками, брыкался, отбрасывал лесника, и Сидоркина, и Воронько, вспомнил свой крик — это уж когда лежал на полу: «Сволочи! Технократы! Душегубы! Гады! В генералов играете... Мордовороты...»

Было и стыдно и гадко — больше гадко. Сидел. Курил. Приходил в себя. Воздух после метели был морозный, чистый и словно без кислорода. И от него теснило где-то повыше груди.

Хлопнула дверь, появилась мощная Валентина в легоньком ситцевом халате, смотрела улыбчиво:

— Может, вам валидолу?

Он только помотал, тряхнул головой, не глядел даже на розовые ее ноги, покрывающиеся от холода мелкими пупырышками. Валентина, постояв, ушла.

И он вдруг решился: «Уйду, не поеду с этими людьми... Уйду пешком на станцию. Есть же тут где-нибудь станция, или на тракт выйду... На автобус... Подберут... Ах, как все дурно... Нехорошо...»

Вздрогнул от скрипа двери, думал, опять эта девушка, лесникова дочь, но рядом с ним неожиданно оказался Воронько. Совсем другим, не смеющимся и не ласковым, голосом сказал, что, если художник не извинится перед директором, перед всеми, придется подумать об увольнении. Налицо оскорбление коллектива. Коллектив не простит такого хамства, безобразия. Кричал, ругался, ударил Сидоркина... И все повторял Воронько: коллектив, коллектив, коллектив...

Художник молчал. Затягивался сигаретой и, приняв его молчание за раскаяние, Воронько тоже достал курево, чиркнув спичкой, прикурил, обводя глазами лесни-

ково подворье, и как будто перевел регистр голоса на прежний, застольный и задушевный, заметил:

— Живет... А? Ведь, если разобраться, получше нас с тобой живет. Помещик. Кулак. Кум королю, государю крестник... Раскулачить бы его... Медок. Лесок. Грибки, ягодки, огурчики... Картошки чуть не гектар... Капустка. Лучок. Молочко-сметанка... Все натуральное. Не то, что у нас в магазине, синтетика какая-то, не сметана. Да и яйца тоже... Натуральное хозяйство. И никому не кланяйся. Не вешай бирку... А ведь раньше так многие жили... Хорошо... Ну вот: я тебе добра хочу. Есть выход... Отдай своего волка хозяину и...— Воронько сделал плавный жест правой над левой.— Суди-ка сам. Хозяин все организовал... Деньги... Машины... Шофера... То-се... Бензин-керосин. А сам? — тем же плавным жестом, но в обратную сторону.

— А он...— возьмет? — зачем-то трудно спросил художник.

— Это уж... Я... Устрою... Ради тебя... Сделаем, значит, общую добычу. Облава-то была общая? Так... Разделим. Лесник, между прочим, уступил ему волчицу, а волчонка исполкомовцу, хоть тот и не брал... Вот как надо, понял? Ну?

— Не знаю...— обронил художник.

— Ну, думай, девка, тебе жить,— уже снова жестким, обсохшим голосом закончил Воронько и, глянув на художника такими же глазами-штырьками, кинул сигарету в снег.

*Я много думал о моей семье, думал о нашей планете, о том, как она великолепна и какой спокойный у нее вид с такого огромного расстояния.*

*Майкл Коллинз*

# Взлет

Земля сквозь иллюминаторы «Аполло» казалась недалекой, хоть была лишь чуть больше Луны. Но она была белой и голубовато-мраморной и была красивее Луны,— сейчас ее видно лишь странным повернутым параллельно кораблю полумесяцем, или полудиском,—

не скажешь ведь полуземлей? — а под «Аполло» вполне зримо, быстро, широко и ясно неслась Луна. Она была еще в тени всходившего солнца, коричнево-пепельная, чуть светящаяся и покривленная по горизонту, с разломами хребтов и ровными поверхностями, с круглыми жерлами кратеров, резко черневшими на коричнево-сером. Она была похожа на пустыню, где кто-то разбросал каменные обломки, круги воронок и ям, она чудилась Землей, но Землей, погибшей от какой-то странной, беспощадной войны, и только воронки-кратеры молчаливо напоминали о минувшей трагедии.

— Какая пустыня! Какое дикое место...— сказал Коллинз.

— Оно внушает даже страх,— отозвался Олдрин, не отрываясь от иллюминатора.

Армстронг молчал, и уже то, что он молчал — человек, гораздый на шутки даже там, где они казались невозможными,— говорило о его волнении. Лицо Армстронга, широкое и нетипичное для американцев, более похожее на лица русских-вятичей, выражало сосредоточенное до предела, до испарины на лбу ожидание. «Сейчас Хьюстон подаст команду для перехода в «Орел»,— думал Армстронг,— и начнется то, что уже не раз как будто испытывал, и все-таки всего лишь *только ждал*...» Переход в этот «Орел», в лунную кабину, как чаще ее называют в печати... Переход... Переползание, протискивание в отсек этого забавного чудовища, похожего на творение скульптора-модерниста, похожего на робота,— а это и был робот, сотворенный инженерами и рабочими для посадки и приземле... Что это за черт... Прилунения на Луну...

Кабина шла к Луне... Датчики и компьютер показывали — до прилунения осталось тридцать минут... Полчаса... Исчезла связь с Хьюстоном. Внезапно. Непредвиденно. Почему непредвиденно? Предвиденно... Такое проигрывалось... И все-таки... Проклятье... Проклятая техника... В самый нужный момент... Ну, что же там молчат... Видимо, слишком раскачивается антенна... Армстронг чувствовал: что-то неладно. Кратеры в поле зрения отставали от расчетов компьютера, а до Луны двенадцать километров. Десять километров... Девять километров... Семь... Пять... Три... Кратеры вырастали

и будто тянули к себе кабину. Километр... Четыреста девяносто, четыреста тридцать...— Олдрин беспрерывно, как автомат, называл цифры.— Сто восемь... Сто метров...— Компьютер ошибся: под кабиной вместо ровного плато, выбранного для посадки, был кратер величиной с футбольное поле, чаша, вся заваленная глыбами и обломками. Садить «Орел» на валуны и камни?! Наудачу?..

И, может быть, только то, что Армстронг был летчиком-испытателем, привык решать мгновенно, спасло кабину, экипаж и всю программу... Ручное управление! Он должен посадить «Орел» сам. Но горючее на исходе... Еще секунды — и Земля должна скомандовать — вверх! — на соединение с «Колумбией», орбитальным отсеком. Должна скомандовать, а Хьюстон молчит. Связи нет. И если он промедлит хотя бы лишнюю секунду... Тень «Орла» мчалась по валунам и кратерам. Олдрин называл цифры. Армстронг искал подходящее место посадки... Близко грунт — но лунная пыль, взметенная газами двигателя, забила иллюминатор. «Орел»! Отвечайте! Почему молчите!?» — прорвался вдруг Хьюстон. Десять секунд — и ничего не видно в иллюминаторы... Сейчас взлет. Взгляд на пульт маршевого двигателя и — свет... Внезапный яркий свет. Кабина встала на грунт, выпустила лапы-амортизаторы. Луна...

Армстронг пробовал что-то сказать и не мог... Пульс был в горле. Глаза лезли из орбит. В голове ломило. И так же беззвучно раскрывал рот Олдрин. Наконец Армстронг выдавил, превозмог эту ломящую боль-звон: «Хьюстон... Говорит... База... Спокойствия.. «Орел» прилунился... Мы сели... Мы сели...»

И они опять смотрели друг на друга как помешанные, словно хотели еще что-то понять и услышать. По графику (кто составлял этот график!) им теперь полагался отдых и сон!

Армстронг медленно тянул ногу. Здесь лестница кончалась, а до земли — о, черт, до Луны — чуть-чуть не дотягивалась нога в рубчатом ботинке. Шаг. Один шаг. Он ступил на Луну, ощутив тысячи горячих уколов во всем теле. Нервы... Она держала. Она была просто как пыльная-пыльная Земля... Было светло, как днем,

гораздо светлее, чем на Земле в самую лунную ночь. Чернота неба не ощущалась из-за сильного света солнца, только тени были удивительно черные и меняющиеся. Пока он и Олдрин восхищенно и потрясенно бродили вокруг кабины, печатая на пыли четкие рубчатые следы,— оба с трудом приходили в себя. И все билась, все не укладывалась в голове мысль: «Ходим по Луне? Ходим?? По Луне?? По луне... По земле?» Это было как в волшебном царстве, в волшебном сне со смещениями понятий. По Луне? Но это же земля... Все равно, как земля... Земля? Нет... Это не Земля... Это лишь что-то подобное... Земля... И опять дикая мысль: А если — Земля? Где-то в пустыне, в Соноре или в Калифорнии... А что там, над головой... Земля? Неужели над головой, вдали, светится Земля?

Ноги погружались в странный порошкообразный грунт. Под ним угадывалось нечто твердое и скользкое, как лед или камень-голыш. Камни здесь были легкие... Армстронг складывал их щипцами в сумку-контейнер. Два часа мелькнули незаметно. Два часа на Луне...

Теперь Армстронг думал только об одном: взлетит ли «Орел»? Рванет ли с поверхности эта по земным нормам никак не похожая на летательный аппарат машина? Или... Станет могилой его и Олдрина — памятником на Луне. Кислорода хватит еще на двое суток... А дальше... К черту! К черту! Все это страхи, трусливые мысли. Как хорошо, что хотя бы мысли не может слышать Хьюстон. Зато он слышит, как бьется-трепещет сердце. К черту... Надо успокоиться... Все будет хорошо... Все будет хорошо... «Орел» взлетит. Все задублировано и проверено... Но ведь... Двигатель есть двигатель. Корабль несло через сотни тысяч километров этого черного ада — космоса... Как медленно тянется время в отсеке и нельзя выйти... Неужели все-таки вон та бело-голубая горбушка в черноте неба — Земля? И там — люди, люди, люди... Тысячи, миллиарды людей, которые сейчас думают о них — о нем, об Олдрине, о Коллинзе... Майкл, который сейчас болтается на орбите,— все-таки ему, наверное, легче, хоть он тоже одинок, страшно одинок и трясется за них... Ведь вернуться ему без них... Что это за возвращение... Неужели... О, господи, спаси нас и вынеси отсюда...

Нет, никому пока не нужен этот абсолютно безжизненный, безвоздушный, ледяной мир бесконечной тьмы. Он нужен пока разве затем... чтобы лучше понять, какое чудо — Земля... Чудо... Чудо прекрасное. Отсюда она видится сотворенной кем-то с высшим разумом... Здесь не хочется верить ни в какие теории самозарождения жизни. Слишком прекрасна, слишком целесообразна... Слишком рукотворной кажется Земля... Чудо... Земля. Чудо ее океаны, горы, степи, леса, льды... Чудо — животные... Чудо — женщины... Они там, все там, на этом голубовато-белом полумесяце. И моя Джан... Джан... Чудо — дети. Все дети и — мои... Чудо — растения... Чудо и счастье. Только жить там, *дышать без ограничения чистым воздухом*, плавать в *чистой* воде и ходить по лесным опушкам и по улицам... Еще когда летели сюда, когда проскочили атмосферу, думал и часто думал раньше, если бы все видели и понимали, какой тоненькой пленочкой, тоненьким голубым паром пригодной для жизни атмосферы подернута Земля... Это надо понять, понять всем... *Пять километров, семь километров* ввысь — и уже нечем дышать, невозможна жизнь... А что такое пять километров над площадью планеты?

Армстронг перевел глаза на Олдрина, который был напротив... Взлетим ли? Это было как пытка, и оба молчали. Говорить не хотелось. Может быть, перед глазами все время возникали только часы, часы, часы с прыгающей секундной стрелкой. Скорее бы пуск... Скорей... И за ним неизбежное.

«Теперь, наверное, мы оба хотели только одного, я и Олдрин, попасть, нет, не на Землю. Земля была безнадежно далеко. Мы хотели оказаться на «Аполло», в отсеке «Колумбии», которая кружила над нами...»

Осталось пять минут. Готовность. Сейчас будет пуск. Команда...

«К взлету готовы... На взлетной полосе, кроме нас... никого нет...— Пуск!!!» Двигатель заработал. Тряхнуло.

Оба, кажется, закричали. Кажется. Или опять так же — без голоса...

— Летим?

— О'кэй...

— Летит...

— Мы... летим... Мы... летим,— сказал Олдрин, он был белый как бумага.

«А дальше было самое запоминающееся. Руки Майкла в трубе перехода. Он будто тащил меня... тащил... тащил, а я, кажется, нет, я не плакал, меня просто трясло, я просто будто очумел от радости...

И Майкл не помнил, кто из нас первым оказался на «Колумбии». И мы тоже, пожалуй, не помнили... Вот так...»

И если б все знали, какое это счастье — лететь к Земле...

## На север

На север бежали все, кому было невмоготу. Шел, благословясь, из мирской суеты и свары ревнитель древлего благочестия, алкал безмолвия, святого жития издержанный жизнью пустынник, бежал от правежа отчаявшийся кабальный мужик, скрывался куда ни то подальше разбойный малый, бросал в болото кровавый кистень, одержимые поиском, шли рудознатцы, пробивались охочие гулящие люди, и мало ли кто еще не стремился к северу — всех не перечтешь — и поныне идут. Идет на север удачливый за удачей, неудачник за долей и рублем. Ищут романтику, а больше соболя-выдру, семгу-осетра, нельму с тайменем сверх меры бойкие, бородатые, в свитерах грязных и в утасканных штормовках, на моторках и пешим ходом,— не дети ли тех, охочих, и тех, кто бросил в болото кистень, а может, внуки уже...

Север все еще терпит, всех укрывает, всем дает жить, иногда и на щедрый дар не скупится. Только вот — надолго ли? Хватит ли его всем теперь? Ныне ведь и оседлый городской житель, никуда не едущий и весь в благоустройстве, вспоминает вдруг про какие-то дали под суровыми небесами, начинает вдруг видеть ледяные озера и живое серебро тех рек, где плещет еще жаровая рыба таймень и харпус, рыба, созданная из дикости, холода и чистоты, вылетает за мошкарой на красных закатах за широкими плесами, есть еще, слава тебе, господи, лес, есть и пустынь — мать тишины и обитель туманов и всего непорочного. Есть. Есть еще... И легче становится жить человеку, в дом которого течет горячая и холодная влага, имеется в доме искусственный водоем, искусственный дождь, рукотворное солнце, волшеб-

ное окно в дальний мир и спрятанные на полках голоса и мысли мудрецов, и оркестры, всегда готовые заиграть, и все новости мира, вся его ложь и правда готовы вырваться тотчас за щелчком приемника, а коли не хочешь этого приемника, идут в дом готовые бумажные листы — и там та же самая правда. Все есть у человека в кирпичной, бетонной, обетованной пещере, а все плачет, тоскует порой этот современный пещерный житель, если только он не нейлоновый супермен,— тоскует по лесам и по звездам, по волнам и ветрам, по зверям, птицам и рыбам, и, как голос матери, зовут его днями и ночами голоса звезд, ветра, солнца и живых существ наяву и во сне... И радуется человек, вспоминает — есть еще где-то на севере Север... Есть еще чистота, нетронутость, прохлада и недоступность. Есть как надежда на счастье? А что такое счастье? — спросите. Не одна ли только н а д е ж д а?..

И так же, как люди, иным лишь разумом, иным инстинктом уходил из своего леса к северу кот, избежавший капкана, картечи и березового стяжка.

Когда егерь с радостными матюгами, набегая, занес стяжок, кот прянул в сторону с такой силой, что сухожилия перетертых пальцев не выдержали, оборвались и он освободился, оставил капкану два пальца вместе с когтями. Кот бросился в лес и скрылся под ругань и крик егеря, перепуганного и остолбенелого. Еще никогда не случалось у него такой оказии. Попавшую в капкан рысь, лисицу ли добивал он всегда не торопясь, чтоб не испортить шкуру, а тут — ладно хоть не бросилась... Ушла! А кот был уже далеко, бежал сперва на четырех, а после на трех лапах, поджимая ту, больную острой нестерпимой болью. Далеко, в незнакомом ему лесу, он лег, свалился. Силы оставили его, как всякое живое существо, одолевшее предел возможного. А он совершил это, вырвался, умчался, ушел, сохранил жизнь...

Стоит ли описывать, как кот отходил от шока и страха, как зализывал ноющую лапу, как охотился на трех ногах и голодал, как судьба ли, случай ли опять спасли: нашел кишки, шкуру, требуху убитого кем-то лося и жил там, пока болела лапа, как оказался он в окладе и вышел, к счастью, на того разиню художника, снова остался цел, перемахнул флажки уже в той стороне,

где не было охотников,— кот не боялся тряпок, но понял, что надо уходить, и теперь упрямо шел на север, по склону Земли, дальше и дальше.

Он шел уже целую неделю по людским мерам, шел выверенно и строго, как по компасу, и хоть меньше становилось селений,— не убывало дорог, а лес не становился глуше. Скорее наоборот, со всех сторон обступали кота следы активной деятельности. Он пересекал пропахшие мазутом и выхлопом лесовозные дороги, проходил такие же мерзко-пахучие узкоколейки, огибал вырубки, шел через большие горы и мелколесье, уже подросшее, загустелое непрохожей чащобой, и все время кот слышал крики-урчание машин, рокот трелевочников, рык-вой моторных пил, тяжкий гул падающих деревьев и частое таканье сучкорезов. Будь он в мыслях похожим на человека, подумал бы, что по местам, которые он обходил, шла война: так грохотало, громыхало, бухало, иногда и по-настоящему взрывалось — рвали пни-заготовку неведомо для какого сырья... Иногда кот пробегал через странные места, лес стоял здесь облитый каким-то едким снадобьем, голый, сквозящий. Не было здесь ни птиц, ни зверя, было голодно... Матерая оседлая птица и зверь бежали из этих мест, перевелись, попали под воскресные выстрелы всегда веселых лесорубов (так перевел бы, наверное, мое предложение переводчик-немец). За неделю пути кот поймал лишь больного исхудалого белячка да ночью подкрался к спящим в снегу рябчикам. Инстинкт и голод тянули дальше и дальше, к северу, прочь от этих мест, и неясно уже, на какой день, а лучше сказать, ночь — больше всего кот шел ночами — лес расступился и открылась вырубка, точно неоглядная пустыня. Не было видно ей ни края, ни конца, торчали по ней лишь мелкие чахлые сосенки и тощий молодой березняк, выставлялись из-под снега комли и сучья невывезенного подтоварника, и сколько ни пробовал кот обойти, она все тянулась, воздымалась на пологие горы, уходила за горизонт, и тогда, преодолев страх открытого пространства, он двинулся напрямик. Он шел всю ночь, все утро и весь день, но нигде не маячило даже настоящего леса — одна снежная целина, редкие деревья, измятое техникой мелколесье и опять сплошная равнина, лишь кое-где из-под снега, как редкая шерсть, торчал поднимающийся прутник. Здесь не было и ничего живого, даже ворон и сорок, ни чело-

века, ни жилья, один ветер взметал, взвивал вихри под таким же льдистым, широко-пустынным небом, и солнце ходило низкое, светило, не грело. Кот уже не ощущал голода, но шел все тише, останавливался и ложился.

На рассвете после четвертой голодной ночи вдали засинел лес, кот ускорил шаги, даже побежал и тут же услышал шум, рокот, быстро нарастающий, похожий на стрекотанье гигантского насекомого. Он замер и увидел, как птица-стрекоза, стригущая небо большими длинными лопастями, нагоняет его, и он помчался что было силы длинными ловкими прыжками, не от них ли и происходит его название — рысь. Резервные мощности его организма включились (как написал бы современный автор, помешанный на индустриализации), а проще — кот хранил в себе такой бег и такую скорость на крайний случай, и все живое, не зная даже о том, хранит до поры непредусмотренные, скрытые и потаенные возможности. И все-таки как ни мчался он, ошалев от страха, зеленая грохочущая стрекоза увеличивалась, легко нагоняла его, нагнала, снизилась, оглушая свистом, воем, грохотом и вихрями, и тотчас с нее ударило-загрохотало равномерным громом и градом: бу-бу-бу-бу... Это било ружье-автомат... И любой зверь: медведь, лось, олень, волк — погиб бы немедленно под этим обстрелом, ибо продолжал бы ошалело нестись вперед, но недаром рысь вообще считается самым смелым, совершенным, самостоятельным и смышленым зверем среди хищников,— кот прянул в сторону и назад, два прыжка — и зеленая птица-стрекоза с грохотом унеслась далеко вперед.

Лес приближался. Кот уже хорошо видел ели и березы опушки, он бежал изо всех сил, но птица-стрекоза, сделав неширокий и как будто неторопливый круг по небу, снова неслась, нагоняла с рокочущим свистом, так низко, что впереди и обвевая ее, неслись круговые вихри, и она стремительно нарастала, превращалась в немыслимо огромное, тяжелое, зеленое чудовище. И снова, без сомнения, погиб бы волк, лось, медведь, потому что они не сделали бы и не смогли сделать так, как сделал кот, когда ему стало ясно, что птица схватит его, падает на него, уставясь тупым блестящим носом с тремя глазами. Он стремительно опрокинулся на спину, ощерил клыки и развел в стороны раскрытые, напружи-

ненные лапы. Он готов был дорого отдать свою жизнь, готов был вцепиться всеми когтями и зубами в горло этой птице, если б у нее было горло... Выстрелы опять хлестнули за его головой, пули вспороли снег, а птица тяжелой тенью пронеслась мимо, обвеяв кота снежным вихрем, стала набирать высоту.

Так длилось не менее получаса: кот то бросался вперед и летел по снегу, казалось, не касаясь его поверхности, то припадал, кидался в сторону, и летчики то ли не могли попасть, то ли дурачились и потешались — все может быть — пока некто старший, видимо, приказал прекратить забаву, и зеленая патрульная машина понеслась в сторону, а кот был уже в лесу, бежал под его надежным кровом. Впрочем, бежал он, пошатываясь, хрипя и задыхаясь... Почему люди считают, что животное не может точно так же задохнуться от бега до колотья в боках, до тьмы в глазах, до обморока и шока... Третьи сутки кот был без пищи, ел только сухую траву, с которой его тошнило почти тотчас же, как наедался. Да и можно ли наесться сухой травой? В чаще кот лег, забился под широкую полусваленную ветром ель и долго приходил в себя, вздрагивал, хрипел, потом наскоро вылизался, привел в порядок шерсть, выкусал мерзлый лед и снег в подушках лап и между пальцами. Когда он вылез из-под ели и двинулся дальше, все его органы чувств: слух, зрение, обоняние, осязание и даже вкус — сложились в один непонятный и неизвестный людям сверхчуткий локатор, и кот быстро обнаружил то, что искал...

Белые, похожие статью на тетеревов, птицы, лишь более толсто и плотно покрытые пером, копались в снегу на моховом болотце, к которому, как опять написал бы сверхсовременный писатель, «вывел хищника инстинкт поиска, получив зрительную и звуковую информацию». А проще: кот услышал этих птиц и тотчас представил их — раньше они водились в болотистых сосняках по краю его леса. Это были белые куропатки, и он хорошо помнил их дикие гогочущие голоса, шумный взлет и токовища этих птиц, весной они меняли белое перо на странное бело-рыжее и не отходили далеко от весеннего кормового болота с бордовым крапом сладкой подснежной клюквы по талым и тоже рыже-белым кочкам. Кот мгновенно понял, что куропатки заняты поисками еды, куропаточьей травы, мха или клюквы, глу-

боко ушли в разрытый снег и, значит, подкрасться к ним будет нетрудно. Это было действительно нетрудно для такого великого охотника. Припадая в снег, приникая к нему, змеисто ползло легкое голодное тело, куропатки не замечали ползущую рысь, по-прежнему рылись в снегу, поклевывали, и вот тело рыси замерло, подобралось, напряглись мускулы, приготовились ноги, прижались уши, казалось, кот сократил свое тело вдвое, сжав его в ком, через мгновение, как серый призрак, он взвился над птицами и совершил невозможное: поймал сразу двух — одну четко схватил зубами, другую сбил лапами на взлете... Две куропатки было более чем достаточно для того, чтобы восстановить потерянные силы. Урча и дрожа от голода, он наспех съел сперва одну, не оставив ничего, кроме крупных перьев, затем, уже ощутив, что пища начинает греть и пополняет в нем нечто почти исчезнувшее, почти прерванное, кот принялся за вторую птицу. Он урчал уже по-иному, ел не спеша, тщательно, с разбором, с хрустом-треском разгрызая каждую кость, выщипывал и откусывал крупное перо и толстый, белый, густой пух.

Через неделю все более уверенным шагом кот шел уже в предгорьях густым, невысоким и местами исчезающим лесом. Не слышалось уже ни гула машин, ни треска тракторов, ни запахов человека и его жилья. Пищи стало попадаться больше, он ловил толстых пятнистых хомячков-леммингов, сгонял куропаток, выпугивал зайцев. Здесь начинался нетронутый Север, бесконечные горные цепи, невысокие, с чахлым редкостоем, с плешинами каменистых гольцов, а дальше пошли и вовсе горы, как остроконечные лысины, упертые в низкое, вечно пасмурное небо. Здесь был Север. Было темно. Дни, едва и трудно занимаясь, с непонятной для кота быстротой переходили в светлую северную ночь. Ночи здесь были несравненно светлее и мглистее черных лесных ночей, небо, почти никогда не свободное от туч, отражало снеговой свет, было пасмурно-серо-белесым... Часто шел снег, непривычно густой и плотный, иногда он сыпался как ливень, иногда переходил в движущуюся, несущуюся по ветру массу. Ночью здесь летали белые филины, бродили белые лисички-песцы, кормились по низким березнякам щуры и чечетки, оленьи стада раскапывали и взрыхляли снег в поисках мерзлого мха и травы.

Север встретил такой пургой, что кот уже не был рад ей, как прежде, когда под метельным покровом подбирался к тетеревам и зайцам. Идти вперед было невозможно, снег и ветер валили с ног, и кот залег в снегу под защиту густого низкого стланика. Через сутки пурга стихла и он упрямо двинулся дальше. Теперь он шел по редколесью и гольцам, то поднимался на отлогие увалы и гряды, где вьюги до камня и дерна сдували весь снег, то спускался в ложбины — идти здесь было нетрудно, на уплотненном, углаженном снегу едва отпечатывался его круглый легкий след. Инстинкт (или разум) временами останавливал кота, заставлял подолгу стоять в глубокой озадаченности. Не в самом ли деле кот думал, куда идти, стоит ли двигаться вперед или вернуться? Вернулся бы... но опять нанесло по ветру голоса людей, дым и бензиновую вонь, запах еще чего-то такого же, отдающего нестерпимым запахом гнили и масляной густой жижи. Сворачивая далеко на подветренную сторону, обходя подальше опасное место, кот еще долго ловил обрывки запахов, голосов, дыма, стука машин, какого-то равномерного скрипа и с вершины гольца рассмотрел сквозь снег очертания чего-то высокого,— там были вышки и факелы горящего газа.

Снова инстинкт толкнул его прочь, скорее и дальше от людей к нехоженым хребтам, дальше от запахов и звуков. И уже почти исчез лес, тянулся лишь по течению рек, обозначая их русло, суживался, переходил в искривленное, вымороженное криволесье. Тут березки и елочки клонились к сугробам, подставляли ветру согбенные спины и, как старые старушонки в вечном поклоне, все глядели в ту сторону, где едва вставало, показывало мороженый край и тотчас тонуло в разбеленных туманах солнце. Ночь спускалась ледяная, ветреная и долгая. А кот продолжал идти куда-то прочь от солнца, и оно вовсе скрылось, снега сделались глубже, ветер упорнее, горы превратились в холмы и, перевалив какую-то уже несчетную гряду, кот вышел на открытую без конца равнину, по которой с гулом несло, катило низовой снег. Это была тундра. Мамонтова степь. Кто знает, почему приходили сюда сложить кости многие животные на грани вымирания. Кто знает? Одна тундра. Если бы спросить эту тундру... Что знала она... Что видела? Какие табуны и какие стада паслись на ней и гибли в ней в теплые времена, какие гиганты пали в не-

равной схватке с пургой и Севером? Никто не скажет. Молчит мамонтова степь, изредка покажет людям груду бивней, лом рогов и костей, озадачит — и опять молчание.

И, точно пришедший к последнему пределу, кот стоял, жмурясь от снега, облепленный, заносимый им, вихри крутились у его лап, выстилая воронки, толкало и пошатывало, заставляя переступать, и кот понял: нет пути, нет леса, без которого не мог он жить — дальше только снег и ночь. Кот боялся открытых пространств. Опасность сильнее его смелости чудилась ему. Долго стоял он, вздрагивал и спиной и хвостом и вот решился, повернул назад, на свой след, и еще неделю возвращался гольцами до пояса лесов. Снова кот отощал до последней возможности. Не знал: чем глуше приходит на Север зима — больше исчезает из тундры все живое, отлетает, уходит, кочует. Сдвигаются к лесу стада оленей, за ними песцы, волки и росомахи, улетают куропатки ближе к зарослям рек, и туда же идут зайцы и мыши. Одни лемминги ведут на месте свою скрытую подснежную жизнь, но, бывает, и они уходят куда-то неисчислимыми стаями... Но все-таки жизнь была. В таловых зарослях безымянной речки кот выследил зайца, насытился, забрался в еловую плотную глухомань и расположился на лежку. Он спал долго, может быть, не один день, ведь пока выходил из тундры, спать почти не приходилось и он дремал на ходу. А тут и во сне, видимо, вспоминалась ему та темная равнина, вой ветра, ледяные валуны гольцов — кот вздрагивал, тряс ушами, урчал и стонал...

...Если бы не морозы и ночь, кот, наверное, остался бы здесь. Снега здесь шли чаще и были укрывистогусты, вьюги по-северному упруги, а пищи в теплую погоду попадалось куда больше, чем в его родном лесу. Если б не мороз... Кончал дуть теплый и сильный западный ветер, прекращалась пурга, и сразу точно по чьему-то грозному мановению, мгновенно чернело и отдалялось небо, накапливалось, уплотнялось звездами, становился виден весь безмерный космос, все его звездные дороги, и мороз, неподвижный, стягивающий и сжимающий, обездвиживал и жег, казалось, вымораживал все живое до ноющего стона. Трескались деревья, щелкал, лопался лед на промерзлых речках, как стекло становились ветки и сучья, как железо звенел, шуршал, ре-

зал лапы снег. Кот обмерзал, мороз прохватывал легкую не по Северу шубу, приходилось греться на бегу, но самое страшное в морозы — был голод. Пропадали куда-то зайцы. Отсиживались в снеговых норах. Не выходили из-под снега куропатки, замирали и прятались лемминги. Оставалась последняя надежда — олень.

Олени не были охотой кота. Лишь обезумев от голода, мог он броситься на оленя или на лося... И олени не часто попадались тут, а если проходили, непременно стадом. Несведущий считает оленя и лося беспомощными животными, что, мол, они могут противопоставить хищнику? Напрасно считает... Такому бы и попробовать поймать оленя руками, про лося и говорить не приходится... Никогда не сдаются они без борьбы, возят и бьют противника и бросаются сами, у лося на то есть страшная сила, скорость, копыта. Одним этим лось обходится и отбивается без рогов. Сильное, совершенное и храброе это животное. Можно считать, и нет у него врагов. Олень же немногим уступает лосю, а превосходит его быстротой, еще тем, что оленей всегда много; напади на стадо — разнесут, истопчут, не дадут подступиться... Но что, если голод уже нестерпим?

Однажды в такой пробирающий до костей мороз кот выследил стадо оленей. Олени шли лесом. В лесу было удобнее нападать, тут кот всегда чувствовал себя хозяином, и, обогнав оленей по жесткому мерзлому насту, инстинктом рассчитывая и угадывая их движение, он взобрался на темную, густо лохматую ель, затаился. Крепких быков и самок-важенок он пропустил — олени шли плотной, колыхающейся рогами массой — пропустил и могучих оленей-самцов, которые шли сзади, охраняли стадо. Напасть на старое, больное, хилое или отставшее животное — неписаный закон всех хищников мира, и кот обрушился на последнюю, небыструю на ходу оленуху. Оленуха едва брела по взборожденному и раскопанному стадом снегу. Сбросив кота, она, однако, помчалась в сторону старушечьим, ныряющим бегом. Но здесь был лес, и кот догнал ее в два прыжка. На этот раз клыки его сомкнулись за ушами оленухи, и она упала. Дико урча, кот проскакал вокруг добычи победный танец большой охоты. Теперь он был спасен, впереди ждало насыщение теплым кровавым мясом, перед которым ничто и мороз, и ночь. Он принялся за еду, мурлыча, облизываясь и подвывая от голода, а в это время

из морозной мглы выступили шорохи, шорохи как-то сразу соединились с видом четверки волков, таких огромных и светлых, каких он еще никогда не видел.

Это были полярные тундровые волки, пушистые, широкогрудые звери, в той степени серой окраски, которая ночью и на снегу воспринималась почти белой. Настороженно, однако уверенно и быстро волки окружали кота. Раньше, при встрече с волком в одиночку, кот никогда не уступал ему дорогу. Да они и не мешали друг другу и редко сталкивались: кот был лесной житель, а волки придерживались опушек и полей. Кот презирал их, как презирают собак домашние кошки, как презирают существа более самостоятельные, богаче одаренные природой, самолюбивые и сильные, тех, кто организован ниже,— и в самом деле не более ли совершенна рысь даже на первый взгляд по сравнению с самым выдающимся представителем собачьего рода? С одинаковой быстротой может она догонять добычу на земле и, не проваливаясь, мчаться по снегу, как стрела из лука, может взлетать на дерево до самой вершины, а прыгать так, что никакой житель леса не превзойдет ее даже наполовину, ее слух совершеннее и лисьего, и волчьего, глаза видят одинаково зорко ночью и днем, к ее острым клыкам есть еще арсенал таких когтей, что жутковато их описывать. Кто в лесу бесшумнее рыси, кто осторожнее и кто храбрее?

Но волков было четверо. Как все низшие существа, они брали количеством, и, кажется, кот понял — добыча упущена. Однако не из тех он был, кто удирает при одном только виде превосходящего противника. Здесь была его добыча, закрепленная охотничьим танцем. Страшно вздыбив шерсть, рыча и шипя, кот прижал уши и развел их в стороны — символ самого большого гнева, неуступающей ярости. Он был страшен, его двуцветный хвостик дрожал, из глаз, казалось, вот-вот выметнет пламя, и любой волк, даже два волка не решились бы на него напасть. Но их было четверо, они были голодны, а когда приходит голод, рушатся все законы, кроме закона победителя. Вожак остановил стаю и коротко рявкнул. Он предупреждал так же, как кот приказывал убираться. Ни одно самое хищное животное никогда не нападает, не предупредив, не попытавшись избежать боя... Кот ответил яростным, свистящим шипением. Может быть, белые волки не знали, что такое

разъяренная рысь... Они не медлили,— пригнув головы, нацелясь и расходясь полукругом, они разом, как под команду, бросились на кота со всех сторон с клокочущим хрипом. Началась схватка-свалка, вся полная визга, храпа, воя, рычания и щелка зубов. Звери грызлись, крутились, схватывались, сходились и сплетались в один непонятный мелькающий ком-хоровод,— то разлетались в стороны, и в середине оставался кот, ощеренно-страшный, непобежденный, он отбивался, однако не мог наступать... Два волка уже трясли мордами, третий утирался лапой, у четвертого чернел разодранный бок, но победа не склонялась на сторону кота, сам он был искусан, окровавлен и ободран, хотя сохранял боеспособность... Боком, не показывая врагам тыл, кот отступил к ели, с которой упал на оленуху,— зарычал и вскарабкался на ель снова.

Волки подошли ближе, так же рыча и поскуливая, залегли в снег, но предводитель стаи вскоре поднялся, подошел к туше оленухи, ухватил ее за жесткий загривок и начал тянуть в сторону, оттаскивал, пятясь, совсем так, как делают это с непосильной ношей. Он оттащил оленуху достаточно далеко и там уже принялся рвать, хватать жадно куски мяса, и тотчас к нему бросились остальные, и вот уже все они насыщались, поуркивали и скалились друг на друга, отбирая и деля лакомые куски и косясь в сторону ели — там сидел кот. Он тоже урчал, зализывал прокушенную лапу. Не везло этой лапе, на ней и так уже не было половины когтей.

Волки не ушли. Насытились и прилегли прямо в снег, возле полусъеденной котовой добычи. И кот понял — они не уйдут и день, и два, пока не останутся тут лишь самые крупные мослы, которые не могут раздробить и зубы полярного волка.

Кот спрыгнул в снег и захромал прочь. Волки не преследовали его. Закон леса запрещает сытому нападать на голодного, и, кроме того, волки узнали силу этого зверя и не хотели повторять схватку. Лишь вожак, приподняв голову, пристально следил, как уходит кот. Зато кот, по-прежнему голодный, теперь знал, что и олень в тундре — не всегда спасение. За оленями, как бдительные пастухи, идут волки, они также исполняют закон природы — мясо не должно пропадать, не переходя в плоть других существ, а жизнь оленьего стада без

хищных пастухов давно прекратилась бы от болезней и вырождения.

Медленно, угрюмо брел кот по ночной полярной тайге, светила ему в редколесье дымная, дымчатая луна, играло небо дальними сполохами, и, может быть, он вспоминал свои родные места и думал, что этот лес — не его лес, и эта ночь — не его ночь, и эта добыча — не его добыча, а может, не думал ни о чем, просто шел, шатался от боли и голода...

*Так жили поэты...*
А. Блок

# Два писателя

## *Глава сатирическая и фантастическая*

Рабочий день этого писателя — назовем его, чтобы никто не обижался, — писатель, пишущий быстро и много,— начинался после завтрака с разбора почты. Почту он рассматривал внимательно, будто перед кем посторонним, читая, солидно хмурился, поправлял очки. Это был, по-видимому, настоящий писатель, ибо все у него было в высшей степени писательское: вместительный лоб, крупный нос, жестко-седые волосы, постриженные короткой челкой на лбу на манер римского императора и спадавшие на шею, как у викинга, рабочая замшевая куртка, несколько схожая с венгерской, но гораздо более внушительная, могучие стеллажи с книгами, ритуальные маски по стенам, добротная пишущая машина, какое-то необыкновенное, из крыла жар-птицы не то из рыбьего зуба, бивня нарвала, клыка пещерного льва стило с золотой монограммой, и трубка, конечно, и непременно английская, прямая, мужественная, но тут я умолкаю — трубки у этого писателя не было... Не было ее лишь в обиходе, потому что писатель превыше всего ценил здоровье, всю жизнь о нем пекся и радел, ежегодно лечился в санаториях, ездил на курорты, и трубка, даже с коробкой великолепного трубочного «Кэпстена», благоухающего для тех, кто курил и нюхал его, медом, имбирем, морскими волнами,

капитанскими палубами, дальними странами и великолепными романами Конрада, лежала в верхнем ящике замечательно большого, полированного в коричневый темный глянец и построенного по фасону модерн югославского стола, и лишь иногда, появляясь на писательских собраниях да еще очень наедине, писатель все-таки доставал ее, набивал трубку, брал в ухоженные ровные зубы и приятно воображал, что курит, при этом он даже, обманывая себя, делал вид, что затягивается, пускал дым в сторону, отводил губу и руку с трубкой очень картинно, на мгновенье чувствовал себя словно бы Черчиллем, впрочем, пардон, Черчилль, насколько автору известно, курил больше сигары, а не трубку, но это неважно, это деталь, главное, как представить...

Лицо у писателя, пишущего быстро и много, было на первый взгляд простецкое, такие лица часто бывают у людей хитрых и прячущих свою хитрость, но всегда она просвечивает, всегда угадывается, едва всмотришься пристальнее, и не надо для этого быть знатоком Аристотеля или Лафатера, хитрость всегда подменяет человеку — точнее, пытается заменить — нечто неподменяемое и неадекватное, а будь это неподменяемое в наличии, то бишь, в лице, она исчезла бы сама собой, она бы и не появлялась даже. Хитрость, спрятанная в глазах, говорила, что писатель крепко приспособлен к жизни, ловок, пробоен, умеет ладить с обстоятельствами — и в то же время — пока еще обойден славой, обделен почестями, которые, бывает, непонятным случаем сыплются и льются на литераторов равного с ним дарования, а тем более возраста. Хотя, если уж начистоту, далеко-далеко и сокрыто от всех, он соглашался с той оценкой-недооценкой, которую на людях и на ближних подступах клял и отвергал.

Почты на столе писателя с двумя телефонами, вентилятором и помпезным письменным прибором — мрамор, бронза, хрусталь, бронзовые львы — было много. Лежало тут семь газет, журналы, письма, книги, открытки... Ему писали артисты, спортсмены, киношники, редакторы и читатели, по большей части любители голубей. Предвидя недоуменный вопрос читателя, отвечу сразу, что и кабинет писателя, вместительный и высокий, в квартире довоенной постройки был, помимо стеллажей с книгами, густо населен голубями, разумеется, фарфоровыми, фаянсовыми, терракотой, отчего кабинет

напоминал отчасти не то посудную лавку, не то музей фарфоровой литой скульптуры. Отвлекаясь на мгновение, скажем, что писатель нимало не отличается от читателя, собирающего все — от пуговиц и марок до телег и старых автомобилей. Писательское собирательство лишь более на виду, больше о нем пишут, слышат, судачат. Так что и здесь писатель, пишущий быстро и много, не был оригинален, но повторял иных прочих писателей и читателей, и где ему было, скажем, до американских читателей-миллиардеров, собирающих понемногу, как слышно из печати, английские замки вместе с привидениями, мосты через Темзу, океанские лайнеры, краденых Леонардо и Боттичелли, фальшивых Ренуаров и подлинных Моне, кинозвезд и сексбомб, а также отдельные части света, страны и острова кусочками, внарезку и целиком...

А еще писатель прежде любил играть в запорожца, в сибирского казака — с тем и в литературу входил — и стригся тогда в скобку, чуть ли не под горшок.

Просмотрев почту и отложив в сторону письма, требующие ответа, удовлетворенно покашливая, придвигал кресло, усаживался поудобнее и брался за дело. Дела было много — он писал сразу три-четыре, а то и пять книг — одну о театре, другую о знаменитых футболистах, третью об охране архитектурных памятников, четвертую о падении нравственности в среде современной молодежи, пятым был роман об инженерах-геологах, нефтяниках-газовиках. Недаром мы назвали его «писателем, пишущим быстро и много», потому что положил он себе за правило еще давным-давно, в начале своей деятельности, когда приехал в Москву из Сибири, вырабатывать столько-то продукции в листах — такое встречается меж пишущими часто, и даже Хемингуэй ежедневно измерял, подсчитывал число слов... Вся разница заключается в том, что одни писатели высчитывают свою ежедневную продуктивность в словах, другие в страницах, а третьи и в авторских листах (двадцать четыре страницы на машинке). Появился ныне писатель-скоростник: за неделю создает повесть, за две роман и не пишет уже — диктует на магнитофоны, а там печатают с них в четыре руки секретарши, строчат стенографистки; есть писатели, держат на окладе подсобников, кидают подсобникам идеи — и Дюма, слышно, так же творил, — а подсобники уже увековечи-

24*

вают писательское имя, но последние случаи не характерны для нашей страны, все это за рубежом творится. Писатель, пишущий быстро и много, обходился пока без секретарши, хоть и донимала его такая мысль, но, подсчитав, сколько одной зарплаты надо ей выплачивать, не считая премиальных и сдельных, тяжко вздыхал он, морщился и принимался стучать сам, выполнять свою норму.

За многие годы труда научился он писать бойко, набил руку и уже никогда не тратился на поиски единственно нужного, витающего где-то в заоблачных сферах, в безднах языкового космоса слова. Где его сыщешь, это слово, черт знает, еще есть ли оно, существует ли, а тут ломай голову, грызи ногти, бегай по кабинету, стукайся запорожской головой о книжные полки, пытай память, пока вдруг вынырнет оно, единственно нужное, встанет на место, отряхивая перышки и чирикая, как вернувшаяся птичка,— радостно, конечно, да где взять времени-то на такие поиски? Этак и страницы в день не получится, и гораздо проще, легче, спокойнее вытащить из хаоса языка слово приблизительное, лежит оно близко, на поверхности, само лезет — просится, возьми: небо, к примеру, какое? Голубое... Серое... Глаза у девушки какие? Ясные... Серые... Волосы? Светлые... Серые... Все равно уже понял: в классики не попасть, как ни гонись за жизнью, а опоздал в классики — сойдет и так. Народ читает, письма идут, известность имеется... Чего же еще желать? А хотелось... Ах, как хотелось!.. Был недавно на вечере знаменитого поэта, с запрятанной завистью следил за ахающим аплодисментами залом, помнил, как еще от остановки метро спрашивали, видать, филологини будущие, журналисточки — девочки с надеждой в лице на лишние билетики. И ушел, ненавидя этого поэта в байковой куртке, в каких-то задрипанных штанах, но с большим бриллиантом на левой ли, на правой ли руке. Брильянт так и полыхал на весь огромный зал, вспыхивал голубыми молниями от нацеленных на поэта огней, придавал поэту нечто нездешнее и отъединенное. А этот поэт! Ведь и встречаются в ЦДЛ, и пивали вместе... А вот поди ж ты...

Не общался теперь писатель, пишущий быстро, с теми, кто более и чаще прочих болтаются в полутемном творческом кафе, повествуют таким же друзьям за бу-

тылкой «Пшеничной» о своих творческих планах и муках, возводят затейливые воздушные замки, обижаются на действительность и непонятость. Он любил работать и часто говорил, что талант — девяносто девять процентов пота... Он любил работать по часам, и по часам, в определенное время, приносила ему жена поднос с кофе, сливочник, сахар и сдобные сухарики. Обычай завел после поездок в Англию и в Бельгию, а ездил он часто, не через год-два, и непременно привозил что-нибудь экзотическое: бычьи рога из Кении — кто не знает тамошних большерогих коров, сойдут за буйволовые,— сплошь раззолоченный сервиз из Египта, мачете с Кубы, сомбреро из Мексики — мало ли что еще в дополнение к вывезенным обычаям, чай, например, по-английски — только с молоком, обед по-французски — со всякими пикантностями непременно, ужин по-немецки — почти впроголодь (зато вечерний моцион перед сном, опять по-английски). Итак, отхлебнув кофе, сваренного по тем правилам и со всеми тонкостями, посверлив жену казачьим глазом, принимался он писать. Писал для детского журнала про кукушку, откладывающую яйца в чужие гнезда, для спортивного вестника статью — размышления болельщика о минувшем сезоне, для газеты «Культура и жизнь» мнение о недавно шумевшей пьесе о прокатчиках, для «Вечерки» бичующий очерк о матери-одиночке. И, уже взяв разгон, брался за очередной роман, где инженер-новатор борется с халтурщиками и с зажимщиками, с лодырями и с бюрократами. Любовь покрепче заваривал. Ну, читали вы, помните: она — юная и, конечно, красавица крановщица, он — поседелый, но моложавый инженер (начальник цеха), в душе и совсем юноша... Так далее и так далее... Жена еще есть обязательно,— иначе как построишь конфликт. А еще в романе, разумеется, чугун льется, сталь кипит, уголь коксуется... Есть в романе передовик, парень смелый, румяный, сейчас из политехникума, другой парень — отсталый, кому бы только бутылка, девка потолще, деньга погуще... Кто еще? Завкомовец-рутинер да еще, пожалуй, пенсионер-работяга, который хоть и на отдыхе заслуженном, а без завода не спится ему, идет он в проходную и правду-матку всем, и директору в первую очередь, рубит. Не писалось о заводе — переходил на другую проблему — деревня, Нечерноземье теперь. Проблема, скажем, еще современнее, и писать про-

ще, разумеется, если в деревне не живешь, знаешь наездами,— всегда есть в книжной придуманной деревне мудрые деды, один, два, три, иной мудрее Сократа, иному и Фалес Милетский завидовал бы, а нет дедов — бабки, и тоже мудрость одна их речи, хоть бабки эти дальше курятника и околицы отродясь не бывали, а там сами собой являются в роман колхозники разных темпераментов, бывшие кулаки, гулевые бабы, негулящие девки-красавицы, председатели передовые,— сами встают затемно, часа в три, и колхозников лично на работу будят,— все есть: поля раздольные, рокот комбайнов, слеты доярок и свинарок, свадьба в конце со всеми обычаями, обрядами, когда все приготовления подробно описаны, как кур ловят, столы сдвигают, за молодой на тройках едут, как старики за столом, окосев, беседуют; и народную речь научился писатель подпускать, благо Даль всегда под рукой, и найдутся там позабытые жизнью слова, позаросшие мохом и тленом: уж не писал в деревенском романе — горизонт, но окоем, черта, и не просто лог, дол, но переложье и недоложье, и не просто — дождь, но мокросей, музга, осклизлость, бус-бусенец, и не просто ветер — но шалонник, заверть, сиверок, что сочнее, красочнее покажется. А не шел роман, брался писатель незамедлительно за детектив, за сценарий. Появлялся из-под пера безупречный во всех отношениях полковник, отрицательный капитан (майор), проницательный следователь-лейтенант, непроницательный лейтенант, еще похожий на Христа-спасителя, коль не по делам своим, то по увещеваниям участковый, являлся раскаявшийся, потрясенный содеянным преступник (а прежде активный член малины), имелись, конечно, несколько нераскаявшихся: старый вор-наводчик дядя Петя, обязательно благные девки Зинка-Шурка, действие начинается с завязки, завершение же, конечно,— разоблачение зла, и опять можно веселой сибирской свадьбой.

Росла стопа исписанных листов на правом краю стола, а он продолжал писать, с удовольствием поглядывая на эту стопу. Он думал, что его рабочий день именно рабочий, что трудится он до пота, что если б измерить продуктивность его труда, учесть все будущие издания-переиздания, получится внушительная цифра, что известность его будет расти и дальше и неизбежно когда-то наступит перелом, поднимут его на щите, и

придет то, что никак не заменяет известности, хоть и близко соседствует с ней — придет...

Книг у писателя за четверть века труда вышло множество, он не вспомнил бы все, тем более все переиздания. Был он в самом деле известен и читаем, особенно теми, кто любит лишь толстые книги, романы, и чтобы в романах тех непременно была любовь, современность и благополучная концовка (свадьба). Иногда эта особенность его прозы наводила критиков на размышления — зато не было с ним хлопот, все достойно, прилично, на хорошем (пусть среднем) уровне. Кто бы мог подумать, что его заурядная журналистская карьера так повернется, приведет его к первой книге, с которой и начался он как писатель... Было это очень давно, когда написал он в областную газету очерк-репортаж о кукурузе. После очерка один известный писатель, из тех, что перелицовывают для детей и юношества вполне добротные книги, делают инсценировки и пишут сценарии по чужим повестям, а также создают научно-популярную (они ее научно-художественной называют) литературу,— этот известный писатель заинтересовался молодым журналистом и предложил создать о кукурузе роман. И журналист поддался искушению. После книги появились одобрительные статьи, и он ощутил вдруг себя не обычным рядовым газетчиком, а писателем, автором популярной книги. Вскоре получил он это звание официально — был принят в Союз, и уже подумывал, не взять ли к своей фамилии не слишком звучной, не совмещающейся как-то со словом писатель, хороший псевдоним — что-нибудь такое соленое, крепкое, стал было подписываться: Таежный, но скоро отказался,— попахивал псевдоним провинцией, сибирской глушью, а во-вторых, под фамилией его уж знали, под псевдонимом же снова надо было искать читательское признание. Вот тогда и стал играть в запорожца и челку-чуприну отпустил в дополнение к кожаной куртке.

Другой писатель, обозначим его также, чтоб, упаси бог, не обидеть,— писатель, пишущий медленно и трудно,— просыпался рано, может быть, слишком рано, потому что на улицах еще не горели огни, а дворники, главная обязанность которых, кажется, не столько мести и скрести, сколько будить граждан, еще не начинали

грохотать дюралевыми лопатами по асфальту, шаркать метлами, оживленно обсуждая при этом и непременно крикливыми голосами первые новости. Нет, не дворники еще, но скрежет и щелканье, царапанье и тихие, однако настойчивые удары в дверь будили писателя. Кутаясь в одеяло с головой, он бормотал: «Паршивец... Мерзавец... Мм... спать не дает... Негодяй...» Но скрежет и стук оттого лишь становились настойчивее.

«Пошел вон!..» — говорил писатель и садился на постели. В ответ было мяуканье всегда в одной и той же известной ему интонации. Она переводилась: «Встань же, открой... Что ты так долго спишь...» И если писатель все-таки не открывал, то следил впотьмах за дверью, под широкой дверной щелью показывалась смутно белеющая лапка, а иногда и сразу обе, тогда писатель, усмехаясь, становился на колени и заглядывал под дверь — видел там два ясно мерцающих вопросом и надеждой глаза. Это был соавтор. Так звал его писатель.

Кот, столь рано будивший его, очевидно, происходил от древних нубийских кошек. Он был дымчато-серый, с неясной тигровой волной по густой шерсти, золотоглазый и хищный и в то же время донельзя понятливый, овеществляющий в себе груз тысячелетнего очеловечивания и понимания этих существ, с которыми он жил. Часто писатель думал, глядя, как кот любовно и мудро взирает на него, точно излучает взглядом все то, что мог бы облечь в слово, думал, пройдут еще тысячелетия, и домашние животные заговорят, либо люди помогут им заговорить с помощью каких-нибудь преобразователей, обращающих мысли этих существ в человеческую речь, и тогда свершится сказка, станет явью говорящая лошадь, и говорящая корова, и вопрошающая свинья, и неизвестно еще, о чем в первую очередь спросят они человека, какой главный вопрос зададут...

Итак, существо, появившееся в кабинете писателя, совмещенном со спальней, было котом. Кот всегда будил его и в общем-то писатель был благодарен ему, потому что соавтор помогал преодолевать обычную человеческую лень, ее у писателя было предостаточно, и он на нее постоянно негодовал.

Всю жизнь писатель старался совершенствовать свою волю (так и просится штатное к случаю слово «закалял»), всю жизнь ему хотелось жить упорядоченно,

умно, не терять даром ни одной минуты, учась у книг и у мудрецов, у классиков и просто у тех, кто сегодня работает здорово. Говорят, что надо заставлять писателей учиться, работать над собой, нет — не надо. Нет, наверное, на свете профессии, что так безусловно включала бы в себя вечное учение, изучение, поучение в первую очередь себя, своей души, своей совести, насыщение памяти. Составлял писатель графики и расписания дня, недель и месяцев, любовно расписывал круги чтения, собирался совершенствовать тело и здоровье с помощью бега, зарядки, йоги, травяных настоев и познания тайн японского каратэ-до. Висели на стенах его кабинета-спальни три лозунга-призыва к самому себе: «Внимание! Желание! Терпение!» И постоянно твердил он давнюю пропись: «Ни дня без строчки... Ни дня без страницы...» Но всех благих устремлений едва хватало на то, чтобы встать пораньше (главным образом благодаря коту) и пораньше сесть за работу. Забывалась и не делалась зарядка, уходило в сторону каратэ (на черта оно в общем-то, если не собираешься участвовать в пьяных драках), отставлялась подальше йога со всеми ее асанами, и никак не двигалось вперед изучение языков — их намечено было знать четыре: английский — язык международный, с которым нигде не пропадешь; немецкий, потому что он писателю нравился; испанский, потому что писатель все собирался отправиться в Южную Америку, грезил ею с детства, и японский, потому что писатель любил Японию, читал о ней все, что мог найти, и, наверное, потому еще, что все в нем было устроено вопреки японскому, наоборот и не так, взять хоть его лень, неторопливость и несобранность. В общем, писатель работал, как, наверное, работают и многие другие писатели, то есть, уставясь то в стол, то в стену, а то в окно, находил и собирал там что-то предельно нужное и записывал это на стандартные листы плоховатой желтеющей бумаги. Он терпеть не мог писать на хорошей бумаге, испытывал при этом к лощеному гладко-белому листу что-то вроде жалости. Хорошую бумагу всегда жаль портить. Ведь никогда не знаешь, что там получится. На серой бумаге ему писалось легче, легче писалось, когда под окном не ревели грузовики, автобусы и проезжающие тракторы,— зачем они сплошь ездят по городу, бог весть. Но автобусы, грузовики и тракторы грохотали всегда, и писатель как

будто привык к ним, как привык и соавтор, который мирно дремал под теплом настольной лампы либо разваливался на писательской постели или на столе же, у радиатора, следя за движением авторучки или занимаясь туалетом, для чего кот нализывал, старательно двигая головой, лапу, тер ею морду и за ушами, расчесывал языком пышно-белый с крапинами по бокам живот и, расчесав пух, иногда замирал так с вытянутой задней ногой и уведенным вовнутрь взглядом или со взглядом, уставленным на разложенный хвост,— все это писатель называл «размышлением о ноге» и «раздумьем о хвосте».

Как бы там ни было, писатель совместно с котом делали за утро страницы две-три, а после завтрака — завтракали они обязательно вместе — еще страницу-другую. И не то чтобы писатель не мог написать быстро, но едва набрасывал он первое предложение, а тем более размахивался на целый абзац, приходили к нему угрызения и сомнения, вот как хотя бы и в этом случае. Можно ли немецкое резкое слово «абзац» брать без раздумья, и получается — не можно, а лучше бы: отрывок, кусок, часть страницы — и все не те слова, все отбросил бы суровый внутренний критик... Итак, написав предложение или целую страницу, писатель начинал мучиться. Не нравились ни текст, ни ритмика, ни смысл, ни наметка образа, ничего не видел он за пустыми, как застроганные деревяшки, как безликие цепочки, словами. Казались они ему строчками, какие клеят на телеграфные бланки, а нет пустее и холоднее строк телеграммы, хоть там написаны самые яркие слова. Искал и перебирал писатель слова нужные, отбрасывал непригодные, так и сяк вертел слово, пробовал его и на звук, и на отзвук, на вкус и на вес, подбрасывал и ловил, оглаживал и щупал, стукал по слову совершенно так, как женщина, продающая хрустальные вазы и фарфоровые чашки, нет ли трещины, как меняла древний на древнем базаре, пробовал слово, точно монету, неведомую еще, на зуб, вертел так и сяк перед искушенным глазом и бросал на пробный камень — слушал, как звенит, полновесное ли золото, чистое ли серебро и нет ли подделки, фальшивой позолоты, лишней лигатуры и, наконец, находилось такое слово, магнитно-плотно ложилось в строку, сливалось с другими в неразрушимое *нечто*, веяло от этого *нечто* не только прочностью,

а еще чем-то помимо ясного смысла — и, вздохнув радостно — вот она писательская радость,— двигался он дальше, переписывал, вымарывал, заносил в скобки, на лету хватал, как бабочку мелькнувшую, мысль, и расцветала понемногу страница, точно майская-июньская луговина под солнышком, покрывалась сперва простой зеленой травкой: овсяницей, осокой, тимофеевкой, а там ярче — цветком желтым, розовым и синим, едким глянцевым лютиком, наградным луговым васильком, простонародным журавельником, порастала в тенистых местах тихими белыми цветочками, у которых главное — невысказанный их аромат, вспыхивала иногда и совсем неведомым, нигде не растущим цветком — фантазией, и киприднны башмачки появлялись — будто прошла здесь волшебная та богиня, оставила пьяный женственный запах и след — радовался писатель,— богатый укос будет на этой его луговине: есть ведь тут и целебная, и врачующая трава, и дающая духовное здоровье, и трава от обмана, от лжи, от злословия, от зависти и от ненависти, и приворотная трава, трава любви и трава согласия, и трава раздумья — много трав посеял он на своей луговине и давно понял: не он хозяин, но другой хозяин, тот, для кого засеяно и процвело, и хозяин тот по-хозяйски либо распорядится засеянным, возьмет себе на пользу, либо потопчет, помнет, пойдет себе мимо в тяжелых сапогах...

Хорошо, если сеялось и всходило, но не всегда было так, часто колодило и не шло, точно показалась какая-то бесплодная почва, камень и солончак, и тогда хоть стукайся в самом деле лбом о стол, хоть бегай по кабинету, хоть бранись, хоть молчи в оцепенении, ничего не сделаешь,— жалкие, вымученные строчки еле ползут из-под пера, противны они, как гусеницы, и зачеркиваешь их, давишь пером, а они снова рождаются, снова ползут. Гадко... И никто не знал и никто не знает, каково писателю, когда обрушится, нахлынет такое, усомнишься тогда и в нужности своей, и в хлебе своем, горько подумаешь: так ли живешь, учитель, так ли,— не дармоед ли в самом деле, не лодырь ли, даром бременящий и отбирающий чей-то пóтом заработанный хлеб, и тотчас помнится: пахарь вот, кто на промазученной ладони растирает на осеннем ветру оседелый и спелый колос, колос усатый и оперенный стрелою, не счастливее ли он тебя, писатель, не нужнее ли миру? И тот не нужнее

ли, ныне прославленный и награжденный, кто стоит у гудящей печи; и тот, кто орудует скальпелем и иглой, весь в градовом поту; и тот, кто кроит материю, раскладывает ее по формулам и лекалам; и тот даже, вовсе как будто невидный миру, кто в прокуренной, где-нибудь позадь скотных сараев, избе-конторе кидает косточки на грязных счетах под желтым, засиженным мухами плакатом с призывом повышать удой. Не нужнее ли миру?

И, встав на колени перед совестью своей, отдав себя ей на терзание, со слезами невидимыми спросишь: зачем есмь? Так ли живешь и можешь? И заколеблешься перед ответом, потому что страшно напрямик отвечать утвердительно своей совести, ей не солжешь, не слукавишь, не убежишь, не жди от нее ни пощады, ни помилования... Часто маялся так писатель, пишущий медленно и трудно, всяк другой мается, верно, если не затушил огонь вопрошения и упрека к себе, не затоптал его, не заплевал...

А понимал раздумья писателя, все сомнения и метания разве что кот неведомым, особенным чутьем,— так угадывают лишь животные да провидцы всякую смуту в человеческом сердце.

В третьем часу писатель откладывал перо и, не трогая ничего на столе, может быть, суеверно, чтоб не спугивать осевшие тут мысли, шел к обеду, а там отправлялся в город. Без прогулки как будто, обозначим это состояние бульварно-дачным, тюремным ли словом, без блукания по улицам и переулкам, без стояния у прилавков и разглядывания приевшихся, равнодушных, одинаково раскрашенных продавщиц, без вглядывания во всех встречных и поперечных, без размышления над вдруг открывающимися ликами домов, перекрестков, крыш, облаков над крышами, состояний неба и погоды, без бессмысленного и томительного ожидания чего-то и кого-то на остановках трамваев и возле мест свиданий, без поверхностного вроде бы изучения взглядов, походок, ног, бедер, одежд, отрывочных разговоров,— а иногда писатель просто садился в трамвай, в автобус, ехал куда-то без отчета, но словно бы с нужной целью и выходил, как подтолкнутый, без всей этой странной, а со стороны глядеть — и подавно чудной жизни-движения,

в которой только и созревало в писателе что-то нужное ему, оформлялось и заготавливалось, еще не только не занесенное на бумагу или в записную книжку, но неосмысленное и неоформленное,— без всего этого странного, особенно для одетых в мундир или не одетых в него представителей административных органов, писатель не мог обходиться, был загадкой и загадкой, волнующей их. А они-то, бодрые и целеустремленные, гадать не гадали, что в состоянии движения по улицам, езды в трамваях, в электричках писатель и сам не смог бы объяснить, что творится в нем, знал только точно — творится.

А не все ли писатели такого толка излучают какие-то антитела, заставляют оборачиваться и прохожих и милицию? Нет ли у них во взгляде и облике чего-то такого, что делает их похожими на людей крадущих? В самом деле: не такой ли же изучающий, весь в оценках, отбирающий взгляд, в самом деле, нет ли в том взгляде чего-то проникающего туда, куда обычно не может проникнуть взгляд прохожего, и оттого не задевает? Как жадная изголодавшаяся по цветам пчела, собирал он лица, выражения их, прически и платья, походки, изгибы женских линий, свет глаз, глубинность или пустоту взглядов, всплески характеров и потаенные движения душ. Зачем? Вы думаете для книги? Нет... Просто все впрок, в запасники, в тайники, в бесконечные кладовые своей памяти. Как некий до предела жадный скупец, хватал он и складывал туда и всякую шпильку, и ржавый гвоздь, а то и целиком какого-нибудь типичного представителя человечества — вот, скажем, этого, крашенного гидроперитом, нечесаного парнюгу в лосненой куртке, в полосатых — чем не клоунских — мотающих концами штанищах, из-под которых тюленями высовывают головы резиновые, как видно, подвернутые сапоги, прибыл он в город с недальней какой-нибудь станции, ясно по негородскому загару, по наивно деревенскому и злобноватому взгляду, по дикому цвету волос и самой походке, старательно расхлябанной, вихляющей, явно в подражание каким-то блатным ребятам, по сугорбленности, тоже блатной и приближающейся к таковой, а про голос лучше не спрашивайте,— говорят такие представители человечества неразборчиво, с матюгами через слово, и рассказывают примерно одну печальную историю, как: «Батя вчерась пил, утром опять взял бутыл-

ку, ну, потом братан пришел, еще взяли...» — и так далее... так далее...

Зачем такой тип писателю? А зачем-то нужен, как нужна и вот эта женщина с корзинкой, женщина бесформенно широкая, бочка не бочка, мешок не мешок, как будто бы туго набита ватой и на бесформенно ватных ногах, добрая клуша-наседка, высидела-вырастила ты троих-четверых и сейчас вот возишься с внуками, ходишь на базар, стоишь в очередях, живешь в старушечьем безвременье, в мыслях о детях, о внуках, о их школе, уроках, двойках, а также обедах, магазинах и стиральном порошке «Лотос».

А не угодно ли еще образец: то брали мы лезущие в глаза натуры, а тут вот идет себе тротуаром благообразный обыкновеннейший человек, ни с какой стороны не выделяется: пальто, как положено по сезону, с приличным каракулем, шапка тоже каракулевая черная, пирожком, ботинки с молниями, не новые, но и не заношенные, лицо под шапкой среднее, не молодое и не старое: ни бородавочки тебе, ни родинки какой, ни носа какого-нибудь замечательного, длинного или широкого, пьяного или аскетского, тем паче орлиного, римского, ни узких губ, ни оттопыренных, ни плотских, как написали бы Ильф с Петровым — поцелуйных, ни седины лишней, ни взгляда какого-нибудь особенного: злобного ли, умного, хитрого, опечаленного — нет н и ч е г о, не за что зацепиться, а все-таки привлекает человек, мужчина этот с портфелем, двигающийся не быстрой, однако и не медленной походкой. Кто он? Бухгалтер — разумеется, старший или главный, лектор ли международник, активный член общества «Знание», кандидат каких-нибудь скучноватых юридических, экономических наук? — привычно гадает писатель, как следователь по особо важным делам, ищет тончайшую черточку, паутинную нить, по которой можно бы найти профессию, за ней должность, за должностью — характер, за характером — образ жизни, за образом жизни — склад мышления, а там уж и всю родословную, и состояние здоровья, и развлечения, и увлечения и тайное, и явное... Вот, кажется, портфель у мужчины чуточку, чуть поизящнее будет, чем должен быть у главбуха, в лице побольше сосредоточенности угадывается, чем у международника, да, пожалуй, в точку и будет: преподаватель он. Ну-ка, юридических или экономических? Скорее экономических, да,

экономических... у юриста лицо было бы поживее, взгляд не такой... А мужчина меж тем поворачивает за угол скучного высокого здания, справа от дверей которого чернеет большая вывеска: «Институт народного хозяйства. Экономический факультет...» Но хватит об этом...

Писатель иногда со страхом ловил себя на чем-то словно бы провидческом, словно бы умел, ощущал в себе способность читать мысли, предсказывать будущее и, даже не видя человека в лицо, по одной только спине, шее, движению, походке мог с точностью сказать, красив ли этот человек или дурен, умен или глуп, какое у него образование, какой характер, возраст, общественное положение и даже, может быть, какая его доля... Вот чему можно обучиться, ежедневно вглядываясь и всматриваясь в людей, вот к чему приводит постоянное размышление над сутью человеческой. Это был сложный, тяжелый человек, с виду хитрый и суровый одновременно, но не был он хитрым, скорее, очень был прост, лишь накрепко закрыта для посторонних оставалась его душа, и даже в дружбе почти никогда не открывалась, не впускала никого до конца, держала на отдалении — таков удел всех таких...

Иногда он завершал прогулку тем, что шел к старинному, с резным мрамором особняку на кольцевой улице. Некогда принадлежал дом одному средней величины поэту, возведенному в классики. Теперь здание несколько переделали, благоустроили по-современному, и помещались там сразу три творческих союза: писателей, композиторов и художников, а нижний полуэтаж занимала еще и поликлиника для этих же деятелей искусств... Он поднимался на широченное мраморное крыльцо, на котором всегда спали рыжие и белые собаки, шел мимо скучающих вахтеров и поднимался на второй этаж, где помещалась писательская организация. Здесь, в нескольких комнатах, всегда почти было сиренево накурено, всегда почти кто-то сидел в креслах или расхаживал, дымя, или держал кого-нибудь за пуговицу, спорил... Зачем шел сюда писатель? Он бы и сам не ответил... Просто ноги приводили, может быть, вопреки желанию, ибо опять приходится повторяться: нет большего углубления в себя, в свою душу, чем у писателя. Как нет, вероятно, и профессии, о которой многие судили бы столь превратно. То представляют

его, писателя, сластолюбцем, любимцем богов, без конца срывающим удовольствия, мнят: купается в почестях, в ресторанных радостях и курортных отдыхах, а то считают денежным мешком, прикинув предварительно писательские доходы путем простого умножения цены книги на ее тираж, и все удивляются: как это при таких доходах не строит писатель ни школ, ни больниц, не проводит шоссейных и железных дорог, как бывало в старину; то, наконец, видят в нем прощелыгу, пропойцу и попрошайку (есть, к несчастью, такие в писательском цехе: всю жизнь толкутся возле литературы, создав когда-то одну-единственную книжку, и ту с помощью друзей-доброхотов, а славны разве что долгами, анекдотами-похождениями и способностью тотчас прилетать туда, где пахнет грустной ли, веселой ли выпивкой...).

Ведать не ведают, что творят суд неправедный, отсутствует на суде сем и сам обвиняемый, не дано ему слова. Нет-с... Ни жирных зарплат, ни миллионов-гонораров не получает писатель, живет чаще скудно или на среднем уровне и не всегда видит понимание. Но мы ведь сказали, что зашел писатель в комнаты организации, а здесь всегда найдется о чем поговорить, о погоде хотя бы: если дождь — то посетуют на дождь, если жара — на жару, мороз если, то на мороз, на циклон, и на антициклон, и на падающее давление, и на поднимающееся давление... Еще можно побеседовать тут с неким завсегдатаем из молодых, который давно уже с проседью в бороде, а все подает надежды, и бороду из-за этого же завел, и дубленку-кожанку какую-нибудь носит, и всегда почти обитает тут при организации, пытаясь, видимо, таким способом приблизить желанное писательское будущее. Уж не говорит автор про собрания, про те писательские форумы — опять употребим модное, негожее в прозе слово — про те собрания, где витиевато и подолгу, со страстью и с жаром говорится и доказывается, что писать надо лучше, что надо ярче отражать, глубже понимать эту самую жизнь, которую лучшие умы пытались понять столько веков, постигать современность, идти в ногу, и мало ли что еще, и все получается: виноват писатель перед современником, остался в долгу, не воспел, не показал, не отразил, скудно мастерство, недостало таланта... Но вот поломали копья, покидали все стрелы, исчерпали громы и молнии — кон-

чилось собрание, и по домам,— а не хочется кому-то домой, не сговариваясь почти, идут тогда в ближнее кафе и садятся тесно за сдвинутые столы и под водочку, под немудрую ныне закусь опять до малинового каления все о литературе да о литературе, о том, что вымерли гении, не видать на горизонте новых классиков, чье искусство очищает и облагораживает человека, и жизнь вроде бы часто остается, так сказать, неочищенной... И неведомо или ведомо, да не приходит на ум, что и сто, и двести, и, может, пять тысяч лет тому назад собирались вот так же служители искусства в трактире ли, в таверне ли, в бане ли римской и на башне давно развалившегося храма и те же речи возносились...

Потом писатель приходил домой, встречал лишь чуть-чуть упрекающий взгляд жены, в таком случае, наверное, лучшей из писательских жен, чувствовал себя насквозь прокуренным до отравы, пил крепкий чай, приходил в домашнее состояние, и хотелось ему посмотреть телевизор, какой-нибудь там кабачок, хоккей или футбол, хотя всегда старался он удерживать себя от этих выедающих человека страстей,— но тянул к себе стол, и обычно писатель снова садился к столу, придвигал кресло, как бы замыкая себя, читал, записывал, перемарывал и черкал, дивился то зоркости, то, напротив, неуклюжести, негодовал, хмурился, надписывал, думал, пока не сваливала вконец дремота, а утром кот снова будил писателя, садился на стол, и снова все повторялось.

Так было день за днем, год за годом и словно бы век за веком...

Писатель, пишущий медленно и трудно, никогда не искал ни тем, ни сюжетов. И ему приходили письма, но редко он откликался, хотя всегда был рад письму, благодарен в душе, видел и представлял лицо этого пишущего, доброе, славное, душевное,— женщина ли, девушка или старик, мужчина зрелых лет, хоть мужчины зрелых лет реже пишут,— и всегда собирался он непременно ответить... Своей главной книги он еще не начал, все откладывал, отдалял ее приход, может быть, уверенно знал, что за главной книгой нет уже ничего высшего, там ждет перевал, спуск, исход, а ему хотелось идти выше, как альпинисту. Он не писал статей в защиту живого, просто любил живое, и всякий раз, едва

сталкивался в газетах с бодрыми репортажами о перевыполнении рубки, добычи, уловов, о застреленных хищниках, пущенных на мясо сайгаках, ему было трудно. Вот о мясе заговорили, и тут бы написать: был, мол, писатель вегетарианцем, подобно толстовцам, не носил сапог, ботинок из кожи, благо теперь из-за обилия синтетики разной желание это осуществимое. Нет, не был, а сапоги и ботинки из кожи носил. Но приходили и к нему отнюдь не толстовские, но тягостные мысли, и, бывало, по неделям не притрагивался к мясу. Вот, скажем, после такого случая. Однажды в скитаниях ежедневных — чуть не сказал бесцельных — занесло писателя далеко на окраину города, туда, где нет почти жилья, лишь какие-то обреченные бараки да сплошь заборы заводов, складов, экспедиций, каких-то еще неведомых большинству живущих, однако, как видно, нужных организаций, и средь прочих заборов наткнулся он на длинный, густо и спиртно пахнущий навозом скотный двор мясного комбината, где ревмя ревели, кричали, голосили, рыдали по-своему не поенные и не кормленные те, кто ждал своего последнего часа и, как знать, может, вполне ясно и жутко знал эту свою обреченность... И еще к тому, — видел он однажды на дороге туда на простом грузовике, прямо в кузове, везли тройку, а может, четверку лошадей. И как важно, в каком печальном спокойствии, прислонясь друг к другу, спутав гривы, положа головы на шеи друг другу, стояли они, вороные и гнедые, опустив глаза с совсем женскими ресницами, углубившись в свою лошадиную думу...

Так проходили годы и дни...

О писатель, писатель... Больше, что ли, всех тебе надо? Больше горя в душу — если больно тебе за каждого пьяницу, за всякого потерявшего себя, за каждую обиду, за чью-то ложь, за чье-то глумление и чью-то муку? Что тебе не спится ночами и ты вскакиваешь и торчишь у окна, когда во всем городе и будто по всей Земле глухо, серо и выморочно и в самом небе тот же, не оставляющий надежд, цвет и свет?

В иные дни писатель оставлял вдруг все дела, ранымрано уезжал в лес во всякую погоду, в любое время года. Может быть, хотелось ему в лес всегда и всегда он смотрел в него, как волк, а добравшись, бродил он по опушкам со сладостью изголодавшегося, заходил в поля, любил бывать на пустошах и на болотах, — слава богу,

есть они еще на Руси, не все распаханы и не все осушены, устроены под угодья вездесущими мелиораторами, иные из которых ни о чем не думают, кроме плана,— ни о прошлом земли, ни о будущем, ни как будто даже о настоящем, будет ли урожай, нет ли, годная та осушенная землица, или быть ей вскоре в забросе за непригодностью — все равно руби, корчуй, снимай кустарник, копай канавы, осушай болото — план, план, а там не наша печаль... Это кто-то другой, не мы, должен думать: не убавилось ли дождей, не понизился ли уровень вод в озерах, не мелеют ли реки, не встают ли черные бури, не ползут ли овраги, НЕ ГРЯЗНЕЕТ ЛИ В ЦЕЛОМ ВОДА, СУША И ТО, БЕЗ ЧЕГО и пяти минут не живет ЧЕЛОВЕЧЕСТВО... Писатель любил бывать на пустошах и болотах, сидел и по берегам ручьев, вообще у всякой чистой ли, бегущей ли воды, забирался на откосы, на скалы, в топи и в глушь-глухомань,— все было нужно ему, всякая трава, цветы и елочки, свет берез и золото жуков в шиповниках, пни и муравейники, и полосатый бархат шмелей,— мало ли что еще собирал он, как алхимик, укладывал в свою память цвет валунов, форму листьев, окраску бабочек и голоса птиц, оттенки неба, музыку облаков, голоса ветра, поля и воды... Все это надо было для того, чтобы в душе писателя вызрело нечто, как то мгновение, которого искали все искатели, а ему дано было остановить, найти, отдать его во всей красоте, и для того уподоблялся он пчеле, сбирающей пыльцу, нектар и горечь этого мира, чтоб сотворить из этой пыльцы, нектара и горечи мед искусства...

Вечером поздно, усталый, вымотанный до изнурения и опустошенности, писатель пил чай под добрым взглядом жены, глядел на нее глазами мученика и грешника и уже не пытался сесть за стол — так уставал... Но и во сне не всегда приходил к нему тот счастливый отдых-сон, каким спит не ведающий о мирских бедах человек. Словно бы и во сне писатель спрашивал кого-то всесильного. А иногда ему приходили одни и те же набегающие друг на друга сны...

... То видел он Землю в дымах и развалинах, в тучах пепла и смрада от сгоревших лесов и городов, с равнодушно плещущим океаном, отравленным и зараженным, с излучающим радиацию небом — не Землю уже — то, что осталось после... А кто не видел такое во снах, к

счастью, пока во снах, когда прятался, бежал от танков, от падающих пикировщиков, ощущал в теле своем удары пуль, кто не видел ядерных грибов?.. И всякий раз писатель пробуждался от этого кошмара, вскакивал, подходил к окну и долго не успокаивался, смотрел в ночное небо, в неподвижные узкие тучи на предвещающем зарю севере, и север успокаивал его, он ложился и засыпал снова и опять видел Землю, какая снилась и представлялась ему не раз, спокойная, мирная и утренняя.

Он летел над ней в бесшумном инерционном космолете и то уходил далеко, так что Земля начинала уже круглиться, обращаться в гигантский, непомерно гигантский глобус с зелено-синими пустынями океанов, с рельефными пятнами материков, брошенных в этот океан, и тоненьким слоем атмосферы. Шли над материками и океанами белые пласты облаков, на бледном призрачно-голубом завихрялись течения, мчались тайфуны, вставали по краям медленно и как будто с трудом двигающегося шара широкие радуги, вставало солнце, и отсюда казалась особенно хороша и жива Земля,— странное и прекрасное тело в безжизненных далях космоса, и хотелось к ней, скорей под ее голубое спокойное небо, скорей, скорей, прочь из черной бездны без края и конца... Космолет послушно снижался, и вот он уже на Земле, над нею летит, над самой ее поверхностью: макушки леса, дороги, селения, города,— точно так, как не раз видел писатель, когда земля неслась под крылом, и все-таки это была иная, не совсем похожая, умытая и точно к празднику прибранная Земля. Солнечно-свежий воздух лился в открывшиеся иллюминаторы кабины, космолет, точно планер, теперь плыл медленно, и писатель вглядывался, искал что-то и не находил. Не чадили и не показывались нигде трубы, не виднелось нигде черного и прокопченного нагромождения заводов, на дорогах-автострадах с бегущими машинами не синел газовый выхлоп. И космолетчик в соседнем кресле, полуприкрыв глаза, улыбался. Он лишь выполнял желание писателя, машину же вел автомат надежнее всякого пилота, он обеспечивал все режимы управления. Летчик был гидом по старым земным нормам.

— Где вы берете энергию? — спрашивал писатель, силился понять лицо летчика, донельзя похожее на кого-то, не столь жесткое, как лица летчиков, которых он знал.

— Солнце! — ответил гид удивленно и смолк, как человек, не предполагавший столь элементарного вопроса... — Еще в начале третьего тысячелетия мы стали отказываться от всех видов органического и ядерного топлива. Ни один из этих видов энергии не устраивал человечество, как слишком загрязняющий внешнюю среду. То, что Земля копила миллионы лет, мы, а точнее вы, обращали в дым и газ в течение десятилетий. Приходится удивляться теперь, как люди выжили и почему так долго не понимали, что основной источник энергии у них над головой. Когда в конце второго тысячелетия наконец договорились о разоружении и прекратили войны, все средства и усилия были сосредоточены на солнечной энергетике, на спасении атмосферы и гидросферы. И почти немедленно было найдено столь простое средство преобразования света в электричество, такое надежное и емкое, что это была величайшая революция в энергетике. Сейчас все наши дома имеют энергоблоки, энергокрышами покрыты все заводы, энергостанции стоят по всей планете, особенно используется Антарктида, Арктика, Гренландия, горы, острова, искусственные платформы в океанах...

— Где же ваши заводы? Или это тайна?

Летчик внимательно смотрел на писателя.

— У нас нет никаких тайн. Мы не производим оружия, границы у нас открыты, у нас общая всемирная система хозяйства. Заводы же — их очень много — строятся только под землей,— имеется в виду машинное производство, а не управление. То, что на поверхности и что пока не перемещено под землю, облагорожено, перестроено так, чтобы не создавалось унылого ландшафта, покрыто энергоплатформами. Множество заводов покрыто лесом или над ними поля... Для малой энергетики мы используем также ветры, циклоны, морские течения, приливы, реки, даже леса, разумеется, не уничтожая их.

— Вы не рубите лес? Я заметил, что лесов у вас намного больше.

— Рубите? Это старое слово. Мы используем дерево от вершины до корня по строго высчитанному машинами объему в соответствии со сбалансированным населением планеты. Мы любим и ценим лес, и мы восстановили его там, где его уничтожили прошлые поколения. Лес дает нам сырье, пищевые продукты, очищает атмосферу и воду. В остальном мы стараемся не вмешивать-

ся в жизнь природы. Жить вместе с природой, но не против нее — наш девиз.

— А животные? Едите ли вы мясо? Или сплошь вегетарианцы?

— Да. Мясо у нас едят многие... Но мы получаем большую часть животноводческой продукции искусственно, выращиваем живую клетчатку. Это самое высококалорийное и вкусное мясо. В то же время нет необходимости убивать животных без особой нужды. Молочные продукты нам по-прежнему дает скот. Опыты же по выращиванию клеток живого вещества были начаты еще древними, простите, еще вами...

— Как вы поступили с хищниками?

— Понятие это меня удивляет: что это? «Хищник» в нашем словаре — древнейшее, устарелое слово, равнозначное слову так же древнему — враг. Но в природе нет врагов. Все те животные, которых вы истребили или не сумели сохранить, очень нужны нам сегодня, и ученые не теряют надежды воссоздать их обратным скрещиванием от сохранившихся родственных видов...

— Значит, животные, участвующие в создании экологического равновесия, охраняются?

— Как вы сказали?

— Я сказал — охраняются...

— Это значит... А... Теперь я вас понял... Это связано с оружием и врагом. Нет. У нас нет оружия нападения. А с животными мы общаемся, изучив их знаково-языковые системы. Животные во многом понимают нас. Это очень своеобразные существа, их образ мыслей поразителен, и многому мы от них научились. Кроме индивидуального видового языка у животных есть еще несложный единый чувственный язык — язык эмоций. Мы также владеем им. Он изучается в школах общего знания... Кроме того, всякий идущий в природу имеет средство индивидуальной защиты и потому избавлен от нападения, как вы это сказали... А, хищников...

— Ваши города перенаселены?

— Мы рассредоточили население. Точнее, этот процесс начался еще в ваше время. И сейчас почти две трети населения живет в коттеджах с участком земли. Обработка земли и участие в производстве продуктов — у нас общий закон. Мы все одновременно, кроме наших основных и разнообразных профессий, как это у вас называлось,— крестьяне. Мы любим землю и любим ра-

ботать на ней, и, поверьте, несмотря на наличие электромашин, многие из нас так же, как тысячи лет назад, любят копать землю вилопатой. А?.. Это новое, несколько усовершенствованное орудие для ручного труда на земле. Оно похоже на гофрированную лопату из прочного титано-алюминиевого сплава с прорезями, как у вил. Работать ею очень легко. А вообще, ваше человечество мало думало над усовершенствованием простых ручных орудий труда... Мы любим ручные орудия, ручной труд всегда необходим. Он — здоровье...

— Может быть, вы святые? — иронически усмехнулся писатель, вглядываясь в аккуратные поселки, ухоженные поля, табуны и стада на разделенных лесными полосами полянах.

— Я не знаю точный смысл этого слова, но догадываюсь,— ответил гид.— Нет. Вы напрасно смеетесь. Мы же люди, такие же люди, как и вы. И проблем у нас множество: старение, болезни, несовместимость характеров, трагедии любви, производственные конфликты. Наше общество не гарантирует избавление от всех страданий. Это — утопия. Но облегчить страдания, помочь, дать человеку силу, достоинство, знание, надежду мы можем...

— Не значит ли это, что все люди ваши — как спичечные коробки с одинаковой наклейкой? — спросил писатель, все еще ощущая какое-то недоверие.

— Спичечные коробки? — засмеялся гид.— Я видел в музее. Нет. Я понял вас... Мир давно миновал этапы стандартизации. Это прошлое, и все глубже уходим мы к индивидуальности личности, к развитию каждого особо. Личность неповторима, и самое ценное в ней — ее неповторимость, ее отличие и особенность. Взгляните — даже все дома у нас разные. Жизнь отвергла понятие массовая мода, а мы отбросили массовый стандарт везде, где он не необходим, даже в обучении мы стараемся выявить склонности человека еще в самом раннем возрасте, а затем учим его применительно к его способностям. Мы учим мыслить нестандартно...

И писатель просыпался. Сон ли это был или просто грезы, раздумья или поиск, видения будущего или сомнения настоящего, он не знал. Знал только, что искать надо, что жизнь не может быть безошибочной, что людям нужно слово, и так же, как он, они ждут и ищут его...

*Мы живем в то время, когда начался переход от неразумного обожествления Земли к разумному ее обожанию. Понять это вроде бы просто, осуществить столь же трудно, как сделать человечество совершенным и непогрешимым.*

*Из записок орнитолога*

# Краснозобая казарка

Зимовье... Изба до предела как будто вросла в овражный берег реки, спряталась под его откосом от севера и по крышу задута снегом. Она бы и вовсе не выделялась никак средь чернеющих во мгле обрывов и мутной щетины ивняков вдоль речного русла, не светись ее окошко, а скорее, просто лаз, амбразура в бревенчатом срубе на южной теплой боковине зимовья. Чуткий нос полярного песца различил бы еще запах вареной рыбы, дыма из плитняковой трубы, горелых лепешек — обитаемого жилья. Острый, привычный к сумраку ночи глаз зверя разглядел бы взворошенную кучу колодника-плавника, полузанесенную снегом тропу к реке, две-три проруби-лунки под откосом, где угадывалось стремя реки, вольно открытое уже всем ветрам, пасмурному небу, по которому с юга то начинали вдруг катиться какие-то бледные выцветшего цвета сполохи, то напряженно розово-красно полыхал восходящий и расширяемый кем-то тон, и угасало вдруг до фиолетовой едва светящейся темени, вновь набирало силу, сияло, поддерживалось, обрывалось грозящее молчаливым равнодушием мировое волшебство. Когда сияние разгоралось и его извилистые ленты-отблески слоились, храня неведомые громы, как бы готовые рухнуть на эту равнину, становилось видно даль и проступали там белые, от века пустые хребты, точно забытые временем и светом. Грезилась там страна вечного молчания. А гром все не падал, все обещал, обещал, обещал... И, казалось, не имела конца эта мрачная равнина под полыхающими небесами, лишь многознающий человеческий ум мог понять, что там. Знал: не меньшее там совсем ледяное море, что вечно кружит в не оставляющем надежд времени, восходя все выше к ледяному темени земли.

Если подойти к зимовью вплоть, обнаружились бы

более явные следы жизни: груда колотых поленьев, топор, воткнутый в снег у подобия сеней, а в самих сенях запах псины, керосинового чада, рыбная вонь, непередаваемый дух застоялого жилья, чем всегда пахнут промысловые зимовья, избушки и бараки лесных артелей. Кто обитал здесь? Невероятным казалось это жилье за сотни верст от редких станков и поселков, кинутых по тундре. Слишком одинокое, потерянное было оно. КТО? ЗАЧЕМ? — приходили вопросы. Охотник? Рыбак? Геолог? Бродяга, нашедший временное пристанище? Отшельник-старец по примеру ушедших отцов? И на все ответы чудилось отрицание. Какой охотник в пустой тундре? Какой отшельник в наше-то время? Когда над зимовьем нет-нет и мелькали летучие рукотворные звездочки и космонавты в обитаемых станциях обозревали неутомимо вращающийся шар!

Не будем гадать. Заглянем в убогую дверь, обитую зимней оленьей шкурой изнутри, обглоданную песцами снаружи. Мы окажемся наконец в самом зимовье, тесном, низком копченом помещении, заваленном дровами, дымном и еще более пахучем. Увидим печь или, лучше, подобие ее с открытым челом, полным горящего жара, стол или тоже подобие у окна возле нар, керосиновую лампу, хоть, скорее, не она, а печь заполняла зимовье дергающимся желтым светом. Свет яснее, то мрачнее выделял лицо человека за столом. Человек этот не походил ни на рыбака, ни на охотника и вообще на какого-либо добытчика, лики их описаны, известны читателю своей приспособленностью и закоренелостью, сей же муж был лет тридцати, бритый, незаросший, с подстриженной даже, хоть не слишком умело, ученой бороденкой, скорее, брюнет, если пользоваться стародавними определениями мужской внешности, чем шатен, хотя глаза не были темными и вообще трудно было понять их цвет, когда человек за столом поднимал лицо и оно яснее освещалось прыгающим светом печи. Не походил он и на геолога,— те как-то увереннее, смелее по ухваткам и напоминают бывалых туристов. Знаете таких: если уж пошел — не оглядывается, спать лег — захрапел сразу, палатку ставит — залюбуешься, в гору прет — не остановишь... Этот, за столом, был явно из каких-то других. Кто он? Спросить было некого. Разве самого этого человека? Да не любят современные люди, когда кто-то за здорово живешь лезет в душу, не любят рассказы-

вать о своем житье-бытье. Это вам не полстолетия назад, и не четверть века даже, когда в вагоне ли какого-нибудь «курьерского» или на пароходной палубе, меж крутых бережков слышал чье-то повествование, откровение первого встречного и смех смехом, и слезы слезами — все тут. А теперь недоверчивее сделался взгляд мужчин, больше гордости недоступной во взгляде женщин, теперь и дети, бывает, поглядывают на старших с ухмылочкой, про молодежь и вовсе нечего говорить...

Но вот мужчина встал с нар, на которых сидел, потянулся до хруста, задел локтем за потолок зимовья, оглядел руку, смахнул копоть, сказал по этому случаю соответственное и пошел к двери, надевая в рукава черный, утасканный полушубок... И опережая его, визгнув с радостным подвывом, бросилась туда же рыжая крупная собака, из вогульских недопесков, — не то ездовая, не то охотничья, в общем, лайка.

Дверь закрылась. И можно теперь, в нарушение этики, поглядеть, что писал человек за столом, хоть в другое время, в другом месте не пришло бы автору подобное желание, всячески осудил бы он себя за ненужное любопытство. Здесь, однако, приходится всем пренебречь, чтобы рассказать читателю, хотя бы по частям воспроизвести написанное карандашом, но аккуратно, с экономией места и бумаги.

«Как ждешь этой весны, когда кругом только ночь, ночь, ночь, — тьма не тьма, а что-то надоедливо мрачное, тягостно нескончаемое. Ночь, пожалуй, самое трудное... И хочется, хочется рассвета, все время держишь его в уме и думаешь: «Да скоро ли? Когда же?» Успокаиваешь себя, считаешь дни... А когда мороз — надоедает луна. Луна голая, какая-то наглая, бесчувственно усмехается и будто висит отдельно от неба, и само небо от нее тоже какое-то бесчувственное, ночь кажется нескончаемой, безрассветной. Больше всего боишься, чтобы не остановились часы. И молишься на транзистор, а он, в свою очередь, ужасно надоедает, напоминает, что где-то есть солнце, обычная жизнь, улицы, города. Есть у т р о, д е н ь и в е ч е р... Хочется солнца! С о л н ц а! Где оно? Ты словно забыл его и в то же время постоянно помнишь. Ждешь. Каждый день подолгу смотришь на юг. Где оно? Там оно потонуло в ноябре. Десятого видел его в

последний раз, а может быть, еще четырнадцатого. Дальше были только зори, и они скоро погасли. Я как будто чувствовал, ощущал, как Земля отворачивалась от Солнца своим круглым бесконечным боком,— так может отворачиваться только живое, некое фантастическое существо. Я часто думаю о Земле как о чем-то неведомо живом, кажется мне, это воистину разумное, в высочайшей степени разумное тело, что живет запредельной, ему лишь ведомой жизнью. И вообще, когда раздумаешься так,— какие бездонные глуби открываются, как падает туда мысль, словно без всякого усилия, и ничего не находит, не может нигде закрепиться. Вот вижу я часто Венеру, знаю, нет там никакой жизни или это жизнь на пороге зачатия. И спрашиваю себя: зачем? Зачем полыхает она, голубое это светило, столь прекрасное на нашем небе? Зачем есть какие-то фантастические гиганты, планеты дальние, и вовсе не ждущие жизни... Зачем, например, поворачиваются где-то во тьме, ледяном холоде метановых атмосфер чудовища, обозначаемые нами Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун? Чудно и дико. Но разве это все? Что такое: Г а-л а к-т и-к а? В с е-л е н-н а-я! Почему миллиарды звезд только з д е с ь ведут свой спиральный хоровод? А дальше, в бесконечности полета и падения, снова немыслимые, несчитанные острова живущей истины... В тундре невольно становишься астрономом, постоянно глядишь в небо. Медведица здесь высокая, непривычно круто над головой, и вообще здесь представляешь себя как-то на вершине, на высоте, хотя вроде и нет никакой высоты.

Как все-таки плохо не видеть солнца месяцами... Иногда уже чувствуешь какой-то невнятный, вне разума, голод по нему... Когда особенно раздумаешься, приходит даже желание — вдруг распахнуть дверь и — бежать, бежать без оглядки, прочь, куда-то к солнцу, вниз, без него уже точно без воздуха, долит тошнота, давит грудь. Тогда надо срочно чем-то заняться... Иначе... Я и представить себе не мог, как это тяжело одному и без солнца. Его имя все время бормочешь: Солнце... Солнце... Господи, боже, так и с ума недолго сойти. Солнце. Наслаждение одним воспоминанием...

А сегодня я счастлив! Солнце впервые показалось! Наступил первый рассвет! Снега были розовыми, фиолетовыми, красными и, наконец, белыми! Утро! Теперь-то уже будет легче. Ведь солнце станет показываться еже-

дневно... Ежедневно? Смешно даже. Еженочно?! А через месяц я буду праздновать годовщину зимовки. Да. Зимовки. Потому что весна, лето, осень вполне сходят здесь за четверть года, а все остальное — зима и ночь, и эту зиму и ночь я одолел! Один. Зима началась здесь в сентябре. А может, в августе. Да, в августе были первые бураны, когда понесло снегом и птицы начали сбиваться в стаи. Солнце! Солнце! Как хорошо! А небо уже давно набирает краски. Там, внизу, идет весна, цветет черемуха. Весна. Вес... И через месяц прилетят казарки!»

Орнитолог бродил подле зимовья по истоптанному плотному снегу. Следом, с недоумением поднимая голову, всматриваясь и вслушиваясь в бормочущего, невпопад ступающего человека, ходила собака. Со стороны орнитолог напоминал пьяного или свихнувшегося, но так всегда почти ведет себя человек, не ощущающий чужого взгляда, да и кто мог глядеть на него здесь, если до самого ближнего поселка, до кочующих ненецких чумов, сдвинувшихся за оленьими стадами к кромке тайги, были многие сотни верст тундры, криволесья, укатанных выогой равнин, промороженных гольцев, занесенных рек в щетинах кустарниковой ивы, пасмурных пространств, где торчали только редкие каменные столбы, выступая из тьмы жуткими молчаливыми шаманами. Даже собака словно чувствовала эту заброшенность, когда внимательным, на грани возвышения до человеческого рассудка взглядом всматривалась в неустойчивую фигуру орнитолога.

— Скоро, Вобла, скоро...— бормотал он, оглядывая играющий сполохами горизонт.— Скоро... А что — скоро? Ты, Робинзон... Ну, отвечай... Ну, приедут ребята... Ну, рассветы. Весна будет. Транзистор сломался... Чтоб ему... Конденсатор, что ли. Одичали мы, Вобла. Точно... Ну, держись... Теперь начнется светлое воскресение... Хм... Не мое слово... А все-таки начнется. Завтра опять будет солнце...

Теперь он уже просто думал, а не говорил. «Зачем я здесь? Блажь? Но я хотел знать все... Как она живет, когда улетает, какие враги... Сколько... Какие места еще сохранились, где гнездится... Ради этого и остался, ради птицы... Краснозобая казарка...»

Орнитолог (а здесь мы не будем открывать его име-

ни) оказался на зимовке не случайно. Экспедиция университета работала в тундре ежегодно. И пятое лето подряд приезжал сюда орнитолог изучать редких, исчезающих птиц Заполярья,— белого кречета, сокола-сапсана, лебедей, полярного гуся и особенно эту птицу, известную по низовьям Оби, Енисея, на таймырских реках как рыжешейка. Птицу, еще недавно многочисленную, стреляли без меры, гордились и хвастали занятным трофеем — маленьким, на диво расписным гусем. Били рыжешейку и на пролете по Оби, и по Тоболу, и на зимовках в Прикаспии, и в Иране... Спохватились... Исчезла не исчезла, но год от году редела рыжешейка. И уже не тысячи, всего какие-то десятки возвращались в тундру на гнездовья. Где были десятки, оказывались единицы... Не помогла и Красная книга, и марки с изображением, и плакаты, и призывы охранять и оберегать, даже на спичечных коробках напечатанные, не могли остановить исчезновение рыжешейки... Прошлым летом, когда вели наблюдения тут, неподалеку от зимовья, он, аспирант, без пяти минут кандидат, вдруг отказался свертывать работу, сказал, что не поедет, останется в тундре, подал академику, руководителю университетской экспедиции листок с неумелым заявлением:

«Прошу не считать в числе сотрудников. Уволить по собственному...»

Случай был вроде глупый, непредвиденный, опасный. Увещевали строптивца, уговаривали, пытались стыдить даже, стращали, сомневались, не психический ли. А орнитолог точно оглох, отмалчивался, отмахивался, дни и ночи проводил на реке, наблюдая за выводками рыжешейки, собирал травы, которыми птица кормилась, отгонял песцов, фотографировал, лазал по болотам, ремонтировал зимовье, стоял на своем: «Останусь до весны...» Отступились в конце концов. Решили — блажит, поживет один — одумается, через месяц вернется. Сообщили властям, оставили какое было продовольствие — муку, сахар, консервы, лекарства оставили. Бывший уже аспирант и этого не просил, рассердились уже, ругались, когда совал деньги. И еще уговаривали, остерегали, Только улыбался. Махнули. Что с ним сделаешь? Не связывать же в самом деле, не увозить силой. Через месяц, в начале осени, прилетел вертолет геологов. Орнитолог невозмутимо ловил рыбу, стрелял уток, брал брус-

нику и клюкву (благо было ее тут красно, придешь из тундры — и сапоги красные), выглядел он хоть и пасмурно, но был здоров, сказал, остается зимовать. Попросил только тетрадей, а тетрадей у геологов не было.

Зимой наведались пограничники. И словно опровергая все вздоры и страхи об одиночестве, каких-то там «таежных психозах» и всякой прочей дурости, орнитолог был жив и здоров, выглядел теперь даже лучше, лишь отпустил бородку да несколько исхудал. Оставили ему мешок муки, консервов. И под весну еще наведались. Живет. Сказал, будет здесь до осени.

Но вернемся к запискам.

«Летом на участке приречной тундры, в окрестностях зимовья гнездилось семь пар краснозобой казарки. Две птицы, по-видимому самцы, были холостые и держались отдельно... Гнезда расположены колонией. Строительный материал — стебли злаков и другая трава... По соседству гнездились два хищника — сапсан и мохноногий канюк. Казарки их не боятся, и те казарок тоже словно не замечали. Птенцов-пуховичков вывелось во всех гнездах девятнадцать. Насиживали самки. Птицы на гнездах подпускали близко, но старался их не тревожить. Непонятна мне чрезмерно цветная, тропическая словно бы, окраска казарок: белый, рыжий, черный, полосы, какие-то квадраты на щеках! В полете — прямо жар-птицы. Окраска явно расчленяющего типа. Вот так же ярок щегол, снегирь. Это все-таки загадка... Интересно, не остаток ли субтропиков (древних?). Птенцов защищать не может, хотя и бросается самоотверженно. Четырех птенцов взяли песцы, двух пуховичков поморники, одного-двух недосчитался по неясным причинам. К осени в окрестности было от выводка штук девять. И сколько же их долетит до зимовки (зимует-то в Закавказье и в Иране!). Раньше была распространена и на зимовках шире. Есть на древних египетских фресках... Сколько вернется? Расспрашивал старожилов на Обской губе. Говорили, раньше рыжешейки было много. Даже яйца собирали. Стреляли наравне с уткой, с гусем. Теперь? Стреляют тоже. Хоть и запрет. Как учтешь?.. Краснозобая казарка! Может быть, современница мамонта, гигантов-оленей, носорогов, бродивших здесь. Заповедник? Поможет ли... Сколько казарки прилетит нынче?»

«Краснозобая казарка! Помню, увидел ее первый раз давным-давно. Был я лет шести, и мама водила меня в зоопарк. Наверное, это было лучшее место на Земле и в нашем городе. И лучшее для меня поощрение. Наибольшая радость. Зоопарк! Ах, как я любил даже эти решетчатые ворота на старой губернской улице. Улица... Она дышала тихой скукой, пасмурными днями, пироговыми запахами. Скучная улица — и эти ворота, точно праздник и обещание. Морды зебр, тигров и львов на железных щитах, виднеющиеся сквозь решетку загоны и там движение оленьих рогов. Чьи-то крики, дикие голоса этого дикого мира. Нетерпеливое топтание перед окошечком кассы, билет, который кажется очень дорогим, и дальше самое долгожданное: аллеи, дорожки, сетки и пахнущие зверем помещения, где еноты, лисы, скунсы, барсуки, медведи идут своей чередой. О горделивая поступь страусов, их лысое глуповатое величие, павлины, раскрытые хвостами с царской роскошью и гневным дрожанием неистового нетерпения! О молчание сов, чрезмерное золото фазанов, базарная яркость попугаев, пруд, полный утиных криков, гусиного гаканья, журавлиных шагов и сиротской задумчивости белых цапель! Все это помнится, представляется и теперь более чем ясно, когда я вспоминаю какую-нибудь морду бизона, будто изваянную из камня родившей его земли, и представляю тотчас еще более чудовищное, уходящее в глубины пещерной утробной древности перемещение слонов, их хоботы, их глазки, исполненные неизреченности и давнего дивного прошлого... О гиппопотамовые литой живой резины морды, то обозревающие тебя лягушачьим и тоже резиновым как бы взглядом, то разверзающиеся, как чрево всего живого, живая преисподняя с костями желтых допотопных клыков. О зоопарк, животный плач и животный смех... Страдания и радости. Нелепый скепсис верблюда и чье-то покорное молчание с головой под крылом... Ты встречал меня обломным, перекатами грохочущим рыком и нежными трелями — голосами птиц. Птицы... Ни к каким живым существам меня не тянуло с такой непонятной силой и радостью всепостижения. Я любил их еще с дошкольных времен любовью охотника и обладателя и просто так, восхищенно и нежно. Какая-нибудь чечетка в пустяковом садке или на березе меж тонких веточек, осыпающая клювом коричневый крап семян, щеглы

в осеннем бурьяне, снегирь в своей кроткой зимней красе, в алой шубке — были мне дорогими дарами. Что же говорить про зоопарк, где мог я часами глядеть на какую-нибудь синюю с переливом султанку, на аистов с их насмешливыми загадками счастья, на пеликанов, как-то связанных с арабскими сказками и мавританскими мечетями, на цапель-колпиц с их клювами-лопатками, погруженных как будто в нескончаемые размышления о тайнах бытия, и на орлов, презирающих всем своим видом и станом эту неволю и клетку, орлов, грозных и здесь и словно бы вечно видящих отсюда свои степи, и горы, и вершины...

Я лепился на бортики вольер... Я тянул руки к этим существам, в прекрасном облике которых видел игру природы, а может, чувствовал тайны ее бесконечного меняющегося совершенства. Понимал ли я это совершенство и возможно ли вообще понять его? Нет. Я просто чувствовал его, любовался им, восхищался. Я ничего не мог объяснить, но совершенство их, зверей, птиц и даже чешуйчатых тварей, что скользили за стеклами террариумов или лежали неподвижно с застывшей извилистой улыбкой давно прошедших времен, потрясало меня неизреченной радостью открытия.

И, может быть, так же, а может быть, и не так смотрели на меня и они и тоже думали о моей сути, мальчика из людского стада, лепящегося на барьеры, ближе, ближе, непременно ближе к ним. Ему хотелось смотреть, смотреть, смотреть, ему хотелось гладить, ласкать перья, обнимать за толстые шеи медведей и леопардов, прижиматься лицом к их хищным и в то же время нестрашным мордам, в росписи полос и пятен по атласу меха... Почему и зачем? Не знаю почему...

Я сказал, что увидел казарку там. Это было как-то зимой, когда все южные животные и все птицы были заперты в высоком деревянном строении, напоминающем старый базарный лабаз и Ноев ковчег одновременно. Это теперь я уже нашел сравнение с ковчегом. Это теперь я ужасаюсь и негодую. А тогда, семилетний, я был в восторге от этого помещения, полного южных криков, спиртовой, навозной пряности, аммиачных запахов, львиного рыка и павлиньих причитаний. Здесь в спертом тепле ждали весны и еще чего-то гривастые павианы, краснозадые мартышки, мечущиеся по клеткам пумы, равнодушные ягуары и шумящие иглами дико-

бразы в самых темных низких вольерах, под клетками. И точно в таких же вольерах — подобии подпечий и пещерок — сидели лебеди, утки, гуси, казарки. Они... Они и здесь, на грязном истоптанном опиле, у тазиков с мутной водой и плавающими корками, казались какими-то ненатуральными, невозможными по яркости пера, росписей и расцветок. Живые фетиши забытого времени. Безмерная щедрость художника-природы. Маленькие древние гуси. Своей простодушной кротостью они напоминали о тех периодах, без человека и до человека, когда мир в неистовых попытках создать совершенство рождал формы и краски с безмерной щедростью, родил чудовищ и сонмы запредельных граций, искал в полете, в чащах и водах, в пустынях, на камнях и в болотах и, словно пресытясь, изнемогая от бессильного творчества, смахивал все сотворенное лавинами оледенений. Он и она — творящие силы, оставляли немногих, и эти немногие переживали время, удивляя и озадачивая поздних пришельцев,— созданные проще, не столь приспособленные или просто забытые рассеянностью той же природы. Такой была эта птица — краснозобая казарка.

Гусь не гусь. Утка не утка. Но все отточенное и дикое от гуся, все кроткое и женственное от утки соединялось ровно и завершенно. Изящная, точеная, расписанная красным, коричневым, белым и черным в каких-то непредгаданных сочетаниях, стояла она передо мной и по-женски смотрела с тихой лукавинкой, простодушно,— так смотрят только нетронутые красавицы из дальней глубинки, неведомые и не ведающие своего совершенства...»

«После службы в армии я работал в Обществе охраны природы. Почему туда пошел — не знаю. Но мне всегда, постоянно хотелось что-то такое делать для животных, хоть что-нибудь. Наверное, это всегда приходит, когда животных узнаешь ближе, и бывало ведь (хоть и редко), заядлые охотники становились радетелями и хранителями. Никак не пойму я только Хемингуэя. Как при такой чуткой душе можно было быть охотником, участвовать в этих сафари, ловить марлинов, тунцов и ту знаменитую большую рыбу? Любить Африку за то, что там можно разрядить ружье в куду, в слона,

в носорога?! Не то же ли самое рукоплескать на корридах? Ах, что это за зрелище, кому сочувствовать тут! Экое самоедство!.. Или делать скидку на время? Африка еще казалась тогда переполненной животными и все воспринималось не так, как сегодня. «В Африке акулы, в Африке гориллы!» Под каждой пальмой — лев, в каждой заводи — бегемот! Но пример Даррела говорит мне, что, любя животных, от ловли и охоты всегда придешь к их охране и разведению, к попыткам хотя бы...

Я поступил в Общество охраны природы. Инструктором-методистом. Мы должны были «вовлекать в члены общества», «вести пропаганду охраны природы», «учить любить животных» (учить любить?!). Мы должны были организовывать кружки натуралистов, читать лекции, устраивать встречи с учеными и писателями и вмешиваться, когда природе что-то грозило. И мы работали, делали все, что я перечислил. Мы — это я, Нина Попова, в прошлом моя однокурсница, и еще двое инструкторов. До сих пор я даже представить себе не могу, зачем Нина оказалась на биофаке. Женщины, по-моему, вообще как-то реже интересуются животными (да простят они мне такую вольность), а Нина как будто не интересовалась ими совсем. Бог знает, что было ей не безразлично. Пожалуй, Нина была знаменита на курсе только тем, что раньше всех вышла замуж и тут же разошлась. А дальше пошло-поехало,— какие-то ее бесконечные «хвосты», задолженности, «академки», отсрочки, перевод на вечернее или даже заочное, а дальше я совсем потерял ее из виду, кончил университет, служил в армии и вот опять встретился здесь в областном совете Общества охраны природы. Из разговора с Ниной я узнал, что она попробовала трудиться в школе,— не понравилось, ушла лаборантом в институт, потом была ассистентом при какой-то кафедре, руководила кружками на станции юннатов, была методистом внеклассной работы, трудилась в парке культуры и отдыха — специально перечисляю все, о чем подробно повествовала мне она,— и вот осела здесь, в Обществе, методистом-инструктором, таким же, как я. Здесь она как будто нашла наконец свое место. Областной совет наш (в других, может быть, все иначе) напоминал одновременно и тихую заводь, и кипучую контору. Мы организовывали лекции, создавали кружки, «вовлекали», раздавали билеты, писали статьи, сидели на заседаниях,

составляли многочисленные отчеты. И в то же время здесь всегда было можно опоздать на час, уйти куда-то, долго обедать, звонить знакомым...

Образцом дисциплины для нас был заместитель председателя совета (председательствовал на общественных началах известный профессор, но его мы редко видели). Заместитель же являлся на работу первым и последним уходил. Это был среднего роста человек, лысый, с ямами на висках и щеках, выпитым лицом типичного язвенника. У него были впалые глаза страстотерпца, ждущего неизбежности. Звали его очень забавно — Кастор Полуэктович. Ну, хоть бы Нестор, что ли, так нет же, Кастор, и это имя, в общем, подходило к его больничному лицу, словно бы требующему постоянных лекарств, санаториев, рыбьего жира и разных вливаний.

Кастор Полуэктович когда-то был в крупном районном ли, городском ли чине, чем-то там руководил, был при немощности кажущейся весьма ядовит, занозист, однако за возрастом и болезнями возникла необходимость подыскать ему место поспокойней. Решили: пусть руководит природой, охраной ее и пропагандой. И он руководил. Из всех нас, штатных работников,— инструкторов, секретаря, бухгалтерши, обеспокоенной лишь отложениями жиров на талии и амурами непостоянного супруга, да старухи технички — Кастор Полуэктович был самый деятельный. Придя на службу, он тотчас же садился на телефон, и видеть его можно было только с трубкой у левого уха,— не отнимая ее, он сочинял письма, подписывал бумаги, отвечал на вопросы и если не сидел на телефоне, значит, закрывал кабинет и шествовал с папкой на совещание. Однажды я спросил его в шутку, чем ворон отличается от вороны. Председатель, посмотрев на меня очень серьезно, ответил: «Что за вопрос? Ворон — он, ворона — она...» — «Ну, а флора от фауны...» — обнаглев, не отстал я.— «Вы бы как-то поделикатнее, молодой человек,— сказал Кастор Полуэктович,— я ведь вам не справочник. Фауна... Сауна. А вы вот знаете, что такое с а у н а? Финская баня... Эка... А что в ней? Бывали? Нет, ну вот... У нас в районе есть. Построили. Скооперировались кое-кто... Электронагреватель сварганили. Бассейнчик есть. Хотите свожу в пятницу?»

Нет... Я не отрицаю значения этого учреждения.

Пропаганда, лекции, кружки, новые члены общества, взносы. Но охрана...

Мы даже выезжали в рейд с «зелеными патрулями». Старшеклассниками. Ходили по электричкам, приставали к тем, кто везет срубленные елки. Пытались штрафовать, писать какие-то бланки. Но почему-то запомнились мне не лица этих порубщиков — одинаковые, в общем-то, дяденьки-пьянчуги с окрестных станций, ребята с повадками уголовников, все глядевшие на нас с тяжелым обещанием. Запомнилась песня каких-то веселых туристов с рюкзаками и лыжами:

Т-там ссса-ла-вей в кус-тах па-ет
И с-са-ла-вы-ху к серсу жмет...

А дальше совсем уж прыгающий, с хохотом, с визгом девчонок припев:

А кто на елках,
Кто под елкой,
А кто прря-мо нна траве...

— Райотдел тут нужен,— с горечью сетовал Кастор Полуэктович.— Райотдел... Форма... Права... Оружие... А что — мы? Ну, активисты еще... Общественники...

Были у нас и активисты. Одна особенно деятельная — учительница начальной школы в отставке. Из тех бабушек, что давным-давно на пенсии, но никак не могут угомониться, нянчить внуков, глядеть вечерами в телевизор. Старуха, по ее рассказам, увлекалась всем сразу — был у нее аквариум с разным вздором: пецилии, золотая рыбка, беспородные меченосцы, гуппи и одна скалярия, подаренная каким-то энтузиастом; была канарейка, опять же от доброхотов, снегирь, хомячки. На подоконнике ее жилья — как-то она затащила меня посмотреть — росли три кактуса.

Когда организовался клуб любителей птиц, активистка была там и ее вводили в состав бюро.

Собирались аквариумисты, и в первую очередь виднелась ее дореволюционная шляпка, седые букли. Сыпались скороговоркой советы, вопросы, восклицания. На слетах школьников ко Дню птиц она, как флаг, выносила на сцену скворечник, всегда сидела в президиуме и всегда говорила, что птиц «надо охранять». На собраниях кактусоводов она тоже мелькала, хоть и недолго. Она нигде не была долго — эта бойкая старуха,

побыв, тотчас исчезала, чтоб объявиться в другом месте.

Словом, общество работало. Но охрана...»

«...Сегодня совсем тепло. Летают шмели. Они здесь огромные. Тундра цветет. Какой воздух! Какие дали! Сколько света! Июнь. Полное солнце. Все птицы уже здесь. Все, кроме казарок. Турухтаны, бекасы, кулики-песочники, утки, гуси... Гвалт, и гомон, и пение... Но почему же нет казарок?»

«Нашел в излучине реки огромные кости. Вроде бы мамонт? Раскапывать непосильно. Приедет экспедиция, покажу. А ведь мамонт — современник этой птицы. Удивительно».

«Видел белого кречета! Редчайшая птица. Совершенно белый, как бы серебряный, он сверкал в лучах низкого солнца, казался каким-то горным духом. Кречеты были редкостью и при московских царях. Ходили в тундру за ними сокольники. А казарок все нет... За пять лет наблюдений вот сколько их было (считаю лишь пары): Пятьдесят три. Сорок одна. Тридцать. Семнадцать. Семь! (В прошлое лето!) Сколько же будет нынче?..»

«В определителе написано: «Чрезвычайно легко и быстро приручается и одомашнивается». Так что же мы медлим?! Ведь только благодаря разведению в неволе удалось спасти гавайскую казарку. Численность американских журавлей сейчас поддерживают исключительно за счет сбора «лишних» яиц и выведения в инкубаторе. Что мы медлим?.. Или попробовать разводить их самому? Ферма казарок? Идея! Но поддержит ли университет? Где взять деньги?.. Деньги, деньги, деньги! Деньги нужны на машины, на нефть, на уголь, на все то, что дает прибыль и отдачу. Но любую машину со временем заменят, реконструируют, нефть найдут в другом месте или тоже заменят чем-то. А казарку не восстановит никто... Думаю, что деньги всегда найдутся: только кликни — и люди дадут их с радостью. Так почему же не кликнуть? Почему так долго не можем мы создать фонд помощи животным? ОН НУЖЕН, НУЖЕН, НУЖЕН. Это НЕ БЛАГОТВОРИ-

ТЕЛЬНОСТЬ. Выпускали же марки: «Помоги голодающим!» Верю: ЛЮБЯТ ЖИВОТНЫХ. Никогда не любили больше, чем сейчас. И любовь эта будет увеличиваться, и, может быть, только она спасет этот уходящий мир, задержит его исход».

«5 июня... Тундра в цвету. Какие чистые небеса! Какие песчаные косы очистились от снега! Как волосы северной красавицы!.. С верховьев еще несет лед, а снизу идет семга. Видел, как она играет, фантастические рыбы вылетают из воды!»

«Зимой я столкнулся здесь с рысью! Откуда она? Рысь шла к востоку и скрылась в речной уреме... Находил и следы росомахи, но само животное это никак не попадается, хоть бы взглянуть...»

«7 июня. Казарок нет».

«Думал. Прекрасен Человек по лучшему образу и подобию своему, ибо такой рожден не для того, чтобы разрушать, обирать, потреблять и тащить к себе, но рожден для созидания, для защиты и для грозы другому, живущему беспредельно и всеистребимо. Вся суть жизни, наверное, лишь в том, насколько обновление и восстановление преобладают над гибелью и тленом. Добро над Злом, совесть над корыстью, участие над безучастием. И чем больше то, первое, воздвигнется и утвердится, тем совершеннее станут ЧЕЛОВЕК, ЗЕМЛЯ И БУДУЩЕЕ, всегда растущее из прошлого, как цветок из семени. И если б не так — не было бы совершенства и никакого продолжения его».

«Наконец-то! Появились! Появились!! Появились... Две пары краснозобых казарок. Две пары. Будут ли еще? Жду. Готов ждать сутками... И так проглядел все глаза. Сколько раз обманывался. Две пары... На днях был вертолет. Скоро прибудет экспедиция. А я останусь до осени. Буду следить... Постараюсь сберечь всех».

## Исход

Можно было бы долго рассказывать, как кот бедствовал до весны в приполярных лесах, как шел и шел

неведомо куда. И уже пошла зима под уклон, покатились ее ледяные сани обратно к полюсу. Еще нетронуто лежали снега, упруго задували ветры, еще тучи от земли до неба заносили все ревучей пургой,— кто испытал пургу, когда тысячи белых ведьм несутся в снеговых вихрях с плаксивым воем, в вечном мраке этой нескончаемой ночи, какой-то наклоненной, равнинной и заполненной одним холодным движением и мельканием? — но уже проснулось Солнце, явило по горизонту улыбчивый вешний свет, исчезла зимняя вдовья строгость Луны, и все звучнее пел могучий цветной орган светлые гимны нахолоделой и спящей Земле. Робко будило Солнце Землю, может, так влюбленный тихо, ласково гладит невесту. И ночами теперь разноцветно синело небо, набирало краски: фиолетовым, синим и литого стекла зеленым отливал и отсвечивал в краях его купол, а зенит был прозрачен, прососан нездешней, неизреченной голубизной, копился там радостный свет, вещал весну, тепло, счастье, и все державнее, шире расстилался по-над тайгой и тундрой мягкими упругими пластами ветер-вешняк, нес с великой океанской реки, от солнечного пояса Земли влагу, дожди и тепло, и пахло в том ветре пальмами, теплыми волнами и цветными рыбами. Вставал над тайгой и тундрой, над всей ее кажущейся лишь человеку бескрайностью и протяженностью сурового пояса, где жизнь борется и бьется за существование с ничего не щадящим морозом и тьмой, запах оттеплелых веток, пригретых вершин, влажных ночей и первых луж — протаяли не здесь еще, а где-то ниже, южнее, на разъезженных дорогах.

Все это еще едва наносило в заваленные снегами леса, но уж не стало спокойствия в жизни кота. Добавились лишняя забота и томление. Весной все рыси переживают второй гон, восходящая солнечная сила заставляет их бродить целые ночи, кричать, звать, аукать и терпеливо прислушиваться к отзыву самки и храбро сражаться за нее, продолжательницу рода и жизни. Самки ведь тоже терпят, ждут и мучаются своим ожиданием...

Впрочем, зачем мы говорим как бы осудительно о котах и кошках? К весне, повинуясь той же солнечной силе, не вся ли Земля, одержимая Севером, тоже пробуждается, вздыхает и вздрагивает — ждет потоков солнечного семени для зарождения всякой жизни в ле-

сах и водах, в высыпках трав и в таинстве соития цветков, и в радости всего того, что создано для продолжения волн жизни, что катится и катится по ней с тех пор, как пришло им время зародиться мелкой рябью, возникнуть из неорганизованного живого, по тягостной ошибке и сейчас еще именуемого мертвым. Нет мертвого в природе — есть вечно живущее и обреченное к продолжению и лишь на время неосязаемое, на те мгновения, когда рассыпается и меняет оно облик свой в том, что печально именуется тлением, но и в тлении живет, продолжает жизнь для того, чтобы сменить облик свой и улучшить себя в бесконечном обновлении жизни. Все, все возрождается к жизни под солнцем в лучшем и совершеннейшем облике своем.

Поет в снежном еще лесу белобокий бодрый зяблик, жаворонок льет хрустальную трель над талым, принимающим солнечную силу полем, выходит к солнцу из норы, почуяв срок, барсук, и даже крот, вечный житель земляного мрака, на краткое мгновение взбирается обогреться, обсушить бархатную шубу, глотнуть солнца и зарядиться им для продолжения жизни там, где солнца нет, но есть лишь его последствия — слой благодатной почвы.

Все рядится в лучшую одежду свою: земля в зелень, поле во всходы, береза в мелкий пасхальный лист, небо в самые нежные тона — так женщина весной, гадая, не пора ли надеть все легкое и новое, долго стоит втихомолку перед зеркалом, обнажась, разглядывая себя с грустью ли, с радостью ли,— но всегда с надеждой... Ярок наряд чернобородого древнего петуха-глухаря: голубой бронзовой патиной мерцает каждое перо крыла, а хвост покрыт камчатой изморозью, как воспоминание о зиме; красные печати весны несет на груди певучий реполов-коноплянка, а бабочкам, жукам и селезням-самцам как будто второпях раздала природа все свои радуги — никто не может перещеголять ее, не дано то модным художникам, готовым глотать и цвет, и краску, ни тем, кто пишет из тюбика, мажет краску ладонью, плещет ведрами и, обезумев будто в погоне за цветом, оттискивает на холстах голых натурщиц — никому не дано. Склонитесь художники перед первой талой лужей, вглядитесь в рассветы и в закаты над крышами, во все, что цветет над землей и отражается в ней ясно-желтым, сиреневым, голубым, оранжевым, фиоле-

товым, фосфорно-светящимся и воздушно-лунным — где вам, художники,— бедны ваши краски!

К весне все возвращается... Летит скворец, не зная расстояний, к щелястому старому скворечнику за тридевять земель, и ночью является к своим кустам в овраге соловей, летят журавли редеющей год от году стаей, бежит коростель, машет чибис, ищет прежнее нерестилище щука. И меж людьми тоже бывает: бросает все, возвращается с плачем к верной жене загулявший мужик, и уходят от жен тоже чаще всего весной...

Не было рысей в северном постылом лесу. Ни одной кошки не отозвалось коту кротким, добрым вскриком, и, промаявшись так до первого тепла, кот опять двинулся назад, в свой лес, где ждала — мнилась ему — та пятнистая кошка с узким следом и яркой шкурой. Снова шел он ночами и днями, охотился мимоходом, выбирал самый прямой и короткий путь. Дорога назад и в самом деле была короче, и даже вырубку-пустыню кот одолел за пару ночей, отлеживаясь днями в кучах навороченного как попало, обтаявшего сушняка. Опять запахло в лесу человеком, опять услышались голоса, опять пугали гул и грохот машин, гром падающих деревьев, запах дыма и мазута. Однажды утром кот вышел на длинную просеку, бесконечно прямую и узкую. В дали ее он увидел толпу скученно копошащихся черных фигур, машину с вышкой, люди тянули, укладывали что-то блестящее на ровные черные обрубки. Дергая хвостом, встряхивая ушами, кот бросился прочь, подальше от опасной просеки, от голосов и звуков. Он отошел далеко в сторону и снова повернул прямо на юг, в направлении на свой лес, к своей кошке, повинуясь безошибочному компасу инстинкта. К своей кошке... Шкура ее, давно уже выскобленная, выделанная и продубленная по-новому лучшими мастерами, красовалась на узкой южной каменной улице в витрине магазина фирмы Аверелли с этикеткой: «Русская рысь... Ковер. Экстра» — вместе с другими шкурами и мехами, в конце концов дано им было стать шапочкой на чьих-то силоновых кудрях, накидкой на чьей-то худобе либо раскормленности, роскошным манто на теле изощренной в любовных играх, изысканно-порочной человеческой самки.

Ничего этого не знал кот, как не знал и лесной муравей, вылезший по зову солнца строить и надстраивать

свое земляное и хвойное жилье. Не знал, что над ним есть другой мир с иными муравейниками, с цветными телевизорами, с дьявольскими бомбами, спутниками, космонавтами в гермошлемах и теми, кто создали бомбы и гермошлемы, но точно так же не подозревали и они, быть может, что может быть и третий, и девяносто третий, и бесконечно третий мир над ними, в который нет входа и осмысления, и будет ли еще — неведомо...

А двуногие, которые стояли сейчас подле обтаявшего муравейника на опушке и подставляли руки шевелящимся коричневой живой кашей, постреливающим кислотой муравьям, сначала осматривали свои руки, потом обнюхивали, а потом пробовали на вкус.

— Кисло,— говорил один, тот, что был повыше, парень в дубленом и залосненном у карманов полушубке ведомственной дорожной охраны с коротеньким автоматом, неуставно перекинутым через плечо. Его напарник, судя по круглому женообразному лицу со сросшимися на переносье бровями,— узбек, тоже в полушубке, держал автомат в руке и не отвечая вглядывался в лесную чащу.

— Кто там? Чего?

— Тс... Идет...

— Кто?!

— Идет... Сыматры... Звер? Видишь?

— Какой зверь?

— Е-е... Ай... Вот она... Апят... Вон... Звер... Сама в зону зашла... Стрэлять?

Вместо ответа старший вскинул автомат к плечу и крикнул:

— Стоять!

Серо-рыжее безответно мелькало в подлеске. По-сорочьи крякнула автоматная очередь.

Оба вприскочь бросились туда, где мелькнуло рыжее, но попали в надув, серый рыхлый снег не давал бежать. Пока выбирались, обегали его, нашли лишь нечеткие круглые следы, пятна крови на льдистом крошеве и клочки шерсти. Идти по следу было нельзя — не оставишь пост. И, переругавшись уже, побрели обратно. Были рассержены: младший за то, что увидел первым, а не выстрелил, старший за то, что истратил треть рожка и теперь, наверное, придется отвечать...

— Ц... ушла... звер. А там... Ай... парападет... Шкура парападет... Ц...

Караульный начальник явился быстро. Он был с припухшим сонным лицом. Глаза слезились от весеннего солнца.

— Звер там была, товарищ начальник,— оправдывался узбек,— мы думал — нэ звер... Нарушитель... Кричал: «Сытой... Сытой...» Она бижала...

— А кто стрелял?

— Я, товарищ начальник...

— За самовольную пальбу надо бы вам по три наряда вкатить,— ворчал, следуя в указанном часовыми направлении, но далеко не пошел, удостоверясь в попадании по цели, вернулся, разрешил закурить и сам, выкурив сигарету, строго глянув напоследок на подчиненных, ушел восвояси.

Теперь кот получил тяжелые раны. Шесть пуль пробили его живот, и лишь невероятная живучесть, выносливость рыси позволяла ему еще уходить, держаться на ногах. Он пересек лес, оказался в глухом и безлюдном месте и все шел, хотя уже наступала ночь. К темноте он добрался до высокого леса и стал ложиться, в пушистом брюхе, сочившемся и набрякшем кровью, бушевал пожар, и снег на лежках не охлаждал сквозные раны, они текли и текли, хоть уж не так сильно, как вначале... Кот забился в чащу, лизал раны, глотал снег, не замечая, что глотает и свою кровь, потом он затих и как будто заснул. С первым проблеском зари кот снова приподнялся, но идти уже не смог. И тогда он пополз, оставляя темнеющий тяжелый след, изредка ему удавалось привстать, но лапы плохо слушались его, он шел качаясь, урча, падал и снова полз все еще в ту сторону, куда направляло его Солнце. Но теперь кот не выбирал пути, не обходил неудобных мест, он двигался по прямой и остановился лишь на неширокой лесной прогалине — склоне. Лес кончился здесь, и на сотню верст открывалось лесное болото, страна кочек, мхов, клюквы, чахлых берез и осинок, растущих плотной непроходимой чащей.

По инстинкту или по разуму, пытаясь обогнуть эту залитую подснежной водой равнину, кот повернул влево, приподнялся, упал, пополз, трудно двигая передними лапами. Широкий ствол — старая лиственница, рухнувшая головой в болото,— преграждала ему путь. Может быть, эта лиственница с давно отсохшей корой, но с еще воздетыми из болота к небу необломанными су-

чьями напомнила ему ту, его лиственницу, на которой любил он лежать в дальнем еще и родном ему лесу, может быть уже исчезнувшем навсегда. Глядя на нее больным, гаслым взглядом, кот нашел силы привстать, подтянуться, подполз и наконец с тихим хрипом добрался до ствола, вцепившись когтями, в последнем усилии поднял, перевалил на ствол непослушное тело. Лиственница лежала макушкой к востоку, как раз так, как было необходимо умирающему зверю. Все звери по не знаемому никем закону ложатся умирать головой на восход. Но кот еще не погиб, он лежал пластом на сером, голубом от неба стволе, и неподвижный, хотя и живой еще взгляд его с остывающим безучастием глядел в лесное болото. Дул теплый, большой и приливный ветер, задирал на загривке кота шерсть и в болоте гнул березки, что повыше, шуршал сухими травинками, навевал багульником. Заяц мелькал, пробирался там между кочек, распутывал пахучие зайчихины следки. Возился и ползал, перелетая, маленький пестрый дятлик. Лес жил, готовился к весне и водополью. Уже мчались над ним быстрые пролетные голоса.

И вслушиваясь в них, почти ничего не видя, в промежутках между мутной бездной, кот возвращался в прошлое,— все казалось ему, что лежит он на том суку, на той лиственнице, высоко над лесом, и засыпает, убаюканный теплым ветром.

Непонятный звук лишь досадливо тревожил его. Звук был нарастающий и противный, и уже не видя, не понимая, лишь силясь вернуться, кот в последний раз повел ухом... Ухо с кисточкой распрямлялось, укладываясь поудобнее вдоль.

Над болотом, треща моторами, загребая небо мельнично машущим винтом, кружил вертолет.

Это было утром 17 ноября 2010 года. Всеземное телевидение передало в числе прочих новостей удивительное:

«Вчера утром в канадском национальном парке Вуд Буффало, неподалеку от границ парка с жилыми районами, служба постоянной охраны обнаружила след рыси. Сообщение было немедленно передано руководству парка и в научные центры. Группа виднейших ученых подтвердила первичное определение. Да, это след

рыси! Дикой кошки, которая еще полстолетия назад была распространена в лесах Евразии и Канады. Но потом численность ее катастрофически сократилась, и уже десятилетие, как рысь, современница мамонтов и других вымерших животных, считалась исчезнувшей. Все попытки разводить рысь в условиях неволи кончились неудачей. Ученые ведут спор: является ли найденный след следом последней рыси? Самец ли это или самка? По следу организуется наблюдение, результаты которого будут сообщаться...»

И газеты в тот день вышли с шапками: «След рыси!», «Оказывается, рысь существует!», «Обнаружен след рыси!», «Последняя рысь!», «След рыси...»

1978 г.

# Золотой дождь

*Повествование в размышлениях*



Не знаю, где сейчас находится эта картина. Тогда, двадцать лет назад, она висела в скромном зальце Эрмитажа и перед ней не было еще толкучего наплыва зрителей всех сортов: от хихикающих дурех — случайно оказались тут (куда деваться, если перерыв в магазинах) — до ценителей в бородах, с глубокой тишиной в лице — так сказать, аристократов духа и взыскующих града.

Не было обычной по нынешнему времени просвещающейся групповой массы, которая с гулом заполняет музейные залы, с гулом перемещается, почтительно слушает речистых экскурсоводок и создает в прежде чинных учреждениях культуры совсем некультурную, непереносимую здесь тесноту, очередь, давку, и все спорят, витийствуют искусствоведы-социологи: «Что такое?? Стресс?? Взрыв? Почему? Откуда? Где корни?»

Но и тогда, в малом зальце, картина висела в подобающем ей одиночестве, на отдельной стене розово-серого женского цвета. Цвет подходил к багетному золоту, овально скругленному по углам, что придавало картине искую законченную ювелирность, может быть, в согласии с замыслом живописца. Кстати уж, люди, незнакомые с трудом художника, вероятно, и не представляют, сколько времени, гаданий-прикидок, озарений, разочарований и часто полной глухой растерянности тратит он на подбор, создание, осмысление рамы, только рамы, но ведь рама, как говорят, лишь подарок художнику... А главное? Главное, заключенное в

раму, было средних размеров полотном, подпись кратко гласила: «Тициан. Даная. Золотой дождь. 1554 г. х. м.» (холст, масло).

Помнится, я стоял перед картиной тяжко утомленный, перегруженный впечатлениями, с болью в потертых ногах,— дернула нелегкая надеть в Эрмитаж новые «скороходовские» полуботинки. С болью в висках и во всей усталой голове я смотрел и все старался убедить себя, что передо мной одно из лучших произведений Тициана, шедевр Эрмитажа, роскошь, сокровище, уникум и все такое... А картина как-то терялась в моем сознании после бесконечных дверей и лестниц, лепных потолков и мозаичных полов, скульптуры, других картин, золота-серебра, орденов, фарфора, гобеленов, монет, оружия,— всей немыслимой ныне роскоши, всего подлинного, что собрала удивительная кладовая, что я успел осмотреть, а скорее, лишь окинуть взглядом, и что потрясало именно этой подлинностью, чьей-то былой принадлежностью,— ну вот, к примеру, неужели эти слегка уже потускневшие, но все-таки роскошно сияющие звезды-кресты были на мундире сухонького человека со стародевичьим каким-то хохолком, на мундире генералиссимуса — князя Суворова Рымникского, а эту вот чеканную цепь возлагала на склоненную выю Потемкина сама Екатерина холеными царскими руками? У всех вещей, знаков, монет, картин, мебели была таинственная и нелегкая судьба, прямо связанная с судьбой владельцев, всех, кто их носил, заказывал, получал, рассматривал, вешал на стены, короче говоря — владел. И сейчас эти вещи, сберегаемые здесь уже в музейном нетлении, мешали мне созерцать творение Тициана, воздать ему то, на что намекнул он еще в одной не менее знаменитой своей картине[1].

Ныне думаю, что для величайших творений человеческого духа надо бы создавать и особые помещения. Как ни странно, а лучше всего это понимала церковь. И если не получалось у мастеров кроткой святости храма Покрова на Нерли, бегущих в стальное немецкое небо витражей Кельнского собора, азиатской преисполненности Василия Блаженного, зван был немедленно великий живописец своим творением осветить построй-

[1] Автор имеет в виду картину «Динарий кесаря».

ку, придать ей сияние и славу, нисходящую на храм с именем автора...

Я недолго задержался перед «Золотым дождем». Скорей всего виной был мой возраст — не таковы ли все мы, двадцатилетние, почти всегда насмешники, воители-разрушители, отрицатели, когда чересчур смело, невнимательные до жестокости, оцениваем все, в чем не можем разобраться, и лишь спустя многие годы чувствуем тяжелый стыд за свое невежество, а то — и вовсе не ведаем стыда.

Разглядывая картину, я воспринял, конечно, ее внешнюю, очевидную суть, так сказать, форму: обнаженная, очаровательная в обнаженности и неге толстушка фривольно раскинулась на белом атласе ложа с блаженно остановившимся воспринимающим взором, в то время как ее служанка-ключница, черная, кривоносая и гнусная ведьма, пыталась заслонить девичью наготу от вполне реального потока золотых и как будто горячих динариев — они сыпались с разверзнутого грозового неба... Пожалуй, вместе с видом молодого, полного, розовеющего закатным и грозовым светом тела женщины больше всего запало в память название картины:

«Даная, Золотой дождь».

Даная... Как ни скупо преподавали античность в нашем институте, как ни мало ценил я ее тогда вообще, слушая вполуха лекции «античника» (он же «Агамемнон», «Прокруст», «Стрекозел»), моих познаний в мифологии все-таки хватило, чтобы вспомнить: Даная — дочь мифического царя, заключенная им за что-то в темницу,— и только. При чем здесь дождь, да еще золотой, было непонятно совсем, не соединялось с представлениями о сыплющихся динариях и талантах. Их я только что видел здесь же, в Эрмитаже, и они ассоциировались в моем представлении с чем угодно: мешками, сундуками, подземельями, пиратами, мушкетерами, старинными парусниками, менялами, карманами,— только не с дождем.

Золотой дождь вещественнее всего я видел именно дождем,— крупным, сверкающим, майским, хотя его с таким же успехом можно было назвать топазовым, яхонтовым, алмазным, серебряным. Представилось: жарким полднем будто из ниоткуда вдруг найдет-набе-

жит темное облачко, кратко версскнет, скифски-буйно ударит гром и с отемненного неба, не стесняясь ни солнца, ни полудня, зашумит сверкающий озорной дождь. «И солнце нити золотит...» Как это было сказано про дождь! А по недоразумению именуют его еще слепым. Что слепого в этом, словно рукотворном, ливне, в майском зовущем голосе грома и в ответной дрожи Земли? Что слепого в Зевесовом хладе тучи, так быстро набежавшей, так скоро исчезающей, чтобы опять смениться еще более белозубым днем в запахе мокрой новой травы, тополевых молодых листьев? Золотой дождь...

Иногда с таким дождем выпадает град — кусочки мелкого мокрого сахара. Иногда град бывает крупнее — в скворчиное яйцо. И всегда удивляешься, подбирая эти снежно-ледяные небесные комышки: откуда они и почему? И почему иные из них напоминают неровно скругленные ледяные монеты с чьим-то на глазах исчезающим ликом? Такие полустертые лики я видел на древнем византийском серебре...

Эрмитаж родил ощущение необъятности. Пробыв в северной столице всего день, я весь его, ну, пусть половину, потратил на хождение по эрмитажным залам и вышел с унылым сумбуром в голове, унося ощущение тяжелого недоумения и потрясенности. Что толку — провел в Эрмитаже часы? Дни и недели, месяцы нужно, чтобы вобрать в себя и хоть как-то упорядочить в восприятии его богатства? И, может быть, не хватит многих лет, целой жизни? Конечно, не хватит... И вообще — зачем такое богатство? Зачем здесь собрано столько? Зачем, з а ч е м, ЗАЧЕМ? Эта мысль в разных оттенках мерцала неразрешенно, как сполохи на уходящей туче, хоть я все время улавливал какой-то подспудный и словно бы вполне ясный кому-то смысл...

Вот такое же должно быть потрясение у мирного жителя дальней глубинки, впервые оказавшегося в столичном граде с его отрешенным многолюдьем, с машинными потоками, витринами-манекенами, консервно-бутылочным и товарным изобилием, гулом-ритмом, богатством и суетой жизни, как бы презрительно отметающей его провинциальное бытие, его оробелую сущность, казавшуюся дома, в лесной стороне, такой определенной и нужной миру. Впрочем, я взял сравнение

лишь для тогдашнего, может быть, даже довоенной поры, мужичка, с постоянным запахом овчины и сена, мужичка, посланного артелью в город с наказом купить мешков, или для какой-нибудь тетки в сарафане, в цветном сборчатом фартуке... Нынешний провинциал, особенно молодой, с прической под питекантропа, в тертых джинсах или в полосатых балаганных штанах, в вывернутых наизнанку резиновых сапогах и с орущим транзистором, ориентируется в городе уверенней исконного горожанина. Но двадцать лет назад такой провинциал еще только нарождался в посадах и на пригородных станциях, а может, еще и не было его совсем, и мое сравнение оказывалось как раз впору моему собственному состоянию, облику и образу мыслей.

Среди хаоса эрмитажных впечатлений «Золотой дождь» все-таки постепенно выступил, отстоялся, чем-то надолго задел меня и родил странное — тем более на сегодняшний день — желание. Впрочем, такое ли уж странное? У меня ли одного? Не случалось ли вам самим, возвращаясь домой после выставок, музеев, галерей, ощущать потребность иметь у себя дома нечто тождественное, ну, пусть не все, пусть хоть малую малость, но что-нибудь оттуда: открытки, репродукции, альбомы... А еще бы лучше всю выставку, весь Эрмитаж... Что же тут плохого? Лично у меня такое с детства. Прихожу с бабушкой, допустим, из зоопарка — тотчас кидаюсь искать по немногим нашим книгам тех зверей, и надо мне было немедленно приниматься их срисовывать, переводить (жаль, вырезать не разрешалось), а потом все добытое помещать хоть в тетрадку, за неимением альбома, и быть надолго счастливым...

Что за странность такая? Жажда приобретательства? Инстинкт собственника? Любознательность? Овеществление абстрактной мечты о своем зоопарке? А такая мечта была, и очень трогательная, очень радужная: что, если бы под нашим северным небом устроить тропики под прозрачной крышей, пусть бы на десяток гектаров, и чтобы там все — как в Южной Америке или как в Африке. Понимаете,— чтобы жирафы паслись, баобабы росли... Золотая греза? Фантазия? Несбыточность... А все-таки золотая... Может быть, как тот дождь...

О тропиках многие мечтают, собирают книги, смот-

рят фильмы, разводят кактусы и рыбок, возятся с орхидеями, а мечта остается мечтой. Ведь там где-то есть семейство бромелиевых, в цветах и в листьях которых, как в аквариумах, скапливается дождевая вода, и живут высоко над землей головастики и лягушки... Усачи-дровосеки из Гвианы достигают четверти метра в длину... В реке Ориноко живут речные дельфины и скаты... В саваннах Африки встречается до сотни видов антилоп. И какие разные: тяжеловесные канны — походка и взгляд величественных матрон, так живо в них женское начало, бубалы с выражением лиц (именно лиц) некрасивых девушек, сернобыки-орикс, древние, как сама Африка, сернобыки, что сохранились и на древнейших фресках Египта, изящнорогие, с рогами-спиралями куду, кентавры-гну и тонкие, как бы обтянутые изяществом антилопы-газели, напоминающие юных француженок, а еще есть импалы, конгони... А скорпионы Суматры величиной с ладонь!.. А попугаи-ара, ящерицы-игуаны, летающие лягушки, рогатые змеи!..

О господи, до чего хочется повидать весь этот животный, растительный, каменный, водный живой мир — всю Землю с ее океанами, пампасами — есть ли уж они, остались ли или сплошь уже засеяны пшеницей, со всеми Андами, саваннами, Сингапурами и Парижами, побывать и там, где не стихает людская жизнь и молвь, и там, где от века лишь ветер пустыни да исполинское молчание Гималаев.

А еще хочется увидеть все земные грозы и облака, закаты и радуги на всех широтах, полярные сияния и ледяные шапки, угрюмые скалы арктических островов и розово-голубые ледники Гренландии.

И этого мало. Ведь Земля в большей части своей — вода, и хочется в ее океаны — нырнуть и плыть бы, в пучинах и безднах добираясь до самих расширяющихся геосинклиналей, до впадин, живущих своей вулканической жизнью. О, если бы, если бы, если бы...

А впрочем, мечты бывают и куда проще, обыкновеннее, но оттого не менее несбыточны. Едешь поездом, стоишь у окна, и попадаются несказанно прекрасные места, пустошь какая-нибудь, пустынь, просто кустики, елочки на плече оврага,— а я так люблю овраги, живет в них очарование какой-то заброшенности, потаенности — речонка попадет безвестная, среди полей березовая роща пронесется, весной в грачиных шапках, ле-

том в зеленой глуши, ветровом шуме, золотом крике иволги... И задрожит, заноет душа: тут бы остаться, жить, бродить... Да как же! Где там... Или вот еще как бывает. Первый снег... И везде можно по лесу просто так, низачем, искать следы жизни. Как-то сладко всегда их видеть. Здесь мыши бегали, полевки, настрочили двойные строчки, синички долбились, хорек пробегал, гнездо попадется пустое в самой чаще кустов, грибы какие-нибудь последние торчат кочечками, прикрытые листьями и снегом, клесты зацокают, зативкают в елках, снегирь откликнется им, отзовется с голой-нагой рябины, и стаи вдали летят, летят над лесом, над пасмурными вершинами, под синью далей... Так мысленно ходишь по лесу, по снегу, а сам-то стиснут в душном, перегруженном трамвае, несется за окном машинами и домами нескончаемая улица, и чей-то водочный дух все время перебивает мечту...»

Иногда я думаю: «Не родимся ли мы в самом деле собирателями, искателями, коллекционерами?»

И сразу находятся возражения: «Да сколько угодно людей есть — ничего не коллекционируют, больше того, презирают это занятие, считают низменным, сродни стяжательству и скупердяйству. Есть и такие — гордятся тем, что они не коллекционеры, отдают, посмеиваясь, какому-нибудь фанатику-нумизмату завалявшуюся монету, отклеивают красивую марку с конверта и оделяют жаждущего, а открытки поздравительные с ходу несут в мусорное ведро». «Не коллекционируют?! — спрашивает меня кто-то ехидный во мне уже.— Не собирают? Ну-ка, а платья? А туфли? Пластинки? Серьги-кольца? Хрусталь? Деньжонки?» Разубеждаю этого скептика в себе: «Какое же это коллекционирование? Просто житейское дело...» — «Корыстное!» — заявляет мой скептик.— «Корысть там, где прибыль, а коллекционирование бескорыстно»,— вразумляю его. «Ха-ха! — смеется он.— Ха-ха!»

«Бескорыстное оно!!» — ору на своего скептика и привожу примеры.

Один человек — он и сейчас жив-здоров, вот почему не называю его ни по фамилии, ни по имени-отчеству — сколько раз из-за такого в конфузию попадал,— этот человек собирает все, все, все и все, что

принято собирать: книги, марки, открытки, этикетки, самовары, иконы, монеты, картины по силе возможности, антикварность всякую. Недавно жаловался: не вмещается его коллекция в обыкновенной трехкомнатной, а он ее уж и чуланами разгородил, и антресолей везде понаделал... Но главное увлечение его — значки, ибо у всякого многоотраслевого собирателя все-таки есть стержень, что ли, красная нить. Значков у коллекционера почти как в присказке: столько, да еще полстолько, еще четверть столько, и все в аккуратности немыслимой, на отличных, оклеенных бархатом планшетах: дореволюционные знаки (вот, предположим, пажеский Ея императорского величества корпус или знак ордена Святого Владимира, с мечами) на белых; революционные само собой на алых; довоенные (всякого рода ГТО, БГТО, ГСО, ПВХО и ворошиловские стрелки) на зеленых; нынешние (а их несть числа) на голубых. На вопрос: «А что вы с ними делаете? Зачем?» — этот скучный-прескучный с виду человек совсем уж скучным (так и просится штамп «скрипучим») голосом отвечает: «Ну... я их... облизываю... по воскресеньям...» И как-то бледность, подобие улыбки, на секунду брезжит в осеннем лице.

Грубоват ответ, но, пожалуй, в самую точку. Видели бы вы этого унылого, с какими радостными восклицаниями и уже весь в улыбках, в нетерпении и дрожи воззрился он на довоенный осводовский значок, который я презентовал ему за ненадобностью. Как подносил он его к глазам, как вертел перед носом, как дул, полировал рукавом тусклую бронзу надписи, — надо было видеть. И подумал я, глядя на него: «Грешным делом, и впрямь ведь облизывает он свои значки, наверное...» А в целом — счастлив, очень счастлив наедине со своими значками, гербами, памятниками, медалями, эмблемами спорта, труда, мира и войны.

А теперь позвольте к маркам обратиться. Марки. Филателия. Едва ли не самое массовое увлечение человечества. Кто-то подсчитал: столько-то сотен миллионов — и все филателисты, филателисты — начинающие, бросившие, периодически вспыхивающие, пожизненные, наследственные, наследующие и всякие другие, так сказать, и прочая, и прочая... А вопрос тот же оставим: «ЗАЧЕМ? ЧТО ТАКОЕ?»

— Ну-у... Мм... В марках... я изучаю... историю поч-

ты... Историю человечества. Марка — памятный знак, наконец, просто художественная миниатюра...— объяснил мне один видный филателист, режиссер академического театра.

И хотя возражений можно было бы найти сколько угодно,— скажем, что историю человечества гораздо удобнее изучать по книгам (летописям, папирусам), наверное, и почты историю тоже,— я не стал возражать человеку, бесконечно уверенному в своей правоте. Весь облик режиссера говорил о том же, ибо походил он на пожилого коротко стриженного шотландского пуританина, а пуритане, как явствует из хроник Шекспира, романов Скотта и Дюма, отличались твердостью убеждений. Вообще же замечу, что филателисты, наверное, самая категорически мыслящая часть человечества. Они так накрепко уверены в необходимости и пользе своих увлечений, что едва попробуешь посягнуть на устои, усомниться в истинности,— все тотчас словом, интонацией и взором укорят в невежестве, незнании, неспособности понять, даже просто в тупости, в лучшем случае обозначая ее для вас культурно — скажем, инфантилизмом. Ну, подумаешь, какая разница между маркой с зубцовкой $^3/_4$ или с зубцами $^5/_6$, или вообще без оных, то есть беззубцовкой,— марка-то одна и та же, рисунок, печать, краски, но усомнитесь вы в том, что за «беззубцовку» надо платить в десять раз дороже — вас испепелят, от вас отвернутся, как от круглого болвана.

Или вот еще есть марки — буквы там в надписи не хватает, перевернута надпись, цвет не тот, не те даты. Все такие марки из рук рвут, тысячи платят... Тут уже случай почти не объяснимый. Везде в природе совершенство ценится,— в филателии, по-видимому, все наоборот....

— Марка — ценность. Марка — стоимость,— торжественно объяснил мне другой солидный собиратель, кажется, профессор консерватории.

Вот часто говорят и пишут, что музыканты, художники, актеры — народ веселый, непрактичный, запросто их можно обвести «на дурочку», впросак, мол, они постоянно попадают из-за своей доверчивости. Закономерность, как видно, далеко не всеобщая. Верхом аккуратности были кляссеры музыканта. Прекрасными рядами стояли там марки, и все оценено, обозначе-

но: рядом с каждой серией беленький такой прямоугольничек — цена. «Какая еще цена? — спросите вы.— Она же — на марке». В том-то и дело, что цена и стоимость марки — понятия разные. Тут и начинается политэкономия: товар и деньги, первичный капитал и прибавочная стоимость... Сегодня только что выпущенная марка стоит пять копеек, через десять лет может быть и рубль. Спекуляция? Боже упаси, ничего подобного — все расценено, все продается по самому современному каталогу: Европа — по Цумштейну, прочие страны по Иверу (есть такой четырехтомный каталог-ежегодник, где его берут — непонятно, но у всех завзятых марочных боссов он тут как тут, а каталог прошлогодний продается любителям помельче — им и старый сойдет за милую душу).

Итак, марки — это стоимость — все равно что деньги, положенные на текущий счет. Но деньги — это деньги, любоваться ими не будешь, эстетического наслаждения никакого, если только ты не Плюшкин, не скупой рыцарь. И скупого рыцаря можно еще оправдать, ведь он копил золото, у золота же есть, наверное, гораздо больше эстетического: звон, вес, блеск, красота самих монет вместе с ощущением их непреходящей ценности, ощущением силы богатства, а что за эстетика, что за наслаждение от трепаных, сальных, иногда и с чернильными пометками ассигнаций, тут уж вовсе надо быть хуже Гарпагона. А марка наслаждение доставляет. Причем лучше всего, если она «чистая», непорочная как бы, не припечатанная казенным почтовым штемпелем,— припечатанные марки именуются «гашенкой», на манер известки, ими крупный коллекционер, вроде упомянутого, пренебрегает, берет лишь в крайнем случае, держит в особом кляссере, они — парии... Зато чистые марки до чего свежи, будто сегодня напечатаны, все зубцы (филателисты не говорят «зубчики», но «зубцы», «зубцовка») целенькие, клеевая сторона тоже (и это имеет значение в крупном собирательстве). Марки нельзя просто так взять. «Послушайте! Разве так можно?! Руками!? Так вот же — есть пинцет! Осторожно... Осторожно! Э-э... Нет, нет... Давайте уж я вам сам покажу!»

Как любовно, как бережно переворачивается страница кляссера! Ведь все это — стоимость! То, что обеспечивается активами Государственного бан-

ка, всем достоянием, золотом — серебром... И видишь в лице собирателя тоже нечто банкнотное, банковое — а может быть, банкирское? Нет, только банкнотное и банковое, пока. Ничего нет у профессора-музыканта общего с тем вон усохшим, старомодного вида старичком в пенсне,— тот сидит на сборищах филателистов всегда в уголке, скромно, точно подтверждает пословицу о сверчке и шестке. Пословица эта вполне может быть подтверждена расхожей мудростью, что вещи — всегда лицо хозяина. Кляссеры у старичка потертые, дряхлые, альбомы мусоленые, в пятнах, похожи на руки хозяина в старческой крупке, марки тоже какие-то выцветшие, чай, отклеены от писем, от твердых открыток из прошлого века, но сам старичок, при всем подобии своим маркам, боек, живуч, вот уж тридцать лет встречаю его, и все не меняется ни пенсне, ни пиджачок,— может быть, даже люстриновый, ни повадка — все так же сидит себе в сторонке, тасует бережно пачечку открыток с лобзающимися парами, с видами Венеции, с пасхальными амурами и, как рыболов, ждет поклевки — один глаз на кляссерах-снастях, другой на покупателе, как на поплавке...

Стоп... Стой! Остановись, мгновение... Вернись, время... Сборища коллекционеров привлекали меня и тогда, когда не было еще никакой организации, все было проще, а сам я, полуотрок, полуюноша лет тринадцати-пятнадцати, слонялся летними долгими вечерами, одолеваемый желанием всепостижения и безнадежной любви ко всем более-менее молодым существам в юбках. Во время таких словно бесцельных скитаний я и набрел на странное скопище взрослых и подростков во дворе одного из бесхозных, давно определенных как бы к высшей мере домов, но так и ждущих исполнения приговора непонятное время — с выбитыми окнами, разломанным забором и пошатнувшимися во все стороны черными тополями. Здесь, в этом дворе, как на ничейной земле, на уцелевших скамьях и бывших огородных грядах — кое-где там торчал сам собой растущий укроп,— стоя и сидя на корточках, группами и по одному, по два копошился этот странно смешанный люд.

Мимо же, не присоединяясь и почти не взглядывая в ту сторону, текла по вечернему бульвару тоненькая струйка молодых женщин и девушек, направляющихся к городскому саду на танцы. Там, в этом саду, всегда од-

нообразно вскипал, качал вальсами и трубами, размеренно бухал оркестр. От женщин и девочек пряно наносило духами, какой-то помадой и пудрой, их платьица манили трогательной чистотой, наглаженные юбочки были сама аккуратность, а туфли на каблучках так гордо приподнимали прекрасные возвышения икр, что придавали ногам какую-то антилопью грацию. Кстати, антилопа, по-моему, прекрасное женское имя, нисколько не хуже Пенелопы, а может быть, лучше. Итак, я провожал взглядом проходящих девушек, разнообразно красивых и одинаково тянуще-недоступных, потрясаясь и запретностью места, куда они шли и где все взывал к вечернему холодно-синему в куполе и зеленеющему в закате небу оркестр,— а потом печально шел за разломанный забор и смотрел на тех, кто толпился тут, очевидно, захваченный не менее меня, однако же другими, непохожими страстями. Здесь продавали, меняли, спорили, прицениваясь, ухмылялись, посмеивались, обещали, ждали с надеждой, лихорадочно рылись, высчитывали, искали, стояли, исполненные спокойного величия, находили... Здесь плескался, рябил, вскипал волнами, создавал мелкие водовороты и конфликтные завихрения мир грез и желаний, алчности и скупости, надежд и стремлений, везения и отрешенности. Нет, я не делал тогда философских выводов, я был не способен, наверное, к обобщениям. Я просто смотрел, смутно ощущая в себе вопросы: почему и зачем?

Лысый человек, с большой головой без шеи на кургузом туловище, с сомовыми круглыми бляшками далеко расставленных глаз и сомовыми же сизыми губами (до чего иногда люди напоминают рыб!), держал толстый, как сам он, альбом с открытками. Сам по себе тлел-дымился окурок, прилипший к его синей вывернутой губе, и окурок был единственно живым в этом идолище.

На углу скамьи некто худой, издержанный, в таком же мятом комиссионном костюме, в темно-синей кепочке-восьмиклинке с пуговкой — такие кепки валяются на полках уцененных товаров,— сдвинув ее на затылок, быстро щупал серебряные монеты, быстро откладывал в сторону, брал снова, подносил к глазам, горящим сухим, нездоровым жаром. И такой же жадностью, отрешенностью от всего сущего и земного дышала сухонькая, желтая головка этого человека, а пальцы, изощрен-

но тонкие, нервно шевелились, как щупальца,— мороз по коже — словно бы изгибаясь и вверх и вбок. Казалось, ничего не знал, не ведал, не замечал этот человек, кроме этих монет, кроме слов «чеканка», «гурт», которые он изредка издавал.

А рядом мальчик, как говорят, «из хорошей семьи» — одет, благовоспитан, ухожен, белое лицо-пампушечка, в лице величайшее спокойствие, глубокая снисходительность ко всем и в особенности к двум уличным гаврошам, постарше и помладше, которые смотрят его марки, шмыгая, почесываясь, давая время от времени друг другу тычка и готовые стригануть во все стороны в любую минуту. Ребят я знаю, они из одного веселого семейства, их там еще несколько таких, на одно лицо и в одной примерно одежде, и всех их зовут почему-то «палачата».

Что привело палачат сюда, зачем им-то марки, ведь у них и гроша за душой не водилось? Что привело... Уж явно не то, что этого мальчика-продавца, будущего солидного коллекционера.

Давно миновал «садовый» период коллекционирования, давно перебрались коллекционеры-собиратели во Дворцы культуры, в величавые творения архитектурного кубизма из бетона, стекла и дикого камня. Все теперь там организовано: анкеты, удостоверения, выборные советы и комиссии, и «дети до шестнадцати» уже не допускаются,— остались прежними только люди. Удивительные люди попадаются здесь, нигде, кажется, больше таких не встретишь,— сами собой они коллекция, экспонаты, один занятней другого. И опять видишь здесь зримо все роды страстей, все темпераменты, кучи добродетелей, сонм пороков, для человека наблюдательного бывать здесь наслаждение, Лукуллов пир. Ах, какие типы во всей, так сказать, законченности, шлифованности образа — пальчики оближешь!

Вот, к примеру, целая группа филателистов, один крупнее другого, все в солидных костюмах и преобладают все достойные оттенки: светло-коричневый, темносерый, черный в полосочку, бордо с искрой, и лица породистые — испанских, французских вельмож, венецианских дожей, немецких курфюрстов — ну прямо ни дать ни взять — Кондэ, Валуа, Потоцкий... Где Тициан?

Где Веласкес и Рубенс? К этой филателистической касте и подступиться трудно, новичку совсем невозможно, если, к несчастью, у тебя еще и развито самолюбие. Говорят с тобой только снисходительно, как с верхних ступенек, едва-едва «любезный» не добавляют и говорят-то как: покривя губы на одну сторону, прищуриваясь полупрезрительно. Нет, Кондэ — это, пожалуй, уже слишком, оставим их для сатирика поспособнее, рассмотрим другой калибр, то есть уже не Кондэ, не Валуа, но тоже с большими претензиями на благородство. Вон там, у окна, сидит, к примеру, мужчина кинематографической внешности. Широко сидит, расставив ноги, опершись о колено, как роденовский мыслитель. На мыслителя, однако, не похож, а лыс, румян, круглощек, волосат до ногтей, что, кажется, примета большого счастья, и тоже рядится: в трубку (он ее не выпускает), костюм серый добротнейший в желтую клетку, ботинки английские — люкс. Мистер Твистер, Нат Пинкертон, Смит-Вессон — лезут на язык расхожие определения — до того заграничный вид. Знаю, служит он где-то в НИИ не то гигиены труда, не то лечебной физкультуры, и слышно еще — теннисист, яхтсмен...

Почему-то уж так повелось, люди этого сорта всегда отменно устроены-благоустроены, и работу у них часто и работой как-то трудно назвать, и сами они это понимают,— называют меж друзей «клоподавкой», «синекурой». «Ха-ха... Ха-ха...» Находятся такие странные работы-должности, где даже приходить вовремя не обязательно, а оклад — вполне, плюс премиальные, да еще какие-то суточные, хозрасчетные, поясные-зональные набегают. Есть такие, скажем, геологи, отродясь дальше главного проспекта не отдалялись, и нефтяники есть, всю жизнь на нефти, а видали ее только в скляночках, и рыбоводы без рыбы есть, и металлурги, не нюхавшие плавильного газа... В теннис же в НИИ теперь обучаются на перерывах (в настольный, конечно). Оборудованы в современных холлах столы, где НИИ побогаче — и биллиард стоит, а курительная отдельно, чтоб не загрязнять воздух для играющих. Если же директор НИИ демократ с размахом, дело поставлено еще шире: что ни месяц, организуются симпозиумы на турбазах, совещания-слеты на местных курортах, командировок много — изучить, например, воздух вблизи Кисловодска, почвы возле Цхалтубо. Сам директор по заграни-

цам мотается, и хорошо всем, уютно, бесхлопотно,— однако оставим фельетонный стиль, не в нем дело...

...Торгует Твистер благородно — только «колониями». Всегда возле его солиднейших, в желтой коже, американских кляссеров кучки подростков в благоговейном молчании, в подавляемом сопении. А марки! Какие там марки за целлофаном, в клеммташах! Глянцево-яркие с парфюмерно улыбающейся Елизаветой Английской, с горбоносым каудильо, с занзибарскими владетелями в чалмах, малайскими султанами в фесках — все на фоне пальм, гор, крокодилов-бегемотов, слонов, обезьян, парусников, морских див, медуз и осьминогов... Цены на «колонии» стандартные: штука — рубль и рубль — штука. Смотрю со стороны на благоустроенное, вполне довольное собой лицо Твистера, и вспоминаются мне слова, не чьи-нибудь, а самого Карла Маркса, помните, о капитале, о его свойствах, о том, что с капиталом делается, когда почует он сто, двести и триста процентов прибыли, а потом почему-то я начинаю размышлять — как попадают в теннисисты и в яхтсмены...

Может, вы об этом не думали, а меня почему-то всегда очень занимали люди в белых джентльменских костюмах с наглаженными строгими складками. Их я видел на курортных рекламах, в журналах мод и на стадионе «Динамо», в трех кварталах от нашего дома в слободке. Они играли один-одинешеньки, отделенные от всех высокой надежной сеткой. Взмахивая своими аристократическими ракетками, посылая тугие удары по ворсовому мячику, люди за сеткой никогда не взглядывали в нашу сторону и не представлялись нам, мальчишкам, обыкновенными людьми, как и сама их игра с непонятно растущим счетом. Даже то, что им, людям в белом, позволено было по-хозяйски играть там, куда мы, грешные, всегда с трудом допускались или воровски лазили через забор — таково уж было спортивное гостеприимство на стадионе «Динамо»,— делало их головою выше каждого из нас. Это были, конечно, необыкновенные люди, может быть великие...

Каково же было мое удивление, когда в числе теннисистов оказался человек, живущий в нашем околотке, и даже примерно равного со мной возраста, лет пятнадцати. Фамилия его, правда, была подходящая для теннисистов — Королев. Зато во внешности, поверьте, ни-

чего, совсем ничего королевского не было: желтые волосы, узкое рыжее скандинавского типа лицо с густеющими на лбу и носу конопушками, такие же руки в густых рябинах, злые глаза, того же цвета новой ржавчины, и во всем поведении какая-то закрытая холодная злоба. Держался Король больше в одиночку, молчком, с нами никогда не играл, младшим раздавал пинки и тумаки, заговорить я с ним никогда и не пытался, потому что всегда он смотрел на меня глазами раздразненной собаки, и в общем, удивиться-то я удивился, увидев этого Королева в белом облачении, с ракеткой в чехле, а с другой стороны, отметил про себя, что догадки мои о теннисистах (и о яхтсменах) что-то словно бы подтверждаются...

Однако, бог с ними, с яхтсменами, теннисистами, тем более что зыбки мои аргументы, все зиждется на малых примерах, сейчас же и возразить можно: «А чемпионы наши, а олимпийцы!» И, конечно, я соглашусь,— не о чемпионах и не об олимпийцах ведь идет речь. А вернувшись к филателистам, скажем прямо и откровенно: среди благородных интересов, рыцарских увлечений, незабвенной любви к марке, к истории почты цветут здесь, как одуванчики в июньское утро, куда более обыкновенные страсти-страстишки, как бы демонстрируя пословицу, что пороки всегда лишь продолжение добродетелей. Смотришь, как торгует Твистер своими «колониями»,— и вспоминаешь увиденное однажды совсем в другом месте...

Воскресный пыльный день. Август. Рынок, в просторечье именуемый толкучкой и барахолкой. Толчея и давка, людской водоворот. Две девицы в этой атмосфере. Чувствуется — дома они тут, на своей почве. Знаете вы их, видали, конечно... Парички, голые брови, голубые веки, перламутром вымазаны губы, кофточки вроде обезьяньи, с начесом, юбки-миди — не поймешь, скрывают или подчеркивают женскую худобу. Лица девиц не то чтобы красивые и не то чтобы дурные — обезличены косметикой, а вот глаза запоминаются: у одной белая такая сентябрьская пустота, у другой мартовская стынь-пустынь, февральский холод.

— Ну, ты,— говорит та, в чьих глазах навсегда задержался холод.— Чо с костюмом-то, мылилась-мылилась... Брать надо было...

— Да черт его знает... Не сдашь еще.

— А-а,— говорит с досадой первая.— Не сдашь, не сдашь... Ну, ладно... Счас мы с тобой такую деревню найдем... И окучим...

Совсем недолго надо побыть филателистом, чтобы вселилась в тебя расхожая меж собирателями мечта: приходит на коллекционерский этот шабаш, на эту Вальпургиеву ночь меново-торговых страстей простак со старым альбомом. Альбом когда-то, может, голубой или синий был. И первым заметили робкого простака вы. Отвели дядю поскорее в сторонку, глянули,— а там, в альбоме-то, все Советы с первых марок! Леваневский с надпечаткой! Первая спартакиада! Антивоенная — целенькая! Золотой стандарт! Бакинские комиссары! И вы все сразу оптом, с альбомом, даром что марки-то там на клей припаяны — все по номиналу!! А? Бывает же счастье — только редко — Леваневского, понимаете вы, Леваневского с надпечаткой по номиналу, а он в ста рублях идет... Да что там в ста...

Греза, конечно, золотая... Золотой дождь... Где теперь такие простаки... Эге... И все-таки бывают, приходят, но чаще не дядя-охломон, пропивающий все оптом. Охломон-то, может, все-таки сам собирал в детстве, кое-что в марках смыслит, а вот женщина иногда появляется такая недоверчивая, все щурится, хмыкает, оглядывается, некает-мекает, не знает, что просить, конечно, не соглашается по номиналу, но на нее — как ястребы со всех сторон, и, глядишь, уже отдала альбом, нет его, унесли...

Бывает, случается...

Раздумываю, вспоминаю, и никнет мое сатирическое копье, обращается в обыкновенную авторучку, когда вижу самый огромный слой собирателей. Это начинающие. Те, кто еще не успел разочароваться. Кто не вынашивает голубой и радужной мечты обрести тысячу процентов на затраченный капитал. Вижу, как тихонько морщась, точно от слабой боли, лезут они в собственные неглубокие карманы, платят потомкам венецианских дожей, римских императоров и генуэзских менял полновесные трудовые за «спартакиады», за «гонконги», за «искусство».

Вот как раз стоит перед глазами Любитель, назовем его так, чтобы отличить от завзятых коллекционе-

ров, ведь собирает он в одной, хотя и слишком широкой ныне отрасли,— по искусству. И для непосвященных в филателисты должно быть ясно, сколь много выпускается ныне марок: бесконечное, непосильное множество. Попробуйте скупить хотя бы то, что выставлено в витринах газетных киосков,— академику не под силу. Давно канули в прошлое хронологические коллекции, где все начиналось с первой жалкой марочки, с первой серии. Есть, конечно, но чаще у миллиардеров, владетельных особ, у испанского короля, наверное, если не распродали его родители по нужде дедову коллекцию, вывезенную когда-то из революционной Испании. Одни чемоданы с марками захватил тогда Альфонс с несчастливым тринадцатым номером. Но оставим королей — они выход найдут, а что делать начинающему инженеру, молодому врачу или хоть высокооплачиваемому начальнику мартеновского цеха? Что делать?

Шутники утверждают, что у современного человечества в современной квартире со всеми удобствами имеется теперь три главных вопроса: «Что делать? Кто виноват? Какой счет?»

Но шутки шутками, а все-таки что же делать обыкновенному рядовому филателисту при возрастающем марочном рынке? А остается одно: поверить в поговорку — если не можешь любить желаемого, люби то, что есть,— умерить страсть, пустить по узкому отраслевому руслу, и вот специализируются коллекции — век специализации! — уходят корнями в животный мир, возносятся в космос, застревают на спорте (бесчисленные уже серии, и все одно и то же: фигуристка с поднятой ногой, боксеры в бычьей стойке, хоккеисты с клюшками), приникают к многочисленным родникам искусства, и текут из этих родников марки-картины, марки-репродукции, марки-миниатюры с картин и скульптур, украшающих известнейшие галереи.

Можно бы, наверное, и посмеяться. Хм! Измельчало человечество! В прежнее-то время любители подлинные полотна скупали, Рубенса в гостиных весили, Веласкеса с Тицианом, Снайдерсом украшали столовые, Ренуаром — кабинеты и спальни... Мона Лиза-то, Джоконда-то знаменитая, у кого-то, простите, в ванной комнате — по-теперешнему в совмещенном санузле — висела... А вы ныне, охти, господи, репродукции какие-то, да еще на таком мизере, на марках, копите. И горди-

тесь: «Галерея в миниатюре!, Леонардо в миниатюре!» Э-эх, как же с любителем-то быть?..

А ничего не поделаешь,— отвечаешь этому голосу из глубины.— Мона Лиза-то одна, а видеть-то ее всякому хочется, кто любит искусство. Что поделаешь, если хочется иметь у себя дома Веласкеса и Эль-Греко? Если душа поет без Ренуара, томится без Дега, без Гогена и без Берты Моризо? Да вы не смейтесь очень-то! Думаете, если Рубенс на марках, так уж все просто, легко-дешево? Ошибаетесь, сударь... И в марках творения великих в немалой цене, тем более что добываешь их часто не из первых рук,— как знать, не обходился ли иному покупателю подлинник Ренуара в свое время дешевле импортной марочной серии. Неуступчивы венецианские дожи, не любят торговаться потомки голландских купцов. Особенно, когда вам говорят: «Но это же — Лувр! Это же Модильяни!» Или: «Ну что ж, попробуйте найдите у кого-нибудь еще такую Дрезденскую (Мюнхенскую, Лондонскую) галерею»... И особенно, когда предлагают женщин...

Здесь читатель, незнакомый с современной филателистической терминологией, вполне может встать в тупик, вытаращить глаза. Что — женщин? Как это? Почему — женщин!? В каком это, простите, смысле?

Ну конечно же в единственном смысле — филателистическом. Отмечу лишь сначала, что марки — увлечение, в общем-то, мужское. Женщины-филателистки, конечно, есть, но явление редкое, в виде исключения, что ли, допустим, как женщина-сталевар, женщина-рыбак, женщина-охотник, женщина-капитан (а мне встречалась женщина-пилорамщик, и как ворочала она саженные бревна ломом-гандшпугом!). Имеется также в виду женщина взрослая, совершеннолетняя. Девочки-второклассницы не в счет. Не в счет и молодые жены, еще припаяно влюбленные в своего юного мужа, ибо в таком состоянии они прощают (разрешают) ему это увлечение, а лучшие пытаются даже сами светиться, как Луна от Солнца. Это, пожалуй, самый распространенный случай появления женщин на филателистическом торжище, и надо видеть эту девочку-женщину, всегда почти прелестную, как ранняя весна и как молодая газель, когда она тянется из-за мужьей спины в чей-то распахнутый кляссер и слабо дышит, может быть, от

дальнего ужаса, глядя, как муж наносит ущерб неокрепшему семейному бюджету. Ни в чем она не похожа на описанных выше подружек в пижамных парах, и на цветущем, слегка утомленном ее личике еще бродят сполохи счастливых медовых ночей. Она даже пытается скрыть, погасить эти сполохи, но не всегда ей удается, и с понимающей ухмылкой смотрят на нее, подмигивая друг другу, сановные Людовики Валуа и Кондэ. Вот, наверное, самый распространенный тип женщины, причастной к филателии. А далее идут другие формы, иные варианты,— хотя бы такой: супруг-коллекционер еще достаточно молод после серебряной свадьбы, но уж в большом общественном чине, весе, степени,— супруга же отчаянно борется с подступающей старостью и уже чувствует: не помогают, не помогают, чтоб им провалиться, ни косметические кабинеты, ни кремы, ни массажи, ни диета, ни парики. Приходит пора, когда начинаешь ненавидеть зеркало, вот тогда и заболевают женщины увлечениями мужей и начинают сопровождать их туда, куда раньше исчезал он лишь под недовольное брюзжанье. Женщины такого рода еще как будто не исследованы наукой, литературой, но, наверное, оттого, что исследовать особенно нечего. Все они примерно одинаковы, и увлеченно можно беседовать с ними по четырем проблемам: о сервизе, о серванте, о квартире и о курорте. Дальше не стоит: неинтересно ни им, ни вам.

Вот встретил недавно — гуляет в брючном костюмчике по вестибюлю, отдельно от мужа, углубленного в деловые обмены. Лицо — сама скука, спрятанная жалость к самой себе. «Ах! — сказала, пытаясь вызвать оживление в блеклых глазах с раздельно расставленными синими ресницами.— Это ты? Как ты постарел! Ну, как семья? Как квартира? Ты не переехал? Давно тебя не видела». Показалось, что ее лицо, тщательно прожированное витаминно-масляными кремами, ягодноовощными масками,— и само уже маска. Впрочем, что такое — маска? Не суть ли человеческая фиксируется в ней? Ведь если человек — бонза и маска, как у бонзы, если плут — и маска плутовская. Можно ли представить плута с обличьем человека умного и честного? Сомневаюсь что-то... Ну а умного и честного с физиономией плута и рвача? Но мы уклонились от моей знакомой, вернее, от ее неподвижного лица с едва замет-

ными и как бы утюгом разглаженными морщинками. Морщинки... Никакой женщине они не идут, это вам не ямочки на щеках, не веснушечки, высыпающие к сезону очарований. Вот и не улыбается женщина, чтоб не испортить лица. Каменеет лицо...

— А ты знаешь, я тоже решила заняться коллекционированием... Собираю места, где мы путешествовали. Мы же объездили полмира. Сейчас опять вот собираемся в Египет... (Из-за лица это она так сказала: «Выгыпет...») Как здоровье? Да все, знаешь, болею... Печень... Нервы. Давление. Надо на курорт. А ты здорово постарел...

Однако мы отклонились от главной темы. Женщины очень в цене на марочном рынке — имеется в виду изображение женщины на марке. И тут нельзя не сказать о НЮ — обнаженной натуре, ставшей ходовой и дорогой отраслью собирательства.

Хочется мне воскликнуть: «О, женщина! Ты и Земля и Солнце, Воздух и Вода. Шерше ля фам! Везде и всюду без тебя не обходится». Не обошлось и в филателии. А мода сия возникла еще в довоенные времена, когда, по-видимому, стесненный в средствах, уже упомянутый испанский король санкционировал выпуск удивительной серии к юбилею Гойи. Нахмуренный Гойя появился в мире филателии почему-то в паре с вариантом своей известной картины «Маха» (Девушка). И маха была обнаженная, хотя кисти Гойи принадлежит и другая маха — одетая. Известно, что в обеих картинах под видом «Махи» написана принцесса-инфанта, а роман Фейхтвангера свидетельствует: картины помещались одна за другой, так что далеко не каждому посетителю будуара доводилось видеть смелую инфанту-натурщицу. И вот финал: обнаженная принцесса стала добычей филателистов. Скандал не скандал, но факт потрясающий, и мировая филателистическая общественность (какое неудобное слово «филателистическая», но не скажешь ведь — марочная) только что не возмущена, коллекционеры шокированы, обыватель растерян, женщины не решаются посылать письма с такой маркой, а почтальоны-мужчины крадут конверты...

Но минуло потрясение, и человечество — так уже оно, видимо, устроено — перешло от осуждений к рукоплесканьям. И как тут не вспомнить войны против узких и широких брюк, как передать мне взгляды пожи-

лых матрон на юных девушек, надевших мини. Наградой им, наверное, были взгляды мужчин, потому что не жажда ли, не желание ли этих взглядов побуждает женщину изобретать сегодня «макси», а завтра «миди», и одному только богу известно, что они изобретут к будущей весне.

А обнаженная маха все росла и росла в цене. Предложение родило спрос, и спрос рождал предложение, сперва, как водится, робкое. Обнаженные негритянки толкут в ступах сорго. А что тут такого? В Африке жарко. В Африке все ходят так... И появились вслед за сомалийками таитянки, самоанки, конголезки, нигерийки, русалки, валькирии, афродиты, пенелопы, артемиды, просто юные, улыбающиеся, манящие, крутобедрые, круглогрудые... Женщина властно вторглась в филателию, тесня императоров и королей, крокодилов и тигров, памятники и технику, великих мужей и прославленных деятелей. Женщина заулыбалась с марок самых фантастических стран.

Давно известно,— самые красивые почтовые знаки имеют и выпускают крошечные, карликовые государства. Сейчас сразу просится на язык: Монако, Сан-Марино, Лихтенштейн, Андорра. Но это все-таки известные государства. А вот благодаря женщине с некоторых пор открылись миру вовсе уж малоизвестные острова и эмираты, которые найдешь и не в каждом географическом справочнике. Эмирам, правящим такими государствами-деревнями, видимо, не дают спать щедрые недра Саудовской Аравии, а собственной нефти не хватает на содержание двора и гарема. Вот почему они решили наводнить мир раззолоченными, глянцевыми, многоцветными марками, услужливо созидаемыми некой зарубежной фирмой. Эмиры учли спрос: женщина, женщина, женщина — в репродукциях. Боттичелли, Веронезе, Ренуар, Сезанн, Гоген, Дега, Моне и Мане, Матисс и Пикассо. Все, кто в меру своего таланта воспевал прекрасное женское тело. Марки-блоки, марки-сцепки, марки-микро, марки-картины, марки, так сказать, фрагменты. Натягивают черные чулки кокотки Лотрека, демонстрируют раскормленные крупы женщины Рубенса, потрясают изощренной плотскостью на границе с идиотизмом узколицые женщины Модильяни. Не забыт и русский Брюллов (конечно же «Вирсавия»). Никто не забыт во имя эмирской казны. Не беда, что в репродукциях перевран цвет, не

беда, что сам Ренуар побагровел бы от своей «купальщицы» — на одной марке она в синих тонах, на другой в розовых, а там и вовсе четверть купальщицы... Включились в эксплуатацию темы диктаторы Уругваев и Парагваев, растут серии марок, ряды собирателей. И сам я, грешный, покупая очередную серию, радуюсь ей, только думаю иногда, ну родись Ренуар в том эмирате, бегай в детстве по улицам его селения-столицы — марки уж вполне законно прославляли бы своего великого живописца. Однако не славят на родине, если не ошибаюсь, не выпустила Франция еще ни одной ренуаровской серии. Как тут не вспомнить: «Не бывает пророков без чести, разве только в отечестве своем и от ближних своих...»

И другое случается — напечатали же картины Шишкина на конфетных обертках, Васнецова — на папиросных коробках, оказали художникам неоценимую «услугу».

Думаю, что пора бы вернуться к многообразию человеческих увлечений. В самом деле, если б в одну филателию уходили корни собирательских страстей, не слишком ли однообразным представлялось бы лицо человечества? И откуда все-таки пошло оно, собирательство? Не «ветр» ли это «с цветущих берегов», как писал Фет? Говорят, чтобы понять явление, надо спуститься в его первичные глубины, дойти до истоков, разложить на простые множители. Не случайно и человек повторяет в своем развитии весь процесс эволюции живого, от первичной клетки до философствующей материи. Не случайно львята рождаются пятнистыми, напоминая тем древних предков льва, а птенцы изощреннейшего из певцов — соловья — так же бывают крапчатыми, что говорит о их принадлежности к древнему роду дроздовых. Не случайно мелкий головастик больше всего похож на рыбку (и дышит ведь жабрами!). А история собирательства восходит к сбору предметов и существ, произведенных природой: камень, раковины, бабочки, жуки, травы, в изощренных случаях корни, сталактиты, чучела, зубы и когти хищников...

Вижу, как первый коллекционер подбирал осколки кремня, обсидиана, агата и кварца, бродя по галечным отмелям рек, по осыпям камня вблизи своей пещеры. Он любил и ценил камень за его насущный практиче-

ский смысл, камень давал защиту, служил оружием и орудием, дарил огонь, но практический смысл, вероятно, уже у дриопитека и неандертальца дополнялся поиском красивого, блестящего, радующего глаз не только свой, но и соплеменника...

В раннем детстве я тоже, видимо, повторял историю человечества, когда искал и находил самые разнообразные камни и тоже отчасти цель была практической — снаряды для пращи, для стрельбы из рогатки,— но постепенно все более отходил я в сторону чисто эстетическую, хотя это модное понятие было мне абсолютно неведомо, так же, как и дриопитеку. Камни. Просто игра света и цвета, просто разнообразие, просто радость находок... На пустырях возле нашей слободки долгое время сваливали отходы гранильной фабрики. Вы представляете, что можно было там найти? И я находил не только полированный гранит всех цветов — от голубого до черно-серого, но еще и множество яшмы, орлеца, родонита, здесь попадались обломки горного хрусталя, полуотшлифованные топазы, камень красный, бурый, сиреневый, совсем черный, лазурно-голубой, желтый, светящийся самоцветным блеском. Я добывал на свалке друзы фиолетовых аметистов, загадочные своим пасмурным переливом, кристаллы турмалина, мрамор, роговик и даже кусочки зеленого глазчатого малахита. Камень... Увлечение это велико, вышли из него не только геологи-рудознатцы, но художники, но поэты резца и шлифовального круга. Камню мы обязаны бронзой, медью, железом и, разумеется, золотом. Золотой дождь — не оттуда ли пошел? Не от камня ли?

А мои собственные увлечения не ушли дальше ящика с камнями и одной друзой тяжелого золотистого пирита, с великой радостью принятого, конечно, за самородное золото. Помню, мчался с находкой не чуя ног под собой к старшему приятелю — обозначим его просто Юрка — и едва не ревел, разозлился, расстроился, когда Юрка, лишь глянув на мой самородок, высмеял мое золото, превратил его тут же в какой-то «медный колчедан». И пришлось верить: его коллекция была не чета моей, все в одинаковых отполированных ящиках, каждый камень в своем гнезде, с этикеткой, и «золота» этого там было полным-полно во всех видах, даже настоящего немного: кусок кварца с тоненькой прожилкой. Прозаическое имя — Юрка — не выражало сути сего человека, а

суть была такая же, как коллекция. Все в Юрке было рассчитано, высчитано, расчерчено, разлиновано, определено до последнего пунктика. Уж не родятся ли такие с генетически обусловленной аккуратностью? Есть над чем подумать... Сколько ни приучал я себя к его пунктуальности, четкости, ничего не получалось. Лепим вместе на речке из глины — я мокр и грязен, не знаю, с чем сравнить, он — чистсхонек, закатаны рукава белой рубашки, на штанах не смялись наглаженные складочки; идем на болото ловить лягушек, ноги мои промочены, в ботинках хлюпает, в завершение я провалился в жижу до колен,— он даже сандалии не замочил, а поймал больше; покупаем мороженое,— меня обсчитали, а он только посмеивается. Правда, он старше, опытнее, наверное, смышленее его маленькая, как бы седенькая уже на висках голова, и никакая самая быстрорукая тетка его не обсчитает.

Вот и думаю снова: если уж человек неряха и рохля — наверное, от природы и от родителей, если дурак и хам — от того же, если умница и милейший человек — тоже от природы и от родителей. Необходимая же завершенность в аккуратности, в хамстве, в доброте осуществляется самошлифовкой, идет как расширение первичных добротелей или пороков... Но тогда что же делать с воспитанием? Отменить? Пустить все самотеком? Тогда зачем литература? Зачем вера в добро и в доброе начало в человеке? А тут, наверное, все очень просто: редкий человек состоит из одних добродетелей или из одних только пороков, бóльшая, подавляющая, абсолютная часть человечества всего имеет понемногу. Вот и нужно этому большинству проявление и подкрепление добрых начал. А те немногие, что родятся с абсолютным преобладанием добра над злом или зла над добром, мне кажется, все равно везде пойдут своей стезей. Очень хочу, чтоб доказали мне: жил-был, скажем, матерый карманник и домушник, раз десять отбывал сроки, а после одиннадцатого сделался милейшим порядочнейшим человеком; и обратный пример — был тихий, спокойный, добрый человек, мухи никогда не обидел, учился, работал, улицу на зеленый свет переходил, а обратился вдруг в стригущего глазами, прищепетывающего и жестикулирующего вора «в законе».

Нет, конечно, правила без исключения, но ведь исключение-то как раз и подтверждает, что есть правило...

Коллекционером камней я не стал. А вы не знаете, как называется эта камнемания? Уж не филоминералия ли? Минералофилия? В общем, страсть к безжизненным дарам земли зачахла в зародыше, и не достиг я даже первого перевала к той вершине, которая случайно обнаружилась в разговоре с одним знакомым. Знакомый — обозначим его просто Яша,— любитель поэзии и сам пописывающий на досуге, знаток романских языков и собиратель поэтов-модернистов, от древних мистиков до Бодлера с Метерлинком, до Мережковского и Соллогуба в отечественном исполнении, Яша, в подпитии цитирующий Рембо, Цветаеву, Городецкого и Пастернака с вдохновением жреца и посвященного, а с виду похожий на дореволюционного дворника, особенно когда нарядится в сатиновую — горошком — рубаху,— Яша похвастал мне, что приобрел в собственность томик Мандельштама. Разговор у нас пошел от Мандельштама к Пастернаку, от Пастернака свернули к Лорке, от Лорки к Хлебникову и Василию Каменскому, далее о погоде, о здоровье и камнях из почек. Я рассказал Яше со смехом, какую великолепную коллекцию камней, вынутых оперативно, держат под стеклом в коридоре энской больницы, и тут же, в коридоре, лежат и ходят больные с подобными камнями и смотрят, и обсуждают, бледнея, какой камень предположительно у того или у другого. А камни в той коллекции, от мизерных крапинок до почти дорожных булыжников, какими раньше выкладывали мостовые. При упоминании о камнях Яша встрепенулся и сообщил, что завтра они тоже едут копать камни, что там, куда они едут, даже изумруды, говорят, бывают, и пошел он, и пошел о камнях и о камнях, простояли мы битых два часа, и я поразился, как просто могут сочетаться вершины символизма с еще не открытыми копями царя Соломона.

Так вроде бы, постоянно уходя в размышлениях от главного предмета, от «ПОЧЕМУ?» и «ЗАЧЕМ?», я, наверное, все-таки приближаюсь к истине, ибо перешел от произведений человеческой руки к творчеству природы — первооснове всякого творчества вообще. И, разумеется, творение живых существ, одушевленных и ускользающих от коллекционера в меру своих способностей, ног и крыльев, было осуществлено природой много позднее, чем изобретение изумрудов и алмазов.

Когда говоришь о коллекционировании существ живых, невольно вступаешь в конфликт с моралью и этикой. Все живое, до бактерий даже, до бессмысленных вроде бы червей, хочет жить и совсем не стремится попасть в спирт, раскиснуть в формалине, а тем более подвергнуться ужасной пытке — быть проткнутым живьем швейной булавкой и корчиться на ней иногда не одни сутки (а есть еще булавки специальные — энтомологические, длинные и тонкие, как волосок, впивающиеся в пальцы, едва к ним прикоснешься). А душегубки-морилки, где несчастное насекомое корчится, шевелится, взлетает, беззвучно молит кого-то о чем-то. Как совместить это с понятиями любознательность, доброта, увлеченное собирательство? Я боюсь задавать себе этот вопрос, ведь в детстве все мы бываем неосознанно жестокими, и мораль вполне очевидная либо не осознается нами, либо уходит куда-то на задний план, а на переднем плане остается главное — коробки с засушенными чудесами: усатыми, бронзовыми, серебристыми, расписными, рубчатыми, рогатыми, отливающими полированной закаленной сталью, воронеными, многоцветными, светящимися, покрытыми сложнейшим, однако всегда присущим данному виду узором.

Первичное бессистемное собирательство, которому предавались в детские дни все без исключения — ну хоть на один день: ведь появлялся же в ваших руках некий замечательный с виду и несчастный жук, и вы тотчас же решали оставить его для будущей огромной коллекции, садили в коробку, носились с ним, показывали всем, а назавтра уже навсегда забывали о существовании этого жука, так что, обнаружив его в коробке лет через пять-десять, уже никак не могли вспомнить, откуда он там взялся, как туда попал. Первичное собирательство рождает случай, но для того, чтобы оно стало страстью, надо, во-первых, чтобы случаи эти повторялись, а во-вторых, надо иметь, наверное, к собирательству особую душевную склонность. Ваша страсть может также пройти несколько расширяющихся кругов, либо уже на первом-втором витке, подобно спутнику, запущенному на временную орбиту, она должна снизиться, потерять инерцию (интерес) и сгореть без следа в более плотных слоях вашей интеллектуальной сферы. Так говорю я с уверенностью, ибо сам пережил этот выход на энтомологическую орбиту после обычной, неизбежной, как корь,

детской вспышки и прошел еще два круга в студенчестве и в более зрелые годы.

Все началось с жука, которого я даже не сам нашел,— сообщил мне о его местонахождении самый мой близкий друг-приятель в детстве Юрка, но в отличие от уже названного выше Юрки это был китаец, и я привык обозначать его так: Юрка-китаец.

— Тамо наша тебе жук покажи! — сказал он, улыбаясь во весь желтозубый рот.

— Большой? — спросил я, ибо в детстве величина жука — главный показатель его ценности.

— Шибко большая... Шибко... Вот такая...

— Врешь...

— Шибко... Надо ходи...

Мы побежали.

Жук сидел в сыром углу каменного спуска в подвал, где жили китайцы, и показался мне невероятным. Он был овальный, черный, блестящий, с голубоватыми глазами и величиною, наверное, со столовую ложку, если брать ее без черешка... Возле жука на корточках сидела сестра Юрки, китаяночка Рита, и боязливо посматривала то на меня, то на жука черными ночными глазами. Я радостно схватил жука и объявил, что это не просто жук, а жук-водяной, плавунец, я был в этом накрепко убежден, ибо уже находил гораздо более мелких, но подобных ему, к тому же от жука пахло тиной и сыростью, и глаза у него были какие-то водяные, напоминали глаза рыб, если только рыбу сварить. В доказательство я принес банку с водой, куда жук тотчас нырнул и начал бойко плавать, взмахивая ногами-веслами и щелкая о стенки, а Рита подняла вой:

— Моя жук! Моя жук! Мой краунец! — причитала она, хватаясь за банку, и Юрка потупленно признал, что действительно открытие жука принадлежит Рите.

Пришлось отдать банку, и я ушел сердитый и на Юрку, и на Риту, и все еще в недоумении,— вот, оказывается, какие бывают громадины-жуки, разве чета тем, которых постоянно находил я в огороде и на пустырях под камнями.

Но на другое утро китаец прибежал снова и с виноватой улыбкой сообщил; что нес мне жука, а «жук уехала». Улетел жук. В доказательство китаец показывал ладонь, на которой жук оставил какую-то вонючую жидкость. В то, что жук улетел, я не мог не поверить —

китаец никогда не обманывал меня, но какое же действительно чудо этот плавунец, если может жить на суше и под водой, и плавать, и бегать, и летать... (Помнится, я не совместил этого открытия с утверждением о совершенстве человека.) Однако громадный озерный жук побудил меня расширить и усилить поиски подобных существ, и все лето прошло в этом поиске и многих счастливых открытиях. Так я нашел несколько синих больших жуков-навозников, серебристого и словно бы каменного жука-златку, огромного с острым полированным рогом жука-носорога и несколько великолепных усачей, причем поимку каждого из них помню во всех подробностях. Одного, например, зеленого широкого усача я поймал на гнилом осиновом чурбаке, что валялся за ненадобностью возле забора уже не один год, другого жука, темно-бронзового, сбил кепкой, когда жук летел, расставив усы и крылья, как нечто весьма странное, даже пугающее, выделяясь на яблочно-спелом фоне заката. Жук остался у меня, и я хорошо помню весь этот вечер, темноту заборов, молчание тополей, желтую дынную дольку луны и усача, летящего на закате. А еще один жук-усач серо-голубой, напоминающий тоже бронзу, только в древней жесткой патине, сел на меня сам. У этого жука были замечательные голубовато-серые усысяжки, состоящие из конусов-члеников, и длина этих усов-антенн превосходила самого жука раз в пять. Впоследствии я узнал, что усами жук измеряет температуру дерева,— а больное дерево «температурит». Кроме того, усами жук воспринимает сигналы самки, что помогает ему найти избранницу гораздо легче, чем прочим существам в этом сложном мире.

Многое началось с тех жуков. И еще было существо, оставшееся на всю жизнь.

Помнится мне тридцать пятый или тридцать шестой дальний год. Я, шестилетний мальчик, иду с бабушкой по вечерней улице-одинарке, кажется, с названием Ключевская, а название и сама незавершенность улицы объясняются тем, что по правой ее стороне как-то странно и чудно среди ветхих проулков нашей Мельковки лежало, расстилалось вширь чистое травяное болото. Да, болото, с калужницами, с релками и грядами веселой зелени, с двумя трухлыми березами у дальних заборов вплоть подступающих к болоту домов, со старым топо-

лем, точно забытым богом и временем, посреди этого зеленого мира, ближе к его краю. Помню, как поразил меня именно этот осязаемый и обоняемый, донельзя живой и свежий цвет зелени, вид мягкой травы, чистых луж и осоки. Мне хотелось бежать туда, ощутить траву ладонями, понять ее ласковую прохладную суть. Зелено было здесь все, лишь вода между релок голубела и розовела, напитанная краской неба, да озерко, что примыкало с одной стороны к улице, а краем уходило прямо под склоненный заплот последнего домика у болота, было коричневым, налитое чистой торфяной водой, опасно темнеющее по сходу дна прохладной водорослевой глубью. Вдоль дороги бежали в канавах серебряно-быстрые ручьи. Улица словно дышала ими, сочилась водой, влагой, тихим закатом. Везде столбилась и роилась мошкара, толклись комарики, пролетали жуки, и особенными, будто румянец стыда на чистейшем лице, тонами алело и холодело здесь небо.

Мне никак не хотелось идти дальше. Я запинался и останавливался, вдыхал счастливый запах этой улицы, вырывался у бабушки, и в конце концов она отпустила меня. И тотчас, перескочив канаву, я побежал по влажной траве с чувством безмерного освобождения, невысказанного восторга от всего тут: запахов воды и травы, озерка, болотных цветов, золотого вечера, даже темной бревенчатой впрожелть стены старого дома на краю болота.

Что-то запрыгало у меня под сандалиями, торопливо начало удирать, прорывалось и путалось в траве. Что это? Кто? Я припал к земле, приглядываясь, и после двух-трех неловких попыток все-таки схватил, накрыл ладонями это быстрое и нескладно удирающее, ощутил прикосновение чего-то прохладного и нежного. А когда открыл полусжатый кулак, на моей ладони, точнее, у пальца, сидел маленький светло-матово-зеленый лягушонок с золотистыми рыбьими глазками и коричневой спинкой.

В первый раз я видел такую крохотную, меньше кузнечика, а все-таки живую лягушку. О, какой же он был прекрасный представитель другого, травяного и просторного мира! Как странно касались крохотные и все-таки словно бы человеческие ручки моего пальца, какой необъяснимой тайной смотрели живые и завороженно-отрешенные молчаливые его глаза...

Бабушка не позволила мне брать лягушонка с собой, как ни просил (в сущности, может быть, и справедливо, все равно он бы у меня скорее всего погиб). Но слова-то! Слова, которыми она сопровождала свое запрещение!

— Брось! Брось-ко скорее, батюшко! Погань это и нечисть... Вымой руки-то скорей, вон в канаве. Ишь чо выдумал — лягуш в руки брать... Вымой, кому говорю! От лягуш по рукам бородавки идут. Видал бородавки? Брось ее скорее, а руки-то вымой, батюшко...

Выпустил. Чуть не плача смотрел на его неумелый побег в траву. А лягушат тут, видно, было множество, потому что, приглядевшись, я увидел еще и еще, а когда подошел к ручью мыть руки, два-три лягушонка шлепнулись прямо в воду, унеслись по течению, и я не столько мыл, сколько глядел, следил за ними.

В жизни моей было, как и у каждого, немало событий, которые я упрощенно назвал бы и радостными, и горькими. Многое было. Но вот почему столь незначительный случай, событие, как будто не нужное ни мне, ни миру, сохранилось с такой поразительной яркостью, так что я помню все краски того заката и даже бревна того домика у болота, отемненные впрозолоть солнцем и дождевыми ветрами, помню и стеклянный блеск бегущей воды, и ее тихую ласку, смывающую прикосновение того существа, что вряд ли жило на свете дольше нескольких дней в как будто неспешном, недвижном, на самом же деле с пугающим ускорением летящем времени...

С того вечера болото завладело моими мечтами. Я просто бредил им, вспоминал всякий день, мне хотелось бродить по этим травяным залогам и полянкам, вглядываться в воду луж, искать жуков — они, конечно, были там, ведь именно оттуда, с болота, прилетали изредка в наш солнечный сухой двор синие и золотые стрекозы, бабочки-голубянки и мало ли еще какие летающие существа, которым вроде бы нечего делать в городе. Туда, на болото, летали скворцы, что гнездились у нас в щелястом гнилом скворечнике, с болота зимой являлись чистые яркие снегири, чечетки, стайки вьюрков и щеглят. И даже любимое мое созвездие — Бо́льшая Медведица — всегда загоралось в той стороне и словно бы жило всегда над этим болотом.

Так складывалась в сознании по каплям страна безмятежности, чуть не сказал страна счастья, ведь поня-

тие это было в далекие те дни лишь осязаемым, но никогда не называлось и не обозначалось словесно. Просто там, в той стороне, жило что-то неведомо прекрасное, там было все, что искал и чем без меры наделял эту страну по-детски восторженный ум. Всякий день я вспоминал болото — вот, оказывается, чем можно увлечься в детстве — часто забирался на забор или на сарай, смотрел туда, где за крышами и тополями слободки, в недальней близи, виднелись те болотные березы.

На болото меня никогда не отпускали, но вот прошло какое-то время — год не год, два не два, в те дни ведь есть лишь бесконечное лето, бесконечная осень, бесконечная зима и весна,— и я стал ходить туда с бабушкой довольно часто. На болоте, на самой его середине, построили нелепый дощатый сарай и стали торговать керосином. О, стоит ли повествовать, как бабушка с пахучим жестяным бидоном и с темной бутылкой, куда наливали денатурат — едкую жидкость для разжигания примусов, шла на Ключевскую и за ней или впереди нее радостно бежал я, хоть запах керосина и «енотурата» что-то словно бы отравлял во мне и в моих мечтах о болоте. От керосина пахло примусом, кухней, картофельными очистками, очередями, еще чем-то тусклым, беспросветным, старческим и барачным, «енотурат» — голубая холодная влага, воспламенявшаяся и горевшая тихим текучим и тоже голубым пламенем, вполне реально соединялась у меня с черноликими мужиками из нашей слободки, которые пили ее под заборами прямо из бутылок, захлебывая ужасную синеву ковшиком воды, подолгу валялись потом под теми же заборами,— мужики эти, казалось мне, наверное, пили и керосин.

Керосиновый сарай. Что может быть оскорбительнее для лица земли, для ее миллионами лет создававшегося чистого мира? Не затем ли уж так глубоко прятала Земля в свои недра все эти жидкости и угли. Но их нашли, добыли, без них было не обойтись... Стоял сарай-ларек на пока еще зеленом веселом и чистом месте. Болото еще преобладало, еще смеялось над этим строением, над грудой черных железных бочек возле него и над жидкой очередью старух, женщин и девчонок с разнообразной жестяной посудой.

Я же всегда хотел, чтобы очередь была подлиннее: ведь пока бабушка стоит в ней, пока дойдет до темного входа, где возле бочек с медными кранами и ведром под

ними колдует, наливает свои лоснящиеся алюминиевые мерки (и так же яро, керосиново пахнет) человек, похожий на черта, с желтым прокеросиненным лицом, в керосиновой одежде, с такими же руками — весь он точно выкупан в этой жидкости, вымочен в ней и произносит ее название как-то особенно смачно и едко: «карасин»,— так вот до тех пор, пока человек этот не нальет в бабушкин бидон керосину и в бутыль голубого «енотурату», не возьмет деньги и не сдаст сдачу вонючими «карасиновыми» монетами, я мог быть свободным, бегать по болоту, у калужин и ручьев. Я мог искать и ловить лягушек, следить тритонов — водяных ящерок, как называл их тогда с великим восхищением. О, если бы поймать хоть одну такую! Мне попадались здесь жуки плавунцы и водолюбы, клопы-гладыши, медлительные водяные скорпионы и хищные членистые личинки — кошмарные существа, если б их увеличить во много раз и дать написать каким-нибудь художникам-сюрреалистам. Но мне было тогда не до модных художественных течений, куда интереснее была обычная сухая коровья лепешка, в которой прятались синие, красные и разноцветные жуки-навозники.

И не думалось как-то, что с появлением керосиновой лавки пришел конец всему этому тихому миру — болото исчезло потом как-то невидно и постепенно. Сперва упали под чьим-то хозяйственным топором гнилуши-березы,— березы столь живописные, столь входившие в пейзаж болота, что и до сих пор берегу я их в памяти, как некую дорогую акварель; помню, как, уже повзрослев, ходил мимо них твердо-мерзлой осенней улицей в школу и останавливался, рискуя опоздать, опаздывал, а сам все смотрел в бледное просквоженное ветром и свободой небо над ними, бывал непонятно счастлив, когда слышал там голоса пролетающих чижей.

Не стало берез. В войну срубили и тополь. За уже пошатнувшимся керосиновым сараем возник забор с унылыми строениями, с черной железной трубой на проволочных растяжках. С болота тянуло теперь какой-то мыльной дрянью, тошным запахом фенола, и калужины залились белесым щелоком, недвижной тяжелой пленкой. Исчез домишко, стоявший с краю, иссяк и спрятался куда-то серебряный ручей, а с ним и озерко, что всегда томило меня своей подводной жизнью и глубью, своими перистыми водяными травами. Дошла наконец

очередь и до керосинового сарая. Его тоже снесли, а на замыленное, погибшее это место валили сор, камень, битую штукатурку, гипсовый хлам и бросовую землю, ту самую, что вынимают на постройках вместе с проволокой, железом, гнилыми досками, кирпичами. Прошло совсем немного времени, и от болота осталось лишь пространство, со всех сторон сжимаемое наступающими домами.

Совсем недавно я проходил здесь. Болота не было. Полузастроенный пустырь с рядами железных, крашенных в серое и в алюминий гаражей открылся мне на этом месте. На тощей глине, меж куч щебня, торчала промазученная лебеда. Не узнавая, я все-таки припоминал. Вон там, должно быть, росли березы, там стоял тополь, там начинались огороды слободки, первые домишки. А где же озерко? Где? Найти хоть место... Я замедлил шаг, прошел за гаражи, посовался вправо и влево. Где? Найти хоть место... И я нашел его. Невдалеке от дороги, за последним гаражом, среди куч щебня, вдавленного железа и кореженной проволоки была небольшая яма. Плотная желтая ряска забивала ее до краев. Неужели — оно? Все, что осталось от болота? Неужели?.. Поднял валявшуюся палку, зачем-то пошевелил ряску. Она сдвинулась неохотно, медленно открылась полынья черной клозетно-вонючей воды — воды ли? — скорее это была жижа с тухлым запахом. Я бросил облепленную ряской палку, полынья закрылась. Прохожие с усмешечками глядели на меня, иные даже оглядывались. Выбрался на дорогу, побрел.

Я шел мимо гаражей и мимо дворов, где сушилось на веревках белье, отрешенно играли дети и галдел с балкона чей-то транзистор,— и все вспоминался мне тот ясный, спокойно-розовый, влажный и тихо-золотой вечер, воздух с комариками, с запахом осоки, росы и воды, и тот матовый лягушонок, что доверчиво держался лапками за мою руку...

А теперь представьте себе здоровенного парня-мужчину, который с большим желтоватым сачком, сшитым, правда, не из тривиальной марли, а, как полагается по науке, из крепкой канвы-конгресс, бродит по опушкам и по травянистым межам, бегает за стремительно улетающими цветными лоскуточками тяжелой поступью Го-

лиафа, подолгу стоит возле старых пней или сидит на берегах ручьев и болотец. Что-то там ждет-поджидает, к чему-то подкрадывается, что-то находит. Его не раз встречают с той улыбкой, которая всегда бродит на лице, скрывается в глазах опытных психиатров и следователей, ему задают вопросы, тягостно-глупые или озабоченно-настороженные. Однажды его всерьез скрадывают два лесоохранника и милиционер с наганом.

— Чем занимаетесь, гражданин?

— Доку́менты — доку́менты!

— Кого делаешь тут?

— Вот ловлю... Собственно... что вам... нужно?

— А разрешение как?

— Какое, простите... разрешение??

— Как какое? Ну, на эту твою... вашу охоту...— уже помягче, но все-таки достаточно жестко.

— Но я же — бабочек!

— Вот мы и говорим — ба-бо-чек... Ну-ка, покажите, что у вас там в банке...

— Пожалуйста...

Долгое рассматривание. Взгляды то на вас, то на банку непонимающе трудные, недоверчиво щупающие, под конец все более презрительные. Вопросы. Доку́менты. (К счастью, я их всегда ношу с собой.) И наконец краткое:

— Для музея, что ли?

— Себе... Коллекцию собираю.

— Хм... Чудно... Хм... Делать, видно, вам нечего... Ну, извините, бывает, конечно...

Это в смысле: «Бывают, конечно, такие болваны, что с них возьмешь. Дурачок не дурачок, а около того...» И уходят наконец, слава тебе, господи, и улыбаясь, и оглядываясь еще все вроде бы с неуспокоившейся тревогой. Совсем, как в той китайской пословице: «Когда мужской монастырь напротив женского монастыря — даже если ничего не происходит, все-таки что-то есть».

Я не очень обижался, в конце концов больше было смешно, я чувствовал, что так оно и должно быть: белая ворона... Не знал я тогда еще, что и художнику академику Пластову, сидевшему с этюдником за околицей, старик-односельчанин,— долго глядел из-за спины на движения кисти, покачивал головой как бы в понимании и одобрении,— под конец изрек со вздохом, су́рово:

— Не-чего де-лать...

Нечего делать! Нечего делать... Как часто так расценивалось недоступное, непонятное, непостижимое, над чем бьются и бьются. Нечего делать... Бродит по городу некто, ищет единственное лицо. Нечего делать... Томится в поиске невозможного. Нечего делать... Лежит на диване одержимый, отвернувшись от мира. Нечего делать... Корпит в библиотеках подвижник, просиживает последние штаны... Несчастные? Гонимые? Осмеянные? Ошибаетесь!..

О сладкие скитания по опушкам, полянам и порубям! Глинистые обрывы речек, где цветут сухие былинки и бегают медные жучки... О милые мне заросли малины и кипрея! О пустоши с золотым веселым дроком,— он пахнет нежным жидким медом, весенним ветром и вечностью... О пустоши, неоцененные, заброшенные, не понятые никем, живущие сами по себе, как может жить только земля. Здесь лежал я, уткнувшись в траву, в ее прохладную жестко-мягкую щекочущую лоб и щеки суть и, подобно Антею, набирался силы от матери-земли.... О речные плесы-пески, прохладно-коричневая глубина с круглыми листьями кувшинок, тени мальков едва видной стремительной стайкой, стрелолист и осока у берега бочажка, наивно-мудрого, как голубой глаз,— тут сидел я часами в созерцании тихо идущей жизни... О счастливые находки под корой пней, на поваленных стволах, в цветах и репьях, в болотных травах и водах...

Жуки и бабочки много дали мне в неосознанном совершенствовании чего-то несовершенного, неполного и незавершенного внутри себя, открыли мир рациональной и бессмысленной как будто красоты, соприкасающейся и восходящей к какой-то высшей тайне. Редкий жук-слоник, найденный на поваленной березе, в точности воспроизводил узор бересты на своих надкрыльях, казался весь берестяным, но почему он так удивительно похож на вымерших, отринутых временем слонов? Зачем крылья бабочки Apatura iris — ивовой переливницы — могут быть то кофейно-темными, то покрытыми голубым электрическим огнем? Случайность ли, что многие лесные бабочки названы именами древних богинь, нимф и волшебниц — вот таковы: Цирцея, Ниобея, Селена, Пандора, Феба, Гермиона, Дриада... Бабочка — дриада! Сей вопрос, возможно, и не мучил меня сильно, однако он всегда содержался-присутствовал, если я ловил, скажем, редкого в наших краях парусника и пони-

мал, что его большие соломенно-желтые с черным крылья в тон раскидистому желтому дроку... Но — хвостики на крыльях парусника, но — красно-голубые, обведенные синим пятна на тех же крыльях уж ни к чему не привязывались, никак не объяснялись, кроме Фата Морганы, творений Метерлинка, и ни к чему не звали, как только просто сидеть зачарованно, где-то совсем одному на дурманно и чисто благоухающей вырубке, синей от луговой герани, и растворяться в дыхании ветра, в птичьих голосах, запахе травы и синеве небес,— чувствовать с тоскливой озаренностью себя вечным в краткосрочной ступени возвышенного бытия.

Окраски бабочек, скульптура жуков исходили неотделенно от этих опушек, берез, кукушкиных слезок, орхидей-любок и венериных башмачков, осеннего тенетника, журавлиных криков, багряных осинок, песен зябликов, щелка и рокота майских соловьев, совиного пера, осенних зорь, тихих закатов, грез о дальних землях,— и мало ли еще такого, о чем только тихо и сокровенно полудогадывается душа.

Вот почему я не скорблю, что эти увлечения сгорели без остатка. Зола их удобрила более нужную душевную почву, на которой многое может взойти. А если уж пользоваться снова модным термином космонавтики,— энтомология перевела меня на новую ступень, иную и высшую орбиту полета...

В вопрос ЗАЧЕМ? входит мечта о совершенстве, стремление к красоте. Оно так же плохо объяснимо, как крыло парусника. Стремление к совершенству и красоте не отпускает человека, пусть он даже кладбищенский нищий, пропойца, спящий на заплеванном вокзальном полу. Мечта заставляет лгать возвышенные истории падения, оправдываться, искать правду там, где ее уже не найти, заставляет надеяться распятого на кресте старости, в застенке отвержения, одиночества и болезни. Она заставляет что-то искать даже пресыщенного лаврами, но это не типичный случай... Неандерталец шлифует копье... Первобытная Ева рисует звезды-узоры на ягодицах, глядясь в воды ручья. А деревенская девочка и ныне творит веночек из одуванчиков под размывчивое хныканье, с голубой радостью примеряет его на ржаную русую, как поля, головку...

У магазина по доскам сгружали тяжелые ящики с пианино. Тут же их расколачивали, а потом, взявшись по восьмеро, нацепив мешочные лямки, тащили-вкатывали инструменты в магазин. Грузчики были в общем-то одинаковые, каких немало работает при магазинах и мебельных складах — ребята-калымщики с постоянным винным душком. И все-таки выделялся меж них один, так же нетвердый на ногах, так же одетый грязно и дурно, однако было в нем что-то неуловимо непохожее, и я стал приглядываться, пытаться понять какую-то его тихую глубину, жизнь в себе. Грузчики кое-как столкали пианино в кучу и ушли, а этот все стоял возле новых, роскошно облитых лаком инструментов, он, казалось, не решался уйти, что-то соображал. Вот вздрогнул, было заметно, как прыгнули желто-черные пальцы на полированной крышке. Человек открыл крышку, и пианино радостно улыбнулось ему. Он медленно склонился, взял неверный глухой аккорд. Я ждал пьяного треньканья, в лучшем случае «собачьего» вальса, но человек, забыв обо всем, видимо, перемогая хмель, справился и заиграл уверенно. Странно звучал полонез Огинского в этом культмассовом магазине средь эмалевых кубков, шахматных досок и фигур, каких-то вымпелов, лыжных палок, велосипедов со свернутыми рулями и неезженых новеньких мотоциклов. Играл опущенный пьяный человек в замызганной ушанке, в солдатском старом бушлате. Нет, не виртуозно, где там, со сбивами и переходами, играл так, как идет человек под хмельком, и все-таки это была вполне профессиональная игра музыканта, некогда хорошо обученного, может быть, и воспитанного в музыкальной семье,— именно музыканта. Кончив полонез, он взялся за Бетховена, что-то из Лунной сонаты забрезжило под нетвердой рукой, и тут же он устыдился, захлопнул крышку, убегая от себя, зашаркал прочь. Он именно убегал, стыдливо шаркая валенками, напитанными грязной весенней водой.

И никогда не позабуду сценку, что поразила меня тоже в магазине, на этот раз писчебумажном.

Двое, мужчина и женщина, по-библейски вошли, держась за руки. Держались друг за друга потому, что были веселы, благоухали хмелем, вообще, чувствовалось, находились в этом постоянном марьяжном состоянии. Мужичок в фуражке лесного ведомства — скорей всего пожарный сторож, его подруга, пожалуй, из тех,

встречающихся еще, к сожалению, по вокзалам и базарам, в компаниях таких же торговок известкой, пихтой, вениками, еще непонятно чем. Облик подруги объездчика состоял в основном из синяков разного цвета и давности.

«Зачем они здесь?» — спросил я себя и не успел подумать, как женщина, громко вскрикнув, как от большой радости, поволокла мужа к прилавку с кипами плотной цветной бумаги. Такую бумагу любят портить первоклашки на уроках труда, а учителя обертывают ею журналы.

— Деньги! Где у тя деньги-то? Давай скорея,— заторопила подружка, дергая улыбчиво медлительного, счастливо мигающего мужика за рукав.— Ох, хороша... Ц-ц... Какая гумага! — в умилении повторяла она, оглаживая кипы и не решаясь отпустить руку.— Да чо ты там!?. С деньгям-то! Уснул, чо ль?

Мужичок в улыбчивом трансе все шарил под пиджаком по гимнастерке, не то не мог расстегнуть карман, не то не попадал.

— Тьфу ты, копуша,— последовало четырехкратное послесловие, и женщина сама обшарила карманы, нашла деньги, оживленно приговаривая: — Смотри-ко, какая гумага! Счас это... Возьмем... Три листа. Так, значит... На стол красну возьмем, на камот — синюю... А на тунбочку — вот эту, зелену...

«А на тунбочку — зелену»,— повторил я про себя и подумал: «Что это? Умение радоваться? Счастливая непосредственность? Пьяная дурость? Неразвитость чувств? Духовная пустота? Как это можно и надо понимать? Или никак понимать не надо? Покупают же девочки из рабочих общежитий целующихся голубков, кошек из фольги, глиняные копилки, тошнотворно красивых молодых людей, лобзающихся с такими же возлюбленными. Находят же спрос шкатулки из открыток и пресловутые коврики с лебедями... И это тот же случай, может быть, в самом худшем виде».

Ушли супруги совершенно счастливые, обнимая друг друга, унося скатанную трубкой недорогую покупку.

Не решился бы делать сей факт достоянием литературы, если б не встретил пьющую чету снова, мало не через десять лет. Встретил их на этот раз в электричке и, к собственному изумлению, без труда узнал. Словно бы не постарели, так и просится расхожее утвержде-

ние — заспиртовались, и сам я, наверное, старше стал. Бывает такое в жизни. Вот, к примеру, учительница, которая меня обучала, казалась мне очень пожилой женщиной, мне было пятнадцать — ей, наверное, двадцать пять, теперь встречаю ее — мне за сорок, ей — за пятьдесят, и удивляюсь: ну как это можно так сохраниться? А в самом деле секрет прост: и я, и она неуклонно приближаемся к тому возрасту, когда не все ли равно уж — семьдесят или девяносто...

Были мои невольные знакомые в том же состоянии, шевелились медленно, а мужчина приобрел еще огромный безобразно морщиненный шрам на правом виске и выше, словно бы кто-то от души хотел стебануть его обухом, да промахнулся, задел скользом. Лицо женщины еще более очугунело, и теперь уже никакой синяк на нем не был бы заметен, потому что по цвету сходило за каслинское литье.

Компания довольно громко шумела, порывалась петь, излучала длинные винные волны, люди постепенно отсаживались от них подальше, и вскоре пьяницы остались среди вагона, как на островке. Я сказал «компания», потому что с четой супругов был некто третий, тюремного обличья молодой мужчина, его они звали то Володей, то Валерой. Володя-Валера был, видимо, из недавних друзей и ехал в гости или переночевать. Известно, что люди, подобные описанным, легко знакомятся, в пять минут становятся друзьями и так называемыми «корешами»,— ненавистное мне слово, скверно пахнет от него табаком, водкой, матерщиной и какой-то еще обязательно псевдоматросской удалью. И опять скажу: не стоило бы тревожить всю честную компанию, если б не одно примечательное явление... Женщина держала в худых коленях нетвердыми руками горшок с цветком. И цветок этот — глоксиния — невинно смотрел большими белыми с синим бархатными колокольцами. Он казался несчастным и напуганным.

Временами женщина угрожающе кренилась с лавки. Тогда супруг на нее кричал, а Володя-Валера бросался подстраховывать горшок с невиданной заботливостью. Он даже вообще хотел принять цветок, держать сам, но женщина наотмашь брякнула его по лбу, и он отступился. Все началось сначала...

В конце концов горшок все-таки выскользнул из невладимых рук, с глухим стуком раскололся на полу —

вагона. Раздались дикие крики, вой, мат. И видавшие виды пригородные женщины морщились, а мужчины в вагоне принимали вид суровой готовности, не ввязываясь, однако, в семейное дело. Наконец шум поутих. Валера-Володя полез собирать черепки. Мужичок нетвердо закурил. А женщина... Она привалилась головой на спинку скамьи и вдруг зарыдала, зашлась в три ручья, и, вслушиваясь в ее причитания, в это пьяное горе, я опять увидел, как в потерянном, потерявшем себя без остатка существе еще метался и горевал человек, искал в себе женское и человеческое, и оно проступало через плач, чудилось в согнувшейся спине.

Жизнь цветка, по-видимому тоже стремившегося к совершенству,— иначе зачем же он так цвел, возводил эти бархатные волшебные трубы с белыми звездочками внутри,— побудила вспомнить, что и таинство растений не обошло моего детского круга познания жизни. На пустырях, свалках и огородах, где неслышно проходило мое детство, росло бесчисленное множество растений, трав и цветов, которые я или считал за нечто родное, свойское,— а это в первую очередь были лебеда, полынь, репьи, крапива, мать-и-мачеха — или они поражали меня своим видом, запахом цветения, чем-то еще непонятным, только едва угадывающимся тайным предназначением.

Бело-розовые и сиреневые крепкие цветы тысячелистника с перистыми зелеными ответвлениями напоминали об аптечных коробках, череда соединялась с лягушками, синий с желтым паслен походил на цветущую картошку, шиповник был из царства грез, темная с зазубринами, с серебряной чернью белена имела отношение к Пушкину, к «рыбаку и рыбке»: «Что ты, баба, белены объелась?..», а колючий и тускло-зеленый дурман сочетался с обликом одного моего одноклассника, которого и фамилия была Дурманов. Хорошо помню, как однажды этого Дурманова, будто на каторгу, толкая в шею и в спину, привели в школу мать и отец и буквально втащили, впихнули в наш класс. Потом отец ушел, а мать осталась караулить сына в коридоре. Стриженный «нагладко»; весь светившийся оранжевой щетиной по яйцевидной голове, с белыми, сголуба, как снятое молоко, бешеными глазами, Дурманов ни на

кого из ребят не был похож. Учить он ничего не учил, не отвечал ни на один вопрос, а только сидел в странном пришитом оцепенении, как сидят только что пойманные птицы и дикие звери, глядел в окно. Задетый, бешено оборачивался и бил кого попадя, чем попало, с нечленораздельным воем. Едва родители переставали его доставлять и сторожить, он мгновенно исчезал, не появлялся неделю и месяц, пока опять его где-то не находили и снова вталкивали в класс. В хоккее есть такой термин «вбрасыванье»... Дурманов все-таки в конце концов сбежал, больше в школе не появился. Говорили — попал в колонию.

И цветок дурман тоже был на особицу: заброшен, колюч, дик и редок и еще сочетался тоже с оранжевым одноглазым котом, который бездомно жил в нашей слободке, неизвестно, кому принадлежал. Оранжевый кот таскал цыплят, опрокидывал кринки в погребах, ловил голубей,— что за кошками вообще не водится,— добывал воробьят из-за наличников, хватал даже ласточек, забираясь под самые коньки, насмерть битый, валяющийся на дороге, он все-таки оживал, и опять его проклинали, ловили, сторожили, стреляли мелкой дробью.

...А Дурманова я встретил однажды у вокзала. Шел ражий, рослый детина, руки за спиной, знакомо-бешено косил глазом, следом два молчаливых милиционера.

Многие цветы напоминали людей. Вот, например, мелкие анютины глазки, полевые фиалки. И они попадались на пустырях, и было в них много женского, напоминали мне девочек и женщин. Совсем определенных девочек — такой была беленькая малышка Анюта, которая всегда, в любую погоду играла на соседском дворе, а запомнилась не столько лицом, сколько белыми штанишками — они всегда торчали-выставлялись из-под ее широкого короткого платья. Другая была — женщина, а может, девушка, и тоже Анюта с нашей улицы. Очень большая, очень толстая и, по-моему, очень красивая. Может быть, бессознательно я всегда эту девушку Анюту ждал, словно бы сквозь забор видел и слышал, когда она проходила улицей, всегда выскакивал за ворота, потрясенно и долго смотрел ей вслед. Она ходила удивительно неуклюже и в то же время тянуще грациозно, как-то мягко сотрясаясь бедрами при каждом шаге, равномерно и мощно двигая задом. Так ходят

коровы, лошади и слонихи. И никогда она не смотрела на меня, не оборачивалась ни разу, погруженная в какие-то свои думы. Лицо всегда у нее было задумчиво-спокойное. Вот сравнил Анюту с цветком, от цветка была у нее, наверное, эта спокойная задумчивость, и сравнил с теми большими животными, а кто-то засмеется, загогочет, скажет: «Фи!». Но хорошо понимали это индийцы, и я вскрикнул однажды, читая индийские веды: «Когда прекрасная, как слон, Мохини шла по дорожке...» Так было сказано о богине любви и красоты.

И с цветами же, точнее с цветником, было связано еще одно событие, оставшееся на всю жизнь, а может, было это не со мной, просто с мальчиком — представителем рода человеческого...

Возле дома было два огорода, один, спускающийся длинными грядами к речке, как и полагается огороду, был занят картошкой, капустой, луком, там росли морковь и свекла под зелеными зонтиками укропа; другой огород был маленький, внутри двора, и здесь росло только то, чем люди балуются в летнее время,— огурцы, помидоры, бобы, горох, кустики земляники, смородина и конечно же цветы. Цветы занимали треть этого огорода, обнесенного желтым, давно облупившимся, но сохранившим цвет палисадником. В палисаднике же среди цветов был устроен серый щелястый стол и скамьи в виде буквы «П». Красно-белые георгины, пряный пахучий табак, львиный зев, цветущий розовыми гроздьями, ромашки-маргаритки, приторно-медовый алесиум и жаркие оранжевые настурции окружали скамьи со всех сторон, так что и сидя за столом можно было следить шмелей, гадающих по венчикам цветов, желтых цветочных мух, похожих на ос, и бабочек, остекленело-загадочно глядящих, сующихся в цветки волосяным хоботком и все время готовых вспорхнуть. Эти бабочки напоминали гуляк, добравшихся до коктейля.

По выходным дням здесь пили чай из большого медного самовара, долгими летними вечерами играли в карты, в «подкидного», если своей семьей; в «шестьдесят шесть» — если приходили гости и засиживались до первых звезд, до тех пор, когда лебеда и цветы уже начинали пахнуть по-ночному прохладно и сыро, вытягиваясь, прислушиваясь к отдалившемуся небу. А в обыч-

ные дни здесь с утра играл мальчик. Он рисовал картинки, загорал, мастерил какие-то простые игрушки и караулил бабочек — то и дело они перемахивали забор с улицы, как видно, на запах цветов. Прилетали всего больше обычные бело-желтые беляки, рыженькие веселые крапивницы, кремовые лимонницы, реже бабочка-непоседа павлиний глаз, черная траурница с белой каемкой, и еще реже настоящие лесные бабочки: перламутровки и шашечницы,— как они оказывались в городе, трудно сказать. Однажды сюда залетел даже дальний житель лугов аполлон. Странно светлый, огромный, стремительный, он реял, подобно белой птице, и восхищенно, забыв про свой марлевый сачок, смотрел на него мальчик, и так же восхищенно щурились, следили цветы. Мальчик понимал, что бабочки и цветы из одного с ним мира и так же могут понимать, чувствовать, сердиться и смеяться, как смеемся, грустим и задумываемся мы. Цветы засыпают и просыпаются, плачут под холодным дождем, радостно тянутся навстречу солнцу, даже следят за ним, поворачивая свои головки, они заранее предчувствуют ненастья и грустят перед осенью,— они живые в своей относительной неподвижности, вечной прикованности, вопреки и в противоположность бабочкам, не знающим ни постоянства, ни покоя.

...Аполлон улетел, не коснувшись ни одного цветка. Улетел внезапно, как был. Он растворился в солнечных лучах, в белом теплом небе, и лишь тогда мальчик посмотрел на сачок и вместе с пониманием ненужности этого сачка с протертой, рваной по ободу марлей, с колючками череды, торчащими в ней, вдруг услышал легкий шорох, движение за соседним забором. Там был узкий полутемный заулок, между забором и старой бревенчатой голубятней. Там ничего не росло, кроме сырой мягкой травы-мокруши, и туда лазил мальчик, когда терял свой мяч, случайно перелетавший через забор. «Кто?» — подумал мальчик и, спрыгнув со стола, подошел, подкрался к забору. Незнакомая женщина в белом платье стояла там спиной к нему. Она была очень ладная и молодая, с золотистыми короткими волосами. Это была женщина, именно женщина, и то, что она встала тут, как бы прячась от всех, потрясло мальчика неодолимой, тянущей воровской тайной... А женщина между тем быстро поставила на землю маленький чемоданчик, небрежно оглянулась и вдруг стала снимать платье,

подняв и захватив подол, освобождаясь от него уже где-то вверху, над головой. Это был первый случай, когда мальчик видел чужую раздевающуюся женщину, и, сцепив зубы, удерживая себя от трясучего волнения, от стыда, стегающего то крапивным жаром, то холодом, он увидел ее теперь в высоких чулках, в голубых шелковых панталонах, врезавшихся резинками в ее мощно-круглые, тугие ноги, и в беленьком лифчике, тоже перетянувшем на боках смуглую кожу спины. А дальше было совсем невозможное: женщина быстрым соскальзывающим движением опустила панталоны, обнажив словно бы сияющее собственным светом тело, и торопливо стала снимать чулки...

Кажется, сердце его было на грани разрыва — так стучало, кажется, он зажмурился, но по-прежнему видел белую божественную в своих изгибах и линиях округло манящую фигуру с темными розовыми полосками на высоких прекрасных ногах.

Позже он видел женщин, наверное, более красивых, он писал в студиях натурщиц, видел картины и скульптуры купальщиц и победительниц конкурсов мировой красоты, но ни одна женщина никогда не приблизилась даже к той, раздевшейся в пасмурном проулке, и навсегда осталась ему широко и кругло развернутая в бедрах фигура, необычная, непостижимая, а теперь уже точно пригрезившаяся...

А когда она торопливо надела розовый купальник и, быстро сунув снятое в чемоданчик, ушла к пруду, туда, где купались, он долго не мог опомниться, оглушенно сидел прямо в цветнике с пылающим лицом. Ему было душно, жарко, он дрожал, вздрагивал точно в приступе тяжелой лихорадки, а цветы смеялись над ним, улыбались ему и ласково-понимающе смотрели — красные георгины и розовые флоксы, фиолетовые дельфиниумы и оранжевые настурции...

Метерлинк приписывал разум цветам. Многие соглашались, восторженно одобряли. Еще большее число возмущалось и хохотало... Мы всегда негодующе смеемся над невероятным,— а не лучше ли призадуматься?..

* * *

Если уж о разуме цветов, то, не зная Метерлинка, ничего не подозревая о его существовании, я по-своему

воспринимал этот их разум, эти краски и запахи цветов, их взгляды и разговоры и молчание, по-своему овеществлял и очеловечивал знакомые и незнакомые растения. Так, полынь для меня всегда была как старуха нищенка под темным и скорбным небом; осот напоминал нечто жаляще-ядовитое; гусиная трава — скучные гобелены; подмаренник — легкие девичьи платья, обязательно шелковые; синюха — это всего лишь синька для белья, а кого напоминал клоповник — и называть не надо; а еще были травы жесткие, как колючая проволока, травы, точно резиновые узелки, растения липкие, как смола, и хрупкие, будто стеклянные, растения, ясно говорившие об осени, один запах, вид которых, рябенькое овальное семя, например, конопли, вызывали во мне горестно очарованное ожидание осени, всего, что приносит она: туч, снега, робкого солнца, дроздовых стай, пиликанья чижей, чечеточьего мелодичного гомона, стылых луж, раскалывающихся, если встать, с морозно-стеклянным звоном,— и много еще рождал этот запах такого, в чем находила печальную усладу моя склонная к одиночеству и, наверное, пасмурная душа.

А иные растения ясно говорили о весне... Крапива, что высовывалась из-под изгородей уже на первом сугреве, едва-едва отходил и еще не стаивал снег,— она была такая весело-зеленая, уверенная в себе, что ей я улыбался, тянулся к ней и без боязни трогал ее первые короткие зубчатые листья-стебли, а слабую боль ожога принимал как первый дар весны. А там, всегда в одном месте, и тоже у изгороди, загорались желтые огоньки мать-и-мачехи, плотно-мелким и трогательно зеленым крапом высыпала лебеда, и все начинало идти своим чередом: почки смородины, почки берез, сережки тополей, черемуха, сирень и, наконец, старая яблоня-китайка в соседнем саду. Всему был свой срок, и растения знали его просто и мудро. Они будто учили меня этой простоте, учили ждать всего в свое время,— а я никогда этого не хотел,— учили сверять по ним свою жизнь,— а я не задумывался,— они были безропотны и всегда спокойны,— а я никогда этого не мог. У них многому можно было научиться... Но собирание растений я бросил, едва начав. А вы разве не начинали вдруг тоже вкладывать в книги по листику, по цветочку? С пылом, с жаром принявшись за ботанизирование, я очень скоро уныло остывал, особенно когда обнаружи-

вал в безнадежно зазелененной книге эти листья и травы, выглаженно-плоские, истончившиеся во что-то бесплотное, и еще страшнее были сплющенные, изуродованные цветы. Бывшие цветы. Они напоминали мне ботанику, которую я ненавидел вместе с учебником, вместе с учительницей, не любимой, впрочем, единодушно всеми. Ботаника... Вернее, уроки ботаники. Даже простой горох превращался там в унылое и бездушное р а с т е н и е... Нет, ботаника не увлекла, но зато она открыла мне кактусы, о кактусах же и о певчих птицах[1] не скажешь наспех,— здесь речь уже не о собирательстве, не о том, что по-модному обозначено «хобби», а о деле, которое проходит через всю жизнь.

Мир увлечений, рожденных мечтой, представляется безбрежным,— ведь кроме всеобщих массовых поветрий, неизбежных, как морозы в зимнюю пору,— рыбки, птицы, марки, цветы — есть еще сколько угодно более мелких отраслей собирательства.

Таково хотя бы отдающее тщеславием увлечение старой бронзой (различают и собирают бронзу японскую, китайскую, индийскую, индонезийскую, древнейшую, древнюю, полудревнюю, подделку под древнюю, арабскую, негритянскую, скифскую, греческую, римскую, староиспанскую (мавританскую), европейскую средневековую, ренессансную, французскую куртуазную, русскую салонную, модернистскую и т. д.).

Увлечение трубками (преимущественно писатели). И опять можно удариться в перечисление: английские трубки, голландские пенковые, русские вишневого корня, капитанские, посольские, носогрейки, поморские, ямщицкие, запорожские трубки-люльки, китайские опиумные, индийские кальяны, персидские чубуки и прочая, и прочая; дальше пойдет своим чередом коллекционирование японской миниатюры и китайского лака (музыканты из филармоний и первые скрипки оперы); лубочной пасторали и разного рода петушков-гребешков (исключительно фанатики); присоединим затем интерес к фарфору, но фарфор — это уже особый мир, особая тема...

[1] Смотрите книги «Певчие птицы» и «Созвездие кактусов» (*прим. автора*).

Настоящий фарфор издревле был ценностью, роскошью, тайной. Зародившись где-то в глубинах тысячелетий под руками древних гончаров, несомненно от глины, смятой рукой человека и обожженной до каменной крепости случайным костром, фарфор, а точнее, предшественник его, переходил от поколения к поколению в виде секретов — от мастера к подмастерью, от подмастерья и ученика снова к мастеру, становясь все более, прозрачнее, звонче, теряя ту простейшую «глиняность», что родила его, приобретая черты высшего благородства,— фарфор, если угодно, это глина с высшим образованием, интеллигенция в ряду керамики, элита среди всего, что человечество именует посудой. И, развиваясь, изменяясь в сторону совершенства, он, несомненно, отражал, повторял и фиксировал в себе развитие и совершенствование человечества. От первобытных плошек, высушенных на жарком древнем солнце, к гончарному кругу и глиняной амфоре с женственными линиями, от «керамос» к той звонкой белой и голубой глазури, что уже отходила от привычного гончарного понятия,— путь фарфора и путь человечества. Первые подлинно фарфоровые вазы, чаши, тарелки, бокалы и блюда (как они сохранились до сих пор!) относят приблизительно к началу первого тысячелетия нашей эры. И не случайно Восток (Китай, Япония, Индия), родина первых и древнейших цивилизаций, родил его вместе с порохом, ракетой, бумагой, чайным листом и мудростью, перед которой и ныне клонит голову бесконечно просвещенный человек с порога третьего тысячелетия.

Еще многие европейцы жили в землянках родового безвременья, а фарфор уже был, развивался вместе с преисполненной своеобразия, прихоти и пресыщения жизнью,— развалины ее и ныне находят в джунглях и в пустынях вместе с фарфоровыми черепками и целыми изделиями, пережившими тысячелетия.

Подобный же фарфору фаянс, рожденный на Ближнем Востоке, существует, очевидно, еще с более ранних времен.

Фарфор. Он пришел в Европу через азиатские пустыни и океанские волны. Он качался на горбах верблюдов и в трюмах каравелл. Он стоил столько же, сколько золота насыпалось монетами доверху в белую, голубую, зеленоватую, сквозящую и играющую музыкальным звоном чашку, и был на столах герцогов и коро-

лей. Именно он и подражание ему вызвали бурный рост фаянсового производства в средневековой Европе. Французы, голландцы, немцы — искуснейшие ремесленники-гончары, поколение за поколением искали секрет фарфора, изощрялись в производстве того, что в общем-то почти копировало фарфор и все-таки не обладало его прозрачностью, звоном, монолитной структурой. За китайскими секретами охотились купцы, шпионы, монахи, искали продавца фарфоровых секретов, обещали золото, но секрет оставался секретом, охранялся не менее строго. И столь же ревностно колдовали над поисками «порцеллана» — так в Европе и сейчас называется фарфор — алхимики. Пожалуй, с большей долей основания можно сказать, что существовало четыре главных и равных направления алхимии: поиски эликсира жизни, дающего вечную молодость, философского камня, способного обращать вещества в золото, вечного двигателя и — фарфора. И если первые три задачи не решены и сегодня и современная алхимия (кстати, это просто название химии по-арабски) во всеоружии знания, атомных сил и космических достижений пока лишь на подступах к загадкам превращения материи, то найти тайну фарфора помог случай, происшедший, однако, в Саксонии, стране, где владетель и курфюрст Август был и крупнейшим владетелем, коллекционером, любителем фарфора. Отдал же он как-то за пять китайских ваз полк своих солдат!

Секрет фарфора, так долго не открывавшийся, заключался вовсе не в белой глине (чао-лин или као-лин по-китайски), — эта часть фарфоровой массы была известна европейцам с давних пор, применялась гончарами и теми, кто производил майолику и фаянс,— но в веществе, которое добавлялось в глину, сообщало ей новые качества: тонкость, прозрачность (точнее, полупрозрачность), великолепный хрустальный и музыкальный звон (тон) и ту очаровательную пластичность формы, которая с трудом давалась лишь лучшим мастерам фаянса.

Фарфор и фаянс постоянно «соревновались», если употребить это современное слово в приложении к позднему средневековью. И если в Азии из фарфора делали посуду, статуэтки, вазы, мебель, даже целые фарфоровые храмы, то в Европе из фаянса столь же изощренно производились не только пивные кружки и тарелки для

простонародья, не только изысканные сервизы для столов королей, но трубки, табуретки, лестницы, статуи и многое, многое такое, что находил изобретательный ум изворотливого, трудолюбивого немецкого, французского, фламандского и голландского ремеслеиника на потребу бюргерскому или дворянскому вкусу. Севр во Франции, Дельфт в Голландии, Дрезден и Майссен в Германии гремели задолго до того, как там начали изготовлять фарфор, найденный в Майссене.

Бродя иедавно по узким камеииым, словно бы отшлифованным временем улочкам Дельфта, глядя на острые шпили церквей, упертых в пасмурное голландское небо, я все время возвращался к витринам магазинов, магазинчиков, без преувеличения битком набитых дельфтским фарфором. Фарфор этот истинно своеобразен, ои — голландский, ни с каким другим не спутаешь: синяя роспись по белому, и ближе всего, как мне кажется, стоит к древиему китайскому. Те же пузатые вазы, точно кнтайскне мандарины в узорчатых халатах, те же чаши, блюда, настенные тарелки, чашки для чая и кофе, кубки для вии, кружки для пива, пардои,— это уже европейское как будто изобретение... Из-за фарфора Дельфт показался мне наиболее голлаидским из всех городов Голландни, равно как Гент и Брюгге — самыми бельгнйскими, заваленные славными брабантскими кружевами.

И подобио тому, как произведение человеческой руки всегда отражает и человеческий облик, характер, вкус, образ жизни, эпоху и время, дельфтский фарфор отражал размеренную жизнь Голландии: синие узоры на белом иапоминали пасмурную осень, ветви — тихую зиму, сииие — тучки, синие башни — старину и замкнутость этих городков. Мельницы, лодки, женщины в чепцах и коиечно же голландские кломпы — иеуклюжне башмаки-корабли, только из фарфора, от самых больших, чуть ие с детскую ванночку, до самых маленьких, меньше наперстка.

И подобно тому, как виденный мной воочию фарфор Дельфта отражал голландскую жизнь и потребиость, фарфор Майссеиа был истиино германским. О витые подсвечники, капитанские трубки, блюда в стиле ампир и рококо, вместительные «супницы» для лукового супа и тарелки с завитыми краями, чаши, сплошь расписанные в золото, фарфоровые ложки и вилки! Фар-

фор затейливый, как прихоти саксонских курфюрстов, и пышный, как жены бюргеров и голландских купцов. О фарфор пасторальный: славные мушкетеры, добрые гномы, тирольские пастухи со свирелями и пастушки в кружевных панталончиках, пастушки, ничего словно не обещающие, кроме любви, любви, любви,— так и хотел добавить — беззаветной.

Капитализм принес фарфору массовость и обесценение. Уже не горстью золота, не пудами серебра измеряется стоимость фарфоровых изделий. Мануфактуры с подмастерьями, которых готовили в мужья хозяйским дочкам, мануфактуры с прилежными учениками и секретами от отца к сыну заменились заводами, механизированным производством массового двадцатого века. Росло мастерство, росла массовость — исчезало качество, та неповторимость, что рождается искусством и сама родит искусство, точнее — его предметы. Машины — и чашки, как чайки на морском базаре. Штампованные сервизы, неотличимые вазы, балерины с одинаково поднятой ногой и купальщицы с застывшими полотенцами. Механизация, специализация, поточное производство, массовый спрос и — падение спроса при непрекращающемся производстве. Те же забитые фарфором витрины Дельфта — полное отсутствие покупателей...

У истоков русского фарфорового дела стоит гигантская фигура Михаила Ломоносова, однако честь изобретения русского фарфора принадлежит Дмитрию Виноградову и мастеру Ивану Гребенщикову, что изготовил фарфоровую массу на фаянсовой фабрике отца. Была середина восемнадцатого века, не так уж далеко от изобретения, а лучше сказать — открытия вновь алхимиком Иоганном Бетгером в Саксонии состава неуловимого и таинственного «порцеллана».

Русский фарфор из Гжели (гжельская глина), Москвы, Петербурга быстро завоевал внутренний рынок, вышел на заграничные. Дулевские и петербургские чашки, вазы, сервизы и блюда, фигурный фарфор не раз занимали призовые места на международных выставках. Но лучшие национальные традиции мастеров-фарфористов не всегда поддерживались господствующей дворянской элитой. Двор царя и высший свет желали от отечественных заводов подражания западному фарфору, псевдоготики, сервизов и ваз в стиле времен Людовиков-Бурбонов, а купеческие вкусы не поднимались подчас выше

ведерных чайников, размалеванных алыми розами, столь же вместительных чашек. Заказчики заставляли превращать благородный фарфор в «золото», «серебро», малахит и яшму, на витринах фарфоровых лавок стояли шпалеры ландскнехтов и все тех же пастушек с немецкими личиками...

Новый толчок русскому фарфору дала взнузданная революцией жизнь. Красные флаги на тарелках, звезды, молот и серп, революционные лозунги ошеломили мир.

«Русская революция нашла свое первое и лучшее отражение в искусстве фарфора»,— писали зарубежные газеты.

Русский фарфор снова занял достойное место в экспозициях выставок и в международной торговле.

Страницы истории фарфора невольно вспоминались, когда я ходил по цехам одного из самых молодых уральских заводов — Богдановичского фарфорового. Ходил, ведомый директором Валентином Федоровичем Лютовым, его помощником или знакомясь уже по собственной инициативе. Как частенько бывает в жизни и природе, заготовительный цех, где рождается основа основ фарфора — смесь сырья, производит самое невыгодное впечатление. Может быть, оно усугублялось тем, что я пришел в этот цех в жгучий, отдадим дань штампу, если не спиртовой, то вполне водочный мороз — сорокаградусный. Бетонные стены белели изморозью, такой же была и крыша, под которой разгружались обыкновенные товарные вагоны с сырьем, той самой глиной-каолином (скорее всего, и слово «глина» — ассимиляция на русский язык китайского «као-лин»). Для защитников всего исконного приведу этимологическую справку: в древнерусском понятие глина обозначалось словом «зодь», отсюда и «зодчий»...

Итак, здесь разгружалась глина, привезенная издалека, с Украины. Непонятно, почему бы не строить завод там, ближе к основному сырью?

Постигнуть мудрость планирующих организаций мне было не дано, логика планирования почти всегда непонятна непосвященным. Я же усвоил лишь, что комплекса сырья, необходимого для производства фарфора, в природе как будто не встречается. Хочешь иметь

фарфор — вези сырье из разных мест, и сырье качественное, опробованное, без примесей. Иначе фарфор будет желтый, грязно-серый,— какой угодно, только не белый. Кроме каолина в фарфоровую массу идет еще несколько компонентов, например, кварц, полевой шпат. Именно эту добавку, поставляемую ныне вагонами, хранили в секрете китайские мастера, из-за нее веками корпели алхимики. Вещество, без которого невозможен фарфор, оказалось донельзя простым — весь этот «фарфоровый» камень. Ныне существуют кроме кварца и шпата и другие добавки, иные рецепты фарфоровой массы. В заготовительном цехе сырье очищается, дробится, размалывается шаровыми мельницами в муку, смешивается, увлажняется и уже превращенное в подобие пластилинового теста розового и бежевого цвета идет-подается в формовочные цехи, туда, где делают фарфор и полуфарфор.

Полуфарфор. Цех, в котором его формуют, носит название цеха холодного литья. Здесь делают «общепит». Тяжелые толстые тарелки, белые и округлые, с одной лишь вышеозначенной надписью. В давнее уже, довоенное время, подобные изделия назывались «нарпит», имелись также только в столовых и в странных заведениях «фабрика-кухня». И вот вам, читатель, картинка из моего детства. Жил я тогда среди очень бедных людей, таких бедных, что скажем, простынью и одеялом служили им телогрейки, а сами люди жили в прокопченном подвале. Что в подвале: стол, разумеется, шаткий, колченогий, черный убогий шкаф, хромые стулья, чижик в клетке под потолком и самый потолок цвета разведенной сажи, верстак на кухне, где густо пахнет керосиновой копотью и помоями. Люди эти были мастеровыми-гранильщиками, попутно делали «золотые колечки» из меди. Как следствие такой жизни именно здесь имелись тарелки, щербленные по краям, с надписью «нарпит», ее я с удовольствием читал по складам, когда приходил к этим людям в гости и меня сажали за стол. Как появились нарпитовские тарелки в домашнем обиходе, не скажу, не знаю... Но давно убедился, что иной проворный (где корень слова?) российский обыватель может и не тратиться лишний раз на посуду, коль не желает пить из хрусталей, есть на серебре. Вилки алюминиевые? Пожалуйста. Ложки? Тоже. Стаканы? Их сейчас бросают где попало последние алкаши,

да те самые, что и бутылку не оставляют. Бутылку сдашь, стакан — нет...

Итак, «нарпит» преобразовался в «общепит», тарелки же остались прежние, крепчайшие, а может, стали еще крепче. Брось — не расколется. При мне главный инженер завода кинул такую общепитовскую на пол. Тарелка не боялась земного тяготения. Ей хоть бы что — на полу вмятина.

Полуфарфор ловко крутили, формовали машины, точнее, девочки-станочницы, управляющие этими машинами. Обжигается «общепит» ускоренно, не расписывается, сразу идет в упаковку, и столько этих солдатской службы тарелок стоит штабелями на полу цеха, что мысль невольная: «А так ведь на весь мир хватит скоро». А дальше что? Не бьются. Не ломаются. Сам видел. И бедных людей, вроде описанных, теперь уже не сыщешь. Со всех сторон удобная вещь полуфарфор — недорогая, крепкая, толстая, пища на ней долго не остывает, холодная — не нагревается, в мойках-автоматах тарелки не бьются, вот разве что в домашних сражениях... Потому, наверное, их домой и не продают. Опасная это вещь в домашнем обиходе.

Но не пора ли,— заметит нетерпеливый читатель,— перейти к настоящему, звонкому фарфору? Так долго мы к нему шли, как будто не приближаясь к сути. Разумеется, производство древнего китайского фарфора где-нибудь на берегах Хуанхэ, полное традиций, секретов и таинств, почти ритуалов,— вот, например, толченый кварц просеивался лишь через шелк! — или производство средневековое в Севре, Дрездене, Майссене весьма отличалось количественно и качественно от современного поточного автоматического производства. Однако суть все же осталась. Тот же состав, тот же, лишь механизированный, гончарный круг — формовочная машина. Целые линии этих машин, где не бойко, но сноровисто, ритмически размеренно трудятся девочки в коротких халатиках. Видишь, как круглые «батоны» бежевого теста — кажется, они называются «валюшки» и «скалки» — режутся струнами резаков на куски, подобия хоккейных шайб, а шайбы в свою очередь идут в машину-«гончар», которая и формует по гипсовому шаблону чашки, чайницы, тарелки, блюдца, каждый гончар-автомат — заданное ему изделие. Светло-бежевые и влажные, идут они в первый обжиг, именуемый

утильным, а скорее, это сушка, когда изделие приобретает первичную прочность. Далее сырье поступает в круговую машину-автомат, льется там что-то вроде молока, эмульсия-полива, глазурь. Она и дает сформованным чашкам белизну и глянец. Здесь же за длинными столами к чашкам приклеивают ручки, к чайникам носики, бракуют, сортируют, очищают, печатают заводское клеймо, и посуда движется цепными транспортерами к туннельной печи, где наподобие геенны огненной гудит и бушует газовое пламя. Вагонетки втягиваются в адское жерло туннеля, чтобы много часов спустя выползти из другого конца печи с изделиями белыми и крепкими — снова в руки бракеров-сортировщиков, неуловимо быстро раскладывают они посуду по сортам. Она звенит, сахарно похрустывает, словно бы напоминает о чае. Теперь это уже фарфор, но фарфор нерасписанный, белый до голубизны, как улыбка красавицы, по здешнему — «белье».

Показывая и называя мне это «белье», девушка-технолог почему-то краснела. «Белье» я видел и раньше в святая святых завода — экспериментальной мастерской, она же и нечто вроде музея. Трудится там чета пожилых художников-модельеров. Члены Союза художников. Энтузиасты. Подвижники. Знатоки. Он живописец по фарфору, она скульптор. На полках по стенам на стендах-витринах — коллекция. То, что было, есть, будет: сервизы, чашки, бокалы, тарелки, чайники. Пестрая роспись, богатство красок и золота. И среди всего, точно стая лебедей, сервиз изящных и легких линий. Без росписи. Чайники — большой и малый, кувшин для молока, сахарница, чашки, бокалы, сливочник — и все белое, белое, гордое своей белизной. Стая лебедей. «Белье»... Помнилось, нечто подобное видел в Голландии — в Амстердаме, в Гааге. Самые изысканные магазины. Внушительные цены в сотни гульденов. И вот здесь. Такое же. Точно.

— Какая красота! В производство, конечно? — вопрос от меня.

— Нет.

— Почему же?

— Не утвердят...

— ? Почему?

— ...Да и нам невыгодно,— уклоняется художник.

— ?

— ...Дешево очень будет. Экономика.

— Но ведь...— красота!

— Согласен. А, однако, не утвердят...

— Попытались бы...

— Не утвердят... Невыгодно...

— А эти? — показываю на чайники, схожие с деревенскими петухами, на чашки с розами, мальвами, всем, что, читатель, вы без конца видели.

— Эти утвердят. Традиция... Спрос...

— Ну а модерн какой-нибудь вы делаете? Абстракцию, скажем, асимметрию... Необычную роспись, игру цветом...

Вопрос, очевидно, пугающий, нежелательный. А было тут в коллекции кое-что, стояло на витринах. Было что-то от того...

— Пробовали. Не утверждают. Совет...

— Хм... Да ведь, может, этот художественный совет сам устарел. Может, пора обновить, омолодить?

— Как вы это... Да... Может... Но... Ведь все старые художники. Мастера. Отличные живописцы. К тому же надо учитывать спрос. Вкус людей... Потребителей...

— Но ведь вкус тоже надо воспитывать, поднимать, развивать! Вкус может быть и низкий, непотребный?

— Согласен... Но... Все-таки... Есть и традиция...

— А я вот, скажем, против традиции. Нового хочется. Не одних роз...

— Ну, вы... Другое дело. А потребитель...

— Любит розы?

— Может быть. Во всяком случае, берут... Ждут... Да.

Оставили спор без разрешения. Где истина? Очевидно, посередине, как говорили древние. Да и не берусь я быть судьей. Слишком мал мой фарфоровый опыт. Сам дома пью из дулевской чашки — вся в розах, вся в золоте. Чувствую себя купцом третьей гильдии. И — ничего. Чашку люблю. Вкусная какая-то. Люблю свою чашку. А если еще чай хорош? Заварен как надо? Да с морозу. Да с сахаром. С лимоном? С вареньем? Да если еще подают тебе чашку добрые руки... Светятся добрые глаза... Улыбаются добрые же розовые, как розы, губы... Ух ты! Чаю-то как хочется! Чаю!

Из второго обжига «белье» идет в живописный цех. В тот самый, который удорожает фарфор, придает ему некие издревле ценимые и, главное, утверждаемые качества. И я хотел подробнее взглянуть на эту живопись.

Всякое производство, как известно, пахнет по-своему. И если в формовочных цехах держался запах глины и эмульсии, в печном — паленого кирпича, в заготовительном пахло холодом, снегом и недрами, живописный благоухал краской. Красками. И из всего этого в основном женского производства живописный цех был, пожалуй, самый женский. Вот ведь странно. Разве были гончары-женщины? Разве что в эпоху матриархата, так что даже слово-то, обозначение профессии, только мужского рода,— нет гончарши и нет гончарихи. И другое удивление: согласитесь-ка, испокон века живопись — тоже дело мужское. От первых горшечников, кто костью или веткой накладывал узор на свой грубый товар, от греческих мастеров, писавших на амфорах-керамос, на кувшинах и вазах картины мира и войны, до современных авангардистов, готовых писать чем угодно на чем угодно,— живопись вроде бы дело мужское. Аксиома? Аксиома. Пусть история не донесла нам обличья первых живописцев, кто охрой и копотью рисовал мамонтов и носорогов на стенах пещер, зато вполне оформила она вид живописца современного: гения не гения, но непременно обросшего, с ликом мученика, просветленного страстотерпца, в ином проявлении видишь сумасшедшие усики Сальвадора Дали.

Так, может быть, многословно, утверждаю: ни одного будущего Гогена, Ван-Гога не виднелось за столами живописного цеха (а ведь, кстати ли нет ли, живописцем по фарфору начинал Ренуар!).

Только девочки, одна другой красивее, сидели тут в запахах тонких вкусных красок, беличьими и колонковыми кистями писали розы и листья на том самом «белье». Долго смотрел я на рождение чайных роз. Не хотелось отсюда уходить. Все здесь было какое-то особенное, подчиненное словно закону благородства. Особые запахи, особые краски, тонкие кисти и сами художницы,— может быть, не столько на розы я смотрел. Девочки были очень милые, разные: и чернокосая татарочка с узкими огнями быстрых глаз, и русская, будто княжна, и половецкая, и греческая нимфа, и попросту девка-краса, чудо-коса, море-глаза, как поется в песне...

С неохотой сталкиваешь себя с места дальше, к другому столу, а тут уже все по-иному: сидят девочки в передничках и будто бы в детском саду играют: клеят яркие переводные картинки на блюдца, на чашки и

чайники. Посуда здесь тоже садиковая, ясельная. Картинки — вишенки, яблочки, клубнички, куклы. Техника эта простая, называется «деколь».

В третьем месте английская машина с резиновым большим штампом печатает синий узор на услужливо подставляемые автоматом тарелки. Это не производит большого впечатления, собственно, живописи здесь никакой, одна техника и столь же четкая, чтоб не сказать однообразная, работа девушек, подчиненных машине.

Самая сложная живопись вручную — наводка и роспись золотом. Требует аккуратности, минимума в расходе краски. Здесь девушки вполне уподобляются древним гончарам — перед каждой круг. Кисточкой наводят круговую позолоту, пишут уже без трафаретов коричневые листочки и узоры. Золота, сколько ни гляди, никакого не увидишь. Золото скрыто в краске, невзрачной, вроде темной охры. Золото засияет после. Все эти расписанные розами, мальвами, лазоревыми цветами чудеса пойдут в третий закрепляющий обжиг, где и обретут наконец полную прочность, яркость, глянец, хрустальный звон и золотое сияние. Кстати, о золоте, к сведению незнающих, оно настоящее — з о л о т о е. Стоит краска дорого, благородного металла в ней двенадцать процентов. Золото, выявляемое после обжига, всегда и во всем золото. Вот почему, если разбивается чашка с позолотой, черепки не бросают. Их складируют, отправляют в Дулево — там золото умеют снимать, возвращать в производство.

И вот кончилась «цепочка». Мы на складе готовой продукции. Еще раз сортируют, комплектуют в сервизы, пакуют в коробки. Изделия готовы идти к людям, к людским рукам. Ждет их либо долгая счастливая судьба от поколений к поколениям, от бабушки к внучкам, либо — а это чаще, и тоже, говорят, к счастью — разлетится чашка на мелкие куски вместе с возгласом сожаления и испуга. Но и через тысячи лет будущие археологи, найдя эти обломки под слоями вечности, с улыбкой скажут: «Богдановичская! Был такой древний-древний завод на древнем Урале. Видишь — клеймо: ящерица с короной над головой!» Впрочем, уверен, многие изделия завода переживут столетия, взять хоть ту же общепитовскую тарелку. Будет обедать на ней весь рабочий люд, трудовой народ, люди труда — бережливые, зря не разобьют. Вот разве что привьется со временем

и у нас дикий и самодурный английский обычай: бить тарелки в кафе. Нет, не о голову партнера бьют, о пол. Бьют и платят, конечно, и специально производят такие тарелки для битья. Но это уж их нравы...

Старые фарфоровые заводы развивались по двести и более лет — Богдановичскому всего-навсего четыре, считая с момента выпуска первой тарелки. Надо ли удивляться, что проблем здесь масса. Любую проблему копни — и еще десяток возникает, и вот решил я всего лишь одну посмотреть — проблему фарфоровой купальщицы,— впрочем, не только и не столько богдановичскую.

— Валентин Федорович! Будет ли завод делать скульптурный фарфор? — вопрос директору Лютову.

— Будет, конечно. Кое-что уже пытались... Но,— директор смотрит в пустые мартовские поля за окном.— Базы нет... Художников... Скульпторов... Модельеров... Не едут. Богданович, сами видите, не Монако. Не Дулево даже... Своих будем скульпторов растить в перспективе. К тому же план. Народу нужна посуда. Наконец, «общепит»...

И я задумался. Скульптура любая: глиняная, каменная, литая — вещь дорогая, ценная, трудоемкая и в поиске, и в изготовлении. Правда, гипсовыми статуэтками давно бы можно мир завалить, да гипс, он и есть гипс, и отношение к нему соответственное, спрос тоже. А фарфоровая скульптура? О, как она нужна! Дешевыми тарелками и чайниками как будто уже насытились наши магазины, «набрались» покупатели. Скульптурным фарфором? Нет и нет. Знаю я любителей и знатоков-собирателей. Коллекционируют керамику, майолику, фаянс, фарфор и необязательно древний. Где его возьмешь — древний? Собирают русскую старину, немецкий пасторальный, голландский фигурный: мельницы, замки, волшебные башмачки.

Иные же — только купальщиц. Ах, купальщицы! Прекрасные женщины, девушки с божеством совершенных линий лица и тела. Фарфоровые купальщицы... Где вы? Кто вас ныне производит? Чье холодное ханжество вас загубило? Чей брюзгливый возглас-приказ стоит в моих ушах?

— ...Голых? Что еще за новости? Порнографию разводить? Буржуазные вкусы? Искусство, говорите? Безо-

бразие это, а не искусство. Давайте-ка лучше не будем. А то ведь разговоры непременно пойдут. Зачем это нам?

— Вот вы сказали «буржуазное», а ведь Афродита, пусть не фарфоровая, была еще до нашей эры.

— Тогда — рабовладельческое.

— А ведь и при раскопках находят статуэтки женщин. В первобытнообщинном слое.

— Вот-вот,— первобытное...

— Тогда как же быть с Коненковым, с Эрьзя?

— Коненков для музеев, для галерей.

— А мне дома на купальщицу смотреть хочется.

— Куда же вы ее, простите... голую поставите? Голую женщину... А дети? Ведь это ужас...

Ужас, что кто-то где-то, имеющий служебную силу, может так рассудить, мыслить на уровне средневекового монаха, на уровне английской старой девы из прошлого столетия... Да и не верю я в вышеописанный диалог. Не так бывает, проще:

— Да, надо бы... Но... Хлопот с ними не оберешься. Еще как кто посмотрит... Моделей нет. Натурщиц. С натурщицами сейчас сложно. Маститые не могут найти. Красавицу не уговоришь... И для Венер ведь, слышно, куртизанки позировали, гетеры... Давайте не будем. Какой от них толк? От купальщиц... Давайте лучше — медведя... Олимпийского. Реальная полезная вещь... Похвалят наверняка. Одобрят — уж точно.

И — нет купальщиц.

Бывает, правда, найдут компромисс, пойдет на прилавки массовая балерина, конькобежка, еще спортсменка в купальнике.

— А-а? Не нравятся спортсменки? Тогда ясно с вами.

— И с вами тоже. Наденьте заодно и на Афродиту купальник.

Итак, пока купальщица находится в аморфном состоянии в виде каолина, пегматита и кварца, обернемся к менее щекотливой проблеме — проблеме, скажем, фарфоровых слонов.

Помните, были такие семь слонов. Мал мала меньше или один другого больше. Любили слонов люди. Слон, кстати, тоже символ счастья, удачи, как семерка, как фарфоровая тарелка (разбитая). А семь слонов, естественно, счастье усемеренное. И столько было этих фарфоровых благородных животных, что стояли они в

каждой квартире на столах, на комодах, на полочках и просто так, где придется. Стояли слоны до тех пор, пока не пришло кому-то в голову поглядеть на них с презрением. И объявили их символом мещанства, дурным вкусом, непотребностью, еще чем-то вместе с птичкой-канарейкой, собакой-болонкой, старинной мебелью, шелковым абажуром...

И не стало слонов. Бросили в ведра, отдали играть детям, снесли в кладовки, подарили знакомым на день рождения. Не стало слонов и не убавилось вроде бы счастья. Но как хочется сейчас, при скудеющем животными лике земли, как хочется сейчас видеть у себя дома пусть бы уж фарфоровых зебр, носорогов, антилоп, кстати, иная антилопа не уступит в изяществе купальщицам. А олени? А лебеди? (Вот оно, опять мещанство! Лебеди!) И, согласен, ужасны лебеди — изделие ремесленников, ужасны, писанные на клеенке базарным живописцем, но ужасна ведь и купальщица, штампованная прессом на латуни,— этакое диво с металлическими чреслами. Но — прекрасен лебедь, изваянный ХУДОЖНИКОМ и воссозданный в фарфоре талантливой рукой РАБОЧЕГО.

В Брюсселе на одной из площадей центра, возле гостиницы «Сиру» и высотного здания с рекламой, прославляющей вина мадам Мартини, я не раз проходил мимо роскошного магазина. Здесь продавались только вещи «люкс», высший класс, предел роскоши. В абсолютно пустом (в смысле покупателей) магазине в витринах, женственно изогнувшись, лежали норковые манто в сотни тысяч франков, манто из шиншиллы, светлые с черной проседью — не знаю даже, кто их наденет, на какие такие плечи — здесь лежали драгоценные трубки, соболя, дамские сапоги с золотыми шпорами и — был фарфор — тот самый, литой, фигурный. Большой белый медведь, изваянный чуть ни в четверть натуральной величины, лебедь, поражающий природным изяществом, выдры, воссозданные неким скульптором совершеннее совершенного.

Я не грустил, что не увез из Бельгии шиншилловое манто, и трубки были мне совсем без надобности. Но белый фарфоровый медведь, но выдры, будто только что вынырнувшие из воды, лоснящиеся своим коричневым благороднейшим мехом, грезятся мне и теперь. Грезятся — ведь стоили они тоже немыслимо дорого.

— Так есть же! Есть такой фарфор! Бывает... Ищите! Сам видел,— вспоминает кто-то.

Да, есть... Конечно, бывает... Но — мало. Мизер. Мало для удовлетворения нужд и вкусов людских — коллекционеров, любителей, знатоков и просто тех, кому скульптура — красивая игрушка. И я сказал директору Лютову, что предвижу завод процветающим, известным не одними нерасшибаемыми тарелками, не одними и впрямь прекрасными чайными сервизами, но гремящим на весь Урал, на всю Россию, на весь мир своими необычными блюдами, вазами, скульптурным литьем: купальщицами, слонами, медведями и тиграми.

Возвращаясь же к миру людских увлечений, упомянем еще стародворянское кокетничание с холодным и огнестрельным оружием. В первом случае: кинжалы, сабли, шпаги, рапиры, стилеты, кортики, ножи, медвежьи рогатины, мачете, крисы, ятаганы, самурайские двуручные мечи, русские «кладенцы», малайские паранги, индейские навахи (в уголовном варианте — финки, «перышки», «мойки», перочинники — из неполной средней школы), а в связи с огнестрельным собирательством (не знаю, разрешает ли милиция) упомяну коротенький случай-быль.

Вечером стук в дверь. «Кто там?» — «Откройте, милиция». Бледная жена отворяет дверь. «Здесь живет такой-то?» — «Здесь...» — «Есть у вас ружье?» — «Есть...» — «Покажите».— «Пожалуйста... А зачем вам все-таки?»..— «Да вот убили в городе одного человека... Ищем». Еще более бледнеющая жена приносит ружье. Достает из чехла. Открыли. Посыпались из ствола сухие пауки. Лет десять уж не бывал на охоте. Самоусовершенствуюсь. К вегетарианству уже подошел... «Да,— сказал милиционер конфузно...— Ну... С вами все в порядке, значит...» И пошел себе дальше. Молодой такой парнишка. Ясные глаза, волосы косицами из-под фуражки.

Как тут собирать огнестрельное? Вдруг бы с тем ружьем я только что с охоты вернулся? Боязно все-таки...

А продолжая о дворянских увлечениях, назовем еще музыкальные шкатулки, граммофоны, табакерки, гравюры на меди, валдайские колокольцы, и дальше все

смыкается с модным ныне интересом к русской старине: иконы, прялки, цепы, сохи, телеги, пряничные доски, павловские гостиные, екатерининские будуары, елизаветинские фижмы, петровские бирки за бороду, кокошники, сапоги, перстни, деревянные наличники, лестовки, кадила, наперстные кресты и складни (преимущественно художники, которые в бородах ходят, интересуются) и, наконец, пройдя через конструирование фрегатов и каравелл, спичечных мельниц, бочонков в графинах, можно добраться до собирательств вообще необычайных, ошеломляющих, как-то: кепки, например (и опять же писатели), вывески с поездов (сам был свидетелем, стащили в Горьком с фирменного поезда «Урал»), пивные этикетки, дамские панталоны, подзорные трубы, ночные вазы, фарфоровые собачки, а также кареты, древние автомобили, отслужившие паровозы, океанские лайнеры и окурки, оставленные великими...

Перечислив эту малую часть странностей человеческих и оставив ее для будущих исследователей, я хотел бы остановиться еще только на одном увлечении. Оно задело меня сильно и не отпускает до сих пор. Оно кажется мне самым массовым и нужным человечеству.

СОБИРАНИЕ КНИГ... Приходит, по глубокому моему убеждению, не сразу, если не передается по наследству и наследию от отца к сыну. Последний случай принадлежит, видимо, к исключению, а не к правилу. Так, близкий мой родственник всю жизнь любовно возводил библиотеку, книгу за книгой, стеллаж за стеллажом — и собрал замечательную. Волей судьбы досталась библиотека младшему сыну. А младший сын был, как в сказке, и хуже того... На другой же день проиграл он все в карты. И погрузили книги, увезли неизвестные неведомо куда на четырех подводах.

Итак, не сразу возникает увлечение книгами, но по мере расширения и усложнения собственной внутренней конструкции, углубления взгляда человека на мир... Здесь имеется еще два исключения. Первое, когда внутренняя конструкция человека становится настолько сложной, что ломает саму себя, как результат отрицания всего и вся, тогда книги выбрасывают, топят ими вместо дров, раздают, пропивают. Второе исключение, когда у человека конструкция склонна к упрощению до одной-единственной детали — сберкнижки. И ради нее (детали) человек рыщет за книгами, клянчит у продавщиц, задабривает

завмагов, рвет книги из рук, подписывается на сто подписок и торгует Кафкой, едва осилив букварь. Но исключение хотя и подчеркивает закономерности в развитии человечества, все-таки есть исключение.

К двадцати годам заканчивая институт — названия его я всегда словно бы стеснялся, и многие считают — несолидное оно нынче для мужчины,— я оказался в скромном звании учителя истории и получил место в отдаленной загородной школе. Постепенно, не сразу, мне стало понятно, почему не рвались сюда, и была вакансия для гуманитария. Эта странная школа помещалась тогда под одной крышей с отделением женской бани (случай, вероятно, единственный во вселенной, кроме, может быть, времен античности), и через нетолстую стену в нескольких классах всегда было слышно звон тазов, стук шаек, плеск воды и милые голоса моющихся женщин. Я же преподавал древнюю и средневековую историю, а потому, наверное, меньше других учителей удивлялся, ведь известно: и греки, и римляне значительную часть своего времени проводили в банях, там ели-пили, умащивались благовониями, слушали учителей. И мои ученики, точнее ученицы, сами ходили в эту баню с младенчества, там же мылись их матери и сестры, и потому, знать, все было привычно, как дома. К тому же нередко распарившиеся родительницы забегали в школу узнать об успехах своих детей, охладиться и побеседовать с классным руководителем.

Пусть простит меня читатель за отклонение от главного, я делаю это сознательно, потому что собирание книг пошло у меня не сразу, а лишь когда я несколько упрочил бюджет своей молодой семьи, приобрел маломальский костюм и пальто из крашеного шинельного драпа, про который говорят: «Три с полтиной — километр», а у нас называли почему-то «злоказовским». К «злоказовскому» пальто я все собирался купить шляпу, чтобы заменить свою бывалую студенческую кепку. Так вот, мое пребывание в школе-бане имело прямое отношение к собиранию книг, и чем дольше я там был, тем больше появлялось возможностей. В общем-то книги я покупал всегда, как только заводились деньги, и на студенческую стипендию собрал кое-что, но теперь, будучи, как говорится, «на своих ногах», я остро потянулся к собиранию книг, наиболее волновавших. Это были книги по искусству. В самом начале раз-

мышления о человеческих увлечениях и страстях я уже говорил о марках по искусству. Книги же по искусству составляют, наверное, все-таки более высокую ступень собирания, самоуглубления, самоусовершенствования, познания жизни и искусства. Впрочем, можно собирать и марки, и книги, если...

Наверное, книгами и репродукциями в них я пытался несколько примитивно утолить свою страсть — употребим выражение, которое любили писатели прошлого века — к живописи, успокоить хоть как-нибудь непрестанно и тихо ноющую душу несостоявшегося живописца.

Мне казалось, никто не чувствует так пасмурной нежности первого снега, его холодной чистой неожиданности. Никто так не видит заячьей белизны крыш в соединении с темным ненастным небом, мокрой чернью, серебром заборов, грустью поникших под снегом трав и увялых черных цветов. Казалось, никто не поймет так удивления в синичьем голосе, медленной печали в полете галок, углубленной задумчивости оснеженных тополей. Может быть, только синицы, галки и тополя лучше понимали этот снег, его праздник, обещание, холод и торжество, ибо сказано где-то: есть вещи, которые может объяснить только инстинкт, но он никогда не сможет этого сделать...

Мне казалось, никто так не чувствует торжества рассветов и закатов — их розовое, сиреневое, голубое и желтое величие,— цветные гимны Неба Земле. Мнилось, один я понимаю вещую синеву предгрозья, мрачный холод осенних ночей или будущую негу жаркого дня, истому лета, молчание осени...

Мне казалось, никто так не понимает льющуюся плавность женского стана, этот бегучий изгиб, когда до предела ясно — не может быть более верной и вольной линии, смелого сочетания изогнутого пространства с округлой вмещенностью в него живой красоты...

Мне казалось... Мне казалось...

Двойственное чувство испытываю я всегда перед чужой талантливой кистью: сначала восторг, и до слез даже бывает — уж исповедуюсь, а с другой стороны, ощущение беспомощной горести. Примерно: «Он-то вот смог, у него хватило, а ты что можешь?»

Оставил я в свое время художественное училище как

дальтоник и чересчур самонадеянный студент-фанатик. Он (фанатик) писал цветные, пышущие неверным цветом пейзажи, натюрморты. Мог и небо — зеленым хромом, и лес — киноварью, кадмием. Оценки преподающих: импрессионизм, упадничество, низкопоклонство перед Западом, космополитизм, безобразие, яичница...

Он (старательный студент, опасающийся выдавать свое неверное цветоощущение) писал скупые двухтоновые этюды — сиена, охра, виноградная черная, белила.

И опять оценки: потеря цвета, возрожденчество, монохромность, черномазье, мазерелевщина, безрадостная живопись...

Ушел из училища. Стал историком. А ощущение неустроенности — не той дороги — никак не проходило. Словно бы ненастоящий какой-то я был историк. Преподавал у нас почасовик, работал он, кажется, в пяти школах, Иван Варламович,— тот, сразу видно, историк от бога, подлинный. Вечно с картами, со схемами носится, на международной обстановке помешан. Лучше не заикайтесь, а то: «В Англии-то? Читали? У США — тут просчет... В ФРГ движение поднимается... Китай ненадежен... Слышали вчера по радио? И Ватикан тоже передал...» Все он слышал, все знает, обо всем крепкое, уверенное суждение, просто ходит по истории пешком.

А другой историк объясняет какую-нибудь Третью пуническую войну, реформу Солона, а сам думает: встать бы с рассветом да в своей мастерской подойти к мольберту, где еще с вечера ждет на подрамнике свежо загрунтованный холст, и стоять перед белым, зовущим до дрожи в руках опасным пространством... И все вроде уже найдено: картоны, эскизы, нашлепки, вот они — гора, и рисунок уже нашел, а рука с углем дрожит, не поднимается перед первым штрихом, и откладываешь уголь будто бы затем, чтобы выдавить на желтую вощеную гладь палитры огуречно благоухающие краски. Вот так, полукругом: сажу, охры, кадмии, кобальт, белила. Вообще-то, охры с кадмиями не надо бы мешать — чернеет живопись, но я кадмии люблю — уж очень насыщен, чист цвет...

И в то же время странно люблю я простые, земляные краски: охры, сиены, земли. Как-то любо думать — творила их сама природа, а уж она, художник,— ничего не созидает зря. И вот знаю — одними этими красками можно открыть чудо. Было такое...

В нашем же училище, одновременно со мной, был студент со смешной фамилией Плюхов. Мало фамилии — и с виду такой же, подшибленно как-то ходит, ногами гребет, лицо серое, неказистое, если и помнится, так какой-то изнуренностью, будто поздний осенний день — взгляд такой... Учился он, видимо, средне, не выделялся никак, пока шли все эти осточертелые гипсы, муляжи, учебные натюрморты: обливной горшок, драпировка, яблоки, стакан, ложка...— но вот начали натуру, перешли к обнаженной, и вдруг ожил этот Плюхов, обрел известность, начали говорить: пишет сильно, уверенно, все по-своему, в самой шаблонной постановке уходит от штампа. Однажды — помнится, перед маем — пришла к нам новая натурщица, вернее, было их две, но одна так себе, обыкновенный типаж, зато другая, господи, вот красота, вот женщина — до чего хороша и греховна одновременно... Вспомнил, видел эту деву раньше на катке в компании с какой-то шпаной, завсегдатаями. И тогда, помню, и очаровался, и огорчился. Потом потерял из виду.

И вот она, видимо, решила прирабатывать в училище. Такую натурщицу не скоро сыщешь, красивые идут в них, к сожалению, неохотно, а те, что идут, не радуют ничем, слишком растеряно уж все — и душа, и краса... Эта же девушка в полном цвете, глаза только выдают — слишком уж козьи, серые, с продолговатыми ленивыми зрачками.

Сбежались, помню, преподаватели, старичок-директор припожаловал — он всегда натурщиц усаживал, выбирал постановку. Пока они там в классе совещались — молва по коридору летела: «Красавицу писать будем».

И стремительно все собрались. В класс набились — стоять негде, кое-как разместились, и действительно, писать такую — нега, наслаждение. В позе она сидела самой скромной, можно сказать, античной. Просто сидела, наклонив голову, полуподжав ногу, полуопершись на драпированный помост. Там, у нее — тишина, нежность; здесь, у нас — торопливость, надо успеть, ухватить главное, не потерять голову, не разбежаться в размышлениях, все в руку, в кисть — время, краски, способности...

И успели, написали все, и все радуются — получилось. Смотрят друг у друга, сверяют. И у меня вроде бы не худо, на всех нас точно дохнуло весной.

А Плюхов еще что-то пишет, не бросает кисти... Вот кончил. И сразу все к нему, расталкивая мольберты. И я туда же, и понял — едва глянул. Он сделал невозможное. На холсте была не девушка, не учебная постановка, как у всех у нас, а сидела богиня с опущенным долу взглядом, богиня, словно сотканная из зыбких колеблющихся тонов, но все эти тона, полутона, рефлексы жили, дышали, ощущались живыми, и все мы понимали — не просто юная женщина, не просто рисунок, этюд маслом, как у всех, как у меня,— но картина, исполненная таланта и свежести... Как лежала на плече, облегала его и спускалась полурасплетенная коса! Как была подогнута нога! Как клонилась все более никнущая голова, и эти руки с античными кистями, и бедра, нежные, едва очерченные, неуловимо сходящие на конус к круглым покорным коленям...

Пока ахали, охали, молчали потрясенно, натурщица оделась, лениеенько вышла из-за ширмы, прошлась, протиснулась меж мольбертами, нигде не задерживаясь, видно, не очень задевала наша мазня, не пришлась по нраву, похоже немного — и ладно, у всех одинаково почти. Но у мольберта Плюхова замерла, прищурилась, козий блеск в глазах потух, потом в лице словно что-то дернулось, покосилась на создателя — не поднимая глаз стоял, рассматривал свои руки...— и медленно, как сквозь туман двигаясь, пошла к выходу.

Больше мы ее никогда не видели, хотя спрашивали, все время ждали...

Обнаженной натурой нас не баловали. Вот натюрморты, композиции, портреты учебные — это пожалуйста. И писали, писали, писали старух, каких-то безликих женщин, пьяниц с лиловыми носами. Особенно надоел один — синерожий пропойца с остановившимся, остекленелым взглядом. Едва он влезал на помост, устанавливал рядком ноги, прокашливался скрипучим табачным кашлем, кисть начинала валиться из рук, краски не смешивались, картоны казались осточертелыми.

И произошло дикое, как неожиданный выстрел. Однажды Плюхов пнул мольберт, швырнул кисть в угол, схватил свой этюдник, свирепо захлопнул его, торопливо подвертывая алюминиевые ножки, и быстро пошел к выходу, отталкивая всех. Бахнула дверь.

Хмыкали. Крутили пальцем у виска. Немногие наши девочки смотрели испуганно. Решили — завтра все объ-

яснится, да и объясняться нечему: остобрыдело, надоело, тоска...

Плюхов не появился ни на другой день, ни на следующую неделю. В конце концов прошел слух: бросил училище, отчислен, уехал куда-то в свой Краснотурьинск, Североуральск или еще куда-то... Одни пилили: не выдержал! Другие сомневались тоже, говорили: дальтоник, а скрывал, чего зря мучиться. Третьи — сожалели, четвертые — хмыкали. Кое-кто из преподавателей пытался осуждать. Внушал: искусство требует всего себя...

Но однажды, осенью уже, убирали мы аудиторию, нашли завалившийся у стены блокнот, половина листов выдрана, половина исчеркана набросками — везде женщина, женщина, на уцелелых страницах разрозненно что-то, вроде дневника. Ни подписи, ни имени, но кто-то сказал: его, Плюхова, и почему-то все поверили...

Много времени прошло с тех пор — вот эти страницы:

«Всю ночь — ветер. Над темнотой. Над огнями города. Было слышно, как он бьется в стекла, давит в стены. И стало тепло... Грязь и вода. Бойкая девка-продавщица мыла в хлебном пол. Косы-хвосты торчали. Завязаны резинками. Ноги мелькали. Ноги мелькали. Старуха указывала. Я думал: каким безответным, терпеливым надо быть, чтобы убирать за всеми эту кислую грязь, напоминающую перестоялый кисель — и здесь было все: плевки, окурки, а вот мыла, и деваха вроде бы наглая... Только женщина может такое, и только в молодости».

«Ветер дает ощущение свободы».

«Февраль. И крупные ветровые снежинки. Как в детстве. Сырой воздух, сырое небо, сыроватый снег. В детстве еще был запах окна и ветра. Я любил сидеть на окне, высовываться в форточку и дышать до набегающих слез. Хотелось жить, жить, жить, жить, без конца. Счастьем казалась своя улица, свои углы и уголки, счастье просто мечтать о весне, о ручьях, сразу видеть, как они бегут в снеговых канавах. Вот и плывет кораблик, щепочка с бумажным парусом,— неведомо куда... Давно ли было? Десять лет назад. Много ли? Для меня — много, для всех — относительно, для Земли — ничтожно, для Вселенной — безразлично. Десять лет... Двадцать лет... А ведь кажется — это был не я. Был маль-

чик в темно-синем, рыжем на плечах, пальто с черным облезлым воротником, в черной шапке-ушанке — козырек полуоторван, валенки с кожаными заплатками на пятках. У мальчика — голубые глаза в серых крапинках. Я часто рассматривал эти глаза, в одном крапинка была желтая. Все остальное у меня как у всех,— обыкновенные волосы, обыкновенный нос, руки всегда в «цыпках»...

«А есть еще весна взглядов...»

«Весной больше верится в бессмертие и вечность».

«Видел ворота, вымазанные дегтем, давно когда-то. Подумал: что за блудница жила тут? Блудница ли? Не врут ли все? Разве не замечательно, что есть женщины, которые словно задуманы для того, чтобы на них смотрели, им улыбались, к ним тянулись... Чем они хуже какой-нибудь тоскливой дуры-недотроги... Такой и слова не захочешь сказать. Вот частушка есть:

Пусть не очень я красива,
А приманчивая...

Права библейская притча. Какой благообразно-унылой была бы без них Земля».

«Детская, застывшая в изумлении улыбка сосулек. Сосулька-ледышка, печально-радостная нимфа, дитя мороза и солнца... Как радостно плачешь ты, искрясь и истаивая, и, пожалуй, никто не плачет так радостно, с улыбкой кончая свою краткую жизнь. Иногда думается: и женщины есть подобные сосулькам точь-в-точь... А почему сосулька? Почему не капéлька, не слезулька, не слезиночка, не ледослезка?»

«О'Генри написал бы: «У нее было столько спеси и гордости, как у красивой женщины, выходящей из парикмахерской в день Восьмого марта...»

«Никогда женщине так не льстят, как Восьмого марта.

Никогда женщину так не любят, как Восьмого марта.
Никогда женщина не испытывает столько разочарований, как Восьмого марта...»

«Нет ли среди нас собирателей облаков, закатов, дождей? Нет, не воплощенных ни в слово, ни в холст... Уверен — есть. Мы копим их помаленьку. Кому? Разве что расскажем о каком-нибудь не виданном еще закате, малиновом столбе солнца, к теплу или морозу? Каком-нибудь лике Зевса, рожденном прихотью небес... А что может быть прекраснее собирания красоты?»

«Что чувствуешь где-то на приволье, в деревне ясным утром, когда выйдешь за околицу в запах березняков, легкого солнца, земляники и цветущих клеверов?.. Жаворонка еще услышишь над полем!..»

«Август. Не спалось. Вышел в огород. Ахнул! Заря стоит сразу за пряслом. А небо темно, и спит все в росе. А может, прошел короткий ночной дождь и принес едва чуткие знаки осени? Дыхание осени. Может,— дыхание времени. Задумаюсь и вспомню, сколько собрал пейзажей в душе. Зачем? Ну, хоть этот, с зарей за пряслом? Храню бережно, боюсь забыть и расплескать... Или вот помню: склон июльского дня, поселок у окраины города, домишки, ворота, сады, и над всем в пресно-пустом и также перевалившем за склон небе одно-единственное размытое белое облако.

Столько в нем было и вечности и преходящего, что вот живу и все вижу окраину провинциального нашего городка с редкими прохожими по полуденной скуке, с дальним визгом поросенка в закутке и с облаком над всем...»

«На выставке японцев сильнее понял то облако. Запомнил их картины: «Бог в душе», «Синий ветер», «Холодная чаща». Осины там написаны. Как хорошо видят эти художники! Странные они — будто смотрят в глубь души».

«Зашел однажды в начале осени на глухую лесную просеку. Лес был старый, высокий, нетронутый, и сама просека уж как-то не соединялась с преобразующим трудом человека, заросла, была вся в березках, в прутьях малины. Листья у малины такие беловатые с испода. Стоял, смотрел на ели, какой странный к вершине цвет, бархат не бархат, а что-то такое смолистое, живо-зеленое, и березы в рыжем и светло-желтом листе. И небо

над ними. Смотрел и чуял: холодно там было, в вершинах, уже дышал там сиверок и угадывалась в каждом шевелении листков отлетная печаль, не ведомая миру. И чуть не плакал я один, стоял тут и все не мог наглядеться».

«В окно смотрел на облако в бело-синем и голубом,— такое оно было счастливое, неподвластно-свободное».

«О рабство женских глаз, коленей, губ и бедер! Глухая сдержанность желанья и тоски...
Вот так и начинаются стихи».

«Сегодня неожиданное. Ехал в электричке, и вошли женщины. Одна... Чулки забрызганы грязью, но сама! Сама!! Платок светлый в крупную розовую горошину. Лицо! Прелестно-свежее, светящееся, сияющее, с зелено-голубыми глазами. Губы... Губы древней богини... Волосы продуманно растрепаны, закрывают лоб кругловатой челкой. Колорит лица — цвет самой ранней зари, вот когда небо только едва белеет и чуть розово. Такую зарю у нас называют — досветкой, а видят немногие: косари, охотники... Если видят — запоминают на всю жизнь. И еще такой цвет есть у ранних весенних цветов,— словно бы белых, а на самом деле светло-светло-розовых. Он есть у нарциссов, живет в подснежниках и в первых кучевых облаках. Все это и напоминает ее лицо, присутствует в нем. Древние женщину понимали лучше нас. Миф об Афродите, рожденной из пены моря и зари,— что может быть лучше, свежее и естественнее. А рядом с женщиной сидела ее сестра — бледная испорченная копия, хотя была моложе. Лишний раз ясно: красота — как талант. Природа творит совершенно однократно и не терпит повторений или не может...

Тут же на скамье сидел муж этой красавицы. Высокий, конечно, и противного вида — волосы цвета щетки, брови с выступающими надбровьями, мелкие глазки, длинные руки. Все сошлось. Такие вот и владеют всегда... Напоминал дикаря, который нашел алмаз.

Из вагона ушел с трудом. Заставил себя уйти. И вот горе: все женщины, все девушки, все встречные полиняли. Отравился я этой красотой, и ничто мне теперь не поможет...»

Сгрудившись над блокнотом, хмыкали, пытались хо-

хотать. «Вот дурак! Бабник!.. Ха-а... Сексуальный маньяк какой-то... Ха-а...»

Но кто-то, поумнее, сказал:

— Бросьте ржать! Может, мы Ренуара потеряли... Тициана...

Бросили блокнот. Я его потом подобрал и еще дальше один кусочек повторю. Немного было там листов.

Все это мечты и воспоминания, а реальность — Третья пуническая война, Корнелий Сципион, Гай Марий, братья Гракхи, первый триумвират, второй триумвират... Школа, вообще, доводила иногда до глухой тоски, хотелось все бросить, бродить по городу, искать чьи-то лица и взгляды. И эту тоску я пытался гасить книгами по искусству.

Книги по искусству, то бишь живопись, которая интересовала меня главным образом, а также графика, скульптура, прикладное искусство — его я не научился ценить в репродукциях и сейчас — жития художников, монографии-исследования по творчеству великих, альбомы галерей, папки с репродукциями — все это уже и тогда, двадцать лет назад, имело цену и круг постоянных собирателей. Эти собиратели поразили меня странным сочетанием утонченных манер, насмешливой умности взглядов, недоступной цивилизованности во всем: в голосе, в одежде,— с жадной щучьей хваткой, бессовестным оттиранием локтем каждого, кто пытался войти в их круги и сферы. Вероятно, мой облик тянущегося к культурным высотам неотесанного парня со студенческими ухватками удивлял этих людей, хотя они постоянно сталкивались со мной у прилавков и развалов с книгами. Думаю, что они вряд ли могли меня считать за выпускника историко-филологического факультета.

Смотрю я сейчас на студентов подобных же вузов и факультетов и поражаюсь: как будто не два, а все пять десятилетий легли между нами, студентами в шинелях, в гимнастерках, в сапогах-кирзовиках, а многие из нас были и с нашивками за ранения, носили ордена, медали, солдатские стрижки «под Котовского», равно как и девочки щеголяли в стеганках, в лыжных штанах, в некрасивых юбках и шалях. Ну, кому пойдет, скажите, деревенский бабкин платок, «вегоневая» шаль,— она кого угодно на сорок лет состарит, а носили... Спрашиваю себя: да признали ли бы в нас, тогдашних, студен-

тов, сегодняшние мальчики в бородах, в вельветках, в импортных очках (об очках еще скажу дальше), в прижившихся, в общем,— как там их ни три, ни зашивай через край,— джинсах, техасах и маечках? Признали ли бы студенток в тех девочках в ватниках, в безвкусных юбках нынешние утонченные интеллектуалки, исхудалые «под Твигги», стилизованные под народниц, под казачек и совсем уж непонятно под кого — под журнальных див из «Силуэта», каких-то «Карменсит», под руссофилок, под русалок, под вамп, под валькирий?.. Одним словом, редко, очень редко попадаются сегодня на филологических, журналистских, исторических факультетах девочки, сохраняющие простую естественность облика — стилизованные их нередко и зовут «дуньками».

Сие отступление я сделал не затем, чтобы возвысить нас, круглоголовых и простоволосых, над не нюхавшими пороху элитариями. Суть была в том, что моя коллекционерская внешность примерно в таком же соотношении отличалась от внешности собирателей маститых, чему я по наивности и молодости не придавал значения и зря не придавал. Действует здесь тот же эффект, что заставляет нынешних девочек, поступивших в университет из Сухого Лога, Косого Брода, спешно превращаться в Бриджит Бардо. Форма, к сожалению, еще часто довлеет над содержанием, а в людских отношениях, скажем философски, всегда первична. «По одежке встречают...» Вот почему оснащенный всеми признаками интеллектуальности, принадлежности к литературному цеху, графоман и пустодуй долгое время — иногда и всю жизнь — пребывает в ряду писателей, а художник — за неимением истинного — ломается под Пикассо, пишет уродов, заливает краской свои беспомощные холсты, ходит по городу — ладно, если не босиком и в никогда не мытом свитере. Вот почему один пронырливый старичок с внешностью почтенного академика — еще до войны с грехом пополам отвоевал он кандидатскую степень и место в филиале академии,— благоденствуя, прожил всю долгую жизнь и везде преуспевал, проходил без очереди даже к зубному врачу, не постеснялся сшить академическую шапочку, завел степенный портфель, докторскую трость — и вот тебе на, прихожу я как-то в кафе: глядь — сидит «академик» за отдельным столом, в петлице салфетка, с важностью вкушает. Официантка перед ним бегает. Он благодарит с важностью. На моем же

столе стаканчика с бумажками — руки вытереть — нет. Пришлось подойти, попросить со стола у старичка. «Возьми!» — молвил «академик». Вот так-с, форма...

Любит рядиться в нее человечество. И не обязательно под академика, рабочий иногда тоже так измазутится, такую копченую кепочку носит, чтобы все видели — работяга, этот пашет и пашет. А киношнику никак нельзя без замшевой куртки — не выйдешь в режиссеры, сценарий не возьмут, а деятелю искусств из-под земли достань дубленку и дубленый же яломок, а маститому поэту как без белого свитера, без хромового пиджака, — оно и революционно как-то, и к чугунно-бронзовому многопудью ближе. Что поделаешь, все это понимают, но неисправимы люди, и даже самые-самые склонны к маскараду.

Маска, вероятно, полезна. Что врач без маски, что знахарь без филина, что фараон без золотого трона?.. Вот еще самый простой случай: доводилось вам видеть печника, которого призвали перекладывать печь? Дымит печь. Нет спасения. Греет плохо. Итак, с чего начинается печное действо? Человек в запачканной глиной спецовке прежде всего стоит глубокомысленно, смотрит на печь снизу вверх и сверху вниз. Долго смотрит. Потом не торопясь обходит печь, вдвигает-выдвигает задвижки, открывает-закрывает вьюшки, щупает печное чело, пять-шесть раз хлопает дверкой, постукивает казанками по кожуху, если есть кожух... Потом долго кряхтит и, наконец, вопрос: «Это кто же ек-ту клал?»

А потом, после некоторого торга, соглашается «изладить» новую печь, которая «как шефанерчик» будет.

И добавлю, что и «шефанерчик» часто так же дымит, и новый печник, обходя это творение, начинает с того же вопроса: «Это кто же ек-ту клал?».

У прилавка иностранного отдела, где чаще всего были самые лучшие книги по искусству, собиратели-любители толклись с утра до закрытия. Иногда казалось — уж не ночуют ли они тут. И всегда им улыбалась, бойко тараторила и по-русски, и по-немецки грузная зубастая продавщица. Она и по-английски, должно быть, говорила. Но если английский я не знал, так, разную только расхожую чушь — «сэнк ю вери мач», «ай эм вэри сорри»,— то немецкий, изучаемый и учимый

целое десятилетие, приводил меня в глубокое уныние. До сих пор не могу понять: то ли я совершенно не способен к языкам, то ли неусидчив, то ли память слаба или все это вместе, но из обширного курса в памяти жила постоянно и накрепко лишь одна фраза: «Анна унд Марта баден». Это значит: Анна и Марта купаются. Фраза была первой в первом моем учебнике немецкого языка для пятого класса и последней осталась. Можно смеяться, можно делать какие угодно выводы,— ни школьное, ни вузовское учение, ни благие намерения — «с завтрашнего дня начну учить самостоятельно» — не помогли...

У прилавка отдела иностранной книги я понял не только необходимость соответствующей экипировки. Я услышал здесь разговор на каком-то особом немецком языке. Быстрый, мучительно-неуловимый, непонятный язык, и в то же время вполне ясно, что говорят-то по-немецки, хотя далека была эта речь от того, чем овладел я в школе и в институте! Завистливо смотрел, завистливо слушал, чувствовал себя бедным родственником и обделенным. А следствием бойкого изъяснения всегда было нечто весомое. Оно доставалось из-под прилавка, и завсегдатай, даже не глядя на это весомое, лучезарно просияв, направлялся к кассе. Продавщица меж тем поворачивалась широченной спиной к прилавку, шуршала-шелестела упаковочной бумагой, трудно возвращалась в прежнее положение, подобно вращающейся сцене, и с благожелательной улыбкой вручала покупку счастливцу.

Двадцать лет назад на прилавках, стеллажах и витринах книжных магазинов было изобилие. Особенно в букинистических. Населения ли было меньше, книг ли больше? — скорее все-таки не эти причины. Просто мебельная промышленность не начала еще массового производства полированных шкафов, а словом «сервант» можно было удивить и озадачить так же, как словом «торшер». Неудобств было больше, чем удобств, миллионов квартир еще не построили — тех квартир, сама форма которых, сама планировка как бы требуют книжного шкафа, на худой конец, двух-трех полок в серванте рядом с рюмками, фужерами, хрусталем и сувенирными безделушками. Создается впечатление, что люди нынешние очень боятся такой словесной оценки своего жилья: «Да у них же в квартире книги не найдешь!»

Действительно, куда делись нынче книги? Куда они проваливаются (иначе не скажешь) при многотысячных тиражах? Что происходит с книгой? Почему на нее такой спрос, а хочется сказать грубее — дёр? Предположить, что в прежние времена книг не читали, а нынче все забросили дела и телевизор во имя книги? Неверная посылка... Ну, понятно, что в интерьере квартир книга потребовалась, что теперь и директор гастронома, и завскладом, и пьющий водопроводчик — все держат в полированном заточении коли не Пушкина, не Шекспира, то хотя бы Лопе де Вегу с Кальдероном. В самом деле, изданы Лопе де Вега и Кальдерон изумительно, переплет и корешки в солнечном золоте— красиво, солидно, фамилия культурная. Но все-таки и это не главная причина,— есть и другие. Два десятилетия назад все бы, пожалуй, удивились, услышав от продающего книги на базаре: «Два номинала! Пять номиналов! За эту — сто рэ...» Или томное: «Нет-нет! Только обмен...» Услышав, что рублевая книжка стоит десятку, обозвали бы вы продавца мошенником, спекулянтом, буржуем, милицию бы позвали. Нынче еще спасибо говорят, что продали, милицию только отсталый человек зовет, и ходят козырными тузами те, кто рано понял, что книга — ценность возрастающая, больше, чем марка, лучше, чем марка.

Канули в вечность времена, когда хорошую редкую книгу покупали по усеченной, бросовой цене. А процессы просвещения, накопления недевальвируемой валюты и производства полированных шкафов шли параллельно, лучше сказать, бежали, как спринтеры на соревнованиях. И замечалось: исчезли с полок букинистических хранилищ Пушкин, Чехов, Толстой, Куприн, но еще держались Лесков, Короленко и Мельников-Печерский, за Печерским пришла пора писателей двухтомовых, а потом уже дошла очередь вообще до нарядных, толстых, как московские купчихи, книг,— ведь иные собиратели тонких книг вообще не берут, писателей, которые пишут тонкие книги, за писателей не считают...

Сколько есть теперь разных сортов читателя! Есть читатель и собиратель, который принципиально не признает рассказы, а к повестям относится с подозрением, другой никогда не заходит в отдел «Поэзия», третий признает только исторические романы, четвертый читает-собирает «лишь про войну», пятая «только про любовь», шестой «про шпионов», и далее идут «только фан-

тастика и приключения», «только путешествия», «только о животных», детектив — не всякий детектив, а преимущественно зарубежный (Сименон, Агата Кристи). Вот сколько читательских степеней, их можно классифицировать как угодно — по ступенькам упрощения либо элитарности. Но все равно это будет читатель, следовательно, любитель книги и ее нормальный потребитель. А вот думается, что, если б в виде эксперимента для социологов рискнули издать какую-нибудь скучнейшую чепуху, невыносимую тягомотину, но издать роскошно, подарочно, с золотым обрезом, а главное, в хорошем переплете и во многих томах,— как вы думаете, застоялась ли бы она на стендах магазинов?

Вспоминаю. Стоит очередь у входа в художественный отдел, выбираются оттуда радостно-счастливые, взмокшие, прижимают к груди пачки книг. И женщина тут же стоит, такая приземистая, первобытнообщинная — чаще таких возле универмагов, где за коврами в очередь пишутся, видишь. Спрашиваю: «За чем стоите?» Не отвечает. «За чем стоите?» Молчание. «Какие там книги-то хоть?» — «А я знаю? — раздраженно.— Книжки... Все берут, и я стою...»

И другой случай.

Купил человек книгу, отошел в сторонку, листает, лицо расстроенное. «Не нравится?» — спрашиваю. «Нет...» — «Зачем же было брать?» — «Дак все же берут...»

Ассоциация может показаться странной, но процесс обескниживания книжных магазинов чем-то напоминает мне изменения в совсем другой сфере. Скажем, в довоенное время крестьянская семья с двумя коровами, телкой, пятком овец, свиньями, гусями-курами считалась среднего достатка. Не было у семьи ни приемника, ни телевизора, ни стиральной машины, ни «Жигулей». Со временем убавилось число коров до единицы, овец вовсе не стало, корову затем заменила телка, ее спустя еще сколько-то превратили в козу (коза сама себя кормит и молоко дает), так же точно свинья превратилась в поросенка, поросенок в кроликов,— и в результате от всей живности осталась одна курица, которую решили под Новый год одинокой жизни. Зачем курица, рассудили, да еще зимой? Ни петушка, ни солнышка... Зачем курица, когда яйцо можно привезти из города и туда же сгонять на собственной «Ладе» за маслом, за молоком, за

колбасой, если, конечно, найдется время оторваться от хоккея на «голубом экране».

Этот экран и его влияние на прогресс человечества еще будут изучены и описаны, мы же взялись разобраться в положении на книжном фронте — теперь это действительно фронт,— и потому вернемся к книгам по искусству. Они-то вперед прочих стали ускользать от взоров собирателей.

У книг ведь тоже есть своя иерархия, чиновная лестница, судьба, совсем как у людей, у человечества... Есть книги нищие, есть неприкасаемые, есть возвеличенные громкой хвалой, есть книги, которые кормят, которые учат, трудятся на человечество, а сами — страшно глядеть, есть книги-мудрецы, книги-врачеватели души и тела, книги-комедианты и книги-гипнотизеры, наконец, есть книги-карлики, книги-пигмеи, книги-великаны, книги раззолоченно-пустые и книги просто скучные, как бухгалтерский шкаф с инвентарной биркой...

А что до судьбы, то книги во все века лелеяли, ставили на божницу, жгли на кострах, продавали в рабство, искореняли, облачали в золото, приговаривали к конфискации, отправляли на вечное поселение, освобождали, объявляли памятниками...

В иностранном же отделе бывали самые лучшие издания, самые величавые. Как роскошно блестели они своими обрезами! И новым золотом, и старым серебром, и темной бронзой, и просто шелковистой гладью, белым глянцем, равного которому нигде не сыщешь. Такие книги напоминали о своих достоинствах самим звуком переворачиваемых страниц, как бы предупреждали, что их нельзя провинциально листать-муслить, каждый раз поднося палец к губам и оставляя дактилоскопические отпечатки. Книги можно было только открывать за верхнюю кромку с благоговением и бережением. Я уж не говорю, что эти книги облекались либо в картонный футляр, либо одеты были в лаковый яркий супер — тогда это также считалось модной новинкой.

И стоили книги недешево. Очень...

Но вы-то, читатель, возможно, знаете, что для коллекционеров и одержимых особым заболеванием — библиоманией, библиофилией — денежная сторона не бывает препятствием к обладанию. Деньги все равно нахо-

дятся: их занимают, одалживают, выклянчивают у родителей, берут у друзей, жен, скаредно копят.

Был и есть такой любитель в нашем городе, и давно уж ему за шестьдесят, и не женат он, и постоянно его место у букинистических развалов, на сборищах книжников, у столов филателистов — все видишь его желтую голову со впалыми ямами глаз, не голову — головенку, зимой и летом в кепочке-восьмиклинке. Роется он в книгах, что-то там нюхает, высматривает, листает хищнонервно и, найдя, хватает с дрожью, несет потом куда-то в свое жилье, вышагивает тощий, как осенний репей, в латаном пиджачке: справили, может, еще родители к выпуску из гимназии.

Книги по живописи пленяли меня тем больше, чем казались недоступнее и чем чаще уплывали в руки постоянных клиентов в солидных очках. Вот дошло время и об очках обмолвиться. Что такое очки? Прибор для исправления зрения,— скажете вы и ошибетесь сразу же. Нет-с... Не главное это назначение очков — это как бы их внутреннее содержание, а главное — и я давно понял это — они форма, завершение формы, если хотите... Нет, не будет у вас облика просвещеннейшего, постигшего высшие истины, если вы не обзаведетесь изощренно-модными окулярами с подпалинами, которые и призваны сообщать владельцам облик постоянной интеллектуально-нервной утомленности. Таких очков тогда еще не водилось, но были все-таки весьма солидные, профессорские, и как помогали очки их владельцам собирать книги, как влияли на толстую продавщицу, что и сам я уж подумывал, не достать ли где-нибудь такие же, но ведь никак не подошли бы они к моему шинельно-фризовому пальто, к зимней шапке из странного меха, больше всего похожего на коровий.

Книги из-под прилавка продолжали утекать своей чередой, я же пока довольствовался тем, что не брали взыскательные владельцы очков. Ни Лувра, ни Рембрандта, ни галереи Боргезе, ни Леонардо с Рафаэлем не перепадало мне. Книги эти были точно синие птицы...

Но однажды, подойдя к прилавку незадолго до перерыва, я увидел под сенью стеллажа в углу большой и замечательный по глянцевому лоску том. Titian — изящно обозначалось на корешке, точнее сказать, корневище этой книги. Тициан?! Неужели Тициан?

Даже дух перехватило.

— Э... э... Покажите мне... Пожалуйста... Вон ту,— указал я продавщице, сомневаясь, как назвать. Если Тициан — хорошо, а вдруг нет,— вдруг Титиан какой-нибудь, действительно, о котором я слыхом не слыхивал? Скажешь: покажите Титиана, и опозоришься навек в глазах продавщицы,— она с некоторых пор все-таки стала оказывать мне слабые знаки внимания, как самому верному рыцарю ее отдела.

На сей раз продавщица достаточно выразительно оглядела меня. Она сообщила своему взгляду весьма порядочную порцию презрения, почти возмущения, скепсиса, снисхождения и не знаю еще каких оттенков сходного качества — все там было, поверьте. Думаю, что Тициан был уже отложен и обещан, а продавщица лишь забыла убрать его в более укромное место. Милая эта женщина вдобавок к своим габаритам была рассеянна ужасно, часто путала цены, чеки, проторговывалась, вечно у нее чего-то недоставало, и она спорила о недостаче прямо за прилавком, куда являлся из закутка-предбанника сам директор магазина, веселый человек, похожий на лысого библейского дьявола — не хватало ему только рогов да хвоста.

Блеснув передо мной красотою съехавших чулок, продавщица нехотя протиснулась в угол и подала мне книгу, по праву первородства уже предназначенную кому-то, а тут — случайному в мире искусства, почти нахалу. Все это я еще раз прочитал уже на спине женщины, пока она вылезала из разваленных по полу книжных груд. Когда же она снова обернулась ко мне, я увидел, что на лице ее держится надежда на несостоятельность покупателя. Том был очень тяжелый и стоил по тому времени немыслимо дорого. Но как бы ни была велика цена, я твердо решил книгу купить, в моем кармане лежала сумма достаточная, чтобы купить три таких книги,— полумесячная учительская зарплата...

Сердце мое билось сильно не только по причине веской стоимости, скорее сейчас, я уподобился охотнику,— он выследил редкую крупную дичь, и вот она уже близко, уже на мушке, и только бы ружье не осеклось, только бы... А может, такое же ощущение испытал путешественник-неудачник, приставший к острову, где он не ожидал встретить никого, и вдруг оказался лицом к лицу с величавой красавицей — она вышла из кустов ему навстречу, сияя собою, и он уже понял, что ему не

надо ни с кем соперничать, делить счастье и уходить посрамленным. Не знаю, откуда пришла эта мысль-сравнение, но она была точно такая, когда я быстро-наспех перевернул несколько страниц, и передо мной мелькнули какие-то женские лица, а в ухо уже дышали, к книге тянулись и вообще выражали кто нетерпеливое желание дождаться, чтобы я выпустил книгу из рук, а кто-то смотрел с напускным равнодушием, а сам ждал, как хищник: «Ну, выпусти, выпусти ее, задумайся хотя бы...» И если бы я выпустил книгу, с ней было бы то же, что со всеми красавицами — их выхватывают и, улыбочно оглядываясь, уводят навсегда...

Как можно тверже сказал продавщице: «Я беру... Заверните...» Иллюзии распались. Я пошел к кассе. Но там сидела старуха-пенсионерка и до того неторопливо считала, шлепала штампом, ворчала чего-то, что к ней собралась порядочная и нетерпеливая очередь. А я стоял и оглядывался на прилавок, все казалось — перехватят мою книгу самолюбивые, ни стыда ни совести, знатоки. Перехватят и будут тебе опять улыбки-ухмылки.

О, эти улыбки-ухмылки коллекционеров-патрициев над начинающими плебеями... И обидны донельзя, и возразить нечего, точнее, нечем. Убедился — для всякого рода ценителей, накопителей и знатоков предметов искусства главный авторитет, в общем, не ты сам, каких бы знаний ни набрался, а то, чем ты владеешь, твое собрание, коллекция.

Вот, скажем, такой случай. Бродит меж книжниками на толкучем некто Витенька (это уж нынче, когда книга сделалась дороже злата-серебра). У Витеньки же какими-то судьбами невероятное собрание, библиотека редчайшая — и качественно, и количественно. Где он ее отхватил? По наследству ли, в карты ли выиграл (случай подобный приводился выше, только в обратном варианте), вывез ли из глубинки задарма, как вывез совсем недавно два грузовика старых книг другой, некто Боба? Ничего не известно, факт только: у Витеньки и Пушкин редчайший, чуть ли не с автографами, и Киплинг, и Мопассан, и «Йога», и «ЖЗЛ» с первых выпусков, и всякие там «Мужчина и женщина», и «Что нужно знать, чтоб быть счастливым в супружестве», и травники древние, и библия, и Август Форель, Ницше, Фрейд, Кьеркегор, Шопенгауэр, все Бальмонты, Минские, Соллогубы, Северянины в полном наборе...

Витенька щеголяет в подонском обличье, патлы не стрижены словно с рождения, на плечах — солдатская шинелишка, лицо изможденной монахини, на ногах — опорки, нечто вроде обрезанных сапог, так сказать, «полсапожки», в полсапожки засунуты модные штаны-клеш перинного тика. Чучело чучелом. А перед Витенькой любезны и те холодные, в очках с подпалинами, и те, кто имеет как бы незримые генеральские звезды,— вот что такое коллекция.

На втором месте держится Боба — он же Боб, Жорж и Жора. Боба — полная антитеза Витеньке: в движениях скор, резок, собран, движения больше хватательные, цепкие. Взятую книгу не отпускает. А вообще напоминает Боба молодого кабанчика — так розов и щекаст. И собрание у него замечательное, и пополняется стремительно; говорят, он даже женился на время на приемщице из букинистического. Да мало ли что говорят...

После экскурса в нынешние времена, может быть, понятнее станет мое состояние,— как я уносил так и не завернутый том Тициана. Все-таки шел победителем, в полном восторге, лишь слегка омраченный предстоящим объяснением с женой. Треть зарплаты... Ну да ладно! Да как-нибудь. Прожили мы с ней однажды два дня на две сданные бутылки, и хорошо прожили, веселились даже. Теперь вспоминаем... Зато у меня — сокровище! У меня Тициан! Может быть, полностью! Конечно, это уж было утопией. Слишком много написал Тициан — этот мастер — за свои девяносто лет, но иногда и утопия очень греет, очень помогает жить. Сколько раз встречался и сталкивался я с коллекционерами всех мастей и рангов: библиофагами, филателистами, нумизматами, открыточниками (филокартисты они называются), и даже какие-то филуменисты (этикеточники, собиратели спичечных наклеек) попадались, но скоро заглохли — и товар дрянной, и собирать муторно,— так вот, сколько я с ними ни сталкивался, все они шли в коллекционирование от двух принципов: ценность объекта и полнота собранного. Есть у коллекционера какая-то особенная невыносимая гордость, если он может сказать: «Ну, у меня же все рубли с Алексея Михайловича (царя) имеются... Если нет константиновского, так он же пробный был, его и в Эрмитаже нет...» Или: «У меня же вся Германия с первой марки по сорок пятый...» Или: «У меня же весь Бальзак! Все двадцать четыре тома...» И так далее.

А теперь я заставлю роптать нумизматов и филателистов, вообще собирателей и ценителей, заявив, что с книгами ничто не сравнится... Ничто! Как ни гордись монетой, чеканкой, блеском, древностью — пусть ее хоть Александр Македонский в руках держал,— монета и есть монета, много из нее не выжмешь. Марка в конце концов всего лишь красивая зубчатая бумажка с клеем на обороте, с обозначенной стоимостью, с растущей ценой. А вот книга, мало того, что обладает и ценой, и стоимостью, она несет собирателю целый мир, и мир не только написанный, но отраженный, мир, рождающий другие миры по принципам ассоциации, самостоятельного мышления читателя, ибо сказано: не столько надо читать, сколько перечитывать, и не столько перечитывать, сколько думать над прочитанным...

Книга же по искусству еще и галерея шедевров. Репродукции? Ну и что, что репродукции. На марках-открытках все равно они хуже. А книжная репродукция иногда под стать подлиннику. Недаром был такой собиратель (и один ли!) — похищал репродукции с картин во всех библиотеках, выдирал из журналов, вырезал из книг, был пойман, уличен, судим, сколько-то отработал на стройках большой химии, а теперь снова вращается в любительских сферах и, слышно, опять занят тем же... Вот что такое репродукция.

Тициан был передо мной. Прежде чем смотреть его (вы помните, что книга была на немецком языке?), я обернул сокровище чистой хорошей бумагой. Книгу надо уметь беречь. Книга — ценность. Вот повторяю ведь то, что говорил мне филателист-профессор... Иные любители и не возьмут ни за что, если есть хоть маленькая чатинка, не говоря уж про пятна, про тараканьи отметки. Одну такую из чистых чистую коллекцию я видел у маститого собирателя. О книги! Они стояли на полированных румынских полках за толстым стеклом ровными-ровными рядами. Стояли аккуратные, чистенькие, нечитаные. Небольшой и тоже аккуратно написанный черным на ватмане аншлаг предупреждал: «Книги не выдаются». Коллекционер, усмехаясь, водил меня у полок, показывал, не касаясь рукой, сказал, что на лето удваивает шторы, а книги затеняет бумажными полосами. Ничего в квартире не было, кроме книг, таких же полок с ледяным хрусталем и тахты, накрытой ковром из Туркмении. На тахте лежала юная, отлично рас-

писанная красками женщина-девочка в тонких обтягивающих брючках. Я подумал — дочь этого седенького узкогубого сухонького человека с безукоризненными вставными зубами, оказалось — жена... Я и не представлял, что женщина-девочка тоже собирательница книг, вид у нее был вроде канарейки в клетке.

В отличие от филателисток женщины с уклоном в библиофилию встречаются гораздо чаще, и все разные, типа тут не создашь, скорее, все они ярко выраженные индивидуальности, имеются собирательницы, словно бы одесские торговки, есть интеллектуальные дамы, кисловатые такие, всегда недовольные с виду бабушки-пенсионерки, есть всезнающие девушки-искусствоведки, продавщицы из книжных отделов, есть и заведующие магазинами — те копят альбомы и книги, как деньги, наконец, женщины — знатоки искусства, преподавательницы филфаков, передовые учительницы литературы (в отличие от отсталых учительниц литературы, те, кроме Пушкина — Маяковского, романов «Мать» и «Разгром», отродясь ничего больше не читали), и, наконец, есть женщины, причастные к искусству через увлечение мужа, через семейные традиции. Эти последние самые невозможные: на личиках у них навсегда поселилось такое культурненькое пренебрежение к личности каждого, кто осмелится с ними заговорить, кого они не считают ровней. Прочитать выражение лица можно так: ну да, я понимаю, вы тоже там что-то такое собираете-побираетесь, но в сравнении с нами (со мной, с мужем) вы, конечно же троглодит. Вот образец разговора:

— Скажите, пожалуйста, а Ренуар у вас есть? Какой-нибудь отечественный? Нет? Что вы говорите?! А мужу недавно привезли из Японии Сальвадора Дали... Ну, что вы... Уникальная вещь... Двести рублей!

Сама женщина-собирательница тоже уникальна, как книга Дали. Личико бархатное, бархатные глазки, носик вздернут, губки-клюквинки, в шапочке она почти всегда в немыслимой,— гномик не гномик, сак не сак, ток не ток, а что-то такое невиданно модное, культурное очень. И всегда почему-то такие женщины в брючках.

Тициан был передо мной.... Уже за полночь. Тихо. Спокойно. А тогда я жил в крохотной квартире с кухней в полуподвале, и кухня была для меня всем: кабинетом, столовой, местом для размышлений, особенно в поздний час, а поздний час и был единственно свободным для

размышления, другого времени я не находил. Здесь было чисто, тихо, тепло, и никто не мешал мне читать и думать, разве что мышь выбежит из подпечья, таракан покажет из щели длинные задумчивые усы... Вот сейчас у меня и кабинет настоящий, и полки полированные, и стол хорош, а все вспоминаю с тоской ту кухню, окно в глухой двор, ту кроткую мышь, ту широкую несуразную печь, с открытым ртом внимавшую мне,— нигде уж потом не было так спокойно хорошо, нигде не мог я так долго оставаться наедине с великими мастерами...

Я открыл Тициана... О, это была ни с чем не сравнимая, удивительная книга... Может быть, иллюстрация человеческих страстей, судеб, мучений, раскаяний, озарений, светлой и темной жизни. Употребляю манерный оборот — я упивался ею, иначе не скажешь,— когда вглядывался в библейские лица старцев, напыщенных вельмож, словно бы свыше просвещенных властителей, кардиналов, князей, пап, императоров, святых и мучеников, из которых крепко торчали стрелы, жаднoруких корыстолюбцев, пухово-пышных обольстительниц, пастушек, патрицианок, монахинь, служительниц любви, прекрасных богинь, безобразных ведьм, кающихся грешниц. Одна за другой являлись мне Флоры, Венеры, Магдалины, Дианы, просто купчихи, просто горожанки. Чувственная кисть художника не обходила ничего. Я смотрел и ощущал, что Тициан вернул мне то далекое мгновение, когда впервые я увидел женщину в высокой силе ее солнечно-лунной красоты и великого совершенства.

И опять мне захотелось вернуться к найденному блокноту, привести страницу-другую из немногих уцелевших там. Мы смеялись над парнем придурковатого жалкого вида, мы тогда точно были хохочущим человечеством, а он художником, давно понявшим то, что лишь ощупью стало ведомо нам...

«Как легко я вижу все, что захочу... Написать бы ночь. Со всеми ее существами, тайнами, движениями теней, чарами-колдовством... Сколькие подступались... Писали ночь, а что... Хочу такой картины, и не одной — или вижу в одной множество. Ночь. Дороги... Созвездия, огни, повозки, табуны идущего нашествия, стон связанных, крики насилуемых, плач и смех, и дикое ржанье коней... Вижу судьбу городов, древние тыны, лица,

всматриваются во тьму в беспокойном свете костров, в беспокойстве за оставленных в постелях женщин, за спящих детей. И снова со словом **ночь** видится мне женщина, но не так, как писал Джорджоне, Рембрандт. Не так писал... (пропущено, неразборчиво). Все это односторонняя ханжеская суть женщины, художники словно боялись ее писать так, как хотели, как думали, как видели, и это чувствуешь всегда у всех, меньше всего у импрессионистов, но даже у Ренуара, даже у Дега... Никто еще не выразил ни сущности женских губ, ни сущности ее неправильных пропорций, никому не далось таинство ее дающего жизнь живота,— только древние индийские художники приблизились к этому. Их танцующие упсары... Женщина и ночь... Рождение и тайна расплеснутых во сне волос... Никому ничего не далось... И все впереди... Мы оглядываемся на древних, но не видим, не предвидим великого расцвета искусства в будущем, когда на нас и на древних, на творения всех Миронов, Фидиев, Шишкиных будут смотреть с улыбкой, как на робкую зарю, на игры детей...

Вот написал о заре, а ведь она тоже входит в картину, как финал ночи, как торжество бесконечного. И заря понятна мне, то состояние, когда еще ночь, охлаждающаяся к рассвету над глухо спящими садами, над далями, где каждая труба, стена и тополь онемело и мирно входит в пейзаж сна. Перед рассветом только в небе остается тихая жизнь. А на земле останавливается время, и так бывает пока, словно повинуясь некоему, начинает плавиться, рдеть север, восток возносит розовый, красный и желтый свет, бегут, отступая, серые, фиолетовые и синие тени, сдвигается темь, и снова мгновение безвременья, лишь золотое сияние — венец дня. Кто бы мог это написать? Только один торжествующий свет...»

Каждая картина Тициана дышала глубоким внутренним смыслом. «Динарий кесаря» со струящейся мудростью от лика Христа. Портрет Карла V. Портрет Пьетро Аретино, того, кто не останавливался ни перед чем для достижения своих целей, и его облик с беспощадной откровенностью запечатлела кисть, которая не могла лгать, хотя бы писала себя самого.

Бездна страстей глянула на меня — автопортрет Тициана. Я увидел великого труженика в обличье изощренного сибарита, подвижника своего высокого ремесла и сребролюбца, должно быть, способного наслаждаться

тонким звоном флоринов и цехинов, иначе не было бы этого звона в динарии, показанном Хрнсту, в украшениях женщнн, в з о л о т о м дожде... Женщнны — не самая ли снедающая страсть старика Тициана? Кто были они ему, дебелые горожанкн, юные девушкн, знатные опытные матроны — живые воплощения его богинь?.. И опять я столкнулся с Данаей, с золотым дождем, узнал продолженне мифа, кое-как перевел аннотацню к картнне, где с немецкой обстоятельностью, совмещенной с краткостью, говорилось, что царская дочь Даная была заключена отцом в темницу за то, что царю была предсказана гнбель от руки внука. Но громовержец Зевс пленнлся красотой Данан н посетил ее в виде золотого дождя... Я узнал также, что четыре варианта картины находятся в Неаполе, в Швейцарии (в частном собрании), в музее Прадо в Мадриде и в Эрмитаже,— чему я сам был свидетель. Но мысль моя скользила мнмо, я искал сути, хотя, быть может, и не нужно ее искать в красоте, но я чувствовал — не мог привлечь великого мастера лншь звон золотых струй или даже красота женщнны, самоценная по своей сути,— ведь и мнф несет всегда гораздо большую глубину, аллегорический смысл его всегда таится, не выходя на поверхность. Я хотел понять, что двигало кистью живописца, какой свет освещал его внутренний путь. Уж не любовь ли? Не здесь ли скрыто откровение?

Л ю б о в ь... Вот ищу ясный высокнй смысл этого донельзя изменчивого понятно-непонятного слова и поражаюсь, до чего оно многозначительно и многозначно, до чего заезжено, захватано, обслюнявлено, обхихнкано и стерто, сколько много значений — и все разные. Смотрю в словарь: п р и в я з а н н о с т ь, с т р а с т ь, в л е ч е н и е, п р и с т р а с т и е,— все вроде бы есть — от высочайшнх понятий обожанне, о б о ж е с т в л е н н е до таких модных в древности и сегодня, как эрос и секс, до уходящих в сторону определенний: одержнмость, увлеченность, стремленне, интерес, поиск...

Любовь... И нет все-таки чего-то более емкого и значащего, объеднняющего и еднного, что было бы просто, велико и одно, как Солнце. Может быть, СОЛНЦЕ — как раз есть то самое? В его олицетворении скрыт замысел золотого дождя? Ибо — что Земля без плодоносного света, что жизнь без обновления р о ж д е н н е м, и

совершенствования рожденнем, и бесконечности возрождеинем? Не лучше ли нас понимали суть СОЛНЦА н ЖИЗНИ опять же древнне, обожествляя силу светила в сонме своих богов солнца и плодородия, перенося на человека н символы иаходя человеческне?

Любовь... Есть на Земле такне пустыни, бесплодиые места, дождь не идет годами, и только пески и горы угрюмо терпят (и терпят лн?) ежедиевный зиой, как привычную муку, а все жнвое перебивается странной, приспособленной наоборот и вопреки сущности ночной жизнью. В глубь почвы корнями и стеблем уходят растения лнбо покрыты клочьями пуха н страшиными шипами, на которых оседает тощая роса... Думается, и люди есть — десятнлетиямн, бывает и всю жнзнь,— ие вндят золотого дождя любвн, живут, как те растення, глухой существовательностью н довольствуются крохамн, неведомо чем, ио, как те растения, может быть, ждут, а лучше сказать — жаждут...

Припомннаю я вечерннку в той школе-бане, обычиую учительскую пнрушку-складчнну на скорую руку в честь какого-то дня, может быть женского, н ничем вроде не запомннлась она, не могла запомниться, кроме типичного жнденького застолья с малнновым внегретом и с песней: «А я люблю же-на-това...» (была у нас там постоянная запевала, учительница-певунья). Но помню-припомннаю, сидел уже после застолья в уголке класса, с наспех вытащенными партами, нстопннк и он же завхоз, мужнчок кроткий, средних лет, бессловесно-однинокий н пьющнй. Все танцевали. Скрипела радиола. Тускло, как в бане, горели лампочкн. Была за голымн окнамн окраинная ночь. И я слышал, как мужнчок в углу уныло повторял: «Хоть бы хто-нибудь... меня полюбнл... Хоть бы хто-нибудь».

Месяца два спустя истопника-завхоза не стало...

Вспомнная этот случай, уже заслоненный временем, опять думаю,— н растення в тех пустынях, приспособленно-терпеливые, сохраняющне долго бутоны ярких цветов, не всегда выживают под пеклым зноем, и тогда остаются там только камень н песок. И спрошу: Что такое скалы? — Это бывшне горы... Что такое камень? — Бывшая скала... Что песок есть? — Бывшнй камень...

Но все же, что такое — песок?

Впоследствии я редко обращался к Тициану. Новые имена и книги оттеснили его. Я увлекся импрессионистами, и они открыли мне еще более торжествующий мир цвета, утренних красок, которые когда-то искал я сам в неумелых и подавляемых попытках выйти на ту же тропу. Сезанн. Ван-Гог. Гоген. Ренуар. Дега. Писсаро. Лотрек. Собрал их всех, радуясь каждому, у каждого находя что-то словно бы свое — так, наверное, всегда способность к сопереживанию тревожит читателя и зрителя. Импрессионисты заняли лучшие места сначала на моих полках, позднее в отдельном шкафу и, наконец, на стеллажах моей библиотеки. Библиотеки? Всегда как-то стесняешься поименовать свое собрание БИБЛИОТЕКОЙ, и вообще — громко как-то, хвастливо, что ли, и — сколько это? Где кончаются просто *личные книги* — начинается *собрание*, где кончается собрание — начинается *библиотека*?

— Книг-то у меня много — штук тридцать будет, — похвастал один из моих соседей.

— Да пока... я еще не могу похвалиться большим собранием,— ответил один активный библиофил.— Тысячи четыре... Может, чуть больше...

Я не заметил, как на моем носу появились очки. Сначала самые простые, их берут лишь от нужды, а продают в каждой аптеке — очки для работы. Пока они не модные, без подпалин, и почему-то я всегда прячу их в карман, не решаюсь надеть на людях...

Я не заметил, как лицо мое утратило студенческое простодушие, потом непросвещенную живость, потом еще какие-то черты... Однажды случайно увидел себя в профиль в тройном зеркале в магазине готового платья, увидел незнакомого мужчину с густой проседью, с почтенным лицом усталого знатока — вот точно такие лица и были два десятка лет назад у тех собирателей — лица, которые меня так возмущали... Я с интересом косил глазом на этого мужчину, и мужчина так же заинтересованно косил на меня, я оценивал его, как привык оценивать и понимать людей или вглядываться в живописные портреты, стараясь пробиться внутрь, найти в рисунке морщин и движении лица его скрытую истинность. И точно так же оценивал он меня из глубины зеркала, критически строго и усмешливо-снисходительно. Жаль, что редко мы видим себя в профиль, совсем не представ-

ляем своего затылка, спины, походки. Мы хорошо знаем только обращенную к людям сторону, а люди видят и ту, неизвестную, непонятную нам, и оттого, знать, оценивают точнее и беспристрастнее — «со стороны виднее»...

Так смотрел я на себя в это короткое мгновение и подумал так. Мысль причинила боль, я не успел все-таки за это время осмысленно определить себя: если тот человек — я, то кто же я теперь и в каком человеческом разряде? — ведь сказано в писании спокойно-мудро: есть много званых, но мало избранных.

Однажды я раздумался: а что если всю жизнь, с тех пор как вспыхнуло мое сознание и осознание своей причастности к окружающему миру, я явно или неявно (и скорее неявно) искал смысл золотого дождя жизни и хотел всегда понять его больше, чем мог, силился проникнуть в какую-то запредельную тайну, все время и мучавшую и обогащавшую меня чем-то похожим на ожидание и предвиденье? Вот так, наверное, смотришь в небо,— иначе куда же? — и видишь его тучки, его краски, его спокойную беспредельность, спокойную относительно нас и каждой былинки, колышащейся на ветерке, и все время растворяешься в относительности своих догадок, понимаешь, что дыхание этого неба куда больше, чем все твои мучения-озарения, понимаешь, что оно одно для всех и больше, чем для всех, и отступаешься,— мысль всегда возвращается к реальности от иррациональных стихий: небо есть небо, земля есть земля, а дождь может быть только дождем...

И хочется сказать опять евангельским слогом. И была весна... Было лето... Странная весна без ручьев, с мгновенно исчезнувшим грязным снегом. Страшное лето с суховеями, с торфяным горько-пряным дымом — торф пахнет бывшими листьями, бывшей землей и бывшей жизнью,— лето с постоянным воем, истерическим визгом пожарных машин. Горели леса. Все сохло, обращалось в камень и трескалось, вымирала трава и останавливались реки. И что-то жуткое было в постоянном ежедневном солнце, которое ровно калило, жгло, пылающе висело в безоблачно-сухом и обесцвеченном небе, а к вечеру спускалось в багровый туман.

Все тосковали по дождю, по облакам, по холоду и влаге. Дождя не было. Его не принесла и осень. И новое лето началось так же. Досужие прорицатели предсказывали бездождье на семилетие. Газеты призывали эконо-

мить воду. А в пыльных полях, как в печной золе, лежало невсхожее зерно... Так было...

Как знать — не хотела ли природа что-то немо сказать сим знаком и значением, заставить оглянуться нас, таких умных-разумных, уже расщепляющих ее атомы, как лучину, не желающих понимать счастье обычного дождя? Кажется, она еще только предупреждала...

Пришел ветер, и стена туч встала серо, широко и влажно. Стена темнела и высилась, и уже дышало оттуда холодом и мраком, и было что-то безнадежно-радостное, восторженно-глухое, там, в глубине, над и за отемненным горизонтом. И это восторженное росло, а неизбежное надвигалось, уже доносилось сюда в коротких пылевых вихрях, шальных порывах, скакало по дорогам, заставляло тревожно переговариваться вершины тополей. Ждали, свинцовели окна, напряженно хмурились крыши. Во всем было словно боязливое ожидание — предвиденье, и больше всего в лицах детей и старух. И вот, наконец, дошло,— когда тронулись, задышали, согнулись и понеслись все в одну сторону белые от страха тополя, и неуловимый свист, как от чего-то размахнутого сплеча, пронесся над землей, мелькнул в небе, и все началось, смешалось, хлынуло бешеным ливнем, раскачиваясь в плаче радости и боли.

И — ах, как хорошо было видеть-осязать чувство растерянной принимающей дождь Земли и гневно любящего неба. Это был опять з о л о т о й дождь.

А самый простой, обычный дождик — разве не бывает и он золотым?

...Мальчик любил и ждал ненастье. Летом оно начинается всегда постепенно, не торопясь. После долгой сухой тихой погоды вдруг с полудня возьмется ветер и дует все прохладнее, дождевее и к вечеру не затихает. Бледнее станет выметенное им небо. Сказочные седые волосы растягиваются, прямятся в вышине, указывая дорогу ветру.

Вечером мальчик сидит на крылечке и глядит, как густеют вдали провисшие медлительные тучи и закат палит их — не может сжечь. Желтая, оранжевая полоса пожарища полыхает по всему северу. А север — знает мальчик — что-то суровое, дальнее, холодное, где неви-

данные тундры и ледяное море, и сиянье волшебных царств. Кажется ему, что за этим закатным огнищем дальше мрак и тьма и какие-то огромные звезды... Закат уже померк. Тучи завешивают его насовсем. Красно блещет и гаснет зарница. Что такое зарница? Почему в этом слове есть что-то малиновое, высокое, небесное?.. Свежая ночь встает, синея и темнея незаметно. Шепчет про себя встревоженный тополь, и чудится мальчику, что он слышит дальний голос грома,— он прислушивается, открывает редкозубый рот, уводит в сторону глаза.

Но ничего не слышно, кроме лая собак. А тополь шепчется, он знает что-то. И в темноте на севере что-то вершится. И звезда, проглянувшая сонно сквозь белесое на черном низкое облако, не просто звезда — она смотрит, смотрит на рассеянные окраинные огоньки и, кажется, тоже думает. Мальчик сидел бы еще долго-долго, да мать который раз уже зовет сердито.

Тогда он плетется спать. Улегшись на свою узкую скрипучую койку, которая мала для его худых, крепких, всегда грязных в лодыжках ног, он долго не спит, шепчет, думает, представляет, какой завтра будет дождик и как будет пахнуть трава и будет ли сосед Вовка Смирнягин караулить его на улице за то, что он запустил ему камнем по спине. И попал-то нечаянно...

Мальчик засыпает с полуоборванной мыслью — и словно тотчас просыпается.

Светло. На дворе кричит петух. Неужели утро? Но как серо, как вяло все. Капает дождик. Слышно, как он шевелит пальцами по листьям черемухи за окошком, щупает стену.

— Ой, спинушка, н-не моя,— охает, шаркает в кухне бабушка.— Ох, ненастье-несчастье...

— Ненастье! — радостно вникает мальчик в слово и спросонья, неумытый, бренчит босыми пятками через кухню в сенки. Дождевой сыростью, холодком до озноба, до крупной дрожи прохватывает его, и он улыбается, блаженно закрыв глаза, и жмурится, запрокидывает голову, тянет свежий счастливый запах. Как пахнет отдохнувшая, оплаканная дождем земля! Как пахнет пыреем из-под забора, укропом и крапивой из огорода, и серебряными мокрыми лопухами, и черемуховой горечью! Как пахнет...

Он сидит на влажной ступеньке, и дождик лениво сеет, кропит ему ноги,повевает в лицо, бисером оседает

иа стриженых волосах. Через десять минут мальчик мокр, умыт, ему нечего терять, он выбегает под дождик, скользит по мокрой земле, страшась только иаступить босой ногой на стекло. Вот растворил ворота, встал под крышу, по-галочьи вертит головой, отирает рукавом лицо. Дождик. Круговое ненастье. Низкая дождевая муть ползет над слободкой, темнея и светлея.

Как изменилась тихая загородиая улица! Вся потемнела. И слезится и словно бы плачет. Серой влагой налились тополя. Холодно, серебряио и мокро клонятся их вершины. Мокро и темно стоят заборы. Мокро-серая стоит лебеда, гусиная лапка сложила венчики. «Трава плачет,— думает мальчик — а мне хорошо на своей земле, на своей улице, под своим-то дождиком». И даже в глухой беспросветности неба грезится ему что-то родиое, тоскливо-ласковое. Глядит, как дождь засевает лужи, рождает иедолговекие пузыри. В затоплениой дорожной траве, вдоль иалитой дождем колеи, благодатно пожвякивая, переговариваясь по-своему, полощутся соседские утки. Они рады, как рад мальчик, как радовалась вчера, катаясь у ворот, предчувствуя ненастье, чериая уличная собачонка, как рад коричневый гладко-мокрый водяной жук, торопливо и несуразио ползущий куда-то под дождем.

Может быть, в мальчике живет художник — и складывает, складывает в памяти цветные этюды, пейзажи, натюрморты. Иногда одну только краску, одну лииию, один штрих. Мальчик не знает, откроется ли когда-нибудь эта галерея, но отлично он понимает художника, всегда чувствует его. Иногда художиик мешает жить, не дает играть в ребячьи игры, тянет и зовет куда-то. Но мальчик привык к его присутствию — даже сейчас, когда ему просто вольно и счастливо.

И чтобы полнее собрать свое счастье, он снова выскакивает под дождик, бежит к луже, распугивая уток, и скачет по ней, как дикарь, визжит и хохочет. Вот бы хлопнуться сюда, в теплую грязь, колотить руками и ногами! Вот бы! Да мать всыплет... А, ох как хочется!

И он нагибается, черпает полные ладони коричневой ласковой грязи и расписывает на ногах «чулки». Налюбовавшись, вдосталь, досыта набродясь по грязи и воде, весь промокший до трясучки, он смывает чулки в той же луже и бежит домой завтракать на истопленной кухне под ворчанье бабушки.

Потом он сидит у окошка и рисует. Дождик сильнее сыплет за стеклом. По двору бегут грязные ручьи. Хлещет вода из желобов у соседнего дома. Где-то капает с потолка. Воробьи чирикают за наличником. И на картинках у мальчика косая грива дождя, косые тучи, косые домишки. Почему? Он вам и не ответит. Может быть, потому, что дождик косой... «Хорошо»,— думает он, уставясь в тетрадку, погрызывая карандаш. Какой хороший дождь! Хоть бы он подольше. Пусть бы подольше...

А вечером мальчик снова сидит на темном крылечке, нахохлясь. Он ждет уже сухой погоды и радуется звездным глазочкам, все чаще мигающим ему из-за могучих облаков. Ждет и верит: будет вёдро, жарынь, другие облака над землей. И снова он счастлив.

И еще в дополнение:

...Идет дождь, и все, как куры, спрятались, забрались под тесными крышками у входов в магазины. Противен городской житель своей боязнью холода, непогоды.

Один человек все-таки идет, подставляет ладони дождю. Мокрый, облипший — нечего терять, но самый, наверное, умный из всех, самый счастливый.

И еще... Не помню, возле какой станции метро. Две старухи разминулись у входа.

— А чтоб яму, этаму даждю... Чтоб яму...— первая, спешащая в укрытие.

— А ты, матушка, чай, с ума сошла, без хлеба, видать, не сидела... До старости дожила. Дождь проклинать! Нет стыда-то у тебя... Дождь-то ведь — хлеб...

Золотой дождь... Я так и не понял его до конца, сколько ни искал — от расхожих частностей до горних дуновений. И не найти, наверное, как эти дуновения, как не проследить запредельный полет мысли до громовой стрелы замысла. Но всегда есть благодарная и благодатная почва у художника — человечество, по каплям сбирает он с ее поверхности, из ее глубин святую и чистую влагу. И счастлив художник, когда его туча разверзается золотым дождем, и восходит под ним не сорняк и плевел, но улыбчивые цветы счастья и добра.

1977 г.

Никонов Н. Г.
Н64 След рыси. Повести. Свердловск, Средне-Уральское книжное издательство, 1979.

512 с.

Новая книга известного уральского писателя.

Н $\frac{70302-050}{М\ 158(03)-79}$ Р2

**Содержание**



ИБ № 552

Николай Григорьевич Никонов
СЛЕД РЫСИ

Редактор М. П. Немченко
Художник Л. М. Григорьев
Художественный редактор Г. И. Кетов
Технический редактор Л. М. Голобокова
Корректоры Г. Г. Быкова
и А. Г. Богородская

Сдано в набор 24.04.79.
Подписано в печать 6.09.79.
НС 12166. Формат бумаги $84\times108^{1}/_{32}$.
Типографская № 1.
Литературная гарнитура.
Высокая печать. Усл. печ. л. 27,0.
Уч.-изд. л. 28,0. Тираж 80 000.
Заказ 252. Цена в ледерине 2 р. 10 к.,
в бумвиниле 2 р.

Средне-Уральское книжное издательство,
Свердловск, Малышева, 24.
Типография изд-ва «Уральский рабочий»,
Свердловск, пр. Ленина, 49.